· | 2020

линия фронта

75-летию Великой Победы посвящается

**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
(СПЕЦВЫПУСК)**

СОЮЗ
РОССИЙСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6
Л59

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Автор-составитель *Геннадий Калашников*

Редакция:

Главный редактор
Светлана Василенко (Москва)

Литературный редактор
Владимир Мисюк (Тольятти)

Художник
Екатерина Арт (Омельченко)
(Санкт-Петербург)

Редколлегия:

Олег Глушкин (Калининград)

Валентина Кизило (Санкт-Петербург)

Юрий Кублановский (Москва)

Игорь Кузнецов (Москва)

Михаил Кураев (Санкт-Петербург)

Левон Осепян (Рязань)

Владислав Отрошенко (Москва)

Борис Скотневский (Тольятти)

Арсен Титов (Екатеринбург)

Галина Умывакина (Воронеж)

Николай Шамсутдинов (Тюмень)

Редколлегия благодарит
Сергея Дмитренко,
Александра Евсюкова,
Галину Умывакину
за помощь в работе над альманахом «Линия фронта»

Л59 **Линия фронта:** литературно-художественный альманах / автор-составитель Г. Н. Калашников. М.: Союз российских писателей, 2020. — 480 с., ил.

Память о Великой Отечественной войне, с последних залпов которой прошло уже семьдесят пять лет — наша общая память. Эта память не может остыть. Подтверждение тому — наш альманах, еще один ручеек в полноводную реку народной памяти. Здесь опубликованы стихи поэтов, погибших на полях войны, произведения современных авторов, посвященные Великой Отечественной войне. Какой она видится сквозь толщу лет? Как до сих пор ее эхо отражается в нынешней литературе? Что мы вынесли из ее жестоких и героических уроков? Ответы на эти вопросы читаются на страницах сборника «ЛИНИЯ ФРОНТА».

ISBN 978-5-901511-52-7

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

© Союз российских писателей, 2020

© Г. Н. Калашников, составление, 2020

© Е. В. Арт (Омельченко), обложка, 2020

Содержание

7 Геннадий КАЛАШНИКОВ. **«ЛИНИЯ ФРОНТА 2020»**. Предисловие

ПРОЗА

9 Михаил КУРАЕВ (Санкт-Петербург). БЛОК-АДА. Фрагмент повести
58 Светлана ВАСИЛЕНКО (Москва). Мама и Парад Победы. Рассказ
84 Геннадий МАЙОРОВ (Орёл). Паллитрыч. Рассказ
97 Виктор СБИТНЕВ (Кострома). Ко мне приходит рыжий конь. Русская быль
113 Станислав ПОДОЛЬСКИЙ (Кисловодск). Мама неукротимая. (Эвакуация). Рассказ
130 Галина ЩЕКИНА (Вологда). Не сокол, нет. Фрагмент повести «Тонкая Граня»
140 Александр ЕВСЮКОВ (Москва). Фронт рядом. Рассказ
149 Мария БРЕГМАН (Москва). За гатью. Рассказ
150 Андрей КУПАРЕВ (Киров). Во имя будущего и не только… Рассказы
165 Петр ПИГАРЕВСКИЙ (Санкт-Петербург). Хряпа. Рассказ
185 Евгений МИНИН (Иерусалим). Холокост семьи Мининых. Рассказ
192 Лев АЛЬТМАРК (Иерусалим). Единожды солгав… Рассказ
204 Сюзанна КУЛЕШОВА (Санкт-Петербург). Волки блокады. Рассказ
218 Фарида ГАБДРАУПОВА (Барнаул). Тсера, или Гилы Камам. Рассказ
232 Надежда АЖГИХИНА (Москва). День Победы. Рассказ
247 Николай СМИРНОВ (Мышкин). Ночная пахота. Рассказ

«РОДИНА СМОТРЕЛА НА МЕНЯ»

Стихи погибших на фронтах Великой Отечественной войны поэтов

24 Иосиф УТКИН
25 Евгений НЕЖИНЦЕВ
26 Михаил ТРОИЦКИЙ
26 Юрий ИНГЕ
27 Джек АЛТАУЗЕН
28 Елена ШИРМАН
30 Сергей РУДАКОВ
32 Владимир ЧУГУНОВ
33 Леонид ВИЛКОМИР
34 Борис КОСТРОВ
36 Алексей ЛЕБЕДЕВ
37 Юрий СЕВРУК
38 Владислав ЗАНАДВОРОВ
41 Валентин ШУЛЬЧЕВ
42 Всеволод ЛОБОДА
42 Давид КАНЕВСКИЙ
43 Леонид ШЕРШЕР
44 Иосиф ЛИВЕРТОВСКИЙ
44 Николай ОВСЯННИКОВ
45 Георгий УШКОВ
46 Михаил КУЛЬЧИЦКИЙ
47 Георгий СУВОРОВ
49 Евгений ПОЛЯКОВ
51 Александр ПОДСТАНИЦКИЙ
53 Всеволод БАГРИЦКИЙ
54 Борис БОГАТКОВ
55 Захар ГОРОДИССКИЙ
56 Леонид РОЗЕНБЕРГ
57 Виктор ЛУЗГИН

ПОЭЗИЯ

76 Анатолий ЖИГУЛИН. Поле боя. Стихи
89 Геннадий КАЛАШНИКОВ (Москва). Стихи о войне.
90 Галина УМЫВАКИНА (Воронеж). Послевоенным поколеньем. Стихи
94 Владимир МАКАРЕНКОВ (Смоленск). Звезда Победы. Стихи
108 Любовь КОЛЕСНИК (Ржев). «Ржев — роспись белого фарфора…». Стихи

120 Лидия ГРИГОРЬЕВА (Лондон). Москва 41-го года. Стихи
121 Сергей КУЗНЕЧИХИН (Красноярск). Барак военной поры. Стихи
124 Александр РАДАШКЕВИЧ (Париж). Двадцатилетний мамин первый… Стихи
125 Николай ШАМСУТДИНОВ (Тюмень). Полевой госпиталь. Стихи
128 Елена КИРИЛЛОВА (Томск). «Холодная магия слова…». Стихи
134 Анатолий БЕРГЕР (Санкт-Петербург). «А когда вспоминается детство…». Стихи
135 Миясат МУСЛИМОВА (Махачкала). Не жди меня. Стихи
137 Павел МАРКИН (Еж) (Мантурово). «Землянка мне открылась…». Стихи
138 Татьяна ИВАНЧЕНКО (Астрахань). Астрахань. 1942. Стихи
144 Николай АЛЕШКОВ (Набережные Челны). Год рожденья. Стихи
160 Анна ГЕДЫМИН (Москва). Вера. Стихи
161 Андрей КОРОВИН (Москва). Слуцкий в Туле. Стихи
163 Леонид ВОЛОДАРСКИЙ (Москва). 22 июня одного послевоенного года. Стихи
180 Элеонора ТАТАРИНЦЕВА (Астрахань). Быль. Стихи
181 Алексей ОСТУДИН (Казань). Солдат. Стихи
182 Борис КОЛЫМАГИН (Москва). На сугроб налетает как нож. Стихи
183 Галина БОГАПЕКО (Москва). Черно-белое кино. Стихи
188 Борис СКОТНЕВСКИЙ (Тольятти). Русская сказка. Стихи
188 Виктор СТРЕЛЕЦ (Тольятти). Поминальное. Стихи
189 Александр ФАНФОРА (Тольятти). Неоконченный триптих. Стихи
190 Олег БЕРЕЗИН (Тольятти). Русская память. Стихи
199 Виталий МОЛЧАНОВ (Оренбург). Доктор Йозеф. Стихи
201 Полина ОРЫНЯНСКАЯ (Балашиха). Жить — это просто. Стихи
209 Виктор ЕСИПОВ (Москва). На Сортировочной. Стихи
210 Ярослав ПИЧУГИН (Москва). Мальчик со скрипкой. Стихи
212 Юрий ХОЛОПОВ (Калуга). Немецкое кладбище. Стихи
214 Борис БАРТФЕЛЬД (Калининград). «Великая война закончена…». Стихи
215 Сергей ПОПОВ (Воронеж). «Это было давно и неправда…». Стихи
216 Максим КРАЙНОВ (Москва). Осенние прогулки. Стихи
225 Вера ХАМИДУЛЛИНА (Набережные Челны). В боях за жизнь. Стихи
227 Валерий ЕВТУШЕНКО (Москва). В мае 1945-го. Стихи
229 Игорь КАЗАК (Ивантеевка). Посвящение солдату. Стихи
241 Борис ФАБРИКАНТ (Москва). Инвалиды. Стихи
243 Александр КИРНОС (Москва). Ленинградцам. Стихи
245 Виктория ТКАЧ (Туле). Память. Стихи
248 Ольга ХАРЛАМОВА (Москва). «Весна сорок пятого…». Стихи
249 Павел АЛЕКСЕЕВ (Санкт-Петербург). Война. Стихи
252 Елена ЯНУШЕВСКАЯ (Подмосковье). Мария. Стихи
253 Софья РЭМ. (Иваново). «Это не туча лишает блика лист, похожий на лес…». Стихи
254 Галина ЯКУНИНА (Владивосток). «Не страна победила страну…». Стихи
255 Вадим МАТВЕЕВ (Астрахань). Кинохроника войны. Стихи
256 Александр КАРПЕНКО (Москва). Доблесть. Стихи
264 Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ (Элиста). Неисполненный вальс. Стихи
266 Валентина ЛИДЖИЕВА (Элиста). Погибшей санитарке. Стихи
267 Александр СОЛОВЬЕВ (Элиста). Век-динозавр. Стихи
268 Владимир НУРОВ (Элиста). Бронзовые солдаты. Стихи
270 Лия ПЕТРОВА (Элиста). Комбат. Стихи.
271 Алексей СКАКУНОВ (Элиста). «Война давно победой отгремела…». Стихи
272 Николай ХАТУЕВ (Элиста). Сын степей Пюрва Саткуев. Стихи

ДРАМАТУРГИЯ

167 Елена РАДЧЕНКО (Санкт-Петербург). До войны мы жили в Ленинграде. Драма

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

258 Татьяна ГОГОЛЕВИЧ (Тольятти). Кружка молока. Рассказы
262 Александр МАКСИМОВ (Москва). Начало войны. Рассказ

274 Татьяна ТРЕТЬЯКОВА-СУХАНОВА (Ставрополь). После войны. Воспоминания об отце
277 Елена СОМОВА (Нижний Новгород). Фашистский концлагерь Любек. Очерк

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ЛИНИЯ ФРОНТА»

Лауреаты конкурса «ЛИНИЯ ФРОНТА» (поэзия)

282 Ян БРУШТЕЙН
286 Наталия ЕЛИЗАРОВА
288 Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
290 Владимир ПЕРЦЕВ

Лауреаты конкурса «ЛИНИЯ ФРОНТА» (проза)

292 Анастасия АСТАФЬЕВА (дер. Починок Костромская обл.). Тёмная ночь. Рассказ
299 Олег КОРНИЛЬЦЕВ (г. Ангарск, Иркутская обл.). Рассказ солдата. Рассказ
303 Юлия ТОКАРЕВА (хутор Вислый, Ростовская обл.). Любочка. Рассказ

Участники конкурса «ЛИНИЯ ФРОНТА» (поэзия)

308 Виктор СБИТНЕВ
310 Евфросиния КАПУСТИНА
311 Дмитрий ЮРТАЕВ
319 Калерия СОКОЛОВА
321 Елена АСАТУРОВА
323 Николай ХРИПКОВ
331 Анастасия КИНАШ
333 Владимир ПЕТРУШЕНКО
335 Наталья НОВОХАТНЯЯ
336 Светлана ПОТАПОВА
337 Марианна СОЛОМКО
338 Константин КОВАЛЬ
341 Александр СТЕПАНОВ
345 Леонид КАРПОВ
346 Иван ДЕНИСЕНКО
348 Татьяна БАКЛАНОВА
349 Ирина КИСЕЛЕВА
355 Никита БРАГИН
357 Ирина КОРОТЕЕВА
359 Елена БОРОК
361 Оксана ЧАЙКОВСКАЯ
366 Игорь ЕРОФЕЕВ
368 Зарина БИКМУЛЛИНА
374 Елена ФРОЛОВА
376 Александр КЛИМЕНОК
377 Валерий ГРИНЦОВ
378 София ЖУКОВА
384 Георгий БОЙКО
385 Марина ЛАМБЕРТЦ-СИМОНОВА
387 Надежда ПАНОВА
388 Юрий КРАВЦОВ
390 Баяр ЖИГМЫТОВ
391 Зоя ЖУРБЕНКО
400 Сергей КРИВОНОС
402 Софья ГРИГОРЬЕВА
403 Дмитрий ВИНОГРАДОВ
404 Владимир ТОКМАКОВ
406 Антон ТЮКИН

Участники конкурса «ЛИНИЯ ФРОНТА» (проза):

313 Любовь АЛЕВСКАЯ (Израиль — Украина). Пятисотый-весёлый. Рассказ
325 Борис ГРЕБЕЛЬНИКОВ (с. Саханка, Донецкая обл.). Мой дед — Рэмбо. Рассказ
343 Виктор МАРКИН (Москва). Кости. Рассказ

351 Виктор ЕЛМАНОВ (Кострома). Письмо. Рассказ
364 Яков СМАГАРИНСКИЙ (Австралия). Морзяночка. Рассказ
371 Татьяна ЧУРУС (Зеленоград). Приторно. Рассказ
380 Валерий АНИШКИН (Орел). Каратели. Главы из романа
393 Лариса ОЛЕНИНА (Воронеж). Генеральские сапожки. Рассказ
408 Илья ОГАНДЖАНОВ (Москва). Это несерьёзно. Рассказ

КАЧЕЛИ (стихи и рассказы для детей)

411 Елена КРЫЛОВА (Пятигорск). Клава-былинка. Стихи
412 Анна ЛЕУН (Белогорск). Свеча лихолетья. Стихи
413 Людмила СУХОСТАВЕЦ (Москва). «Наша опора…». Стихи
415 Елена ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА (Москва). Мальчишки из поселка «Сокол». Стихи
417 Олег ВОРОНОЙ (Приморский край, с. Лазо). «Расскажи мне, дедушка, как ты воевал…». Стихи
418 Тамара ГОРДИЕНКО (Севастополь). Лёнька с Корабельной стороны. Рассказ

А КТО ЕГО ЗНАЕТ?

424 Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН (с. Кубачи, Республика Дагестан). Дед Арсен…ий. Рассказ

ПУБЛИЦИСТИКА

431 Александр ШЕРСТЮК (Москва). Навстречу летящей бомбе. Воевали Семёны. Очерки
457 Михаил КАЛАШНИКОВ (Воронеж) «Неужели они выжили?»

КРИТИКА

462 Александр ЛЮСЫЙ (Москва). Я две войны тебя ждала… Эссе

ЛИНИЯ ФРОНТА 2020

Писать о войне трудно. И тем, кто воевал, и тем, кто только слышал, видел военную хронику, читал о ней. А уж тем более трудно писать о войне, которая названа Великой Отечественной.

Пожалуй, эта война, отстоящая от нас теперь уже на целых 75 лет, была самым главным событием двадцатого века. После нее мир уже перестал быть прежним. Недаром все послевоенные поколения вновь и вновь пытаются осмыслить ее непростые, кровавые уроки. Опыт войны нельзя передать, его можно только пережить. Словно незримая черта отделила тех, кто воевал, от остальных. Об этом хорошо сказано у Александра Межирова:

ВОЗРАСТ

Наша разница в возрасте невелика:
Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика —
Я с тобой согласиться готов.

И жестокость наивной твоей правоты
Я тебе не поставлю в вину,
Потому что действительно старше, чем ты,
На Отечественную войну.

Память о войне жива и у немногих еще живущих ветеранов, и у детей, родившихся уже в двадцать первом веке. Как могучая река вбирает в себя все реки и ручейки, так и вечная память народа хранит в себе память любого отдельного человека. Память о Великой войне, с последних залпов которой прошло уже семьдесят пять лет — наша общая память.

На битву с захватчиками поднялся весь народ. Как всегда в «минуты роковые», люди осознали себя единым целым, могучим родовым телом, вставшим на защиту своего будущего. В одну шеренгу с бойцами встало и искусство. Песни военных лет, стихи, фильмы были в окопах вместе с бойцами, поднимались вместе с ними в атаку, переписывались, заучивались наизусть… Уже тогда авторы будущих романов, поэм, пьес задумывались о том, как донести правду о войне, воссоздать ее и осмыслить силами искусства. Уже тогда война навсегда входила в народную память.

И память эта не остывает, она жива до сих пор.

И подтверждение этому — наш альманах, еще один ручеек в полноводную реку общенародной памяти.

Здесь опубликованы стихи поэтов, погибших на полях войны, произведения современных авторов, посвященные Великой Отечественной войне. Какой она видится сквозь толщу лет? Как до сих пор ее эхо отражается в нынешней литературе? Что мы вынесли из ее жестоких и героических уроков? Ответы на эти вопросы читаются на страницах сборника.

Следует заметить, что в ознаменование юбилея Союз российских писателей объявил конкурс «ЛИНИЯ ФРОНТА». На конкурс принимали произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

И люди откликнулись.

На конкурс прислали свои рассказы и стихи и профессиональные литераторы, и люди, пишущие «для себя», и дети, и пенсионеры. Не все было исполнено на должном литературном уровне, но все было искренне, от души и от сердца. А главное — во всех произведениях чувствовалось кровное переживание того, о чем писали люди.

Не могу не привести стихотворение тольяттинца Бориса Скотневского, поэта помнящего, думающего, понимающего:

РУССКАЯ СКАЗКА

Жили-были старик со старухой…
Нет, не так! — молодец с молодухой.
Бедно жили, богато ли жили —
Все ж подолгу они не тужили.

Народилось у них два сыночка,
Да еще раскрасавица дочка, —
И пригожестью и по уму
Вышли детки один к одному.

Тут и жить бы да горя не знать бы,
Да готовить веселые свадьбы,
Но война подступила к стране…
И сыны полегли на войне

Оба разом. А следом за ними
Дочь в военном растаяла дыме…
Дед пожил еще год или два…
А старуха поныне жива.

В ее комнатке однооконной
Тишина нерушима до звона,
И стоят не рожденные внуки
Вечным звоном в ушах у старухи.

Простые, безыскусные строки, но сколько в них щемящей точности, какая горькая и страшная правда встает за ними. И ведь обошлось без пафоса, без громыхающих казенных фраз, коих, чего уж скрывать, было немало в иных подборках.

Конкурс конкурсом, но повод высказаться был настолько актуален и важен, что поток рукописей шел уже вне конкурса. Тут можно вспомнить слова составителя альманаха «БРОНЕПОЕЗД ПОБЕДЫ» Сергея Дмитренко: «В одну книгу невозможно вместить все, достойное памяти, преодолевшее время. Как составитель я заранее сердечно прошу прощения у поэтов, чьи яркие произведения оказались за пределом страниц этого тома… Надежда в том, что настоящая антология станет для кого-то побуждением к дальнейшей, хочется думать, более полной и совершенной работе».

Совершенно справедливые слова. Остается только добавить, что они касаются не только поэзии, но и прозы. И что произведения о Великой Отечественной еще будут создаваться долгие годы.

Многие произведения, вошедшие в этот альманах, достойны упоминания и цитирования. Но внимательный читатель разберется сам, найдет здесь то, что остановит его внимание, заденет душу, заставит перечитать.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

Михаил КУРАЕВ

БЛОК-АДА

Фрагмент повести

После короткой оттепели в двадцатых числах декабря, когда снежные завалы по-весеннему отяжелели, осели и натоптанные дорожки покрылись коркой льда и стали совсем непроходимыми, с января ударили морозы. Первого января было двадцать пять, второго двадцать шесть, и так весь месяц. И в эту гремучую стужу город заполыхал, город горел от самодельных буржуек, коптилок, от немыслимых очагов, которыми пытались хоть как-то согреться горожане. Еще долго после войны на стенах домов можно было прочитать трафаретом нанесенные надписи, место которым, казалось бы, в доме для сумасшедших: «Хождение с горящими факелами и тряпьем по лестницам, чердакам и подвалам запрещено».

Тринадцатого ночью загорелся Гостиный двор, и вовсе не от бомбежки или артобстрела — загорелся от случайного огня, горел весь день, полыхал ночью, тушить было нечем. Весть об этом пожаре быстро оползла весь город, потому что к сообщениям о таких пожарах ленинградец относился так же, как к известию о том, что выгорела часть его дома. Еще в начале осени, когда сгорели «американские горы» в зоопарке, горожане передавали эту весть друг другу с каким-то особо горьким привкусом, как и слух о том, что в бомбежку погибла слониха.

«Если уж единственного в городе слона не уберегли…»

«Если уж Гостиный двор не тушили…»

Казалось, что мороз, терзавший людей весь январь, уже превзошел все мыслимые пределы, но с двадцать первого холод перевалил за тридцать и четыре дня держался на тридцати четырех, что уже вовсе невыносимо для сырого, промозглого города. Для большего впечатления зарядил и резкий, пронизывающий ветер, по большей части северо-восточный, разнося огонь пожаров, которые тушить было нечем.

Коченея от холода, смотреть, как выгорают дома, горят балки, мебель, книги, так же мучительно, как смотреть истощенному, непрестанно думающему о еде человеку на то, как на его глазах пропадает, гибнет безвозвратно пища, способная его спасти, спасти близких…

КУРАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1939 г. в г. Ленинграде, пережил блокаду. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. А. Н. Островского по специальности «театровед». Более 20 лет работал редактором на киностудии «Ленфильм», написал ряд сценариев. Писатель, кинодраматург, публицист, эссеист. Дебютировал как писатель в 1987 г. повестью «Капитан Дикштейн», опубликованной в журнале «Новый мир». Написал: «Блок-ада», «Жребий № 241», «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Встречайте Ленина!», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Питерская Атлантида». Сочинения переведены на 12 иностранных языков. С 1999 г. — сопредседатель Союза российских писателей; член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кинематографистов России; член Русского ПЕН-клуба. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за лучший роман о городе («Зеркало Монтачки»), лауреат Государственной премии Российской Федерации.

И солнце в такой мороз висело в небе, попросту дразня. Оно куталось, будто ему тоже холодно, в какое-то белое пушистое облачко. Погода стояла ясная, солнце высвечивало немцам распластанный город, упрощая корректировку огня, повышая точность попаданий. Работа на батареях, несмотря на мороз, шла весело, пленный фельдфебель, командир орудия второго дивизиона девятьсот десятого артполка, рассказывал, как солдаты и офицеры батареи перед выстрелом подбадривали друг друга остроумными выкриками: «Проголодались? Кушайте на здоровье!», «Сделаем из них фарш!», «Привет большевикам!» и разными веселыми шуточками в адрес русских фрау.

Бабушка и Сергей заболели разом двадцать четвертого, это была не простуда, и тягостные подробности можно опустить.

Болезнь бабушки лишила маму той небольшой, но крайне необходимой при трех детях помощи и поддержки, которую она получала, пока Ольга Алексеевна держалась на ногах.

Дома удавалось поддерживать плюсовую температуру, но уже перепеленать Борьку, делая над кроватью палатку из трех одеял, стало неразрешимо сложно.

Двадцать девятого завьюжило, пошел снег и потеплело.

Матушка ухитрилась отыскать и даже привести домой какую-то полуживую докторицу из детской консультации, куда она регулярно наведывалась за соевым молоком для Бориса. Врачи по вызовам приходили, но иногда через пять дней, иногда через шесть, могла прийти и медсестра, врачей не хватало. Докторица сказала, что попытается узнать о возможности взять Сергея в стационар.

«Транспорта у нас нет, так что придется как-то самим…»

«Хорошо, хорошо, у нас саночки есть», — и тут же припомнила объявление, написанное на тетрадном листе крупным детским почерком и прикрепленное у входа в гастроном на углу Девятой и Среднего: «Перевожу на саночках ихних покойников и другие бытовые перевозки». Ясно было, что первую часть объявления предприимчивый юный извозчик сочинил сам, а вторую скорее всего сдул откуда-нибудь из старой «Вечерки», прежде чем сунуть ее в печку или обмотать для тепла ноги. Это было открытие: ноги, обмотанные газетой, и в ботах, и в ботинках мерзли меньше.

Прошел день-второй, больным не становилось лучше, но больше никто не приходил.

Надо думать, мама была уже в сумеречном состоянии разума, если вдруг изменила своей привычке и пошла по Девятой линии. Ей даже показалось, что она заблудилась. Новизна ощущения подстегнула любопытство, поэтому, быть может, и обратила внимание на белую эмалированную вывеску у входа в парадную: «Врач-гинеколог… — то ли Спектор, то ли Кантор — 3-й этаж… часы приема…».

В черном котиковом пальто, за которое через два месяца в вологодской деревне дадут два ведра картошки, в черной фетровой шляпке, плотно облегающей голову, в белой шали и белых фетровых ботах мама была бы изящна и даже красива, если бы не землистый цвет впалых щек и синеватый тон губ, слегка по привычке подкрашенных.

Судя по тогдашнему расположению ее мыслей, мама вошла в эту парадную лишь потому, что надо было что-то делать, куда-то идти, что-то предпринимать, хотя бы посоветоваться, вот она и поплелась на третий этаж по широкой с выбитыми стеклами лестнице, покрытой наледью и смерзшимися нечистотами.

На дверях квартиры другая белая табличка объявляла: «Доктору звонить три раза», то ли Кантору, то ли Спектору.

Мама трижды повернула вертушку звонка. Подождала. Покрутила еще три раза, посмотрела на час: были как раз указанные внизу часы приема. Хотела уже уходить, но за дверью послышалось какое-то движение. Открыл дверь замурзанный старичок, неумытый, замотанный во что-то теплое, бабье.

«Мне доктора», — сказала мама.

«Да. Проходите», — после долгой паузы сказал старичок и провел матушку в просторную нежилую комнату со старой громоздкой мебелью, где шкафами был выгорожен угол, оборудованный дамским смотровым креслом и белыми шкафчиками с инструментами. Вход в «кабинет» задергивался тяжелой портьерой, скользившей на кольцах по бронзовой трубе, закрепленной между шкафами.

«Прошу минуточку подождать…»

Минут через десять дедок вернулся в ослепительно белом халате, видимо, давно уже лежавшем без употребления. Белизна халата резко подчеркнула не совсем чистые руки и серенькое лицо, напоминавшее изрядно запыленное окошко, в котором не то чтобы размыли, а только размазали грязь посередке.

«На что, мамаша, жалуетесь?» — деликатно поинтересовался доктор, не предлагая пациентке раздеться.

Жаловаться маме было, собственно, не на что.

«Доктор, я хочу с вами поделиться… Я не понимаю, что мне делать *с* моим сыном и матерью…»

Доктор не задал ни одного вопроса, он смотрел на матушку, и на лице его была то ли скука, то ли печаль. Выслушав рассказ до конца, он встал, полез в один шкафчик, потом в другой, долго рылся и наконец выудил три бумажных пакетика, в каждом по порошку на прием.

«Вот, пожалуйста. Это все, что я могу для вас сделать… Помогут или нет, не знаю…»

Мама тут же стала соображать, как разделить эти три пакетика на двоих.

«У вас только три?..»

«Если вздумаете делить, умрут оба. Разделите — оба умрут, это я вам гарантирую. А если помогут, только кому-нибудь одному».

«А кому?» — поспешно спросила мама, как только поняла, какую задачу ей придется решать, лучше уж спросить доктора, пусть он скажет.

Доктор молчал.

Мама поняла, что он не скажет.

«Как я должна вас благодарить?»

«Если поможет, скажете «спасибо».

С тем мама и ушла.

Казалось бы, напутствие доктора должно было поразить маму, повергнуть в состояние мучительнейшее или хотя бы смутить, и потому, что предстояло вынести приговор матери или сыну, и потому, что и эти три порошка лишь подавали надежду, но успеха не обещали.

Сердце игрока, ставящего на кон хотя бы и не последние деньги, томится и трепещет, а здесь на кон ставилась жизнь и величайшее бедствие на свете.

Молодая женщина умудрилась остаться почти нечувствительной к своему горю. Так распорядилась не воля и не разум, так устроила сама природа, стремящаяся обезопасить душу. Страх и ужас могли только сковать жизненные силы, но никак не способствовать счастливому решению выпавшего жребия.

Счастливого жребия здесь не было и быть не могло.

Спокойно, с холодной рассудительностью дочь приговорила свою мать к смерти.

«Мама уже старенькая, ей шестьдесят два, ну еще поживет… а у Сережи, может быть, вся жизнь впереди, пусть он живет…»

Все три порошка были отданы Сергею.

В ночь на тридцать первое мама проснулась оттого, что Сергей запел. Она зажгла спичку и увидела, как он, разметав одеяла, лежал почти нагишом, раскинувшись, и пел. Глаза были широко открыты. От кровати поднимался пар.

Третьего февраля сорок второго года, вечером, бабушка, уже давно не вставшая и лежавшая на оттоманке, для тепла, рядом с Борей, родившимся в ноябре, сказала маме: «Анечка, ты не плачь, сегодня ночью мы с Боренькой умрем».

Мама, как человек разумный и единственный из нас пятерых еще державшаяся на ногах, произнесла свое обычное: «Не ерунди!»

И в комнате с заледенелыми окнами, с постелями, больше напоминавшими сугробы из одежды и одеял, стало тихо.

Кто-то прошел мимо нашей двери по коридору; протяжное, тягучее шарканье подошв в холодной тишине было отчетливо слышно, казалось, что человек не идет, а его кто-то рывками тянет по полу.

«Анечка, ты укрой меня чем-нибудь… холодно…»

Мама еще не спала, слышала шаги в коридоре, но бабушкиных слов не услыхала. Не расслышала бы, и, если б догадалась поднести ухо к самым губам, сморщенной вороночкой опрокинувшимся во впалый рот. Бабушке показалось, что она говорит, но это был уже голос в том сне, от которого не просыпаются, и холод, подступавший снизу, вкрадчиво, без спешки, был тот холод, от которого ничем не укроешься.

В феврале, в ясный день, в половине девятого утра довольно светло, и хотя окна, заклеенные бумагой крест-накрест, покрытые наледью и отчасти забитые фанерой, пропускали света немного, мама увидела, что Боря и бабушка уже холодные.

Самой большой маминой странностью и причудой была «Борина могила», занимавшая особое место среди разного рода всплесков и фантазий, людям обыкновенным не очень-то свойственных.

В этих фантазиях, глубоко внутри, было что-то тяжелое, именно не мрачное, а тяжелое.

Ну откуда могла взяться «Борина» могила, это же смех один, если не то что о двух могилах, о двух гробах и то мечтать было нельзя.

Денег кладбищенские в феврале не брали, то есть брали, конечно, но только в добавку к хлебу. Им же мерзлую землю долбить, тоже надо понимать, тем более, что морозы *в* январе стояли страшные.

Так вот, похоронили бабушку и Борю в одном гробу, Борю положили в ноги и, естественно, в одну могилу, и все равно за двойную плату плюс золотой крестик, поскольку на Смоленском кладбище, выползшем к этому времени на правый берег реки Смоленки и широко там разметнувшемся, Борю как прописанного на Васильевском острове, как местного жителя принимать соглашались, а бабушку как прописанную аж в Ленинском районе, на Измайловском проспекте, проспект Красных Командиров в ту пору, у средней дочери Таточки, по суровым законам военного времени принимать отказывались.

С Борей еще ничего, его мама положила между рамами, и он мог лежать хоть до весны, так люди делали, а вот бабушку надо было хоронить. И хоронила ее как раз Таточка, притащившаяся с проспекта Красных Командиров со своим двенадцатилетним сыном Анатолием.

Надо сказать, что по нраву своему Татьяна Петровна, Таточка, была «хетагуровкой», так именовались девушки, откликнувшиеся на призыв

ехать осваивать Дальний Восток. Осваивать она почему-то не поехала. Собственно, против был Саша, ее муж, а вот поехали бы, может, Саша и уцелел бы, а так его в тридцать восьмом взяли и только в шестьдесят седьмом семье выдали справку на папиросной бумаге в ладошку величиной, где можно было кое-как разобрать, что осужденный по статье такой-то за отсутствием состава преступления посмертно реабилитирован на основании постановления такого-то от такого-то числа. Кроме справки, кстати сказать, выдали и самодельный портсигар, деревянную коробочку с крышкой, очень изящно сделанную, а на крышке из соломки на клею выложен тончайший рисунок: вышка, часовой на вышке, прожектор и ограда из проволоки в два ряда, по тщательности и мастерству просто китайская работа, понятно, откуда у сына Анатолия серьезные художественные наклонности.

В связи со смертью, постигшей бабушку и Борю, Татьяна Петровна развила необыкновенную деятельность, в чем в полной мере проявился ее «хетагуровский» характер, например, гроб достала. С одной стороны, это можно было бы считать и чудом, но ведь в ту пору бывало и так: идет человек, тянет гроб к кладбищу, видит, что ему не дойти, оставляет, докуда довез, и хорошо, если домой отправится, а то здесь же в сугроб и ткнется. Находчивые люди такие беспризорные гробы тут же, как нынче говорится, приватизировали или с целью выгодной продажи — спрос был, и спрос был большой — а то можно было использовать гроб и как средство обогрева. Предприимчивый человек нигде не пропадет! Был ли у бабушки гроб заказной или «second hand», установить трудно, потому что о его происхождении Таточка никогда не распространялась, Гроб, вообще-то, был немножко великоват, а это верная примета, что покойник еще кого-нибудь с собой прихватит. Так и вышло, в начале апреля Таточка разрешилась Ниной, а летом уже Ниночку пришлось похоронить.

Именно добыча гроба повлекла за собой как следствие необходимость выполнить надлежащий ритуал и похоронить Бореньку и бабушку по-человечески. Не подвернись гроба, может быть, и все как-то решилось бы попроще и не имело продолжения.

Расстелив на полу байковое одеяло, Татьяна Петровна решила помыть Ольгу Алексеевну прямо здесь, в комнате.

На кухне соседи в складчину топили плиту, и можно было пристроиться, чтобы согреть воды. Анатолий хотел натопить снега, чтобы не тащиться на 6-ю линию к пробитому водопроводу, откуда все носили воду, но от растопленного снега, казавшегося, на первый взгляд, идеально белым, вода получилась и грязной, и с нехорошим запахом. Мать погнала за водой на 6-ю линию.

Мертвая бабушка и синий Борька, величиной чуть больше батона, вовсе не вызывали страха. Приученный к мысли о том, что смерть его никогда не коснется, Анатолий не разуверился в этой мысли и за полгода жизни рядом со смертью. Правда, иногда жить не хотелось, просто не хотелось жить от мороза, от голода, от пустоты, вдруг пронизывавшей всего насквозь. Тело становилось невесомым, а безнадежность убивала даже желания, и само ощущение жизни как бы исчезало: все предметы, улица, дома, даже собственные руки, ему казалось, он видит откуда-то издалека-издалека. Но именно в эти минуты мыслей о смерти как раз не было, впрочем, никаких других тоже, было только удивление: куда же я делся, почему все стало так далеко…

Татьяна Петровна, со своим вздувшимся животом казавшаяся все время объевшейся, хотя лицо имела впалое и серое, по возможности сына щадила.

Анатолий таскал воду, грел, но в комнату, где мама мыла бабушку, допускаем не был, только когда умытые, прибранные, бабушка в белом в мелкий горошек платке, а Боря в голубом чепчике и хорошей синей пеленке, лежали рядом, мать позвала Анатолия, чтобы положить «наших милых», как она выразилась, в некрашеный, но вполне добротный гроб. Бабушка, такая небольшая с виду, оказалась тяжелей, чем Анатолий рассчитывал.

На следующий день соседи помогли спуститься с лестницы и закрепить все на санках. Все удивлялись и хвалили Таточку. На улицах постоянно везли покойников, но увидеть гроб в ту пору было уже большой редкостью.

Малый проспект в сравнении с такой богатой магистралью, как Средний, не говоря уже о Большом проспекте, конечно, неказист и берет свое начало от сиротского дома им. Марии Магдалины, куда можно было в прежние времена, не открывая лица и не называя имени, сдать нежелательного сына или дочку. сунув сверток в специальное прямоугольное отверстие, напоминающее печную топку, без дверки, естественно. А заканчивается Малый проспект, словно для аллегории, кладбищами.

Река Смоленка мало напоминает Лету, реку забвения, вытекает она из Малой Невы, как раз неподалеку от дома для брошенных младенцев, самостоятельно впадает в Финский залив и отделяет низменный остров с несуразным названием Голодай от обширного Васильевского острова. Обильные захоронения выходцев из Смоленской губернии, привлеченных к строительству великого города, дали название и Смоленскому полю, кстати сказать, месту казней, речке, вернее, извилистому нешироком невскому рукаву, ну и кладбищам, украсившим нижнее течение реки Смоленки. Говорят, в начальные годы здесь хоронили острожников прямо в кандалах, потом уже пошли смоленчане, еще позднее где-то закопали пятерых повешенных декабристов, а с годами оба берега Смоленки оказались обжиты тремя кладбищами: огромным Православным на левом берегу и двумя поскромней на правом, Армянским и Лютеранским, но даже вместе они не могли удовлетворить в войну всех желающих быть похороненными, пришлось добавлять еще и четвертое, чисто Блокадное.

Разговоры о том, что для блокадников открыли новое Смоленское кладбище, шли уже давно, и дорогу туда найти не составляло труда, хотя передвижение по городу, заваленному снегом, как легко себе представить, было делом непростым, особенно ближе к окраинам. В центре еще кое-где пытались очистить трамвайные пути силами горожан, собранных по трудовой повинности, но смысла в такой работе было мало. Во-первых, с 8 декабря трамвай больше не ходил, а во-вторых, эти трудармейцы махнут лопатой раз-другой, вяло и полусонно, и плетутся куда-нибудь в подъезд погреться, хорошо еще, если сам потом сумеет на улицу выйти…

В январе, начале февраля, да практически весь февраль, в городе было совсем скверно.

Энергии не хватало не то что на трамвай, но и для насосов городской водопроводной станции, потом и для типографии «Ленинградской правды», для хлебозаводов и для городского радиоузла. Радиопередачи, временами едва различимые, подавались то в один, то в другой район города, что было особенно неудобно в связи с постоянными артобстрелами, требовавшими оповещения граждан о грозящей опасности.

Дороги к кладбищам были и накатанными, и наезженными, поскольку поток был большой, особенно по воскресеньям. Зимой еще хорошо, саночки или лист фанеры, привязанной к нему веревкой, а весной? а ле-

том? повезут на немыслимых тележках, повозках, даже в детских колясках, понесут на носилках, приспосабливая для такой ноши лестницы; детей понесут на руках, как Таточка понесет Нину. Была организована, разумеется, и коллективная доставка, возами и реже на грузовиках. Гробы были большой редкостью, очень мало, в большинстве своем отмучившихся и отстрадавших заворачивали в простыни, в мешки, отчего они казались буквально снятыми с виселицы где-нибудь на Семеновском плацу или на том же Смоленском поле, поскольку в Санкт-Петербурге вешали цивилизованными способами, то есть в специальных балахонах. Завернутые в одеяла не вызывают таких нежелательных ассоциаций. Прикрывать груды скорбного груза в кузовах и на подводах то ли нечем было, то ли некогда, да и что стесняться, все кругом свои, как говорится, поэтому ограничивались только веревками, которыми кузова и подводы обматывали, чтобы не растерять груз по дороге.

Анатолий и Таточка навалились по-бурлацки на веревки и двинулись по 8-й линии; около часовни, построенной значительно позже собора, сейчас там, кстати, бар и казино, повернули налево по Малому проспекту, хотя можно было пройти прямо, выйти на Уральскую улицу, так было бы немножко короче.

День был ясный, солнечный, небо празднично голубело и на оборванных трамвайных проводах, на перепутанных проводах уличного освещения искрился иней. Было красиво и немножко таинственно, потому что ощущение жизни как бы исчезало; все предметы, улица, дома, даже город казался давно уже брошенным, из-под сугробов выглядывали заваленные снегом машины, во вросшем в снег автобусе, за покрытыми изморозью стеклами, можно было различить двух пассажиров, зашедших, видимо, погреться сюда еще месяц назад.

Зима и так сгущает жизнь, а тут еще в такие холода все живое старалось сжаться, скукожиться, затаиться, притвориться мертвым.

Однако проспект нельзя было назвать безлюдным: немного граждан, но были, бродили в поисках воды, везли на саночках обгорелые доски, везли покойников… У булочной неподвижно, словно замерзнув насмерть, стояла очередь человек в тридцать, с утра ждали хлеба. Присыпанные снежком, со спрятанными лицами, они были похожи на тех, кого грудами, тоже присыпанных снегом, везли на Голодай.

Между 11-й и 12-й линиями выгорел шестиэтажный домина, выгорел в декабре, тогда еще пытались тушить, судя по огромным сосулькам на черных проемах окон уцелевшей фасадной стены; окна были похожи на глаза с ледяными ресницами.

Ну выгорел дом и выгорел, но оттого, что его пытались тушить в мороз, вода, вылившаяся на проспект в большом количестве, образовала ледяной каток. Изо льда торчали неплохие вещи, выброшенные жильцами на улицу в начале пожара, теперь все вросло в лед, и, чтобы вырвать из ледяного плена ту же швейную машинку, может быть, и не разбившуюся, нужно было поработать ломом и хорошо попотеть. От мебели же остались только торчащие изо льда обломки: все, что можно было унести и сжечь, унесли и сожгли.

На ледяном нарасте, коварно припорошенном снегом, ноги скользили, санки с гробом выходили из повиновения и норовили опрокинуться. Анатолий три раза шмякнулся, и, не будь на нем надето трое штанов, наверняка бы разбил коленную чашечку. Выручила и лыжная палка, с которой не расставался. Таточка ругала дураков-пожарных, наливших столько воды, а дом не спасших. То, что они отстояли два соседних дома, она в раздражении своем во внимание не брала. Больше всего она боялась обстрела и всю дорогу молила: «Не приведи бог обстрел начнется… куда

мы с ними… на улице не бросишь… вмиг гроб упрут… и все насмарку…» Рассуждения вслух, которые бормотала Таточка с придыханием, лишь отчасти напоминали молитву, хотя и перемежались призывами: «Господи, пронеси и помилуй». Не очень-то рассчитывая на чистое милосердие, она вкрапливала в свое обращение к высшим силам элемент договора: «Господи… только сегодня… без обстрела… Господи… дай похоронить… завтра… да будет воля твоя… хоть целый день стреляй…» Она уже явно заговаривалась, и в хрипловатом голосе, сбивающемся от ходьбы и напряжения, не было ни кротости, ни смирения.

Молитва, надо думать, была услышана: в этот день снаряды рвались только на Выборгской стороне около Финляндского вокзала и на Кировском заводе.

Свернув по 16-й линии направо и оставив слева арку у входа на Православное кладбище, где на мраморной доске написано, что где-то на территории этого кладбища покоится Арина Родионовна, пушкинская няня, Таточка, мелко перекрестившись на храм Светлого Христова Воскресенья, мысленно еще раз попросив у сил небесных помощи в ее тяжком деле, втащила саночки на мост через Смоленку и поволокла дальше, оставив с правой руки Лютеранское и Армянское кладбища, где тоже похоронено множество интересного народу, например, основатель Одессы Хосе де Рибас. А тут уже было, как говорится, рукой подать до конторки, построенной перед обширным снежным полем, уходящим в сторону залитого солнцем залива.

Рвы под братские могилы копались медленней, чем шел поток умерших, и потому довольно высокие груды непогребенных так и лежали под распахнутым ослепительно синим небом, лишь милосердно присыпанные снежком. Едва сообразив, что за горы закрывают выход на снежное поле, Анатолий почувствовал, как во рту появилась сладенькая слюнка и остановилось дыхание. Жизненные пары, незримо струившиеся в тщедушной оболочке молодого тела, разом сгустились и обожгли холодом изнутри. Хотя умерших он насмотрелся к тому времени вдосталь, но для этого зрелища нужны были недюжинные нервы.

Однако последовавшие события не позволили особенно погружаться в это первое впечатление. Успокаивало еще и то, что он видел, как те, кто так же, как и они с матушкой, везли скорбную поклажу к месту вечного упокоения, держат себя спокойно и деловито. Да, в отличие от старых кладбищ, располагающих к меланхолии и задумчивости, это, можно оказать, бурлило деятельной, энергичной жизнью. С похоронами и в хорошие-то времена всегда хлопот полон рот, а на тощий желудок, когда голова кругом идет, и при крайне стесненных материальных обстоятельствах, конечно, некоторые стороны этого дела просто выпадают из вида — так вышло с этой злосчастной пропиской.

Несмотря на горе, холод и дистрофию, чувства юмора и бойцовских качеств «хетагуровки» Татьяна Петровна не утратила, и на возражения кладбищенских, отказывавшихся принять бабушку, стала тыкать им в нос грудами трупов, сваленных по обе стороны конторки на обширном пространстве, даже непонятно было, как далеко это все простиралось.

«А у этих вы тоже прописку спрашивали, прежде чем сюда сваливать?»

«Во-первых, не сваливаем, гражданочка, а складируем, а вот за нарушение порядка в осажденном городе можно и на площадь Урицкого угодить».

Бывшая Дворцовая временно называлась площадью имени Урицкого для увековечения памяти Михаила Соломоновича, убитого на посту Председателя Петроградской ЧК в подъезде левого крыла здания, полуциркульно обнимающего обширное пространство перед Зимним Дворцом.

Еще до войны левое крыло, от арки с шестеркой коней, влекущих колесницу Победы, до Мойки, занимало Управление милиции, учреждение, не в пример нынешним, серьезное и готовое карать как пособников врага даже лиц, переходящих улицу в неположенном месте или пытающихся создать заторы на транспорте, выходя из трамвая с задней площадки. Газета «Ленинградская правда» специально разъясняла этот предмет, поместив в одном из октябрьских номеров подвал: «Нарушитель правил уличного движения — пособник врага».

Дисциплина в городе была беспощадной.

Рисковала Таточка, склоняя кладбищенских к государственному преступлению, рисковали кладбищенские, соблазненные деньгами и полбуханкой хлеба, рисковали затеряться в груде мертвецов и бабушка с Борисом.

Притащились на кладбище еще в четвертом часу, но этот разговор спутал все карты.

«Документы!» — мильтон с веселыми и бескорыстными глазами слегка пританцовывал на холоде. Приятного вида круглолицый старшина в глухом треухе и овчинном полушубке, по-видимому, из тех людей, кто не просто служит, но делает из своей службы, а отчасти и из самого себя, целое художественное произведение.

Пожелав узнать сведения о покойном и услышав в ответ, что *там* двое, ревизию проводить не стал, удовлетворившись изучением бумажек, выписанных *в* ЗАГСе.

Стоявший поодаль одноглазый рабочий с заступом и легким острым ломом, в своем длиннополом, перепачканном землей пальто с узким меховым воротником, на рабочего был похож мало и в продолжение всего разговора Таточки с милиционером оставался молчаливым и угрюмым. Работал он здесь явно не по призванию, цвет лица имел неправдоподобно белый, нездоровый, как бы протухший.

«Хозяюшка, от ворот поворот!» — вынес резолюцию старшина. Скорее всего, доброе сердце, предполагавшееся в таком живом человеке, было сковано чувством долга, что не оставляло надежды на снисхождение.

«У меня муж фронтовик!..»

«И вы мужа таким своим поведением срамите», — нашелся милиционер.

«Я к Жданову… я к Капустину пойду!..»

«Идти вы, конечно, можете, только сознательность надо знать, если вот так за каждого, — и старшина махнул рукой за спину, — пойдут просители к товарищу Жданову и товарищу Капустину, им живыми некогда будет заниматься».

Целый час, ежась на морозе, Анатолий с завистью смотрел на граждан, которые приходили, привозили, что-то показывали, говорили, и у них все шло как по маслу. На исходе часа повезло: приехала полуторка с газогенераторным двигателем, попросту говоря, с двумя круглыми цилиндрическими печками по обеим сторонам кабины, и, пока машину разгружали девушки из МПВО, братец подошел и с разрешения шофера около этих металлических печек, выкрашенных в черное, погрел руки.

Медленно смеркалось, небо над заливом еще было светлым, а со стороны города надвигалась мгла.

К товарищу Жданову и товарищу Капустину идти не пришлось, за час с небольшим Таточка добежала до какой-то ближайшей милиции и вернулась оттуда без золотого крестика, но с разрешением на захоронение.

Какие приводила Таточка начальству следующей ступени доводы в пользу немедленного захоронения матери и юного племянника на

кладбище, специально устроенном для удобства блокадников, неизвестно. И хотя долг чести и совести требовал безукоризненного исполнения порядка и правил в осажденном городе, милосердие власти то там, то сям выплескивалось за узкие рамки предписания. Крестик был вручен за доброту сердца и принят с умелой осторожностью, хладнокровием и хорошо исполненным смущением: дескать, к чему бы это мне, человеку неверующему, такая вещь, да уж ладно…

«О-о! раз сам Вакуленко вам подписал…» — Старшина на кладбище только развел руками, давая понять, что отдает себе полный отчет в том, где кончается его власть и начинают действовать не подвластные ему высшие силы.

Тут же без разговоров милиционером и землекопом были приняты деньги и хлеб.

Одноглазый рабочий поспешил бросить: «Пойду подкопаю», — и двинулся прямо по мертвецам в сторону пустынного пространства — это чтобы не корячиться с санками. Понимал, видно, что с клиентки ничего больше взять не удастся, раз пришла от самого Вакуленко.

«Давай, давай, двигай…», — с напускной беспечностью объявил старшина и сердечно потрепал Анатолия по плечу.

Быть может, под впечатлением от недавнего знакомства с коридорами Академии художеств, уставленными множеством скульптур и античных слепков, Анатолию показалось в сумерках, что эти скорченные и лежащие пластом преимущественно мужчины, но и женщины, и старики, все с мраморными лицами, одетые и голые, спеленатые, как мумии, и лежащие с открытыми лицами, с распахнутыми ртами, — это просто неудавшиеся скульптуры, вывезенные сюда за ненадобностью из какой-то огромной, надо думать, мастерской.

Вдруг Анатолий увидел, как что-то шевельнулось в груде совсем недалеко — страх сделал ноги чугунными. С открытым ртом он смотрел туда, где мелькнул признак жизни, но никто, разумеется, не поднялся: в сумеречном свете мальчишка разглядел огромную крысу, неторопливо пробиравшуюся среди мертвецов.

«Тащи, что рот открыл», — сказала Татьяна Петровна и потянула санки с гробом к уже проложенному через груду следу.

Окоченевший от холода и страха братец говорить не мог; только смотрел на мать и мотал головой.

«Давай, давай, мне же одной не вытянуть…»

Вместо того чтобы впрячься, взяться за веревку, Анатолий сделал два шага назад.

«Ты что, с ума сошел, ты куда это? — мать не на шутку испугалась. — Ну что стоишь, Толюська, давай, там же человек ждет…»

«Я не пойду…»

«Здрасте, это что еще за фокусы? Нашел время. Ты что, смеешься, что ли?»

«Мама…»

«Что «мама»? Глумишься?!»

«Я не пойду…»

«Не пойдет он! Ты лучше меня не выводи, слышишь? А ну, бери веревку, сволочь! Ты что ж, хочешь, чтобы я здесь родила, хочешь, чтобы я здесь сдохла?!»

«Мама…»

«Я тебе покажу «мама»! Он не пойдет, скотина…»

Как отчаявшийся возница бранит последними словами выбившуюся из сил клячу, хлещет, уже не веруя в пользу кнута, и по спине, и по шее, и по глазам, так и Татьяна Петровна бранью и затрещинами понуждала

единственного своего помощника разделить ее непомерный и неизбежный труд.

«Слышишь, сволочь, что я сказала!..»

Воя от страха, от обиды, от боли, оступаясь, падая, Анатолий ухватил веревку, навалился, впрягся, потянул; слезы мешали видеть, куда ступает нога, и, может быть, в этом было спасение. Гроб раскачивался, готовый завалиться, а Таточка, криком заглушая собственный страх и бессилие, продолжала орать: «Я тебе покажу — не могу! Ты у меня еще жрать попросишь… Как есть, так «мама, дай», а как тащить, так он не может!..»

Наклонившись всем туловищем вперед, как бы в глубоком почтении, напрягаясь, почти падая, Анатолий с веревкой, пущенной по-бурлацки через грудь, дергал санки, непрестанно застревающие на плохо накатанном пути; казалось, мальчишка отвешивает каждому покойнику поклон, прежде чем ступить на него ногой и протащить санки.

Ветер дул сначала в лицо, потом начал продувать как бы со всех сторон разом.

Метров через тридцать груда кончилась и началась растоптанная дорожка со свежими холмиками по обеим сторонам. Слева за взгорком, где еще не поднялась видимая нынче со всех сторон братская могила восьми академиков из Академии художеств, извивалась невидимая Смоленка, а дальше, на том берегу, среди голых черных деревьев были видны каменные кресты, памятники и могилы в высоких оградах. Здесь же пока все было голо, как *в* поле.

Торжественное мгновение погребения Бориса и бабушки было омрачено ссорой, возникшей так некстати по дороге к могиле.

«Теперь я долг выполнила, мать похоронила, теперь я спокойна, — не дожидаясь, пока могила будет засыпана, с какой-то непонятной поспешностью бормотала Татьяна Петровна сама себе, нарочно не замечая Анатолия и не поминая его вклада в похороны. — Теперь я спокойна… мать похоронила… долг выполнила… Слава тебе, Господи!» — Она крестилась и одновременно поправляла выбившийся и полуразвязавшийся шарф вокруг воротника.

Рабочий в длинном пальто закидывал могилу комьями смерзшейся земли, не очень заботясь о том, чтобы они легли плотно. Он то и дело останавливался, передыхал и смотрел на Анатолия своим одиноким глазом и думал о чем-то, скорее всего к Анатолию относящемся. Голубоватый глаз смотрел на скукожившегося на морозе отрока, ждавшего, когда же вся эта пытка кончится и можно будет двинуться домой, а до дома еще идти и идти. Говорили, что голубоватый и прозрачный взгляд был у тех, кто, как тогда говорили, ел, ел то, что человеку как бы есть и не полагается…

Рабочий переваливал комья земли, мать продолжала что-то бормотать, утешая себя и кого-то все время благодаря.

Вот и вся панихида,

Крест ставить было не только не по карману, но и бессмысленно: кресты нещадно крали на дрова, и поэтому место захоронения Анатолий обозначил бамбуковой лыжной палкой, на которую опирался, передвигаясь по городу; эта палка и позволила весной, хотя и с превеликим трудом, к радости уже изревевшейся Таточки, отыскать могилу.

Все, казалось бы, проще простого: пришло время, поставили крест, установили ограду, только в ограде не одна могила, а две — бабушкина и… Бори! И сколько раз мы ни пытались, и Сергей, и папа, объяснить маме, что Боря и бабушка в один день, в одном гробу, и все такое прочее — никакого результата.

Может быть, все дело в том, что холмик рядом с бабушкиной могилой никогда на нашей памяти креста не имел и никем не посещался, и ждала

его судьба множества других таких же холмиков, давным-давно сровнявшихся с землей. Это после войны приходилось отыскивать бабушкину могилу, подолгу бродя в довольно беспорядочном лабиринте крестов и могил, в зарослях крапивы и высоченной травы с метелками, а сейчас нашу могилу чуть не с дороги видно.

Однако еще до того, как у нас была установлена ограда, мама всегда этот соседний бугорок поднимала, прибирала, не давала ему осесть, а когда у бабушки крест заменили на новый, старый водрузили над безымянным соседним холмиком.

Кто под тем крестом лежит?

Татарин.

Иудей.

Эстонец.

Русский.

Мужчина.

Женщина.

Ребенок.

Смешно, конечно, но мама завела как бы свою собственную могилу «Неизвестного блокадника», утвердив этого неведомого нам жителя во всех правах на память и уход. Мы сами не заметили, как с легкой маминой руки стали именовать могилу «Борина». А мама уже шпыняла нас с Сергеем: «Что это вы, как свиньи, бабушкину могилу убрали, а Боря? Посмотреть страшно! Крапиву примяли, и все?»

Есть ли большая для мальчишек радость, чем доказать вечно правым и всесильным родителям их неправоту: «Какой Боря? Может быть, Федя? Может быть, Фекла? А может быть, Ибрагим-оглы?..» — и тут же смолкали, потому что мама ничего не говорила, не объясняла, не доказывала, даже не награждала нас достойными званиями, она просто начинала плакать, хотя и не так рыдательно, как в большом горе; плакала она, то ли скорбя по безымянному, то ли огорченная нашей тупостью. Но хуже всего, если она поднимала с земли какую-нибудь ни на что не годную щепочку или сучок и шла поправлять эту приблудившуюся могилку, нарочито показывая свою неумелость и тем разрывая наши сердца. И овладеть этим сучком или щепочкой можно было только со слезами раскаяния. Ну что ж оставалось делать, в слезах мы отбирали у мамы ее орудие скорби, усаживали ее на чурбачок, утешали и принимались поднимать, укреплять и обкладывать дерном выпавшую нам на долю лишнюю могилу.

Легкомысленные люди, пребывающие в надежде, а может быть, и уверенности в том, что в афоризме, в горстке слов может уместиться мудрость, объемлющая жизнь и смерть, изрекли:

«Une vie inutile est toujours trop longue».

«Жизнь бесполезная всегда слишком длинна».

Жизнь нашего Борьки с ноября сорок первого по четвертое февраля сорок второго была слишком длинна, раз она бесполезна?

Борька не сделал никому зла. Никому! Никого не обидел. Он был для мамы еще одним воплощением любимого ею человека, она хотела сына, именно так похожего на отца… Он стал нашей болью, нашей памятью…

«А польза. Какая от него польза?!»

Не верю, никогда не поверю, что щеголеватой фразой можно приоткрыть сокровенное в жизни, нет, жизнь серьезней, мудрее. И она, что в общем-то поразительно, умеет сопротивляться позерству и бессмыслице.

Если б не эта проклятая фразочка, в голову бы не пришло искать смысл в краткой жизни моего брата, но оскорбительное указание на ее

чрезмерную длину заставило увидеть эту коротенькую, как вспышка спички, жизнь с неожиданной стороны — со стороны ее безусловной *полезности,*

…Он умер маленьким, в его жизни только и было два события: рождение и смерть. А маленькие любят играть. И хотя игры ему и не по годам, но вот играет он с нами уже пятьдесят лет в придуманную им игру — игру «в могилу». Да и во что же еще ему играть, в его-то положении?

И совсем нельзя сказать, что эта «игра» бесполезна, в ней есть выигравший, есть выигравшие, а проигравший — он. Такую Борька затеял игру, а вы говорите «бесполезная жизнь… всегда длинна».

Пожалуйста.

Во-первых, выиграла бабушка, по сути дела спасенная Борькой от погребения во рву, в общей могиле. Именно он как полноправный житель Васильевского острова имел право на место на Смоленском кладбище: не будь его, с Таточкой и разговаривать бы не стали, а так именно бабушка, занимавшая доминирующее место в гробу, говоря словами приставленных к смерти конторщиков, «пошла на подхоронение».

Какой же камень Борька снял с наших душ, хватит с нас затерявшихся в неведомых могилах тети Берты, Ниночки, дяди Аркадия…

Одного этого было бы достаточно, чтобы заткнуть рот краснобаям.

Но это не все.

Валентина, наша двоюродная сестра, оказавшаяся тоже захлопнутой со своим техникумом в блокаде, и по сей день считает, что жива исключительно благодаря Борису, а ей семьдесят лет, и всю жизнь вся семья, весь дом был на плечах Валентины: и беспутный ее отец, и безответная мать, и брат с сестрой, хлебнувшие сначала фронта, а потом тюрьмы, и младший брат, так всю жизнь с тремя классами образования и проживший за спиной Валентины.

Можно сказать, конечно, что Валентине повезло: Боря умер в начале месяца, карточка его, по сути, не была еще отоварена, а мама как-то сумела ее не сдать и, уезжая, — а вскоре мы уехали — оставила племяннице.

На одну карточку двадцатилетней девушке в феврале было бы не выжить даже при том, что к январскому хлебу прибавили сто грамм; Валентину в райсовете приняли за старуху, когда пришла за эвакоталоном: подождите, бабуля, говорят. И если «бабуля» еще могла двигать ноги, так только потому, что у нее была Борина карточка. В январе даже скудные крохи крупы, жиров, мяса удалось получить далеко не всем, но февральскую норму еще в начале месяца обещали отоварить полностью. Для детей по карточкам обещали выдать рис и манку, по килограмму. Одно дело — перловка и совсем другое — рис! Борькин рис.

Но и это не все.

Когда идешь по центральной дорожке, прорезающей Блокадное кладбище с востока на запад, справа и слева под снежными плащаницами невысоко поднятые над землей длинные братские могилы. Перед каждым из этих довольно широких рвов на сваренных из железных прутьев подставках знакомые с детства белой эмали с черной надписью таблички: «Могила охраняется заводом им. Котлякова», следующая «…заводом им. Калинина», «…фабрикой им. Урицкого», «…больницей им. Слуцкой», «Балтийским заводом им. Орджоникидзе», «…трамвайным парком им. Леонова»…

Вот и у нас получилась могила безвестного мученика и страдальца, охраняемая как бы Бориным именем, именем, которое оказалось долговечней имен, отлученных от бессмертия, поскольку нынче для тех переполненных могил готовят новые таблички.

Ленинград мама не защищала и потому, естественно, медали «За оборону», в отличие от своих брата, сестры, племянника, племянницы и золовки, удостоена не была, а до лестного звания «ЖБЛ», «Житель блокадного Ленинграда», просто не дожила. Да и блокады ей досталось всего ничего, с сентября по февраль сорок первого — сорок второго годов. За считанные эти месяцы только и успела, что одного родить, троих похоронить и двоих спасти, то есть вывезти через Ладогу свою «гвардию»: одному «гвардейцу» не было трех, второму исполнилось четыре.

День прорыва блокады и день снятия блокады мама чтила свято, не так, как Пасху или 7 ноября, окна в квартире не мылись и полы не натирались, но в эти дни мама всегда была по-праздничному возбуждена, хлопотлива и готова к приему гостей, если кто заглянет.

Четвертое февраля, день смерти Бори и бабушки, маминой мамы, Ольги Алексеевны, также чтили свято, пеклись блины…

„РОДИНА СМОТРЕЛА НА МЕНЯ“

Стихи погибших на фронтах Великой Отечественной войны поэтов

Иосиф УТКИН
Евгений НЕЖИНЦЕВ
Михаил ТРОИЦКИЙ
Юрий ИНГЕ
Джек АЛТАУЗЕН
Елена ШИРМАН
Сергей РУДАКОВ
Владимир ЧУГУНОВ
Леонид ВИЛКОМИР
Борис КОСТРОВ
Алексей ЛЕБЕДЕВ
Юрий СЕВРУК
Владислав ЗАНАДВОРОВ
Валентин ШУЛЬЧЕВ
Всеволод ЛОБОДА
Давид КАНЕВСКИЙ
Леонид ШЕРШЕР
Иосиф ЛИВЕРТОВСКИЙ
Николай ОВСЯННИКОВ
Георгий УШКОВ
Михаил КУЛЬЧИЦКИЙ
Георгий СУВОРОВ
Евгений ПОЛЯКОВ
Александр ПОДСТАНИЦКИЙ
Всеволод БАГРИЦКИЙ
Борис БОГАТКОВ
Захар ГОРОДИССКИЙ
Леонид РОЗЕНБЕРГ
Виктор ЛУЗГИН

ПЕТЛИЦЫ

Не могли бы вы, сестрица,
Командиру услужить?
Не могли бы вы петлицы
На шинель мою нашить?
Может быть, вдали, в разлуке,
Невзначай взглянув на них,
Я с волненьем вспомню руки,
Нашивавшие мне их.
Сердцу станет так приятно!
...А когда война пройдет,
А когда меня обратно
К вам победа приведет,
Может быть, тогда, сестрица,
Уцелевшие в огне,
Эти скромные петлицы
Вам напомнят обо мне...

6 июля 1941

ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУСЬ, ДОРОГАЯ...

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — *другая.*
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю.
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!

1942

ИОСИФ ПАВЛОВИЧ УТКИН (1903–13.11.1944) родился на станции Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия, Китай, на КВЖД, которую строили его родители. Участвовал в Гражданской войне на Дальнем Востоке. Окончил институт журналистики в Москве, до войны был известным комсомольским поэтом. Добровольцем ушел на фронт, в сентябре 1941 г. тяжело ранен. Затем военный корреспондент, спецкор Совинформбюро, участвовал в боях. Многие его стихи положены на музыку. Возвращаясь с репортерского задания, погиб в авиакатастрофе недалеко от Москвы.

* * *

Лампы неуверенное пламя.
Непогодь играет на трубе.
Ласковыми, нежными руками
Память прикасается к тебе.
К изголовью тихому постели
Сердце направляет свой полет.
Фронтовая музыка метели
О тебе мне, милая, поет.
Ничего любовь не позабыла,
Прежнему по-прежнему верна:
Ранила ее, но не убила
И не искалечила война.
Помню все: и голос твой, и руки,
Каждый звук минувших помню дней!
В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней.
За войну мы только стали ближе.
Ласковей. Прямей. И оттого
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу
Встречи нашей нежной торжество.
Оттого и лампы этой пламя
Для меня так ласково горит,
И метель знакомыми словами
О любви так нежно говорит...

Апрель 1944

Евгений НЕЖИНЦЕВ

* * *

Пусть буду я убит в проклятый день войны,
Пусть первым замолчу в свинцовом разговоре,
Пусть... Лишь бы никогда не заглянуло горе
В твой дом, в твои глаза, в твои девичьи сны...
Пусть не осмелится жестокая рука
Черкнуть в письме, в скупой на чувства фразе,
Что ты в разорванном лежишь противогазе
И бьется локон твой у синего виска...

1941

ЕВГЕНИЙ САВВИЧ НЕЖИНЦЕВ (1904–9.04.1942) родился и вырос в Киеве, окончил Киевский политехнический институт. Работал инженером. Жил в Ленинграде. Кроме стихов переводил украинских, а также английских и французских поэтов. В июне 1941-го ушел добровольцем в народное ополчение, но заболел. Скончался в осажденном Ленинграде от голода.

Михаил ТРОИЦКИЙ

* * *

Застыли, как при первой встрече.
Стоят и не отводят глаз.
Вдруг две руки легли на плечи
И обняли, как в первый раз.
Все было сказано когда-то.
Что добавлять? Прощай, мой друг.
И что надежней плеч солдата
Для этих задрожавших рук?

1941

Юрий ИНГЕ

НА РЕДАН

Обгоняя скоростью мгновенья,
Прорывая яростно туман,
За кормой тугие волны вспенив,
Катера выходят на редан.
В туче брызг стремительною тенью
Головной уверенно идет,
У фашистов паника, смятенье…
Батареи мажут. Недолет!
Возникая, грозные во мраке,
Катера в один порыв слиты,
И гремит торпедная атака
Небывалым вихрем быстроты.
На редан! Стрекочут пулеметы,
И с предсмертным ревом «мессершмитт»
Падает в прибрежное болото
И, объятый пламенем, дымит.
Катера уходят. Перед ними
След подлодки тонкой бороздой,
И тогда еще неумолимей
Бомбы глухо рвутся под водой.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРОИЦКИЙ (1904–22.12.1941) родился в Петербурге, учился на архитектурном отделении Художественного промышленного техникума. Был чернорабочим, помощником машиниста. Поэт, переводчик. Автор пяти поэтических сборников; переводил грузинских поэтов. С 4 июля 1941 г. — на воинской службе. Командир минометного взвода. Погиб в бою под Ленинградом, в районе Невской Дубровки.

ЮРИЙ ИНГЕ (ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНГЕ) (1905–28.08.1941) — поэт, прозаик. Родился под Петербургом; учился в гимназии в Симферополе. Вернувшись в Петроград, работал на заводе. Выпустил несколько сборников стихов, писал и публиковал прозу, много путешествовал. Во время советско-финляндской войны был военно-флотским корреспондентом. В начале войны — сотрудник газеты «Красный Балтийский флот». Погиб на торпедированном судне «Вальдемарас» во время перехода кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

Дан приказ — кончать бомбометанье,
Курс на базу. Отдых до утра.
Боевое выполнив заданье,
В новый бой выходят катера.

1941

Джек АЛТАУЗЕН

РОДИНА СМОТРЕЛА НА МЕНЯ

Я в дом вошел, темнело за окном,
Скрипели ставни, ветром дверь раскрыло…
Дом был оставлен, пусто было в нем,
Но все о тех, кто жил здесь, говорило.
Валялся разный мусор на полу,
Мурлыкал кот на вспоротой подушке,
И разноцветной грудою в углу
Лежали мирно детские игрушки.
Там был верблюд, и выкрашенный слон,
И два утенка с длинными носами,
И Дед Мороз — весь запылился он,
И кукла с чуть раскрытыми глазами.
И даже пушка с пробкою в стволе,
Свисток, что воздух оглашает звонко,
А рядом, в белой рамке, на столе,
Стояла фотография ребенка…
Ребенок был с кудряшками, как лен,
Из белой рамки, здесь, со мною рядом,
В мое лицо смотрел пытливо он
Своим спокойным, ясным синим взглядом…
Стоял я долго, каску наклоня,
А за окном скрипели ставни тонко.
И Родина смотрела на меня
Глазами белокурого ребенка.
Зажав сурово автомат в руке,
Упрямым шагом вышел я из дома
Туда, где мост взрывали на реке
И где снаряды ухали знакомо.
Я шел в атаку, твердо шел туда,
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали.

1941

ДЖЕК (ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ) АЛТАУЗЕН (1907–27.05.1942) — поэт, журналист. Родился в Сибири в семье ссыльнопоселенца. С юности был дружен с Иосифом Уткиным. Учился в московском Литературно-художественном институте. Работал в газете «Комсомольская правда». С начала Великой Отечественной войны — корреспондент фронтовых газет. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб под Харьковом во время наступления наших войск.

Елена ШИРМАН

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

Эти стихи, наверно, последние.
Человек имеет право перед смертью высказаться.
Поэтому мне ничего больше не совестно.
Я всю жизнь пыталась быть мужественной,
Я хотела быть достойной твоей доброй улыбки
Или хотя бы твоей доброй памяти.
Но мне это всегда удавалось плохо,
С каждым днем удается все хуже,
А теперь, наверно, уже никогда не удастся.
Вся наша многолетняя переписка
И нечастые скудные встречи —
Напрасная и болезненная попытка
Перепрыгнуть законы пространства и времени.
Ты это понял прочнее и раньше, чем я.
Потому твои письма, после полтавской встречи,
Стали конкретными и объективными,
как речь докладчика,
Любознательными, как викторина,
Равнодушными, как трамвайная вежливость.
Это совсем не твои письма.
Ты их пишешь, себя насилуя,
Потому они меня больше не радуют,
Они сплющивают меня, как молоток шляпку гвоздя.
И бессонница оглушает меня, как землетрясение.
...Ты требуешь от меня благоразумия,
Социально значимых стихов и веселых писем,
Но я не умею, не получается...
(Вот пишу эти строки — и вижу,
Как твои добрые губы искажает недобрая
«антиулыбка»,
И сердце мое останавливается заранее.)
Но я только то, что я есть, —
не больше, не меньше:
Одинокая, усталая женщина тридцати лет,
С косматыми волосами, тронутыми сединой,
С тяжелым взглядом и тяжелой походкой,
С широкими скулами и обветренной кожей,
С резким голосом и неловкими манерами,
Одетая в жесткое коричневое платье,
Не умеющая гримироваться и нравиться.

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ШИРМАН (1908–1942) — журналистка; фольклористка. Окончила Ростовский педагогический институт. В 1937–1941 гг. училась в Литературном институте (семинар Ильи Сельвинского). С конца 1941 года — редактор ростовского боевого сатирического листка «Прямой наводкой». Незадолго до оккупации Ростова немецкими войсками (24 июля 1942 г.) вышел ее маленький поэтический сборник «Бойцу Н-ской части». Вскоре вместе с сотрудниками Ростиздата и родителями покинула Ростов. Группа была схвачена гитлеровцами. При обыске у Елены нашли редакционные материалы, и по распоряжению гестапо она вместе с родителями была расстреляна.

И пусть мои стихи нелепы, как моя одежда,
Бездарны, как моя жизнь,
как все чересчур прямое и честное,
Но я только то, что я есть.
И я говорю, что думаю:
Человек не может жить, не имея завтрашней радости,
Человек не может жить, перестав надеяться,
Перестав мечтать хотя бы о несбыточном.
Поэтому я нарушаю все запрещения
И говорю то, что мне хочется,
Что меня наполняет болью и радостью,
Что мне мешает спать и умереть.
...Весной у меня в стакане стояли цветы земляники,
Лепестки у них белые
с бледно-лиловыми жилками,
Трогательно выгнутые, как твои веки.
И я их нечаянно назвала твоим именем.
Все красивое на земле
мне хочется называть твоим именем:
Все цветы, все травы,
все тонкие ветки на фоне неба,
Все зори и все облака
с розовато-желтой каймою —
Они все на тебя похожи.
Я удивляюсь, как люди не замечают твоей красоты,
Как спокойно выдерживают твое рукопожатье,
Ведь руки твои — конденсаторы счастья,
Они излучают тепло на тысячи метров,
Они могут растопить арктический айсберг...
Но мне отказано даже в сотой калории:
Мне выдаются плоские буквы в бурых конвертах,
Нормированные и обезжиренные, как консервы,
Ничего не излучающие и ничем не пахнущие.
(Я то, что я есть, и я говорю, что мне хочется.)
...Как в объемном кино,
ты сходишь ко мне с экрана,
Ты идешь по залу, живой и светящийся,
Ты проходишь сквозь меня, как сновидение,
И я не слышу твоего дыхания.
...Твое тело должно быть подобно музыке,
Которую не успел написать Бетховен,
Я хотела бы день и ночь осязать эту музыку,
Захлебнуться ею, как морским прибоем.
(Эти стихи последние,
и мне ничего больше не совестно.)
Я завещаю девушке, которая будет любить тебя:
Пусть целует каждую твою ресницу в отдельности,
Пусть не забудет ямочку за твоим ухом,
Пусть пальцы ее будут нежными, как мои мысли.
(Я то, что я есть, и это не то, что нужно.)
...Я могла бы пройти босиком до Белграда,
И снег бы дымился под моими подошвами,
И мне навстречу летели бы ласточки,
Но граница закрыта, как твое сердце,
Как твоя шинель, застегнутая на все пуговицы.

И меня не пропустят.
Спокойно и вежливо
Меня попросят вернуться обратно.
А если буду, как прежде, идти напролом,
Белоголовый часовой
поднимет винтовку,
И я не услышу выстрела —
Меня кто-то как бы негромко окликнет,
И я увижу твою голубую улыбку совсем близко,
И ты — впервые — меня поцелуешь в губы.
Но конца поцелуя я уже не почувствую.

1941

Сергей РУДАКОВ

31 АВГУСТА

Как судьбу косматую отрину,
Огоньки сгоню с болот.
Год назад я потерял Марину
И не знал об этом целый год.
Происшедшее теперь яснее,
Объяснимей лютый смысл утрат:
Сам того не зная, с нею
Я утратил милый Ленинград.
И когда, с высот склоняясь, в очи
Смотрят звезды бархатных очей,
Я утратил средь кромешной ночи
Зной и негу киевских ночей.
И еще — спасите, люди, люди! —
Боль и холод каменных сердец —
Залпы собственных орудий
Царскосельский ранили дворец.
Новое свершается крещенье
Той неравной танковой войны.
А в тебе и слезы, и прощенье,
Нежная, погибшая за ны…

< Июль — сентябрь 1942>

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ РУДАКОВ (1909–15.01.1944) родился в Воронеже; сын генерал-майора русской императорской армии, участника Первой мировой войны и Белого движения, расстрелянного большевиками вместе с сыновьями, старшими братьями Рудакова. После долгих мытарств смог все же окончить в 1941 г. заочное отделение Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде. Филолог, один из первых исследователей творчества Осипа Мандельштама. С начала войны служил в морской пехоте на Ленинградском фронте, лейтенант, был тяжело ранен и контужен. Находясь на нестроевой службе, в 1943 г. был осужден за попытку помочь другу-толстовцу получить отсрочку от призыва и вновь отправлен на фронт. Погиб под Могилевом. Упоминаемая в стихах Марина — разумеется, Марина Цветаева, творчеством и личностью которой Рудаков был увлечен.

* * *

Э. <мме > Г. <ерштейн>

То кладбище Марьиной Рощи,
Где нынче всеобуча пункт,
Имеет разрыхленный грунт,
В нем влажные, тленные мощи.
А зелень здесь, будто на даче.
По пояс учебный окоп
Копает боец. Но задаче
Мешает откопанный гроб.
Бежать мне от смерти куда?
По совести — больше не надо:
Вперед на большие года
Довольно смертей Ленинграда.
Меня-то какие причины
От смерти спасали в бою?
В Москве я. О смерти Марины
За чаем от вас узнаю.
Вот — о совпаденьях рассказ.
Что в жизни случайностей проще:
Ее — я услышал от вас —
Вы видели в Марьиной Роще.

Июль — сентябрь 1942. Марьина Роща

* * *

Мне опять готовиться в дорогу
В те края, где выстрелы и снег.
Стало быть, воинственному богу
Нужен беспокойный человек.
Белую, ямщицкую равнину
Песней наполняет ветерок:
— Я не скоро этот мир покину,
Мне еще не выпал срок.
На снегу не красною, а черной
Кажется пролившаяся кровь.
Никогда веселой и покорной
Для любимой не была любовь.
Сколько по сугробам ни броди,
Стежка оборвется где-нибудь.
Доброй памятью меня прости,
Сердцем ласковым — не позабудь.

4–6 ноября 1943

СВЕТЛАНА

Я друзей обманывать не стану:
Сердце не грубеет на войне —
Часто дочь, трехлетняя Светлана,
Мысленно является ко мне.
Теплая и нежная ручонка
Норовит пойматься за рукав…
Что скажу я в этот миг, ребенка
На коленях нежно приласкав?
Что не скоро я вернусь обратно,
А, возможно, вовсе не вернусь?..
Так закон диктует в поле ратном:
«Умирая, все-таки не трусь!»
Может быть, в журнале иль газете,
Желтых от событий и времен,
Дочь моя, читая строки эти,
Гордо скажет: «Храбро умер он!..»
А еще приятней, с нею вместе
Этот стих короткий прочитав,
Говорить о долге славе, чести,
Чувствуя, что был тогда ты прав.
Я друзей обманывать не стану:
Сердце не грубеет на войне —
Часто дочь, трехлетняя Светлана,
Мысленно является ко мне.

1943

* * *

Все распри сводятся на нет
Артиллерийской перестрелкой.
Сияет ярче дружбы свет,
И места нет корысти мелкой.
Мы в дни войны сошлись втроем —
Равно бедны, равно богаты
Грустим, смеемся и поем
Под потолком крестьянской хаты.
А завтра в бой!
Быть может, смерть
Свершит над кем-нибудь расправу.
Он упадет на землю в травы,

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЧУГУНОВ (1911–5.07.1943) родился и жил в Сибири; окончил Анжерское горное промышленное училище. Стихи писал с детства; широко печатался в сибирских изданиях, но профессионально работал в горнодобывающей промышленности. Добровольцем ушел на фронт, лейтенант, командовал стрелковым взводом. Погиб во время боев на Курской дуге.

Но жаворонок будет петь,
Цвести ромашки, незабудки
И многодумный лес шуметь…
С судьбой теперь плохие шутки:
Здесь очень просто умереть.
И если первым буду я
Судьбой отвергнут от событий,
То вы, товарищи-друзья,
Меня в час встречи вспомяните.
А коль возьму над жизнью власть,
Ток животворных сил почуя,
Всю поэтическую страсть
В четыре строчки заключу я.

1 мая 1943
с. Первомайское

Леонид ВИЛКОМИР

* * *

Мы победим. Мои — слова,
Моя — над миром синева,
Мои — деревья и кусты,
Мои — сомненья и мечты.
Пусть на дыбы встает земля,
Вопит, и злобствует, и гонит —
Меня к своим ногам не склонит,
Как в бурю мачты корабля.
Я буду жить, как я хочу:
Свободной птицею взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту,
В пустынях разолью водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу.
Я — человек, я — все могу!

1941

ЛЕОНИД ВУЛЬФОВИЧ ВИЛКОМИР (1912–19.07.1942) родился в Бухаре. Работал газетным репортером. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. С 1938 г. служил в газете «Красная звезда»; после начала войны стал ее корреспондентом. Летал на боевых самолетах как стрелок-радист, входил в состав танковых экипажей. По собственной просьбе участвовал в выполнении боевого задания на штурмовике в качестве стрелка-радиста и погиб в небе близ Новочеркасска.

В РАЗВЕДКЕ

Во фляге — лед.
Сухой паек.
Винтовка, пять гранат.
И пули к нам наискосок
Со всех сторон
Летят.
Быть может, миг —
И Тронет сердце
Смерть.
Нет, я об этом не привык
Писать стихи
И петь.
Я говорю,
Что это бред!
Мы всех переживем,
На пик немеркнущих побед,
На пик судьбы
Взойдем!
А то, что день
И ночь — в бою,
Так это не беда.
Ведь мы за Родину свою
Стоим горой
Всегда!
Винтовка, пять гранат.
Пурга.
Рвет флягу синий лед.
Непроходимые снега,
Но путь один —
Вперед!

1942

ПОСЛЕ БОЯ

Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена…
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.
Шепчу: «Товарищ, ты бы лег

БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ КОСТРОВ (1912–март 1945) родился в Петербурге. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В первые дни войны добровольцем ушел на фронт. Солдатом воевал под Ленинградом, на Карельском, Калининском фронтах. Был трижды ранен. После окончания танкового училища в звании младшего лейтенанта вернулся в действующую армию, командовал самоходным орудием. При штурме Крейцбурга (Восточная Пруссия) был тяжело ранен и вскоре умер. Похоронен в братской могиле на центральной площади города. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

И отдохнул, солдат;
Ты накормил, как только мог,
Вернувшихся назад.
Ты не поверил нам. Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель. И не найдешь
На небе ни звезды.
Твоей заботе нет цены,
Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад».

1943

* * *

Когда в атаке отгремит «ура»,
В ночи звезда скользнет
по небосводу, —
Мне кажется, что ты еще вчера
Смотрела с моста каменного в воду.
О чем, о чем ты думала в тот миг?
Какие мысли сердце полонили?
Окопы. Ночь. Я ко всему привык,
В разведку мы опять сейчас ходили.
Но как до счастья далеко! Река
Бежит на запад по долине смело,
А то, что шлем прострелен у виска,
Так это ведь обыденное дело.

1944

* * *

Красный крест на сумке цвета хаки,
Где они, твои шестнадцать лет?
До войны с тобой на «ты» не всякий
Говорить осмелился б поэт…
А теперь сидим мы вот и курим,
Под рукой у каждого наган…
Помню, как-то в огненную бурю
Первая моих коснулась ран.
Я не знал тебя тогда, Мария,
Но, прощаясь с жизнью, может быть,
Обнял землю и сказал: «Россия,
Ты ее не можешь позабыть».
Ну, а дальше — белая палата
Да повязки тяжкие в крови,
В темной биографии солдата
Светлая страница о любви.
Что еще? Про ненависть и славу
До зари беседа, а потом
Наизусть читаешь ты «Полтаву»,

Битвы вспоминаешь под Орлом.
Да меня украдкой даришь взглядом,
Дым табачный гонишь от лица…
Так всю ночь. И все за то, чтоб рядом
Быть со мною вечно. До конца.

1944

Алексей ЛЕБЕДЕВ

ТЕБЕ

Мы попрощаемся в Кронштадте
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду серый катер,
Раскалывая рябь винтом.
Под облаком косою тенью
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдаленье
Твоя простертая рука.
Опять шуметь над морем флагу,
И снова, и суров, и скуп,
Балтийский ветер сушит влагу
Твоих похолодевших губ.
…И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас —
Не плачь: мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать, —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.
Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

Август 1941

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ (1912–ноябрь 1941) родился в Суздали, детство прошло в Костроме. С ранних лет мечтал стать моряком. Был матросом промышленно-торгового флота, служил в ВМФ. Окончил Высшее военно-морское училище в Ленинграде. Печатался с 1933 г. Автор двух стихотворных книг. В начале Отечественной войны — штурман подводной лодки, лейтенант. Осенью подводная лодка Л-2, на которой служил поэт, при выполнении боевого задания в Финском заливе взорвалась при столкновении с миной. Весь экипаж погиб.

НА ДНЕ

Лежит матрос на дне песчаном
Во тьме зелено-голубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой,
А здесь ни грома и ни гула…
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником.
Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты
И прямо вверх устремлены.
Как будто в мертвенном покое,
Тоской суровою томим,
Он помнит о коротком бое,
Жалея, что расстался с ним.

1941

Юрий СЕВРУК

ЖУРАВЛИ

Высоко над ямами и рвами
Раненой, истерзанной земли,
Вешний воздух бороздя крылами,
Через фронт летели журавли.
Словно стая наших самолетов
Проплыла равниной голубой.
Немцы из зенитных пулеметов
Прострочили небо над собой.
Не несет весна удачи фрицам,
Дни идут, а наш напор жесток.
Вот и позавидовали птицам,
Их прямой дороге на восток.
Прямо к солнцу поднимаясь круто,
Вражьему огню наперерез,
Пронеслись, не изменив маршрута,
Вольные кочевники небес.
Улыбаясь, мы на птиц взглянули.
Не для них наш припасен свинец:
Немцу предназначенную пулю
В журавля не выпустит боец.
Пусть себе кочуют на свободе
И приветным криком говорят:

ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ СЕВРУК (1912–1944) — литературный критик, автор статей о советской поэзии. С 1941 г. служил в армейской газете. Погиб во время боевых действий по освобождению Эстонии.

«С доброй вестью к вам весна приходит
С доброй вестью журавли летят!»
От врага опять ушла добыча.
Скрылись в затуманенной дали,
Громко, торжествующе курлыча,
Трубачи победы — журавли.

19 апреля 1943

Владислав ЗАНАДВОРОВ

КУСОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Кусок земли, он весь пропитан кровью.
Почернел от дыма плотный мерзлый снег.
Даже и привыкший к многословью,
Здесь к молчанью привыкает человек.
Впереди лежат пологие высоты,
А внизу — упавший на колени лес.
Лбы нахмурив, вражеские дзоты
Встали, словно ночь, наперерез.
Смятый бруствер. Развороченное ложе.
Угол блиндажа. Снаряды всех смели.
Здесь плясала смерть, но нам всего дороже
Окровавленный кусок чужой земли.
Шаг за шагом ровно три недели
Мы вползали вверх, не знавшие преград.
Даже мертвые покинуть не хотели
Этот молньей опаленный ад.
Пусть любой ценой, но только бы добраться,
Хоть буравя снег, но только б доползти,
Чтоб в молчанье страшно и жестоко драться,
Все, как есть, сметая на своем пути.
Под огнем навесным задержалась рота,
Но товарищ вырвался вперед…
Грудью пал на амбразуру дота —
Сразу кровью захлебнулся пулемет!
Мы забыли все… Мы бились беспощадно…
Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,
Не жалея жизни, чтобы взять обратно
Развороченный кусок родной земли.

1941–1942

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ ЗАНАДВОРОВ (1914–22.11.1942) родился в Перми. Был геологом, окончил с отличием геологический факультет университета в Екатеринбурге (тогда Свердловск). Писал стихи и прозу. В звании лейтенанта командовал подразделением минометчиков. Погиб смертью храбрых в бою в Ростовской области.

ВОЙНА

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это — изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это — боль головная, что ломит висок;
Это — юность моя, что в окопах истлела;
Это — грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это — кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это — в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье —
Под разрывы снарядов, при вспышках гранат —
Беззаветная гибель на поле сраженья.

1942

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Лишь губами одними,
бессвязно, все снова и снова
Я хотел бы твердить,
как ты мне дорога…
Но по правому флангу,
по славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь
открывают орудья врага.
Но враги просчитались:
не наши — фашистские кости
Под косыми дождями
сгниют на ветру без следа,
И леса зашумят
на обугленном черном погосте,
И на пепле развалин
поднимутся в рост города.
Мы четвертые сутки в бою,
нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились,
и фланг у реки оголен…
Но тебе я признаюсь,
что принято мною решенье,
И назад не попятится
вверенный мне батальон!
…Ты прости, что письмо,
торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка — дневник
и как штурман — журнал…
Вот опять начинается…
Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится
огнем начиненный металл?

Но со связкой гранат,
с подожженной бутылкой бензина
Из окопов бойцы
выползают навстречу ему.
Это смерть пробегает
по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся
танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день
начинают они наступление,
Пятый раз в этот день
поднимаю бойцов я в штыки,
Пятый раз в этот день
лишь порывом одним вдохновения
Мы бросаем врага
на исходный рубеж у реки!
В беспрестанных сраженьях
ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше
скуластые лица бойцов…
…Вот сейчас предо мной
на помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный
лежит лейтенант Кузнецов.
Он останется в памяти
юным, веселым, бесстрашным,
Что любил по старинке
врага принимать на картечь.
Нам сейчас не до слез —
над товарищем нашим
Начинают орудья
надгробную гневную речь.
Но вот смолкло одно,
и второе уже замолчало,
С тылом прервана связь,
а снаряды приходят к концу…
Но мы зря не погибнем!
Сполна мы сочтемся сначала.
Мы откроем дорогу
гранате, штыку и свинцу!..
Что за огненный шквал!
Все сметает…
Я ранен вторично…
Сколько времени прожито:
сутки, минута ли, час?
Но и левой рукой
я умею стрелять на «отлично»…
Но по-прежнему зорок
мой кровью залившийся глаз…
Снова лезут! Как черти,
но им не пройти, не пробиться.
Это вместе с живыми
стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям
вовек не придется стыдиться,
Не придется вовек им

украдкой краснеть за отца!..
Я теряю сознанье…
Прощай! Все кончается просто.
Но ты слышишь, родная,
как дрогнула разом гора!
Это голос орудий
и танков железная поступь,
Это наша победа
кричит громовое «ура».

1942

Валентин ШУЛЬЧЕВ

ДОРОГА НА ЗАПАД

Над просторной рекой пробегала дорога
Мимо зарев и рваной трепещущей мглы,
И над нею маячили хмуро и строго
Переломанных сосен кривые стволы.
Там валялись разбитые смятые танки,
Пушки немо, как бревна, лежали вразброс.
И над талой землей громоздились останки
Обгорелых лафетов, цепей и колес.
И над сталью, над башен косыми углами,
Над деревьями, сбитыми в тесный привал,
Умирало тяжелое мутное пламя.
И, чадя, раскаленный металл остывал.
Дым качался и падал в окопы и щели,
И по выжженным рощам стелился, космат.
И в далекое небо сурово глядели
Неподвижные лица немецких солдат.
Так вершится итог и кончаются сроки,
И разбитое судно садится на мель.
И просторной могилой земля на востоке
Обернулась любителям новых земель.
Так приходит расплата за кровь и за слезы.
Шла пехота вперед, приминая снега,
И на запад советские шли бомбовозы,
И советские танки теснили врага.
И уже на шоссе, на лесные поляны,
Покидая овраги, болота, кусты,
Выходили из дымных лесов партизаны
И над ними знамен загорались цветы.

<1943>

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ШУЛЬЧЕВ (1914–февраль 1943) — журналист, поэт. Учился в Воронежском педагогическом институте, затем преподавал в средней школе. С первых дней войны — в действующей армии. Попал в плен под Харьковом, после нескольких неудачных попыток смог бежать. С начала 1942 г. — в партизанском отряде. В бою под селом Меркуловка Курской области погиб, спасая раненого товарища.

Всеволод ЛОБОДА

НАЧАЛО

Лес раскололся тяжело,
Седой и хмурый.
Под каждым деревом жерло
Дышало бурей…
Стволам и людям горячо,
Но мы в азарте.
Кричим наводчикам:
«Еще,
Еще ударьте!..»
Дрожит оглохшая земля.
Какая сила
Ручьи, и рощи, и поля
Перемесила!
И вот к победе прямиком,
За ротой рота,
То по-пластунски,
То бегом
Пошла пехота.

13 сентября 1944

Давид КАНЕВСКИЙ

ФЕВРАЛЬ

Снега, снега… В полях бушует вьюга —
Еще сильны законы февраля.
Но погляди: воспрянула земля
От Севера до солнечного Юга.
Огня и льда преодолев преграды,
Немецкой черной злобе вопреки,
Идут вперед железные полки,
Плывут к Днепру знамена Сталинграда.

1943

ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ ЛОБОДА (1915–16.10.1944) родился в Киеве. Был рабочим, журналистом; учился в Литературном институте им. А. М. Горького. На войну ушел добровольцем. Был пулеметчиком, воевал под Ленинградом, Старой Руссой, Великими Луками. Некоторое время служил в дивизионной газете. Погиб при прорыве обороны на реке Айвиексте под городом Добеле в Прибалтике.

ДАВИД ИСААКОВИЧ КАНЕВСКИЙ (1916–26.12.1944) родился на Полтавщине. Работал слесарем в Харькове, учился на историческом факультете университета. Писал на украинском и русском (большинство фронтовых стихотворений) языках. Ушел добровольцем в армию, служил корреспондентом в газете «Мужество». Погиб в одном из воздушных боев над Будапештом, выполняя задание редакции.

ВЕТЕР ОТ ВИНТА

Как давно нам уже довелось фронтовые петлицы
Неумелой рукой к гимнастерке своей пришивать!
Золотые, привыкшие к синему птицы
По защитному небу легко научились летать.
Хоть клянусь не забыть — может, все позабуду на свете,
Когда час вспоминать мне о прожитых днях подойдет,
Не смогу лишь забыть я крутой и взволнованный ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Не сумею забыть этот ветер тревожной дороги,
Как летит он, взрываясь над самой моей головой,
Как в испуге ложится трава молодая под ноги
И деревья со злостью качают зеленой листвой.
Фронтовая судьба! Что есть чище и выше на свете!
Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдает
Бескорыстный, прямой, удивительной ясности ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Тот, кто раз ощущал его сердцем своим и душою, —
Тот бескрылым не сможет ходить никогда по земле,
Тот весь век называет своею счастливой звездою
Пятикрылые звезды на синем, как небо, крыле.
И куда б ни пошел ты — он всюду проникнет и встретит,
Он могучей рукою тебя до конца поведет —
Беспощадный, упрямый в своем наступлении ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог,
Если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог.
А когда я умру и меня повезут на лафете,
Как при жизни, мне волосы грубой рукой шевельнет
Ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер
От винта самолета, идущего в дальний полет.

1942

ЛЕОНИД РАФАИЛОВИЧ ШЕРШЕР (1916–30.08.1942) родился в Одессе. Стихи писал с детства. Окончил Московский институт истории, философии и литературы (ИФЛИ) в 1940 г. и был призван в армию. С августа 1941-го — военный корреспондент газеты авиации дальнего действия «За правое дело». Одновременно как стрелок-радист участвовал в боевых вылетах. Погиб во время выполнения боевого задания.

Иосиф ЛИВЕРТОВСКИЙ

ПАПИРОСЫ

Я сижу с извечной папиросой,
Над бумагой голову склоня,
А отец вздохнет, посмотрит косо —
Мой отец боится за меня.
Седенький и невысокий ростом,
Он ко мне любовью был таков,
Что убрал бы, спрятал папиросы
Магазинов всех и всех ларьков.
Тут же рядом, прямо во дворе,
Он бы сжег их на большом костре.
Но, меня обидеть не желая,
Он не прятал их, не убирал…
Ворвалась война, война большая.
Я на фронт, на запад уезжал.
Мне отец пожал впервые руку.
Он не плакал в длинный миг разлуки.
Может быть, отцовскую тревогу
Заглушил свистками паровоз.
Этого не знаю.
Он в дорогу
Подарил мне пачку папирос.

1942

Николай ОВСЯННИКОВ

МАЙ 1941–МАЙ 1942 ГОДА

В том мае мы еще смеялись,
Любили зелень и огни.
Ни голос скрипок, ни рояли
Нам не пророчили войны.
Мы не догадывались, споря
(Нам было тесно на земле),
Какие годы и просторы
Нам суждено преодолеть.
Париж поруганный и страшный,
Казалось, на краю земли,
И Новодевичьего башни
Покой, как Софью, стерегли.

ИОСИФ МОИСЕЕВИЧ ЛИВЕРТОВСКИЙ (1918–лето 1943) родился в Днепропетровске. Окончил Омский педагогический институт. Писал стихи, занимался переводами с немецкого. С 1942 г. — на фронте, сержант, командир артиллерийского расчета, затем стрелкового отделения. Погиб под Орлом в Орловско-Курском сражении.

НИКОЛАЙ ОВСЯННИКОВ (1918–1942) учился в Московском институте истории, философии и литературы (ИФЛИ). Погиб под Сталинградом.

И лишь врасплох, поодиночке,
Тут бред захватывал стихи,
Ломая ритм, тревожа строчки
Своим дыханием сухим.
Теперь мы и схожей, и старше,
Теперь в казарменной ночи
На утренний подъем и марши
Тревогу трубят трубачи.
Теперь, мой друг и собеседник,
Романтика и пот рубах
Уже не вымысел и бредни,
А наша трудная судьба.
Она сведет нас в том предместье,
Где боя нет, где ночь тиха,
Где мы, как о далеком детстве,
Впервые вспомним о стихах.
Пусть наша юность не воскреснет,
Траншей и поля старожил!
Нам хорошо от горькой песни,
Что ты под Вязьмою сложил.

1942

Георгий УШКОВ

* * *

У нас уже с деревьев на ветру
Ковром шушинским пала позолота,
И голубой порошей поутру
Затягивает желтые болота.
Я гость здесь, в этой хмурой стороне,
Но, солнечный товарищ мой далекий,
Мне с каждым днем становятся родней
И эти непроезжие дороги.
И трупы сломанных войной берез,
И боль еще дымящихся развалин,
И дети в них, печальные до слез,
И деревень старинные названья.
Товарищ мой, рассвет еще далек,
Кусочек неба звездами украшен,
В немецкой фляжке тлеет фитилек,
И жадно спят бойцы, устав на марше.
Еще немало дней нам глину мять,
Шинелей не снимать в походе длинном, —
Чтоб в стороне чужой чужая мать
Меня, прижав к груди, назвала сыном.

2 октября 1943
Западный фронт

ГЕОРГИЙ УШКОВ (1918–1944), погиб на фронте.

* * *

Я вижу красивых вихрастых парней,
Что чехвостят казенных писак.
Наверно, кормильцы оконных вшей
Интендантов честили так.
И стихи, что могли б прокламацией стать
И свистеть, как свинец из винта,
Превратятся в пропыленный инвентарь
Орденов, что сукну не под стать.
Золотая русская сторона!
Коль снарядов окончится лязг,
Мы вобьем в эти жерла свои ордена,
Если в штабах теперь не до нас.

1941

* * *

Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: лейтенант
Звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда — черна от пота — вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чеботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.

26 декабря 1942 года
Хлебниково — Москва

МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ КУЛЬЧИЦКИЙ (1919–19.01.1943) родился в Харькове. Писал на русском и украинском языках. Учился в Харьковском университете, затем в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар Ильи Сельвинского). Добровольцем ушел в армию и после окончания пулеметно-минометного училища в звании младшего лейтенанта в декабре 1942 г. отбыл на фронт. Погиб в бою под Сталинградом.

* * *

Капитану Строилову

Спуская лодки на Неву, мы знали,
Что немцы будут бить из темноты,
Что грудью утолим мы голод стали
И обагрим свинцовых волн хребты,
Что будут жадно резать пулеметы
Струею алой злую стену тьмы…
Мы это твердо знали, оттого-то
За левый берег зацепились мы.
И, оттеснив врага от волн полночных,
Мы завязали с ним гранатный бой.
Мы твердо знали. Да, мы знали точно —
Победу нам дает лишь кровь и боль.

<1943>

* * *

Полковнику Подлуцкому

Над лесом взмыла красная ракета,
И дрогнуло седое море мглы.
Приблизили багровый час рассвета
Орудий вороненые стволы.
От грохота раскалывались тучи,
То опускаясь, то вздымаясь вверх,
Через Неву летел огонь гремучий —
И за Невою черной смертью мерк.
И так всю ночь, не ведая покоя,
Мы не гасили грозного огня.
И так всю ночь, за русскою Невою
Земля горела, плавилась броня.
И так всю ночь гремели батареи,
Ломая доты за рекой во рву, —
Чтоб без потерь, стремительней, дружнее
Пехота перешла через Неву.
Чтобы скорее в схватке рукопашной
Очистить дорогие берега,
Чтоб, растопив навеки день вчерашний,
Встал новый день над трупами врага.

<1943>

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ СУВОРОВ (1919–февраль 1944) родился в Енисейской губернии (ныне Красноярский край). Окончил педагогический техникум, работал учителем. С первых дней войны в действующей армии. Служил в дивизии генерала Панфилова. В бою под Ельней был ранен. С весны 1942 г. — участник боевых действий на Ленинградском фронте. Гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей. Смертельно ранен при отражении контратаки немецких танков на переправе через реку Нарова.

МЕСТЬ

Мы стали молчаливы и суровы,
Но это не поставят нам в вину.
Без слова мы уходим на войну
И умираем на войне без слова.
Всю нашего молчанья глубину,
Всю глубину характера крутого
Поймут как скорбь по жизни светлой, новой,
Как боль за дорогую нам страну.
Поймут как вздох о дорогом рассвете,
Как ненависть при виде вражьих стад…
Поймут — и молчаливость нам простят.
Простят, услышав, как за нас ответят
Орудия, винтовки, сталь и медь,
Сурово выговаривая слово: «Месть!»

<1943>

* * *

Мы тоскуем и скорбим.
Слезы льем от боли…
Черный ворон, черный дым,
Выжженное поле…
А за гарью, словно снег,
Ландыши без края…
Рухнул наземь человек, —
Приняла родная.
Беспокойная мечта,
Не сдержать живую…
Землю милую уста
Мертвые целуют.
И уходит тишина…
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.

<1944>

О ЗВЕЗДАХ

Как горький черный кофе,
я пил предчувствие ночи
и не знал, придется ли
встретить еще раз свет,
и если я был растрепан,
и если я был всклокочен,
то это я был случайно
последней звездой задет.
Она упала,
и мало рассыпалось блесток,
а те, что подмигивали мне
еще в Москве —
у Каменного моста,
померкли в синей трясине.
И небо раскинулось
в виде негра —
сплошная темень—
хоть бы одно пятно,
и земля от траншей —
спина зебры,
и все это было — одно.
Только на горизонте
пара звезд
зоркость свою не утратили,
и как одна,
так и другая,
смотрели долго, не мигая,
мудро,
как глаза
матери.

1942

ЕЩЕ О ЗВЕЗДАХ

Меня никто не провожал,
не согревал никто вагонного стекла,
когда луна, как лезвием ножа,
последний вздох мой
у горла пресекла.
И я остался не дыша —
один.
А может, нет.

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОЛЯКОВ (1920–25.10.1942) родился в Москве. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Ушел на фронт добровольцем, служил военным переводчиком в звании техника-интенданта 2-го ранга. Погиб в Сталинграде на территории Тракторного завода.

Звезда еще одна,—
она заботлива, как мать,
и верить ли?
Кто мог сказать:
«Смотри, родной, не упади».
Я шапку снял
и встал на цыпочки,
чтоб видеть говорящую звезду,
а ветер взял и небо выпачкал,
и я не видел говорящую звезду.
А ветер взвыл
от непосильной тяжести
еще носить беду
в сорок втором году.
И на шапке
я нащупал, кажется,
ту самую Звезду.

1942

* * *

Я хочу, чтоб ты думала обо мне,
ночи думала обо мне,
ночи бредила во сне
и думала, думала обо мне.
Я тебя очень любил весной,
когда захлебывались занавески,
и вечер, как густой настой,
до тошноты поил,
в глазах двоил,
а я стоял один
на площади на той,
на Пушкинской
(на бывшей на Страстной),
и говорить мне было
не с кем.
О! Ты в те года была горда.
О! Ты в те года не ведала войну.
И я теперь, любимая,
иду по городам,
любимая,
я именем твоим по городам
окрапливаю тишину.
Но только тишина
приходит очень редко
сквозь минометный гул
и самолетный гуд,
и даже в тишине
на самой тонкой ветке
нас меткие кукушки стерегут.
И, может, в этот час
я получу такую рану,
что сердце остановится

в затянутом ремне,
и я к обеду
неожиданно нагряну,
когда подумаешь ты только
обо мне.

1942

Александр ПОДСТАНИЦКИЙ

* * *

А. Лебедеву

Когда моряк уходит в плаванье,
Он счастлив, потому что вновь
В кильватер с ним уйдет из гавани
Знакомой девушки любовь.
И на просторах закипающих,
Как там вчера, на берегу,
Она ласкает ободряюще
И просит мщения врагу.
Когда ревет мотор: «Внимание!» —
Все ждут приказа в бой лететь,
Как хочет летчик на прощание
В глаза любимой поглядеть!
В полете мерят жизнь минутами,
Но нет — ему не тяжело,
Лишь только б с ним, его маршрутами,
Летело девичье тепло.
Стоянки моряков обычные —
Суда врага, развеяв в дым,
Они дорогами привычными
Приходят к гаваням родным.
Величьем города влекомые,
К причалам пристают легко,
И город — старые знакомые! —
Берет в объятья моряков.
Совсем не так у нас, летающих:
Придешь с полета — вновь зовут,
И вновь стартеры провожающие
Флажками белыми махнут.
И через миг, как ветром, выдует

АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ПОДСТАНИЦКИЙ (1921–28.06.1942) жил и работал в Мурманске, на Кольском полуострове. После начала войны, окончив летную школу, был на фронте стрелком-радистом, сержант. Награжден орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени (посмертно). Погиб в воздушном бою у станции Коротыш под Ливнами (Орловская область).

Поэмы, лирику, тоску…
Вот почему чуть-чуть завидует
Военный летчик моряку.

Июнь 1942

* * *

Рассказать тебе, как в небо сине
За Отчизну-Родину на бой
Уходил на скоростной машине
Парень, не целованный тобой.
Рассказать, как в утреннем тумане,
В предрассветной дымке голубой
«Мессершмитта» парень протаранил,
Невредимым возвратясь домой.
Рассказать, как с виртуозным блеском
Он колонны фрицев штурмовал,
Как седой заслуженный комэска
Перед строем парня обнимал.
Впрочем, лучше все рассказы бросим,
Не шути любовью, не балуй…
Ты его, пожалуйста, мы просим,
Поцелуй, покрепче поцелуй!

Июнь 1942

ПОСЛЕ ВЫЛЕТА

Знает каждый, как необходимо,
Возвратясь с задания, опять
Маленькую карточку любимой,
Не стыдясь друзей, поцеловать.
Позабыть хотя бы на минуту
Песню боя, что ревел мотор,
Боль в плечах от лямок парашюта,
Пулеметов быстрый разговор.
И вот так — портрет в руке сжимая,
Широко и радостно вздохнуть,
Теплый шлем и унты не снимая,
Под тенистой плоскостью заснуть.
Хорошо, когда во сне приснится
Дальних улиц шумная гроза,
Смех веселый, черные ресницы,
Озорные синие глаза…
Ширь полей… И где-то над лесами
В синем небе самолета звук,
Чтоб проснуться по тревоге вдруг,
«Есть в полет!» — сказать, блеснув глазами,
И опять над вражьими тропами
Опорожнить мощный бомболюк.

Июнь 1942

* * *

Нам не жить, как рабам,
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.

<декабрь 1941>

ОЖИДАНИЕ

Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замерз, не могу».
Видели мы — и вскипала кровь —
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать негодуя, ждать и терпеть.
По черным деревьям всходил рассвет,
По черным деревьям спускалась мгла…
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя еще не пришла.
Слышали (таял снег в кулаке)
Чужие слова на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звезды февральские пересчитал.
Ракета всплывает и сумрак рвет.
Теперь не жди, товарищ! Вперед!
Мы окружили их блиндажи,
Мы половину взяли живьем…
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твое.
Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма… И снова в путь!

1942

ВСЕВОЛОД ЭДУАРДОВИЧ БАГРИЦКИЙ (1922–26.02.1942) родился в Одессе; сын поэта Эдуарда Багрицкого (1895–1934). В 1937 г. была репрессирована его мать. Работал в «Литературной газете», учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Хотя из-за сильной близорукости был освобожден от воинской службы и эвакуирован, добился назначения в газету «Отвага» Второй ударной армии Волховского фронта. Погиб при выполнении боевого задания в деревне Дубовик близ Любани (Ленинградского область).

НАКОНЕЦ!

Новый чемодан длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик, котелок…
Я заранее припас все это,
Чтоб явиться по повестке в срок.
Как я ждал ее! И наконец-то,
Вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, отшумело детство
В школах, в пионерских лагерях.
Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам моим!

1941

ГОДЕН!

Все с утра идет чредой обычной.
Будничный, осенний день столичный —
Славный день упорного труда.
Мчат троллейбусы, гремят трамваи,
Зов гудков доносится с окраин,
Торопливы толпы, как всегда.
Но сегодня и прохожим в лица,
И на здания родной столицы
С чувствами особыми гляжу,
А бойцов дарю улыбкой братской:
Я последний раз в одежде штатской
Под военным небом прохожу!

1941

БОРИС АНДРЕЕВИЧ БОГАТКОВ (1922–11.08.1943) родился в Красноярском крае. Перед войной работал проходчиком на строительстве метро; учился на вечернем отделении Литературного института им. А. М. Горького. На фронте был ранен и контужен, получил инвалидность, но вновь добился отправки в действующую армию в составе Сибирской добровольческой дивизии. Гвардии старший сержант. Героически погиб в бою за Гнездиловскую высоту (в районе Смоленск—Ельня), ведя свой взвод автоматчиков в атаку. Его имя навечно занесено в списки дивизии. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

* * *

У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.
До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь».
Я должен вернуться, но если…
Если случится такое,
Что не видать мне больше
Суровой родной стороны,—
Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай ты честному парню,
Вернувшемуся с войны.

Декабрь 1942

Захар ГОРОДИССКИЙ

* * *

Если мне смерть повстречается близко
И уложит с собою спать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
В боях не привык отступать.
Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.

9 августа 1943

ЗАХАР МАТВЕЕВИЧ ГОРОДИССКИЙ (1922–12.08.1943) родился и жил в Самаре. Еще школьником был известен в городе своими стихами. Окончив с отличием школу в канун войны, ушел на фронт добровольцем. Был разведчиком, пулеметчиком. В феврале 1942 г. получил первое ранение. После излечения вернулся в строй. 1 июля 1943 г. был контужен, но не покинул поле боя, за что удостоен медали «За отвагу». 12 июля на Орловско-Курской дуге при атаке был тяжело ранен в обе ноги и скончался от последствий этих ранений. Награжден за этот бой второй медалью «За отвагу».

Леонид РОЗЕНБЕРГ

АРТПОДГОТОВКА

Часы в руке у генерала.
Ждут у орудий номера.
За стрелками следя устало,
Он тихо говорит: «Пора!»
Качнулось небо в редких звездах,
И, ветви елей шевеля,
Разорванный метнулся воздух,
И тяжко дрогнула земля.
За муки Родины любимой,
За слезы русских матерей
Рванулся в ночь неумолимый
Огонь тяжелых батарей.
Он темноту ночную выжег,
Но снова залп и вновь другой…
Зарницы орудийных вспышек
Дым заволок пороховой.
У раскалившихся орудий
Горячая работа шла.
Оглохшие от гула люди
Разделись чуть не догола.
Во имя праведного мщенья
В расположении врага
Бушует смерч уничтоженья,
Огня и стали ураган.
В залог успешного похода
Огонь преграды все прорвет.
На штурм поднимется пехота,
И ринутся полки вперед.

1944, действующая армия

ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ РОЗЕНБЕРГ (1924–1.08.1944) родился в Одессе. Жил в Москве. В 1938 г. отец пал жертвой коммунистических репрессий. После начала войны был эвакуирован с матерью в Сибирь; здесь был призван в армию. Окончил артиллерийское училище и в звании лейтенанта был командиром огневого взвода, затем — командиром батареи, адъютантом командира полка. Его стихи, посылаемые с фронта, сохранила мать, Мария Михайловна. Погиб в бою во время освобождения Латвии. Был награжден медалью «За отвагу», орденами.

* * *

Коль выйдет так, что полем боя
Идти придется сквозь огни,
Давай условимся с тобою
На все последующие дни:
Во-первых, в трудный час разлуки
Не проливать ненужных слез
И не ломать, закинув, руки
Над русым ворохом волос.
И, во-вторых, чтоб трезво, грубо
О всех невзгодах мне писать,
В час одиночества чтоб губы
С тяжелым всхлипом не кусать.
Нет, лучше, губы сжав упрямо,
Превозмогая в сердце дрожь,
Пошли мне, право, телеграмму,
Что любишь, что с тоскою ждешь.
Пусть будет малость безрассудно:
Но там, за далью, за войной.
Я буду знать, как в жизни трудно
Быть неприкаянной, одной.
В землянке средь снегов ночуя,
Из боя вновь шагая в бой,
Я буду, устали не чуя,
Идти, чтоб встретиться с тобой.

ВСТУПЛЕНИЕ

Фронтовая старая тетрадка
Кровью перемочена в бою.
Как упрямства русского разгадку,
Я тебя огласке предаю.
Воскреси задымленные даты,
Допиши сегодня до конца
Светлый облик русского солдата
До последней черточки лица.
Встанет он не витязем из сказки,
Побывавшим тыщу раз в боях —
С автоматом, в запыленной каске,
В кирзовых армейских сапогах.

Публикацию подготовил Сергей ДМИТРЕНКО

Стихотворения ВИКТОРА ЛУЗГИНА много лет входят в сборники поэтов, павших на Великой Отечественной войне, однако никто из антологистов доселе не смог установить каких-либо фактов его биографии, кроме того, что он погиб на фронте в 1945 г. Можно сказать, что в русской военной лирике Виктор Лузгин олицетворяет собой неизвестных поэтов-фронтовиков, к стихотворениям которых по справедливости должны быть приложены слова, сходные с теми, что обращены к Неизвестному солдату: «Могилы ваши неизвестны. Строки ваши нетленны».

Светлана ВАСИЛЕНКО

МАМА И ПАРАД ПОБЕДЫ

Мама и парад победы

Сегодня (9 мая) возила маму и нашу соседку тетю Галю (им обеим по 87 лет) как участников войны на парад Победы. Парад проходил на площади Королева. Их посадили на трибуну, где сидели ветераны войны. Потом пригласили в кафе, налили фронтовые сто грамм, которые они одолеть, конечно, не смогли. Надарили им цветов, пели песни военных лет, сфотографировались с генералом, одним из основателей ракетного полигона Капустин Яр. Вернулись очень довольные.

Мама, Василенко Мария Савельевна, встретила войну 15-летней девчонкой в совхозе «Красная заря» Боковского района Ростовской области. Через год туда пришли немцы. На соседнем хуторе, где жила родная тетка мамы — безногая тетка Харита — скрывались наши советские разведчики. Они совершали диверсии в тылу врага: пускали под откос поезда, взрывали военные объекты, перерезали электрические провода. Все это они описывали в своем дневнике.

Мама с младшей сестренкой Мариной носила им на хутор еду. Однажды, когда она шла обратно, ее догнал на телеге староста, назначенный немцами, и пригласил подвезти до дома. Между разговором он сказал: «Девочка, а что это у твоей тетки солдатские гимнастерки на веревке сушатся? Или она совсем ничего не боится? Немцы же придут, проверят». Мама отговорилась тем, что ничего не знает.

В ту же ночь арестовали всех разведчиков вместе с теткой Харитой и маму. Отправили их в тюрьму в городе Миллерово в той же Ростовской области. Сначала маму посадили в одиночку, потом пытали (сжимали железным обручем голову, засовывали пистолет в рот, грозя пристрелить), заставляли ее рассказать о том, что она знает о разведчиках и чем она им помогала. Мама молчала. Она уже из газет знала о Зое Космодемьянской и хотела быть, как она. Однажды на допрос притащили безногую тетку Хариту. Та пронзительно кричала немцам: «Делайте со мной, что хотите, только дэтыну не трогайте!» Тетку Хариту в тот же день расстреляли. Харитина Ивановна Василенко похоронена в братской могиле, которая находится в городе Миллерово.

Мама случайно в тюремном коридоре увиделась и с одним из разведчиков — Сашей. Он дал ей припрятанный в кармане хлеб и сказал, что

ВАСИЛЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1956 г. в военном городе Капустин Яр Астраханской области на Волге. В 1983 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделение прозы. В 1989 г. окончила Высшие сценарные и режиссерские курсы при Госкино СССР. Награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ «За вклад в культуру», а также медалью М. А. Шолохова, Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова. Лауреат премии журнала «Новый мир» (за роман «Дурочка»), лауреат Горьковской премии, финалист Международной премии Центральной Европы «Ангелус» (Польша). Рассказы и романы Светланы Василенко переводились на многие языки мира. Является членом Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России (гильдия кинодраматургов), Союза журналистов России и Союза российских писателей. Живет в Москве.

они во всем признались, так как немцы нашли их дневник, где были описаны все их действия. Там же было написано и о маме, что она приносила им еду. Маме сказали, что всех разведчиков расстреляли. Сашу тоже расстреляли, но мама до сих пор верит, что он жив.

Маму же отправили в концлагерь для политических пленных под Миллерово. Уже нашей победой закончилась Сталинградская битва и началось наступление на запад. Там, в лагере, мама вместе с другими узниками выходила в степь и под пулями копала могилы для убитых немцев. Однажды увидели в небе воздушный бой двух самолетов — нашего с немецким. Наш самолет этот бой выиграл, и мама с другими пленными громко радовалась этому. Один из пленных, пожилой мужчина, их остерег, мол, немцы увидят, тише, молодежь.

В один из дней прилетели советские самолеты и начали бомбить Миллерово. В городе и лагере началась паника. Немцы и румыны бежали из города на грузовиках и автомобилях. Лагерь на время остался без охраны, и многие пленные стали разбегаться. Мама с одной из девушек, с которой сдружилась уже в лагере, тоже бежала. Девушку звали Женей, она была старше мамы на восемь лет и была коммунисткой. Она жила в станице Вешенской, им с мамой было в одну сторону, и они решили добираться вместе.

Был февраль, шли, обходя населенные пункты стороной, скрываясь от немцев. Ночью попросились в одну из хат станицы. Хозяйка дверь не открыла, стала их прогонять. Но мама с Женей очень устали, замерзли, оголодали, сил идти дальше у них не было. Они сели, укрывшись лагерным одеялом, которое взяли с собой, на ступеньки крыльца и решили здесь заночевать. Но начала брехать хозяйская собака. Через какое-то время хозяйка вышла вновь, вынесла им поесть и попросила уйти, иначе расстреляют семью. Делать нечего, пошли дальше.

Видимо, от безысходности Женя предложила зайти к ее брату, полицаю, который жил в этой станице. Женя считала, что брат сестру не выдаст. Мама сомневалась, но деваться было некуда: или замерзать, или идти к брату Жени. Брат их встретил приветливо, Женю напоил чаем. Мама как стояла на пороге, так и осталась стоять. Ей чаю не предложили, и она мучительно завидовала Жене. Брат расспрашивал сестру про жизнь в лагере, сочувствовал, а сам послал сына за немцами, и через полчаса за мамой и Женей пришли полицаи и арестовали их. Их отвезли опять в Миллерово, но уже не в лагерь, а в ту тюрьму, где мама сидела сначала.

После Сталинградской битвы румыны стали относиться к узникам тюрьмы лучше, даже заискивали перед ними, говорили, что они не виноваты в развязывании войны, кормили галетами. Потом началась битва за Миллерово, которая продолжалась трое суток. И румынские, и немецкие охранники тюрьмы сбежали, мама с другими узниками сидела трое суток голодная, не зная, что будет дальше. Слышались только разрывы гранат, свист пуль, артиллерийские залпы. Наконец, двери тюрьмы открылись: на пороге стояли наши, русские советские солдаты! Сколько было радости! Каждому узнику солдаты раздали немецкие галеты и выпустили на свободу.

Мама с Женей опять пошли домой вместе, везли домой санки с галетами. По дороге их подвез грузовик. Сначала водитель отвез маму до «Красной зари», потом повез Женю до Вешенской. Отец мамы, мой дед Савва, страшно плакал, увидев маму живой и невредимой: он думал, что ее расстреляли.

После войны мама закончила строительный техникум в городе Ворошиловграде (ныне город Луганск) и была направлена в Астраханскую область — в молодой строящийся военный город Капустин Яр. Работала в КЭУ инженером, отвечала за водоснабжение города и ракетных площадок. Ее называли Маша Холодная, так как она заведовала холодной водой. А была еще Маша Горячая, та заведовала соответственно водой горячей.

Мама гордится тем, что вместе с другими построила наш удивительный, вечно молодой Знаменск.

г. Знаменск Астраханской обл.
9 мая 2013

Скворцы прилетели!

В Астраханской области не тепло, а по-летнему жарко. Словно доказывая себе и миру после столь холодной зимы, что выжили, живы, разом начали цвести в саду вишни, яблони, расцвели тюльпаны, ландыши, сирень.

Муж по моей просьбе смастерил два скворечника, один привязали к вишне, другой — к яблоне. На другой день в скворечниках поселились скворцы. Три дня они, сидя чуть выше скворечников, пели брачные песни (или песни новоселов).

Мама после перенесенного инсульта в свои 86 лет обошла с палочкой весь наш цветущий сад и осталась очень довольна. Однажды в письме астраханскому начальству, где она просила провести в дом газ и воду, она написала: «Я вместе со своим народом победила в войне (была партизанкой), построила в степи город (ракетный полигон Капустин Яр), воспитала дочь-писательницу (то есть меня) и вырастила сад». Вот так: для нее Победа, Город, Дочь и Сад — как главные свершения жизни.

Сегодня скворцы, устав от собственных песен, начали деловито таскать в домики разные прутики — стали гнездиться.

Весна, сад, счастье.

Апрель 2012

Маринка

Мама после инсульта путает, кто жив, а кто нет. Спрашивает у меня. Я говорю ей, что тот или эта умерли. Мама недоверчиво смотрит на меня. «И Вовка?» — спрашивает мама. «И Вовка», — отвечаю я. Вовка — это мой отец, которого она любила всю свою жизнь. Мама замолкает. А потом через день опять спрашивает.

Вот и сегодня. Зашла соседка Надя. Разговариваем о том, о сем. А мама все невзначай нас среди разговора спрашивала, мол, где же Маринка? Соседка не понимала, что за Маринка. Но потом сказала, что, видимо, мама ее дочку Лену называет Маринкой.

Но я-то знаю, что это пунктик такой появился недавно у мамы насчет девочки Маринки, которая живет якобы с нами. И мама все время беспокоится, что Маринка эта то ушла, то спит, то еще что-нибудь с ней происходит. Может быть, это ее умершая в этом году сестра, а моя тетя Марина, теперь девочкой у нас в доме поселилась? И мама ее видит, а я нет? Например, недавно она спросила, где ее тетка Харыта. Я ей сказала, что тетку Харыту расстреляли немцы во время войны. Но мама твердо и уверенно мне сказала, что тетка Харыта жива. Я уж не посмела ее разубеждать.

То есть она всех мертвых видит живыми. Может быть, оно так и есть, и ей они видимы. Ведь все живы у Бога. А значит, просто живы.

Лето 2013

Белые туфли

Нашей соседке, тете Гале, в августе исполнилось 88 лет. А моей маме 87 с половиной. И вот они соревнуются: кто из них проживет дольше. Причем мама о смерти говорить не любит. Тетя Галя же, напротив, любит пропеть в конце застолья в честь своего дня рождения, куда приглашаются старушки из соседних домов и улиц: «Эх! Пить будем, гулять будем! А смерть придет — помирать будем!» Собравшиеся старушки машут на нее руками: типун, мол, тебе на язык, Галина Васильевна! А тетя Галя помолчит-помолчит, потом добавит: «Смерть придет — меня дома не найдет! А найдет в кабаке — с поллитровочкой в руке! За нее, родимую, и выпьем на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравится, разрумянившиеся старушки расходятся довольные.

Причем о смерти тете Гале говорить рано: она бодра, разумна, у нее прекрасная память, она шьет, вяжет, содержит дом в чистоте, готовит и по субботам два раза в месяц ездит со мной на такси в городскую баню, парится в парилке с веником долго, дольше всех. Любит тетя Галя прийти к нам в гости вечером, когда ее дочка Света уйдет на работу в ночную смену, и поговорить о «смертном» — об одежде, которую припасла себе на смерть. Платье она заказала у портнихи на резиночке — чтобы одевать ее, тетю Галю, мертвую, было бы удобно. Хвасталась, что уже купила ритуальные трусы, рейтузы, майку, белые гольфы. Загвоздка была одна: не было туфель на смерть. И вот однажды на воскресном базаре она, наконец-то, купила белые туфли. Радостно рассказывала мне и маме, какие эти туфли красивые, белые: не в гроб ложись, а на свадьбу в них невестой беги.

И вот прошло полгода, и вдруг тетя Галя приходит к нам в гости с этими самыми белыми туфлями: мол, малы стали, ноги у нее распухли. И не подойдут ли ее белые смертные туфли Савельевне — моей маме? Я обмерла вся. И моя подруга Юля, которая к нам приехала из Калмыкии, тоже. Ведь примета-то плохая! Мама болеет, лежит, не встает, а тут ей смертные туфли приносят и просят примерить. Но вида не подаю. Беру у тети Гали туфли и с остановившимся сердцем подхожу с ними к маме. Держу их в руках, как смерть. Меряю. Туфли маме малы! Я облегченно выдыхаю, нервно смеюсь и радостно кричу: «Туфли маме малы!» Тетя Галя огорчена: что же ей с ними делать? Мы советуем ей пойти на базар и отдать тем, у кого она их купила. И когда тетя Галя уходит, вечер мы с подругой и мамой проводим празднично: радостно бродим по дому, целуем маму в щеки, произносим «белые туфли!» и невпопад хохочем. Мама впервые за время своей болезни смеется тоже.

Май, 2012

Доктор

В нашей городской бане по субботам собирается цвет города: врачихи, учительницы, солдатки-контрактницы, торговки, ипэ (индивидуальные предпринимательницы). Здесь можно узнать обо всем. Сегодня говорили, естественно, о гречке. Потом перешли на дела больничные. И вот рассказали про местного доктора-невропатолога. Он всем пациентам своего отделения, преимущественно инсультникам, выписывает один рецепт: на завтрак — орех, на обед — тоже орех, на ужин — орех снова.

Однажды приехал по вызову, увидел у той на тумбочке суп с мясом, скривился весь: вы трупы едите, я с такими не разговариваю, — и на выход. Дочь больной его догнала, амбразуру двери собой закрыла, не выпускает доктора. Говорит, это не мясо, доктор, это уха, посмотрите маму, мы мяса не едим, а только рыбу. «Рыбу?!! — вскричал доктор. — Да вы убийца! Ноги моей у вас больше не будет». «Да я ее не ловлю! — удивилась та. — В магазине покупаю». «Да вы вдвойне убийца! — говорит доктор. — Вы заказчик убийства!» С этими словами он отодвинул женщину — и был таков.

Причем этого доктора-вегетарианца я знаю. Он был лечащим врачом у мамы, когда она получила инсульт. Мне он тоже объяснял тихо и настойчиво: «Мясо маме не давайте. Вы же не знаете, от кого это мясо: от коровы или быка…». «А это так важно?» — спросила я его. «Очень! — сказал он. — Представьте, если вы, женщина, скушаете мясо быка». — «И что со мной случится?» «В мясе быка — мужские гормоны, — терпеливо объяснял мне доктор. — Они перемешаются с вашими, женскими. Вы, женщина, станете на время как бы быком…».

Одна из женщин рассказала, что однажды вечером увидела его в сетевом магазине «Магнит» и пошла за ним, чтобы посмотреть, что же он купил себе на ужин. Оказалось, что детское питание, такие маленькие баночки.

Другая женщина рассказала, что мать свою он заморил этой диетой. Кормил одной капустой. Недавно та умерла в не старых еще годах. В то же время всю свою зарплату тратил на экзотические растения, которые высаживал у своей пятиэтажки. Выросли целые джунгли из странных, как он, растений.

А одна из банщиц вот что рассказала. Однажды доктор вышел зимой из бани с непокрытой мокрой головой. Та его спросила: «Как же вы без шапки зимой, да после бани? Простудитесь, заболеете». «Заболеть я не могу,— сказал доктор. — Ведь я общаюсь с самим Космосом!»

Март, 2013

Тепло, красиво

Уже наступала весна, днем было плюс одиннадцать, набухли почки сирени и калины, в саду из земли вылезли листья тюльпанов, прилетел скворец и начинал пробовать голос, сидя на старой яблоне, как вдруг — бац! — опять зима. Вечером убирала в кучи прошлогоднюю листву, смотрела на стволы яблонь и вишен, собираясь их назавтра побелить. А утром вышла — все стволы уже побелены, но так, словно бы кто из ведра небрежно выплеснул на них побелку. У меня даже голова закружилась от нереальности произошедшего. Кто это сделал, зачем? Кто мог подслушать мои вчерашние мысли? Потом присмотрелась — а это снег. Лежит в углублениях старой коры яблони, словно бы мел.

А утром следующего дня сломался газовый котел, отапливающий весь дом. Приехали газовщики и отключили его, сказав, что нужен новый котел. Температура — минус девять. Хорошо, что когда — десять лет назад — проводили газ, мы не сломали старую печку-голландку. Хорошо, что в сарае все эти годы нетронутыми пролежали дрова, а в душевой — уголь антрацит. Натопили, как раньше, печь, сидим с мамой в тепле, смотрим в окно на свежевыпавший снег. Тепло, красиво.

28 марта 2013

Прабабушка

Сегодня разговаривала со своим внуком Яном по скайпу. Ему два года и два месяца. Рассказала ему сказку про колобка. Он внимательно слушал. Потом вместе с ним прочитали стихотворение про «гуси-гуси-га-га-га», причем я произносила первые слова, а он радостно гоготал — «га-га-га!» «Есть хотите?» — спрашивала я этих гусей. «Да-да-да!» — радостно отзывался он.

Когда подошла к компьютеру моя мама, а его прабабушка, он насторожился, замолчал и начал, как всегда, ее дичиться. Никак не поймет, кто это. «Это твоя прабабушка!» — говорю ему. Он крутит головой, ища объяснения у родителей. Не понимает. «Это бабушка Маша», — опять пытаюсь объяснить ему. Не понимает. Тут меня осеняет: «Это моя мама», — говорю я и обнимаю маму. Ян удивленно смотрит на нас, потом радостно смеется и обнимает свою маму. Наконец-то понял. Что эта незнакомая ему женщина — моя мама. И у него тоже есть мама. И их обеих зовут — Маша. Мама Маша. И у меня. И у него.

Теперь понятно.

Май, 2013

Веранда

Веду полномасштабный ремонт в доме. Дошла очередь и до ветхой деревянной веранды: старые вещи выбросили, потолок покрасили, стены оклеили обоями, пол покрыли линолеумом — просто новая красивая комната получилась, можно в ней жить.

Показала с гордостью веранду маме. Вот что, мол, мамочка, получилось. Мама говорит: а где же моя веранда? Я показываю на пустую веранду, говорю — да вот же. Нет, говорит, это не моя веранда. У нее там всегда травы сушились, зерно для гуся хранилось, веники дубовые висели, кошки на мешках с зерном сидели и в окошко смотрели, ну и т. д. — прямо сказочным местом была эта веранда волшебная.

А теперь просто пустая комната. Еще не знаю, что туда и поставить.

30.06.2013

Подсолнух

Еле я доехала из Волгограда, что-то мне было трудно ехать, задыхалась и очень жарко было, хотя уже было 17:30, когда я выехала. Приехала — и до ночи поливала за двором картошку и вишни. А мама стояла на крыльце и кричала в темноту: «Света. Света!» Я отзывалась, что поливаю и скоро приду. А она опять: «Света, Света!»

Уже сорвала первые свои огурчики — три штуки. И помидорчик позавчера свой сорвала. И абрикосы пошли, хотя мало, но есть. А в том году не было ни одной штучки ни у кого. И еще у нас подсолнух расцвел, который мой муж Ежик посадил. Он в темноте мне и светил.

08.07. 2013

У нас в Нижнем Поволжье жара страшная. Только вечером и живем. Вечера южные — роскошные. Цикады поют, звезды с полтинник, запахи одуряющие от цветов: лилия расцвела и петунья.

Еще циннии цветут очень красиво: желтые, красные, розовые, сиреневые. Их у нас в военном городке называют майорами — оттого, что стебель прямой, а цветок жесткий, мужской, и выглядит так, как раньше выглядела большая майорская звездочка на офицерских погонах.

Сегодня еще, когда днем сидели с мамой и ее подругой Ирой под шелковицей (у нас она называется тутовником) и пили чай с мятой, навестил нас разведчик — имаго саранчи. Такой огромный экземпляр в сером сюртуке прилетел и сел на побеленную стену дома. Лошадиное узкое лицо интеллектуала, внимательный взгляд огромных глаз, словно бы из-под окуляров.

Всадник Апокалипсиса.

Явно рассматривал нас, людей, сидящих за столом. Кошка его заметила и попыталась поймать, но он оказался намного ее умнее и упругий телом. Стрельнул — и улетел далеко в сад.

Что он высматривал? О чем доложит Всевышнему? Ждать ли нам нашествия? Конца света? Или все обойдется?

09. 07. 2013

Бассейн

Сегодня наконец-то поставила бассейн в саду. Он полтора месяца бесполезно валялся на специально забетонированной для него площадке, потому что в надувных бортах где-то был прокол, через который выходил воздух, и вода из бассейна выливалась.

Сегодня накачала воздух в борта, намылила их — сантиметр за сантиметром — проверяла, где же эта дырка. Нашла. Малюсенькая такая. Кое-как залатала изолентой, и бассейн готов.

Позвала маму. Ей 87 лет, но она очень любит плавать в бассейне. Плещется, смеется. Плавали с ней минут сорок. Чудесно! Совершенно другое качество жизни — и все благодаря небольшому китайскому надувному бассейну.

07. 2013

Папайя

Вот трудно быть даже наполовину хохлушкой. Всему верю, всем доверяю. И в МММ в девяностые годы участвовала, и в Чару деньги относила. Верила звонкам по телефону, что мой номер выиграл мерседес: осталось только положить на некий счет небольшую денежку. И уже шла «ложить», да сын остановил.

И опять, уже на новом этапе развития остапобендеровской мысли, мне навязали чудо-лекарство: папайю. Мол, лечился ею сам папа римский, спасла папайя его от болезни Паркинсона, и стал римский папа почти

святым. Лечит, мол, эта папайя от многих болезней мозга, и в том числе от инсульта. Вот тут я и повелась, так как мама полтора года назад перенесла инсульт и так от него и не оправилась.

Встречу мне назначили за городом на автовокзале. Приехала: стоит задрипанный ободранный запорожец времен Очакова и покоренья Крыма. Внутри внушительный мужчина, царским жестом приглашает войти в салон его иномарки. Скрючившись, влезла и полчаса на солнцепеке, под тарахтенье самодельного вентилятора, слушала его байки про биодобавки и чудесные исцеления тех, кто их ест.

Спросила, кем он раньше работал, до всего этого… чего «этого», сформулировать не смогла. Военным был, а теперь на пенсии, подрабатывает. В общем, колоритный мужик, уболтал он меня, купила я эту папайю в виде порошка, одну пачку на месяц. Эксперимент ставлю на себе: пока эффекта ноль.

Видимо, просто мел.

23.07.2013

День тигра

Вчера на обед сварила борщ, стараясь, чтобы все овощи были из нашего огорода. Готовила его почему-то как-то тщательней, что ли, чем обычно. Потом наготовила фаршированных перчиков, целые две огромные чугунные сковороды. Подумала еще: на поминки обычно перчики эти делают у нас в Астраханской области. Настругала салат. Накрыла на стол. Поставила бокалы для вишневого вина, которое сама сделала и только что сняла: разлила из десятилитровой бутыли по бутылкам.

— Ну что, говорю, мама, отметим День тигра?

И только-только начала в бокалы наливать темно-красное вино, как тут же вспомнила, что в этот день, 29 июля, 20 лет назад, умер мой отец Владимир Георгиевич Морев. Вот и помянули его с мамой.

Он бросил нас, когда мне было десять лет, уехал в Ригу, где учился в военной академии, там женился, там умер, там и похоронен. Мне не сообщили, когда он умер, позже сказали только день, когда это случилось. Несколько лет назад, когда я по работе была в Риге, то с его вдовой посетила кладбище Яна Райниса, постояла у могилы отца.

Мама сказала, что, когда он сообщил нам, что уезжает навсегда, я рыдала и страшно кричала, схватив его за колени: «Папочка, не уезжай!» Я этого не помню. Мозг вытеснил некомфортные воспоминания. И вот и теперь: умом про его поминки не вспомнила, а подсознание (или душа?) помнит.

30.07.2013

Га!

Сегодня с утра тепло, даже припекает. Мама сидит на улице за столом на солнышке. Пришла соцработница, принесла продукты. Сидит, считает, сколько я ей должна. Спрашивает: а где же ваш гусь Кеша? Раньше он всегда здесь у стола с моем мужем, которого мы зовем Ежом, сидел, разговаривал с ним. Слушал человеческую речь того и отвечал, соглашаясь, тихо, по-мужски раздумчиво «Ке-ке-ке», — посмотришь на них, словно за

жизнь два мужика калякают. А сегодня мой муж уехал, и гусь спрятался в саду — горевать.

Я зову гуся: «Кеша! Иди сюда!» Гусь, вытянув шею, слушает меня и молчит. Опять кричу: «Кеша!» На этот раз отвечает громко и недовольно: «Га!» (Так в украинских селениях жена зовет мужа-лежебоку: «Петро!» А тот отвечает, зевая: «Га?!» Типа: отстань, баба, не видишь, казак думу думает!)

Опять зову: «Кеша!» Гусь отвечает, скрипуче и гортанно, словно несмазанная телега: «Га!» и, переваливаясь с бока на бок, словно белоснежный корабль, уходит от нас еще дальше — в темную глубь сада.

1 августа 2013

Бимка

Сегодня поехала на Раковое озеро ловить брошенного там кем-то рыжего котенка. Взяла ему поесть: банку ухи, кефир, хлеб и сухой корм. Подъехала, позвала, он откликнулся. Покормила его, кидая ему намоченный хлеб. Он поел с удовольствием. Но в руки так и не дался. Залез в непроходимые заросли бурьяна и мяукает, но уже не так, как вчера, а поспокойнее. Решила съездить на речку, искупаться, а потом уже поймать котенка и везти домой. Проплыла вдоль всего берега: мимо заросшего старого городского пляжа, где уже никто не купается, и мимо солдатского пляжа, где тоже никого. Только двое дядечек рыбу сидят, ловят.

Поинтересовались у меня, есть ли рыба там, где я плыву. Наконец, увидела прекрасный песчаный пляж и большое скопление народа, приехавшего на нескольких машинах, и решила тут и выйти. Вышла и увидела под кустом совсем маленького кутенка, черного, с белой шеей, белой звездочкой на лбу. Спросила у рыбака, не его ли собачка. Сказал, что нет.

Обошла все компании, спрашивая, чья собачка и не хотят ли они ее забрать. Все отказались. В общем, взяла я ту собачку. И долго шла с ней, прижав ее к себе, по берегу к моему велосипеду. Котенка решила отловить завтра или просто ездить к нему каждый день и кормить его, пока он ко мне не привыкнет. Так что у меня теперь есть маленькая собачка, даже не умеет еще есть, кормлю ее из ложки. Красивая такая девочка. Назвали ее с мамой Бимкой. Но мама упорно называет ее Димкой.

— Мама, может, я ее завтра на базар отвезу, отдам в добрые руки? — спросила я.

— Нет, — сказала мама, — самим пригодится!

А вечером пришла тетя Галя. Собак она не любит. Но нашу одобрила.

— Нарядная собачка! — сказала она.

08. 2013

Шапито

С мамой ходили в цирк-шапито вчера, и нам очень он понравился. Там были и дрессированные собачки (как наш Грей, пудели) — они особенно понравились маме, были обезьянки, еноты, маленькая кенгуру стремительно носилась по арене в платьице и так же стремительно умчалась за золотые кулисы; и были волки, и даже медведица в русском сарафане плясала «русскую» вместе с дрессировщиком. И были еще гимнастки под

куполом, прямо до слез меня довели своим искусством, и клоуны очень смешные были, завели всех детей и нас тоже. Давно мы так не смеялись.

В общем, мы с мамой очень довольны остались представлением. И вышли, и пока шли, то нас перегнали молодые артисты из этого цирка и спросили, понравилось ли нам. Я сказала им, что очень, очень, и они, радостные и гордые, побежали в свое общежитие. Молодость, любовь, творчество! И труд огромный.

А еще несколько дней назад я шла мимо городского рынка и их еще не поставленного шапито, и они так грустно все сидели рядом. Жара, степь, пустыня и артисты, приехавшие в незнакомую местность. Придут ли зрители? Заплатят ли деньги за билет? Хорошо ли все пройдет?

И звери ходили ходуном по клетке, высунув языки, от жары изнывая. И я подумала, неужели вот из этого может что-то получиться? И специально пошла, думаю: ну, халтура приехала. И вот вдруг прямо на глазах из вот этого «сора» вырос прекрасный цветок искусства и творчества. Очень я была рада как-то даже философски.

Сентябрь, 2013

Двойня

Вчера поздно вечером, когда мы с мамой уже легли спать, пришла к нам наша соседка по улице, тетя Галя, бодрая и веселая бабушка 88 лет. Дочь ее, Света — на работу на сутки, а она к нам — в гости. Ну, повскакали мы с мамой с постелей — чай, гостья пришла! Пришла она с кучей рекламных листовок и «Российской газетой», которую они со Светой выписывают.

Пока мама с тетей Галей о ценах на базаре говорили, я «Российскую газету» проштудировала. В конце наткнулась на гороскоп. Прочитала вслух свой гороскоп на неделю: типа, чтобы не разбрасывалась деньгами в эту неделю, а экономила, потом мамин. Тут и тетя Галя просит, чтобы и ее гороскоп был мною озвучен. Она Лев по гороскопу.

Читаю: ждет вас на этой неделе любовь, амурное свидание и огненная страсть, мол, не пропустите момент. Смеемся с мамой. А тетя Галя не смеется, задумчиво говорит нам: «Чего ржете? Момент действительно серьезный, пропустить никак нельзя. Если кто попадется, то пойду навстречу страсти, может еще, и двойню рожу, как Пугачева!»

Торжественно, как королева, поднялась и ушла в ночь.

20.10.2013

Красные коровы

Как-то тетя Галя, наша соседка, рассказывала, что перед началом войны приснился ей сон. Будто идет она по своей деревне (в Мордовии), а навстречу ей — огромное стадо коров. Она прижалась к забору, к воротам, чтобы пропустить стадо, и видит, что все коровы красные и из глаз у них капают слезы.

Присмотрелась: а то не слезы, а кровь из глаз у них капает. А впереди стада — красный бык. …И тоже плачет кровавыми слезами. Проснулась в страхе, подивилась своему сну, мол, к чему бы это? Но рассказать под-

ругам побоялась: недавно их учительницу, которая в поезде рассказала попутчикам свой сон, арестовали. Так как сон у нее был политическим.

Всю субботу молчала про свой сон, никому не рассказывала. А на другой день — в воскресенье — война началась.

17.10.2013

Павлик

Утром, без десяти десять, позвонила мамина подруга и сказала, что умер Павлик, наш бывший сосед по улице, что сегодня его хоронят и ровно в десять его привезут на нашу улицу к его дому, где он когда-то жил.

Сначала я не поверила. Павлик только что был у нас, в это воскресенье, 27 октября. Приходил занимать деньги. Павлик был моим ровесником, мы дружили. Он был офицером, ракетчиком, недавно ушел в отставку. Главным же в его жизни была музыка. Он играл в духовом оркестре, играл на всех свадьбах, похоронах и парадах. И он пел. Пел на городских концертах в Доме офицеров или в Доме культуры. Пел так, как не снилось никому. Он перепел весь репертуар «Песняров», его любимой песней была «Олеся». Павлик в нашем городке был артист от Бога. Ну, и как все артисты, конечно, любил выпить.

В последнее время он пил больше, чем раньше. Ходил уже по кромочке. Часто приходил к нам с другого конца города, чтобы занять деньги. Он всегда занимал 200 рублей. И в тот день попросил 200 рублей. Сидел на себя не похожий: строгий, в черном, трезвый. А обычно приходил праздничный, веселый, разговорчивый. Сказал, что вчера похоронил друга. А я в тот день только что пришла с базара, где потратила все свои деньги, до копеечки, и в первый раз в жизни не заняла Павлику.

Он посидел-посидел, да как-то тихо и ушел. Сказал, что его на улице ждут товарищи. Правда, уже от входных дверей вернулся и расцеловал мою маму. Это было в воскресенье. И вот в четверг его уже хоронят. Я подумала, что вот, наверное, все же где-то занял он деньги, выпил да и помер от сердца.

Тут же перезвонила соседям с этим скорбным сообщением, потом взяла велосипед и поехала к моргу. Не успела проехать и двести метров, как увидела приближающуюся процессию из целой вереницы серых «Волг» и автобуса, в его окнах за занавесками расцветали искусственными цветами венки — и все стало понятно: едут хоронить Павлика. Я поехала следом.

Отпевали Павлика в Георгиевской церкви на горе. Это любимая моя церковь с детства, дощатая, вся покрашена в синий цвет. Обычно здесь крестят детишек, и сквозь щели в досках хлещут лучи солнца. Сегодня тоже светило солнце.

Гроб был почему-то закрытый.

Когда вышли на улицу, я сказала женщине, которая пела на клиросе, что вот как же так, ведь он только что был у меня, заходил в воскресенье. Она спросила: деньги занимал?

— Ну да, — сказала я.

— И ко мне заходил, — сказала она. — Я дала ему 200 рублей. А может быть, не надо было ему их давать…

— Ну, да, — сказала я. — Он в последнее время много пил. Наверное, сердце не выдержало…

Женщина как-то странно посмотрела на меня и спросила: «А вы знаете, от чего он умер?» «Нет, — сказала я и спросила: — А от чего он умер?»

Она помолчала и сказала: «Павлика зарезал его сын».

И земля накренилась.

Сына Павлика тоже звали Павлик. Ему только что исполнилось 19 лет. Павлик воспитывал его один, так как жена сначала попала в какую-то секту, а потом — в психушку. Мальчик не ходил до 13 лет в школу: так велела секта. С трудом забрали мальчика у матери. Но школу он так и не закончил, вступил в дурную компанию, обворовали магазин. Павлик несколько лет расплачивался за украденные сыном мобильники. А потом вроде выправился парень, так говорили, помогает отцу во всем. Да и сам Павлик совсем недавно хвастался нам, что сын хочет пойти служить в армию, а потом стать контрактником. И вот…

Далее было все, как во сне. На кладбище вдруг появился военный духовой оркестр, где раньше служил Павлик, ударил похоронным маршем в самую душу. Мать Павлика, тетя Зоя, страшно рыдала и кричала над гробом сына, проклиная внука. Две ее дочери, сестры Павлика, Таня и Надя, оттаскивали мать от гроба и сами ложились на гроб, и так же рыдали там, как мать. Плакали все. Все почему-то просили прощенья у Павлика, что не уберегли. Что не пришли вовремя. Из криков и рыданий я поняла, что сын ранил отца и убежал, оставив его умирать одного. И что тот, видимо, погиб от потери крови. Что его можно было спасти. И никто не встревожился, не стал искать, куда пропал Павлик. Нашли его только через четыре дня. И дата его смерти точно не определена.

Когда водружали крест, я вдруг увидела дату смерти: 24 октября. То есть он умер в четверг. А 27 октября, в воскресенье, он приходил к нам занять деньги. Весь в черном, не похожий на себя. Заходил он в тот день еще и к другим соседям — тете Гале и Свете. У них тоже не было денег после базара, и они тоже не заняли ему, хотя всегда до этого занимали. И тоже сказали потом мне, что он был не похож на себя, сказала Света, — и душа уже просвечивала.

Так, может, приходил к нам не он, Павлик, а его душа, прощалась и просила, чтобы мы нашли его истекающее кровью или уже мертвое тело? Ведь на другой день, в понедельник, его и нашли в квартире мертвым…

Поминки были в кафе «Березка», около базара. Хотел о Павлике сказать слово тщедушный мужичок, тоже музыкант, с которым они играли на свадьбах, да не смог, разрыдался. Все зашептались, что это самый его лучший друг. После поминок я подошла к нему, спросила, кто из их с Павликом друзей умер совсем недавно и был похоронен в субботу. Тот дико взглянул на меня и сказал: никто. Никто не умер, кроме его друга, Павлика.

Я пришла домой и стала вспоминать, что же он говорил нам, Павлик, в свой последний приход. И вспомнила. Он говорил, как жалко, что они с матерью переехали из финского домика с садом в две отдельные однокомнатные квартирки в хрущевке. Что как бы он хотел жить с матерью в своем доме и выходить в цветущий яблоневый сад.

Теперь я точно знаю, что со мной в тот миг говорила его душа.

31.10.2013

Цветочек

Всю прошлую зиму жила у нас моя подруга детства Юля. У нее никого нет: родители давно умерли, а год назад умер и ее муж Сережа. Третьего марта у Юли был день рождения, и я подарила ей живой цветочек в пластмассовом горшочке. Он уже зацвел голубенькими цветами. И цвел, пока она не уехала в свою Калмыкию.

А уехала — он захирел, поник, листья его пожелтели, и я выставила его на улицу: вдруг да оклемается. Ну и забыла про него напрочь. Прошли весна, лето, осень, и вот несколько дней назад смотрю, среди сухой травы стоит Юлин крепенький такой и зелененький цветочек в горшочке. Хотя уже и заморозки были, минус пять градусов.

Принесла его домой, полила. А тут мне уехать из дома надо было на несколько дней, и я Юле позвонила, мол, приезжай, за мамой присмотри. Она с радостью: приеду. Вот сегодня, в понедельник, должна приехать. А вчера, в воскресенье, смотрю: цветочек вдруг зацвел — голубенькими цветами, — как раз к ее приезду. Вот и встретятся.

18.11.2013

Черныш

Пока были мы с мамой на концерте в Доме офицеров, умер наш старый черный кот Черныш. Он до конца сидел рядом со мной, я его гладила, потому что он плохо себя с утра чувствовал, кашлял, и сопливился, и трудно дышал; но потом я чем-то отвлеклась--- и смотрю, его уже нет, посмотрела — н спрятался за диваном моим в комнате, где телевизор, и лежит там. Я думала, что отлежится.

Но после концерта пришла, посмотрела за диван, а он уже лежит недвижим. Достала и похоронила пока в саду, прямо в снегу, там, где летом бассейн ставим, у забора соседей. Сегодня оттепель, надо бы перезахоронить. Я его помню огромным красивым молодым котом, совершенно блистательным. Черный кот с белой бабочкой.

И теперь помню его уже больным, очень похудевшим за последнее время добрым старичком, который всех лечил. Если болеет кто, обязательно подойдет и ляжет там, где болит. Недавно он сидел рядом с молодой кошечкой Катей на диване и чой-то ей мурчал на ушко. И она, прямо как девушка, улыбалась. И он улыбался тоже. Таким я его и запомнила.

Лет десять он все же прожил. И если бы не болезнь, может быть, и еще жил. Подруга Юлька говорила мне, что надо бы поколоть ему антибиотики, но я не стала его мучить. Правда, не думала, что так быстро он после этого разговора уйдет.

Ушел в свою страну кошачью.

17.12.2013

Домой!

Пятого февраля моей мамочки (Марии Савельевны Василенко) не стало. Я не успела приехать из Москвы, чтобы увидеть ее живой. Моя подруга Юля, которая с ней сидела, сказала, что мама в два часа ночи в самый мороз (— 27) ушла из дома (у мамы в последнее время была навязчивая идея (синдром ухода), что ей ночью надо идти куда-то, как она говорила: «Домой!» — она собирала вещи в узелок и пыталась выйти из дома. Я ее попытки всегда пресекала).

Мама дошла до соседнего дома и упала. Тут сиделка проснулась, кинулась ее искать, выбежала, — и нашла маму лежащей на снегу. Вызвала «скорую» и МЧС. «Скорая» не приехала, а МЧС приехали через час. Мамоч-

ка замерзала, так как вышла без варежек и в шлепках, и в легкой курточке. МЧСники внесли ее в дом и положили на пол. Утром я позвонила, и Юля сказала, что с мамочкой плохо.

Я позвонила соцработнице, и та вызвала уже «скорую». Но сказала, что обморожения легкие и наш старый и опытный врач-хирург сказал ей, что угрозы для жизни нет. И я вместо того, чтобы лететь самолетом, взяла билет на поезд и долго ехала, почти сутки. И не успела. Оказывается, у мамы, видимо, от падения, лопнул сосуд рядом с кишечником и получилось загноение, оно вылилось в гангрену сосудов кишечника, и мамочка скончалась в больнице.

Умерла тихо, ее после ужина вечером перепеленали, положили на бочок спать, она дышала-дышала и перестала дышать. Это было в 19 часов 20 минут пятого февраля. А я приехала в Волгоград шестого февраля в 8:25, села в маршрутку — и тут мне позвонила соцработница и сказала, что мамы больше нет.

Похоронили ее на сельском кладбище, на центральной аллейке, рядом с могилой ее подруги Никулиной Пелагеи Кузьмовны. Мама тридцать лет ухаживала за этой могилкой и всегда говорила, чтобы если что, то ее положить здесь рядышком. С похоронами помог генерал полигона. Были и автобусы от военных, и венок, и даже духовой оркестр. Как-то мама мне сказала, что хотела бы, чтобы ее провожал духовой оркестр, и так оно и исполнилось.

И поминки сделали в кафе «Березка», которое она очень любила из-за вкусных пирожков и тоже высказала как-то мимоходом желание, чтобы там ее помянули.

Отпели мамочку в церкви святого Георгия, той, что стоит на горе, церковь вся эта выкрашена в сине-голубой цвет, как небо. Священник отпевал ее так проникновенно, что я его после отпевания поблагодарила. Он сказал, что видит, что она человек заслуженный, что мамочка моя — героиня войны (на подушечке лежали ее орден и медаль) и поэтому отпевал ее с чувством благодарности к этому великому поколению.

В годы войны мама моя была партизанкой, ее поймали, пытали, она сидела в фашистской тюрьме в городе Миллерово Ростовской области. В 1943 году мамочка убежала из немецкого плена и шла по февральской заснеженной ростовской степи до своего дома в совхозе «Красная заря» сто километров пешком. Вот и теперь отправилась в февральские морозы — «Домой!» Накануне своего ухода она сказала Юле, что хочет найти свою мать. Не мачеху, добавила она, а свою настоящую мать. Ее мать умерла, когда ей было одиннадцать лет, и потом ее воспитывала мачеха. Теперь она нашла свою родную маму.

22 февраля маме исполнилось бы 88 лет. Царствие ей Небесное!

6.02.2014

Гусь Кеша

Вчера, 22 июня, в воскресенье, наш сказочный белоснежный гусь-лебедь Кеша умер.

Он дня два был какой-то вялый, плохо ел и почти не пил воду. Но я думала, это из-за жары и мошки. И вот мошка закончилась, Кеша стал выходить в сад (до этого он прятался от мошки в своем домике). Позавчера я его уже поздно нашла далеко от домика, в траве под яблоней, и загнала обратно.

А вчера вышла вечером, чтобы его попоить и загнать, и вижу, что собака, вышедшая со мной, вдруг остановилась как вкопанная — и увидела Кешу лежащим около дорожки, недвижимым. Рядом с ним сидел ежик. Ежик испугался собаки, убежал.

Я, подумав, что ежик ранил гуся, стала рассматривать Кешу. Но ран не было. Он просто умер. Кеша умер, видимо, и от старости (18 лет исполнилось ему весной), и от тоски по моей ушедшей в феврале этого года маме.

История Кеши такова. Маме в день ее 70-летия ее сестра Марина подарила два гусиных яйца. Яйца подложили под курицу. Вскоре вывелись два гусенка: девочка и мальчик. Девочка рано погибла, а мальчик — Кеша — остался. Мама за ним ухаживала все эти 18 лет, кормила, поила его, разговаривала с ним. Он ей отвечал гортанно: гага-га! И она ему говорила: дада-да! Так они и разговаривали. Он любил обвить ее шею своей и тихо что-то шептать ей на ухо: хе-хе-хе. Был он романтичный и влюбчивый. Однажды влюбился в расцветшую белую лилию. Видимо, она ему напоминала его погибшую подругу. Приходил к ней утром, садился рядом и, забыв о еде, восторженно смотрел на нее весь день.

Он был такой грустный после маминого ухода, все последнее время. Я даже на днях задумалась, что ему надо купить гусят. И даже вчера утром, в воскресенье, собиралась поехать на базар посмотреть, есть ли там утята или гусята. Когда у нас были утята, Кеша очень трогательно заботился о них: ранним утром бежал к ним, к клетке, где они находились, подолгу стоял рядом и ждал, когда мама выпустит утят, охранял их от ворон, водил на купанье к корыту в саду, поднимал шум, если видел приближающуюся к утятам кошку.

Кешу я похоронила в саду. Потом сказала соседке Рае, что вот, может, надо было его зарубить. «Ты что, — сказала она, — он же у вас как человек был!» Сегодня хожу, маюсь, думаю о Кеше. Что он полетел за мамой, ее догонять. Другая соседка, Света, хотела его забрать на зиму к себе, приготовила ему домик из сарая. Она ухаживала за Кешей в мае, когда я уехала, очень полюбила Кешу и говорила мне, когда я вернулась: «Кеша — мой друг!» Он был и мой друг. Вот, нашего друга Кеши не стало.

23.06. 2014

Дурной сон

Ехала в поезде из Ставрополя с форума всех творческих союзов. Заснула на второй полке и приснился мне дурной сон. Словно бы сидим мы с мамой (во сне она живая) в своем доме в Капустине Яре — и вдруг дом начинает раскачивать, на улице бульдозеры рычат, на нас с мамой уже балки сверху летят. Тут я выбежала посмотреть, что же происходит.

Смотрю, бульдозеры наш дом ломают. Я их остановила. Влетаю в дом — а там мама под досками кричит. Раскидываю доски, — а там мама моя раненая, в крови, но живая.

Проснулась: вагон раскачивает, как мой дом во сне, скрипит. Говорю попутчицам: дурной сон приснился. Они говорят: не берите в голову, все будет хорошо.

Тут мне по мобильному телефону звонят, говорят: твои лучшие друзья-писатели на тебя кляузу написали, приедешь, прочтешь.

5 ноября 2014

Плач

Это случилось где-то за два месяца до маминой смерти. Я сидела в своей комнате и вдруг услышала ее тихий плач. Пока я раздумывала, что на этот раз могло стать причиной этого внезапного плача, он становился все громче и громче. В последнее время, после перенесенного инсульта, она часто обижалась на меня. Что-то не так скажу — и она в слезы. Что-то она скажет, а я не пойму ее — и опять плачет. Но я всегда тут же просила у нее прощения, зацеловывала ее, и она быстро успокаивалась, прощала меня, начинала улыбаться.

Я побежала в мамину комнату. Мама лежала на диване и рыдала. Худенькое тело ее сотрясалось от рыданий, впалые щеки были мокры от слез.

Я бросилась к ней:

— Мама, мамочка! Ты на что-то обиделась?

— Не хочу умирать! — сказала мама.

И я ее стала утешать, что она не умрет, что она же стала выздоравливать, начала ходить, сначала по дому, потом гулять на улице…

Мама слушала меня сначала недоверчиво, всхлипывая, потом затихла, а я сидела и укачивала ее, как ребенка.

Декабрь, 2014

Сельское кладбище

Вчера пришла в гости тетя Маша — мамина подруга. Мама ее очень любила. Когда они встречались, то очень радовались друг другу, словно сестры. И так получилось, что именно тетя Маша была последней, кто видел маму живой. Она моложе мамы на девять лет, и мама считала ее молодой. Но вот и «молодой» тете Маше исполнилось уж 82 года. Слово за слово, и вдруг выяснилось, что она уж два года не может найти могилу мамы на нашем разросшемся капустиноярском сельском кладбище.

Тут же и решили сходить на кладбище с тем, чтобы я ей показала мамину могилку. Взяли тяпку, грабли и пошли. На кладбище показала тете Маше, по какой тропинке идти. Она всегда шла по тропинке направо, а надо — налево. Сначала тетя Маша прочитала молитвы у могилы своей любимой подруги, моей мамы, потом начала рыхлить землю, выстраивать из холмика земли подобие гроба. Рыхля, она выпевала молитвы. Молитвой помянули и Пелагею Кузьмовну, знакомую мамы, за могилой которой она ухаживала долгие годы и рядом с которой просила ее похоронить, что и было мною исполнено.

Попрощавшись с мамой, мы пошли к могиле матери тети Маши. Ее мама жила 93 года и один месяц. Умерла сравнительно недавно — в 2000 году. А родилась в 1907-м. Чуть-чуть не дожила до своего столетия. Над ее могилой росла старая акация. А рядом — молодая.

«Вот тут, — сказала тетя Маша, — под молодой акацией и похороните меня: так я детям своим приказала». Потом пошли обратно, думая, что придем опять к могилке моей мамы, но вышли на тропинку, по которой всегда ходила тетя Маша, — ту, что шла направо, и к маме уже не попали.

А по дороге тетя Маша показывала мне, где лежат ее родственники — жена старшего сына Володи, умершая в 47 лет от рака, сваты — свекр

и свекровь дочки тети Маши Светланы, внучка Алена, первая дочь Светланы, не дожившая и до полгодика…

Мы шли и шли, и тетя Маша мне показывала на памятники и кресты: этот был врачом в поликлинике, хороший был врач и человек, тот хирургом, многих спас, а вот тот военным, дослужился до подполковника и погиб на учениях, Таня Выскубина рядом со своим папой Иваном, а маме ее, тете Гале, уж 90, еще жива, а где-то здесь могилка другой подруги матери Валентины Редкобаевой, помнишь, горб у нее был, рос и рос, а вот теперь лежит Валя, как все, говорят же, что горбатых могила исправит, а здесь соседи ваши по улице, крест к кресту, весь род Цапковых захоронен…

Увидела гранитный памятник с надписью «майор Чекалин», обрадовалась: «Вот, по этому памятнику мы с твоей мамой и находили могилу Пелагии Кузьмовны, той, с которой мама похоронена!» И как же она могла забыть этот ориентир — майор Чекалин!

Возвращались с ней домой по пыльной улице села, и она вдруг остановилась и, со значением глядя мне в глаза, вдруг призналась: «Знаешь, обычно я иду с кладбища печальной, а сегодня так радостно на душе. Будто мы с Машей, мамой твоей, и вправду, как раньше, свиделись!»

6 мая 2016

Инвалидное кресло

Сегодня приснилась мама. Будто везу я ее в инвалидном кресле по Капустину Яру, весна, кругом яблоневые сады, все цветет, и она радостно все оглядывает. Я говорю с ней и вдруг понимаю, что она мне отвечает все правильно, а раньше, после инсульта, что-то не то говорила, не понимала, путалась во времени и пространстве. А теперь вот все понимает и отвечает. И я так радуюсь там, во сне, что вот мама наконец-то выздоровела. И нам так хорошо идти вместе.

Сон этот когда-то был явью. Год назад я повезла ее в сбербанк в инвалидном кресле, и она жадно на все смотрела и комментировала: тут новый дом построили, тут спилили дерево, тут покрасили забор. И меня поражало, что такая память в ней проснулась вдруг, а до этого сидела дома, ничего не помнила и ничего как будто не понимала. Когда вернулись, совершенно уставшие, она сказала, что как хорошо прогулялись, вот бы так еще. Но больше не получилось — мамы не стало.

И вот приснилась.

Но я утром этот сон забыла, заспала. А днем пришла соседка, мамина ровесница, тетя Галя, посмотреть мой ремонт и вдруг, увидев мамино инвалидное кресло, захотела в него сесть. Мы сначала ее отговаривали, а потом все же посадили ее в него, и она радостно затихла, и я вдруг сразу вспомнила сегодняшний мой сон, цветущие сады на нашей улице и маму, — и то тонкое, волшебное чувство родства, когда два родных и любящих человека идут сквозь этот цветущий мир, разговаривают и понимают друг друга, — даже если один из них здесь, еще на земле, а другой — уже там, на небе.

21 октября 2014

Бессмертный полк

Сегодня шла по площади Ленина г. Знаменска (Капустин Яр) Астраханской области на военном параде в рядах «Бессмертного полка». Школьники и взрослые люди несли фотографии участников Великой Отечественной войны, погибших на войне и умерших после нее.

Я несла фотографию мамы — Василенко Марии Савельевны. Девчонкой она помогала нашим разведчикам на оккупированной фашистами территории (Боковский район Ростовской области). Немцы арестовали ее и ее родную тетку Харыту и бросили в тюрьму г. Миллерово. Ее пытали, тетку Харыту расстреляли. Освободили маму в 1943 году бойцы Советской армии. Еще год назад мы с ней ходили на парад Победы. В феврале ее не стало. И в этом году я прошла с ее портретом по площади.

Рядом шли люди, которые несли портреты своих отцов и дедушек. Перед парадом многие из нас перезнакомились. Рассказывали друг другу о своих близких и родных людях. Девушка, которая стояла рядом со мной, несла портреты двух своих дедов. Фамилии их здесь, в Кап-Яре, очень распространенные: Выскубин и Буряков. Жили, сказала она, один на улице Крестьянская, а другой — на Кооперативной. И сразу они стали для меня тоже очень близкими людьми.

Мы беспокоились, как пройдем, ведь не репетировали. Но когда подняли портреты и пошли, то я почувствовала, как сама собой выпрямилась спина и появилась необыкновенная гордость и стать. Прошагали мы мимо трибун, чеканя шаг и высоко подняв портреты. Потом мне сказали, что наш «Бессмертный полк» шел лучше всех.

9 мая 2014
Знаменск (*Капустин Яр*) *Астраханской обл.*

ПОЛЕ БОЯ

О, поле боя, поле боя!..
Воронеж. Мне двенадцать лет.
И солнце светится рябое
На змейках пулеметных лент.
Нам повезло невероятно.
Растаял снег, ушла зима.
Винтовочных и автоматных
Патронов всюду
Просто тьма.
Наверно, в тех кустах полынных,
По комьям плачущей земли,
Меж черных проволочек минных
Нас божьи ангелы вели.
Там был один окоп оплывший,
И в нем, откинувшись назад,
Стоял, как памятник,
Застывший,
Погибший осенью солдат.
Худой, остриженный, белесый…
И прямо в середину лба
Осколком черного железа
Его отметила судьба.
Песок по брустверу ссыпался.
Былинки ежились, шурша.
Сжимали скрюченные пальцы
Чуть поржавевший ППШ…
Немая горечь той картины
Из детской памяти ушла,
Но, словно взрывом старой мины,
Сегодня сердце обожгла….
Я вижу вновь перед собою,
Уже не в детстве — наяву,
То роковое поле боя,
Сухую ржавую траву.
Путем извилистым и длинным —
Уже который год подряд! —
Я вновь и вновь иду по минам

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1930, Воронеж–2000, Москва) — известный российский поэт, автор почти 30-ти сборников стихотворений и повести «Черные камни». Был среди первых сопредседателей Союза российских писателей, лауреат Пушкинской премии РФ в области поэзии (1996). Поэт встретил войну на своей малой родине — воронежской земле, увидел ее глазами ребенка, подростка. И его воспоминания о «незабытых горьких днях», о детстве, совпавшем с войной, о первых послевоенных годах, о героях и жертвах войны на всю жизнь оставили по себе «измученную жестокую память». Лев Аннинский писал об А. Жигулине: «Он никогда не был поэтом силы, он всегда был поэтом боли». Стихи Анатолия Жигулина, наполненные ощущением времени, истории в ее переломных событиях, передают нынешним читателям его завет о ценности живой жизни, которая дается опытом правды, любви и сострадания.

Моих печалей и утрат.
И понимается до боли,
До горьких дум в конце пути,
Что жизнь —
Она как это поле,
И надо поле перейти.

БОРИСОГЛЕБСК

Сухой красноватый бурьян на заре,
И утренний тонкий серебряный холод…
И город вдали на покатой горе,
Военного детства неласковый город.

Лежит в огородах сухая ботва.
На низеньких крышах — следы пулевые.
На клеверном поле притихли Пе-2,
Блестящие, новые, двухкилевые.

И словно в насмешку над вихрем смертей,
На стенах старинных бревенчатых зданий —
Скупые таблички былых страхований
Губернских, уездных и прочих властей…

О, город из древней семьи городов!
Резные ворота, крылечки косые.
Глазами твоих опечаленных вдов
Тревожно мне в сердце смотрела Россия.

Спасибо тебе за твою лебеду,
За мягкое сено в домишках сосновых,
За редкую сласть петушков леденцовых
На бедном базаре в том горьком году.

1966

УТИНЫЕ ДВОРИКИ

Утиные Дворики — это деревня.
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.
Утиные Дворики — это деревья,
Полынная горечь и желтый камыш.

Холодный сентябрь сорок пятого года.
Победа гремит по великой Руси.
Намокла ботва на пустых огородах.
Увяз «студебекер» в тяжелой грязи.

Утиные Дворики…
Именем странным
Навек очарована тихая весь.
Утиные дворики…
Там, за курганом,
Еще и Гусиные, кажется, есть.

Малыш хворостиной играет у хаты.
Утиные Дворики…
Вдовья беда…
Все мимо
И мимо проходят солдаты.
Сюда не вернется никто никогда…

Корявые вербы качают руками.
Шуршит под копной одинокая мышь,
И медленно тают в белесом тумане
Одиннадцать мокрых
Соломенных крыш.

1966

* * *

Значок ГТО на цепочках
На форменной куртке отца.
И тополь в серебряных почках,
И желтый песок у крыльца…

В эпоху сомнений и бедствий
До самого смертного дня
Нетленная память о детстве
Уже не оставит меня.

И видится, словно вначале,
Та первая в жизни беда,
Как будто по свету не мчали
Меня роковые года.

Все видится дымное небо,
Изломанный танками сад,
Горбушка казенного хлеба,
Что дал незнакомый солдат.

Видения дальнего детства
Опять меня сводят с ума,
Как будто не вдавлены в сердце
Россия, Сибирь, Колыма…

Как некое странное бремя,
С тревожным моим бытием
Дано мне застывшее время
В усталом сознанье моем.

Там хата с колючей соломой,
Поющий за печкой сверчок…
Какой-то солдат незнакомый,
Какой-то старинный значок.

1971

* * *

Больше многих других потрясений,
Что отпущены щедрой судьбой,
Помню солнечный день предвесенний,
Помню город разрушенный мой.

Бело-розовый, зыбкий — от снега,
От кирпичных разрубленных стен,
Он теснился до самого неба,
Словно в белом тумане летел.

Незнакомый, притихший, суровый —
Словно призрачный дымный погост…
А вдали золотился сосновый,
Наведенный саперами мост.

На ступенях знакомого спуска
Ах, как сердце забилось тогда!
Вот и домик на улице узкой…
Но была за углом пустота…

Только виделись дальние дали —
Необычно, просторно, светло…
Только черные птицы летали
И поземкой с обрыва мело.

Тополей обгорелые руки.
Обнаженный пролет этажа…
В первый раз содрогнулась от муки
Защищенная детством душа.

1972

ПОСЛЕВОЕННАЯ РОССИЯ

Послевоенная Россия,
Буханка хлеба — сто рублей.
Но если бы сейчас спросили, —
Дней не припомню веселей.
Наверно, жизнь лишь в раннем детстве
Так первозданна и свежа,
Что никаких утрат и бедствий
Не хочет принимать душа.
Я убегал тогда с урока
В запретный ельник за селом,
И ржавый танк с пробитым боком
Не увезли в металлолом.
Над обездоленной равниной
Дымок струился от села,
И блиндажей сырая глина
Еще травой не заросла.
Но я судьбою был доволен,
И сердце прыгало в груди.
И жизнь весенним теплым полем
Еще синела впереди.

* * *

Послевоенный майский праздник.
Веселый трепет кумача.
И от развалин дымно-красных
Холодный отсвет кирпича.
И солнцем улицы залиты,
Толпой ликующих людей:
Солдаты, вдовы, инвалид,
Худые личики детей…
Почти забывшаяся горесть,
И ветер вспаханных полей,
И свежая густая поросль
От обгорелых тополей.
Фанфар нестройное звучанье
В лучах нежаркого тепла —
О радости,
Об окончанье
Насилья, ненависти, зла.
И над разбитыми домами,
И над уставшими людьми —
Победой поднятое знамя,
Как обещание Любви.

ОТВЛЕКАЮЩИЙ ДЕСАНТ

Отвлекающий десант —
Двадцать девять краснофлотцев.
Отвлекающий десант…
Скоро, скоро кровь прольется!

Отвлекающий десант
С хрупкой маленькой подлодки.
Наливает лейтенант
По сто грамм казенной водки…

…И ясна, понятна цель,
Невозможное — возможно:
Взять поселок Коктебель
И держаться — сколько можно.

Налететь, напасть, отвлечь —
Без подмоги, в непогоду.
И навеки в землю лечь
В эту землю, в эту воду.

Отвлекающий десант.
Есть такой в морском уставе.
Отвлекающий десант —
Верный путь к посмертной славе.

…Болью полнится душа
На краю волны и суши;
Двадцать девять ППШ

Против сотни вражьих пушек!..
После всех побед и бед
Их припомнят и прославят.
Через тридцать долгих лет
Здесь им памятник поставят.

На воде растаял след...
Двадцать девять краснофлотцев!.
Через тридцать долгих лет
Лишь один сюда вернется.

Лишь один остался жив.
Плакал горькими слезами,
Две гвоздики положив
На холодный серый камень

МЕЛЬНИЦЫ

Машут крыльями мельницы
В сорок третьем году.
В чистом поле чернеются
На юру, на виду.
За холодными хатами
Ветра зимнего стон.
От былых элеваторов —
Обгорелый бетон.
Но пока не рассеется,
Не откатится враг —
Машут крыльями мельницы
В черноземных степях.
Ветряные, старинные,
На скрипучей оси,
Словно в годы былинные
На Великой Руси.
Словно заново найдены
Силы древней земли, —
Словно дальние прадеды
К нам на помощь пришли.
Пусть вдали за покосами
Дыма траурный креп,
Будет поле с колосьями,
И победа, и хлеб!
Машут крыльями мельницы
Сквозь лихие года.
Вся беда перемелется
Навсегда, навсегда.

* * *

Упал снаряд, и совершилось чудо:
На опаленной порохом стене
Возник в дыму неведомо откуда
Святой Георгий на лихом коне.

От сотрясенья обнажилась фреска,
Упала штукатурка поздних лет, —
И он возник — торжественно и дерзко,
Как древний знак сражений и побед.

В сиянии возвышенного лика
Простер десницу грозную свою,
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею.

А пулемет стучал в старинном храме,
И ладил ленту молодой солдат,
И трепетало яростное пламя,
И отступал безбожный супостат.

1976

* * *

Как жалобно ястреб кричит
На этой опушке глухой,
И ветер полынью горчит
И трогает вереск сухой.
Здесь черные листья дрожат
На старых кустах бузины.
Здесь черные гильзы лежат
В окопах последней войны.
Как много простора для глаз!
Какое безлюдье кругом!
И снова в назначенный час
За лесом гремит полиго,
И клочья колючей стерни
Взлетают над полем седым,
И давние горькие дни
Напомнил тротиловый дым…
А к ночи — опять тишина.
Лишь ветер гуляет в бору.
Как будто уснула война
И снова проснется к утру.

* * *

Перепелка над пшеничным полем
И вечерний предзакатный лес.
Словно звон далеких колоколен
Тихо разливается окрест.

Тихий звон неведомо откуда…
На плохую жизнь не сетуй, друг:
Все равно она большое чудо,
Лишь бы свет небесный не потух.

Лишь бы в нашей пасмурной России
Было все, как в лучшие года:
Чтобы жили, сеяли-косили.
Чтоб не голодали никогда.

Чтобы травы были зеленее,
Чтобы больше было тишины.
Чтобы власти были поумнее,
Чтобы вовсе не было войны…

Я своей судьбой вполне доволен.
Я люблю такие вечера.
Перепелка над пшеничным полем
Тихо призывает:
Спать пора.

1980

Публикацию подготовила Галина Умывакина

Геннадий МАЙОРОВ

ПАЛЛИТРЫЧ

В какой-то момент наш двор наполнился насыщенным ароматным запахом хвои. Раньше ничего подобного в городской среде не наблюдалось, а потому с утра необычное явление стало темой номер один практически в каждой семье. Любопытные мальчишки первыми обнаружили сваленные на тротуаре возле дома еловые ветки и стали гадать, для чего они здесь. Подсказали всезнающие старушки, чей наблюдательный пункт на скамейке возле подъезда служил источником всех последних новостей-пересудов, скоропалительных выводов, а также — бесплатных советов и нравоучений. Бабушки вспомнили, что так готовятся к похоронам по старинному русскому обычаю.

Но кто умер, не знали даже общественницы из дворового «бюро прогнозов». Лишь когда появился слесарь Мухин (все называли его только по фамилии, и он не возражал), следы привели к третьему подъезду. Но в подъезде пять этажей, двадцать квартир. К кому в дверь постучалось несчастье?

Мухин с трудом шевелил мозгами после вчерашнего чрезмерного застолья по случаю предстоящего выходного. Он лишь пожимал плечами в ответ на все вопросы и показывал на окна первого этажа.

Вскоре примчался запыхавшийся домуправ Семен Семенович по кличке «Сим-Сим» и с ходу выдохнул:

— Паллитрыч скончался.

В нашем дворе любили всем давать прозвища. Кому-то обидные или неблагозвучные. Поэтому обращение по фамилии считалось делом привилегированным. И то верно, попробуй того же Мухина обидеть унизительным окриком, вряд ли тогда дозовешься ершистого слесаря кран починить или какую другую работу исполнить.

Практически никто не помнил или не знал, как звали по паспорту Паллитрыча. Этот невзрачного вида маленький мужичок трудился в меру сил сантехником, но большей частью хворал, отлеживался в своей маленькой квартирке. Был тщедушным и тихим. Ни с кем не конфликтовал, наоборот, освободившись на время от болячек и пребывая в хорошем расположении духа, одаривал конфетами ребятишек. Гладил их по головам и приговаривал:

— Дай вам Бог здоровья и счастья!

Детишки радовались подаркам, спешно запихивая сладости в рот, и улыбались доброму дяденьке. А Паллитрыч поджимал губы и беззвучно плакал. И быстрым шагом уходил к себе домой.

МАЙОРОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в г. Ленинграде в семье военного. Живет и работает в г. Орле. Журналист, писатель, психолог. Служил в армии, в Забайкалье. Работал в молодежной газете, на радио и телевидении. 10 лет был собкором газеты «Советский спорт». Основал издательство «3-е ИЮЛЯ». Автор 17 книг. Публиковался в журнале «Молодая гвардия», альманахе «Подвиг» и др. Лауреат премий: им. И. С. Тургенева, Орловского комсомола, журнала «Молодая гвардия». Председатель Орловского Союза журналистов и Орловского регионального отделения «Союз российских писателей». Член Международной федерации журналистов.

Любили Паллитрыча и окрестные мужики. За детской беседкой они соорудили стол и по вечерам в укромном уголке до самой темноты стучали костяшками домино. Иногда, возбудившись от накала страстей, начинали спорить на повышенных тонах, хватали друг друга за грудки. Но до мордобоя дело не доходило. Появлялся добродушный Паллитрыч, при котором почему-то не хотелось выглядеть скандалистом. Однажды, наслушавшись отборных матерных комментариев, он осуждающе покачал головой и… поставил на стол бутылку водки. Пол-литра.

Мужики тут же осеклись и недоуменно уставились на странного сантехника. Тот улыбнулся и тихо произнес:

— Не шумите, деток распугаете. Вот, лучше охолонитесь.

Самый бойкий из доминошников, дядя Вася, огромный детина в неизменной тельняшке и с татуировкой в виде якоря на тыльной стороне ладони, аж присвистнул от неожиданности:

— Вот это по- нашему. Спасибо, отец.

Мухин не преминул вставить слово:

— Молодец, Паллитрыч!

Дядя Вася захлопал глазами:

— Чего ты сказал? — и тут же заржал. — А что? Ты, батя, у нас давно без кликухи ходишь. А ведь надо же как-то общаться меж собой. Не обижаешься за новое прозвище?

Вновь нареченный Паллитрыч не обиделся. Он, похоже, вообще был не от мира сего. Порой слова из него не вытянешь. На грубость никак не реагировал. Ходил, словно сам в себе. Только вот шума, громких криков не выдерживал. Сразу хватался за виски, мотал головой, ладонями пытался прикрыть гримасы боли на лице.

Мужики, конечно, выпили подарочную бутылку, первый тост — за здоровье Паллитрыча. Но строгий дядя Вася тут же постановил:

— Теперь сами будем сбрасываться на выпивку. А то дед пенсии не напасется.

— Правильно, — поддакнул Мухин. — Паллитрыч человек порядочный, можно ему деньги доверить, что на кону, он и сбегает в магазин…

Пожилой сантехник, как всегда, добродушно согласился с ролью посыльного. И охотно приносил игрокам поллитровки. В его присутствии разгоряченные доминошники уже не матерились, их радостные или отчаянные возгласы лишь завершались накалистыми ударами по столу. Даже вороны больше не садились на ветки рядом растущего тополя. Умные птицы предпочли убраться от опасных соседей, как говорится, на всякий случай и от греха подальше.

И вот Паллитрыча не стало. Сим-Сим подозрительно суетился, куда-то убегал, вновь появлялся. А когда у двери квартиры Паллитрыча выставили караул в виде сержанта милиции, двор загудел. Охочие до сплетен женщины прижали домуправа к стенке, требуя подробностей, но тот только замотал руками:

— Ничего не знаю! Дело государственной важности! Ой, Господи, пронеси… Он же сутки пролежал в квартире, случайно обнаружили… Похороны завтра…

Но, взяв себя в руки, Сим-Сим стал лихорадочно соображать, что же ему поручено сделать вышестоящим начальством. Он уверенным жестом поманил своих активисток:

— Значит, так: завтра все должны выглядеть цивильно, чтоб не осрамиться. Подъезд вымойте как следует. Да и вокруг уберитесь…

— А что за пожар? — не удержалась самая бойкая из домохозяек. — Что ты так засуетился?

Сим-Сим посмотрел на непонятливую женщину, как удав на кролика, лицо покрылось пятнами, голос задребезжал от негодования:

— Да вы что дурочку валяете?! Начальство завтра приедет… Из Москвы!

Двор тут же притих, первые шеренги любопытных предусмотрительно попятились от домуправа. Сим-Сим вытер платком покрытый испариной лоб и примирительно зашептал на ухо подошедшим активисткам:

— Надо бы и в квартире порядок навести. Ну, вы знаете правила. Зеркало там занавесить, то-се…

— Сделаем, Семен Семенович, — закивали в ответ женщины, им уже не терпелось первыми узнать причину повышенного ажиотажа вокруг смерти простого сантехника.

— Только чтобы ни гу-гу, никому не слова, — заговорщицки зашептал Сим-Сим. — Говорят, сам секретарь горкома завтра будет…

Женщины обомлели. Надо же удостоиться такой чести!

— Сим-Симыч, — из толпы вышел дядя Вася, он помялся, как школьник на экзамене, и наконец выдохнул. — Мы тут с мужиками посоветовались и решили: сами гроб понесем. Все же Паллитрыч был настоящий…

— Ой, — вскрикнула одна из старушек-соседок, — как же так… Мы ведь даже не знаем, как его звали. Нехорошо провожать человека в последний путь без имени-отчества…

— И правда, — замычал дядя Вася, — надо бы помянуть Паллитрыча по- человечески… Все же не чужой…

— Погодите-погодите, — запротестовал домуправ. — Завтра помянем. Нельзя нарушать ритуал… без начальства.

— Так как же его все-таки звали? — раздался требовательный голос из толпы.

Сим-Сим полез в свою папку, полистал какие-то бумаги, прочитал:

— Суворов Павел Дмитриевич. Вот как.

На первый план выплыл Мухин. Он прямо-таки светился от своей сообразительности:

— Братцы, мы его по-другому поводу Паллитрычем обозвали. А он выходит и есть Паллитрыч…

— Ты чего буровишь? — зашикали на него женщины.

— Да сами посудите, — залебезил Мухин, — Павел! Значит — Пал. Дмитрич! Митрич по-нашему. Ну… А сокращенно и будет — Паллитрыч!

— Ладно, хватит демагогию разводить, — прекратил неуместные рассуждения обливающийся потом домуправ. — Расходитесь. Дел еще по горло…

С утра погода не задалась. Накрапывал мелкий дождик. Но народ стал собираться у третьего подъезда задолго до официальной церемонии прощания с покойным. Толпа заволновалось, когда появились журналисты и в сопровождении работника горкома прошли в квартиру Паллитрыча.

— А нам когда дозволят с ним проститься? — вопрошали самые нетерпеливые.

— Тело еще из морга не привезли, — отвечали самые осведомленные.

— А почему из морга? — не унимались непонятливые.

— Потому что вскрытие делали, причину смерти устанавливали.

— А чего ее устанавливать? Старый человек… не от водки же помер…

Появился Сим-Сим, пресек досужие разговоры. Как раз вовремя, во двор въезжала похоронная машина. Домуправ раздвинул толпу, из которой тут же ему навстречу шагнули заядлые доминошники во главе с дядей Васей. Бывший моряк выглядел на удивление гладко выбритым, при параде. По его команде мужики ловко извлекли из машины гроб,

отметив, что он вместе с покойником почти ничего не весит, пронесли в квартиру, где женщины заканчивали генеральную уборку.

— Гляди, Боцман, — чуть не выкрикнул Мухин и потянул дядю Васю за рукав. Тот обернулся и оторопел.

На дверце шкафа висел парадный китель с подполковничьими погонами.

— Два ордена Боевого Красного Знамени! И — Красной звезды! — восхищенно присвистнул дядя Вася.

— А медалей-то, медалей.., — подхватил Мухин.

Мужики остолбенели от такого обилия наград. Одна из женщин вывела их из ступора, указав на комод, где разместились фронтовые фотографии:

— Вчера весь вечер разбирали. Наш Митрич, оказывается, воевал. Герой! — и с укоризной. — А вы его за блаженного держали…

— Ты что, Нюр, — залепетал, оправдываясь, Мухин, — мы к нему завсегда с уважением. Скажи, Боцман…

Дядя Вася повздыхал, долго разглядывая боевые ордена тихого сантехника, лицо его просветлело:

— Дурак ты, Мухин, Паллит… Митрич, то есть, с нами завсегда, как с людьми, со всем уважением. А мы даже не знали ничего о нем. И не интересовались. А рядом такой человек жил!

В квартиру чуть ли не вбежал Сим-Сим:

— Все-все, расходитесь. Едут!

— Да из-за кого ты так переполошился, бумажная твоя душа, — насупился дядя Вася, недовольный что самым непозволительным образом его отвлекли от философских размышлений о жизни.

— Сын его приехал. Генерал! — Сим-Сим жадно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная нежданным штормом на берег. — Давайте, братцы, в сторонку. Не мешайте людям проститься…

К подъезду подкатили две «Волги». Секретарь горкома партии сопровождал двух военных — генерала и полковника. Из машины извлекли два венка и большой букет цветов.

Генерал оглядел собравшихся людей, поздоровался и, сняв с головы фуражку, прошел в подъезд. Нсмотря на усилившийся дождь, народ все прибывал и прибывал. Мальчишки под присмотром взрослых начали устилать дорогу еловыми ветками. От влаги аромат хвои только усилился, и легкий ветерок разносил его далеко за пределы двора.

Минут двадцать генерал неподвижно стоял в изголовье гроба, прикусив губу. Скорбные морщины рваными разломами наползали на лоб, давили на переносицу. Было видно, что ему тяжело дается это последнее свидание с отцом. Словно оправдываясь — ни к кому не обращаясь — генерал пробурчал:

— Вот ведь как вышло… Все времени не находил отца навестить. Служба, будь она…

Заметив притихших в сторонке женщин, наводивших до этого порядок в комнате, он подошел к ним, поклонился:

— Спасибо за помощь. Я вижу, к отцу здесь хорошо относились. Спасибо еще раз. Обернулся к дяде Васе, обхватившему крышку гроба, рывком извлек из внутреннего кармана портмоне, не считая достал несколько двадцатипятирублевок: — Прошу вас, помяните потом отца. Он это заслужил.

Дядя Вася от испуга хотел было попятиться, но уперся в стену, отчаянно замотал головой:

— Что вы, что вы… Мы за Дмитрича… само собой…

— Да вы не стесняйтесь, — глаза генерала увлажнились, — мне про ваше доброе отношение к отцу рассказывали. Спасибо и вам… Батя ведь на

фронте артдивизионом командовал, на Курской дуге получил страшное ранение в голову. Возможно, это сказалось на психике. Потому он иногда странным казался…

Секретарь горкома тут же обозначил свое присутствие:

— Мы, товарищ генерал, примем решение о мемориальной доске на доме, где жил ваш отец. Увековечим память о его подвигах. Все сделаем как положено.

Грянул оркестр. Сим-Сим дал команду выносить гроб. Заревели женщины. Запричитали старушки. Давненько наш двор не видел такого количества людей на похоронах…

С тех пор о традиции проводов в последний путь с еловыми ветками никто не вспоминал, хотя люди в нашем дворе периодически умирали. А вот Паллитрыча поминали каждый раз, особенно на День Победы. Но только неугомонный дядя Вася после выпитого непременно начинал ругать советскую власть. И было за что, ведь секретарь горкома слова своего так и не сдержал. До сих пор на доме нет мемориальной доски в честь отважного артиллериста.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

Стихи о войне

В мои годы отец воевал на войне
и в атаку ходил на горячей броне…
Вот так задорно
я когда-то хотел написать
о войне, об отце…

Не получилось…

Что я знаю об этом?

Помню отца во фронтовой шинели,
которую он донашивал после войны…

Помню снаряды,
угрюмо лежащие по берегам кроткой речки Вырки.
Сколько мальчишек погибло, пытаясь разобрать их…

Помню братские могилы,
заросшие высокой травой.

Помню мужиков нашей деревни в вылинявших
гимнастерках.
Они сидели на бревнах,
курили и разговаривали о войне.

Из разговоров получалось, что война веселое занятие —
кто-то «спикировал» с мотоцикла головой в песок,
кто-то не ел три дня, зато потом
вдоволь нажрался трофейной мамалыги…
— Да, в Румынии дело было…
— А у нас в полку был случай…
— Когда мы ночевали в венгерском дворце…

Сплошные приключения.
Ни о крови, ни о боли, ни о грязи войны…

Отец только один раз
сказал, что не хочет говорить о войне.
Тогда-то я и услышал о крови, боли, грязи…

Он был сельским учителем.
Учил детей.

КАЛАШНИКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1947 г. в д. Ровно Тульской области в семье сельских учителей. Окончил Московский государственный педагогический институт на Большой Пироговской улице. Член Союза российских писателей. Автор нескольких книг стихотворений. Лауреат литературных премий. Живет и работает в Москве.

Часто к нему приходили взрослые,
он долго говорил с ними,
потом писал письма в Верховный суд,
в часть, где служил чей-то сын,
еще куда-то…

Приносил мне книги из районной библиотеки.
Ходил на рыбалку.

Годы спустя, когда мы приезжали в нашу деревню,
ему не давали проходу,
выбегали из домов,
догоняли на улице:

— Николай Николаич, помните меня? Я Рая Матюхина…
— Николай Николаич, а мой Васька-то сейчас в Туле…
— Николай Николаич, зайдите ко мне…
— Николай Николаич, зайдите ко мне…

Он старел, читал книги, солил огурцы,
вспоминал детство, ворчал на нас с братом,
не говорил о войне,
даже 9 мая, когда надевал свои награды.
Не говорил о войне.

Это я чего-то строчил о горячей броне…

Как ты там? В глубине, в вышине?
На какой ты воюешь войне?
Что ты слышишь в огромной своей тишине?

— Николай Николаич, зайдите ко мне…
— Николай Николаич, зайдите ко мне…

Галина УМЫВАКИНА

* * *

Послевоенным поколеньем
мы называемся теперь.
А были первым пополненьем
невосполнимых тех потерь.
И, видно, из такого пекла
нас выдохнула в жизнь война,
что в наших душах не померкла
ни боль, ни слава, ни вина.
И, видно, на такой закваске

УМЫВАКИНА ГАЛИНА МИТРОФАНОВНА родилась в 1946 г. Окончила филологический факультет Воронежского государственного университета. Автор десяти поэтических книг, вышедших с 1976 по 2019 г. в Воронеже, Белгороде и Москве. Член Союза российских писателей. Живет в Воронеже.

у времени бродили мы,
что нам из прошлого подсказки
входили накрепко в умы.
И, чтоб не жили как попало,
бесстрашной памяти рука
для нас страницы линовала
интимнейшего дневника.

ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

С фотокарточки взгляд
проберет до дрожи:
чей-то муж, чей-то брат,
на моих похожи.
Лягут где наугад
в братские могилы
чей-то сын, чей-то брат
или чей-то милый?
И побед, и утрат
вам дано изведать —
чей-то внук, чей-то брат,
чей-то друг заветный.
Ты дождешься, солдат.
главного салюта —
чей-то сын, чей-то брат
и отец кому-то!
...Где-то вновь бьет набат —
и мороз по коже:
чей-то муж, чей-то брат
на моих похожи.

* * *

Смертельные гены в крови,
и память особого рода...
По надобе или любви
мне жить разрешила природа?
Но брешь, что доселе видна,
что сила прожгла моровая,
и мною латала война —
отеческая, мировая.

ПАМЯТИ ОТЦА

1. **Фотография 1939 года, город Полоцк**

Ах, как молодо и зелено!
Портупея на груди,
гимнастерка не просверлена:
все награды впереди.
Дом, жена, коляска детская...
Стоит жить, как долг велел,

на объявленной советскою
польской ранее земле.
Пусть неведомы, не торены
будущей судьбы пути, —
верить: с этой территории
на восток нельзя уйти.
Ах, как зелено и молодо!
И как радостно горят
два приколотые к вороту
лейтенантских кубаря.
Но тому, молодцеватому,
знать не дадено, что ждет:
что вослед тридцать девятому
сорок первый грянет год…

2. **Последние времена**

Как в окопной жиже ржавой,
выбор скуп — одно из двух.
Смерть вонзала в сердце жало,
жизнь на волоске держалась,
уставал болезный дух.
Оба знаем — скоро точка.
Жажда мучит — спасу нет.
Снова пьешь по три глоточка,
а потом: Спасибо, дочка…
Что сказать тебе в ответ?
Смерть крадется тихой сапой,
студит, сушит плоть твою.
Что сказать? — Спасибо, папа,
что от правды ты не драпал,
что не трусил ты в бою.
На продавленном диване —
не на танковой броне,
уходя без покаянья,
жизнь — сплошное поле брани —
оставлял в наследство мне.

3. **Прощание**

Где раньше — пирамидки со звездой
да холмиков заброшенных угодья,
теперь крестов разновеликих строй
торит дорогу в царствие Господне.
Над ямой свежею стою в слезах,
держу иконку и шепчу молитвы,
пока не отгремел прощальный залп
твоей решительной, твоей последней битвы.
И, лоб крестя дрожащею рукой,
под комьев стук и клацанье винтовок —
все тщусь понять: что ждет тебя? — Покой?
Иль снова служба в воинстве Христовом?!

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

…Шли в тапочках едва ли не домашних,
в потертых кепках, праздничных платках,
шли в кофточках своих позавчерашних,
с наградами на старых пиджаках…
Чтоб слушать, как в помин их общей жертвы,
не в небесах, а здесь и днесь:
не пушечные грохотали жерла —
лилась оркестра ангельская песнь.

9 МАЯ 2018 ГОДА

Папа! Тут у нас снова 9 мая:
танки гремят и ликуют оркестры.
Память сохранна и слезы уместны.
Только я многого недопонимаю.
Не знаю: ты б умилился иль устыдился,
если бы правнук твой четвертый,
(Ты не знаком с ним: он после родился,
да и вообще — китаец наполовину),
если бы он в гимнастерку ту нарядился,
что, потом пропахшая, до дыр истертая,
четыре года от пули хранила твою спину.
Папа! А мальчики возраста нашего Глеба
(Ему было девять, когда тебя не стало.
Помнишь, как слушал он,
когда о войне рассказать просили?)
нынче воюют вдали от России.
Им звезды на холмики падают с неба
чужого, а кресты ставят здесь —
из дерева, мрамора и металла.
А главнокомандующий у нас тот же, что прежде,
не поменялся нимало.
(Не помяну его имени всуе).
Ты просил, чтобы я за него голосовала:
ты еще пребывал в надежде…
Прости, но я за него не голосую.
Хоть парады при нем с каждым годом все громче и ярче,
да и вообще — хорошая нынче погода.
Обнимаю тебя за все четыре военных года,
за все остальные, что мы с тобой тут были рядом.
Парад кончается. Но ты не уходишь с парадом.
Папа! Помню тебя, обнимаю, плачу.

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ

Копал картошку, выкопал звезду —
Обрубок проржавевшего железа,
Как будто ходовую часть протеза
Страны, которой нет уж на возу
Истории…На памятник к доскам
Звезду прибил земляк-однополчанин.
Я от земли обтер ее, лучами
Незримо полоснуло по вискам.
И в сердце загудел набат святой,
Зовущий к братству, равенству, свободе…
О русском духе и больном народе
Напомнил ржавый символ золотой.

БАЛЛАДА О ПОСТОВОМ КУРИЦЫНЕ

На углу перекрестка, где улицы
Разбегались почти за версту,
«Под часами» улыбчивый Курицын*
В сорок третьем возник на посту.

Не обычный сотрудник милиции,
А сержант, закаленный огнем.
Ведь военной была амуниция,
И шинель, и фуражка на нем.

Уходили на Запад товарищи.
Доверяя милиции тыл.
Остывали в руинах пожарища.
Полыхали сердца у могил.

В город жители шли — деревенские,
Возрождали по камешкам жизнь.
Поднимались кварталы смоленские,
И хлеба на заводах пеклись.

* Милиционер Курицын простоял на посту «Под часами» 12 послевоенных лет (данные Музея полиции КЦ УМВД по Смоленской области). — *Примеч. авт.*

МАКАРЕНКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ родился в 1960 г. в Смоленске. Автор 8 книг стихотворений, редактор ежегодного литературного альманаха «Под часами» (издается с 2001 г.), председатель Смоленского регионального отделения Союза российских писателей с 2004 г., полковник внутренней службы в отставке, лауреат литературных премий им. А. Т. Твардовского, им. М. В. Исаковского, им. Н. И. Рыленкова, «На встречу дня» им. Бориса Корнилова, Южно-Уральской литературной премии (чугунный Дон-Кихот), дипломант литературного форума «Золотой Витязь». Живет в Смоленске.

Для свиданий во время свободное —
Отдых короток был и не част —
Намечали все место народное:
«Под часами» в назначенный час.

Но случалось — срывалось свидание.
Угадай-ка, чья вышла вина…
И обманывало расставание,
И грозило любви, как война.

Что тут делать, хоть Богу пожалуйся…
Глядь, стоит постовой на ветру.
И писалась записка: «Пожалуйста,
Передайте, коль спросит, Петру…»

«Не положено, барышня!» — Курицын
Возражал, а бумажечку брал,
Улыбался — мол, нечего хмуриться,
На работе, наверно, аврал.

У войны тайны горестно-мрачные.
А у мира есть счастья секрет:
Нагулявшись, несли новобрачные
«Под часы» постовому букет.

Обстоятельства виделись странными,
Хоть в волшебную силу поверь!
Обросла пришивными карманами
Милицейская чудо-шинель.

Проходя «Под часами», хоть мысленно
Повстречайся и ты с постовым.
Многих спас от разлуки пожизненной,
Делом, в общем-то, очень простым.

Мир основан на людях отзывчивых,
Подпоясанных строго ремнем,
В нужный час — непременно улыбчивых,
Закаленных жестоким огнем.

И об этом, как важном предании
Для потомков — не только для нас —
Вспоминай, подоспев на свидание
«Под часами» в назначенный час.

СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА

Этот вечный огонь мы зажгли не вчера.
Что же он не горит у заснеженной церкви!?
От чего так безмолвны зимой вечера,
Даже звезды в округе как будто померкли!?

Имена, имена — на гранитной плите.
Безымянный комбат в ледяной гимнастерке.
Боль эпохи застыла в бетонном литье.
Был бы жив — зарыдал балагур Вася Теркин!

За селом — переправа, по руслу Днепра
Прозвенев, прокатилось морозное коло.
Молчаливо под снегом пригнулась ветла.
Молчаливо заснеженное Соловьево.

БАЛЛАДА О ЦИМБАЛАХ

Мой прадед Корней на цимбалах
На празднествах сельских играл.
Знал песен обрядных немало
Последний смоленский гусляр.

Ударив по струнам игристым,
Шел к лавке, протезом стуча,
Всем видом подав гармонисту:
«Снимай-ка гармоньку с плеча!»

Мелодия землю и небо
Венчала, качала эфир.
Амбары светились от хлеба,
И радостью множился мир.

И белой лебедкой невеста
Плыла над родимым селом.
Гулякам непрошенным места
Хватало за дружным столом.

И счастлив был прадед, и рад был
Играть, распевая стихи…
Но стихли крестьянские свадьбы.
Ушли на войну женихи.

В деревне встречали Победу
Калеки да бабы одни.
За песнями к древнему деду
Не шли в окаянные дни.

Музыка не слишком цепляла
За душу, блуждая в былом.
Учебу игре на цимбалах
Откладывал внук на потом…

Везде мы цимбалы искали…
Играет мой прадед в раю.
Вот так цимбалисты пропали —
Бесследно — в Смоленском краю.

Виктор СБИТНЕВ

КО МНЕ ПРИХОДИТ РЫЖИЙ КОНЬ

Русская быль

Наверное, эта история могла произойти в любом захваченном фашистами крае откатившейся на Восток России. Но произошла в небольшой лесной деревеньке Исаево необъятной Калининской (ныне Тверской) области, по которой сегодня даже на автомобиле можно ехать целый день и… никуда не приехать: почти все населенные пункты на ее территории умерли. Немцы же приехали в нее уже в начале осени сорок первого и обосновались на целый год. Но сначала было наше беспорядочное отступление, больше похожее на бегство, во время которого отступавшие военные вели себя растерянно и нервно, стараясь не попасть под частые бомбежки, а то и в окружение. Поэтому, чтобы ускорить свое продвижение к спасительной Москве, они хватались буквально за все: близ Волги и притоков — за лодки, катера и баржи, а на кое-как обжитых просветах в дремучем бесконечье — за сельхозмашины, подводы и гужевой транспорт… Вот и единственного оставшегося в Исаеве коня Тобеля они реквизировали для эвакуации раненых. Поскольку все оставленные на произвол судьбы крестьянки ревели по коню, как по самому близкому человеку, о нем расскажем несколько подробней.

Конь появился в деревне в начале тридцатых, вместе с началом коллективизации, когда всю имевшуюся у местных жителей кое-какую живность заставили вести на «опчий двор», то есть из утепленных крестьянских подворий и хлевов — в неуютный дощатый овин с проваленной крышей. Впрочем, сначала обязательное обобществление коснулось одних только лошадей. Но единственная имевшаяся в деревеньке конюшня по так и не выявленной причине сгорела… вместе с собранными под ее крышей животными. Тогда принялись собирать по дворам все остальное. И вот здесь, теперь уже в овине, среди оглашенно вопиющих коров и телят и взывающих к милосердию коз и овец, и появился откуда ни возьмись складный рыжий коняга с добрыми сине-зелеными глазами. Кто его привел в это галдящее общественное стадо, так и осталось загадкой. Не иначе из района на нем привезли поджарого уполномоченного, который к вечеру, до изумления опившись мутным свекольным сырцом, полез на колокольню срывать крест и, не удержавшись на куполе, соскользнул вниз, в аккурат на неловко прислоненные к пристенку вилы. На следующий день после бестолковых поисков кулаков-убийц (их в крохотной деревеньке не могло быть по определению!) тело глупо погибшего коллективизатора увезли на районной труповозке, а про коня в запарке забыли. Его тут же заметил недавно обосновавшийся в Исаеве рыжий немец Франц Тобель, оставленный в районе от греха областными ГПУшниками якобы «для искоренения левацкого уклона». Говорили, что Тобеля выслали из Москвы, как бежавшего из Германии коммин-

СБИТНЕВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ родился в 1955 г. Член Союза российских писателей, Союза журналистов. Главный редактор литературного альманаха «Костромской собеседник». Лауреат Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2020). Живет и работает в Костроме.

терновца-троцкиста, который, не прислушавшись к советам советских товарищей, продолжал и в Москве агитировать за мировую революцию и единую коммунистическую Европу. Здесь, в глухой деревушке, Тобель сразу как-то присмирел и жил на отшибе странным молчаливым бирюком. А тут такой же рыжий, как и он, бесхозный конь! И они стали жить вместе. Мало того, после этого к немцу вернулась его природная общительность, и постепенно они с конем стали самой незаменимой в деревне хозяйственной бригадой, которая возила, пахала, боронила и даже качала из пруда воду для полива огородов и палисадников. Поскольку конь, как и его хозяин-немец, объяснялся с местными мужиками и бабами, в основном, при помощи кивков и звуков, его вскоре тоже стали звать Тобелем, а их бригадную пару — Тобели: «позвать Тобелей», «наказать Тобелям», «вспашут Тобели», «столковаться с Тобелями»… Все исаевское хозяйство с рыжими Тобелями несколько лет катилось, как по маслу, но метельной февральской ночью тридцать седьмого троцкиста Франца, уже научившегося к этому времени свободно говорить по-русски и даже охотно читать и толковать собравшимся «Краткий курс» товарища Сталина, увезли на синем фургоне в сторону товарного лесного разъезда, где об эту пору часто стреляли. И Тобель в Исаеве остался один.

Хотя… как один? Сразу несколько исаевских семей захотели приютить работящего конягу. Но сельский сход, специально созванный по этому поводу, приговорил: «Нет! Конь останется «обчим»!» В сущности, он и стал после этого единственной общественной собственностью жителей деревни Исаево, потому что из-за невероятной удаленности от райцентра и практически полного отсутствия «соединяющих его с остальным миром дорог» коллективизация здесь так и не завершилась… Не было ни председателя, ни правления, ни утвержденных планов, ни нарядов, ни табелей, ни остального советского навоза, которым большевики на бескрайних супесчано-суглинистых, вызывающе не плодородных территориях пытались удобрить ТО, что в принципе не могло здесь произрастать никогда! Но это уже другая история, отодвинутая немецким нашествием лет на сорок вглубь социализма. За конем принялись ухаживать незамужние сестры с характерной для здешних мест фамилией Исаковы: старшая Марья и младшая Дарья. И это всех устраивало, потому как, во-первых, у них не было детей и докучных материнских забот, а во-вторых, все исаевцы ревностно опасались губительного для коня мужского влияния: де, привяжется Тобель к одному крепкому крестьянскому подворью, а на другие его придется выманивать разными посулами да приплатами. Это рыжему троцкисту весь мир был родным колхозом, а местные мужики кроме своих наделов в упор не видели ни чужой земли, ни остального «обчества». Марья с Дарьей к Тобелю сразу привязались, никому из земляков в помощи никогда не отказывали, и через год про его прежнего хозяина-коминтерновца в деревне почти забыли, хотя, по чести говоря, конь успел перенять от Франца какую-то нездешнюю верность приютившим его местам и безграничную любовь ко всему мировому человечеству.

Когда Сталин обращался к исаевцам, как к братьям и сестрам, убеждая их в несомненной победе над немецким супостатом, Тобель неторопливо дожевывал овес в небольшом жестяном ведерке, которое специально для него выгнул и спаял кузнец Федор Камнев. Он же его и аккуратно подковывал в зиму, когда на большаке становилось скользко из-за переменчивой погоды, помоев и коровьей мочи. Когда Верховный мрачно прогрузинил свое «Побэда будыт за намы», конь недоверчиво фыркнул и вопросительно оглянулся на окно родной избы, из которого на него печально смотрела встревоженная последними событиями Дарья. Тобель

понял, что ближайшее будущее сулит одни лишь неприятные тревоги и напасти, и обреченно опустил свою тяжелую голову. А напасти начались уже через несколько дней, когда возвращавшийся с передовой неотбомбившийся «ДБ-3» стал опоражнивать свое вместительное брюхо прямо над ближним лесом. Ударившими почти в упор тяжкими взрывными волнами вышибло в Исаеве все окна и двери, а хозяйку ближайшей к опушке избы изрезало на подворье крупными осколками вместе с ее коровой и овцами. Так, первые потери пришли в русскую деревню не от жестокости немцев, а от нерасторопности своих. Впрочем, освободившийся от боезапаса бомбардировщик был явно поврежден, потому что, так никуда и не долетев, рухнул в десяти верстах к Северу, прямо на сплавную контору крупного села Мельгуново, похоронив под своими обломками весь тамошний кадровый состав, включая лесничего и капитана буксира, прибывшего за пиловочником для строительства блиндажей и землянок. Но последнему опечалилась одна лишь Дарья, потому что лесничий заезжал к ней после короткой субботы, перед выходным, «попить чайку и покалякать за жисть». И иногда они «калякали» по соседству с Тобелем, в копне свежего сена, заедая свое энергозатратное общение загодя припасенным ужином. Тобелю при этом всегда перепадало и вареной картошки, и ржаного хлеба, который он обожал больше всего на свете. Но не успела одна из Тобелевых хозяек перемочь свое горе-беду, как волна советского отступления докатилась и до Калининской области, поскольку особенно упрямо немцы перли в аккурат здесь, вдоль главной магистрали страны «Ленинград-Москва».

На Исаево только что упало первое бабье лето. Было жарко, как в июле. Передовая громыхала уже в нескольких километрах, и по замутненному исаевскому прогону несло густые волны сгоревшего железа и гниющей неподалеку плоти: двое суток назад заградительный отряд расстрелял на краю деревни нескольких дезертиров, но закопать их «сталинские соколы» не успели, потому как, не обученные грамотному противостоянию врагу, были коротко перебиты ловкими и привычными к боестолкновениям немецкими диверсантами. Перепуганные стрельбой исаевцы растерянно наблюдали, как немцы, по-хозяйски прибрав НКВДешные самозарядные винтовки и наскоро позавтракав трофейной тушенкой, вполне дружелюбно помахали им с опушки и даже пообещали на ломаном русском, что скоро придут сюда как освободители от большевизма: дескать, потерпите еще немного и выходите встречать свое вдруг привалившее счастье!

— Жалко, Рыжего Тобеля расстреляли, — с укоризной попенял на уже сбежавшую из района власть старый Семафор, прозванный так за его железнодорожное прошлое. — Он бы, пади, растолковал все про эту немчуру. На кой они к нам прутся, и чо от них, к примеру, ожидать? Свои-то вон тоже, — кивнул он в сторону роковой для особистов перестрелки, — те еще защитнички!..

— Да, Тобель был умственный немец, — согласился кузнец Федор. — Но этих он не любил. Да, и по правде сказать, что наш вождь, что ихний фюрер, — хрен редьки не слаще! И для тех мы — рабы, и для этих — рабочай матерьял. По мне, так пропади они все, вместе взятые! Русским тока легше станет.

— Не о том вы, мужики калякаете, — встряла в мужичий разговор Исакова-старшая. — Нынче нам надо всем вместе держаться — и тем, и этим… Вот победим — тогда уж и станем разбираться, с кем нам дальше станции считать, а кого отсадить на полустанке.

И мужики, сначала виновато потупившись, потом согласно закивали, хоть и не могли взять в толк: а как побеждать-то, если через день-другой

супостат станет хозяйничать на их земле, контролируя все и всех — от мала до велика?

А на следующее утро в Исаево нахлынула нервозная волна нашего отступления, которая окончательно поколебала дух даже тех немногих, кто без колебания верил в скорое возвращение Красной Армии и в обещание товарища Сталина о нашей неминуемой Победе. Тобель, вероятно бы, благополучно остался в своей сараюшке, где его надежно приперли дубовым комлем не забывшие большевистских продразверсток сестры Исаковы. Только вот раненых отступавшие артиллеристы сложили в аккурат возле сестриного крыльца, и они так жалобно стонали, что Дарья с Марьей едва успевали хлопотать над ними, то ополаскивая горячечных колодезной водой, то заменяя пропитанные гноем бинты клочьями от ночных рубах, то просто утешая болезных и уговаривая немного потерпеть до скорого санбата. Однако, трое тяжелораненых солдат и один молодой лейтенант с оторванной ногой умерли прямо у них на руках. И тогда Марья подошла к сараю и вывела из него Тобеля. Потом, при посредничестве Дарьи, щуплый интендант и двое бойцов из пощипанного немцами артдивизиона выкатили во двор просторную телегу и стали осторожно грузить оставшихся в живых раненых, которые жалобно и благодарно смотрели на обеих женщин. А те в ответ только молились да осеняли их крестными знамениями. Потом женщины молча подошли к покорному Тобелю и, прислонившись к его золотящемуся на солнце крупу, что-то шептали коню на ушко и гладили его по обреченно опущенной шее, бережно опуская ему на оттопыренную нижнюю губу кусочки мягкого ржаного хлеба. А потом интендант, поклонившись женщинам в ноги, скомандовал коню «Ну, пошел!», и Тобель, виновато оглянувшись, решительно тронул перегруженную повозку.

— Ну, вот, и забрали у нас заступники, мать их…, последню нашу опору! — с чувством изрек как всегда не вовремя подоспевший Семафор. — Топери опять все на свовом горбе да на закорках, щучий нос! Ну, и правильно, что отдали! А то факт, что немчура бы отобрала. Лучче своим помочь, можа, хоть выживут эти сынки да назад захотят возвернуться, чтоб спасибо сказать… Эти хоть в немцаф пуляли, не в своих. Как не помочь! А этим «заградам» я бы ни за что не помог! Им, курвам, стрелять все равно в кого: в дизельтиров, в вас, в меня или вон в кузнеца нашего Камнева. Оне только в немцев не научилиса стрелять! А в своих — это запросто!

А Тобель все оглядывался и оглядывался с надеждой и прощально ржал в пустеющую улицу. Впрочем, напоследок заплаканным сестрам удалось узнать у немолодого уже командира дивизиона с располагающими еврейской внешностью и фамилией Соловейчик, что его часть отходит к Ярославлю на переформирование и переоснащение, поскольку потеряла две трети личного состава и почти все орудия. «Значит, — решили сестры, — Тобель будет работать в тылу. И, Бог даст, не погибнет…». Но уже через двое суток раздумья о судьбе любимого коня были развеяны лающей немецкой речью:

— Матка, давай млеко, яйки, буттер и немного молодой сиська!

Оккупация текла мучительно долго. Хотя Марье и Дарье повезло, поскольку у них поселился офицер в чине гауптмана, который вел себя вполне дружелюбно. Благодаря этому немцу у сестер не отобрали ни корову, ни кур, а вскоре толстый ординарец немецкого капитана приволок сестрам молодого поросенка, которого они должны были откармливать. На варварской смеси немецкого и русского немцы кое-как втолковали женщинам, что, когда поросенок превратится в свинью, они ее честно поделят поровну. И было видно, что заинтересованные про-

питанием немцы не врут. Несколько раз деревню бомбили наши штурмовики и обстреливали из миномета партизаны. По немцам ни те, ни другие не попали, но еще от нескольких изб остались лишь почерневшие печи. Поэтому сестрам Исаковым пришлось приютить у себя осиротевшего мальчика Ваню и дворнягу Жучку, у которой в огне погибли все хозяева вместе со скотиной. Ваня и Жучка сперва крепко горевали, но потом женщины обременили их домашним хозяйством, и осиротевшие бедолаги постепенно оттаяли. Ваня стал молоть в ступе муку и пасти корову с овцами, а Жучка ходила с Дарьей ставить и снимать капканы на зайцев и стрелять на вырубках перепелок и тетеревов (гауптман доверил ей отобранное у кого-то из мужиков старое ружьишко). Несмотря на свое дворняжье происхождение, Жучка обладала очевидным гончим интеллектом и выносливостью: грамотно гоняла косых по «замкнутому» кругу и всегда делала стойки на боровую дичь. Так что, Дарья несколько раз радовала домашних то зайчатиной, то перепелятиной. Когда заготовленная провизия кончалась, немецкий кладовщик приносил гауптману мешок пшеничной муки, несколько пакетов круп и ящик свиных консервов. Сестры готовили хорошо, не забывая про лук, чеснок и прочие приправы. Немцам это нравилось, и они разрешали им готовить и на себя. Случалось, долгими зимними вечерами сестры вспоминали Тобеля и представляли себе, как он там на чужбине зимует, бедолага…

— Тобель, он — выносливый, — стараясь быть убедительной, размышляла Марья, — выдюжит. Там ведь тоже русские люди живут, а конь еще не старый, работящий.

— Да, и ест немного, — соглашалась Дарья. — Я тоже так предполагаю, что переживет как ни то это лихолетье!

И обе начинали с надеждой смотреть в темные окна избы, словно где-то там, за их непроглядной синью, вязнет в снегу их Тобель, силясь дотянуть до какого-нибудь барака с эвакуированными возок дров или кладь мерзлой соломы.

Наши подошли к Исаеву много позже того, как был освобожден Калинин, в аккурат вместе с началом контрнаступления под Сталинградом. Артиллерия, слава Богу, по деревне не била. Видно, командиры Красной Армии решили, что за десяток домов немчура особо цепляться не станет. А вот стала! Уж больно высоко стояло Исаево, на лесистом холме многокилометровой возвышенности, уходящей на Юго-Запад, к Валдайским озерам. Когда с чердака избы стал злобно бить пулемет, перепуганные женщины поняли, что началось наступление, и от греха, прихватив Ваню, Жучку и швейную машинку, поползли огородом к бане, за которой была отрыта щель от авианалетов. Из нее им было хорошо видно широкое поле, по которому бежали к деревне люди с винтовками. Бежали и падали… И даже неискушенным в военной науке женщинам было непонятно: зачем наступать на прицельно бьющие пулеметы по открытому полю? Долго наблюдать за таким страшным зрелищем они не смогли и, рыдая, повалились на расстеленную по дну щели солому. Жучка протяжно завыла, а Ваню они сдернули с бруствера вниз, опасаясь шальной пули или осколка, потому что редкие снаряды неподалеку все же рвались. Когда началась третья или четвертая атака, немцы сложили свои пулеметы и, зло поминая то общего Бога, то русских фанатиков, стали проворно улепетывать в сторону дороги, где их, судя по звуку запущенных моторов, дожидалась колесная техника. На какое-то время все стихло, и они осмелились выбраться за баню. Наступающих не было видно, только груды тел в беспорядке лежали по всему полю. Ни в доме, ни в палисаднике, ни на улице сестры не нашли ни одного убитого фашиста.

— Может, тела своих они с собой прибрали? — предположила осторожная Марья. Но повзрослевший вдруг Ваня отрицательно мотнул головой:

— Не-е-е, была бы кровь кругом: и в избе, и особенно на снегу. Уехали они! Тем более, что наши не наступают… Видно, перебили всех. Ждут подкрепленья. Вот немцы и воспользовались…

Оккупация кончилась на следующее утро. Женщины проснулись и увидели под окнами избы Ваню, который размахивает над головой красным пионерским галстуком. Они так перепугались за него, что попадали с высокой деревянной кровати, на которой грелись друг от друга в плохо протопленной передней. Но вскоре услышали и увидели Жучку, которая облаивала полуторку с полувзводом солдат в фуфайках и полушубках. А потом начались тяжкие похороны. Сестры помогали нашим бойцам стаскивать тела к одному обозначенному колышком месту — примерно по двадцать трупов в одному колышку. Всего таких ужасных окровавленных груд они насчитали полдюжины. Все убитые были очень молоды, почти мальчишки. Не выдержав гробового молчания над убитыми, Марья зарыдала над одним из них в голос:

— Детонька, ты мой миленький! У тебя же и мама где-то осталась, и отец небось еще не старый, и девушку ты ни разу не целовал! За что же тебя эти, — она с ненавистью вспомнила заградотрядников и Семафоровы в их адрес проклятия, — на нашу гору погнали?! В нашем Исаеве и домов-то с десяток наберется, не больше! И полторы сотни парней за такую малось положить! Изверги, аспиды проклятые! Осторожная Дарья нервно дернула ее за рукав:

— Не надо, Маша! Не ровен час, услышит кто из особистов, или вон офицерик этот выслужиться захочет…— Она боязливо кивнула в сторону молодого командира похоронной команды. — Шепнет куда надо. И увезут нас с тобой, как немца-троцкиста к товарному разъезду…

— Не, ща не повезут! — убежденно не согласилась сестра. — В военное время без суда и следствия…прямо с мальчишками этими в одночасье и зароют. И они молча стали копать первую неглубокую яму. Когда на пропитанной кровью долине появилось шесть равно удаленных друг от друга холмов, Ваня принес им краюху черного хлеба и бутылку молока. Откуда-то налетела целая орда черных, как смоль, ворон, которые тяжело приземлились прямо на свежую землю и стали о чем-то ожесточенно спорить, словно уже добрались до присыпанных землею тел.

Как ни странно, с приходом наших жить стало голодней. Во-первых, потому, что немцы успели съесть или вывезти все сделанные по осени припасы, а во-вторых, у спешно наступавших на Запад войск практически не было с собой ничего съестного: снабжающие их тылы либо сильно отстали, либо где-то потерялись, либо были уничтожены немецкой авиацией. Женщины варили оставшиеся от немцев ремни, а вместо чая пили отвар из коровьего сена. Только молоко удерживало их на ногах и позволяло кое-как хлопотать по хозяйству. Но даже за молоко женщины тайно благодарили расчетливых и, видимо, предполагавших надолго задержаться в Исаеве немцев, которые летом догадались привести их Буренке случайного быка, иначе бы она осталась яловой. И вдруг…

Стылой мартовской ночью кто-то стал трясти их отстающую от тына калитку. По той странной, не присущей военной поре деликатности, с которой кто-то не требовал, а именно просил ему отворить, и по какому-то особому, нерешительному тону Жучкиного лая сестры, взволнованно переглянувшись во тьме, поняли, что к ним пожаловал кто-то ни как не чужой, только очень-очень усталый… И они наперегонки пустились открывать, словно давным-давно, едва ли не каждой насупленной, обложенной неласковыми туманами ночью ждали этого нерешительного

позвякивания дверной щеколды. Когда освобожденная от засова калитка легко отвалилась в улицу (изба Исаковых стояла на пригорке), в проеме показался до боли знакомый лошадиный силуэт.

— Тобель! — прорыдали обе женщины, перешагивая через кирпичный порожек, а больше озадаченный, чем испуганный Ваня повалился на кучу оставленной возле тропы соломы. Уздечки на коне не было. Бегло ощупав животное, сестры с невыразимой болью почувствовали, как сильно Тобель изможден, и, как должно быть, ему стыдно перед ними за свой жалкий конский вид.

Засветив сразу два фонаря, первым делом, женщины дали ему напиться и пододвинули ведерко с остатками пропаренного к утру зерна. И конь стал есть, но неторопливо, тщательно прожевывая ухваченное своими мягкими, такими всегда отзывчивыми губами. А потом женщины стали его мыть с мылом и оставшейся от немцев марганцовкой, потому что тело коня, особенно на ногах и животе, имело много порезов, которые местами уже успели превратиться в язвы. Тобель терпел, видимо, хорошо понимая, что наконец-то после стольких мучительных странствий попал в родные добрые руки.

То, что коню пришлось долго бродяжить, не вызывало никаких сомнений. Как получилось, что умное работящее животное осталось бесхозным, приходилось лишь догадываться. Впрочем, во время войны случалось порой такое, на что в мирной жизни не было даже намека. Например, женщины слышали, что промышленный Ярославль неоднократно подвергался ударам с воздуха, поскольку активно работал на фронт, производя военную технику, разное оружие и патроны. И понятно, что разрывы тяжелых авиабомб могли разрушить конюшни, фермы, а тем паче временные сараи и попросту распугать животных…

Пока вернутся из бомбоубежищ хозяева, пока, оглушенные, сообразят, что к чему, пока примутся считать потери и восстанавливать разрушенное… испуганные кони уже далеко-далеко, где-нибудь в пустынном безлюдном поле, а то и в лесу. А дальше горе-мыканье, поскольку в войну все сосредоточены лишь на одном, самом стойком природном навыке — ВЫЖИВАТЬ! И никому нет особого касательства ни до бродячих собак, ни до болтающихся невесть почему лошадей. Кто их знает? Может, хозяин где-то рядом чинит тележное колесо или ладит треснувшую на морозе дугу?

А Тобель явно не болтался, а целенаправленно шел к дому, из которого его вышибла безжалостная Воля войны. Другой вопрос: как он нашел дорогу? Как угадывал направление? По звездам, запахам, наугад? Понятно, перелетные птицы… те вообще летят из разных там Африк и Индий! Но они смотрят на мир с огромной высоты, и их вожаки, как древние мореплаватели, отдают свои стаи во власть проверенных многими поколениями ветров. А бесхозная лошадь?! Совсем одна, в незнакомом, неизведанном крае, среди голодного, измученного войной народа… Какие ветра вели ее, еще больше, чем люди, изнуренную, гонимую всеми от запахов тепла и еды? Сестры говорили и говорили, и плакали, плакали, плакали. И Тобель, казалось, плакал вместе с ними.

Весна в деревне и в мирное-то время считалась самой голодной порой, а в начале сорок третьего все выживали, как могли. А некоторые, особенно исхудавшие и совсем немощные старики и старухи, совсем отчаялись дотерпеть до лета. Они запирались в своих избах, ложились на холодные полати и начинали терпеливо ждать смерти.

Двух таких смиренных бабушек Дарье с Марьей удалось спасти, а одна так и угасла всего за сутки до первого серьезного тепла и шевеления березовых почек. Бабушке кое-как выкопали мелкую ямку прямо у нее

на огороде, потому что промерзшая земля еще не оттаяла и плохо поддавалась даже лому, а нести тело на кладбище не было сил.

Тобеля кормили, чем могли. Выручало то, что он был очень понятлив и крайне неприхотлив. Как только появилась первая нежная травка, повеселевший конь сам попросился на вольный выпас, а потом охотно впрягся в плуг, и в Исаеве с радостью вспомнили о счастливой довоенной жизни.

Разминаясь перед утренней работой, Тобель пугал на росистых лужайках недовольно квохтавших на него кур и, как молодой бычок, заигрывал с щипавшими первотравок телками. Если его жалила случайная пчела, он хулиганисто мотал косматой гривой, если Федор Камнев предлагал ему ведро ледяной воды, он по-молодецки выпивал все до дна, а если Марья или Дарья просили его угомониться и отдохнуть, он, делая вид, что натурально отдыхает, сам хитро раздумывал над тем, как бы ему поэффектней выдать аллюр по спускающемуся к лесу деревенскому прогону. Несмотря на то, что недалеко на Западе еще гремела война, Тобель был вполне счастлив в эти солнечные дни своего удачного возвращения к пьянящему духу родных подворий.

Однажды вечером, сразу после разгрузки с Тобелевой телеги привезенных Федору Камневу дров, Семафор пересказывал отдыхавшим от работы мужикам трофейный фильм, который ему удалось на днях посмотреть в мельгуновском клубе:

— Эти мериканцы, даже ихные негры, живут совсем иначе, чем мы. Ну, то ись куда справнее и по еде, и по выпивке, и по одеже. Я уж, щучий нос, про транспорт не баю. Мерсидесы там или екипажи какее… Кругом чисто, трава у их, знашь, подстрижена вся. И цветов, щучий нос, округ, как в раю! И, главно дело, и жен законных имеют, и разных там молодух прямо на службе прут. И хвастают друг дружке… Один, старый уже, грит: «У меня шикарная вилла и молодая полюбовница». А второй ему в пику: «А у меня две виллы и две эти… любовницы». А третий, самый молодой, но, как видно, и самый богатый, ваще им так нагло заявлят: «А у меня три виллы и пять любовниц!» Короче, один, считай, открыто прет сразу шестерых баб!

В наступившей вдруг напряженной тишине было слышно, как на стену камневской избы начал мочиться разомлевший от овсяного угощения Тобель. И тогда сам Камнев с вызовом продолжил альковный рассказ Семафора:

— А у нас с братом Колькой одни вилы на двоих, зато прем всю деревню! От поднявшегося мужичьего гогота гулявшие неподалеку куры чудом, как воробьи, перепорхнули через забор, а Камневская жена Евдокия, высунувшись из раскрытого окна, напрямую заподозрила собравшихся в «кобелизме» и тайном употреблении картофельной моренки…

А Тобель, как положено, отработав на кузнеца, самостоятельно потрусил к родному пригорку, с которого уже приветливо махал ему заскучавший в одиночестве Ваня. Видно, Жучка с хозяйками, догадался Тобель, еще не вернулись с копки дальнего картофельника. Но уже через какой-нибудь час все дружно соберутся под окнами, на свежей ярко-зеленой лужайке и станут гладить жующего хлебную корку коня кто по крупу, кто по бугристым, едва зажившим ногам, а кто — по умным благодарным глазам, лучистым и усталым, как наполовину севшее за боры солнце.

А на следующее утро, как по колхозному табелю, Тобеля поведут подсоблять вдове Галкиной, у которой после гибели еще где-то в Белоруссии ее мужа Ивана Степановича, осталось на руках три дочери: двенадцати, девяти и трех лет. Ей Тобель проборонит два огорода и подвезет пару

костров вершинника, который переколоть сможет даже сама Галкина. Только Камнев подточит ей топор да притянет к сарайке подходящий дубовый комель с ровной, как стол, поверхностью — чтобы обух топора, чего доброго, не дал юзу и не срикошетил. А то ведь так можно и без пальца остаться, и щиколотку загубить.

Потом Тобель навозит в «обчую баню» воды, притянут они с Марьей два бревна и полтора куба досок на прогнивший через местную речку Струнау мост, и даст Марья коню полведерка обрата с ржаным отбоем (отрубями) и проваренными картофельными очистками, ласково приговаривая, пока он отходит от работы: «Потерпи, друг Тобель, потерпи, родной! Скоро тебе легше станет. Вернутся наши мужики с фронту, возьмутся за струменты, а ты станешь тока отдыхать…»

Наевшись и вняв Марьиным уговорам, конь вновь встанет наизготовку, в ожидании запросов на тягловую помощь. Обычно охотников — хоть отбавляй: весна — пора посадок и починок, вывоза из оттаявшего леса остатних дров и визитов в большое Мельгуново за топорами, мотыгами, граблями, лопатами, гвоздями да пилами. Кузнец Камнев, конечно, сметлив и рукаст, но и ему нужны металл, припаи и уголь, да и рукавицы он предпочитает специальные — кузнецкие, с защищенной ладонью, чтоб не глушить горна и не обливаться без толку водой.

Камнев не терпел телеги, и Тобель возил его верхом с двумя или тремя товарными мешками поперек крупа. И что это была за удивительная езда полями и лесом! Несколько раз Камнев поил коня березовым соком, потчевал молодыми ветками липы, а в старых березняках — духмяной порослью подснежников и медуниц. Конь очень любил свежую траву. Она его заметно бодрила и вызывала в памяти полузабытые образы своей матери-кобылицы и давно канувших в колбасное производство не переживших бескормицы братьев.

Когда кончилась война, Тобеля украсили красными лентами и запрягли в диковинную, еще барских времен коляску, найденную Семафором на вросшем в мелколесье старом, полуразвалившемся складе. Ее убрали первыми цветами и принялись весело катать на ней подросшего Ваню и еще дюжину исаевской мелюзги, родившейся в основном в первый год войны. Жучка к этому времени уже издохла от старости, а потому за коляской никто не бегал. Все только кричали о чем-то веселом и возбужденно хлопали в ладоши.

Потом на коляску влез приехавший из Мельгунова председатель сельсовета товарищ Безруков с одной рукой и поздравил исаевцев с Великой Победой, не забыв упомянуть о гениальном предвидении товарища Сталина и массовом героизме советского народа и в том числе бойцов Красной Армии, призванных на фронт из Исаева.

В деревню, и в самом деле, с войны вернулся только один калека, который через полгода умер в районной больнице. И пришлось Тобелю опять — теперь уже до конца своих дней — работать за всех навсегда оставшихся на войне. И он работал, ни разу не взбрыкнув и не забастовав от усталости, что с лошадями после войны нередко случалось. В этой связи то Марья, то Дарья его порой спрашивали о том, что его звало обратно в Исаево, если здесь одна только работа, за которую ему полагалась лишь немудрящая, вовсе не лошадиная кормежка, и очень редко — овес? Чего ради, он, голодный, избитый плохими людьми и изодранный лесными колючками, долго и мучительно искал эти возвратные пути в низинные, неурожайные и разоренные войной места?

Тобель печально молчал, а сердобольные женщины говорили больше одна другой, чем ему самому, что в общем-то все с русскими людьми так и должно быть: однажды обретя Родину, остаются верными ей до смерт-

ного часа. И конь понимал, что он уже давно, как человек, и в табуне теперь ему было бы скучно.

Впрочем, причина этого внутреннего состояния заключалась не только в укрепившемся Тобелевом человеколюбии. Конь просто постарел, и все чаще стал замечать то дрожь в ногах, то ломоту в спине, то неприятную, сосущую пустоту под ребрами. И это несмотря на то, что кормить его стали гораздо лучше! Он теперь ел и овес, и клеверное сено, и люцерну, и мелко нарезанные овощи с отрубной добавкой. Кроме того, в Исаево стал регулярно приезжать из Мельгунова небольшой немецкий трактор, который легко таскал за собой и плуг, и борону, и грузовой прицеп. Так что, нагрузка на Тобеля упала в разы, но уставать он не перестал.

Поэтому теперь он, главным образом, помогал только своим тоже стареющим хозяйкам да их одинокой соседке Тане-партизанке, которая жила в крохотной избенке под щепой и держала лишь козу и десяток кур. Ваня вырос в крупного доброго парня, и Тобель охотно возил его в Мельгуновскую школу, где тот учился уже в старших классах. Потом сестры, которых Ваня звал «мамами», купили ему в сельпо велосипед, и Тобель после этого все больше стоял на лужайке и с грустью смотрел куда-то за Струну, где на лугах они с Камневым в охотку лакомились молодым конским щавелем и дикой редькой, мягкой и ароматной, как румяный сметанник с печного ухвата.

И вообще, Тобель больше всего любил май, когда под уже почти летним солнцем из простуженных легких с приятным клекотом выходит вон зимняя хворь, а молодые растения и травы легко поддаются даже редким истертым зубам, обильно наполняя всю вместительную полость под языком то слегка горьковатой, то кисло-сладкой кашицей.

Но у кузнеца этой зимой арестовали сына, который возглавлял партком районной кожевенной фабрики, и Камнев сначала слег с давлением, а потом и вовсе с ним случился инсульт, и Тобель на санях вез его сосновый гроб до кое-как откопанных из-под снега ворот маленького, буквально вросшего в березовый подлесок кладбища.

Увидев скучающего под окнами коня, однажды приехавший из района заготовщик мясокомбината деликатно посоветовал сестрам Исаковым пока не поздно сдать его на колбасу, но в ответ услышал о себе такое, что от греха тут же убрался к себе на комбинат, где написал жалобу… в райком партии. Однако, хода этой бумаге не дали, поскольку даже первый секретарь райкома, партизанивший в местных лесах, доподлинно знал и про историю Тобелевого возвращения, и про то, как этот небольшой коняга долгие годы вез на себе все беды и заботы отрезанных от остального мира гиблыми распадками исаевских женщин.

Однажды на рассвете, в аккурат в самом начале июля, в день, когда через репродуктор Сталин назвал Марью с Дарьей своими сестрами, они услышали за стенкой в стойле странное ржанье: конь ни разу в стойле не ржал. Кое-как нащупав носками стоп валеные чувяки, они стремглав выскочили на двор. Тобель лежал в загороде на соломе, лежал в какой-то не привычной для него позе, судорожно вытянув исхудавшую шею.

— Умер? — упавшим голосом спросила сестру Дарья.

— Нет еще, — почти спокойно ответила та. — Он попрощаться позвал. И они осторожно спустились к нему на вымощенный мелкими бревнами пол. Конские глаза были почти полностью прикрыты. Но когда сестры нагнулись ниже, и их дыхание коснулось его прядающих ушей, он весь напрягся и с неимоверным усилием подогнул, как положено лошади, ноги под себя и приподнял голову. Поначалу глаза его были мутны («от боли, наверно,» — подумали сестры), но через мгновение-другое в них вернулось то редкое сине-зеленое свечение, которому с благодарностью

внимали в каждой исаевской избе. Некоторое время он просто смотрел на них своим долгим испытующим взглядом, словно просил о чем-то напоследок. Тогда Марья достала из передника небольшой ломтик свежего черного хлеба и бережно поднесла к едва трепетавшим конским ноздрям. Он жадно втянул в себя хлебный дух и, прикрыв веки, уже не стал его выдыхать.

— Вот теперь Тобель умер, — сказала Марья и спрятала лицо на груди у сестры, а та, не выдержав, тихо заплакала.

...Тобеля похоронили на том же маленьком кладбище, где и кузнеца Камнева, и чудака Семафора, и одинокую Таню-партизанку, и неразлучных сестер Исаковых, и где потом, в течение нескольких десятков лет, укроют метром скупой супесчаной почвы и всех остальных жителей Исаева, которые не успеют перебраться, впав в немощь, к своим городским детям или внукам. Уже через двадцать лет Исаево полностью умрет, а еще лет через десять исчезнет и с карты области.

Но самое удивительное, что следом за ним почти полностью вымрет и крупное Мельгуново. В нулевые годы нового века на его месте еще оставались две или три избы, в которые ближе к лету приезжали из города дачники. Но недавно, возвращаясь из Питера на машине, я даже большака там отыскать не сумел, а на месте некогда справных подворий не осталось даже характерных проплешин.

И, наверное, поэтому ко мне все чаще и чаще приходит удивление и даже восхищение каким-то маниакальным равнодушием наших разного рода командиров и по истине заповедной «любовью к отеческим гробам». А вместе с ним и больная память о тех молодых солдатиках, едва ли достигших совершеннолетия, не нюхавших пороху юношах, которые остались лежать здесь, в сущности, всего лишь ради этого маленького, уже навсегда исчезнувшего в березняках кладбища. Где вместе с трудно прожившими свои жизни русскими людьми лежит и их любимый конь, сумевший подняться вместе с ними над бренностью мира и жалкой обывательской суетой... чтобы раствориться в уходящих к утреннему солнцу перелесках.

Примечание:

По последним данным, только в боях за небольшой районный центр Калининской области город Ржев погибло около двух миллионов бойцов и командиров Красной Армии.

* * *

Ржев — роспись белого фарфора:
легка художника рука…
Висят над памятью собора
сиреневые облака.
Взвоз в обрамлении чугунном,
мосты, меж ними ледостав.
Звенит мороз по легким струнам
сухих и безымянных трав.
Никто не думает о смерти,
на ветках снега бахрома.
…А в том проклятом сорок третьем
была такая же зима.

* * *

14 октября — день начала оккупации Ржева

Стоял Покров. Седой была трава.
Прозрачным льдом затягивались броды.
Дышали бабы детям в рукава,
крестясь на облака и самолеты.
Студеный ветер нес горелый прах.
Калина индевела за калиткой,
и ягодная горечь на губах
была еще одной немой молитвой:
«А вдруг он выжил в месиве фронтов…»
Качала лодки медленная Волга,
качали колыбели руки вдов,
и яблоня кровила от осколка.
Гноился глиной ледяной окоп
на месте сада, в горло било сердце,
как в землю заступ… Пот стекал на лоб.
И кто-то вдруг сказал:
— Смотрите, немцы.

* * *

Никто не знает имен этих серых трав,
имен солдат, их выкормивших собой.
Тут смерть бесновалась между соборных глав,
Здесь ад был — в маленьком городе под Москвой.

КОЛЕСНИК ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА родилась в 1977 г. в Москве. Окончила Тверской государственный университет в 1999 г. Работала на краностроительном заводе. Автор пяти книг стихов, среди них — «Музыка и мазут» (СПб, «Пальмира поэзия», 2020). Победитель Волошинского конкурса (2019). Живет в г. Ржев Тверской области.

Пугая птиц, оробевших на берегах,
хрипел и рявкал бешеный миномет,
и каждый солдат, затыкая за пояс страх,
шептал, что он — ни в коем случае не умрет,
домой полетит треугольник, а не квадрат,
и враг подавится волжской водой и льдом.
Но спал на брате окаменелый брат,
шепча о памяти вечной кровавым ртом.
Но памяти нет, а мертвые не умрут.
Стоит, стережет застывший в снегу пустырь
храм, артиллерией вбитый по горло в грунт,
как безымянный каменный богатырь.

ПИХТА

В наших лесах не встретишь пихту.
Говорят, у нее шишки растут вверх, как свечи.
В Зальково газпромовские приехали на вахту —
тянут трубы с Ямала в Европу с утра до вечера.

Они-то конечно видели пихту,
бродили по стланику, били шишку с кедрача.
Мужики подбрасывают облепиху
в черный горячий чай.

Потом садятся в кабины тяжелой техники,
начинают раскапывать ржавую глину.
Из-под ковша летят белые осколки.
«Останови машину!»

Мужики спрашивают: «Это что, кости?
Мы видели войну на мемориале, она другая.
Почему здесь не растет пихта, не горят свечи?
Почему здесь не горят свечи?»
Никто не знает.

Молчат кривая осина, елка, гнутая, как подкова…
Кости лежат в ржавом болоте у Залькова.

* * *

снег наступает на москву
как немец на москву
и доннерветтер холодит
озябшую трубу
на муттер волге черный лед
и белый снег на льду
ребро гармошки холодит
озябшую губу
а где-то русские гудят
и валенки скрипят
а где-то русские не спят
и горькую едят

и говорят — иду на вы
и не идут на вы
а снег уходит от москвы
как немец от москвы

* * *

Сквозь зубы, как конь, потягивал чемергес,
кивал, говорил: прости ты меня, прости.
Луны порез на небе; сбежать бы в лес —
топтать заболотный дол, кровяной настил,
без памяти сквозь чапыжник, через ольху,
в невидимой крови березовые стволы,
не видя знакомые лица ничком во мху,
кого при атаке свинцовый огонь свалил.
И снова не шел, плескал в алюминь, кивал —
щербатые тени веревками на кадык.
В далеком лесу расцветет одолень-трава.
Ее приложить, и все сделается как дым,
ее заварить да выпить, и все не так —
страшнее, чем есть — не должно и не может быть…
За небом, болотом и лесом дымится танк,
и выживший пьет и просит его простить.

* * *

3 марта — день освобождения Ржева

В синем марте холодно, как в аду.
В церкви детский плач — выноси святых.
Накормить бы всех, приложить к кресту…
Ни креста, ни хлеба.
Вдали затих
грохот бронетанковый, смертный бой,
и такая встала до звона тишь —
непонятно, умер или живой.
По взрывчатке ходит дурная мышь —
или от шинели горелый клок
ветром пошевеливает слегка.
Страшной сажей вымазан белый бок
в церковь залетевшего голубка —
он по-человечески присмирел,
как по-человечески умирал.
— Правда, не ревет уже артобстрел!
Слышишь, не реви уже!
Отпирал
их солдатик лет, может, двадцати,
длинный, как коломенская верста.
Не герой и даже не командир
им похожим виделся на Христа.
…Это было уймищу лет назад,
может, и в живых никого из них.
Ржевский синий март и горелый ад

затянулся жизнью и подзатих.
Над Покровской церковью — стужи свист.
Я с гвоздикой рядышком притулюсь.
Атеист я, бабушка, аметист.
Но сегодня, кажется, помолюсь.

* * *

Где-то в ржевской земле он лежит,
мой ненайденный прадед,
где сомкнулись леса над домами пустых деревень.
Престарелая яблоня в землю вросла в палисаде,
как старуха, которая стала сама себе тень,
как бабуля моя.
Поджидала погибшего папку
худосочная девочка послевоенной поры.
«Ну, куда ты, застудишься! Нет его! На тебе шапку...»
Не хотела, не слушала, плакала горько, навзрыд —
и бежала, бежала, туда, за околицу, дальше.
В позапрошлом году она в семьдесят три умерла,
а деревня ее умерла незаметней и раньше.
Салютуют беззвучно четыре печные ствола
в невеселое небо над маленьким городом Ржевом,
горизонт трассировкой рассвета навылет прошит...
Где-то в этом суглинке, где было кровавое жерло,
мой ненайденный прадед, меня уберегший, лежит.

* * *

Пушка спит на пьедестале,
смотрит дуло сквозь кусты.
К оружейной старой стали
прилагаются цветы.
Мне четыре. Лезу, лезу
по резине колеса,
по нагретому железу
к тополям под небеса.
Кажется, что дымом пахнет.
Бабушка, смотри сюда!
Ведь она еще бабахнет?
— Я надеюсь, никогда.

* * *

Г. В. Нестеровой

Бабушка ворчала: все про любовь!
Про войну и Сталина напиши:
как в боях за родину лили кровь,
как сурепку ели и камыши,
как до бурой юшки из-под ногтей
разбирали церковь по кирпичам,

как рожали в поле своих детей,
и они не плакали по ночам.
Как сидел на лавке дедуля твой
и, отставив наискосок протез,
вспоминал налет, и моторный вой,
и глаза санитарки, и красный крест.
Напиши, как работали на износ,
как стояла беременной за станком,
тридцать восемь градусов был мороз…
Четверых родила я мирком-ладком,
а сынок-то помер; кричит свекровь,
по щекам его хлещет: дыши, дыши!
В общем, ты пиши про свою любовь —
про войну и Сталина не пиши.

* * *

Куда ни пойдешь, выходишь на речку Бойню.
Грибы стоят, как солдатики в ржавых касках.
Кукушка, сколько еще? Говорит, не помню.
Июнь, а потом зима, а за нею Пасха.

За тучей небо, на небе осколок солнца.
У серой птицы глаза почти человечьи.
Она куковала деду, что не вернется
он с этой бойни, с маленькой тихой речки.

Станислав ПОДОЛЬСКИЙ

МАМА НЕУКРОТИМАЯ

(Эвакуация)

Когда немцы во второй раз взяли Ростов, мама поняла, что медлить больше нельзя, потому что, возможно, через неделю-другую они будут в Минводах, и тогда уже никуда не уедешь.

Эвакуация не была объявлена, и людей ссаживали с поездов, если у них не было официальных разрешений на проезд. И тогда мама решилась на преступление. Она выправила себе «командировку» в Среднюю Азию, точнее во Фрунзе (тогдашнюю столицу Киргизии), где был прописан ее подзащитный уголовник. Срок заключения его истек, и он, освободившись, уехал. Но в «спецхране» осталось его имущество: несколько серебряных полтинников, офицерский ремень и еще кой-какое барахло. Так вот, маме якобы предписывалось вернуть отсидевшему свое зеку его вещи. Что и говорить — «филькина грамота». Но на бумажке стояла настоящая гербовая печать!..

Жили мы тогда в симпатичном собственном домике, утонувшем в глубине обширного сада. От ворот к дому вела мощеная тополевая аллея.

Мама моментально за сущий бесценок продала дом. Собрала необходимые вещички и продукты, и мы уехали: мама, папа (больной открытой формой туберкулеза), мой старший братишка, отъявленный хулиган десяти лет от роду, и я, древнерусский еврей кавказской национальности в возрасте одного года и двух месяцев. Ну, возможно, прицепилась к нам мамина сестра, тетя Шура, с двумя дочурками (а сын ее Сюня в то время находился на фронте, где и погиб вскоре). Впрочем, наверное, они присоединились к нам уже во Фрунзе. Точно не помню. Но как бы они тогда выбрались с Кавминвод?

Короче, мама достала легальные билеты на поезд до Баку у знакомой билетерши, которую она прежде защищала в суде от ложного обвинения в растрате государственных средств и даже выиграла тот процесс.

Кстати, забыл сказать, что мама работала адвокатом, была довольно известна в городе. Правда, сотрудники из коллегии адвокатов всегда старались навязать ей уголовные дела, а гражданские приберегали для себя, потому что на уголовке невозможно было заработать приличный гонорар — не то что на денежных гражданских исках. Но мама умудрялась

ПОДОЛЬСКИЙ СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ родился в 1940 г. В 1941–1945 гг. находился с матерью и братом в эвакуации в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончил химико-технологический факультет Новочеркасского технологического института. Член Союза российских писателей. Член общественного движения писателей «Апрель» и Ассоциации русских верлибристов. Член Русского ПЕН-центра. Главный редактор альманаха «Литературный Кисловодск». Издал 21 книгу стихотворений и 8 книг прозы. Лауреат премии Губернатора Ставропольского края в области литературы им. А. Губина за книги стихов «Живая тишина» (2000), «Нагорная страна» (2008), «Жгучий транзит» (2015). Награжден медалью «За доблестный труд» III степени (2012), памятной медалью Года литературы. Живет в г. Кисловодск.

выигрывать, казалось бы, безнадежные дела. Один ее коллега, старый и очень принципиальный инвалид войны по фамилии Майзель (потом уже, после войны, когда я повзрослел и мог кое-что понять) объяснил мне, что в условиях беззакония и правового беспредела адвокаты-законники, знатоки Кодекса, частенько проигрывали дела. Мама же моя, крошечная и внешне беззащитная блондинка, обладала несокрушимым характером римского легионера. Она просто не признавала двух слов (понятий): «сдаюсь» и «отступление», была находчивой и неотступной, поэтому выигрывала, казалось бы, безнадежные дела.

Позволю себе небольшое отступление от основной канвы повествования, чтобы ярче прорисовать характер моей мамы.

Однажды клиента мамы, главбуха строительной организации, за крупную растрату народный суд первой инстанции приговорил к «высшей мере» (расстрелу). В те годы «высшую меру» можно было схлопотать в два счета. В краевом суде приговор утвердили. Мама подала кассационную жалобу в Верховный суд и сама поехала в Москву.

Знакомясь с материалами дела в Верховном суде, она обнаружила вдруг в обвинительном заключении маленькую опечатку: вместо истинной суммы растраты, скажем, 100 000 рублей там стояло 10 000 рублей, то есть один ноль потерялся. На этой ошибке мама построила свою защитительную речь. С пафосом обвинила она местный суд в чрезмерной жестокости приговора, а краевой суд — в «механическом утверждении» решений суда первой инстанции. Она гремела о «безупречной служебной характеристике» подсудимого, который «единственный раз оступился», уступив требованиям руководства предприятия, истинным виновникам, которые, конечно же, остались «в тени».

Верховный суд согласился с доводами защиты и, основываясь на несоответствии тяжести преступления избранной мере наказания, отменил решение народного суда первой инстанции, заменив «высшую меру» на срок: пять лет заключения в лагере общего режима…

Конечно же, кроме маминой находчивости, в решении Верховного суда сработали и другие причины. Судья высшей инстанции, пожилой, насмерть перепуганный интеллигент, давно искал возможность приструнить провинциальных судей, которые вконец освирепели еще в 37 году и повсюду чинили правовой беспредел, хотя на дворе стоял давно уже 1939 год. Но ему необходимы были твердые основания для смелого поступка. Мама своим выступлением дала ему возможность придержать «карающий меч правосудия». Ну, а местный и краевой суды не решились оспаривать удивительное решение верховного суда. Мама праздновала победу!..

Итак, когда немцы захватили Минводы, и никто уже не смог вырваться в эвакуацию, и 10 000 наших соотечественников, собранных со всех Кавминвод, были расстреляны у стекольного завода — на окраине тех самых Минвод, наша семья с приключениями, но добралась до дагестанской Махачкалы.

В Махачкале нас все-таки сняли с поезда и привели в железнодорожную милицию для разбирательства, так как «командировочное удостоверение» мамино выглядело весьма подозрительно. Разумеется, все напугались и приуныли: папа, братишка, тетя Шура и ее хорошенькие дочки, — все, кроме мамы и меня (ну, я-то, конечно, просто ничего не соображал — по молодости)…

Два-три милиционера с суровыми кавказскими лицами ввели процессию подозрительных лиц, снятых с поезда, в помещение милиции. Кстати, почему-то железнодорожных милиционеров в ту пору называли в народе жандармами. Кто-то из арестованных рыдал, кто-то голосил.

А вот мама решительно потребовала встречи с начальником милиции, предъявив конвоирам свое адвокатское удостоверение.

Рассерженный начальник жел.дор. милиции (а он как раз расположился в своем кабинете закусить под водочку) грозно вышел к строптивой «преступнице-пассажирке». Но когда мама подняла взгляд на него, готовая произнести пламенную тираду о бедствиях народных, она слегка опешила, но в следующее мгновение расцвела радостной улыбкой и с раскрытыми объятиями направилась к грозному стражу закона: «Магомед, дорогой! Какими судьбами?!»

Оказывается, Магомед Гаджи Магомедов года два тому назад служил в уголовном розыске Кисловодска и частенько общался с мамой по поводу ее подзащитных грабителей, аферистов, воришек…

Стоит ли говорить, что через пару часов с помощью Магомеда вся наша беженская компания была водворена в ближайший поезд, следующий в Баку.

Поезд тащился страшно медленно. В вагоне было душно, несмотря на открытые окна: люди, как селедки в бочке, стояли, сидели, дремали на третьих полках, часто поверх багажа.

Зато вскоре мы увидели море! Оно тянулось, как мираж, вдоль железной дороги, почему-то желтовато-серое, а не синее, как в сказках. И, так как поезд часто останавливался и часами стоял, смелые и шустрые мужчины и пацаны успевали добежать до моря, поплескаться, окунуться, освежиться.

На станциях по пути было пусто. Продуктов не было. Зато был иногда кипяток. Брат бегал с большим алюминиевым чайником за кипятком. И потом мы с удовольствием пили чай. Иногда чай заваривали придорожной травкой, другой раз калмыцким чаем. Прессованные чайные брикеты рубили столовым ножиком, бросали в кипяток, настаивали, добавляли какого-нибудь жира, подсаливали и хлебали ложками, как суп, закусывая сухарями: вкусно, сытно, питательно…

В Баку никто особенно не разбирался с беженцами. Нас поспешно погрузили на огромную пузатую баржу: пароходов наотрез не хватало. Баржу тросом привязали к буксиру, и мы вышли в открытое море курсом на Красноводск, на ту сторону Каспия.

В море сильно штормило. Баржа была перегружена беженцами, двигалась переваливаясь с борта на борт. Вообще-то «движение вперед» было почти незаметно и все состояло из кренов, взлетаний и колебаний. Разумеется, никаких кают на барже не было, люди расположились вповалку на палубе под жгучим солнцем. Жутко хотелось пить, а воды не хватало. Некоторых тошнило из-за сильной качки. Потом шторм на море усилился. С визгливым звуком разорвался трос, связывавший баржу с буксиром. Снова закрепить трос не удавалось, и катер ушел. Четверо суток баржу швыряло по волнам, пока шторм утих, и снова появился буксир, к которому удалось прицепиться.

После рассказывали двоюродные сестрички, что многие дети, да и взрослые, умирали то ли от жажды, то ли от инфекции: дизентерия, тиф…

Мне-то было удобно на руках у отца, который время от времени скромно кашлял кровью в большой клетчатый платок. Мама давала мне попить из армейской фляжки теплой неприятной воды. Так что плаванье я воспринимал как громадные бесконечные качели…

В Красноводске железнодорожная станция напоминала огромный цыганский табор. Люди сидели гнездами — кто на каких-то тряпках, кто прямо на сухой пыльной земле. Пекло было ужасное. По-прежнему не хватало воды: ее привозили к вечеру в бочках на конской или верблюжьей тяге, она была почти горячая и солоноватая на вкус.

Железнодорожных составов, конечно же, не хватало. Изредка уходили поезда, переполненные счастливчиками. Люди висели на подножках, гнездились на крышах вагонов. Нашей компании «дохляков» уехать явно не светило. Оставалось погибать на железнодорожных путях без воды, без пищи, без денег: сумма, полученная за родной дом, таяла на глазах…

Тогда мама кое-как поправила прическу, мазнула алой помадой по губам и решительно направилась на железнодорожную станцию. Там она разыскала кабинет железнодорожного прокурора и, невзирая на *пронзительный* протест секретарши, ворвалась в начальственный кабинет:

— Уважаемый товарищ прокурор. Мы с вами коллеги: я юрист и не могу мириться с беспределом, который творится на станции. Воды, даже соленой и вонючей, не хватает. Пищи не достать. Буфет вечно закрыт. Уехать невозможно: мест нет, билетов нет, поездов не хватает. Люди болеют и мрут на глазах. Надо же что-то делать! Наводить советский порядок. Где ваша гражданская и партийная совесть?!..

Заявления мамины были простые, справедливые и очевидные. Но следует учесть яростный адвокатский пафос, интонацию твердой советской убежденности в своей правоте и, самое главное, в арсенале мамы было острое «сверхоружие», которое применялось (возможно, интуитивно) в крайних, гибельных случаях, — совершенно невыносимый для слушателя тембр голоса, который, независимо от содержания речи, просто сводил окружающих с ума…

Через три минуты адвокатской речи несчастный чиновник с выпученными страдальчески глазами истерично вызвал начальника станции и дежурный наряд милиции:

— Пойдите немедленно с этой бабой! Разберитесь! И отправьте ее со всем ее выводком первым же поездом! Любой ценой! Чтобы я ее больше не видел! И не слышал!..

Таким образом, вскоре мы уезжали всем семейством из гостеприимного Красноводска *на тормозной площадке* товарняка. И горячий ветер полупустыни трепал наши давно не мытые волосы и обжигал наши счастливые лица! Перед нами открывалась безграничная загадочная Средняя Азия: Ашхабад — Бухара — Самарканд — Ташкент — Фрунзе… Удержаться в этом бесконечном бегстве-странствии не удавалось: не было ни жилья, ни работы, ни денег, ни какой-то разумной программы помощи беженцам: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»!..

Ненадолго задержались в Ташкенте.

Некий зажиточный милосердный узбек пустил нашу семью за умеренную плату отдышаться от бесконечного бегства в проходной комнатке (фактически, в коридоре) своего глинобитного, но обширного дома.

К тому времени мы почти голодали: приходилось яростно экономить тающие в среднеазиатской жаре деньги.

Мама исхудала и казалась чуть ли не подростком со своей пышной гривой натуральной блондинки (наследство бабушки-польки). Двоюродные сестры напоминали тихие тени, не говоря об их матери, тете Шуре; она и в мирное, относительно благополучное время была как скелетик — со своей вечно извиняющейся доброй улыбкой. Только папе азиатская жара пошла, вроде бы, на пользу: он стал меньше кашлять, и в мокроте у него стало меньше крови. Да и то сказать, он всячески сдерживался, чтобы не напугать осторожного хозяина: узнай тот о его туберкулезе — мигом вышвырнул бы нас на улицу…

Вспоминается один довольно-таки забавный эпизод нашего ташкентского житья-бытья.

Бдительная мама наша приметила, что каждый вечер, возвращаясь с работы, наш хозяин (а работал он зав. продовольственных товаров

в горпродторге) обязательно приносил ящик-другой чего-то увесистого, предположительно — продуктов, и у мамы возник вполне криминальный замысел, который она тщательно разработала и осуществила.

Дело в том, что вышеупомянутые ящики аккуратно заносились в отдельную комнату без окон, грубо говоря, кладовку, дверь в которую была всегда под замком. Но замок-то был плевый, обыкновенная «контролька».

И вот, как-то, в отсутствие хозяина (а домочадцы его как раз почивали в полдень во внутренних покоях: своего рода «сиеста»), мама обыкновенной шпилькой от волос отомкнула «контрольку» и проникла в «святая святых» нашего кладовщика. Включила свет — и обмерла: на прочных стеллажах вдоль стен до потолка громоздились настоящие сокровища нового Алла-эд-дина: штабеля изысканных консервов — икра черная и красная, шпроты, печень трески; головки и диски сыров; палки колбас — сыро— и горячекопченые, бревна светлых и смуглых балыков; полотняные торбы крепкого, чуть голубоватого рафинада, пакеты кофе в зернах, издающие африканский головокружительный аромат… От всего этого богатства можно было спятить, а от могучих запахов — просто-напросто потерять голодное сознание…

Надо ли говорить, что мама наша — отъявленная законница, идейно закаленная праведница, не мешкая наполнила предусмотрительно захваченную с собой наволочку изысканными гастрономическими драгоценностями — теми, что полегче и подороже (кажется, опыт довоенного длительного общения с подзащитными уголовниками не прошел даром!), аккуратно защелкнула «контрольку» на дверях, предусмотрительно вложив целенькую бумажку в замок. Осторожно вынесла краденное из дому: робкая тетя Шура или кристально честный папа никогда не решились бы на такое!

Наволочку с кладом на улице уже перехватила тетя Шура: она как раз таки была более опытная в деле торговли. Она продала награбленное на баснословном ташкентском рынке (государство в государстве!) за хорошую цену и на вырученные деньги накупила уйму обыкновенных спасительных продуктов: муку, крупы, картофель, постное масло, даже немного фруктов, которые были здесь в начале урожайной осени довольно дешевы… Короче, в результате этой дерзкой маминой операции мы прожили экономно, но безбедно целый месяц, отъелись, восстановили силы и были готовы к дальнейшим странствиям в безграничных просторах Средней Азии.

К слову сказать, честной кладовщик даже не заметил пропажи продуктов: слишком обширные были у него запасы «на черный день» — как пополнялись, так и уплывали время от времени частью на черный рынок, частью на неизбежные подарки начальству и разным «полезным» людям. Служба на таком хлебном месте тоже, скажу вам, не подарок, чревата опасностями и драматическими переживаниями. Опять-таки голодные и сытые воры так и вьются вокруг таинственных умопомрачительных складов… Но это его, добродетельного кладовщика, проблемы…

А наш маленький клан, с трудом раздобыв дефицитные билеты на почтовый поезд, уже мчался в столицу советской Киргизии, славный град Фрунзе, куда и была выписана не совсем убедительная мамина «командировка», не раз спасавшая нас от излишних злоключений, ибо сказано в великой канцелярской империи: «Без бумажки ты дурашка, а с бумажкой — человек!»

И вот мы во Фрунзе!

Столица братской республики встретила нас не слишком приветливо. С *утра* до ночи ходили мы по пыльным улицам, стучались в запертые двери, пытаясь снять комнатку для проживания и ночлега: свободных

не было. Город, как и вся Средняя Азия, был переполнен беженцами из оккупированных районов страны. Иногда возникала призрачная надежда, но плата за наем помещения была заоблачная, не по нашему тощему карману: к тому времени мы уже весь родной дом проели и прокатали. Так что мерещилась скорая гибель от голода и бесприюта.

Взрослые искали работу. Работа была, но только для имеющих прописку. Прописка была возможна только для имеющих работу. — Родной советский идиотизм. А возможно, в этих правилах был скрыт глубокий замысел: нечего дескать, праздному народу шастать по стране!..

Ночевали в сквере у вокзала. Много таких там было, поэтому милиция пугала, но не разгоняла народ. Питались впроголодь, чем придется. В этих условиях неожиданно добычливым оказался мой старший братишка — дерзкий, находчивый, агрессивный. Он как-то моментально спелся с местными пацанами. А они жили интересно и разнообразно. Например, если по дороге проезжала полуторка с картошкой или свеклой, мальчишки на ходу карабкались в кузов и старались выбросить на дорогу побольше овощей. Потом сообща собирали добычу и честно делились между собой.

Иногда подростки играли на деньги в «цок» или в «перевертыши» (когда битой надо было ударять по монетке, чтобы она перевернулась: если удавалось — ты выиграл). Мой брат обычно выигрывал и «доходом» делился с семьей. На хлеб и молоко хватало. Но эти копейки, конечно, не решали проблемы жизни и смерти. Спасла, как обычно, счастливая случайность…

Мама, усталая, огорченная, брела как-то по пыльной «столичной» улице и вдруг заметила плачущего замурзанного малыша на обочине у арыка. *Ребенок* вполне мог свалиться в воду. Мама присела к малышу, вытерла платочком ему сопли и слезы, пересадила подальше от арыка.

В это время мимо прошествовали две прилично одетые дамы, не обратив внимания на плачущего ребенка: они были заняты оживленным разговором. Мама, как сказано, постаралась утешить малыша. Потом подняла свою светленькую головку и отчетливо бросила вслед уходящим дамам (причем с еще одной своей особой интонацией, которая — я это сам видел потом, у*же* в мирное время — заставляла публику в зале суда, где мама выступала в чью-то защиту, сморкаться и рыдать): «Бессердечные! Ребенок потерялся, плачет. А им и дела нет!» И снова занялась малышом.

В это время одна из дам, видимо, расслышав упрек, возвратилась, подошла к присевшей к ребенку маме:

— Извините, конечно. Вы совершенно правы: мы были невнимательны. А вы, видимо, очень добрый человек. И я хотела бы с вами поговорить.

— Простите, но мне совершенно некогда. Мы беженцы. Моя семья не имеет крыши над головой. И я не знаю, где мы сегодня будем ночевать. К тому же работы нет. И средства на исходе…

— Вот об этом я и собираюсь с вами поговорить. Дело в том, что я жена крупного военачальника, и меня вызывает муж к себе. Он ранен, находится в госпитале. И я должна срочно к нему уехать. А мой сын учится здесь в институте. Ему осталось учиться месяц до госэкзаменов, и я не хочу срывать его с места. Может быть, вы, добрая и внимательная женщина, присмотрите за ним: оставлять ребенка одного, хоть он и взрослый мальчик, мне не хочется. А я взамен постараюсь помочь вам с жильем и пропиской: у меня есть такая возможность…

В это время прибежала плачущая женщина, мать ребенка. Она схватила малыша на руки и растерянно лепетала что-то по-киргизски. Потом перешла на ломаный русский:

— Простите дуру! Спасибо, что присмотрели за маленьким, не дали ему свалиться в арык. Я бы умерла, если бы он утонул! — был смысл ее слов.

— Ничего-ничего, — успокоила ее мама. — Будете впредь повнимательней.

Встала с корточек, отряхнула юбчонку. И пошла с озабоченной дамой к ней домой.

Жила дама в доме эвакуированных семей высшего комсостава. Дом выглядел очень прилично и даже охранялся постовым красноармейцем, чтобы случайные посетители не беспокоили жильцов. Для такого рода эвакуированных были предусмотрены льготы: жилье, работа, пайки. Кроме того, мужья присылали им достаточно средств для безбедного существования.

И вот каким-то чудом мы оказались в таком доме, в светлой двухкомнатной квартире с балконом, кухней, с теплым туалетом и даже ванной!

Дама сдержала обещание: маму прописали на ее жилплощади. Вскоре она устроилась на работу в местную коллегию адвокатов, и жизнь наша резко улучшилась. Дел гражданских и уголовных было невпроворот. Гонорары были приличные. К тому же местные «баи», обращаясь за содействием к адвокату, непременно приносили с собой корзины снеди и фруктов. А там и папа нашел работу бухгалтером на хлебозаводе и, возвращаясь после рабочего дня, приносил в портфеле незабываемые ароматные «французские булки», неповторимый вкус которых я помню по сей день. Я ходил в детский сад, мой братишка изредка посещал школу (предпочитал носиться с местными «хулиганами» по улицам и скверам).

К тому же мама, теперь уже влиятельная адвокатесса, помогла устроиться тете Шуре с девчонками, а там вызвала к себе еще двух родных своих сестер и родственниц второго и третьего порядка. И, хотя бедные женщины со своими детишками пережили много горького и страшного, чудом избежали холокоста, теперь они собрались вместе, выжили, зажили не сладко, но по-человечески…

Может быть, потом когда-нибудь, при случае, я расскажу о нескольких судебных процессах, которые провела моя мама в столице советской Киргизии: она рассказала мне как-то на досуге. Весьма примечательные и яркие дела, в которых отразилось и время, и характеры участников, и личность адвоката, моей неукротимой мамы. Но это потом, когда-нибудь, если удастся…

А теперь скажу в заключение этого краткого повествования из времени эвакуации: как только стало известно, что наши освободили от немцев Северный Кавказ, мы всей семьей срочно оставили гостеприимный Фрунзе и возвратились в родной Кисловодск, который, надо сказать, встретил нас недружелюбно.

С трудом нашлась комнатка в коммуналке. Помню, спали мы на полу, дожелта выскобленном и вымытом, так как никакой мебели у нас еще не было. И когда мы с папой вставали утром с тощих матрасиков, то простынки были в каплях крови от раздавленных в полусне клопов…

Позже, со временем раздобыли все же двухкомнатную квартиру в старом фонде, тесную, с печным отоплением, зато с просторной воздушной верандой…

Была возможность вернуть наш собственными дом с садом: вышло такое постановление, что если жилье в период эвакуации было продано за бесценок, то его можно вернуть за ту же *цену. Н*о мама решительно сказала: «Ничего возвращать не будем: те гроши нам жизнь спасли»…

На этом, пожалуй, можно поставить точку, завершить этот кусок неожиданных для меня самого воспоминаний об эвакуации во главе с моей мамой неукротимой.

25.04.2015.

Лидия ГРИГОРЬЕВА

МОСКВА 41-го ГОДА

Художнику П. А. Валюсу

Известно какая погода:
Ни солнца, ни звезд, ни луны.
Москва сорок первого года —
Полярные ночи страны.

Всесильный момент поворотный.
Но яростный мечется флаг,
И тяжко гудит в подворотне
Беременной женщины шаг.

Вот дворик пустой, невеликий.
У входа в скупое жилье
Небесные бледные блики
Исходят от лика ее.

И возле «ежей», у траншеи,
В фуфаечном стылом краю,
Спокойно несет, хорошея.
Высокую ношу свою.

1967

ШЕСТОЕ АВГУСТА

Шестое августа, мой мальчик загорелый.
Песок вокруг тебя летит, как пепел белый,
под солнцем гибельным, под солнцем одурелым,
как облако, черно твое живое тело.

Ты говоришь: «А мне какое дело,
что двадцать с лишним долгих лет назад…
Я вижу вас, и пляж, и этот сад,
и плод в саду свисает перезрелый, как золотой брелок.
Прохладен ветер южный.
Не понимаю, почему вам душно…»

ГРИГОРЬЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА. Поэт, эссеист, фотохудожник. Автор многих поэтических книг, эссе и прозы. Книга избранных стихотворений и поэм «Вечная тема» (М., Время, 2013) вышла в финал Всероссийского конкурса «Книга года». Автор фотоальбома «Венецианские миражи» (СПб., Славия, 2011) и книги эссе «Англия — страна Советов» (М., Зебра Е, 2008). Книга стихов «Небожитель» (М., Время, 2007) вошла в шорт-лист Бунинской премии. Лауреат специальной премии им. М. Волошина от Союза российских писателей (2010) за лучшую поэтическую книгу года («Сновидение в саду», М., Русский Гулливер, 2009), премии им. А. Дельвига (2012) за поэтические публикации последних лет и премии им. Ф. Тютчева «Мыслящий тросник» (2016). Живет в Лондоне.

Шестое августа, мой мальчик равнодушный!
Не я одна полна тревог воздушных:
к земле плоды тяжелые летят,
так долго падают, так медленно свистят,
что и смотреть на них — невыносимо.
Шестое августа. Россия. Хиросима.

август 1970

Сергей КУЗНЕЧИХИН

БАРАК ВОЕННОЙ ПОРЫ

Брату Анатолию

Вдоль коридора корзины и санки,
Плесени запах ползет из угла,
Черная муха, как вражий десантник,
Вроде труслива, но очень нагла.

Мальчик трехлетний бежит по бараку —
Долгий, прямой, но извилистый путь —
Ссору, грозящую вырасти в драку,
Слышит за дверью, охота взглянуть.

И не боится поймать оплеуху:
Верит пострел, что не тронут свои.
Дальше бежит и в фашистскую муху
Целится, воображая бои,

Видит, как папка встает из окопа…
Муха пикирует нагло и зло.
Дернулся мальчик, запнулся и об пол…
Чувствует, как из ноздри потекло.

Мухе расправиться легче с лежачим.
Страшно. От страха больнее вдвойне.
Слезы набухли, но мальчик не плачет:
Знает, что плакать нельзя на войне.

КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ. Поэт и прозаик, автор десяти стихотворных сборников и шести книг прозы, вышедших в московских издательствах. Печатался в «Литературной газете», в журналах: «Дальний Восток», «Радуга», «Сибирские огни», «День и ночь», «Киевская Русь», «Наш Современник», «Дети Ра», «Арион», «Юность», «Подъем», в альманахе «День поэзии». Живет и работает в Красноярске.

Капитан хрипит и злится,
Обстоятельством зажат,
Даже шпалы на петлицах
От волнения дрожат.

Надо выпить водки сотку,
На полроты полведра,
И забрать у немцев сопку,
Ту, что отдали вчера.

Если страх приказы глушит
И мочой пропах мундир…
Но солдат обязан слушать,
Что прикажет командир.

Если слишком соображают,
Дальним — кнут, а ближним — плеть.
Бабы новых нарожают —
Нечего солдат жалеть.

Не по силам сопка танку,
Надо роту поднимать.
Лейтенант орет: «В атаку!
Залежались… вашу мать»!

Поднял их, как будто вывел
Пулемету на обед.
Капитана — в рядовые,
А полроты — на тот свет.

На губе мальчишки с Дона
Пух, сменивший молоко.
Небо, как всегда, бездонно.
Дно могил неглубоко.

Бедной бабе похоронку
Почтальон хромой привез.
Можно плакать очень громко,
Можно тихо и без слез.

Боль не выжечь, как заразу,
Ну, а тут вдруг — помогла.
Год прошел — как по приказу,
Баба сына родила.

Будто бы с войны пришел он —
Все-таки еще ждала —
Точно так же, как старшого,
Александром назвала.

А потом всю жизнь дивилась —
Как похожи пацаны.
И молилась, и молилась
Чтобы не было войны.

* * *

Словно в море внахлест за волною волна
Рифмы катят к тяжелому слову «война».
Например — не нужна.
Или, скажем, страшна.
С оговоркой, конечно, кому-то родна,
(Потому как при шторме всплывает со дна
Очень много, простите за грубость, г...).
Непонятно, на что уходила казна,
На несчастье людском набивалась мошна,
Обжирались... А люди познали сполна
Как она голодна,
Холодна
И темна.
И на ощупь грязна.
И на запах дурна.
Но при этом поверили в то, что страна
Несгибаема в горе — дружна
И сильна.
Героизмом и стойкой отвагой полна.
Пусть заплачена слишком большая цена.
В сорок пятом явилась хмельная весна —
И слеза, показалась, не так солона,
И дождалась жена,
И невеста верна,
И соседка нежна.
И так далее.

А еще ордена, ордена, ордена
В окруженье медалей.

P. S.
Кстати, из воинских званий, единственное — старшина,
Рифмой приковано к слову война.
Вот так проступает окопная правда.
А маршалы — это уже для парада.

* * *

Двадцатилетний мамин первый
муж был статный и красивый, звали
его Василий, и он спросил ее или себя,
смеясь под журчащим душем: эх,
неужели эта красота достанется земле?
Небо взмывало весенним храмом,
и под ним не значилось меня.

Наши бабушки, дедушки, папы и
мамы, их измены и клятвы, их
разводы и свадьбы, их горения и
пепелища, их нехитрые робкие
моды и забытые лакомства, прошлые
сдобы, незабудки их песен
с ладынинской в горлышке дрожью,
их заветные танго, голубые
над морем фокстроты, парусиновые
брюки их курзалов и курортов и
с каракулевой шалькой на первом
свидании коверкотовое пальто.

Эх, неужели эта красота достанется
земле? — улыбался под душем красивый
Василий. Был он сталинский летчик,
стальной и стремимый, и в первую,
Финскую, в день распоследний,
он сгорел в опрокинутом небе,
не доставшись неверной земле.

2008. Уфа

НУ ВОТ

Ну вот и откружили, тетя Лида, вы свой Большой, свой
черно-белый вальс: и брови хвостиком мышиным, и губы
в три лепестка, под Чио-Чио-сан, и Сталин на медалях
дяди Коли. Теперь не поменять мне стертую руслановским
отчаяньем иголку, чтоб ворковал фокстрот послевоенный

РАДАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге. Вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. перебрался в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». Автор двенадцати книг поэзии, прозы и переводов, выходивших в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Белграде. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Живет в Париже.

трофейно-ресторанно-беломорно: «*Я вас любила в тот прощальный вечер — за вашу нежную любовь к другой».*

Что ж, офицерская жена, под «Брызги шампанского»,
«Челиту», «Мишку» и «Манон» пари в единственном
зеленом шелковом забытом платье, мерцая белым бисером
по лифу над вихрем юбки солнце-клеш, — над светом,
тьмою
окатившим, недобрым миром, пленом и войной. Все это,
тетя Лида, понарошку, и кто-то задом наперед подставил
вдруг морской бинокль: я никогда не буду маленьким,
а вы

не станете большой. Скрипит паркет, как в Доме офицеров,
звенит труба соседских похорон, а в летних лагерях под
гору
с мамой
наперегонки
бежите вы,
расплескивая ведра,
из той страны, которой нет, в страну, которой
не бывало.

2004. Богемия

Николай ШАМСУТДИНОВ

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Памяти отца моего, офицера Советской Армии,
Нигматуллина Мир-Камала Имановича

Отец, между нами не тысяча лет...
Уже за размытою гранью сознанья,
Ты — на госпитальном студеном столе,
Под чахлой лампешкою, сгусток страданья,
Один, в наготе и бессилье,

ШАМСУТДИНОВ НИКОЛАЙ МЕРКАМАЛОВИЧ родился на полуострове Ямал в 1949 г. Поэт, прозаик. С 1994 года председатель Правления Тюменского межрегионального отделения Союза российских писателей, объединяющего литераторов трех субъектов РФ: Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Сопредседатель СРП. Лауреат многочисленных международных и отечественных премий, в частности: Общенациональной премии им. А. М. Горького, Премии им. М. А. Волошина, «Золотое перо», Золотая медаль Фестиваля «ЛиФФт» (Россия), премии им. Генриха Белля (Германия), Гран-при премии им. А. Г. Сниткиной-Достоевской за цикл стихов о сподвижнице творца и др. Автор 52 поэтических книг, около 400 публикаций в отечественной и зарубежной периодике. Живет в г.Тюмень.

Среди —
Отец, не гляди! — помешавшихся далей,
Среди канонады и ада, один
В глухой молотьбе стервенеющей стали…
Над выбитым полем — как бьющийся нерв,
Огонь пулемета. Долбящие доты…
Вбит в мемориальный, обугленный снег
Натруженный след проходящей пехоты…

Но есть еще сон, пеленающий рев,
Развернутый рев атакующих глоток, —
Спасительный сон, пеленающий кровь,
Свинцовые трассы, грызню пулеметов,
Тела — без движения и без тепла,
В пылающем омуте страха и боли.
…И — белое, зыбкое поле стола
Среди разъяренного, страшного поля…

За стеклышком хрупким скорбит огонек…
Но, словно предвестник сознания, что ли,
Забрезжил, пробился наверх родничок
Пульсирующей, нарастающей боли:
Со дна забытья и удушья влеком,
В тяжелом тумане всплывал ты…
Не воздух —
Спирая глухое дыханье, комком
Стояли в гортани балтийские звезды.

Хоть тяжесть бессилья лежала в руках,
Холодное небо смотрело сурово, —
Чуть слышно вздохнуло на горьких губах,
Еще прищемленное слабостью, слово.
И дрогнули веки — ты выпростал взгляд,
Уже, как знамению, радуясь боли,
И пил — не напиться! — студеный закат
Над полем…

В ТУНДРЕ

Памяти мамы моей, Шамсутдиновой Юма-бики Аты-кашевны, участницы трудового фронта в годы Великой Отечественной войны: двадцатилетней девушкой в 40-ка градусные морозы заведовала пушной факторией в заполярной Тамбейской тундре. В 2021 году исполняется 100 лет со дня ее рождения…

Неуемный, за окном полночь винт месил…
«Знаешь «Уренгойгазпром»?», — друг меня спросил.
Я, от высоты хмельной, головой качал, —
«Знаю город Уренгой!..», — гордо отвечал.
Виктор щурится легко и в плечах не мал…
Я б, конечно, без него не узнал Ямал.
Он ему в наследство дан, округ его, дом.
Он — рукой во тьму: «Во-он там «Уренгойгазпром!»

Я лицом в оконце лег, в ледяной овал.
Кто ж огни под вертолет щедро набросал?
Я воочью видел их, при литой звезде, —
Гроздья станций дожимных, дальний ГПЗ…
Свет, он — надвигался, плыл и вдруг, Боже мой!
Половодьем затопил тундру подо мной.
И, с гитаркой на груди, словно сам не свой,
Виктор вскинулся: «Гляди! Вот он, Уренгой!»

У фортуны на весу, легок, как Улисс,
Я над огненной, внизу, бездною повис.
Что там будет впереди? — Моря зев? Ямал?
Ну, а Витька — «Ты гляди!» — в блистер меня вмял.
Свет, он жил, в конце концов, нас в себе держал,
Словно женское лицо, музыкой дышал.
Веще, на виду у всех, в талой глубине
Боль, надежда, радость, смех открывались мне.

В город, дышащий легко, я впивался, сед, —
В каждой черточке его заливался — свет.
Вертолет качнуло — тент,..почта,… люд,… груза…
Свет… свет… свет… свет… — наливал глаза.
Воздымает взор простор — свет… свет… свет… свет…
Зимней тундре вперекор — свет… свет… свет… свет…
Винт над нами бушевал, как в тумане, слеп.
Душу, бел, не отпускал исполинский свет.

И смотрел я вниз, светясь, как, жива едва ль,
Сварка, по трубе змеясь, уплывала вдаль,
Где, в накрапах ледяных, где снегов оскал,
В перекличке буровых, страдовал Ямал.
Так куда ж меня влекло? —
Свет… свет… свет… свет…
Что в груди моей зажгло?
Свет… свет… свет… свет…
Над тобою, Уренгой,
Свет… свет… свет… свет…
В сердце родины самой
Свет… свет… свет… свет…

А на краешке земли, хил и одинок,
Тихо теплился вдали талый огонек.
Я в обшивку вмерз плечом, сед и невесом…
Виктор тихо: «Ты о чем?»
А я — обо всем:
Огонек из дальних дней… в этот поздний час
Он в прапамяти моей маялся, не гас…
Он, не иссякая, тлел, словно куда звал,
И чем больше я глядел, больше вспоминал:
…Тундра белою была, в сводках не видна,
Смертью и огнем мела по стране война.
Под ворчание собак, у окна — очки…
Печка,..в малице — пушняк, девочка почти…
Сед, куражится мороз… В мареве теней,
Томик «Королевы грез» прямо перед ней.

Хилый домик мал и стар, и, вдали тщеты,
Зноем в щеки хлещет жар от ночной плиты.
Тянет стужей из сеней, иней сед в углу…
Ну, а ноги все сильней стынут на полу,
Не спасают ни кисы и ни торбаса,
У нее,
    поверх лисы, пышная коса.
Сердце торкнулось в груди, немощью грозя,
У нее глаза — мои! Ясные глаза…
Задавив короткий всхлип, даром что зима,
Я в иллюминатор влип:
«Мама моя! Ма…»

Полночь…Тундра… Снегопад…

И она (темно…),
Оторвав от книги взгляд,
Смотрит за окно.
С темнотою по зиме, полночью, одна,
В непроглядной снежной мгле видит что она?
Тундру? Белый мрак, слепящ?
Письма далеки…
Беззащитный, так щемящ жест ее руки.

Свет от свечки пал на лист, чахлый язычок,
На запястье ее, чист, бьется родничок.

Прожитому глядя вслед, словно бы вперед,
Свет… свет… свет… свет —
От нее идет.
Ничего на свете нет, что родней его,
Свет… свет… свет… свет —
Радостней всего.
Столько в жизни горьких мет, судя по годам.
Свет… свет… свет… свет
Сыну передам!

Елена КИРИЛЛОВА

* * *

Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля…

Николай Букин

Холодная магия слова
И музыки — вроде простой…
Я слушаю снова и снова,
Как волны шумят за кормой
И стонут — в любую погоду,

Ревут — в устрашенье врага.
Откроется через полгода,
Чем песня мне так дорога.
Расскажут, что дед мой Василий
Три года от дома вдали
Стоял за победу России
На славном участке земли.
Мой дед — на «гранитном линкоре»[1],
Где немцы с одной стороны,
А с трех — безграничное море,
Куда уплывают сыны
Старинных рыбацких становищ,
Далеких и братских краев.
С судьбою, увы, не поспоришь —
Вернутся ли все из боев?..
«А волны и стонут, и плачут»,
И строем идут корабли,
И тонет в тумане Рыбачий —
Окраина Русской земли.

* * *

Как далеки пилотки и шинели —
Почти как всадник ратный на коне!
И если мы родиться не успели,
То ничего не знаем о войне.
Не восстановят кадры киноленты
Тоску разлуки и сражений дым,
И передышек светлые моменты,
И возвращенье к близким и родным.
Как хрупок мир и призрачен порядок!
Не существует мира навсегда:
Ведь рядом с кем-то падают снаряды
И караулит черная беда.
И так же танки едут без дороги,
Село чужое, дальнее горит…
А у ларька «афганец» одноногий
За подаянье нас благодарит.

[1] «Гранитный линкор» — так моряки называли полуостров Рыбачий.

Галина ЩЕКИНА

НЕ СОКОЛ, НЕТ

(фрагмент повести «Тонкая Граня»)

Чому ж я нэ сокил,
Чому нэ литаю?

Как только ушла итальянская часть, в поселок стали потихоньку возвращаться сбежавшие в поисках спасения. Зима была страшно тяжелой. Припасы подъели, многое растащили во время оккупации, старое соленое сало — и то кончилось в погребном хране. Приходилось искать в поле подмерзлую картошку, из нее лепешки жарить, чуть добавив муки, если была. Цветом лепешки были темно-зеленоватые, зато голод забивали. Смальца тоже не осталось, жарили на комбижире. Жалко, что просто так есть его с хлебом было невозможно.

Стали возвращаться и раненые, в школе снова развернули госпиталь. А вверху, на просторном чердаке, подлатали крышу, поставили парты, и можно уже было учиться. Все классы сидели вместе, в набивку, учителя перекрикивали друг друга. Граня, как и все, писала на тетрадях из газеты, а одна была даже белой, и ей завидовали: ее тетради из кусочков старых обоев. Несмотря на головную боль от шума и крика в чердачном классе, она собиралась что было сил. Учеба ей давала надежду, что кошмар кончится и она уедет в летное. А пока учеба, дежурство в прачечной госпиталя…

Снова Гранина жизнь потекла тяжкой и мутной рекой, какой она бывала по весне у водокачки. Стираные серо-бурые бинты шевелились меж школьных яблонь, серый горячий пар с прачечной расползался не только по двору, но и по всему околотку. И он был такой липкий, что, опадая мелкими каплями, делался скользкой пленкой. Граня не удивлялась ничему, мать тоже работала на швейных мастерских, часто не приходя домой ночевать. Отец Богдан и подавно водил поезда сутками, приходил домой раз в неделю мыться и отсыпаться — и снова пропадал. Он говорил, что возит все для фронта, все для победы, но вагоны приходят в пункты назначения все в дырах, а иной раз и полстены вагона сносит бомбежкою. А тут еще резервный оборонительный отряд сделали на станции, и надо было после смены идти на учения: возили в поле за станцией. Какая ж подготовка, когда падаешь с ног долой? Богдан отругивался и старался попасть до смены.

Однажды он привез с собою котелок меда. Намазал Гране на кусочек глиноватого хлеба, а сам-то не стал. Оказалось, взял попутчика с собой на паровоз, что было запрещено, но уж так человек просился. А на каком-

ЩЕКИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Писатель, журналист, поэт, критик. Родилась в 1952 г. в Воронеже, там же закончила университет. В Вологде с 1979 г. Публиковалась в газетах и журналах: «Книжное обозрение», «Дружба народов» (1996), «Литературная Россия» и др. В 2008 вышли книги «Ор» и «Графоманка», в 2010 «Горящая рукопись». Автор романов: «Тебе все можно», «Несвадебный марш», сборников «Улица Гобелеов», «Дрейф». Награждена премией фонда «Демократия» в 1996, памятной именной медалью Ильи Тюрина в 2007. Финалист премии «Русский Букер» в 2008. Секретарь литературной Премии «Эхо». Член Союза российских писателей с 1996, основатель Вологодского отделения СРП.

то вокзале попутчик слез за кипятком и тут под налет попал. И остался лежать на том перроне рядом с чайником воды, ото ж, не дождутся его дома… А котелок с медом поехал дальше. Тот мед был густой, коричневатый с горьким привкусом. Наверное, горчичный?.. Но Богдан мыслил, что на том огороде, где сажали курительный табак, тоже могли летать пчелы и перенести табачный нектар…

Гранино горло сжалось, она боялась есть мед убитого дядьки, но Богдан велел, раз дочка така доходна. Она вправду вытянулась, стала прозрачной, и венки бились на руках, на шее.

И с той поры стала Граня думать, что война — это рабская работа с утра до ночи. Когда уже не хочешь еды, не хочешь радости, а только тупо хочешь спать. «Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал?» — бормотала она слова запавшей в сердце песенки. И представляла, что спела бы в ответ, если бы спел это, например, Лешек.

Идя в очередной раз на колонку, решила заглянуть к тете Гуте — как она там? Она и не пошла б, да увидела на веревке постиранные занавески, юбки. Тетя Гута заметила Граню, покачала головой и тут же села на чурбак. Похоже, ноги ее не держали. Косынка была повязана низко и концы наперед, узелочком.

— Как вы тут? Какие вести от Златы? — несмело спросила Граня.

— Вот сижу. Вестей нет! А почему? А потому, детка, что Злата работала на «отом» секретном заводе. Вже не работает. Сбежала домой до мамы, арестовали. Сидит она, детка…

Граня замерла, задышав подстреленно. Она почуяла: близко горе, очень близко. Так, что опалило ее. «Вставай, страна огромная». Они молчали: Гута — сидя, Граня — стоя. Сколько так молчали, непонятно. И потом раздался стук в ворота, у них на улице принято было стучать сперва в ворота — железной щеколдою. Гута медленно, через силу, пошла открывать. Через время она уж плакала, но как-то тихо, давясь, да с закрытым ртом. Выбежала и Граня, едва не споткнувшись об свою флягу на колесах.

У ворот было два солдата, небритых, чумазых. Один, с перевязанной через уши головою — Лешек. Через повязку проступало темное пятно. Ранен. Лешек ранен, бедный. «Что ж ты опустила глаза?»

— Смотри, Вася, а вот и невеста моя, — растянувши рот, сказал Лешек.

Граня умом понимала, что это он, а лицо признать не могла.

— Да пройдите в дом! — точно заискивая, просила Гута и тянула солдат за рукава. Она обычно никогда ж на улице не кричала. Но тут слезы катились по лицу, и лицо маскою застыло. Рада ли она была или очень расстроена — не понять.

Граня, которую никто сюда не звал, сгорбилась и пошла домой, гремя флягой на колесах. Нет, это ничего, что он такой страшный. Нет больше той русоволосой красы, нет прохладных его серо-голубых глаз, а только лицо в морщинах и растянутый рот. Он же ясный был, как мог, воевал, страну защищал, красота тут уже ни при чем. Но ей стало жутко. Куда все делось? Кому нужен теперь? Надо любить себе наперекор, вот такого получеловека… Почему-то ей показалось, что это не простая рана, а почти убитый он. Но нет, он был еще живой. Таисья, прибежавшая домой поесть вареного и помыться, сразу заметила Гранино застывшее лицо.

— Шо ты, зайчик? Хвора?

— Не хворая. Лешек Ковальский пришел, раненый.

— А-а, — протянула понимающе мать, — так ты прови*д*ай.

Та кивнула.

Через пару дней она, придя из госпиталя, заплелась туго, тапки брезентовые чисто вымыла, в железную кружечку меда положила, завязав

тряпочкой туго. Пошла к Ковальским. Гуты не было. Лешек лежал в Златкиной комнате на кровати.

— Лешек, — позвала она его, — спишь?

Он не сразу отозвался, потом привстал на локте.

— Ат ты, невеста, иди, посиди со мной.

Он был чисто выкупан, в старой заплатанной рубахе, и повязка была другая. Она увидела все это разом, уже недетскими глазами, потом дрожащей рукою мед протянула: «Тебе». Он взял, щекою огладил кружечку, не спрашивая, что там.

— Спасибо, что вернулся, — сказала тихо. — А где твой боевой товарищ?

— Ат ты! Ждала, Граня? Тихо-оня. Товарищ мой поел и пошел дальше, семью искать. Говорят, в Авдеевку эвакуировались, так, может, найдет скоро.

Она промолчала, неловко присаживаясь в ногах его кровати. Он поманил — ближе, сюда.

— Скажи, ты где воевал?

— Там, где родина велела, — и показал пальцем наверх.

Неужели летал? Он еле ворочал языком. Потом закурил, и папироса знакомо запрыгала в углу его рта.

— Знаешь, Граня. В первый же день войны каты покрошили больше половины наших самолетов. Они думали — все, на хрен, страна под ними будет, — и он люто сжал кулак и показал его девочке.

Та даже отшатнулась.

— Не-е-т. Не вышло. Может, и самолетов мало, и хуже они, только мы их таранили. И первый Талалихин. В хвост немцу ка-ак дал! А там Покрышкин. Он же полсотни их сбил!

Лицо Лешека пошло пятнами, он лег на подушку, держа папиросу наотлет. Граня легонько погладила другую руку, лежащую вдоль тела.

— А ты? Как ты-то выжил?

— Я, Граня, вместо трех месяцев учился два. И летной нормы у меня не было. Но как все, летал на задания. Героя из меня, правда, не вышло. Видишь вот.

— А скажи, что самое… страшное? Ну, там…

— Небо в их самолетах. Плотно-плотно, как селедки. И вой. Знаешь, как воют они?

Граня дрогнула от сострадания, и он вдруг неловко потянулся, поцеловал ее. Он себя чувствовал героем, а герою нужна награда. Поцеловал както грубо, выкручивая губы, и включился вой у нее в голове, обессиливая, заставляя слушаться. Она вскочила.

— Стой, Граня, стой, не все еще. Я видел, что люди последнее отдавали. Я видел, что на фюзеляже написано «Малый театр фронту», это так. Но Граня, бабы летают на тихих самолетах, на «пошках», их сбивают зараз. Не ходи в летчики, Граня… Ни за что! Я выпил троху, мамка выменяла на мыло…

Но она уже не слушала, бежала вон их дома Ковальских — Лешек не просто раненый, а он сильно, сильно пьяный. И долго плакала, не умея понять этой бури в душе: не только горько за страну, где наших баб сбивают на плохих самолетах, но и бунт, что против мечты он сказал. Сказал человек, которого… К которому… А ведь это первый поцелуй в ее жизни. И такой грубый. А поцелуй — когда-то нежно любимого человека. После его прихода все увяло… Все цену потеряло…

Собираясь на очередное дежурство, Богдан пошел до колонки и спустя минуту крикнул от ворот:

— Включайте радио!

Скоро прибежала Таисья и начала поспешно рыться в сундуке. По радио играли марши: «Летят-летят года, уходят во мглу поезда, а в них — солдаты. И в небе темном горит солдатская звезда». И сдавило, стиснуло грудь дикой тревогой. «Приказ главнокомандующего по советскими войскам и военно-морскому флоту… В Берлине представителями немецкого командования подписан акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война, которая победоносно завершилась…».

— Рятуйте… Шо ж це. Победа, чи шо?

Она впопыхах достала парадный, слегка замятый китель Богдана, синий, с лычками на рукавах и на лацканах, так неожиданно блеснувший металлическими пуговицами. Вот, почти ненадеванный. Не до кителя.

По улицам бежали люди, даже полуодетые. Все почему–то бежали на железнодорожную станцию, потому что оттуда неслись звуки, оттуда прибывала новая жизнь. Из теплушек выскакивали чумазые люди в гимнастерках, с мешками… они вмиг растекались по путям… и шел новый поезд. В глазах Грани именно паровоз стал символом Победы. Он подходил, оглушительно гремя и шипя, в клубах дыма, и медленно приближалась звезда на паровозе, росла, сверкая во весь обзор, во весь свет.

На перроне стояла тетя Гута Ковальская и страшно рыдала. Она ко Дню Победы получила сына калеку и похоронку на мужа, а дочка золотоволосая вообще сгинула невесть куда. Таисью как-то сразу отвернуло от толчеи на перроне, она махнула нырнувшему в толпу Богдану, и они с Граней незаметно протолкались к Гуте. Стали рядом, обняв ее. Ветер охлестывал, трепал одежду. Но глаза их были сухие. И этот вихрь от паровоза, и плач, и целый вихрь в душе девочки. Победа! Можно обниматься и кричать «Ура!» в реве марша. Даже в реве гудка паровозного. Она никогда не задумывалась, но как все на свете выражает этот гудок: и горе, и счастье. Горло сдавит, как песня. Наверно, потому их районная газета так и зовется — «Гудок». Чтоб слышали все!.. А пока поет он печально и яростно, можно дать волю чувствам и мыслям, которые запрещала себе.

Траур занялся по умирающей, даже не расцветшей еще любви. Еще сохраняя память о ней, она чувствовала слабое тепло, сквозящее через болезнь его и пьянство, но изнутри уже понимала — ничего не будет, ничего не вырастет из того пепла…

Да, она хотела сейчас, прямо после десятого класса, пойти в летную школу и через два месяца летать. От тети Наташи Корягиной слышала, что уже созданы новые истребители и бомбардировщики, и для них нужны будут кадры. Но нужно ли это теперь? Раз отец Корягин сидит, а теть Наташа продает керосин в лавке, кто ей поможет? И уж точно не слабый, искалеченный Лешек…ее бывшая незабытая любовь…

* * *

А когда вспоминается детство,
Под Уфою бараки в снегу —
Никуда от печали не деться,
И хотел бы — вовек не смогу.

Завывала пурга-завируха,
В репродуктор ревела война,
И преследовала голодуха
Год за годом с утра дотемна.

И ни сказки забавной и звонкой,
Ни игрушек — веселой гурьбой —
Жизнь пугала чужой похоронкой,
Заводской задыхалась трубой.

Пахло холодом и керосинкой,
Уходил коридор в никуда,
И в усталой руке материнской
Все тепло умещалось тогда.

* * *

Эвакуация. Бараки жесткие.
Эвакуация. Закаты желтые.
Сугробы темной чужой зимы.
Эвакуация. Бараки. Мы.
Зима холодная, зима голодная.
Беда большая, общенародная.
А я, знай, бегаю, в снежки играю.
Нет войне ни конца, ни краю.

БЕРГЕР АНАТОЛИЙ СОЛОМОНОВИЧ родился в Ленинграде в 1938 году. В 1969 году был арестован и осужден по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) на 4 года лагеря и 2 ссылки. В 1990 г. реабилитирован. Член Союза писателей с 1992 г. Вышло 17 книг стихов и прозы: «Подсудимые песни», 1990, «Смерть живьем», 1991, «Стрельна»,1993, «Древние сновидения»,1998, «Стихи и проза», 2001, «Монологи»,2004. «А где-то там шумит страна», 2006, «Недосказанное», 2008, в соавторстве с Еленой Фроловой — «Состав преступления», 2011, «Времен крутая соль», 2012 и др. Публикации в антологиях, в т. ч. «Строфы века», журналах, альманахах, сборниках в России, Америке, Франции, Израиле, Австралии. Живет в Санкт-Петербурге.

Не жди меня

Памяти погибших
в Великой Отечественной войне земляков

Негромкий стук в оконное стекло.
Ночь вздрогнула и снова затаилась,
И кажется, проснулось все село.
Но нет его — туманом поглотило.
Опять исчез знакомый силуэт,
И длится бесконечно ожиданье:
Он с фронта к ней приходит много лет —
Есть у него секунда на прощанье.
Но даже доли от секунды нет
Для избавленья от душевных ран
Его избраннице — далекой Шахсалан.
И так вся жизнь — и мука, и разлука.
На день любви. И на семью — лишь ночь.
Женой была, невесткой. Чья-то дочь,
Но только матерью не стала. На округу
К ней первой похоронку принесли.
Но нет ни кладбища, ни тела, ни земли.
А ныне
Нет и села.
Остались лишь рассказы стариков,
Руины под тенями облаков,
Да под ногами тихая трава.

* * *

Руины моего села…
История под грудою развалин…
Остались от советского Убра
Не лозунги над подписями «Сталин»,
Не сельсовет под листьями бурьяна,
Не ферма от колхоза Микояна —
А озеро, обрывы и стена —
От всех домов, на все дома — одна.

МУСЛИМОВА МИЯСАТ ШЕЙХОВНА родилась в 1960 г. в селе Убра, в Дагестане. Окончила в 1982 г. филологический факультет Дагестанского государственного университета. Кандидат педагогических наук. Работает в Дагестанском институте развития образования, проректор по научной работе. Председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей, вице-президент Клуба писателей Кавказа. Член Союза журналистов РФ. Автор 11 книг. Поэт, переводчик, публицист, литературный критик. Лауреат республиканской журналистской премии «Золотой орел» в номинации «Защита прав человека» (2003). Награждена премией А. Сахарова «За журналистику как поступок»; «Золотое перо России». Живет в Махачкале.

Как будто лишь вчера умелый мастер
Дербентским камнем выложил фасад —
И вот теперь у времени во власти.
Мечта о доме… Много лет назад,
Перед войной построен этот дом,
И высек мастер каменным резцом
На выжившей стене: «Габибула
Возвел в родном селении Убра
Для сына и для новых поколений«.
О Гасан-Гусейне
Шла речь. Так и стоит стена —
Нет сына. Не вернется никогда.

Убит под Винницей. Убит в 17 лет.
«Жизнь отдадим — ничем не поскупимся, —
последняя записка. — Не сдадимся»,
И в гимнастерке — выцветший билет
Шагнувшего в бессмертье комсомольца.
А за день до ухода на войну,
Упрятав боль как будто под броню,
Играли свадьбу и дарили кольца.
А на рассвете обнял он жену:
«Прости, что не коснулся тебя, солнце…
Я, может, не вернусь, ты молода,
Устрой свою судьбу. Не жди меня».

Пехотное училище, курсант —
Житомир, Винница, Умань и Могилев
Остался там убринский лейтенант.
Не знал названий всех и русских слов,
Но выше всех познаний и наград
Он чтил свой долг — Отечества солдат.

Давно убринцев разметало время
По разным странам, весям, городам,
Но прошлое, как сон или как бремя,
Невидимо порой стучится к нам-
И моя мама тихими ночами
От стука просыпалась, и в окно
Глядела долго в тягостной печали.
Там не было, как прежде, никого.
И вспоминая прошлое, она
Рассказывала мне о Шахсалан.
И часто до утра, открыв Коран,
Она читала суры и просила
Всевышнего ему лишь данной силой
Соединить их в сладостном раю.

И мамы нет уже. Но почему-то, странно,
Теперь и я в полночный час встаю
И слушаю, как в призрачном тумане
О чем-то шепчет ветер горячо.
Раскроешь окна — нет там ничего,
Лишь в облаках проносится Убра,
Как символ высоты, любовь к свободе,

Там Вацилу, священная гора,
И родина великого народа —
Крестьянина. Воителя. Солдата…
Какие же вы юные, ребята:
Гасан-Гусейн, Ахмед, Абдурашид,
Гаджибутта, Абдулбари, Саид,
Расул, Халид, Мухаммад, Сулейман,
Шапи, Юсуп, Али и Дамадан…

* * *

…И нет числа погибшим. Имена
Звучат по всем аулам Дагестана.
Сто тысяч журавлей, как письмена,
Над нами в небесах. И как чеканно
Озвучивает время торжество:
Над ним самим и с ним самим родство
И памяти, и верности сердец
Святым словам: Отчизна, брат, отец…
Единство поколений — наш обет,
Источник силы, стойкости, побед.

Павел МАРКИН (Еж)

* * *

Землянка мне открылась: в сопке склон
размыл ручей… И в ней когда-то был
армейский склад, но штык, одеколон
остались, словно кто-то их забыл,

а я держу в руках сороковых привет
в восьмидесятом… Мне двенадцать лет.
Воображенье застит белый свет.
Ням-озеро, ищу все пистолет.

МАРКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЕЖ) родился в 1968 г. в г. Канске Красноярского края. В 2012-м окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза российских писателей. Стихи и рассказы публиковались в журналах «Литературная учеба», «Мурманский берег», альманахах: «День поэзии XXI век, 2010 г.», «Лед и пламень», «Паровозъ», «Академия поэзии», «Дом Ростовых», «Муза», «Опавшие листья» (Литинститут), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Меценат и мир» (Рязань), «Лазоревый цвет» (Волгоград), в интернет-журнале «45 параллель» и др. В 2012-м вышла книга стихов «Буквенные птицы» (СПб.: Формат), в 2014 г. — книга «Рок» с рисунками автора (СПб.: Формат). В серии «Дорожная библиотека «Паровоза» вышла книга рассказов Павла Маркина (Еж) «Всамделишняя пятерка». Лауреат Международного литературного Чеховского конкурса за рассказ «Всамделишняя пятерка» (2013), дипломант Международного Тютчевского конкурса (2013) и Волошинской премии (диплом Всероссийского музея А. С. Пушкина за книгу «Буквенные птицы») (2013). Живет в городе Мантурово Костромской области.

Но здесь ходили часто до меня
с миноискателем, а мне везет,
и, сердце страхом смерти каменя,
мол, если на «встревожку» склон сползет —

карельскую березку взял с собой,
мол, если что, — то выставлю стоймя.
И вот, с чужой столкнулся здесь судьбой,
себя осмыслить времище наймя…

Не отдавали п_я_д_и — не отдам,
пора придет, и казаки вернут
(а здесь на Кольском вопреки ордам
поморы не ломаются, ак гнут).

Все строят «светлый коммунизм» в стране,
а веры — нет, и я не понимал,
с какою грозной силой наравне
меня на пленку радостно снимал

фотограф памяти, как будто был
я в прошлой жизни тут… Одеколон
и штык рассеянно — в бегу — забыл…
Вот-вот сползет, придавит память склон.

08.04.09.

Татьяна ИВАНЧЕНКО

АСТРАХАНЬ. 1942

Город не был разрушен, ему повезло.
Отразили зенитки летящее зло.
Он остался как будто за чьей-то спиной,
Тыловой, госпитальный, слегка суетной.
Здесь хранили в лабазах запасы муки,
Выходили на лов, как всегда, рыбаки,
Выполнялся на верфях военный заказ,
Звал «Ни шагу назад!» на плакатах указ.
Но «Ни шагу назад!» — это там, за рекой.
Здесь же были тревога, тоска, непокой.
Здесь росли тополя, отцветали цветы.
Здесь стирали покрытые кровью бинты.

ИВАНЧЕНКО ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА родилась в 1966 г. в Астрахани. В 1996 г. была принята в Союз российских писателей. В настоящее время является председателем Астраханского регионального представительства СРП. Автор пяти стихотворных сборников. Стихи и проза публиковались в литературных журналах и альманахах «Мосты», «Зеленый луч», «Астраханский вернисаж» (Астрахань), «День и ночь» (Красноярск), «Башня» (Оренбург), «Колокол», «Паровоз» № 2 (Москва) и др.

Здесь растили детей и доили коров,
Здесь рыдали среди опустевших дворов.
А на башни кремля налетали ветра,
Как вдали отгремевшие крики «ура».
Город сумрачно ждал роковых новостей
И готовился встретить незваных гостей.
Но военные грозы гремели вдали,
Там, куда катера или танкеры шли.
Лишь мазутные пятна чернели в волне.
Город так и остался чуть-чуть в стороне.
Он стоял на подхвате, чуть-чуть не при чем,
Сталинград подпирая несильным плечом.

СТАРАЯ ОТКРЫТКА

«Алупка. Скала Айвазовского» —
открытка из старых залежей.
Нашла случайно. Читаю
текст чужого письма:
«Привет из Ялты! Ну, как вы там?
Домой уезжаем завтра мы».
И дата: май сорок первого —
курортный и мирный май.
Я с детства играть с картинками
любила до невозможности:
развалины или парки,
и барышни неглиже…
А эта открытка серая,
советская, не заморская,
ничем меня не затронула.
лежит себе — и лежит.
Совсем я ее не помнила!
А что там? Скала с оградкою,
женщина, море, небо —
такой банальный сюжет.
Обычная фотокарточка,
разве что чуть раскрашена:
женщина — розоватая,
скалы — немного в желть.
Какая же в ней романтика
для девочки, не умеющей
читать? И была отложена
открытка на дно коробки.
А волны катились по морю,
с собой уносили мелочи, —
да вот скала Айвазовского
стояла, как видно, прочно.
Терпение есть у Времени.
Никто не умнеет загодя.
Держу я открытку старую —
а краски густы и ярки.
И женщина довоенная
глядит в безысходно завтрашний
день. И горит, как зарево:
«Сорок первый. Привет из Ялты».

Александр ЕВСЮКОВ

ФРОНТ РЯДОМ

Наверное, и не спала, раз услышала. Или спала так, как привыкла при внезапных обстрелах и ночных бомбежках: снов не вспомнить. Ветер выл и скребся, набрасывался на хату оголодавшим волчарой. Бился в ставни, с треском сдирал наледь из-под крыши и напрочь выстужал трудно давшееся, накопленное за день тепло.

Из хлева давно не подавала голос Рева — их корова-трехлетка. Одна и выжила скотина в хозяйстве. Выйти — глянуть, а то все равно не уснешь… И тут же Аля разобрала сторонний, отличный от метельного буйства звук: кто-то негромко стукнул в ставню. Подождал и стукнул еще раз.

Аля оглянулась на бабку Василису — ее сиплое дыхание доносилось от печи все так же размеренно. Осторожно, не скрипнув половицей, подошла к окну. Знала, где из ставни выпал подгнивший сучок. Напрягая глаз, вгляделась в круг снежного крошева. Под яблоней, прямо в сугробе, в двух шагах от окошка стоял кто-то в сером. Время от времени крутил головой. Один вроде. Оружия при нем не видно.

Решившись, Аля так же бесшумно прокралась к двери и, откинув крючок, выскользнула наружу. Махнула рукой. Человек в сером приблизился. Он оказался парнем одного с ней роста. Глаза смотрели пристально, блестели из-под низко надвинутой шапки.

— Ты откуда? — прошептала она.

— С дороги сбился, — приятный голос, чуть охрипший. — А что за деревня?

— Тетеево, — назвала Аля.

Да, странно все-таки они называются.

— Значит, крюк сделал, — вслух прикинул парень, — верст на двенадцать. Все перекрыли.

Аля, лучше привыкнув взглядом к темноте, вгляделась в парня. Совсем пацаненок. Щеки впали, скулы заострились. Руки прячет от холода. Смотрит.

— Пошли, — позвала она и кивнула на хату.

— Никого там?

— Считай, никого. Я и бабушка.

Он пристукнул валенками друг о друга, стряхнул снег с плеч, еще раз быстро огляделся и шагнул в хату.

— Только тише, — на всякий случай шепнула Аля.

Но сипящее дыхание уже сбилось — бабка приподнялась на локте:

— Кого привела?

— Свои, баб Вась.

ЕВСЮКОВ АЛЕКСАНДР. Прозаик, критик. Родился в 1982 г. в городе Щекино Тульской области. Выпускник Литинститута 2007 г. Публикации прозы, стихов и критики в журналах «Дружба народов», «День и ночь», «Роман-газета» и др. Лауреат российско-итальянской премии «Радуга», премии «В поисках Правды и Справедливости», международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг». Проза переведена на итальянский, армянский, болгарский и польский языки. Автор книг рассказов «Контур легенды» (М.: «Русский Гулливер», 2017) и «Фронт рядом» (М.: «Роман-газета», 2020). Живет в Москве.

Бабка закашлялась:

— Кто тебе свои?.. Ась?.. К нам хочет? Уходи!.. Христом Богом прошу или кем хочешь — уходи только. Не один наш дом, чай? А что крайний возле леса — так здесь же сперва и искать будут… Приходили уже из-за таких вот, в подпол бомбу кидали, не было там никого, а все разворотили, образ со стены стрясло, и печка вон треснула. Не простят ей тебя. А мне, старой, грешным делом, сразу тогда в петлю лезть. Уходи!..

Ее лицо выжидающе белело в темноте.

— Ладно. Пойду, что ли, правда.

— Пойдем, провожу, — запахнув ватник, сказала Аля.

Они вышли.

Сквозь метель из-за дальнего поворота дороги мелькнуло пятно света. Фонарь — мощный, армейский.

Идут сюда. По занесенной дороге мимо старой церкви, в которой давно никто не служил. Там устроили было оружейный склад, но недавно его тряхнуло бомбами, и оружие на подводах под охраной мотоциклистов перетянули куда-то к городу.

Аля с парнем переглянулись. Она подтолкнула его в сторону хлева.

— Скорей, скорей…— поторапливала, стараясь ступать за ним след в след.

У входа под навесом небольшим стожком стояло все сено для Ревы. Позавчера Аля сгребла его скопом.

— Залазь давай, — приподняв большую охапку, приказала она.— И там сиди.

Парень неожиданно проворно юркнул внутрь. Не видно его. Аля по тем же следам бегом вернулась в хату.

…Собак с ними нет? А если будут, что тогда?..

Накинула крючок. Сбросила ватник. Меньше чем через минуту донесся близкий шум. Несколько отрывистых команд и хриплых криков. Тяжелые, будто бревном, удары в шаткую дверь.

Аля едва успела откинуть крючок и сразу почувствовала резкий толчок повыше груди. Сдавленно, перехваченным дыханием, застонала и свалилась бы на пол, если бы чья-то крепкая лапища с цепкими пальцами ее проворно не подхватила.

От лапищи сильно воняло табаком и меньше порохом.

— Wo ist er?.. Der Mann?.. Diversant?.. — ее осыпали вопросами, будто пригоршнями сухого гороха.

За долгие месяцы войны Аля стала понимать некоторые слова по-немецки, но никому в этом не сознавалась.

— Ты это — аккуратнее. Назад поди! — голос показался Але знакомым.

Она очнулась и с усилием приоткрыла глаза, чтобы убедиться.

Да, табачная лапища с белой повязкой над локтем принадлежала Пахому, старшему полицаю из соседнего села. К немцам он перешел сразу после начала войны и их стремительного наката на вчера еще советские земли; перешел, не колеблясь, будто давно ждал. Под партизанские пули не рвался, но служил исправно. В здешних местах знали или слышали о нем почти все.

— Чего стал? Шаг назад. Ну! — продолжил Пахом.

Автоматчик отступил.

— Ты не пугайся, — по-отечески обратился Пахом к Але и ободряюще улыбнулся.

От встречного ветра и снега глаза у него были красные, усы заледенели. Он протянул ей портсигар с дорогими папиросами:

— Будешь?

Она мотнула головой:

— Н-не курю.

Пахом раздумал доставать папиросу себе и засунул портсигар обратно в карман.

— Плохо с хавкой у вас? Так ведь?..

Аля невольно кивнула. Пахом наклонился к ней:

— Хлеба хочешь — шесть булок свежих?.. Тушенки? Сахара?

Представив, она сглотнула слюну.

— Будет завтра же, с утра.

Наклонился вплотную:

— Где человечек-то?.. В каком углу?.. Намекни, и не скажу никому про твоего сокола — где он там и как комиссарствует…

Аля укусила себя за губу, но почувствовала, что левая рука как будто сама готова указать. Пахому этого хватит, он сообразит. А если с собакой, найдут все одно. Неподалеку со свистом приземлился и рванул снаряд. Пахом и автоматчик вздрогнули.

Старуха, сидевшая на топчане, не спуская ног, вдруг осмелела.

— Гонют вас, — прокаркала она, прибавив что-то не слишком внятное, но задорное, с матюком.

Рука младшего полицая сама дернулась к затвору, но Пахом тут же с досадой отвел ее:

— Патроны береги…— и громко: — Временные трудности. Рейх непобедим. Пускай еще небо покоптит — сама увидит.

В хату вошел еще один немец, судя по выправке — унтер или выше. Уверенным движением он скинул капюшон и привычным голосом отдал команду.

Вбежали еще четверо автоматчиков. Обшарили углы, высветили подпол, пошерудили ухватом в печи, один влез на чердак. Старуха глядела молча.

— Здесь никого, — объявил младший полицай.

Прихватив Алю, вывалились из хаты. Собак с ними нет, сообразила она. *Собак нет!*

— Чьи следы? — спросил Пахом другим, резким голосом и указал в сторону хлева.

Следы почти замело, осталось несколько едва приметных лунок.

— Корову глянуть ночью выхожу.

— Поглядим, что за корова…

Полицаи приблизились к стожку. Автоматчики осветили хлев. Рева тревожно замычала, но, будто почувствовав опасность, сразу смолкла. Пахом быстро обнаружил и сноровисто ухватил вилы. Младший полицай, оглядевшись, приладил штык к своему карабину.

Они пошли вокруг стога, с силой втыкая с противоположных сторон вилы и карабин со штыком. На замахе лезвие мерцало.

Аля опустила глаза под пристальным взглядом унтера и, готовая ощутить страшный укол своим телом, считала все новые и новые удары по стогу. Сейчас?.. Или мимо?.. Казалось, каждый удар то распарывал на ней самой одежду, то скользил по коже, как змея. Всякий раз, когда предстояло идти мимо немцев, она мазала лицо сажей и надвигала платок пониже, стараясь сойти за неопрятную старуху. А вот сейчас, под этим пристальным сталисто-голубым взглядом, ощутила себя голой, беззащитной и опасно молодой. Но это не самое важное. Главное — там, внутри, и если только ей не дышать и не бояться, то все-все будет хорошо.

Они трижды старательно обошли стог, пробивая его едва ли не насквозь. Но оттуда не донеслось ни звука.

Младший остановился первым и стряхнул со лба пот.

В этот момент из стога прямо на фонарный свет выскочило что-то стремительное и серое. Автоматчик дал очередь. Пахом повалился в сугроб.

— Eine Maus!..— захохотал унтер. — Mäuschen! Kommando zurück! Patronen sparen!

Пахом, матюгаясь и стряхивая снег, поднялся.

Бросив на бледную Алю еще один долгий испытующий взгляд, унтер развернулся и указал рукой на дорогу.

Свет скрылся за другим поворотом. Ветер ослабел. Из-за тучи пробился край луны.

Подождав, пока не поняла, что сердце точно не выскочит прямо сейчас, Аля вернулась к хлеву.

Бросившись к стогу, она руками стала разгребать сено. Через минуту пальцы наткнулись на грубую ткань.

— Эй! — шепотом окликнула она.

Не отзывается. Проткнули, значит. А как еще? Весь стог прошли.

Руки опустились. Обмякнув, она наклонилась, готовая взвыть, зайтись во всепоглощающем горестном исступлении.

И вдруг услышала… ровное, чуть посапывающее дыхание. Спит! Протянув обе руки, она стала изо всех сил тормошить его за плечо.

Он резко всего за секунду очнулся и вылез к ней. Стоя на коленях, Аля обтрогала его. Ни кровинки, ни царапины нигде не было. Вдруг она прижала его к себе с материнскими слезами.

— В рубашке родился… В рубашке! — только и смогла выговорить.

— Третьи сутки без сна пошли, навалилось, — стал он оправдываться. — А там тепло — сморило. Ротный бы не узнал.

— Не скажу ему, — против слез улыбнулась Аля. — Вот, возьми, — она протянула ему сухую горбушку хлеба и молока в железной кружке.— Голодный…

Он отхлебнул.

— Что ж ты сделал-то такого?

— Склад взорвал. Тот, временный.

И, правда, — прошлой ночью зарево полыхнуло с другой, не фронтовой, стороны. Ярко. Несколько раз поднималось оно над лесом, будто в невиданный костер подкидывали новое сухое полено.

— Охраняли ж его?

— Охраняли, конечно. Больше взвода. Сколько после осталось — не считал. Дождался только, когда лошадей выпрягли и отвели в сторону — их вот жалко мне стало. Ну, пора дальше.

— Пройди вдоль деревни, оврагами, — подсказала она. — Там к речке выйдешь, не заблудишься. И до своих рукой подать.

Он сделал два шага и обернулся:

— Как зовут тебя?

— Алевтина.

— А меня…

— Не говори, — она перебила.— Не говори пока. Придешь с нашими — тогда и скажешь.

Аля перекрестила его вслед.

Метель понемногу стихла. Совсем скоро утро. Где-то в стороне погромыхивают разрывы. В хлеву мычит Рева. На топчане ворочается с боку на бок бабка Василиса.

Аля успеет вздремнуть час-другой до рассвета. И, кажется, она уже знает, что ей приснится ее муж Алексей, усатый и статный. Во всем гражданском. До войны. Аля думает, что и ему она смогла помочь этой ночью. И снова, удивляясь, повторяет:

— В рубашке, точно…

ГОД РОЖДЕНИЯ

Над тесовою крышей
Пели ветры в трубе.
Сын Петра и Мариши,
Я родился в избе.
Ветры весело пели
И качали звезду
Над моей колыбелью
В сорок пятом году.
И салюта зарницы,
Что зажглись над Москвой,
Расцвели, как жар-птицы
Над моей головой.
Чуть подрос — засверкали
На груди сорванца
Боевые медали
С гимнастерки отца.
— Батя, вспомни!
— Не надо…
Был отец молодым.
Из блокадного ада
Возвратился седым.
Все, что в детстве случилось,
Я запомню навек.
В нашем классе училось
Только семь человек.
Подсекали мы ловко
Пескарей на реке.
Нас растила Орловка
На парном молоке.
Деревенские вдовы,
Как пригоним коров,
Скажут, потчуя вдоволь:
— Будь, сыночек, здоров!
Вытрут влажные веки
Уголками платка…
Не забуду вовеки
Вкус того молока!
Нас всем миром растили,

АЛЕШКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ родился в1945 г. в селе Орловка Челнинского района ТАССР. В 1982 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 г. принят в Союз писателей СССР. Автор тринадцати книг стихотворений, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в Набережных Челнах. Лауреат нескольких литературных премий. В 2018 г. за книгу избранной лирики «Дальние луга» стал обладателем Диплома Золотого лауреата Германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года», а также серебряным финалистом Международного Славянского литературного форума «Золотой витязь». Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Почетный гражданин города Набережные Челны.

Пересилив беду.
Я родился в России,
В сорок пятом году.

1975

БАЛЛАДА О НЕРОДИВШЕМСЯ СВЕРСТНИКЕ

Твой отец дошел до Берлина,
Но вернуться домой не смог.
И остался в воронке от мины
Пропыленный кирзОвый сапог.

Лишь, как призрак, взорвавши память,
На мгновение из мечты
Ярко вспыхнул перед глазами
И погас — не родившийся — ты.

У Берлина, со смертью венчана,
Та мечта полетела к женщине.
Поселилась в ней, щемящая, огромная…
А потом пришла похоронная.

Не оттого ли печали вдовьи
Так пронзительны и круты,
Что в них, как в заколоченном доме,
Кричишь — не родившийся — ты?

1969

ХАРАКТЕР

Он крепок еще, мой сосед-инвалид…
Спроси про житье-бытье —
Он сразу ответит: «Протез не болит,
А то, что при мне — мое…»
Спроси про войну — и начнется рассказ:
«Был виден уже Берлин.
Накрыл, аж посыпались искры из глаз,
Осколочным, сукин сын!
И от бинтов, что от крови черны,
От кастелянш
В двадцать два года пришел я с войны —
На костылях.
Гляжу на девок. Тяжел мой глаз.
Я — колос, срезанный на корню.
Прижал бы к сердцу любую из вас —
Не догоню.
Но ярче — поверьте, чем все ордена
За молодость на войне,
Мне вдруг улыбнулась смущенно одна
И подошла ко мне…»

Он крепок еще, мой сосед-инвалид.
Не злобна его душа.
Он лодку на солнце весеннем смолит
Сноровисто, не спеша.
Обедать его приглашает жена.
Глаза у нее ясны.
А на лице, постаревшем, видна
Улыбка из той весны.

1971

* * *

Дрогнет рябины ветка
Вдруг за моим окном…
Я к середине века
Добрым пророс зерном
Сквозь чернозем с навозом
В послевоенный быт.
В нашей семье колхозом
Не был никто забыт.
В кузнице утром ранним
Батька огонь вздувал.
В правую руку ранен.
Левой рукой ковал.
Засветло мне на конный
Двор — жеребят пасти.
Молится у иконы
Мама: «Господь. спаси!»
В зыбке сестренка — помню —
Сладко спала тогда.
Братья в лугах и в поле:
Лето, покос, страда.
Старшей сестре работа —
Веялка на токУ.
Жарко! И всем охота —
С берега да в реку!..

Детство за мной живое
Катится по судьбе.
Слышали вы, как воет
Ветер зимой в трубе?
Десять коленок острых
Рядышком на скамье:
Братья мои и сестры —
Пятеро нас в семье.
С печи да на полати,
Кубарем утром вниз:
Сестры мои и братья:
Люба, за ней Борис,
А за Борисом Саша,
Значит, за Сашей я,
Следом Верунька. Наша
Вся за столом семья…

Дрогнет рябины ветка —
И разомкнется круг...
Видимся, братья, редко,
Видимся, сестры, вдруг.
Сельское все, простое
Вижу теперь во сне.
Солнышко золотое
Светит оттуда мне.

2016

ДЕРЖАВА

Нет, не империя и не страна...
Детям отцы завещали:
Родина Богом на то и дана,
Чтобы ее защищали.

Наши отцы заплатили сполна:
Заживо в танках сгорали...
Родина, значит, на то и дана,
Чтоб за нее умирали.

Род — от макушки до самых корней —
Древо из плоти и стали.
Родина — почва. Недаром на ней
Внуки твои вырастали.

Места другого тебе не дано.
Здесь твои сила и слава.
Впрочем, в России еще есть одно
Точное слово — держава...

2015

* * *

Виктору Суворову

Вот и мы постарели, мой друг, но не будем о грустном.
Для самих-то себя мы давно ничего не хотим,
Лишь бы вновь увидать — журавли пролетели над Русью.
Только где она, Русь? Мы в сердцах ее молча храним.

Нам с тобою, наверно, счастливое детство досталось.
После самой свирепой и самой великой войны
Из окопов, промерзших сквозь боль и тоску, и усталость
Возвратились отцы, чтобы мы появились, сыны.

И когда мы вдвоем держим путь к православному храму —
Помолиться за них и поставить к распятью свечу
За ушедших любимых и — каждый — конечно, за маму,
Вдруг заплачет душа: «Я от них уходить не хочу!»

Не спеша за столом поминальные чарки наполним.
Впереди и у нас предназначенный Господом срок.
А рождественский снег все летит на житейское поле.
Мы идем по нему. Горизонт, как небесный порог...

2015

СОН ЮБИЛЯРА

А старому солдату
(он в службе знает толк)
Попасть бы — хоть по блату —
В Бессмертный полк...

Ровесник Победы не вечен.
Ему уже семьдесят пять.
Он ждет неминуемой встречи
С архангелом. Двигаться вспять
Не следует. Царственным словом
Да будет помилован он!
Попросится в войске Христовом
Служить, в запасной батальон.
Но скажет солдату привратник:
— Вас много, таких удальцов,
И ты не единственный ратник---
Спроси воевавших отцов!
Они испокон и поныне
Небесную службу несут.
Отец твой словечко о сыне
Замолвит — возможно, возьмут...
И батьке кричу я под утро:
— Возьмите хоть сыном полка!
Отец мой ответствует мудро:
— Возьмем! Не спешил бы пока...

2020

ЗА ГАТЬЮ

— А в этом доме полицай жил во время войны, — показывая на дом напротив, сказала баба Нюра. — Я тогда девочкой была. Сколько же он наших перестрелял. И закапывал живьем. Одну девочку так закопал, а мы успели откопать. Она жива осталась. Выросла. Детей родила. А ведь могло и не быть ее… Страшно вспоминать сейчас.

А тогда мы, детвора, смелые были. Вот там, на гати, немцы границу сделали. Около болот. Знали они, что за болотами, в смоленских новосельских лесах, партизаны жили. В болото-то немцы не лезли, жутко боялись они болот. Стояли и смотрели, кто куда идет, взрослых обыскивали, а мы же дети, не трогали нас; широкие юбки наденем, обвяжемся под юбками тряпками, а под ними — сало, хлеб. Для партизан наших. Пустые ведерки берем — и будто за ягодами. А сами так каждый день наших подкармливали.

Долго у нас в Челновой немцы стояли. Но настал час, ушли.

А вот смотри, что я нашла вчера, когда по грибы ходила в Новоселье. Каска русского бойца. Ржавая вся, плохо сохранилась. Если бы немецкая, то выбросила бы. А эту сохраню, — показала Нина рукой на тонкую проржавевшую, но сохранившую форму каску.

Следы войны везде здесь.

— А отдайте ее мне, — тихо сказал рядом стоявший сын.

— Дать поносить — могу, а вот отдать--- нет. Мы сами на нее смотреть хотим.

На следующее утро засобирались мы с сыном за грибами. А он все: поехали сегодня в Новоселье, мамочка, ну поехали.

Зачем тебе туда, сынок? Дорога там плохая. Хоть и осушили уже те болота непроходимые, но все равно и болота, и завалы остались. Глушь за гатью. А он: поехали да поехали. Уговорил меня, конечно.

Приехали мы до Новосельского поля по большаку сначала, проехали, повернули на новую дорогу и там уже по лесной дороге к полю. Открывается оно так неожиданно. Лес вокруг бесконечный, — и вдруг просвет впереди, и Новоселье. Только от деревни осталось кладбище и дорога к нему. И окопы вокруг в лесу. Много окопов. Хоть и заросли они и глубина уже не та, что была. Только сердцу больно все равно на это смотреть. Сразу слова бабы Нюры вспоминаешь, и представляешь, как она девчушкой здесь сало и хлеб раздавала.

— Мама, давай вдоль окопа походим, — попросил сын.

И стал внимательно окопы рассматривать. Только тогда я поняла: он каску очень найти хочет. Каску советского бойца.

БРЕГМАН МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА (псевдоним Мария Алехина) родилась в 1976 г. в Москве. Окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и Высшие литературные курсы (ВЛК) Литературного института им. А. М. Горького (2020). Советник Литературной палаты России. Член Союза российских писателей. Рассказы и стихи публиковались в альманахе «Лед и пламень», антологии женской прозы «Я научила женщин говорить…», «Дочки-матери», журнале «Омь-Иртышь», «Тарские ворота» (Омск) и др. Изданные книги: «Щелкунчик» (СПб:, Формат, 2016), «Слияние со светом» (в соавторстве с Георгием Брегманом) (Москва: Союз российских писателей, 2018). Живет в Москве.

Андрей КУПАРЕВ

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО И НЕ ТОЛЬКО...

(Все рассказы основаны на реальных событиях)

Матреной Исаевной ее называли только в школе, где она начала работать сразу после окончания Дорогобужского педагогического техникума. Школа была начальной и находилась в деревне Басино Духовщинского района Смоленщины. Молодая, веселая — ну какая же Матрена Исаевна? Поэтому чаще ее назвали просто Мотей.

Потом, уже в конце 1943-го, она вернется к своей любимой работе — учительницей начальных классов, но только теперь в деревне Смольки Городецкого района Горьковской области. Здесь ее опять будут называть по имени-отчеству. А в музее Смольковской средней школы, где она проработает до последних дней, в восьмидесятые создадут музей боевой славы, начало ему положит ее бюст. В школе будет работать клуб «Следопыт», где соберут и изучат все материалы и воспоминания, связанные с той потрясающей историей о легендарном переходе, об операции «Дети», а значит, и о ней — Матрене Ивановне Вольской.

Что творилось в то лето в этих местах, без слез и сжатых кулаков пересказывать было трудно, но пересказывали. А немцы просто зверели.

Секретарь Духовщинского райкома партии Петр Цуранов писал в те дни на Большую землю: «Фашистские банды за три дня сожгли 24 деревни. Деревню Кишкинцы сожгли, население поголовно уничтожили. Чудом спаслись двое из 75 жителей. Детей рядами клали на дорогах. Затем давили их танками. Одну женщину бросили в огонь, когда ее дом уже догорал, затем туда же бросили трех ее малюток».

А в деревне Марково фашисты привязали к березкам двух девочек, облили бензином и подожгли за то, что варили картошку партизанам.

Такие истории передавались из уст в уста, люди жили в страхе уже не за себя, а больше за детей.

Тогда же, в апреле 1942 года, в фашистских штабах появилась директива, предписывающая «немедленно приступать к изъятию или принудительной депортации... всего пригодного к работе населения» для отправки в Германию. Все понимали, что первыми на отправку станут подростки и дети, не стариков же везти.

Срочно нужно было что-то предпринимать, реагировать. Тогда и возникла эта отчаянная идея операции «Дети». Их собирали по всей округе,

---

КУПАРЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Член Союза российских писателей с 2011 г., прозаик, публицист, режиссер документального кино. Обладатель Гран-при, лауреат и дипломант международных и всероссийских кино- и телефестивалей («Щит России», «Сталкер», «Золотой Витязь», «Человек и война», «Россия» и др.). Лауреат премии поэта-фронтовика Овидия Любовикова. Удостоен Специального диплома «Вятская книга года 2014», «Вятская книга года 2018». Диплом «За открытие неизвестных страниц Великой Отечественной войны» («Вятская книга 2019»), Лауреат премии Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил РФ. Инициатор и организатор Первого межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты Отечества» им. Григория Булатова. Живет в г. Киров.

больших и маленьких, больных и здоровых… Не для того, чтобы спрятать где-то в лесах или на болотах, нет. Ребят решили вывести в советский тыл, на Большую землю.

Обследовали вероятные маршруты прорыва, составили карты заминированных участков. Эту заботу взяли на себя партизаны из соединения «Батя». Они прорабатывали все до мелочей. Конечной точкой стала станция Торопец Калининской области. Это была территория, где немцы уже не появлялись, а партизанам через эту точку поставляли все необходимое с Большой земли. Маршрут составлял двести километров пешим ходом, а это леса, болота и линия фронта… Только затем — в тыл.

И тут встал вопрос: кому вести детей? И как-то сразу все согласились, что это будет Мотя, Мотя Вольская.

К тому времени она уже была опытной подпольщицей, партизанкой. С первых дней оккупации она вместе с супругом и другими учителями создала в Дорогобужском районе подпольную группу, которая распространяла сводки Совинформбюро, листовки, собирала оружие, занималась разведкой. А в доме у Вольских даже была конспиративная квартира секретаря райкома Петра Цуранова. Того самого, что отправлял сообщения на Большую землю.

Связь с партизанами осуществлялась через Мотю, в отряде ее звали Месяц.

Однако в конце сорок первого из-за риска быть раскрытыми вся группа присоединилась к партизанскому отряду. Мотя сразу стала разведчицей, участвовала в нескольких боевых операциях. За одну из них наградили Матрену Вольскую орденом Красного Знамени.

В общем, выбор пал именно на нее: опытная, умелая, а еще учительница.

Когда все детали операции были согласованы с Москвой, сам командир отряда, главный инициатор и организатор всей операции Никифор Захарович Коляда по прозвищу Батя благословил и отправил их в путь. С ними пошла небольшая группа партизан: они должны были какое-то время помогать при проходах через минные поля и искать дорогу в болотах.

Вышли утром 22 июля от ворот школы в Елисеевичах. Колонна детей, чьи родители воевали в партизанах, в Красной Армии, крестьянских сирот, собранных из разных районов Смоленщины — всего около двух тысяч человек. В поход брали только тех, кому исполнилось минимум 10 лет. Самым старшим было 16–17 лет. Отряд разбили на три части, а их на отряды по сорок-пятьдесят человек. В помощницы Матрене Вольской определили еще одну учительницу, Варвару Полякову, и фельдшера Екатерину Громову, ее приставили к самым младшим.

В том, что путь предстоит непростой, Мотя поняла сразу, как только увидела перед собой толпу детей с узелками в руках и со слезами на глазах. Они прощались со своими родителями, близкими, и никто не знал, что будет дальше, когда встретятся вновь, да и придется ли.

Весь путь до Торопца занял десять дней, но какие это были дни… То, что она уставала, ныло все тело — еще не беда. То, что ночью, когда дети отдыхали, ей приходилось уходить на десяток километров, чтобы наметить завтрашний маршрут, тоже становилось привычным. Неожиданным стало другое. Этому почему-то не придавали особого значения, когда выбирали ее в провожатые, не придавали, хотя…

Дело обстояло просто, на первый взгляд. Выбор пал на нее еще и потому, что сама Матрена ждала ребенка. Будущий ребенок и начал ее беспокоить все больше и больше. Она вдруг почувствовала, как стучит ее сердце и становится трудно дышать, и тут же начинались тянущие боли.

Между тем в самый первый день на след колонны напал немецкий самолет-разведчик, и с неба посыпались листовки с угрозами. На следу-

ющий день он прилетел бомбить. Маршрут пришлось менять и передвигаться по заросшим лесным дорогам.

Колонна детей постепенно растягивалась на несколько километров, и теперь приходилось наматывать эти лишние километры, чтобы к ночлегу собрать детей всех вместе. Эх, если бы не помощницы и старшие дети…

С каждым днем количество подопечных росло. Потому что по дороге то и дело примыкали группы детей из сожженных местных сел и деревень. И через несколько дней в колонне насчитывалось уже более двух тысяч человек. Скромные запасы еды, что взяли с собой в дорогу, скоро закончились. Тогда в ход пошли лесные ягоды, подорожник, заячья капуста, одуванчики.

Сложнее обстояло дело с питьевой водой. Большинство колодцев, попадавшихся на пути, были отравлены трупными ядами, туда немцы сбрасывали расстрелянных, или подходы к водоемам были заминированы. Постепенно дети начинали слабеть. Все только и мечтали о привале в селе Ильино, там был запланирован пункт питания, но накануне его разбомбили немцы и опять приходилось что-то придумывать… А точнее — прятаться и терпеть.

Линию фронта они пересекали через болота в районе деревни Слобода. Долго искали лежневку, теперь уже только своими силами. Партизаны из сопровождения к этому времени уже вернулись в отряд. Но лежневку разбомбили, и тогда пришлось идти через топи всем — и большим, и маленьким. Спасибо, на помощь пришли два местных деда, которые здесь хорошо ориентировались.

Утром 28 июля колонна вышла на берег Северной Двины. Увидев воду, дети всей толпой бросились к реке. А тут, откуда ни возьмись, прямо из облаков три немецких самолета, низко-низко над берегом и — на второй круг. Как же Мотя со своими помощниками распихивали детей в ямы и канавы, как она испугалась тогда за них…

Казалось бы, все позади, а оказывается, нет. Кто пошустрей, бежал к ближайшему лесу или врассыпную. Кто помладше, прятался под телегами и в траву. На втором заходе немецкие летчики начали стрелять, но судьба отвела. Пострадавших оказалось немного: подстрелили лошадь и ранили одну девочку. Может, кто-то из немцев понял, что это дети, а, может, сами чего испугались, но, сделав еще круг, они повернули на запад.

В начале августа все дети пришли в конечный пункт маршрута, на станцию Торопец. Эшелон, который должен был вывести их на Урал, был еще не сформирован, и опять потянулись дни ожидания. А на станцию все шли и шли дети из разоренных войной городков, поселков, деревень, изможденные голодом, усталостью, болезнями… В ночь на пятое августа, перед отправкой эшелона, в команде Матрены Вольской числилось уже 3240 ребятишек. И опять не хватало еды.

На станции Бологое им приготовили пятьсот килограммов хлеба, испеченного из жмыха, картофеля и мякины. Но детей-то теперь было почти в два раза больше! Это же всего по 150 граммов на человека. Когда красноармейцы решили поделиться своим, был настоящий праздник. Теперь каждый ребенок получил еще по целому сухарю!

Что будет дальше, она не знала, но постепенно начала понимать, что в такой ситуации до Урала, где их должны были принять, всех довезти не реально, живыми довезти. И тогда решила Матрена телеграфировать во все крупные населенные пункты, что будут по пути, просьбу о помощи. Поэтому в Горьком их уже ждали. Так, до Нижегородской земли доехали 3225 детей из 3240 эвакуированных из Торопца. А операция «Дети» на этом была успешно завершена.

В акте приемки было написано: «Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви».

Да, они имели ужасный вид, но все-таки остались живы, почти все. 3225 детей! Их начали распределять по госпиталям и больницам, затем по ремесленным училищам, а позже и на заводы. Судьбы этих детей и судьбы трех смоленских девчат Моти, Вари и Кати, которые вовсе не считали, что совершили подвиг, расходились в разные стороны. Но, главное, что каждый продолжал жить, жить своей судьбой.

Что было потом? У Моти в трудных родах появится первенец, а позже приедет и муж — партизан Михаил Архипович Вольский.

Потом, когда наступит мирная жизнь, участники знаменитого перехода, теперь уже взрослые люди, неоднократно будут приезжать в Смольковскую среднюю школу, чтобы навестить и еще раз отблагодарить Мотю. Нет, теперь уже Матрену Исаевну Вольскую. Отблагодарить, поклониться и рассказать другим, как все было. Каждый будет вспоминать что-то свое, но в каждом рассказе будет она — молодая девушка Мотя.

Журналисты и общественные активисты будут пытаться найти списки, подтверждающие факт приема-передачи детей, и не смогут найти их ни в одном архиве. На что Матрена Исаевна как-то скажет: «Я просто выполняла задание. Вот и все». А те, кто участвовал в этом переходе, кто воевал в отряде Бати, будут писать письма в редакции газет и телевиденья и снова, и снова пересказывать ту историю, какой и сохранилась она в сердцах людей, как и подвиг девушки Моти — Матрены Исаевны Вольской.

ВАЛЯ И БЫЧОК АНТОШКА

Сколько бы лет ни прошло, в каком бы возрасте ни случилось… Что было, то уже произошло, что произошло и оставило след в жизни, навсегда останется и в памяти. Эта память времени не подвластна. Потому и живем, чтобы помнить, и пересказываем, чтобы помнили.

Валя Юрасова из далекой деревни Литвиново, в Новосибирской области, тоже всю жизнь вспоминает свои первые шаги во взрослую жизнь. В семье она была самой младшей — десятым ребенком. Отец умер, когда ей было шесть лет, а еще через шесть началась война. К этому времени она закончила пятый класс средней школы, что в соседнем селе, и куда ходить приходилось пешком, за несколько километров, зимой — в мороз, весной — в половодье. Случалось, что волков встречали, но Бог миловал.

А теперь, когда началась война, и братья ушли на фронт, пришел ее черед помогать кормить страну.

Определили ее и таких же ребятишек на полевые работы. С ранней весны и до поздней осени, холодно, голодно, тяжело. Кроме лошадей, коров да быков — в помощь никого и ничего.

Она потом часто вспоминала и все время удивлялась: «Как же это нас скотина слушалась? Запряжешь, бывало, зимой свою корову в сани и едешь в лес за дровами для дома. А с тобой кто-нибудь из подруг. Так и едем».

А вот чтобы сено с полей возить использовали быков. В паре с такой же девочкой, брали трое саней, три быка — с поля грузили и везли сено на колхозную ферму. Таких девичьих бригад было две. Одни возили сено с запада, другие с востока.

В каждой бригаде был свой бык-вожак. У нее был Антошка, в другой бригаде Бурка. У Бурки был хулиганский характер: норовил каждого

встречного рогом с дороги скинуть. Что бы они без этих быков делали? Потому и называли их ласково по именам, потому и запомнили, будто как людей. Сильные, крепкие — они пробивали дорогу по снегу. Чтобы стронуть воз с места, быки сперва покачивались из стороны в сторону, потом становились на колени и так ползли по глубокому снегу, а девчонки бежали следом по снежной целине.

Да, вот еще, добротной одежды не было, согревала только работа вилами. Причем, холоднее было на возу принимать сено, а подавать снизу — теплее, поэтому старались меняться почаще. В день приходилось делать по два рейса: до обеда и после.

Кстати, утром перед работой никогда не ели и даже чай не пили. Как будто и не было такого слова: завтрак.

Так и прошли три года. Но это ведь еще не все. Именно здесь на этих полевых работах Валя и познакомилась со своим будущим мужем. Он, правда, немного постарше был и ему доверяли пахотой заниматься. С восхода до завтрака, после завтрака до обеда, после обеда до заката — в три смены — в три «пряшки»…

А потом он ушел на фронт, война уже к концу подходила, но служил до 1951 года. Вот в том году они и поженились после его демобилизации. Так судьба большой страны объединяла судьбы маленьких людей.

ДЕТИ БРЕСТА

Сначала была бомбежка, потом стрельба, затем растерянность и страх, а дальше все смешалось. День и ночь, жизнь и смерть.

Они проживали у Тереспольских ворот, и после того, как все началось, попытались укрыться в помещении электростанции. Всего два десятка человек, семьи комсостава — жены с детьми. Но их, конечно, обнаружили. Случайно обнаружили, по плачу грудного ребенка.

Вале Зенкиной — дочери Ивана Васильевича Зенкина, старшины музыкантского взвода 33-го инженерного полка, было четырнадцать. Накануне войны она окончила седьмой класс пятнадцатой средней школы города Бреста, где учились дети многих командиров, которые служили и проживали в Брестской крепости, там же учились воспитанники 333-го стрелкового полка, среди которых выделялись и Петя Клыпа, и Коля Новиков, и Петя Васильев.

Квартира отца Вали находилась в Тереспольской башне, где жили еще семь семей: Нагановы, Мулины, Поповы, Маковы, Чекуровы, Кириговы, Мартисовские.

Вот их всех, и обнаружили немцы, а потом погнали на берег реки Мухавец. К этому времени их штурм начинал затягиваться, тогда и появился план — расстреливать заложников, если какая-то штурмующая группа не возвращается обратно. Немцы прокричали об этом в громкоговоритель и теперь чего-то ждали, разглядывая крепость в бинокль.

А она стояла сейчас и вспоминала отца, как он молча погладил ее по голове, обнял и произнес:

— Это война, дочка… Спускайтесь вместе со всеми вниз, а мне нужно идти в полк…

Сказал и ушел. Просто закрыл за собой дверь и его не стало. Потом вместе со всеми Валя пробиралась в здание электростанции, а потом начались взрывы, все закричали, заплакал ребенок… и теперь вот…

Вдруг ее подозвал офицер и на ломаном русском приказал идти в Цитадель.

— Передашь им наш ультиматум, — губы его были тонкие и сухие, по щекам катились крупные капли пота, — и, если они не сдадутся, мы просто их уничтожим.

Или это был страх за свою жизнь, или растерянность от неудачи, или еще что, но уверенным офицер не выглядел. И Вера, осмелев, спросила:

— А можно я с мамой?

— Что с мамой? — не понял офицер.

— Мы вместе пойдем и расскажем все, что вы просите.

В ответ она услышала нервный смех. Он покачал головой и погрозил пальцем.

— Мать останется. А ты должна вернуться и передать нам ответ вашего командира.

Валя вдруг ощутила ствол автомата, упертый ей между лопаток и медленно пошла к Тереспольским воротам, только один раз оглянулась, чтобы найти глазами маму, и тут же ускорила шаг.

Она шла и плакала, и короткий путь в сотню метров показался ей вечностью. Война теперь была повсюду. Обезображенные тела, разрушенные строения, дым, то и дело закрывавший видимость. И вдруг, где-то совсем рядом пулеметная очередь. «Наши, — пронеслось в голове, — живые!» В ответ раздались выстрелы с другой стороны.

Она мгновенно свернула к зданию погранкомендатуры, спряталась в развалинах и тут услышала: «Валюша, ползи к нам, быстрее».

У окна подвала чьи-то руки подхватили ее, и теперь она стояла среди своих, а напротив нее лейтенант Кижеватов, с его старшей дочерью они дружили. Нюра тоже находилась здесь, а еще Нелли Михайлова, еще одноклассники — Петя Клыпа и Коля Новиков. Да что говорить, она знала здесь почти всех.

Обратно Веру не отпустили, да и сама она возвращаться боялась, а значит теперь и она стала защитником Брестской крепости.

На полу на матрасах сплошь лежали раненные, за ними ухаживали женщины, а девчонки старались успеть везде: подносили боеприпасы, собирали оружие, патроны, следили за грудными детьми. Пацанам поручали более сложные задания, именно так Клыпа и Новиков обнаружили склад оружия и боеприпасов, которые сейчас были очень кстати, а Петр Котельников и Вовка Измайлов нашли склад с продуктами: консервы, сыр, брынза… Потом из разрушенных военторга и медсанчасти они притащили остатки медикаментов, сухари, сахар и даже рулон ткани.

Здесь все стояли плечом к плечу, это была одна семья людей, знающих свою цель и защищающих свою Родину. Взрослые и дети. Их судьбы в дальнейшем сложились по-разному, но тогда знать о будущем они не могли, они могли только верить. И они верили, верили, что выстоят. Живым достанется победа, а погибшим вечная память.

Как выяснится позже, семнадцатилетний воспитанник музыкантского взвода Петр Васильев погибнет во время боя в полковом клубе 27 июня 1941 года. Он займут место убитого пулеметчика на втором этаже Красноармейского клуба, где станет прикрывать своих товарищей, пока из заваленных складов те будут вытаскивать боеприпасы, продукты и воду. Там и погибнет.

Самым молодым из воспитанников музыкального взвода был двенадцатилетний Котельников Петр Павлович. 30 июня по решению командования защитники Тереспольских ворот будут прорываться через кольцо окружения. Под обстрелом ребята побегут к берегу реки и бросятся в воду. Плыть в одежде будет тяжело. Течение станет относить их все больше в сторону, а когда, наконец, доберутся до берега, окажутся в руках немцев.

В лагере Котельников встретит Петра Клыпу, Володю Измайлова, Колю Новикова и Володю Казьмина. Их всех поместят в лагерь для военнопленных Бяло-Подляска, где они пробудут двенадцать дней. Затем их переведут в брестскую тюрьму. Там Петя Клыпа сможет убедить немецкого офицера, что все подростки являются жителями ближайшей деревни, а в тюрьму попали за то, что дали хлеба советским военнопленным. Офицер в эту историю поверит и их отпустят.

Потом Николай Новиков будет сражался в рядах Красной Армии, штурмовать Кенигсберг и скончается от ран уже в 1945-м.

Владимир Измайлов после войны будет жить и трудиться механизатором в Красноярском крае, будет награжден многими медалями и орденами.

Сам Петр Котельников уже после Победы станет офицером Советской Армии. А вот Владимира Казьмина увезут на каторжные работы в Германию, и на Родину он вернется только в июне 1945 года.

А что же Валя Зенкина? Валя вместе с некоторыми подростками, сумеет выйти из крепости, будет участвовать в молодежном подполье, готовить планы побегов для военнопленных и, даже успеет повоевать в партизанах, будет награждена многими орденами и медалями. Сейчас Валентина Ивановна живет в Могилеве, ведет переписку со следопытами многих городов, проводит большую военно-патриотическую работу, а значит, по-прежнему в боевом строю.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ

Прошло уже более полувека, а он все еще отчетливо помнил тех, с кем когда-то свела его судьба. Это был 1943 год. Маленький городок Кировской области Молотовск, ныне Нолинск. Средняя школа №1. Сейчас он ветеран педагогического труда Виктор Сергеевич Путинцев, а тогда ученик седьмого класса и просто Витька.

За каждой партой не два, а три человека: классы, как и всю школу, пришлось уплотнять из-за эвакуированных. Отличник Боря Кочкин — он местный из деревни Зубари, — сидел рядом с мурманчанином Иваном Головановым. На задней парте в углу — воспитанники Ленинградского детского дома, брат и сестра Рябчиковы. На первой парте, у входной двери, неистощимый на выдумки еврей Гриша Кнох. А вот за ним — Витя Путинцев. Соседями у него были испанец Альварес Лопес и сын профессора географии Борис Силищенский. И тут в класс входила учительница — Юлия Иосифовна Полевая, жена автора «Повести о настоящем человеке». Вот это да! Вот это времена были!

Зима. Окна в классе плохо пропускают свет, потому что заледенели. От дыхания — пар. Все сидят в пальто. А на переменах стараются как-нибудь разогреться. Была такая игра — в «полено»: ребята брались за руки, образуя замкнутую цепь вокруг чурки, поставленной «на попа», и начинали водить хоровод, в котором каждый старался не задеть и не столкнуть полено, а вот помочь другому было можно и нужно, уронивший чурку, сразу выбывал.

Хорошо согревались и в «боях за табуретки», которые всегда стояли при учительских столах, но не в каждом классе. Эти «бои» никогда не имели характера драки: если табурет не удавалось унести незаметно, его перетягивали, как канат. Испанцы сражались за табурет азартнее всех. Но ярче всего их спортивный азарт проявлялся на футбольном поле. Летом 1943 года они не раз встречались на городском стадионе с местными подростками и всегда побеждали. Полуголодные местные, жалея обувь, играли босиком и не шли на риск быть «подкованными» ботинками соперника, потому

и проигрывали. И еще, воспитанники испанского детского дома всегда играли постоянным составом, а их соперники — «сбродной» командой.

Антонио, пас!.. Фернандо!... — то и дело разносилось над стадионом.

Фернандо Фернандес играл напористее других и чаще всех поражал ворота. А в спортивном зале лучшим был Луис Родригес. Концертные программы школьных вечеров заканчивались тогда, как правило, выступлениями гимнастов, которые выстраивали многоэтажные пирамиды и демонстрировали мастерство на параллельных брусьях. Главным его конкурентом тогда стал широкоплечий и широколицый Аркадий Киселев из Слободки. Но Луис, все-таки, был лучшим, поэтому и поступил впоследствии, уже после войны, в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта, окончил его, а потом ярко проявил себя на партийной работе, став одним из секретарей ЦК Компартии Испании.

Молотовск в те трудные годы окружил испанцев заботой и вниманием, дал возможность учиться, заниматься спортом, развиваться физически и духовно, приобщиться к великой русской культуре, не забывая свою. Они знакомили одноклассников и жителей района со своей музыкой, песнями и танцами, давая концерты в школе и в Доме культуры. Всем запомнился их хор в три яруса, огненный танец худенькой воспитательницы детдома, исполняющей под звуки кастаньет тарантеллу.

Эти воспоминания о суровых годах войны где-то в российской глубинке, о прекрасных человеческих чувствах любви и дружбы между испанцами и русскими сохранились до наших дней.

Даже спустя десятилетия испанцы будут писать письма в родную школу, в маленький городок Нолинск, бывший Молотовск, приютивший и согревший детей Испании в суровые годы Второй мировой войны. Писать письма и даже приезжать в гости, чтобы опять окунутся в прошлое, — суровое, военное, но свое.

КАЖДОЕ ПОЛЕНО — УДАР ПО ВРАГУ

Сколько бы лет ни прошло, в каком бы возрасте ни случилось... Что было, то уже произошло, что произошло и оставило след в жизни, навсегда останется и в памяти. Эта память времени не подвластна. Потому и живем, чтобы помнить и пересказываем, чтобы помнили.

Девушки, мобилизованные на лесозаготовку, не всегда отвечали возрастным критериям. Саше Панфиловой, например, исполнилось всего тринадцать, когда ее и еще четверых девчушек, самой старшей из которых было шестнадцать, собрали вместе и объявили задание. Впереди декабрь, январь, февраль — в общем, вся зима и начало весны. Температура иногда до минус тридцати, а им — на лесозаготовку в окрестные леса.

До делянки пять километров ходили пешком. Как рассветет, начиналась работа. Двуручная пила инструмент тяжелый, к нему приноровиться надо, а норма — пять кубов дров за смену. Хорошо хоть на двоих — это из-за возраста, у взрослых девчат больше в два раза. Наработаешься за день, а чуть поспал и опять в лес. Идешь шаги считаешь, снег под ногами скрипит, вот-вот рассвет. А вон там, на дереве плакат прибит, значит можно остановиться и передохнуть, чтобы еще раз надпись на плакате перечитать: «Каждое полено — удар по врагу!». А тут и светать начинает, все — значит, пора и за работу. Потому что известно же: каждое полено — это удар по врагу.

Нине Медведевой в 1941-м было только двенадцать. К детским воспоминаниям можно относиться по-разному, но дожив до преклонных

лет она все равно помнила, как это — валить деревья, обрубать сучья. Затем бревна выносили на дорогу, грузили и увозили на склад. То, что потяжелее, делали пацаны. Ровесники, но, все-таки пацаны. Хорошо, что работали вахтовым способом по десять дней, если повезет, квартировали у добрых старушек, которые кормили, сушили ночью одежду, чтобы утром снова в лес. Так и бежали дни, и главное было отдохнуть потом, даже, скорее, сил накопить за десять дней в родной деревне. Только не всегда получалось. Дома-то мамка оставалась и младшие сестры, да братья. Вот так и отдыхали.

А говоришь: «каждое полено — удар по врагу»... Но ведь было!

Больше всего хотелось есть! Организм молодой — растущий. Ей было четырнадцать лет в сорок первом. Летом Зоя Качалова работала в поле, а вот зимой...

Тонкий лес, который шел на крепления горных выработок в шахтах и рудниках, еще надо было напилить. Вот этим она с подругами и занималась зимой. Напилить, а потом на станцию отвезти. Другое дело крупные хлысты. Это же сначала дерево повалить надо было. Приспосабливались, но иногда становилось страшно, это когда дерево падало не туда, силенок-то не хватало верно направить, поэтому и случалось. А что делать? Работа такая, такое задание. А еще гордость. Да — гордость, что помогают большой стране. Ну, как могут помогают. Тут главное, чтобы всем вместе, пусть по-разному, но вместе. Только так и можно побеждать.

И они шли к общей победе, понимая это. Может, поэтому так она и запомнилась — Победа? А потому и называют ее великой!

ВОЙНА ГУЛЯЕТ ПО РОССИИ, А МЫ ТАКИЕ МОЛОДЫЕ

Нанайский район спрашиваете? Это далеко, очень далеко. На самом Дальнем Востоке. Есть там такое село — Троицкое. Это почти двести километров до Хабаровска, если на юг, и до Комсомольска-на-Амуре тоже двести, это если на север.

Так вот... Жила в селе Троицком Нанайского района девочка Зоя Домбровская, жила с мамой и двумя младшими братьями, а исполнилось ей в сорок первом только пятнадцать. Что такое война? Да и не понимала она тогда, что это такое. Лишь к началу осени до этих мест эхом начали докатываться отголоски происходящего где-то за тысячи километров. Сначала с продуктами начались проблемы, а затем как снежный ком.

В конце ноября, когда на Амуре начинался ледостав, в село прибыл представитель из Комсомольска с целью отобрать старших школьников для учебы в училище судостроительного завода с дальнейшим трудоустройством на заводскую теплоэлектроцентраль.

От каждой семьи взяли по парню или девушке, проводы были недолгими, и последний пароход понес их по остывающим амурским волнам во взрослую жизнь.

Новобранцев разместили в бараках по сто пятьдесят человек. Это не пугало, главное, что в них было тепло. К тому же начиналась учеба, и скоро многих перевели в здание политехнического техникума, где они и учились, и жили. Так было удобней, потому что учебу сразу стали совмещать с работой. Бегать куда-то на ночевку — только уставать.

У Зои все получалось, и очень быстро ее назначили помощником мастера. Ответственность просто зашкаливала, потому что теперь она была

на передовой, передовой трудового фронта, и слова с плаката, висевшего перед проходной: «Все для фронта, все для победы» приобрели особый смысл. И как же ей однажды было стыдно, когда, выполнив спецзаказ (паяли свистки для разведчиков), один из тысячи оказался бракованным. Это было ЧП. Работу принимал старший мастер, Зоя сгорала от стыда — заказ-то для фронта. Но это была школа жизни. А это школа особенная.

С самого начала ее и еще одну девушку взял под свое крыло бригадир дядя Гриша. Доверял как взрослым, задания давал серьезные. Например, на толстом листе железа чертился мелом контур детали, а девушкам, сидя на подстеленном войлоке, нужно были пробивать молоточком по керну эти контурные линии. Сначала дело шло медленно, но потом они так поднаторели, что уже обгоняли взрослых мужиков. Это и понятно — дело-то для молодых рук и спин.

— С этих толк будет, — говорил дядя Гриша мастеру, — девчонки работящие.

Все это было здорово, вот только одна мысль часто мешала сосредоточиться на главном: всегда хотелось есть. А дядя Гриша иногда приносил вареной картошки, съедали ее мигом, и лучшего лакомства в ту пору не было.

В 1943-м Зоя начала работать самостоятельно, на ТЭЦ, и теперь получала завидный паек. Ей как сменному персоналу электролаборатории полагалось полторы нормы, а это: килограмм хлеба, шестьсот граммов постного масла и одна рыбина горбуши в месяц. Тех, кто работал сверхурочно (а такое происходило частенько), в столовой подкармливали соевыми котлетами и выдавали дополнительные сто граммов хлеба. Кое-кто из подруг выменивал на продукты свои вещи, бывало такое, но только не Зоя. Еще чего?! А как же танцы?

Да, танцы, жизнь продолжалась, и даже война была не в силах отменить молодость. Тем более, что поход на танцы в клуб или в парк считался праздником. Зое ее главное платье досталось из американских подарков: шерстяной трикотаж отделан шелком, все переливается, все в замочках — хоть сейчас в театр. А еще были красный сарафан, две блузки и «балетки» — в те годы так называли полуботинки. Если у кого не было подходящего платья, шли в красный уголок общежития и там танцевали под патефон, жаль только мальчишек не хватало. Может, поэтому, однажды, когда грузили они одежду для отправки на фронт, кому-то из подруг пришла идея.

— А давайте вложим в карман каждого полушубка письмо, — сказала кто-то из девушек.

Сразу же нашли ту, чей почерк посчитали самым красивым, сообща продиктовали текст, занявший два листа, вырванных из тетрадки кладовщика, поставили шестнадцать подписей. И посылка ушла на фронт. Спустя полтора месяца с фронта в училище пришел ответ. В конверте шестнадцать фотографий бойцов и письмо, которое тоже, судя по всему, писалось всем взводом. Так вот, письмо это специально зачитывали на торжественной линейке под звуки военного марша. А девчонки, с тех пор, стали называть себя «фронтовыми подругами». Теперь им казалось, что стали они взрослее и старше, а на самом деле это все еще были девичьи мечты. Мечты о том, чтобы жить счастливо и без войны. Но сначала надо победить врага.

Победу ждали, победа снилась, победа была самым долгожданным. А вот пришла она как-то вдруг, неожиданно. Май, обычное утро, все шло своим чередом. Как положено, прогудел гудок: один раз в семь, два — в семь тридцать, три — ровно в восемь. И вот тут что-то произошло. Вдруг он загудел опять, долго, протяжно. Он гудел и гудел, а народ выбегал на улицу, смотрел в небо, друг на друга. Верил и не верил, что это случилось. Да! Это была Победа! Победа! А значит, завтра начиналась другая жизнь, мирная, подзабытая и такая долгожданная.

ВЕРА

А солдат не вернулся домой
Ни весной, ни зимой.
Не увидел, пройдя сквозь сени,
Как на добром смоленом полу
Под лампадкой, в углу,
Вон — оставили след колени…
Все ждала, не тушила огня.
Глубже день ото дня
Головой уходила в плечи.
И уже не творила хулу,
Только в красном углу
Лик повесила человечий…

МЕСТЬ ТАМЕРЛАНА

Где нам древних понять!
Ведь, в конце концов,
Нам давно на святыни плевать.
Но послушай все же…
…Стаи гонцов
Созывали тучную рать,
Чтобы выкрикнул баловень всех грехов:
«Если мой потревожат прах,
Не поздней, чем до утренних петухов,
Разольется над миром страх!
Будет горе на множество лет и стран!
Небо вычернят облака!..»
Так сказал Тамерлан.
И усоп Тамерлан.
И без снов пролежал века.
Осторожное время, мудрей совы,
Тихо здесь совершало путь…
Но пришли археологи из Москвы
В неприступный склеп заглянуть.
Самый младший русым был, молодым,
Старший с виду вроде бурят.
Пили чай зеленый,
Пускали дым
И не ведали, что творят.
Но сходились узбеки со всех сторон.
Но закат был в тот вечер вял.

ГЕДЫМИН АННА ЮРЬЕВНА. Поэт и прозаик, автор восьми поэтических сборников и двух книг прозы. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Арион», «Континент», «Юность» и др. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Международной Волошинской Премии «За сохранение традиций русской поэзии» (номинация СРП), премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность», премий «Литературной газеты», радиостанции «Немецкая волна», журналов «Литературная учеба», «Дети Ра». Живет и работает в Москве.

Но вселенский ужас,
Вселенский стон
В черно-бурых глазах стоял.
Все окончилось за полночь.
Как пятак,
Прикатилась луна в зенит.
И сказал самый младший:
«Что-то не так:
Люди стонут, в ушах звенит…»
А приятель, зевая:
«Да ну их, плюнь!
В самом деле — чудной народ…»
Было двадцать второе.
Месяц — июнь.
На земле — сорок первый год…

СО СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ

Мой дед в саду, не сняв буденовку,
Худющий, но в плечах не мал,
Грызет незрелую антоновку…
Он дедом никогда не стал.

Андрей КОРОВИН

СЛУЦКИЙ В ТУЛЕ

1

он просыпался рано
смотрел в окно
там за окном все тот же двадцатый век
пусто на сердце холодно и темно
никто никому не нужен
как сказал имярек

вот же она единственная ушла
туда куда все уходят
и он уйдет
боль понемногу стихла
любовь прошла

КОРОВИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ. Поэт, прозаик, руководитель культурных программ. Родился в Тульской области. Автор одиннадцати поэтических книг. Проза публикуется в сборниках издательства «ЭКСМО». Президент фонда «Волошинский сентябрь». Создатель и куратор литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва). Координатор Клуба кураторов литературных фестивалей России. Кавалер Золотой медали «За преданность Дому Максимилиана Волошина». Живет в г. Подольск.

но тоска не проходит
нет не пройдет

он лежал на диване
да
смотрел в потолок
смотрел через крышу в небо
в ее глаза
потом выходил из дома бывший пророк
который на свете все уже предсказал

— *Здравствуйте, — говорил ему доктор*, — как нас зовут?
— *Слуцкий, поэт, — сухо он отвечал.*
— *Знавали и наполеонов, все теперь тут,*
— *думал про себя доктор, но вслух молчал.*

— *Есть у вас документы?*
— *Да, — протягивал документ.*
— *Слуцкий Борис Абрамович… вот так так…*
Что привело на рельсы?

ответа нет

он писал стихи
больше не знает
как

2
когда поэт превращается в человека
ему становится все равно
какое утро какого века
какое крутят в кине кино

сгорели в танках его читатели
остыл недобрый двадцатый век
нет больше смысла в стихослагателях
он в стылой Туле теперь навек

и он ложится и он спокоен
и двадцать третьего февраля
он понимает что путь свободен
что дальше медлить уже нельзя

ну что же Слуцкий ну что же гений
ну что же бывший ну что пророк
три тома изданных сочинений
солдатской жизни его итог

найдутся люди стихи найдутся
из чрева письменного стола
душа не смеющая прогнуться
из них конечно произросла

22 ИЮНЯ ОДНОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ГОДА

Припозднился. Лег. Заснул легко.
Никаких кошмаров мне не снилось.
А потом проснулся оттого,
Что гроза в окно мое ломилась.
Черными потоками текла,
И от бесконечных взрывов грома
На куски рвалась ночная мгла.
Сразу неуютно стало дома.
И какой-то безотчетный страх
В подоконник заставлял вцепиться
И глядеть, как носятся впотьмах
Молнии — пылающие птицы.
В миг один всесилье обретя,
Смерть несут на крыльях непреклонных.
И все ищут в зарослях дождя
Беззащитных, слабых, полусонных!
И увидеть страшно было дно
Этой ночи, этого разлива!
...Тонкий листик залетел в окно,
Прямо в грудь мне ткнулся боязливо.
Я окно закрыл. Но в тишине
Звуки грома слышались упрямо.
Взял таблетку. Принял. «Дай и мне», —
Еле слышно прошептала мама.

ПЛЕННЫЙ

Жизнь отца баловать не любила,
Потому был он крепок и строг,
Но буквально до самой могилы
Слышать детского плача не мог.
И когда сын мой плакал, бывало,
Испугавшись ночной тишины,
Резкой болью отца обжигала
Незажившая память войны.
Видел снова он, как на вокзале
Оккупанты сужали кольцо,
И кричащих детей отнимали,
Матерям глядя прямо в лицо.

ВОЛОДАРСКИЙ ЛЕОНИД. Автор книг «Окраина Москвы», «Голубица мастера», «Провинция Вселенной» и ряда других. Лауреат премии Московского комсомола и Московской писательской организации за лучшие стихи о Москве, лауреат премии Международного литературного фонда им. Милана Фюшта. Лауреат премии им. Блаватской Московского отделения Международного теософского общества. Получил диплом № 1, став таким образом первым лауреатом этой премии в мире. Член Союза российских писателей. Живет и работает в Москве.

Не спеша и с улыбкой надменной
Гнали женщин к бараку стрелки…
И стоял обессиленный пленный,
Почерневшие сжав кулаки.

ФОНТАН У МЕТРО «КУЗЬМИНКИ»

У метро к Дню победы открыли фонтан.
Пусть он бьет для влюбленных, не для пуритан.
Пусть целуются парочки в брызгах ночных.
Ветераны войны, помолитесь за них!
Потому что они — это вы.
Ваши подвиги спят средь военной травы.
Ваши губы фонтанных касаются брызг
И не спят, разбивая все мертвое вдрызг,
И все ищут те юные губы в ответ,
И к ним тянутся сквозь наслоения лет.
Наслоения эти размыла вода.
Бей, фонтан! Как вода у тебя молода!
Молодильные струи журчат и журчат.
Уравняла вода стариков и девчат.
Уравняла вода стариков и парней.
Бей, фонтан! Безоглядно, без отдыха бей!

ХРЯПА

Посвящается светлой памяти моих родителей — блокадников: Лукирской Ксении Петровны и Пигаревского Валерия Евгеньевича

Я стоял, прислонившись к шершавой каменной стене Елисеевского магазина, что находится в самом центре Невского проспекта в Петербурге. В этот июньский день, было тепло, солнечно, пыльно и почему-то тревожно. Вокруг все было как обычно: бесконечная усталая толпа, нескончаемый поток автобусов, троллейбусов и разноцветных лакированных машин. Я стоял, глубоко задумавшись, не оглядываясь по сторонам. Внезапно неясная, почти беспричинная тревога заполнила всего меня и сдавила горло.

И в этот же самый момент я увидел его совершенно отчетливо — он несся по самому центру Невского проспекта и отчаянно трезвонил. С каждой секундой он приближался ко мне. Я закрыл и открыл глаза, сжал и разжал кулаки — ничего не исчезло. По Невскому проспекту летел трамвай. Мне хотелось закричать: «Но это же бред! По Невскому уже сто лет как не ходят трамваи, все рельсы давно срыты, сейчас — 2011 год». А он продолжал двигаться, деревянный, наполовину красный, угловатый, в виде ромба, надсадно звеня, и казалось: ничто не могло его остановить.

Как мы, не пережившие те времена, можем судить о них? Да никак. Только рассказы стариков и способны спасти историю. Только благодаря их словам перед нашим мысленным взором могут предстать картины подлинной жизни, которые не смог бы придумать ни один, даже самый гениальный, художник.

Полумрак. Сбоку от меня — сгорбившаяся настольная лампа. Я сижу в старом продавленном кресле, а напротив, на диване, укрытая пледом, лежит моя старенькая мама. После некоторого молчания она начинает свой рассказ.

Зима 1942 года. Самые тяжелые дни блокады Ленинграда. Я пришла в школу, потому что нам обещали дать поесть, а кроме того, если начиналась бомбежка, я лазила на крышу и сбрасывала зажигалки. Мне было тогда 15 лет. Мы сгрудились вокруг буржуйки, за дверкой которой плясали красные языки пламени. В ней горели дощечки, которые мы как-то умудрялись выкалывать изо льда. Наша любимая учительница литературы раздала нам миски с хряпой. Что такое хряпа? Это жидкая-прежидкая похлебка, в которой вместо хлеба или еще чего-нибудь плавали толстые листья, окружающие капустную кочерыжку, да кусочки самой кочерыжки. Школьники молчали и смотрели на свои миски, как на сокровище, с которым не могли сравниться никакие сокровища мира. Через мгновение должен был начаться стук оловянных ложек.

В этот момент дверь класса распахнулась. Медленно, шатаясь, вошла истощенная с распухшим посиневшим лицом женщина. Я не знаю, по-

ПИГАРЕВСКИЙ ПЕТР ВАЛЕРЬЕВИЧ родился в 1951 г. в Ленинграде. По профессии биолог, работает в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Автор пяти книг прозы и поэзии. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

чему она подошла ко мне, наверное, потому, что я ближе всех сидела к двери. Она уже не могла стоять: цепляясь за парту, женщина медленно опустилась на пол. «Девочка, дай поесть, я умираю» — прошептали ее губы. Я протянула ей военную латку.

Настало лето. Было также голодно и тяжело. Не забывай, я была не одна, у меня на руках все это время находился трехлетний брат, и я не дала ему умереть. Наконец из больницы вернулась мама — чудом не умерла, стало немного полегче. 4 июня я вступила в комсомол, никаких немцев я не боялась. И вот же молодость! Я отправилась гулять на Невский проспект. Не поверишь, мне захотелось посмотреть на витрины магазинов. Я не была на Невском с самого начала блокады. А больше всего мне хотелось посмотреть на когда-то шикарную витрину Елисеевского магазина.

Я стояла посреди Невского, как завороженная, передо мной находился самый любимый с детства магазин. Но я не успела ничего рассмотреть. Завыла сирена воздушной тревоги. Вокруг почти никого не было. Я не знала, где бомбоубежище и куда нужно бежать. И, вообще, я растерялась, стояла, как вкопанная, беспомощно озираясь по сторонам. Вначале послышались отдаленные взрывы, а вот громыхнуло уже совсем рядом. Я продолжала стоять. Вдруг я услышала пронзительный звон и скрежет металла о металл. Повернула голову и увидела, как тормозит несущийся на полном ходу трамвай № 4. Он остановился прямо напротив меня, открылась передняя дверь и какая-то женщина отчаянно замахала мне рукой. «Девочка! Беги скорей сюда, беги! Садись немедленно!» Бомбежка усиливалась с каждой секундой, взрывы гремели где-то рядом. Я рванулась вперед. Женщина схватила меня за руки и втащила прямо в кабину. Спасительница оказалась вагоновожатой. В следующее мгновение она рванула на себя железный рычаг управления, и трамвай сорвался с места. Ненадолго повернув голову, она посмотрела на меня и улыбнулась: «Ну что, не узнаешь меня?» Я отрицательно помотала головой. «Я — та, которую ты спасла от голодной смерти. Помнишь, я ввалилась к вам в школу, и ты отдала мне свою миску с хряпой. Ведь я действительно тогда умирала. Я запомнила тебя на всю жизнь и узнала сейчас, даже из окна трамвая». Я все вспомнила.

Трамвай несся, как сумасшедший, вокруг все полыхало. Как мы проскочили, до сих пор не пойму. Но зато как тогда, так и сейчас ясно понимаю: если бы эта женщина, которой я даже имени не знала, не затормозила, я бы погибла под бомбежкой.

Я по-прежнему стоял, вжавшись в шершавую стену Елисеевского магазина. Рядом текли две реки: людей и машин. Посредине Невского проспекта не было никаких рельсов и никакого трамвая. Стоял теплый, солнечный, мирный день. Видно, мне все померещилось. Но почему никуда не уходит тревога? Внезапно я стал невольным свидетелем отрывка разговора между двумя людьми, которые остановились недалеко от меня:

— Ну и дура, сделала добро, а теперь расплачивайся. Вот дала бы в морду — тогда бы тебя зауважали. Ты что, не понимаешь? Сейчас только так. А добро воспринимают как слабость.

Я оторвался от стены и, не оглядываясь, пошел в сторону, постоянно ускоряя шаг. Еще мгновение — и я уже бежал.

ДО ВОЙНЫ МЫ ЖИЛИ В ЛЕНИНГРАДЕ

ДРАМА

От автора: «В поселке Бугры Ленинградской области, где я живу, есть трогательный неофициальный мемориал — «Землянка». Он посвящен двум девушкам-радисткам, погибшим на этом месте. Во время войны у нас в поселке располагался женский радиодивизион. Кто они — девушки этого радиодивизиона? У каждой из них была личная причина оказаться здесь. С одной из радисток мне удалось встретиться. От нее я узнала, что ими двигали не только чувство долга перед Родиной и ненависть к врагу, но и любовь. Об этом — пьеса.

Действующие лица:
НАДЕЖДА ПАНИНА, старшина
Рядовые:
САША СОКОЛОВА
РАЯ ЧУРОВА
ВАЛЯ ЛИПОВКА
ХОР ПИОНЕРОВ, мальчики и девочки довоенного времени
СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ, мальчик лет 12

31 декабря 1941-го года. Комната, в которой живут четыре девушки-радистки. Полумрак, в котором угадывается елка. В печке дотлевают угольки. Дверь в комнату слегка приоткрывается, бочком входит Надежда Панина. Прихрамывает, одной рукой опираясь на палочку, другой прижимает к груди полено для печки, планшет и три почтовые посылки, помогая себе подбородком. Щелкает выключателем, от света вспыхнувшей под потолком лампочки загорается на верхушке елки вырезанная из консервной банки звезда. Надежда торопливо раскладывает посылки под елкой, планшет кладет на кровать, полено подбрасывает в печку. Сгорбившись, греет у печки руки. В комнату вваливаются Саша Соколова и Валя Липовка, раскрасневшиеся, возбужденные. В руках у одной из них — алюминиевые кружка и тарелка. Надежда оборачивается, распрямляет спину. Саша и Валя мгновенно становятся серьезными.

РАДЧЕНКО ЕЛЕНА. Драматург. Родилась в Челябинске. Окончила Московский институт культуры и Литературный институт им. А. М. Горького, работала журналистом, завлитом в театре. Первая пьеса (инсценировка) была поставлена в 1997 г. в Челябинском молодежном театре; с тех пор поставлено более десятка спектаклей в профессиональных и любительских театрах. В 2002 г. ее пьеса «Ресницы кальмара» отмечена премией на конкурсе, посвященном 300-летию Петербурга. В 2005 г. комедия «Решка» удостоена премии на конкурсе «Евразия» и премии конкурса «Мы дети твои, Россия!». Член Союза писателей России и Гильдии драматургов России. Живет в Санкт-Петербурге.

САША *(Наде).* Товарищ старшина, разрешите обратиться!

НАДЕЖДА *(садится на кровать, растирает рукой колено).* По случаю праздника отвечаю на вопросы не по уставу. Слушаю тебя, Саша…

САША *(ставит на стол алюминиевые кружку и тарелку).* Вы почему раньше ушли?

ВАЛЯ *(участливо).* Болит нога-то?

НАДЕЖДА *(берет в руки планшет).* Вызвали к командующему. Нога не болит. Еще вопросы есть?

САША. Вы ушли, а там такое началось…

ВАЛЯ. Дед Мороз приходил!

НАДЕЖДА. Настоящий?

Валя и Саша утвердительно кивают головами.

НАДЕЖДА. Рассмешили…

ВАЛЯ. Я старшину Парамонова и не признала, пока он маскировочный халат не снял да бороду из ваты…

САША. «Новогодние подарки Дед Мороз врагу несет, от которых в стужу жарко, а в жару — мороз берет!» *(«Стреляет» из автомата).*

ВАЛЯ. Жалко, Раечки с нами не было…

САША. Можно, товарищ старшина, мы не будем спать ложиться, пока рядовая Чурова с дежурства не вернется?

Надежда открывает планшет и… снова закрывает его.
Кладет на кровать рядом с собой.

ВАЛЯ. Мы ей паек с праздничного стола принесли. Вот она обрадуется!

САША. Можно?

НАДЕЖДА. Под елку загляните…

Саша и Валя видят под елкой посылки.

САША. Подарки?! Товарищ старшина, вас командующий вызывал, чтобы нам подарки передать?

НАДЕЖДА. Нет, конечно. Это Дед Мороз.

ВАЛЯ. Правда?!

САША. Интересно, что там?

ВАЛЯ. Так нечестно, Саша! Надо Раю дождаться…

САША. А вдруг там… рагу из кролика? Мама до войны поваром работала в тресте общественного питания. «Превратим кролика в краеугольный камень рабочего питания!»

НАДЕЖДА. Отставить! В городе люди на улицах от голода падают. В детских садах дети не играют, приходят, садятся за столики друг напротив дружки и рассказывают, что до войны ели…

ВАЛЯ. О, Господи…

НАДЕЖДА *(устало).* Что вы, как дети малые…

САША. У вас, товарищ старшина, семья в Ленинграде?

НАДЕЖДА. Папа остался, белый билет у него. До войны он официантом работал в ресторане у Московского вокзала. Как он там, без работы, один...

ВАЛЯ. Человек один никогда не бывает — люди рядом. И Бог...

САША. Бога отменили, Валюшка! Ты не знала?

Валя смотрит на Сашу, улыбается и молчит.

САША. Давайте желания загадаем, чтобы время быстрее прошло!

ВАЛЯ. Хочу найти под елкой одну книжку...

САША. С картинками?!

ВАЛЯ. Ой, не оторваться от тех картинок...

САША. По журналу «Мурзилка» соскучилась? Помнишь, карапуз в очках, стоит перед школьной доской, на цыпочки встал и пишет, высунув язык: «Когда я вырасту, я тоже буду большевиком!»

ВАЛЯ. Я перед войной читала — «Письма валаамского старца»... Так душевно старец Иоанн писал — не от рассудка, а от чувств...

НАДЕЖДА. От каких чувств — религиозных?!

САША. Мне мама на работе журнал «Я — безбожник!» выписывала... Даешь культурный безбожный быт!

ВАЛЯ. Просвещенные духом святым, старцы наши прошли тернистую дорогу в царство небесное и нам оставили указания, как идти.

НАДЕЖДА. Отставить религиозную пропаганду, рядовая Липовка! Вы... Ты — совсем дурочка, Валька?!

САША. «Пионеры, раздувайте вы свои костры и на них богов сжигайте, вы свободны и сильны!«

ВАЛЯ. У нас в деревне один пионер костер развел рядом с домом, дом-то и спалил... Мне бабушка не разрешала с огнем баловаться.

НАДЕЖДА. В Ленинграде сейчас в каждой квартире — печка. Все, что горит, в топку кидают.

ВАЛЯ. Неужто и... книги?

НАДЕЖДА. Если мои книги папу спасут, пусть он их спалит... Только одна пусть останется — «Евгения Гранде». Мне ее человек один подарил. Память.

САША. А этот человек... он где сейчас?

НАДЕЖДА. Расстались мы, еще до войны. Он другую полюбил.

САША *(рванулась к ней).* Товарищ старшина!

НАДЕЖДА. Рядовая Соколова!

Саша замерла на месте.

НАДЕЖДА. Твоя очередь желание загадывать, Саша...

САША. Вдруг там... от мамы подарок? Она мне всегда дарила носовой платок батистовый, «Красной Москвой» надушенный... А в прошлом году — комбинацию кружевную, чулки фильдеперсовые...

НАДЕЖДА. Где она сейчас — в Ленинграде?

САША. Да...

Помолчали.

САША. А Юрку, братика старшего, я в рейс проводила, он на корабле «Магнитогорск» в Германию ушел. Зерно повезли.

НАДЕЖДА. Когда?

САША. Пятнадцатого июня. Не вернулся он. Когда войну объявили, мама в розыск подавала — одни отписки.

НАДЕЖДА. Не надо в розыск, Саша... Война закончится — всех найдут.

САША. Вы... в порту работали?

НАДЕЖДА. В радиоцентре.

САША. Ой, а я же мучилась: лицо знакомое, вспомнить не могла, где я вас видела... В порту, значит, видела, когда брата в рейс провожала. Вы... что-то знаете о нем, товарищ старшина?

НАДЕЖДА. «Товарищ, нам выпали горькие трудные дни, грозят нам и горе, и беды. Но мы не забыты, мы не одни, и это уже победа!» Надо терпеть.

САША. Не могу больше... Ну когда же Рая с дежурства вернется?! Я свою посылку открою... *(Взяла в руки посылку, прочитала надпись, присвистнула).* Получите — распишитесь...

ВАЛЯ. Что там? От кого?!

САША. Юнайтед Кингдом.

НАДЕЖДА. Соединенное Королевство!

ВАЛЯ. Деда Мороза?!

САША. Лондон.

НАДЕЖДА. Великобритания! Подарки от королевы!

ВАЛЯ. От какой... королевы?

НАДЕЖДА. От английской. К Новому году. Нам всем. Англичане — наши союзники.

Валя и Саша остолбенели.

НАДЕЖДА. Не хотите? Так и скажите, я их обратно сдам, в штаб... *(Устало).* Эх, вы... Думала вас обрадовать...

Валя ловкими движениями вскрыла упаковку.

ВАЛЯ *(закрыла лицо руками).* Ой, не могу... Стыдно!

САША. Чего ты... застыдилась-то? *(Берет в руки содержимое посылки, роняет на пол).* Ой!..

НАДЕЖДА. Да что там у вас?!

Саша поднимает с пола теплое мужское нижнее белье. Расправляет кальсоны, «примеряет» к себе: пояс с резинкой держит у своего горла, штанины болтаются у пола. Кальсоны утыканы кнопками и кармашками различных размеров.

НАДЕЖДА. Исподнее...

САША. Мама дорогая, это кто ж в таком там ходит?!

НАДЕЖДА. Гвардейцы... Королевские.

САША. Вот это мужики... вот это я понимаю!

ВАЛЯ. Кнопочки... Кармашков-то сколько... А этот — для чего? Ой...

НАДЕЖДА. Бумага — туалетная…

ВАЛЯ *(прыснула).* У них там в Англии с газетами-то плохо, видать…

САША. С газетами, Валечка, у них хорошо, не хуже, чем у нас!

ВАЛЯ. А ты их не защищай!

САША. Так они же — союзники…

ВАЛЯ. Тогда почему им нужна туалетная бумага какая-то специальная? Почему не могут, как мы?

САША. А это? *(Держит над головой рубашку).* Ой, не могу! Валюшка, иди сюда! *(Встает к ней спина к спине, оборачивает рубашку вокруг себя и нее, смеется).* Что и требовалось доказать!

НАДЕЖДА. Что ты доказала?

САША. На двух девчонок можно пошить! А кальсоны? Вы только представьте, девочки… Какие дети родятся от такого мужчины?!

ВАЛЯ *(закрывает лицо руками).* Ой, не могу… Стыдно!

САША. А непокрытой телкой… не стыдно будет после войны оставаться?!

НАДЕЖДА. Саша!

ВАЛЯ. А война скоро закончится? Мы победим!

НАДЕЖДА. Победим, а как же иначе?!

САША. Сколько наших мужиков война выкосит… А эти… англичане, они же нашей стране предоставили военный кредит… Может, и мужиков своих пришлют… в кредит? *(Смеется).*

НАДЕЖДА. Отставить шуточки, Соколова! Это же предательство — свою девичью честь… англичанину какому-то…

САША. После войны все по-другому будет… Я вот детей хочу — мальчика и девочку!

НАДЕЖДА. Детей… без любви?

САША. У Сергуньки будут глаза голубые, волосы льняные… У Олечки — розовые пяточки… Детки мои, как же я их люблю!

Валя подходит к Саше, обнимает ее.

НАДЕЖДА. Ушивать придется, по фигуре подгонять.

Входит Рая.

САША. С праздником, Раечка!

Рая проходит к своей кровати, ложится на нее лицом вниз.

ВАЛЯ. Рая, мы твой паек принесли!

САША. Под елкой — подарок для тебя… Откроем? Никогда не догадаешься, что там…

НАДЕЖДА. Рядовая Чурова, отставить!

Рая встает с кровати. На глазах у нее — слезы.

ВАЛЯ. Что с тобой, Раечка?! Что?!

РАЯ. Георгия больше нет...

САША. Когда сообщили?

РАЯ. Только что. Сама узнала.

САША. Ты же на ключе работала...

РАЯ. Я его руку знаю... Мы с ним еще в радиокружке... во Дворце пионеров — вместе занимались... Ди-ди-ди-даа Ди-даа... конец связи... у него это всегда как горловое пение... было... Конец... конец...

САША. А что он передал?

НАДЕЖДА. Отставить!

САША. Но это же...

НАДЕЖДА. Не имеете права спрашивать!

РАЯ. Попрощался.

ВАЛЯ. Может, это ошибка?!

САША. Ты устала, переволновалась... Да я бы на твоем месте... в обморок бы, честное слово — хлоп, без вопросов, честно... Сколько ты с ним не виделась, Рая? И вдруг — в эфире... Это же... это же... Ты просто могла все перепутать!!!

РАЯ. Он повторил. Открытым текстом.

НАДЕЖДА. Это запрещено, сами знаете! Должны понимать...

РАЯ. «Узнаешь меня?» Я сразу: «Узнаю». А он: «Передай нашим, чтобы не ждали. Станция сворачивается. Прощай.»

ВАЛЯ. Ой, мамочка... Что... это значит?

НАДЕЖДА. Рядовая Чурова...

РАЯ. Партизан окружили. Он должен уничтожить рацию. Чтобы она к немцам не попала... И себя. Он мне говорил, что он им живым не сдастся...

ВАЛЯ *(обнимает Раю). Господь посылает разные скорби... Против них одно средство: терпение и молитва.*

НАДЕЖДА. Липовка, помолчи...

САША. Пусть она... говорит, товарищ старшина...

ВАЛЯ. Наша жизнь — кораблик в море... Но мы все вытерпим, все невзгоды, правда, Раечка?

Рая прячет лицо на груди у Вали.

ВАЛЯ. Ты на похоронах была когда-нибудь?

РАЯ *(отталкивает ее).* Нет, нет, не надо...

ВАЛЯ. Человек думает: и я умру когда-нибудь, но голос внутри ему говорит: нет, я не умру!

РАЯ. Пусть она... замолчит, скажи ей, Саша! Зачем, зачем она...

ВАЛЯ. Это голос души, Рая: она бессмертна!

РАЯ. Ой, не могу...

САША *(обнимает Раю).* Раечка, Рая...

НАДЕЖДА. Рядовая Чурова! *(Подходит к Рае, тихо).* Вам могут дать отпуск.

РАЯ. От войны? Но я же все равно о ней думаю.

НАДЕЖДА. У меня здесь *(показывает планшет)* приказ командующего.

РАЯ. Я готова. Ко всему.

Надежда отходит от Раи, идет к печке. Стоит, греет руки. Саша и Валя подбегают к Рае, шепчутся с ней.

НАДЕЖДА. Рядовые Соколова, Чурова, Липовка!

Саша, Рая и Валя встают по стойке «смирно».

НАДЕЖДА. Приказ командующего: утром — боевой вылет. Задание каждая получит непосредственно перед ним. *(Открывает планшет).* Если попадете в окружение, ваша задача — уничтожить рацию. И не сдаться живыми. Вот здесь надо подписать… Не думала, что придется вас с таким приказом знакомить. Но трое наших радистов погибли. Вы… можете отказаться. Командующий надеется, что не подведете. Не хотела вам до утра говорить, праздник все же… У меня уже два вылета, а у вас — первый. *(Тихо).* Простите меня.

Саша, Валя и Рая подходят к Надежде. Стоят вчетвером, обнявшись.

САША. Товарищ старшина, разрешите перед вылетом получить нормальное женское белье?

НАДЕЖДА. Рядовая Соколова, получить нельзя. Причина — отсутствует на складе. *(Сменила тон).* Ты об этом сейчас думаешь, Саша? После войны придем в «Пассаж» и купим нормальное женское белье.

САША. Шикарное… цвета кофе с молоком… с кружевами! Французы наши союзники?

НАДЕЖДА. Нет.

САША. А я французские кружева хочу! Вот незадача…

Девчонки рассмеялись негромко.

САША. Мама мне всегда говорила: белье — только высшего качества… Всегда.

РАЯ. Я письмо хочу написать… *(Надежде).* Товарищ старшина, маме в Ленинград отправите?

НАДЕЖДА. Рядовая Чурова, вернетесь с задания и сами сможете отправить.

САША. И мое письмо — маме…

Девушки посмотрели на Валю, но она промолчала и в сторонку отошла.

Затемнение.

Появляется Хор пионеров.

СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ. Песня о гранате! Слова В. Гусева, музыка А. Новикова.

ХОР ПИОНЕРОВ (*поет и танцует).*

Мы оружием владеем (могучим!)
Нам Отчизна дорога
На «отлично« мы сумеем (проучим!)
Бить гранатою врага!
Всем охотникам до драки
Мы сумеем показать,
Где у нас зимуют раки,
Как зовут у Кузьки мать!
Враг, запомни: мы не горды,
Мы приветливый народ,
Но не суй свиную морду
В наш советский огород!
Есть у нас наше красное знамя,
Есть великий советский народ.
Есть за что нам бороться с врагами,
Есть кому подымать самолет!

СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ. Пусть только попробует «свиное рыло» сунуться к нам в огород… наши пограничники немедленно передадут азбукой Морзе секретное сообщение в Кремль! Наш прославленный красный полководец Семен Михайлович Буденный соберет со всей СССР восемьдесят кавалерийских дивизий легкого типа и поскачут они навстречу врагу! Враг затрясется от страха и — назад, в Германию, только пятки засверкают…

ХОР ПИОНЕРОВ. Ура-а!

Хор исчезает.

Через несколько часов. Саша, Валя и Рая перед посадкой в самолет.
За спиной у каждой — парашют и небольшая переносная радиостанция.
Шум ветра, рокот мотора. Валя тихонько перекрестилась.

САША *(толкнула ее вбок).* Боишься? От Земли не отрывалась еще?

ВАЛЯ. Первый раз. А ты?

САША. С мамой и братом в Киев летали, в мамин отпуск. А ты, Рая?

РАЯ. Не помню, сколько раз.

САША. Ой, что это? *(Вынимает из кармана, рассматривает что-то на ладони).*

ВАЛЯ. Сашенька, милая, спрячь обратно… Иконку я тебе положила.

САША. Зачем?

ВАЛЯ. Спасет тебя, убережет…

САША. В нашей стране верующих нет.

ВАЛЯ. На виду — нет, а в тайне… У солдат наших крестики нательные, иконки, молитвы в гимнастерки, в шинельки тайно зашиты.

Саша бросает иконку под ноги. Валя поспешно поднимает, прячет.

САША *(растерянно).* Неправда это все!

ВАЛЯ. Девочки, что я вам расскажу: чудо я однажды видела… В самом начале войны. Иду по Ленинграду… И вижу: в дом шестиэтажный бомба попала, он на кусочки разлетелся, а угол — стоит… Вот как

есть — стоит. А знаете, почему?! На четвертом этаже — комнатка: половицы, куски штукатурки прямо на дранке висят… А в углу — икона! Божья Матерь в серебряном окладе… И лампада перед ней — не погасла, горит! Неугасимая лампада, понимаете?

РАЯ. Быть этого не может, по законам физики… Ты комсомолка или кто?

ВАЛЯ. Когда принимали, я корью болела, дома лежала.

РАЯ. Как же ты на войну попала, как тебя взяли?!

ВАЛЯ. Сначала в военкомате узнала: армии нужны медсестры и связисты. Школу бросила, на почту устроилась телефонисткой. По ночам азбуку Морзе изучала. Справку о квалификации в военкомат принесла, меня взяли.

РАЯ. На шпионку ты похожа, рядовая Липовка!

САША. Рая, что за шутки у тебя?

РАЯ. Странная она… Мы вчера письма писали мамам, а она не стала писать… Почему? Ты, Липовка, к своим летишь? К немцам? Они тебя заждались?

САША. Прекрати, Рая! Извинись перед Валей!

РАЯ. Мы все должны быть уверены друг в друге, а в ней ты уверена?

САША. Как в самой себе!

РАЯ. А я — нет…

ВАЛЯ. «Папа», «мама»… Не помню, когда я такие слова говорила.

САША. Сирота?

ВАЛЯ. Мамы давно на свете нет. Папка — на Колыме, судили его. Мы с бабушкой жили, вдвоем.

САША. Ты не рассказывала, Валечка… Было за что твоего папку-то судить?

ВАЛЯ. Не знаю. Выпивал он. Однажды с соседом дядей Митей из-за Украины поссорился. Дядя Митя кричал, что там одни хохлы ленивые живут, а папка на всю деревню орал: «Украина — житница России»…

САША. Земля там жирная: палку в землю воткни, она корни пустит.

ВАЛЯ. Сначала соседа забрали. Никто не знал, за что. Потом его выпустили, а вместо него — папу. И все: пишите письма на Колыму.

САША. Ошибка это! Исправлять надо… Что ты сделала, чтобы папку своего вернуть?!

ВАЛЯ. Бабушка как дядю Митю увидит, плюет ему под ноги… А тут — война. Дядю Митю призвали. Похоронка на него пришла. Жена его, тетя Сима, стала по деревне ходить, нашу семью проклинать. Папка-то мой на Колыме прохлаждается, а муженек ее голову сложил за чужих детей. За меня. Своих детей у них не было. Стыдно мне стало… Я в часовенку Ксении Петербургской на Смоленском кладбище пришла, записочку оставила: «Милая Ксения, устрой так, чтобы меня на фронт взяли».

САША. Валечка, ты — наш человек…

РАЯ. Только про бога не надо больше, Валя…

ВАЛЯ. Кто за что держится, о том и говорит.

Помолчали, каждая о своем думая.

САША. А у меня любовь была. Встречались. И все у нас было, понимаете, все!

ВАЛЯ. Отчаянная ты, Сашка...

САША. Он женат был, просто так за ручку держаться, в кино с девушкой ходить он бы не стал. Ему надо было — все. Понимаете?

ВАЛЯ. Страшно мне за тебя...

САША. Вот и мама мне так говорила, в квартире запирала, не отпускала. Только я все равно сбегала к нему. Любила очень. Нас в июне сразу после сессии всем курсом отправили окопы копать под Красное село. В самые первые дни. Мама говорила, что это к лучшему, поможет мне выбить дурь из башки. Уставала я там страшно, а только про него еще больше думала. По ночам снился. Через месяц немцы подошли совсем близко. По нам не стреляли, только листовки раскидывали: «Русские бабочки, не ройте ваши ямочки. Придут наши таночки, зароют ваши ямочки». Крупными такими буквами... Эти наглые слова фашистских захватчиков полоснули меня, как ножом по сердцу. Сбежала оттуда, прибегаю домой на Васильевский, а мне мама письмо отдает. От него. Попрощался он, на фронт уходил. Я тоже решилась. Думала, одно из двух: или его встречу, или немцам докажу, что умею не только «ямочки» рыть, но и на фронте сражаться. Надежду на встречу с ним потеряла: мама написала — погиб он.

ВАЛЯ. Мы и не знали, что ты пережила...

РАЯ. Сильная ты, Саша...

САША. А ты, Рая, до войны где жила?

РАЯ. На углу Загородного и Звенигородской... У нас там во дворе булыжник... мы еще там коленки разбивали... как же это давно было... мама там и сейчас живет. В нашем дворе никого не было, в кого влюбиться можно. Подружка моя, Светка, в артиста Евгения Михайлова влюбилась. Мы с ней в музкомедию на «Черное домино» бегали. Чулки со стрелками надевали. Светка первая на телеграфистку пошла учиться. А я — через год, как девять классов закончила, тоже пошла — на телеграфистку... Георгия там встретила, он уже преподавателем был. Раньше-то, во Дворце пионеров, он меня и не замечал. А тут — на танцы пригласил, и только со мной танцевал. Руку мне на спину положит, у меня по всему телу — дрожь... Война началась, его призвали, и я сразу — в военкомат. Знала, что он где-то тут, рядом. На встречу надеялась... Вот встретилась сегодня, в эфире. В последний раз.

ВАЛЯ. Пока ты его любишь, он — с тобой. Любить — это счастье.

САША. А ты, Валя? Любишь?

ВАЛЯ. Никому не говорила... В монастырь я хотела уйти, к сестрам.

САША. Советская власть монастыри отменила.

ВАЛЯ. Один остался. Если б не война... Благословение в Коломягах получила, от отца Иоанна. Он похоронки на четырех сыновей получил, девочки. Но стоит твердо, молебны «в нашествие супостатов» служит. И о даровании победы нашему воинству и об избавлении томящихся во вражеской неволе. А еще он голодающим паек свой отдавал, а он у него — по иждивенческой карточке. Вот какая любовь в его сердце живет.

Рокот мотора усиливается.

САША. Фантазерка ты, Валя!

Появляется Надежда.

НАДЕЖДА. Рядовые Чурова, Соколова, Липовка! На посадку! Готовы? Чурова — первая! Один сигнал. Соколова — два сигнала. Липовка — три! *(Тихо).* С Богом, девочки…

Девушки садятся в самолет.

Самолет взлетает, девушки видят в иллюминаторы, как бойцы машут им шапками и что-то кричат.

САША. О чем думаете, девочки? Родные мои… Увидеться бы еще… хоть разок!

Загорается красная кнопка. Рая Чурова встает, исчезает.

Два сигнала красной кнопки — Саша Соколова встает, исчезает.

Три сигнала — Валя Липовка исчезает.

Появляется Хор пионеров.

СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ. Бейте с неба, самолеты! Музыка А. Александрова, слова С. Алымова.

ХОР ПИОНЕРОВ *(поет и танцует).*

Огнеметчик, краснофлотец,
Пулеметчик и сапер,
Красной Армией зовется
И дает врагу отпор.

Мы с любой бедою сладим,
Всех врагов развеем в дым.
Мы своей земли ни пяди
Никому не отдадим!

СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ. Немецкие коммунисты немедленно сделают у себя революцию. Поймают Гитлера и передадут его конармейцам. Наш прославленный красный маршал Буденный привяжет Гитлера к своему седлу и поскачет с ним в Москву. Там на Красной площади он спросит: «Что будем с этим Гитлером делать, товарищи? Может, повесим его?!» Советский народ единогласно поддержит это предложение. Гитлера немедленно повесят, а мы будем праздновать победу!

ХОР ПИОНЕРОВ. Ура-а!

Хор исчезает. Сигнал морзянки.

НАДЕЖДА. «Я — Заря. Квадрат Два Б.»… Рая Чурова…

Сигнал морзянки.

НАДЕЖДА. «Я — Воля. Квадрат Пять В.»… Валя Липовка.

Морзянка. В эфир врывается голос Саши Соколовой.

САША. «Я — Лава! Станция сворачивается! Прощайте!»

НАДЕЖДА. Сашка... Не имела права рассказывать тебе о твоем брате. В середине июня все германские суда исчезли из всех наших портов. Не выгружаясь, повернули домой, в Германию... Наши советские суда замолчали как один — не вышли из немецких портов! Мы все в нашем радиоцентре Балтийского морского пароходства испытывали страшную тревогу. И вдруг я приняла сообщение неизвестной радиостанции. Вначале — позывные «Сокол». И открытым текстом: «Нас задержали! Из порта не выпускают! Не посылайте других судов! Сокол, Сокол... В Наркоминдел Советского Союза. В немецких портах задержаны советские суда! Насилие! Протестуем!» По почерку работы на ключе и позывным «Сокол» догадалась: передавал радист парохода «Магнитогорск» Юрий Соколов, твой, Саша, брат. Сообщение Соколова приняли также на кораблях и радиоцентре Балтийского флота. Если бы вчера я доложила товарищу генералу о том, что твой брат, Юрий Соколов, в плену у немцев, ты бы осталась жива, Сашка! Тебя арестовали бы до выяснения всех обстоятельств. Но, когда свои, это можно пережить... Прости меня, Саша! Прощай...

В эфире — сигналы морзянки.

НАДЕЖДА. «Немедленно сбросьте в квадрат два Б. боеприпасы. Место выброски обозначим кострами. Время — три часа ночи.»

Сигналы морзянки.

НАДЕЖДА. «Необходимы медикаменты, есть тяжело раненые. Пришлите бинты, йод, спирт...»

Сигналы морзянки становятся все слабее. Тишина.

НАДЕЖДА (*в зал*). После войны я вернулась в свою коммуналку. К таким, как я, соседи относились плохо, думали — мы там за чужими мужьями гонялись, крохи женского счастья подбирали... Папы уже не было. Так и жила — одна, даже подругу не завела. Не могла пустые разговоры слышать, туфли-лодочки носить, завивку крутить. Перегорело во мне что-то, внутри. В радиоцентр не стала возвращаться — там мне все напоминало... а я хотела — забыть. Устроилась уборщицей, смотреть — под ноги, не думать ни о чем. Перед сном — водки... Иначе не заснуть. В мае шестьдесят пятого возобновили День Победы. Не знаете, для чего? А я — знаю! Чтобы они к нам могли приходить... Их надо встретить, как полагается! Я в этот день на работу не выхожу, жду их, готовлюсь... Вот они приходят, мы сидим за столом, радуемся, выпиваем, родные все, так нам хорошо... И я каждый раз верю, что так теперь будет всегда — мы вместе, за одним столом. Только утром, когда просыпаюсь, понимаю, что опять одна. Не знаю, что еще вам рассказать. Как это объяснить... Девчонок таких, какими они были тогда, не было и не будет больше никогда...

Появляется Хор пионеров.

СТАРОСТА ХОРА ПИОНЕРОВ. Две подруги. *Музыка Исаака Дунаевского, слова Ольги Фадеевой.*

ХОР ПИОНЕРОВ.

Присели на досуге
Погреться у костра
Две девушки-подруги:
Связистка и сестра.
Не раз девчата эти
Бывали под огнем,
Ходили в снег и ветер,
Под зноем и дождем.
А нынче на привале,
Присев у огонька,
Тихонько напевали
Про милого дружка,
Как будто на крылечке,
Весенним вечерком,
Иль где-нибудь на речке
С песчаным бережком.
А нам под песню эту
Припомнилось о том,
Что есть на свете где-то
Родной далекий дом…
Такие песни тоже
Там вечером звучат,
И девушки похожи
На этих двух девчат.
А завтра в путь суровый
В туманный час утра
Уйдут с бойцами снова
Связистка и сестра.
Две девушки родные,
Сумевшие в пути
И песенки простые,
И юность пронести.

Конец

Элеонора ТАТАРИНЦЕВА

БЫЛЬ

Старенького радио черную тарелочку
Топчут ноги мамины, а в глазах — печаль:
Разломать стараются на кусочки мелкие,
Чтобы вести страшные не могли звучать.

Но напрасно, мамочка, слушать не хотела ты.
Не спасло отчаянье дом наш от огня.
Что бы ты ни думала, что бы ты ни сделала,
Но война нагрянула к нам через три дня…

По дворам, по улицам дробь мотоциклетная,
Небо занавесили крылья вражьих «рам»,
В эту пору страшную, пору лихолетнюю
Цену жизни разную каждый выбрал сам.

По грибным и ягодным тропам неухоженным
Уходили взрослые вместе с детворой.
Под лесною крышею прячась настороженно,
Повели свой праведный партизанский бой.

Тех же, кто не спрятался, всех согнав старательно,
Заперли до времени в старенький сарай.
Выбрав службу черную, стал сосед карателем.
Я друзей не выдала, мама, так и знай!

Мне, похоже, выпало заживо сожженною
Лишь остаться в памяти тех, кто уцелел…
Только передумали души прокаженные —
Всем бежать от выстрелов офицер велел.

Мама, мама, мамочка, пули бьют веселые,
Кромка леса ближнего вот уже видна.
И лежат недвижимо вдоль тропы проселочной
Те, кого бессмысленно выбрала война…

Все же не упала я, все же не пропала я,
Все же добежала я до тебя тогда!
Мы в лесу попрятались — взрослые и малые.
Всех родными сделала общая беда.

Были годы долгими, были дни короткими,
Быт землянки временный, да простор небес.
Шли на нас с облавами по прямой наводке,
Но не стал предателем партизанский лес!

ТАТАРИНЦЕВА ЭЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВНА. Автор ряда сборников стихов и прозы. Член Союза российских писателей, Интернационального Союза писателей. Живет и работает в Астрахани.

Как тогда отчаянно мы в Победу верили,
Что могли, то делали, главное — смогли!
Все походы дерзкие только ею мерили,
Вместе с нашей Армией нелегко к ней шли.

Так уж вышло, мамочка, ты меня покинула,
Завещала жизнь мою мне самой беречь.
Много весен праздничных с той, победной, минуло,
Годы были разными — не стряхнешь их с плеч.

Но когда тюльпанами Май расцвечен яркими,
Взгляд утонет в пламени Вечного огня,
Нарисует Память мне лето наше жаркое
И такую юную, давнюю меня…

Алексей ОСТУДИН

СОЛДАТ

Не то чтобы отважен был и смел —
скучал у пионерского костра,
горланить песни громко не умел
и не любил, чуть что, орать «ура»,

и на войне, где все наперебой,
стал добровольцем он не сгоряча,
уже почти заканчивался бой,
когда рвануло с левого плеча,

зато упав, как скошенный, под дых,
родную землю так сумел обнять,
что сволочи не только у живых —
у мертвых не смогли ее отнять.

ВЕТЕРАН

Он про войну рассказывал так скупо,
ну а потом и вовсе замолчал,
мы вышли к морю, равномерно стукал
резиновый протектор о причал,

ОСТУДИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ родился в 1962 г. в Казани. Учился в Казанском государственном университете на филологическом факультете (1985–1990), окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького в Москве (1991–1993). Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Сетевая поэзия», «Смена», «Студенческий меридиан» и др. Автор восьми книг стихотворений. Лауреат премии им. М. Горького, Волошинской премии: «Лучшая книга года», Республиканской премии им. Г. Державина, Всероссийской премии им. П. Бажова. Живет в Казани.

гремела цепь, волна ползла несмело,
маяк ловил стрекоз над головой,
и фронтовик кивнул — за этой стелой,
фашист и обнаружил наш конвой,

а море расходилось и смыкалось,
нас ветер обволакивал, незрим,
молчал мой спутник, только показалось,
что сумерки сгущаются над ним,

погибшие друзья и командиры,
как скалы, надвигались позади,
и пролетали ласточки сквозь дыры
медалей с орденами на груди.

Борис КОЛЫМАГИН

* * *

На сугроб налетает, как нож.
Слово пьяное еле плетется.
«Ванька, сволочь!..» — «Ребята, хорош...».
У кафе — выходной — навернется.
«Ну, хорош!» — и в фуфайке один.
А другой — костыли не подмога.
— Сталинград... я за вас... сукин сын!
— Ладно, брось его, черта, Серега.
Кружки битые, бочка — до дна.
«Два по сто». И отправились к клубу.
Сосны им — тишина, глубина
Как солдаты гвардейскую службу.
А другой — костыли — «хулиган!» —
Продавщица. И тронулся к дому
Через Волгу. Деревня-капкан
Как старуха-жена — на подмогу.

* * *

Крыша-сугроб. Заплетается дым. За калитку
выйти, кряхтя, до колодца — скользит.
Ну-тка. И Жучка в ногах — постарела — прибытку
мало, а вот же, жмется, скулит.
Солнце на лето и снегу нападало — хватит
яблоням. Да, обещал в воскресенье Лука:
спилим сушину, на тракторе к дому подтащит.

КОЛЫМАГИН БОРИС. Поэт, публицист, один из участников самиздатского альманаха «Список действующих лиц» (1982). В 1989–1990 — сотрудник Журнала Московской патриархии. В 1991–1994 — редактор журнала «Сельская молодежь». Кандидат филологических наук. Живет в Москве.

Сын. Говорил, что подъедет, поможет тогда.
Дом пятистенный, косится, но прибрано, чисто…
Старый диван, фотографии в рамке в углу:
трое сынов, два — погибшие — в форме танкистов,
Марья Антонна, жена, подает угощенье к столу.
Ночью, ну что же, за семьдесят, возраст, не спится.
Раньше бывало с ребятами в лес далеко
выйдем чуть свет… ноги вот на… поясница…
Во поле чистом под месяцем — дуб широко.

Галина БОГАПЕКО

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

Неверность в вечности и вера —
        война и мир — зло и добро,
И черный цвет, и вечно белый, и черно-белое кино.
В «Шарашке», в Коптево, за пятачок,
        Под тентом, на скамейках жестких
        Кино — в нем сказочный сверчок
        Сегодня мчит по перекресткам,
В вечерней сени, деловой, разносит вести о войне —
О прошлой, вроде как чужой, которая сегодня вне,
        Вне современного оружья,
Вне стужи, времени, сознанья.
Война посланьем в кадрах кружит
        И рушит радость изначально.
Оцепененье, напряженье, холопы хлопают в ладоши.
Промокли старые галоши,
        Что возвратились из забвенья…

«БОТИНКИ ИЗ АМЕРИКИ»

В Год кино, в «Доме кино» — цикл встреч и фильмов —
«Кино и литература».
Это как повезет — счастливая классика или
фильтрованная халтура…
Нам зело повезло —
    Встреча с известной Светланой Василенко,
Будем смотреть кино:
    «Ботинки из Америки» — сцены, сценки…

БОГАПЕКО (КОЛОСЕНКО) ГАЛИНА ПЕТРОВНА родилась в Москве. Окончила ЛГПИ, филологический факультет. Публиковалась в журналах: «Смена», «Дети Ра», «Журнал ПОэтов», «Новая Немига», «Зинзивер», «Кольцо А», «Камертон», «Южное сияние» и др., в альманахах: «Муза», «Золотое руно», Российский колокол», «Эолова арфа» и др. Награждена: медалями: С. Я. Маршака, М. Ю. Лермонтова, медалью международной премии «Литературный Олимп», орденом «Золотая осень» им. С. А. Есенина, орденом «Светить всегда» В. В. Маяковского. Живет в Москве.

Старый Исаак Берг —
Единственный еврей, выживший в немецкой оккупации
— родни нет родней, да, родня в апогее,
На лунной орбите в других декорациях.
А здесь, на послевоенном витке,
В западно-белорусском городке
Старый Исаак Берг ждет Мессию в венке,
Которая оживит погибших от фашистского «аутодафе[1]»,
От фашистских расстрелов. Ждет — цыганка ему нагадала.
И пока с цыганкой Исаак живет —
Ждет Мессию, и новой жизни начало.
Декорации мирной жизни —
Окружение старается забыть о прошлом,
Романы вызрели, любовь — картошка…
Кажется, могут быть все счастливыми
немножко…

Из «Дома кино» —
На «Белорусскую» с Рахманиной Аллой
Шли молча, из другого
Непрошенного мира,
Из точки начала,
К терактам, к утратам, к бессилию…
Мы тоже живем в ожиданье Мессии…

[1] Аутодафе — в средние века: публичное сожжение еретиков, еретических сочинений по приговорам инквизиции.

ХОЛОКОСТ СЕМЬИ МИНИНЫХ

Каждый год в поминальный день папа возил меня в городок Рудня, что в Смоленской области, на могилу расстрелянных четырех Мининых, младшему из которых было два годика. Сначала за городом была братская могила, потом было перезахоронение, где каждый погибший получил место и мраморную плиту с указанием имени, года рождения и смерти. Год смерти у всех на этом кладбище был один — 21 октября 1941 год. Папа встречался с друзьями, с соседями — с теми, кто пережил немецкую оккупацию, расспрашивал их о своей семье и я, семилетний слушал и запоминал. Он собрал с друзьями деньги на памятник работы скульптора Ефима Кербеля, который стоит на окраине городка Рудни, где небольшое кладбище. Вот несколько трагических историй из моей детской памяти…

МУСЯ

Когда немецкий отряд собирал всех евреев городка Рудня, что под Смоленском для последующего расстрела, бабушка послала младшую дочку с какой-то просьбой к женщине, которая каждое утро приносила молоко, в соседнюю деревню в надежде, что молочница приютит девочку и та уцелеет.

Муся, прибежала и передала просьбу.

— Посиди, попей молочка, — спокойно сказала молочница.

Девочке пить не хотелось.

— А что там такой шум и крик? — спросила молочницу:

— Как что? Евреев расстреливают там, — спокойно ответила молочница.

— И моих папу с мамой расстреляют??

— И твоих, — спокойно сказала молочница.

— И я останусь одна?

— Да, куда деваться? Будешь сироткой, — спокойно сказала молочница.

— Нет, — ответила девочка, — не буду сироткой — и, развернувшись, побежала к родителям.

…

Когда папа вернулся с войны, молочница также спокойно рассказала этот диалог. Второй раз она пересказала этот рассказ при мне, семилетнем мальчишке. Я смотрел на ее лицо — на круглое с чуть выпуклыми

МИНИН ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ родился в 1949 г. в г. Невеле Псковской области. Поэт, пародист, организатор литературного процесса, издатель. Автор одиннадцати поэтических сборников и книги прозы. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Награжден медалями С. Я. Маршака и М. Ю. Лермонтова за вклад в российскую литературу. Председатель Международного союза писателей Иерусалима, член Союза писателей Москвы, член Союза писателей XXI века, член российского ПЕН-центра. Живет в Иерусалиме.

глазами — на нем не было никаких эмоций. Папа очень любил сестру. И рассказ о ней всегда слушал, затаив дыхание, словно слушал саму Мусю.

Но через год молочница умерла, и в соседнюю деревню больше мы не ездили.

...

АЛЬБОМ

Бабушке уже сказали, что по городку идет отряд фашистов, который собирал евреев для расстрела. Она побежала через черный ход к соседке:

— Маруся, спрячь, закопай два альбома в хлеву. Если Арончик вернется — отдашь ему!

— Не волнуйся, Фаня, схожу и закопаю.

Маруся взяла лопату и закопала альбомы, упакованные в холщовый мешок.

Бабушка услышала шум приближающейся толпы евреев, идущей по улице, и вернулась домой. В дом ворвались фашисты, выгнали пинками всю семью на улицу. Взять ничего не позволили, и семья бабушки и дедушки слилась с толпой идущих на расстрел за город...

...

Маруся, худая, невысокого роста женщина, седая, встретила нас хмуро.

— Теть Марусь, не оставили папа с мамой что-либо — записку, вещицу какую-то? — с зыбкой надеждой спросил папа.

— Альбомы какие-то Фаина давала мне, чтоб закопала. Чтоб тебе передать, коли живой вернешься с войны.

— Так где они? — оживился папа. — Я сам выкопаю. Ой, спасибочки, теть Марусь!

— Да нет их там, — мрачно ответила Маруся. — Сожгла я их. Выкопала и сожгла. Не то немцы нашли б — расстреляли бы всех.

— Так это ж альбомы, бумага, кто смотреть будет...

— Нашли б — расстреляли бы, нашли б — расстреляли бы, — как робот, бубнила Маруся.

Папа взял меня за руку и пошел. Я видел: он шел и плакал — ничего не осталось от его семьи — даже маленького альбома.

ПРЕДАТЕЛЬ

После войны семьи расстрелянных под Рудней родственников искали предателя. Начальника полиции города, подонка по фамилии Коротченков. Того самого, который водил свой и немецкий отряды по городку и показывал дома, где жили евреи. Искали по всей России, по всем адресным столам. Но предатель как в воду канул.

Жизнь шла своим чередом. Отец и еще кто-то организовали сбор денег на памятник, который заказали у известного смоленского скульптора Ефима Кербеля. Горсовет выделил место для перезахоронения. На вскрытие братской могилы в противотанковом рву собралось множество родных расстрелянных для опознания погибших. Меня папа не взял. Но он рассказал, что, когда вскрыли могилу, сверху увидели труп начальника полиции Коротченкова, которого расстреляли последним. Предателя опознали по кожаной куртке, которую он всегда любил носить. У одного из присутствующих не выдержали нервы: он схватил за куртку полураз-

ложившийся труп полицая и стал трясти и что-то кричать. Его успокоили, а потом судмедэксперты приступили к работе.

P.S. Наверное, многих интересует: а почему эсэсовцы расстреляли начальника полиции? Причины самые банальные: за воровство. За мзду он обещал некоторым семьям, что он спасет их от смерти, хотя точно знал, что предъявить претензии к нему будет некому. Но кто-то из подручных донес, что их начальник скрыл ценности, награбленные у евреев.

После расстрела всех евреев командир эсэсовского отряда вызвал из строя начальника полиции, ударил его кулаком в лицо и в упор застрелил из пистолета. Перепуганных рядовых полицаев, которые считали, что наступил их черед, заставили разложить труп своего начальника на телах убитых евреев. Потом фашисты произвели обыск у расстрелянного предателя и забрали все награбленное. Собаке — собачья смерть.

Борис СКОТНЕВСКИЙ

РУССКАЯ СКАЗКА

Жили-были старик со старухой…
Нет, не так! — молодец с молодухой.
Бедно жили, богато ли жили —
Все ж подолгу они не тужили.

Народилось у них два сыночка,
Да еще раскрасавица дочка.
И пригожестью, и по уму
Вышли детки один к одному.

Тут и жить бы да горя не знать бы,
Да готовить веселые свадьбы,
Но война подступила к стране…
И сыны полегли на войне

Оба разом. А следом за ними
Дочь в военном растаяла дыме…
Дед пожил еще год или два…
А старуха поныне жива.

В ее комнатке однооконной
Тишина нерушима до звона,
И стоят не рожденные внуки
Вечным звоном в ушах у старухи.

Виктор СТРЕЛЕЦ

ПОМИНАЛЬНОЕ

…Как в пьесе: все те же, кроме…
Спасибо, батяня, милый,
за гены да хромосомы,
за убийственную фамилию…

Спасибо за скорбный праздник,
за разгоряченные уши.
За первое — борщ украинский,
за второе из «ножек Буша».

СКОТНЕВСКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ родился в 1953 г. в г. Куйбышев (ныне Самара). Окончил Куйбышевский медицинский институт. Член Правления Союза российских писателей, Председатель правления ОТО г. о. Тольятти «Тольяттинская писательская организация». Автор двенадцати книг стихотворений, в том числе книги «Избранное» (2019). Живет в Тольятти.

СТРЕЛЕЦ ВИКТОР ИВАНОВИЧ родился в 1949 г. в с. Палауз Сысольского р-на Коми АССР. Член Союза российских писателей. Автор пяти поэтический книг: «Чаша терпения», «Час пик» (в серии «Библиотека журнала «Город»), «Алиби», «Молчание камня», «Вольный перевод с соловьиного» (2020). Живет в Тольятти.

За занятость населения
вот этих мужчин с похмелья,
под яблоней «Семиренко»
курящих и ждущих смены.

Сделали бессребреника
Чубайсы да Гайдары.
Все в мире уравновешивается:
памятник-то халявный[1]!

Орут петухи классически
и музыка в стиле «техно».
Сейчас не в вине истина,
а в водке «паленой» этой.

В этих, рыдающих ржавчиной
в углу, молотках, ножовках…
Тени, мною отбрасываемой,
так на тебя похожей…

Александр ФАНФОРА

НЕОКОНЧЕННЫЙ ТРИПТИХ

1.

Живым участникам парада
Какие почести нужны?
Зарыт в окопах Сталинграда
Неукротимый дух войны.
Живое солнце мерно светит,
Ласкает шрамы старых ран.
В каникулы приходят дети
Гурьбой на праздничный курган.
С мечом, над павшими воздетым,
Отчизны полый монолит
Наполнен воздухом и светом
Величия прошедших битв.
Зарытый дух не шелохнется.
Его торжественно хранят
Живой солдат, живое солнце
На фоне вечного огня.

2005

[1] Участникам ВОВ военкомат ставит памятники безвозмездно.

ФАНФОРА АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ родился в 1966 г. в селе Черевковское Донецкой обл. Окончил Тольяттинский автомеханический техникум, Самарский государственный университет. Член Союза российских писателей. Автор четырех поэтических книг «Соответствия», «В лесу родилась…» (обе в серии «Библиотека журнала «Город»), «Случайные стихи» и «Выбирая пути». Живет в Тольятти.

2.
Я мыслил так, — я ошибался.
Из бездны черной глубины
Сочился он, распространялся
Несокрушенный дух войны.
Манил соблазном человека,
Нашептывал: ты сир и мал…
Не сразу, исподволь, полвека.
И вот, как будто рассчитал,
Как сделать солнце черным диском,
Убей-машинами солдат:
Повергнуть наши обелиски,
Исторгнуть суть из красных дат.
И нас купить и кинуть разом
На дно до самой глубины…
Народ! Твой коллективный разум,
Твои курганы снесены?!

2020

3.
……

Олег БЕРЕЗИН

РУССКАЯ ПАМЯТЬ

Забор из слез.
За ним — война.
За ним — страдания и муки.
Венки сплелись вокруг берез…
Как много русских полегло
по злой вине фашистской суки.
За тем забором горьких слез
нас больше всех…
И вечный грех
на этой суке.

БЕРЕЗИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1963 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Учился в художественно-промышленном училище им. В. Мухиной. Окончил механико-технологический и книготорговый техникумы. Член Союза российских писателей. Президент Творческого Союза художников «Соляpис». Автор многих стихов и поэм, в том числе большого сборника «Тропинки» (2020). Живет в Тольятти.

I
Прошла,
окончена
    война,
Но остается много боли…
Сейчас другие времена,
Антигерои и герои.
Былая рана зажила,
Но никуда не делись шрамы
            они болят почти всегда,
Когда припомню страхи мамы
И деда своего глаза.

II
Дед воевал,
Имел раненья и награды.
Ребенком мама в оккупации была…
Дед умер много лет назад,
Недавно мама умерла,
Но и до старости она
Сжималась в кроху
Малого дитя,
Услышав мерзкое «зиг хайль».
Всю жизнь ее пугал
            немецкий лай…
Я — не забуду!

ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...

Этот рассказ — не документальное повествование, но основан на рассказах моего отца. Многое взято из его биографии, но не все. Диалоги и некоторые детали придуманы мной. Но это ничего не меняет в общей картине событий... Нижайший мой поклон ветеранам и вечная память участникам и жертвам великой и проклятой Второй мировой войны, раскрывшей в людях не только высочайшую степень героизма и самопожертвования, но и неизмеримые глубины подлости, низости и коварства. А ведь об этой второй составляющей мы как-то всегда стыдливо умалчиваем...

Последние ночи Гирш не спал. Или все же спал — точно он этого не помнил, потому что вокруг него стояла необычная тишина. Никаких звуков не было. Даже привычного перешептывания соседей по нарам, кашля и стона больных. Или он этого просто не слышал из-за слабости.

Правда, где-то на второй или третий день он попросил соседа справа принести попить, и тот, кряхтя и тихо матерясь, отбросил тряпье, которым накрывался, и принес ему кружку ледяной воды из бочки, стоявшей у входа. Не открывая глаз, Гирш проглотил пару глотков, и его стало тошнить. Но он сдержал тошноту и снова провалился в привычную полуявь-полусон.

А на третий день двери барака распахнулись, и внутрь хлынул свет и чистый холодный воздух.

— Живые есть? — весело спросил чей-то незнакомый голос по-русски.

В их бараке по-русски никто не разговаривал, потому что здесь находились только польские и венгерские евреи. Бараки с русскими военнопленными находились в другом конце лагеря, где Гирш никогда не был. Огромную территорию занимал Аушвиц, и никто даже не знал, какую.

— Если есть живые, выходите, — продолжал тот же голос, но уже не так весело, — все, братцы, вы теперь свободны. Конец войне...

Гирш оторвал голову от досок и попробовал выглянуть в проход, откуда доносился голос, но сил не было, и он снова закрыл глаза.

— Поднимайся, — толкнул его сосед, — нас русские освободили. Наконец-то...

Гирш открыл глаза и повернул голову к соседу:

— Ты кто? Раньше тебя тут не было...

— Умер твой прежний сосед, вот я и занял его место.

АЛЬТМАРК ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ родился в 1953 г. в г. Брянск. После Института транспортного машиностроения работал инженером, учителем, журналистом. После окончания Литературного института им. А. М. Горького в 1995 г. репатриировался в Израиль. Публикации в журналах «Юность», «Дружба народов», «Нева», «Литературный Иерусалим» и других. Автор одиннадцати поэтических сборников и двадцати одной книги прозы (включая переводы и переиздания). Сотрудничает с рядом израильских, немецких издательств, а также с российскими — «Алетейя», «Лимбус-пресс», «Геликон-Плюс» (все Санкт-Петербург), ЭКСМО (Москва) и др. Член Союза писателей Израиля. Живет в г. Беер-Шеве.

Ни о чем раздумывать сейчас не хотелось, и даже известие о долгожданном освобождении, о котором все последние месяцы перешептывались в бараке, и избавление от неминуемой смерти в лагерном крематории почему-то не радовали Гирша. Больше всего ему хотелось просто лежать с закрытыми глазами в сладком забытье, где нет ни немцев, ни пронизывающего холода, ни жидкой баланды, ни надоедливых соседей по нарам, одни из которых умирали, и их места занимали другие. Лежать бы так бесконечно, пока… А что будет потом, Гирша уже не беспокоило.

— Давай, помогу тебе встать, а то ты ослаб сильно…

Гирш почувствовал, как его сосед выталкивает свое большое тело из их закутка, спускается на пол и одергивает свою одежду. Потом цепкие руки подхватили его под мышки и потащили наружу.

— Оставь меня, я спать хочу, — протянул Гирш.

— Вот вернешься к себе домой, там и отоспишься. — Сосед хохотнул и прибавил. — Теперь мы свободные люди. Хотим — спим, хотим… не спим.

Стоять Гирш не мог — не было сил, поэтому сосед подхватил его почти невесомое тело под мышки и поволок к выходу.

У поваленного забора с колючей проволокой стояла солдатская полевая кухня, и солдат огромной поварешкой разливал в миски дымящуюся серую бурду. К нему тянулась длинная очередь лагерников, и многие стоять не могли, а прислонялись к стене барака. Некоторые бессильно сидели на земле и ждали своей очереди. Трое солдат, закинув автоматы за плечо, таскали в дальние бараки по нескольку полных мисок. Видно, там люди совсем ослабели и не могли выйти наружу.

— Ты присядь и подожди, — сказал сосед, — а я постою в очереди, возьму тебе и себе. А пока вот на, возьми, подкрепись. Да другим не показывай — отнимут…

Он протянул Гиршу тряпицу, в которую был завернут кусок черного сухаря. Гирш послушно сунул его в рот и принялся сосать. Жевать сил не было.

Когда сосед вернулся с полными мисками, он уже дремал. И только когда его губы раздвинула ложка с обжигающей сладковатой жижей, очнулся и стал жадно пить эту жижу.

— Не торопись, этого у тебя никто не отнимет, — усмехнулся сосед, — теперь уже не будем голодать.

После еды Гиршу стало легче. Он открыл глаза и огляделся. Многие, как и он, не могли держаться на ногах и сидели, привалившись к стенам бараков. Кто-то лежал, а некоторые из тех, кто был посильнее, пробовали получить у солдата с поварешкой добавку.

— Не велели мне, братцы, — отмахивался он них солдат, — мне не жалко, но вам же хуже будет! Нельзя с голодухи переедать. Через пару часов новую кухню подвезут с горячей кашей, тогда снова покушаете. А сейчас нельзя. Потерпите, родные…

На дорожке за забором с колючей проволокой показался армейский джип, который аккуратно объехал поваленные столбы и, наконец, остановился напротив их барака. Молоденький лейтенант в надвинутой на глаза фуражке вытащил жестяной рупор и тонким срывающимся голосом закричал:

— Товарищи, вы теперь свободны и скоро сможете вернуться домой, к своим семьям. Но перед этим необходимо пройти некоторые формальности. Завтра с утра к вам приедут врачи и осмотрят вас, затем с вами побеседуют наши представители, и только после этого можно будет покинуть это… э-э, место пребывания. — Он запнулся, но поправил фуражку и продолжал: — А сейчас просьба разойтись по своим баракам. Покидать

территорию лагеря пока никому не разрешается. Вечером, в шесть часов, будет еще один прием пищи. Попрошу соблюдать порядок. Во избежание инцидентов нами выставлена охрана, так что пытаться самовольно уходить я вам не советую…

Сосед Гирша, сидевший рядом с ним на корточках, недовольно пошевелился и проворчал:

— Ну вот! Немцев прогнали, а своих вертухаев поставили. Какое же это освобождение?!

— Он же сказал, что это на день-два, пока врачи нас осмотрят, потом наверняка какие-нибудь документы выправят, — почему-то стал заступаться за лейтенанта Гирш, — да и покормят…

— Не нравится мне это, — не успокаивался сосед, — было бы правильней, если бы распахнули ворота, и иди себе на все четыре стороны. Так ведь нет, что-то крутят они.

— Поживем — увидим…

Однако через день или два их так и не отпустили. Правда, кормили: трижды в день привозили кашу, картофельную похлебку и хлеб, что позволило окрепнуть и встать на ноги. Приезжали обещанные врачи, которые осматривали людей, а тех, кто нуждался в срочной помощи, увозили в госпитали. Потом появились армейские особисты, которые дотошно выпытывали у каждого лагерника, кем он был раньше, где жил до войны, в каких частях воевал и как попал в Аушвиц.

Гирш спокойно отвечал на вопросы, потому что скрывать ему было нечего. Да, он жил до войны в маленьком местечке под Белостоком, с наступлением немцев вместе с семьей бежал в Белоруссию; там же его и призвали в армию, не успев этого сделать раньше, а родителей и младшую сестру отправили куда-то на восток — куда, он не знает. А его и двух братьев забрали в армию. В первом же бою его саперный батальон попал в окружение и был разбит. Он попробовал пробраться к своим, но попал в плен, откуда бежал, опять был захвачен, и тогда его отправили уже сюда, в этот проклятый лагерь смерти.

Единственный вопрос особиста немного удивил Гирша: как он, еврей, сумел избежать немедленного расстрела у немцев? Ведь немцы сразу отсеивали из общей массы коммунистов, политработников и евреев. Гирш пробовал объяснить, что количество пленных было такое, что немцы даже не успевали оглядеть каждого, но выборочно все же проверяли. И он видел эти проверки, когда людей выводили из строя и расстреливали на глазах у всех. Один раз его пропустили, другой раз очередь до него не дошла, а потом их и вовсе погнали на станцию — какую, он не знает, погрузили в товарные вагоны и привезли сюда. А здесь уже евреев не расстреливали, а гоняли на работу.

На последний вопрос «как вы сумели выжить, когда столько ваших соплеменников здесь погибли?», он ответить не смог, лишь неопределенно пожал плечами. И в самом деле, как объяснишь, что чувство острой опасности до того, как он попал в плен, как-то незаметно сменилось равнодушием к своей судьбе, а бесконечные усталость и голод затушевали вообще все человеческое, что в нем было. Да и не один он такой был, потому что подлость, обман и предательство, которые он люто ненавидел прежде, стали в бараке нормой жизни, вернее, выживания, и уже не вызывали такого резкого неприятия, как до войны. Офицер, похоже, выслушивать его совершенно не собирался, словно и без того знал всю подноготную Гирша…

Потом он вызывал его к себе еще дважды и задавал почти те же вопросы, что и в первый раз. Видно, проверял, потому что, как теперь становилось ясно, не особо доверял Гиршу и остальным его собратьям по лагерю.

— А у тебя как? — спрашивал Гирш своего соседа, когда возвращался в барак после допроса.

— Я у него пока не был, — отмахивался тот. — Да я к нему и не рвусь. Небось, все вы думаете, что вас раньше других отсюда отпустят, если с ним побеседуете? Ничего подобного…

Такое нежелание поскорее закончить все формальности Гирша удивляло. А больше всего удивляло то, что сосед, весьма неохотно признавшийся, что зовут его Михаилом, почти ничего не рассказывал о себе, зато постоянно, как дотошный особист, выспрашивал у Гирша о том, откуда он родом, где служил и как попал в плен.

— Тебе-то это зачем? — как-то не выдержал Гирш.

— Ну как… — замялся Михаил. — После возвращения домой, может, встретимся. Вот, например, возьму и в гости к тебе приеду.

— Куда? — тоскливо спрашивал Гирш и сразу грустнел, потому что понятия не имел, где сейчас его семья и где он будет жить после возвращения.

Постепенно их барак пустел. Один, а то и два раза в день к ним заходил офицер со списком и вызывал людей по именам. Остающиеся выходили на улицу и с завистью наблюдали, как отъезжающие счастливчики лезут в кузов грузовика и исчезают за воротами лагеря, который до сих пор охранялся, но уже не немцами, а русскими.

— Что они резину тянут? — удивлялся Гирш. — Погрузили бы всех и отвезли на станцию. А там мы как-нибудь уже сами добирались бы до дома.

— А где сегодня твой дом? — грустно усмехался Михаил. — Может, его уже и нет…

— Что ты предлагаешь? Тут оставаться?

— Давай вместе держаться. Так легче будет, раз уж мы столько времени продержались.

Последние его слова Гирша удивили, но он ничего не ответил. И в самом деле, Михаил появился рядом с ним только в последние дни, а раньше его не было. Но говорить об этом Гирш не стал. Чего доброго, Михаил обидится и бросит его, а одному оставаться не хотелось. Вдвоем все-таки он чувствовал себя уверенней.

Наконец, очередь исповедоваться перед особистом дошла и до Михаила.

— Слушай, — шепнул он Гиршу, — когда меня вызовут, я скажу им, что мы с тобой земляки и воевали вместе. Вместе в плен попали, и все время держались друг друга…

— Зачем тебе это? — удивился Гирш. — Не хочешь рассказывать о себе правду?

— Какая им разница? Начнут тянуть время со своими проверками. А так — вызовут тебя еще разок, ты подтвердишь мои слова, и все в порядке. Домой раньше отпустят.

Слова приятеля озадачили Гирша, но ничего говорить он не стал. Вероятно, тот более трезво оценивал ситуацию и был по-своему прав. Что ж, нужно сказать — значит, Гирш скажет. Хотя странно все это — придумывать то, чего не было.

Еще пару дней бывших заключенных вывозили грузовиками с крытым верхом из лагеря. Однако до Гирша и Михаила очередь все не доходила.

— Что они тянут? — ворчал Михаил. — Небось, все проверяют и проверяют. Когда же им надоест?

— Смотри, я заметил, что в первую очередь вывозят тех, кто в Красной Армии был рядовым, — предположил Гирш, — а офицеров пока не трогают. Я же тебе рассказывал, что был младшим лейтенантом запаса. Просто

призвать не успели, потому что я жил в Белостоке. А призвали, когда я уже в Белоруссии оказался. И у особиста это записано. А ты кем был?

— А я был рядовым. И служил в твоей роте, — усмехнулся Михаил, — ты, надеюсь, помнишь?

— Я не ротой командовал, а был заместителем командира саперного батальона.

— Ну да, как это я забыл? Теперь запомню.

Что-то в речах Михаила было неприятное, а что, Гирш понять не мог.

Наконец, его снова вызвали на беседу.

На сей раз с ним разговаривал не один пожилой капитан, как это было раньше, а целых трое офицеров, да еще у дверей стояло двое солдат с винтовками.

— Присаживайтесь, — сразу без приветствия сказал моложавый подполковник с кругами под глазами, вероятно, от недосыпания, — разговор будет долгий, и еще неизвестно, чем он закончится.

Гирш недоуменно пожал плечами и присел на низкую табуретку посреди комнаты.

— Итак, расскажите снова о себе. Как вы выходили из окружения, кто был с вами, как попали к немцам. Короче, все очень подробно, и постарайтесь ничего не упустить.

Странно было, ведь он уже рассказывал обо всем несколько дней назад, и это тщательно записывалось армейским писарем: теперь же его слушали трое, но чувствовалось, что слушают невнимательно, однако, когда он стал рассказывать о своем пленении, тройка оживилась.

— Как звали немецкого офицера, который беседовал с вами, и какое у него армейское звание?

— Откуда я знаю! Со мной лично никто не беседовал. Все мы в общем строю стояли. Наоборот, я даже уклонялся от личных бесед, потому что немцы сразу поняли бы, что я еврей, и расстреляли бы.

— Но вас же не расстреляли, как многих остальных? А выискивали евреев, насколько мы знаем, довольно тщательно, — подполковник невольно хмыкнул, — даже штаны кое-кому снимали, чтобы проверить, есть ли обрезание. Было такое?

— Было, — насупился Гирш, — только нашего брата, военнопленного, скопилось столько, что не успевали со всех штаны снимать. Когда темнело, сразу в котлован сгоняли гуртом, даже не пересчитав, чтобы не разбежались, а тем временем новых подгоняли и к нам спускали. Утром все начинали заново. Кому не повезло, тех сразу, не отводя далеко, расстреливали…

— Значит, вам повезло, я правильно понял? А потом перегоняли, не пересчитав и не проверив, за много километров, и вы прошли несколько таких пунктов? Как же вам все это время удавалось скрываться?

Гирш помотал головой и вдруг разозлился:

— А вы на внешность мою посмотрите: я белобрысый, глаза серые — сильно похож на еврея? А немцы штаны снимали с тех, у кого внешность подходящая. Сюда и кавказцы-мусульмане попадали, за евреев их принимали. Как они ни кричали, что не евреи, все равно расстреливали.

— А вам, еврею, значит, повезло, — настойчиво повторил подполковник, — очень интересно…

Он медленно встал из-за стола, обошел вокруг сидящего на табуретке Гирша, потом вытащил из пачки, лежащей на стопке бумаг, папиросу и неспешно прикурил.

— Что вы от меня хотите? — спросил Гирш, успокаиваясь. — Об этом вам могут многие рассказать. Здесь почти все попали в плен так же, как и я.

— Все, да не все. Ведь вы же были советским офицером? А офицеров сразу отделяли от солдат. Почему же вы оказались не с ними, а вместе с солдатами?

— Как мы только попали в плен, я сразу понял, что меня ничего хорошего здесь не ждет. Поэтому снял солдатскую гимнастерку с убитого и надел на себя. А свою офицерскую выбросил. И документы тоже.

— Схитрили, значит... И никто из ваших подчиненных этого не видел?

— Видели, наверное, но кому надо об этом немцам рассказывать? Так многие офицеры поступали.

— А ваш напарник Михаил это видел?

— Наверное, видел.

— А вот он нам сказал, что нет.

— Ну, наверное, в тот момент, когда я переодевался, его не было рядом... Но, извините, какая разница? Зачем вы об этом спрашиваете? Разве это важно сегодня?

— Что важно, а что не очень, решаю я! — отрубил подполковник и с силой раздавил окурок о край стола. — Я задаю вопросы, а вы отвечайте. Итак, когда вы впервые встретились с немецкими офицерами, которые завербовали вас? Нам нужны их имена и звания. Отвечайте прямо, не юлите.

— Да вы что, с ума сошли? — опешил Гирш. — Какие офицеры? Какая вербовка?! Кто вам такую чушь наговорил?!

— Ваш приятель. Говорит, что был свидетелем разговора и даже запомнил имя офицера.

— Да какой он мне приятель! И не служил он со мной, а попросил соврать вам, чтобы меньше выяснений было...

— Слушай... как тебя там по-русски... Григорий! Тебе самому-то не смешно то, что ты сейчас мне лепишь? Хочешь перевалить свою вину в измене родине на кого-то другого? Того, кто тебя спас от голодной смерти и потом вывел на чистую воду?

— Но это же неправда! Все, что он сказал, неправда! Почему вы поверили ему, а мне не верите?!

— А мы и тебе верили, только ты не хочешь правду рассказывать! Как верить повторно, если ты солгал уже один раз?.. А теперь вдруг выясняется, что вы не знакомы. Кто же он тогда?

— Не знаю! Он со мной не служил. У него спросите...

— Спросим, не сомневайся. Если и он нам врет, то встанет у одной стенки с тобой... «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» Знаешь, кто это сказал?

— Кто?

— Козьма Прутков.

— Вы шутите?

— Да уж какие тут шутки...

Подполковник сел на свой стул, подписал бумагу и кивнул своим молчаливым коллегам:

— У вас, товарищи офицеры, возражений не будет? Если нет, то можно его забирать. — И потом солдатам у дверей. — Выводите его и сажайте в машину. Пускай с ним дальше разбираются те, кому положено...

По приговору тройки Гирш получил десять лет лагерей и чудом остался жив в воркутинских шахтах, а потом на прокладке железнодорожной ветки Воркута–Хальмер-Ю. Как ни странно, но спасла его полученная перед самой войной специальность экономиста. Благодаря ей он трудился учетчиком и не находился весь день на морозе, где погибло много его

товарищей по новому лагерю, осужденных за измену родине на длительные сроки.

Как сложилась жизнь его напарника Михаила, даже фамилии которого он так и не узнал, навсегда осталось для Гирша тайной. Да он и не хотел ничего знать о нем. Этот человек, оклеветавший его, чтобы спасти собственную подлую душонку, был ему больше не интересен. Наверняка за ним числились какие-то грешки в Аушвице, вот он и скрывал свое имя.

Да и что он сказал бы этому Михаилу, если бы встретил после войны и после лагерей?

И только в середине шестидесятых годов Гирша неожиданно вызывали в райвоенкомат и сообщили, что он реабилитирован.

— Значит, с меня снято обвинение в измене родине? — спросил он.

— Нет, — ответили ему, — вас реабилитировали. Вам понятно, что это такое? Вас только простили…

Каждый День Победы, когда все вокруг радовались и славили советского солдата, защитившего мир от коричневой чумы, Гирш становился печальным и неразговорчивым. Радоваться со всеми он почему-то не мог. До самой своей кончины он так и не определился, праздник ли это или день, перечеркнувший всю его судьбу.

А иногда он даже завидовал своим родственникам, погибшим в самом начале войны в белорусском гетто. Они-то отмучились сразу и не гнили заживо долгие десять лет в страшных северных лагерях — достойных продолжениях ненавистного и не забытого Аушвица.

ДОКТОР ЙОЗЕФ

— Доктор Йозеф, залейте, пожалуйста, солнце.
Солнце черное, злое в глазах моих бьется,
Спрыгнув с кончика Вашей блестящей иглы.
Вы сказали: «Укол — и ты станешь арийцем,
Называть тебя будут по-новому — Фрицем,
Ты уедешь отсюда, из лагерной мглы,
В чудный город, как в сказку, где небо в алмазах,
И детишки упитанны, голубоглазы —
В мир, где море, и люди не знают войны».
В правом… В левом… — Поймайте страданье пинцетом,
За буйки его, прочь. Этот город — не гетто?
В этом городе — МАМА? Мы встретимся с ней?
«Пляж» бетонный: бордюры, решетки, бараки…
В детской мертвой ладошке — обрывок бумаги,
Фантик, — Менгеле добрый, он дал шоколад.
«Морфология рас». Жертва новой науки
Будет брошена в печь. — Фройлен, вымойте руки,
Картотеку сюда — мне в Берлин на доклад!
За окошком фонарь тихо плачет в тумане.
Тени, тени застыли, как йоги в нирване —
С именами листок: кто еще, кто уже…
Доктор Йозеф сбежит от петли — затаится,
Но утонет по пьянке в бразильской водице.
Вечно пить слезы жертв непрощенной душе*.

* * *

Собиралось по малину войско витязей босых
Рвать кольчужки в хвост и гриву в колких зарослях густых,
Наглотаться ягод споро, измазюкав соком рот,
Подивиться в щель забора на соседский огород.
Там спускались веки вия — ветки груши — до земли,
И слезины пребольшие в мягкий войлок трав текли.
Бусы в россыпи сапфиров оплетали шеи слив,
По ноздрям лупил задира — белый яблочный налив.
Умыкнуть богатство просто: щель раздвинь да полезай,
Но слышна Кащея поступь — это Фролка-полицай,
Отсидевший в клетке ворон, между грядок целит шаг —
Детворы заклятый ворог, взрослым тоже лютый враг.

* По собственному почину Йозеф Менгеле, в юности увлекшийся расовой теорией, делал сотням узников инъекции голубого красителя в зрачок, превращая в «истинного арийца», — крайне болезненные и часто приводящие к летальному исходу.

МОЛЧАНОВ ВИТАЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ родился в 1967 г. Поэт, председатель Оренбургского регионального отделения «Союза российских писателей», директор Областного Дома литераторов им. С. Т. Аксакова. Лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий. Живет в Оренбурге.

Не на груши-скороспелки мы сбежались посмотреть,
Им в сезон цена — копейки, а на сеявшего смерть
Перебежчика-иуду с ощетиненным лицом…
Обещал отцу — не буду говорить я с подлецом.
«По малину» — только повод — наш мальчишеский обман.
Войско витязей толково составляет дерзкий план
Учинить разор злодею — продолжение войны:
Потоптаться по порею, продырявить кавуны.
За порог не кажет носа недобиток двадцать лет —
Мужу-гаду жинка носит пачки скверных сигарет:
— Вин такой-сякой, а жалко, вновь приймала дурака…
… А Десна катает гальку, пережившую века.

ЗОРЬКА

— Зорька, жить бы да жить, не тужа,
Пить росу луговую с восходом…
В топкой памяти тонет душа
Рядового, не знавшего брода.
Лошадиная жизнь — не пустяк,
На войне бьются люди и кони.
— Зорька, Зоренька, рядом приляг,
Бок твой теплый согреет ладони.
Помнишь, как жеребенком смешным
Вслед за мамкой неслась по проселку?
…Над болотом по-прежнему дым
Застит гать, как зимою поземка.
Мрак сплошной — не увидишь ни зги.
Только Зоренька пятнышком рыжим
От контузии лечит мозги,
И былое становится ближе:
Пулемета прерывистый стук,
Нарастающий грохот бомбежки.
— Выручай же, каурая, вдруг
Смерть обгонят уставшие ножки!
В пристяжных то тяни, то вези.
Отступая, кормили поплоше…
Был он вынут из вязкой грязи,
И оставлена мертвая лошадь.
Сберегла, заслонив от войны
Исхудавшим, израненным телом.
Отражение ржавой луны
Ряска с тиной впитали несмело.
Жизнь — к закату, война далека.
Тонешь в памяти топкой и горькой,
Но внезапно коснется рука
Бока лошади: «Зоренька, Зорька».

ПОСЛЕПОБЕДНОЕ

Камни точит вода — ну, а время
Точит слабые наши тела.
Бьет война по людским поколеньям,
Как прибойная злая волна

Увлекает с разгона песчинки
Человеческих судеб на дно.
Хроник старых скупые картинки
Не увидишь сегодня в кино,
Не услышишь военные песни
На пластинках и лентах кассет.
Только в мае, девятого, «Вести»
Сообщат про Парады Побед
На осколках Великой державы —
Самой лучшей разбитой страны.
Троекратно солдатское: «Слава!»
Прогремит и закроются рты.
А потом все пойдет как по нотам:
Фронтовые нальются сто грамм,
Котелки с кашей вынесет кто-то
(От щедрот своих спонсор украл
На пайки ветеранам копейки
И торжественно в дар преподнес).
Дифирамбы с трибун, как из лейки,
Потекут на остатки волос,
Дальше спустятся к сморщенным шеям
И по спинам — в брусчатку, на пыль…
Кто б поверил сейчас лиходеям,
Сотворившим ужасную быль,
Разбазарившим недра и воды,
Все богатства родимой земли,
За которую эти уроды
Никогда б воевать не пошли?
Камни точит вода — ну, а душу
Червоточиной гложет вина:
«Старики, перед вами я трушу:
Мной проиграна ваша война…».

Полина ОРЫНЯНСКАЯ

ЖИТЬ — ЭТО ПРОСТО

Жить — это просто. Дорога. Дом.
Теплые доски пола.
Старая булочная за углом.
В паре кварталов школа.
Няня наварит кислые щи,
Молча глядит куда-то.

ОРЫНЯНСКАЯ ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА родилась и живет в подмосковной Балашихе. Окончила журфак МГУ. Работает в издательском доме «Бауэр Медиа», главный редактор журналов исторической и научно-популярной серии «Ступени», «Секреты и архивы», «Все загадки мира», «Архивы XX века». Автор поэтических сборников «Придумай мне имя» (2016), «Цвет люпина» (2017). Победитель Открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии — 2019 и Кубка мира по русской поэзии — 2019.

— Вот, — говорит, — из всех мужчин
Двое пришло ребят-то…
Тянет из леса дождем и костром.
Ветер качает тополь.
— Мужа-то Мишу — в сорок втором.
Где это — Севастополь?
Пляшет ленивая пыль в лучах.
Время идет чуть слышно…
— Я иногда зову по ночам:
Миииша! Миииша!..
Няня глядит в этот сорок второй,
Плачет. Кивает мелко.
Нам по двенадцать. Сидим с сестрой,
Мучаем щи в тарелках.
Руки у няни в венах-корнях,
Бледных веснушек просо…
Вот бы на озеро на полдня!
Жить — это просто.

РВАНОЕ НЕБО

Небо непрочно и рвется, бывает, вдрызг.
Шарят по небу лучами прожектора.
Юнкерсы воют, их вой переходит в визг.
Рваное небо, рваное небо, рва…
Слушай, запомни: ты видишь кошмарный сон.
время придет, ты проснешься живым, малыш.
Хлеб, молоко, за окном колокольный звон —
благовест будто бы льется с горбатых крыш.
Мы доживем. Захлебнутся слезами псы,
те, кто людей штабелями в суглинок рва.
Кто ж, как не мы, будет штопать однажды, сын,
рваное небо, рваное небо, рва…

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Двадцать восьмой, последний, на брустверупал.
Сколько бы ни было засланных в мир мессий,
не оправдание гибели их судьба.
Ты же, родившись, не пули под дых просил.
Жизнь по спирали. Ты выучил свой урок?
Тесно сжимают пружины стальной бока.
Пусть ты однажды и сделаешь все, что мог,
как ты войдешь туда, где была река?
Нет. В перепаханных хлябях родных полей
ляжешь соломинкой в грязь — и таись, таись…
Все, что получишь, по силе дадут твоей,
а не осилил — так вон же синеет высь!..
Пуля — тире. И точка. На шее крест.
А по губам муравей поползет, дурак.
Небо большое, там много свободных мест.
Верую. Сдохните, твари.
Последний шаг.

ЭХО

Был у бабушки гребень в седых волосах,
темно-синие серьги в оттянутых мочках.
Не читала, с трудом разбиралась в часах:
— Сколько времени, дочка?

А в деревне часы не бывали нужны —
как стемнеет, ложились, вставали до зорьки.
А читать… Много ль писем-то было с войны?
Похоронка и только.

Руки бледные тяжко ложились на стол.
Рот беззубо дожевывал вечное горе.
— А умела б читать — прочитала бы, мол,
буду вскоре.

И смеется беспомощно. Боже ты мой,
сохрани и спаси от подобного смеха…
Поселилось во мне тихой птицей седой,
птицей-нежитью, тенью, навечной бедой
этой горечи эхо…

ПОЛЯ

Шагает лес на черных костылях,
цепляя неба мутные верхи.
Под первым снегом ржавые поля
юродивы, блаженны и тихи.

Ни солнца в них, ни крика на сто верст.
Унылый сон, тягучая мигрень.
На горизонте — дыма сизый ворс
и плесневые корки деревень.

Шуршит рогоз у илистых озер.
В церквях — и страсть, и страх, и Вий, и Бог.
Врастает наледь в стылый глинозем,
в похмельную расхристанность дорог.

Спаси нас от болезней и скорбей,
от вражия навета отреки…
Тут все — покорность року и судьбе,
и жизнь — судьбе и року вопреки.

Мне видится который раз одно:
сырой прогон, пехота месит грязь,
и у дороги, черная, как ночь,
стоит старуха, истово крестясь.

Сюзанна КУЛЕШОВА

ВОЛКИ БЛОКАДЫ

Волк-отец вскочил за секунду до того, как Маленькая волчица вздрогнула во сне, и заметался по клетке, ища выход. Никогда он не хотел бежать отсюда: от сытой жизни, тепла и покоя, от уверенности, что ничего не угрожает стае. Но уже несколько дней слышался далекий злобный вой, а в воздухе ощущался запах смерти.

Маленькая волчица проснулась и следила за отцом так же, как ее братья: тревожно, исподлобья, еле слышно поскуливая. Мать поднялась со своего места, подошла к отцу, ткнулась мордой в его загривок. И тогда он остановился, сел, поднял голову и завыл. Громко, протяжно, мать тут же подхватила, а через мгновение за стеной заворчали медведи и тоже стали реветь. Вдруг, всех перекрывая, раздался оглушительный вопль отчаяния — это рыдала в своем бассейне Красавица, — пожилая бегемотиха.

Они выли всю ночь, а утром, когда Свой Человек принес еду, отец даже не притронулся, и остальные не осмелились.

Волки не очень любят встречаться взглядами с людьми, но сейчас Маленькая волчица хотела увидеть лицо того, кто входит в клетку. Обычно Свой Человек приближался к ней, и она позволяла себя гладить. Тогда он смотрел прямо в глаза и говорил что-то приятное, и она привыкла. Она потянулась к нему, но он бросил мясо в кормушку, глядя куда-то в сторону, и быстро вышел, не оглядываясь.

Есть не хотелось. Тоска заполнила все внутри, включая желудок. Через некоторое время появился Чужой Человек, от него пахло страхом. Отец ощерился. Он знал — на людей нападать нельзя, люди — источник сытой жизни. Но только не этот! Старый волк приготовился броситься на врага, как только тот откроет дверцу, но Чужой и не пытался. Он просунул сквозь прутья черный ствол. Волк не знал, что это, но понял и прыгнул. Раздался щелчок, и Волк-отец упал. Мать тут же кинулась защитить детей, отомстить за мужа, но — щелчок! — она рухнула и снова ткнулась мордой в загривок Волка.

Маленькая волчица забилась в угол клетки. Казалось, она ослепла от огня и оглохла от выстрелов и не слышала, как к ним бежал Другой и кричал:

— Что вы делаете?! Что вы делаете, звери?!

А его пытался остановить Свой:

— Прошу вас! Так надо!

— Что надо?! Что вы делаете?! — этот Другой, схватил за шиворот Чужого: — Вы — зверь! Зачем?! Зачем?! Они здоровые! Они гордость зоопарка! Они наши, русские!

КУЛЕШОВА СЮЗАННА МАРКОВНА родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский горный институт (университет) по специальности «инженер-геолог-палеонтолог». Более десяти лет проработала во ВНИГРИ (нефтяной геологоразведочный институт). Далее — педагогом, литературным редактором. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей. Первый роман «Lovец» опубликован в журнале «Нева» в 2007 г. Автор пяти книг прозы и множества публикаций в литературных журналах, сборниках, альманахах. Лауреат нескольких литературных премий.

— Постойте! Я все объясню, — голос Своего дрожал.

— Я сам, — глухо проговорил Чужой, опустив ружье. — Я не зверь. Вы не правы. Я выполняю приказ.

Он отвернулся, достал носовой платок, вытер глаза, потом заговорил прерывисто:

— Немцы на подходе к городу. Скоро бомбить будут. Неровен час, клетки-то, хилые, развалятся, и разбегутся волки по городу, понимаете? Я и сам… мне и самому… сниться будут. Ну, не смогли всех эвакуировать! И там, в Казани, зоопарк не резиновый! Не смогли! Что теперь?! Волков пожалеть? Людей опасности подвергать?!

Другой отвернулся от Чужого. Подошел к клетке. Маленькая волчица подняла голову и заскулила.

— Отдайте мне ее. Христом-богом прошу! Щенок же совсем! Отдайте.

Маленькая волчица узнала Другого. Он часто приходил в зоопарк, сидел у их клетки, смотрел на стаю. Она не знала, что все это время он рисовал ее, братьев, Волка-отца, Волчицу-мать. Ей не нужно было думать, чем он занят, она привыкала к нему.

— Не могу я, — тихо сказал Свой. — Не имею права. И не щенок она уже, ей вон, год скоро.

— Да брось ты! — Чужой поспешно разрядил ружье. — Она мелкая самая. Скажу, что всех пострелял и все. Смотри на нее — за собаку вполне сойдет. Только зачем она тебе?

— А как собаку и воспитаю, — с готовностью ответил Другой. — Я изучал их повадки, все про них знаю. Иначе не вылепишь фигуру. Ну что медлишь? — обратился он к Своему, — открывай клетку. Я заберу ее. Вон, от страха и стоять не может.

Маленькая Волчица попыталась подняться, но ноги подкосились, она завалилась вперед мордой.

— Вот не знал, что у волков от испуга ноги отнимаются, — тихо говорил Другой, неся Маленькую волчицу на руках.

Ее голова лежала у него на плече. Она впервые покинула зоопарк и не знала, что город такой. Что это не бесконечные клетки, в которых живут люди, а нечто другое: ужасное или прекрасное, доброе или злое, она не понимала, но ей было любопытно. Еще целы были здания, еще не все листья опали с деревьев, еще только сентябрь 1941года пришел в Ленинград.

Жилище Другого ошеломило Маленькую волчицу. Она не знала, как себя вести. Запахи перебивали друг друга, за ними сложно было уследить и понять происходящее. Здесь было очень тепло, словно лето не уходило, и немного жутко от того, что вокруг были стены.

— Это что? — услышала она голос более высокий, чем у Другого.

— Собака. Щенок почти. Скоро год, — казалось, спокойно ответил Другой, но она-то сразу учуяла тревогу и прижалась к его ногам.

— Я не дурочка. Я живу со скульптором, с художником-анималистом. Поверь, волка от собаки отличаю.

— Ну не все же отличают, — интонация стала тверже, и Маленькая волчица осмелилась тихонько заскулить. — Всем будем говорить, что овчарка. Восточно-европейская. Или… метис, помесь с волком.

— Я не про это. Она нас не сожрет? — высокий голос был неуверенным, но не злым. — Чего скулит-то?

— У нее на глазах только что расстреляли всю ее семью! — отрезал Другой. — Я эту от смерти спас. Не сожрет. Звери добро помнят.

— Как расстреляли?!

Ужас, прозвучавший теперь, испугал Маленькую волчицу, и она заскулила с подвывом.

— Деточка! Плачет! Бедненькая! Сейчас молочка налью, свеженького. Скажем, что собака.

Дали еды, постелили старое одеяло, пропитанное сонмом запахов: человека, молока, травы и многих незнакомых, но не тревожащих, и она, напившись и наевшись, уснула.

Ей снился Волк-отец и Волчица-мать в каком-то волшебном месте, где не было клеток, а были только деревья, а в траве под ними резвились братья.

— Этот Другой теперь твой человек. Теперь он твой Вожак. Ты должна заботиться о нем и защищать его, — сказал отец.

— Почему? От кого? Он сам меня защищает, — хотела возразить Маленькая волчица, но родители и братья уже не слышали ее, уходили, уменьшались, она с трудом различала их силуэты в неизвестной и пугающей дали.

Очень скоро она привыкла жить с Другим и его Женщиной, поняла и приняла все правила и, казалось, что жизнь наладилась, если бы не усиливающийся тревожный угрожающий вой огромной вражеской стаи. А потом наступил холод. И еды становилось все меньше и меньше.

Они гуляли по ночам, чтобы не тревожить соседей и не попадаться на глаза слишком любопытным и боязливым прохожим: не все верили, что Маленькая волчица — собака. Особенно собаки не верили, и поднимали лай и визг, пытались наброситься на дикого зверя, и Машка, так Другой называл ее, жалась к ногам своего Вожака. И хотя помнила, что это она должна защищать, но пока не чувствовала, не понимала, как. Но потом собаки куда-то исчезли. Все меньше она чуяла запах их меток, все меньше в воздухе пахло живым, все больше мертвым.

Все чаще над городом с грохотом проносились ужасные твари, и люди прятались где-то в подвалах, а она оставалась одна в человеческом жилье в такие минуты или часы… Ей казалось, что она охраняет логово, а способна ли защитить его или нет, ее не волновало.

Теперь кормили не каждый день.

— Эх, совсем отощает твоя Машка, — вздыхала Женщина. — Да уж что поделаешь, самим бы… Вон карточки вчера ходила отоварить, в очереди стояла, передо мной мужчина отошел к стенке, сел прямо на снег, а после уж и не встал. Котов всех поели, ни одного кота не видно.

— Может, сбежали коты, — голос Другого звучал слабо и безнадежно.

— Да уж, сбежали. Говорили в очереди: у одних кот исчез, а потом появился со связкой сосисок. И где взял? Так они его теперь берегут как дитя родное. А как убережешь? Машку-то нашу не отпустишь одну на прогулку, чтобы поискала чего.

— Да что ты говоришь такое! Что она, кроме трупов человеческих, найдет! Ей близко к этому подходить нельзя! Ничего-ничего. Нам на заводе, да и в Академии, обещали, паек не урежут. Терпи, Машка, терпи, волк, — он наклонялся почесать ей ухо, и она жмурилась, все больше привыкая к ласке.

Вряд ли понимала Маленькая волчица, о чем говорят люди, но на следующей прогулке стала нюхать воздух более сосредоточенно. Пора было охотиться. Но кто мог стать ее добычей в осажденном городе, из которого, казалось, исчезла сама жизнь. Не исчезла, конечно, она была в людях, и волчица чувствовала эту силу. Люди не были добычей, они были великой стаей. Тем не менее, под слоем снега она уловила какое-то движение. Никто не учил ее, тело знало, что нужно делать: ноги превратились в пружинки и подбросили Маленькую волчицу в воздух, а острый нос воткнулся в снег очень точно, и клыки сомкнулись, перекусив хрупкий крысиный позвоночник. Теплая кровь наполнила пасть. Вторую крысу она принесла Вожаку.

— Ах, ты умница! Ах, ты милая. Ешь-ешь, это твоя добыча. Ешь.

Но она не брала. Она чуяла запах голода от человека, и не понимала, почему он не ест. Вожак тяжело наклонился, поднял придушенную крысу и положил в карман. Она позавтракала ею следующим утром.

— Боря, слышь, Никифоровна, что напротив, спрашивала, что это мы за псину держим. Людям жрать нечего, а мы собаку кормим. Или, говорит, себе откармливаем консервы на потом! Мне так за Машку обидно стало, что я, дура, брякнула, что это волк. Та аж зашлась.

Женщина помешивала в кастрюле какое-то варево, пахнущее совсем не так аппетитно, как свежая крыса, но люди ели.

— А я ей и рассказала, как перед бомбежками наших ленинградских волков да медведей постреляли, — она и в слезы.

— Сегодня в зоопарк заходил. Думал Красавицу порисовать. А там, представляешь, Евдокия, что ходит за ней, бочку на саночки грузит, сорокаведерную, и на Неву за водой. У бегемотихи кожа пересохнет, если не поливать. А потом мы эту бочку снимали, воду грели. Евдокия сама еле на ногах стоит, а Красавицу моет. Кожа уж вся в трещинах. Камфорным маслом мазали. В день килограмм этого масла нужно. Там Ивановна и живет в зоопарке с Красавицей. А ты говоришь, волк. Наш волк сам себя кормит, сам себя чистит. Всего делов — ночью спуститься погулять.

Маленькая волчица подняла голову. Слово «Красавица» ей напомнило что-то из прошлой жизни. И Вожак улыбнулся:

— Помнишь Красавицу?

Машка легонько стукнула хвостом.

— Вижу, помнишь. Не даст Евдокия сгинуть Красавице. Отстоит. И мы отстоим. Эх, Машка, твою бы сноровку да нашим зоотехникам. А то вон беркуту только свежих крыс подавай. Что, Машка, половишь для беркута?

Машка опять шевельнула хвостом.

Постепенно стало казаться, что зима никогда не кончится, что холод будет только усиливаться, словно само время заморозилось, и смерть решила навсегда обосноваться в городе. Но волчица чуяла, что смерть ошибается, что сила жизни, загнанная в слабеющие тела людей, сжатая до предела, никуда не делась. И Вожак по-прежнему с ней. Его ноги слабы, и голос уже не так громок, и рука, сжимавшая поводок не так крепка, но внутри он словно стал еще сильней — волка не обманешь. Она не знала слова «дух», но она чувствовала его.

Однажды во время прогулки Маленькая волчица резко остановилась. Тоска опять ударила в грудь и подняла шерсть на загривке. Она еще ничего не поняла, но оскалилась, а когда оглянулась на Вожака, который слегка отстал, увидела группу людей, приближавшихся к нему.

— Так-так, собачку, значит, выгуливаем, товарищ.

Этот голос не понравился волчице и она зарычала.

— Тихо, Машка, нельзя! — оборвал Вожак.

— А собачка-то злая, — продолжал противный.

— Ко мне, Машка!

Она немедленно выполнила приказ и оказалась у ног Вожака.

— Что же вы, товарищ, такую зверюгу держите?! Люди помирают от голода, а вы собачку кормите.

— Это еще надо узнать, чем он ее кормит! — другой голос был еще отвратительней. — Может трупами людей. А? Товарищ? Собачка-то вроде в теле.

— Да помилуйте, какой в теле, кожа, да кости, — Вожак еще улыбался, но она чувствовала тревогу и сильнее прижималась к его ногам.

— А на костях мясо! — прогремел третий. — Отдай пса по-хорошему, слышь, мужик.

— Вы не имеете права!

Волчица мгновенно осознала, что не он, не Вожак, нужен этим троим, что им нужна она, но, если он будет защищать ее, то погибнет. Она уже не щенок, а волк, который должен увести врага за собой от логова, от стаи, и она рванулась изо всех сил, зная, что слабые руки Вожака не удержат поводка, и бросилась бежать.

— Машка! Вернись! Вернись, кому сказал!

— Ха-ха-ха! А ты кормил ее! Гони ее, Вовчик! Гони на капканы!

Волчица остановилась, оглянулась и увидела врагов, они повернулись к ней, сжимая в руках палки. Она взглянула в глаза Вожака: «Беги, родной, беги!» Не было времени понять, услышал ли он ее, она рванула вперед, уводя за собой топот и улюлюканье. Она бежала, бежала, бежала…

НА СОРТИРОВОЧНОЙ

Простые совершаются маневры —
Товарный формируется состав.
И лязг проходит, словно импульс нервный,
От головных вагонов до хвоста.

Вот семафор мигнул, как вспышка спички,
Освобождая путь наверняка, —
И, бедрами качая, электричка
Проносится сквозь строй товарняка.

Как каблучки, колеса отстучали,
Сухая пыль осела на панель.
Сомкнулись вновь разорванные дали,
Печалью затуманился апрель…

Вот здесь грузились роты в сорок первом,
Решимость зрела в лицах молодых.
И била провожающим по нервам
Слепая медь оркестров духовых.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Приметой хорошей погоды
Звенят комары за окном.
И снова, как в давние годы,
Стоит на столе патефон.

Забытого танца фигуры,
Забытый пронзительный взгляд —
Свет падает от абажура
На стену, где карточки в ряд.

Дивана обшарпана спинка,
Герань не устала цвести.
Вращается плавно пластинка,
Играет — грусти — не грусти!

Над участью вдовьей щемящей,
Над ворохом трудных забот
Поет дерматиновым ящик,
Пока не иссякнет завод.

ЕСИПОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ родился в 1939 г. в Москве. Поэт, прозаик, литературовед. Автор трех книг стихов: «Общий вагон», «Стихи разных лет», «Лепта», а также шести книг о Пушкине и поэзии Серебряного века. Лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг». Член Союза российских писателей. Живет и работает в Москве.

* * *

На сквере пусто в воскресенье —
Народ на дачах и в кино.
Лишь на скамейке в отдаленье
Стучат костяшки домино.

Да, отрешенно в землю глядя,
И грустный в меру, и хмельной,
Играет вальс какой-то дядя,
Мехов касается щекой.

В пустой аллее звуки тают,
Недвижны липы, вечер тих, —
И вот уж в сердце оживают
Мотивы лет сороковых.

О молодых друзьях на марше
И про осенний желтый лист
Поет гармонь на Патриарших,
Глотает слезы гармонист…

Ярослав ПИЧУГИН

МАЛЬЧИК СО СКРИПКОЙ

Не сопрягается со сценой,
но поднимается со дна,
морозной застывая пеной,
блокадной музыки волна.

Картина остается с краю:
художник живо приоткрыл
подростка на подлете к раю
со скрипкой малой вместо крыл.

А он играет, он играет,
и в каждом выдохе смычка
холодный быт перегорает,
и жизни бечева — прочна.

Но, как кошмар, опять рождает
блокада по листку — дневник,
а музыка преображает
и светом наполняет лик.

ПИЧУГИН ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ родился в 1953 г. в Москве. Закончил МГТУ им. Баумана. Поэт, редактор, журналист, фотохудожник. Автор десяти поэтических сборников, в том числе: «Сирени», «Древо лет», «Зимнее яблоко» и многих публикаций в периодике. Работает в редакции журнала Всероссийского общества глухих «В едином строю». Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.

Пытается нашарить что-то
упорный луч прожекторов,
десант невидимого флота
вошел под облака покров…

И снова скрипка, изнывая,
у смерти вымолит кредит,
а мальчик, жизнь не узнавая,
в пространство зимнее летит.

СОН ОБ АВГУСТЕ 41-го

Едко август пахнет дымом —
отходить нельзя назад,
и солдат в неповторимом
этом дне проходит ад…

Жизни снилась половина,
та непрожитая часть,
где с волной взрывною глина
целиком накрыла нас.

Снилась смертная долина
и тела — в земле и из…
И степная Украина,
пальцы стреляные гильз.

МАРТ-45

И небо уже голубое,
отмыто в горниле ночей,
но отзвуком дальнего боя
лепечет в канаве ручей.
А рядом помятая каска,
в ней тоже скопилась вода
и неба последняя ласка,
как в зеркале — навсегда.

Юрий ХОЛОПОВ

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

Немецкое кладбище словно в крови:
Растет земляника и зреет, сочится…
Тут свищет лесная пугливая птица,
А глушь здесь такая! Зови — не зови…
Устало присел на дубовый пенек,
Пошарил в карманах, достал сигарету,
Ах, страшная щедрость российского лета!
Аж между лопаток идет холодок.
— Ку-ку, — мне считает кукушка, — ку-ку!
Не наше ведь кладбище, стоит ли плакать?
Гляжу: муравей пробежал по листку
И впился в созревшую сладкую мякоть.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Отшумела деревня, затихла.
Мужики ухом наволочки мнут.
Погуляли и выпили лихо
За победу, за «Гитлер капут!»
Все парторг обустроил красиво:
Были в клубе доклад и концерт,
И колхоз был отмечен на диво
Красным знаменем новых побед.
За надой, урожайность пшеницы,
За строительство птичника то ж…
Только что же парторгу не спится,
И кому же он стал не хорош?
Нынче он за другое ответчик.
С прибаутками и матерком
Ходит улицей Колька-разведчик
Да к парторгу, хмельной, прямиком.
Он калитку трясет и пинает
И кричит под собачий захлеб:
— Выходи сюда, крыса штабная!
Выходи сюда, мать твою в гроб!
Мы на фронте одном воевали,
Почему же, пойди, погляди,
У тебя — боевые медали,
У меня же — две дырки в груди!
Я не трусил в бою перед немцем
И не раз приползал с «языком»,

ХОЛОПОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1957 г. в селе Ахлебинино Калужской области. В 1982 г. окончил факультет русского языка и литературы КГПИ им. К. Э. Циолковского. Автор трех стихотворных сборников, семи прозаических историко-краеведческих книг. Стихи публиковались в межобластных альманахах, коллективных сборниках. Лауреат всероссийской литературной премии имени Ивана и Петра Киреевских, Калужской областной премии им. Л. Леонова. Член Союза российских писателей. Живет и работает в Калуге.

Но войну ты закончил гвардейцем,
Я ж закончил ее штрафником.
Мы дотопали вместе до Вены,
А почет у нас разный, поди…
Ты ж идейный, а я — беспартейный.
Объясни же, давай! Выходи!..
Но не выйдет парторг для беседы.
В темной горнице курит, молчит.
И давно ему праздник Победы
Той военной махрою горчит.
Участковому жалоб не будет.
Спит у печки, не слышит, жена.
Он все помнит, он Кольку не судит:
Это так догорает война…

УЧИТЕЛЬ

— В каждом полене живет Буратино, —
Думает он, когда колет дрова.
Хоп! — И полено на две половины.
Что тут поделаешь? Жизнь такова!

— Как нас кромсало проклятое время!
Кто нас сжигал и похлебку варил? —
Думает он и таскает поленья,
В штабель, к крыльцу их до самых перил…

В теплой избе, в застекленном квадрате
Ряд фотографий. На фоне берез
Мальчики, девочки… Где вы, ребята?
Где вас буран разметал и занес?

Эта война на дрова не скупилась,
И в кочегарах особая страсть:
С воем страна вся по рельсам катилась.
К фронту, на Запад, к победе рвалась.

В красном луче заполошного света
Чайник пускает парок на плите.
Генералиссимус смотрит с портрета…
Мальчики, девочки, где же вы? Где?

* * *

Великая война закончена.
Ее герой последний в венском вальсе
Свою подругу в парке больше не кружит,
И голос Левитана позабыт,
И бывшие враги —
Два старых лейтенанта
Пьют водку из помятых медных фляг
На брудершафт,
Все позабыв: и боль, и кровь, и смерть,—
За давностью минувших лет.
Так времени река смывает след
Великих испытаний и побед,
Стирает память поколений,
Следы границ, названья государств,
И лишь один ландшафт
Хранит в осыпанных траншеях память.

* * *

Когда затихнет звон юбилейных медалей,
Истлеют знамена полков и армий,
Умолкнет бой барабанов,
Когда позабудут убитых и не рожденных,
Перестанут славить вождей
И безгрешных маршалов,
Когда кино о войне
Станет единственной правдой,
Этот день
Все равно останется
Светлым днем
Возрождения жизни,
Цветения яблонь
И нежных тюльпанов.
Когда не будет уже никого
Из помнивших названия битв, фронтов
И мемориальных кладбищ.

БАРТФЕЛЬД БОРИС НУХИМОВИЧ родился в 1956 г. в поселке Новостроево Калининградской области. Окончил Калининградский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». Поэт, прозаик, автор восьми книг, рассказы и стихи печатались в литературных журналах и альманахах. Лауреат премии Калининградской области «Сопричастность». Лауреат премии города Калининграда «Вдохновение» за лучшую художественную книгу 2012 г. Лауреат премии Калининградской области «Признание» за роман «Возвращение на Голгофу». Член Союза российских писателей, председатель Калининградской областной писательской организации.

* * *

Это было давно и неправда —
хоть убей, времена перевру —
кучерявилась речка Непрядва
на вечернем восточном ветру.

Облака, охранявшие небо,
воскресали на илистом дне,
дабы числиться зрела потреба
с убиенными в кровной родне.

Эта экскурсионная осень
приключилась затем, что уже
пафос ярого лета несносен
был на том чумовом рубеже.

Мы с тобою, как в сказке, стояли,
точно жизнь защищали свою,
на нечаянной речке Каяле —
у обрыва на самом краю.

Эти травы, и воды, и дали
отдаляли от времени Ч.
Это после безродно рыдали
у почившей любви на плече.

И, грядущей разборке переча,
в зазеркалье того сентября
пламенела Красивая Меча
и прекрасная меркла заря.

И, дурной на поверку историк,
все угарный не выдохну яд…
Дым Отечества сладок и горек,
если прежние реки горят.

ПОПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ родился в 1962 г. в Воронеже. Окончил Воронежский медицинский институт им. Н. Н. Бурденко и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат нескольких литературных премий. В 2019 г. стал лауреатом премии «Писатель XXI века» в номинации «поэзия», Специальной премии Союза российских писателей Международной Волошинской премии в номинации «За лучшую поэтическую книгу года», литературной премии «Кольцовский край» в номинации «Поэзия». Член Союза российских писателей и Международного ПЕН-клуба. Живет и работает в Воронеже.

Укротитель домашней моли, водитель каши
по раскаленному кругу любимой миски,
друг леденцов, обладатель гусиной кожи,
перемыватель вестей с экрана: и этот в сыске!..

Требователь суда, трибунала. Ау, погодки!..
И мерцают в потусторонней прозрачной яме
рапорты, трупы, трофейные порнофотки
и румяные барышни с выщипанными бровями.

Чье-то соображенье длить этот пошлый фокус
варикозными розами порасцветило тело.
И часы — огромные, фирмы «Fungus» —
раз запнувшись, отмалчиваются без дела.

Штайнерштрассе, орешки для фройлен, крутой глювайн,
австрияцкой песенки сурковые обороты.
Отмокают, нежатся в пене подземных ванн
ротные гаеры, пенки лихой пехоты.

Гладят по ежику, пишут по воздусям
на депрессию дедушке ласковые депеши.
Оборачивается — и течет по его усам
дух махры, чьи курцы хороши и пеши.

А еще портсигары с вепрями — выпуклые клыки —
и тирольские шапочки — срежь, нахлобучь, посмейся…
И готический скос костела, и чердаки
облетает надменная и неземная месса.

Максим КРАЙНОВ

ОСЕННИЕ ПРОГУЛКИ

Возвращаясь домой по ненастной поре,
через рвы и овраги иду напролом,
сокращая дороги и тропы.
Только вдруг вспоминаю, как в том октябре
в непролазной грязи под холодным дождем
наши женщины рыли окопы.
Выходя на природу на поздней заре,
свой маршрут удлиняю широкой петлей,
избегая болот и каньонов.
Но на память приходит, как в том ноябре
пулеметные взводы срастались с землей,

КРАЙНОВ МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ родился в Москве. Окончил Московский институт управления. Автор трех книг стихотворений: «Углубление темы» (2009), «Обновление взгляда» (2016) и «Притяжение истины» (2020), вышедших в издательстве «Водолей». Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

прикрывая отход батальонов.
Полутемное утро. Мороз на дворе.
Мелким снегом заносит промерзшую грязь,
мне из дома идти неохота.
Но всплывает картина, как в том декабре
сбросив наземь шинели и перекрестясь,
шла сквозь черную Истру пехота.
Нас жестокая плата за прошлое ждет.
Потому в дни предчувствия новых невзгод,
в час тревоги о родине милой,
все, что происходило в тот гибельный год,
наполняет надеждой и силой.

ТРИ ЛИПЫ

Весь поблекший от раннего холода луг,
автострада гудит вдалеке…
Лишь три липы стоят одиноко. И вдруг
вся душа замирает в тоске.
Но очнусь, замечая — пейзаж предо мной
преломляется странным углом.
И ожившие сцены из жизни былой
проплывают в сознаньи моем.
Вижу купы посадок в полуденный час
и гуляющих с дамой детей.
Их рубашки и платья, на солнце светясь,
исчезают средь пышных ветвей.
Вижу вновь ту же рощу лет тридцать спустя:
из соседней деревни гурьбой,
о полученных там синяках не грустя,
возвращаются парни домой.
С того дня уже минуло несколько лет,
но все годы забыть не могу
по-октябрьски низкий, заоблачный свет
и три липы на блеклом лугу.
А когда вспоминаю, то долго молчу,
разомкнуть не пытаясь уста.
И себе самому объяснять не хочу,
что печальна всегда красота.
Ведь усадьбу, что красила берег реки
(вся отделана тесом была),
в революцию, вдруг озлобясь, мужики
в одночасье спалили дотла.
И деревня, где пьет полоумный пастух,
вся распалась, да суть не в вине:
просто парни все, кроме израненных двух
инвалидов, легли на войне.
Да и рощи уж нет: часть свели для потех,
часть же попросту выломана.
Но не могут развеяться образы тех,
кто терпел за свои времена.
Потому, невзирая на тяготы дня,
в лихолетье, в жару и в пургу,
три столетние липы, всю память храня,
будут стыть на забытом лугу.

Фарида ГАБДРАУПОВА

ТСЕРА, ИЛИ ГИЛЫ КАМАМ*

1.

Солнышко!.. В тот день все шло по природному расписанию. Пробираясь сквозь нарядные, тяжелые от цветов деревья приусадебных участков, оно рано разбудило жителей дощато-серого двухэтажного барака, в народе прозванного гарнизоном. Сейчас, к полудню, бараковцы собирались по комнатам, сновали со дворовой скамьи у стола из трех разъехавшихся досок — в низкий подъезд, серьезные, объединенные и взвинченные атмосферой весны и праздника. С утра они ходили с портретами своих дедов к железнодорожной станции, где в прошлом году установили памятник летчикам, сваренный местным мастером-самоучкой, учителем истории. Три года монумент простоял во дворе благородного патриота, три года он добивался права вынести его туда, где в годы войны был сбит советский бомбардировщик. И когда тяжелую конструкцию все-таки вывезли, укрепили и торжественно открыли, мастер с облегченной душой — умер.

Но сегодня глава поселковой администрации, а также почетный житель — полковник в отставке, а также местный батюшка, стоя на фоне памятника, вспомнили и о покойном скульпторе в своем вступительном слове.

Этот же учитель истории передал мне историю любви.

2.

Едем, милая, со мной, со мной,
Стань, красавица, моей женой!
Вот садись-ка, место есть в седле —
Обвезу тебя по всей земле!

Путь домой оказался сложнее, чем загадала Эйша, управляя лошадью с телегой. Дорога недвижной темно-синей волной убегала вдаль. Запыленные травы по ее краям замерли от жары, а измученное жаждой животное сопротивлялось тащить хомут.

— Откуда такая красивая?

Черноволосый парень, поравнявшись с едва волочащейся клячей, похлопал ее по уставшей морде.

— Напоить бы! Поехали к воде. Я знаю дорогу.

---

* Гилыкамам (*цыг.*) — песня любви.

ГАБДРАУПОВА ФАРИДА АНВАРОВНА родилась в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Работает педагогом дополнительного образования в гимназии. Автор поэтических сборников «Сердце» (1993), «Слезы Коломбины, или Орфография любви» (2001), «Актриса с дудочкой в дожде» (2007), «Астра-Тара» (2015) и книги прозы «Лишняя жизнь женщины» (2017), изданной при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей. Председатель Алтайского регионального представительства Союза российских писателей.

— Ты — ром? — спросила Эйша, спрыгивая с другой стороны телеги.

— Я — Ферка-пилот. Неужели не помнишь меня? Я приходил к вам в дом. Твой отец продал нам молодую кобылу. Мы ее Камиллой назвали, — продолжал попутчик, ловя взгляд девушки, прячущейся за гриву лошади.

— Помню… На тебе красная рубаха была.

Эйша смутилась, искоса зыркнула на парня любопытным глазом и потянула поводья.

— Ну, пошла!.. — Так они молча шагали по теплой, мягкой, сизой пыли дороги, ведя на пару кобылку и громыхавшую за ней телегу. Полные жизненных соков травы были похожи на глаза юной цыганки, сверкавшие в черных кольцах, как зеленые звездочки, небо — на бирюзовую кофту; цветы колыхались на платке и юбке, скроенной солнцем, а черная земля с рыжеватым отливом была ее кудрями, сплетенными в длинные косы, смолистыми бровями и запыленными острыми ресницами.

У озера Эйша и Ферка прогуляли до вечера. Отвязанная от груза телеги счастливая кобыла вольно паслась в кипящих цветением травах, а молодые набрели в знойных кущах на чистый родник, набрали воды и спелых ягод. Потом следили за прыгающими алмазными огоньками на мелких волнах. Солнце в тот день долго стояло в зените и нехотя спускалось вниз.

— А ведь ты никогда не летала на самолете! — воскликнул Ферка и был прав. — Я обязательно покажу тебе облака — сверху!

Это был вглубь светлый, самый длинный день в году. В небе висели ангелы, как белые кони в утреннем тумане зарождающейся бесконечной жизни.

3.

Прощай-ка ты, любезная.
Прости, дорогая ты моя.
Если лучше найдешь, про меня забудешь.
Если хуже найдешь, про меня вспомянешь…

Не успела Эйша переехать в дом мужа, как пришло ей петь печальные песни, провожая Ферку в город — доучиваться на военного летчика. Заберут, увезут, спрячут молодого орла от юной жены. Не создан цыган воевать. Ему бы петь да плясать, пасти лошадей, целовать женщин, растить кучерявых цыганят, прославлять вольную жизнь. И кто как не бродяга, для которого вся земля — родина, более заинтересован в мире!

Но эти цыгане были оседлые, с двадцатых годов жили они в тульских, орловских и тверских деревнях. Не смешивались с местными, держались особняком, но перенимали язык, веру и праздники, и с осторожностью чужаков — сотрудничали: знакомились, торговали лошадьми, соседствовали, хаживали в гости, а вот замуж или жениться на гаджо[1] — не одобрялось. Оберегали свои берега, сохраняли неписанный древний закон рода, у которого нет ни земли своей, ни государства, а вместо танков, пулеметов и бомб — скрипки, гитары, бубен да колода карт.

Мать Ферки была известной в округе повитухою. И всюду были нужны и пригодны волшебные руки Макши-цыганки. В мороз, в пургу и распутицу — по заснеженным полям, по размытым дорогам, через неглубокие переправы рек, по оврагам — добиралась ее лошадь в самые дальние хутора и поселки. Селяне называли ее ласково Машей. Ромы смотрели с подозрением за то, что служит гаджам за еду и уважение, за то, что сына

[1] Гаджо (*цыг.*) — не цыган.

родила в тюрьме от невесть какого бусурманина. И замуж ни за кого не пошла — свободу любила! Но цыганские судьи гасили наветы злословных завистников. Ведь была Макша для цыган на манер дипломата — матерью-заступницей. Оберегала неприкасаемость бедовых сородичей. Со своими говорила на кэлдэрары, знала румынский, а по-русски и читать, и писать умела. «Учись, чавораалэ[1]! — говорила она сыну, оправляя в сельскую школу. — Где живем, там и родина, там и пригодимся. Грамота раскрывает небеса!»

Жадный цыганский ум Ферки принимал знания, как растрескавшаяся земля воду. С упорной прилежностью и, зажав кончик языка зубами, выводил он буквы в прописях, чертил карандашом по линейке, а мысли, словно молнии, искрились в его глазах, цвета омытого дождем чернослива, когда он первым тянул руку, чтобы ответить на вопрос учителя. Так и поехал юноша-ром по велению историка Семеныча в город — учиться на летчика. Открывать мирные небеса.

4

Знал я и бога, и черта,
Был я и чертом, и богом.
Спрячь за высоким забором девчонку —
Выкраду вместе с забором!

Солнце выдыхалось, гасло и ссыхалось. Солнышко — за тучу, цыган — на войну.

— Дайори[2]! — крикнула Эйша, забегая в дом, — забирают нашего Ферку. И я с ним пойду, хоть в землю, хоть в небо! Нет мне без него жизни!

И была Макша чернее грозовой тучи. Бросила ладони на лицо, шептала что-то, молилась. Потом опомнилась, собралась и обняла невестку.

— Ай, чаюри[3], в грозу мы вошли, в бурю. Не по собственной воле разомкнется земля, наестся и отрыгнет молодой кровью. Силой ее возьмут, грубой нечистой силой!.. Поезжай, дочка! Да возвращайся! Ой, будет, будет у тебя девочка. Мне на память.

Растревоженной птицей несла Камилла Эйшупо хлипкой осенней дороге в город, тяжелый ветер срывал черно-красную шаль, запускал холодные острые пальцы в растрепанные косы молодой румни[4].

— Как же ты нашла меня, камлы Эйша? Чиргенори![5] — спросил Ферка, держа ее горячую руку, просунутую сквозь железное заграждение.

— Нешто я, румни, своего ромало не найду? Сердцем шла, по запаху, по зову твоему. Да если бы я встала на площади, да закричала лебедем, ты бы меня и тут услышал.

Перемахнул Ферка через ограду, и был у них всего-то украденный часок на пустыре — для прощания. Стерпела телега их родовые пляски, ритмичные, словно бешеные стуки цыганского бубна, а верная лошадь Камилла стояла в снисходительном молчании. И солнце выжимало для них последние свет и тепло перед бурым октябрем сорок первого года.

Люди, машины, телеги — хаос: нагроможденье станков, ящиков и коробок, приготовленных для отправки на восток. Какое все лишнее, чуждое взгляду, мелькающее и застревающее в глазах, мешающее видеть его,

---

[1] Чавораалэ (*цыг.*) — сынок.

[2] Дайори (*цыг.*) — мама.

[3] Чаюри (*цыг.*) — доченька.

[4] Румни (*цыг.*) — цыганка, жена.

[5] Чиргенори! (цыг.) — звездочка.

уходящего. Как пополам ее разрубили, вырвали из райского сада любви обоих; словно младенца, оторвали от теплой ее груди любимого — сразу в ад. «Не выпало жить с тобою, значит, умру в один день», — загадала она, пытаясь залить отчаянием огонь разлуки.

5.

Цыгане любят кони,
да кони не простые.
Цыгане любят кони,
да кони удалые.

Nachthexen[1]. Так называли немцы девушек, по-азиатски неожиданно, по-кошачьи мягко и неслышно залетающих к ним в гости на легких, изящных крыльях. Неженские гостинцы несли ночные красавицы, не красоту свою девичью, а тяжелые бомбы. И быстро-быстро, как сон, как наваждение — исчезали, оставив разбитые рельсы, раскуроченные мосты и черный огонь салютирующих складов. Они были так молоды, так полны огня начавшейся жизни, что могли бы поджечь любого горячей стрелою взгляда. Не шали на них — а шлемы, под шлемами — шевелюры, широкий ремень под грудью.

Соседская Надька, бойкая рыжеволосая активистка аэроклуба, хохотушка и затейница, как раз собиралась записаться в этот особенный полк — войско крылатых гурий. Надежда! Выпала она цыганке как судьба, как бубновая дама. На том же вокзале, где разлучилась она с любимым мужем, где вырвали у нее — сердце. А потом Эйша везла в телеге попутчицу — Надежду, ехавшую на денек в родное село проститься с отцом-матерью. Везла подругу-надежду с умыслом зацепиться за нее и ухватить свою линию жизни. «Вортака, пхрэн[2]! Возьми меня с собой, я смышленая».

Так и случилась у Эйши дорожка дальняя в Москву, потом на юг — учиться на летчицу. Макша же не ушла с другими цыганами на восток, осталась ждать своих детей. А черная волна уже подступала к городу, к тому месту на карте, откуда Ферка уехал на войну, а разобранные заводы, фабрики, машины, люди со скарбом, лошадьми, коровами, птицами — своим ходом — пешком и на телегах, в вагонах поездов — пытались спастись от наползающей чужеродной силы.

6.

— Едут! Едут! — кричали мальчишки в радостном возбуждении, объявляя то, чего давно ждал весь гарнизон-барак. За поворотом дороги появился по-цыгански приметный красный Порше Кайен, везущий большую семью и кипу подарков. Повозка что надо! Машина медленно и торжественно вплыла в расступившуюся толпу жителей гарнизона. Молодой цыган, худенький чернявый живчик, энергично выскочив из двери водителя и оббежав машину спереди, услужливо подал руку пожилой полноватой женщине в богатом платье цвета утренней зари.

— Тсера! — сказали в толпе, — Тсера приехала!

---

[1] Nachthexen (*нем.*) — ночные ведьмы.

[2] Вортака, пхрэн (*цыг.*) — подруга, сестра.

7.

Осень уж кончается,
Зима начинается,
Все снега повыпали,
Да нэ-нэ...
Тропы все засыпали...

Когда солнце замерзло и куталось в рваные шали туч у самого горизонта, в самые холодные и длинные ночи, Эйшу перевели работать поваром. А до этого всю осень она училась летать.

Управлять военным самолетом сложнее, чем лошадью. Но Эйша прилежно осваивало все, что могло приблизить ее к своему рому и ко времени, когда они снова будут жить в просторном, светлом мире, где небо цвета моря, а облака цвета лебедей, и в маленьком доме у деревенского пруда в средней полосе России. Там, где сегодня — кровавые листья, октябрь и нацистские танки.

«Ну, пошла!..» — говорила она по привычке, заводя мотор. И не было никого задорней и веселее в девичьем ее полку. «Эйша, цыганочку!..» — просили девчата и вместе с ней выходили в круг, прищелкивая пальцами, откинув назад крупные кудри, мелко встряхивая плечами и со стеснительной улыбкой двигая плотною горой еще не знавшей материнства груди. Ноги их выделывали кренделя, с жаром вбивая в землю осеннюю полевую траву учебного аэродрома. Помнила Эйша и слезы свои, когда ее подружки-вортачки разбивались, как ласточки о скалу, во время учебных полетов.

Судьба же самой Эйши была под вопросом. В мягкой тьме ее чрева уже разрасталась новая жизнь. К лету, когда обученные войне девочки, раскрутят пропеллеры, поднимут в небо боевые ступы свои и полетят в настоящий бой, на утренней заре она родит цыганочку.

— Ну и куда ты теперь, с дитем-то? Боевая единица. Учили тебя, учили! Хороший пилот из тебя бы вышел, — сетовала командир полка, большая, по-мальчишески резковатая женщина. — Спишем мы тебя! Тут останешься. А нам улетать надо.

— Запишите меня в смешанный полк. Буду я летать, буду! До осени останусь, тут тоже цыгане живут. Своих не бросят. Им и отдам девочку. — И чуть помолчав, как будто разглядывая какие-то линии, добавила. — Потом заберем, или Макша найдет.

8.

Из яркой цыганской «повозки» вышли еще двое. Солидный мужчина средних лет выгружал из багажника пакеты и коробки с едой и передавал в руки гипнотически прекрасной, одетой в золотое платье молодой шувани[1], а жители гарнизона без суеты, в негромкой ритуальной последовательности включались в праздничное действо. Старушка с первого этажа принесла старинную скатерть с кистями, похожую на цыганскую шаль, мужики, женщины и дети расставляли посуду, раскладывали провиант — готовили *поминальный стол.*

В то время, как в атмосфере установившегося единодушия выпивали по первой чарке, Тсера отлучилась, вынула из машины грандиозный букет, и вся цыганская семья направилась за ней на задний двор барака, где раскрылась густая майская яблонька, словно в ней остановились на отдых туманные ангелы.

---

[1] Шувани (*цыг.*) — ведьма, колдунья.

9.

Там цыгане соберутся, снова струны зазвучат,
Снова песни их зальются, снова бубны зазвенят!

Лучшее время своей любви Эйша и Ферка провели в гарнизоне, под Москвой, весной и летом сорок третьего года, когда выбивали чужеземцев с родной земли. До нее на летающем коне — рукой подать. И были они вместе — на земле и на небе.

— Как ты нашел меня, Ферка — ило[1]? — спросила Эйша, когда он приехал за ней в сельский дом цыганки Бришинды.

За окном облизывал землю самый счастливый весенний дождь.

— Нешто я, ром, не найду свою румни! Да если бы я был орлом, то с неба разглядел бы вас, миро камам[2]! — сказал и так целовал Эйшу в губы, словно припал к роднику, умирая от жажды. А в маленькой дочери узнал свои умные сливово-черные глаза и пышные крупные кудри.

В эскадрильи их называли «ром-и-румни»[3] или парой орлов. Такое же гордое имя носила земля, которую они расчищали для своей будущей жизни.

В то летнее утро Ферка и Эйша летели с аэродрома Солнцево, чтобы пустить по ветру оружейные склады чужестранцев, нагло расположившихся на улицах их областного города.

Тонкая работа, как раз для них! И никогда еще солнце, провожавшее их на юг, к Орлу, не было таким большим, жарким и жадным. И скрывали родные орловские облака их железного коня от фашистских пуль и снарядов. Другого прикрытия у них не было.

— Эх, раз-дану-данай, давайте, граи[4], скачите к яру! — с испепеляющей мощью кричал Ферка, отпуская бомбы из отсека, как черных, тяжелых коней из конюшни. — Эх, раз, еще раз, еще много, много раз!..

— Сдохни, бенгрогэнса[5]! — вторила ему Эйша из кабины стрелка-радиста, с силой цыганского проклятия отбиваясь из пулемета от преследовавшего их фрица. Стреляла, едва успевая вытирать слезы рукавом гимнастерки и отдувая кудри с лица.

…Последнее, что успели они сделать — сказать друг другу сквозь гул падающей машины: «Мэ тут камам»[6]. Так и вошли они в утреннее красное солнце на белой Камилле, навеки вцепившись друг в друга. Так и упал их железный конь, два крыла — у поселковой железнодорожной станции.

Молодой цыган Ферка открыл перед мами[7] ворота могильной оградки. Тсера зашла внутрь, отложила красный букет в сторону, отыскала рукой вкопанную в землю вазу, вынула прошлогодний мусор, попросила принести воды. Кувшин подала Эйша-колдунья, тоненькая, чернявая внучка, каждый взгляд которой хотелось ловить, как алмазный блеск на воде. И стояла она молча, заслуженный врач России, Тсера Ферковна Воронцова, вспоминая свое спасенное добрыми людьми детство то в цыганских семьях, то в дорогах — в поездах, машинах и телегах, то в детском доме. И тот счастливый день, когда пришла за нею мами Макша. Как увиде-

---

[1] Ило (*цыг.*) — душа.
[2] Миро камам (*цыг.*) — моя любовь.
[3] Ром-и-румни (*цыг.*) — муж и жена.
[4] Граи (*цыг.*) — кони.
[5] Бенгрогэнса (*цыг.*) — черт рогатый.
[6] Мэ тут камам (*цыг.*) — я тебя люблю.
[7] Мами (*цыг.*)— бабушка.

ла ее, как схватила, как прикусила ей детскую щечку, со слезами целуя. А потом гладила ее черные бровки и приговаривала: «Чавораалэ! Миро Ферка! Чаюри, тыхненько чай!»[1]

И пока держала старая цыганка свои минуты молчания, к могиле подтянулись жители поселка, где был сбит самолет ее родителей. Очаровательная внучка уже играла на гитаре. Несколько местных парней наперегонки принесли красавице табуреты и стулья, на которых усадили и пожилых женщин. И она начала петь! От природы сильным, уходящим все глубже голосом:

Ай, да не вечерняя,
Не вечерняя ли нэ заря.
Ай, заря, ай да зорька.
Зорька ли — нэ спотухала…

Гарнизонцы, окружившие артистку цыганского театра, подпевали, попадая в такт давно знакомой песни. Дети, пережевывая шоколадные конфеты с орехами, смотрели озорно, пытаясь понять и перенять настроение взрослых.

На голос поющей матери из машины выпрыгнула проснувшаяся, нарядная, как куколка, маленькая Макша.

Тсера поставила в вазу красные розы и протерла краем своего платка фотографии Эйши и Ферки. В пышной, бело-зеленой пене весенней яблони, растущей у самой могилы, свистел невидимый соловей. День обещал быть солнечным, а год — урожайным.

[1] Чавораалэ! Миро Ферка! Чаюри, тыхненько чай (*цыг.*) — Девчушечка! Мой Ферка! Дочка, маленькая девочка.

В БОЯХ ЗА ЖИЗНЬ

В Гражданскую он первым брал Казань,
Влетев под Кремль и развернув тачанку.
И пулемет, прервав игру в молчанку,
По белым бил, как дрын в пустой казан.
Потом был Грозный. Басмачи тогда
В плен раненого за конем тащили…
И если б наши в срок не поспешили,
Произошла б смертельная беда.
Он Финскую с начала до конца
Прошел, был ранен, демобилизован.
А в сорок первом полк был образован,
И он повел бойцов под град свинца.
Почти два года бился за Москву,
За Велиж, за Осташково, Демидов…
Мог трижды оказаться средь убитых —
Контужен был, а повезло ему.
Не обошлось и без госпиталей,
Но это, так сказать, войны издержки:
Пасует даже смерть при виде дерзких
И смерти не боящихся людей.
В приметы он не верил, жизнь любя.
Был коммунистом. Верующим не был,
Считая, что нельзя доверить небу
Ответственность, пусть даже за себя.
В боях за мир, за близких, за страну,
За все, ради чего живут на свете,
Не может доверять солдат примете —
Здесь фронт. Здесь жизнь и смерть ведут войну.

РАССКАЗ ТАНКИСТА

Я в танке горел. Потерял экипаж.
Полз к нашим и нашим кричал, что я наш.
Поверили только, когда командир
Узнал… но сказал, что нас всех схоронил.
Уже документы отправили в тыл,
И мать похоронку получит, мол, сын
Пал смертью героя под городом Ржев,
Со всем экипажем в машине сгорев…
Был сильно контужен я, не понимал,
О чем это мне командир толковал.

ХАМИДУЛЛИНА ВЕРА ПЕТРОВНА родилась в г. Краснотурьинск Свердловской области. Окончила Казанский Государственный педагогический институт (факультет физического воспитания). Поэт, переводчик, издатель. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Руководитель литературно-издательских проектов «Современные авторы — детям». Председатель комиссии по детской литературе Союза российских писателей. Призер и лауреат ряда литературных премий. Живет и работает в Набережных Челнах.

Кто в танке сгорел, если вот он я — здесь?
За что моей матери страшная весть?
Сказал командир: «Толку с ним толковать!
Езжай, подлечись, чтобы мог воевать!»
Я месяца два обживал лазарет.
Все маме пытался отправить привет…
Но адрес забыл… И не вспомнить, хоть плачь!
Я помнил, кончается город на «ач»…
Я улицу помнил, квартиру и дом,
А город на «ач»… Сколько тех городов!
Я город на «ач» вспоминал всю войну.
Потом я забрался куда — не пойму.
Я вспомнил Сергач через несколько лет.
Приехал и вижу, что дома-то нет…
И нет у меня ни кола, ни двора…
А мамка… От горя в тот год умерла…
Историю эту Степаныч не раз
Заканчивал: «Спасся, а мамку не спас…»

ТАНКИСТ-РЕЦИДИВИСТ

Когда-то был он лихим танкистом,
А стал матерым рецидивистом.
Как дело было? Он в Польше танком
Отбил лошадок да сдал цыганкам.
Бесплатно отдал — какие деньги…
Потом допросы шли две недели.
Майор дотошный сидел в особом —
Его запомнит солдат до гроба.
Без всяких скидок на возраст, званье,
Что отличался не раз в заданьях,
Что грудь в медалях и Орден Славы—
Впаял по полной и по Уставу.
А дальше лагерь под Воркутою,
Лесоповалы, этапы строем,
Воры в законе, блатные нравы,
И нет ни правды и ни управы…
Бежал — ловили, потом поймали
И конвоиров штук восемь дали…
А он на фронте видал поболе…
Ушел — ищите, мол, ветра в поле!
— Открыл наручник простой заточкой?
Рецидивист он матерый, точно!..
— Обвел охрану на ровном месте?
Да, не убил их, а все же, если б…
Портреты в «Розыск» по всем газетам…
Да разве парень мечтал об этом?
Солдат геройский, танкист — не больше!
Эх, если б только не кони в Польше…

В МАЕ 1945-го

Играет парень на баяне,
а звуки вальса будто плачут.
В стакане ветвь березы вянет,
другой стакан стоит, не начат.

А под стаканом — рыхлый холмик,
а над стаканом — крест могильный,
и кто-то тайный рядом ходит,
окрестность приводя в унынье.

То память сердца о погибшем,
о друге, преданном и верном,
то память о стране, возникшей
из третьерейховского пепла…

И парню кажется, что с другом —
солдатом, вовсе не убитым,
они придут к своим подругам
победным днем, в бою добытом.

И кирхи чудятся в тумане
в той чужедальней стороне…
Играет парень на баяне
за всех погибших на войне.

БРАТСКАЯ МОГИЛА

На братской той могиле —
фамилии, фамилии:
грузинские и русские,
татарские, ингушские…
А над могилой слезно
роняет сок береза,
и о погибших память
не может в Лету кануть.
И дряхлая старушка,
с орловским говорком,
из ближней деревушки
пришла сюда тайком.
Читает вслух все тише —
нет мочи дочитать:

ЕВТУШЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1952 году в кубанском городе Гулькевичи. Поэт, прозаик, публицист. Проходил срочную службу в составе группы советских войск в Германии, был офицером Министерства внутренних дел СССР. С военной темой связан и по работе в качестве корреспондента газеты «Советский патриот» и журнала «Советское военное обозрение», в которых публиковались его репортажи, в том числе из «горячих точек». Член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Живет в Москве.

как будто всем погибшим
она родная мать…
Над той могилой общей
одна на всех звезда.
Стоит старушка молча
и смотрит в никуда.
И крестится. Забыла
церковные каноны —
знать, братская могила
святей любой иконы.

ФЛЯГА НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА

На моей ладони — фляга,
а на фляге вбита дата:
в сорок первом, бедолага,
ты легла в ладонь солдата.
Ты не раз его спасала
и от жажды, и от пули:
эти пули (их немало)
по твоим бокам скользнули.
Ты водой его поила,
а, быть может, чем покрепче,
ты в атаку с ним ходила,
чтоб ему было полегче…
Вы и в плен попали вместе.
Оказалась ты в Сибири,
в позабытом Богом месте,
где тебя и позабыли.
А, быть может, твой хозяин —
то ли Ганс, а то ли Генкель,
у воронежских окраин
был уже поставлен к стенке…
……
Я держу тебя за горло —
правнук русского солдата,
понимать мне это горько:
ты ни в чем не виновата.
Я хочу тебя наполнить,
но вода о том не знает,
про войну она все помнит —
и сквозь память утекает…

ПОСВЯЩЕНИЕ СОЛДАТУ

(По мотивам к/фильма «Баллада о солдате»)

Утро летнее, солнце на всходе,
Золотится колосьями рожь,
Как же хочется жить без исхода,
Но морозит от холода дрожь.
Рев машин, танки в поле с крестами,
Колос ржи втоптан в грязь сапогом,
Поле вдоль, поперек испахали,
Страх в окопах смешался со злом.
Танки прут, лязг железа мурашит,
Жерла пушек плюются огнем,
Пули-осы по брустверу пляшут,
Пулеметным смертельным гвоздем.
Связи нет. Отходить нет приказа,
С бесноватым осколком война,
Рубит взрывами жизнь до отказа
И бросает в окопы до дна.
Рядом рухнул убитый осколком
Пышноусый седой старшина.
Все, один! Выть так хочется волком,
А в ушах визгом жжет тишина!
Все, что есть — ПТР, да патроны.
Заряжай! — сам себе дал приказ,
Небо слышит земли русской стоны,
Солнце в щупальцах войн метастаз.
Брюхо танка в прицеле маячит,
Выстрел первый почти наугад,
Черный дым из дыры змеем скачет
И горит, и горит черный гад!
Вот второй развернулся на выстрел,
Плюнул пламенем, рваным кольцом,
Зазвенело свинцовым регистром
Обожженное ветром лицо.
Снова выстрел — Горит мракобразный!
Что, не нравится?! — крикнул солдат,
Но разрыв за спиной безобразный,
Кинул парня в осколочный град…
Неба синь, взгляд уже уходящий —

КАЗАК ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ родился в 1962 г. в г. Хабаровск. В 1969 г. поступил в среднюю Болшевскую школу № 2, в 1976 г. был переведен в Болшевскую школу № 5 (сейчас г. Юбилейный Московской области), в 1977 г. закончил восемь классов. В 1977 г. поступил в ПТУ № 26, в г. Калининград (ныне г. Королев Московской области), окончил в 1980 г. по специальности модельщик по дереву. 1981–1983 гг. служба в Советской армии, 1984–1986 гг. служил в органах МВД, отдел милиции по охране дипломатических представительств в г. Москве. В 1990 г. поступил в РГУТиС, в 1996 г. окончил с дипломом по специальности «инженер-технолог по ремонту и изготовлению мебели». Живет в г. Ивантеевка Московской области.

Мать прости, что ушел воевать
Не простившись, словА не сказавши,
Просто я не умел, мама, врать.
Эхом дальней войны рваный ветер,
Похоронку принес на плечах,
Материнскому сердцу лишь пепел,
Лег на сердце в горючих слезах.
Черный вдовий наряд, горло криком,
Только губы сомкнулись плотней,
Где же ты похоронен мой милый,
Кто приходит к могилки твоей?
Каждый день за селом, на развилке,
Будет мать сына ждать день за днем,
В даль смотря, напрягая морщинки,
Мысли будут всегда лишь о нем…
В тех местах, где на братских могилах
В память врезаны вечным огнем
Имена, что забыть мы не в силах,
До потомков в сердцах донесем!

НЕ ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(По мотивам к/фильма «В бой идут одни старики»)

В небесах нет дорог фронтовых,
Не стоят вдоль дорог обелиски,
На земле, для потомков живых
На граните начертаны списки.
Списки тех, кто, срываясь в пике,
В вираже уходил от прицела,
Ствол штурвала сжимая в руке,
Кинув в пропасть горячее тело.
Тихо в поле, звенит тишина,
Салютуя солдаты застыли,
На погосте над пеплом звезда,
Черный хлеб, да сто грамм на могиле.
Свист ракеты, взлетающей в высь,
Перечеркнуто небо на взлете,
Гул винтов, прижимающих вниз
Травы в поле, ковыль в коверкоте.
Чуть короткий разбег и отрыв,
В след цветы лепестками махали,
Под крылом в горизонте обрыв
И земля на ребро с небом встали.
Солнце ликом склонялось в закат,
Сквозь деревья, косыми лучами,
На груди нет обычных наград,
За сражение в небе, с врагами.
Из динамиков крики и стон,
Хриплый голос — Прикрой, атакую!
Лешка, «черт» — не идя на обгон,
Фокке-Вульфа ловил в лобовую.
Комполка, как осипшей трубой

Сложным матом на связках играя,
Поднимал эскадрилию в бой,
Всю трагичность судьбы понимая.
Черный дым заползающий в рот,
Мысль мелькнула — Неужто подбили?!
Ног не чувствуя, кинуло в пот…
Ведь они тоже женщин любили.
Самолет по наклонной дуге,
Сизый шлейф закрывающий небо,
Карта тлеет и жжет в сапоге
И как в детстве, так хочется хлеба.
Вой движков, раздирающий стон —
Комполка не успел доложить!
Истребитель пронзил эшелон,
А динамик кричал — Будем жить!!!

Надежда АЖГИХИНА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Тетю Розу Вера увидела во сне в ночь на 9 мая. Она стояла у клумбы с распускающимися красными тюльпанами, в летнем платье в крупный горошек, и махала ей рукой. Вера прижалась к дереву, огромной старой черемухе, в крупных кистях-соцветиях, пряный запах забивал ноздри, она хотела крикнуть что-то тете Розе, но та уже исчезла. Точно, это парк в подмосковном поселке на их улице Ленина, только черемуха росла не там, а на Вокзальной, неподалеку от станции…

Вера проснулась. Заледенели ноги, она быстро сбросила два одеяла, нашла толстые пуховые носки. Забыла надеть вечером, последнюю неделю без носков спать было просто нельзя, несмотря на работающий масляный обогреватель. Могли бы не отключать отопление хотя бы в карантин.

Запах черемухи не проходил, наполнял холодную комнату.

Она пошла на кухню ставить чайник.

Неужели все-таки заразилась? — была первая мысль. Пишут, что при ковиде первым делом пропадает обоняние, главный угрожающий симптом. А вдруг наоборот? О вирусе писали разное, он непонятный, в сети обсуждают последствия его воздействия на нервную систему и органы чувств.

Вера взяла градусник, померила на всякий случай температуру. Но температура была нормальная, и голова ясная, несмотря на то, что допоздна вчера проверяла работы китайцев о Дне Победы и даже переписывалась с одной студенткой, лучшей из группы, которая упорно не понимала разницу совершенного и несовершенного вида. «Советский Союз побеждал в Великой Отечественной войне» — вместо «победил».

Китайцы изматывали, но ей было их жаль, многие не смогли вернуться домой из-за эпидемии, с ними никто не хотел общаться, и в доме аспиранта и студента они стали еще большими изгоями. Хорошо, что еще стипендию платили (из КНР заранее перевели университетскому центру деньги), но о привычной подработке, доставке еды или китайских закусочных, пришлось забыть, а как им без них. На уроках многие спали или играли в какие-то игры на гаджетах, она это видела, но старалась не раздражаться, и ставила всем положительные оценки. Пусть у них будет шанс.

АЖГИХИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА родилась в Томске, в детстве переехала с родителями в Москву. Окончила факультет журналистики и аспирантуру факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Член правления Московского представительства Союза российских писателей. Директор ПЭН-Москва. Член Женской рабочей группы Международного ПЕН-клуба. Печаталась в «Литературной газете», «Новом вторнике», «Московском комсомольце», «Новом журнале», журналах «Знамя», «Октябрь», «Юность» и других. Автор нескольких книг публицистики, книги прозы «Венок из одуванчиков» (2017), участница сборников женской прозы, в том числе «Брызги шампанского» (2010), «Я научила женщин говорить» (2017), «Маша минус Вася, или новый матриархат» (2018), составитель и автор сборников «Русский женский Декамерон» (2018), «Дочки-матери» (2019). Живет в Москве.

Тетю Розу она никогда не видела во сне. И в жизни видела ее последний раз, кажется, лет тридцать назад, уже больную раком, перед отъездом в Израиль на ПМЖ. Сын Григорий уехал раньше. Тети Тани тоже не было, она лежала в больнице с почечной недостаточностью. Вера мучилась молочницей, прибежала попрощаться. Помогать со сборами не пришлось — молчаливые сотрудницы еврейской организации все сделали сами. Роза продала организации квартиру за две тысячи долларов, которые аккуратно и со знанием дела зашила на глазах Веры в белье и подкладки. Кажется, тогда еще не разрешали вывозить из страны валюту.

Она сидела в огромном кресле, грузная, и тяжело дышала. Но глаза светились, как всегда, озорным блеском.

— На посошок?

— Я кормящая, мастит…

— Да ладно, ладно, — она мазнула рукой, — как будто я не знаю, как это. Только больше сцеживаться будешь. Смотри, что у меня есть, из Танюшкиных запасов. — И удивительно ловко, не поднимаясь с кресла, открыла шкафчик, достала поллитровку, налила в граненые стаканы, заставила выпить. Украдкой взглянула на дверь. — Мне не разрешают, глупые. Не понимают.

Бесшумно спрятала бутылку и стаканы, откинулась.

— Головку держит хорошо? — спросила о сыне. — Уже сидит? Ну, молодец, молодец! Как Виктор? Рисует? Видела его на митинге. Не отпускай его, он тебя любит.

Вера помнит, как эти слова укололи. Тетя Роза не спросила о ней, о том, как она себя чувствует, сразу о Викторе. Как будто ее и нет совсем. И когда она успела на митинг, ведь почти не ходит? Попрощались скомкано. Думали, на время, оказалось, навсегда.

Тетя Таня ненадолго ее пережила, совсем замкнулась, похудела, ей назначили гемодиализ. Перед тем, как лечь в клинику, она позвонила Вере, попросила приехать, и передала завещание на свою однокомнатную квартиру на Студенческой улице. На похороны Розы ее не пустили, это, кажется, было главное, о чем она искренне жалела. Велела себя кремировать.

К ящику в колумбарии Новогиреевского кладбища Вера приезжала каждый год, в ее день рождения — 7 ноября. Всовывала цветы в углубление, и вспоминала всех близких — похороненных в Забайкалье родителей, дедушку с бабушкой, тетю Розу, Виктора…Задавалась вопросом — почему она их всех, в сущности, так мало знала? Было бы что-то в жизни иначе, проживи они дольше? Смогли бы они с Виктором прожить долго и счастливо вместе?

Недостаток тети Розы Вера чувствовала очень остро после развода, в душе образовалась зияющая пустота, сын болел, работа не ладилась, денег постоянно не хватало. Ночами, умирая от усталости за тетрадками учеников, в постоянной простуде, она вспоминала тетю Розу, склонившуюся за пишущей машинкой, в бигудях, чтобы завтра идти на работу, с папиросой, окантованной неизменной помадой, и сон уходил. Все это было давно, в позапрошлой жизни, и вспоминалось с трудом.

Вера заварила кофе. Включила прямой эфир радиопрограммы, там говорили о начале праздничного воздушного парада и рекомендовали москвичам смотреть на него по телевизору и не подвергать себя риску, выходя на улицы.

Выключила радио. Все дни вынужденной изоляции, особенно когда стало понятно, что это надолго, и непонятно, как быть, а пропаганда подготовки к юбилею Великой Победы нарастала день ото дня, ей по-

стоянно хотелось отмыться, как будто лично участвовала в чем-то постыдном и липком.

Интересно, что бы сказала тетя Роза, увидев все происходящее. Наверняка нашла какое-нибудь словечко. Тетя Таня, она всегда была прямая, четкая, она бы припечатала емко и без купюр…

На самом деле дальней родственницей Вериной мамы была тетя Таня, медсестра военного госпиталя, к которой Веру в пятом классе отправили после гибели родителей на Дальнем Востоке. Тетя Таня делила просторную трехкомнатную коммуналку в «генеральском доме» на Фрунзенской набережной, занимала меньшую комнату, в двух других располагалась семья подполковника, с дочерью которого тетя Таня вместе служила. Роза, тоже фронтовичка, была третьей подругой, приходила к тете Тане почти каждый вечер.

Они были совершенными антиподами — тетя Таня, высокая, худая, как жердь, с неприбранными соломенными волосами, в неизменным бесформенном сером сарафане, и маленькая пышнотелая Роза, с голубыми тенями и яркой помадой… Жена подполковника ворчала, когда подруги засиживались допоздна в Татьяниной комнате и курили, или когда Роза вообще оставалась ночевать, и неизменно накрывала на всех завтрак, заваривала только что смолотый кофе и разливала его по тонким фарфоровым чашкам с ангелочками из красивого кофейника, в розовом халате с райскими птицами и оставшихся с ночи бигудях. На завтрак она резала колбасу, которой Вера никогда раньше не видела, удивительно вкусную, копченую, с тоненькими крапинками жира, открывала банку икры («из лечебного питания», которое привозил по пятницам утром солдат в форме), Вера не понимала, от чего лечится сосед. В их гостиной было много диковинных вещей, красивые вазы, инкрустированная перламутром этажерка, картины на стенах — в основном, пейзажи, гроты и приморские деревушки в золоченых рамах, и огромный рояль, на котором целая коллекция статуэток — греческие богини, орлы, снова ангелочки и коллекция слоников.

— Что такое трофейное? — спросила Вера однажды за завтраком, вспомнив непонятное слово.

Татьяна скривилась. Соседка сказала — это из Германии.

— Из магазина «Лейпциг»? — догадалась Вера, ее новая одноклассница рассказывала, что ее мать работает кассиром в «Лейпциге», где «выбрасывают» красивые кофточки и настоящие тонкие колготки.

— Из города Лейпцига, — строго сказала соседка. И перевела разговор.

Тети танина комната была аскетична, узкая панцирная кровать, вторую поставила для Веры, тумбочка, шкаф, полки с книгами, огромное старое кресло, стол. Идеальный порядок не принято было нарушать, за разбросанные вещи Вера немедленно получала выговор. Тетя Таня уходила из дома в шесть, поднимала Веру, заставляла делать вместе с собой зарядку, потом— обливание холодной водой, несмотря на насморк и Верины слабые попытки сопротивляться. У нее был резкий голос и тяжелая рука, она могла дать Вере подзатыльник за невыученные уроки или минутное опоздание и не разрешала открывать книжный шкаф, пока не выучены и не пересказаны уроки и не составлен план выступления на политинформации. Вера надолго запомнила ее строгий взгляд. И потом, через много лет с удивлением замечала за собой ту же придирчивость и занудство в общении со студентами, привычку по несколько раз повторять и требовать повторения сказанного…

Тетя Роза была неряшлива и говорлива, за столом без конца роняла крошки, которые тетя Таня спокойно собирала, а тетя Роза извинялась

и снова роняла свои вещи, казавшиеся особенно яркими на фоне ровной серой гаммы комнаты, были повешены второпях и криво, на страницы машинописи, которые она всякий раз приносила тете Тане, она нечаянно капала чаем и просыпала пепел. Таня монотонно его укоряла, а подруга в сотый раз просила прощения и обещала, что такое не повторится никогда. При всей разительной несхожести в них ощущалось какое-то глубинное родство и понимание, они часто продолжали мысль друг друга, не дослушав фразу до конца, синхронно сердились или радовались, только с тетей Розой, заметила Вера, тетя Таня улыбалась, переставала сутулиться. У тети Тани в шкафу всегда стояла бутыль медицинского спирта, они с Розой наливали по четверти стакана, запивали водой из графина, Татьяна приносила из холодильника соленые огурцы, они закуривали папиросы, читали стихи из тех машинописных страниц, которые приносила с собой Роза, и другие тексты, пугающие и непонятные, и разговаривали, не обращая внимания на Веру, которая не раз засыпала в кресле под звуки их голосов. Но какие-то обрывки заставляли проснуться. Это было про страшное. Трубы, собаки, север.

— Откуда трубы? Водопровод? Какой? Как у нас в поселке? — продирая глаза, спросила она.

Подруги замерли на мгновенье.

— Спи, дорогая, — нашлась тетя Роза. — Мы читаем письма о том, как глупые люди убивали других людей за слова. И это очень плохо. Это не должно повториться.

О том, что слова обладают реальной силой и могут принести беду, она поняла быстро.

Когда на уроке мужества, где показывали фильм про ленинградскую блокаду и дневники погибших от голода детей, она написала в сочинении, что, может быть, надо было отдать город, чтобы спасти детей и женщин, учительница задержала ее после урока. В тетрадке алела жирная двойка.

— Ты должна уничтожить это сочинение, — сказала она. — И никогда так больше не говорить, и не писать. И завтра пригласи в школу родителей.

На собрание пошла тетя Роза, тетя Таня работала. После этого вопросов к Вере больше не было.

Она поняла, что есть слова, которые лучше не называть при малознакомых, — вохра, смерш, заградотряд, вертухай, Алжир, и другие, она не понимала их значения, как и матерных конструкций, которыми и Татьяна, и Роза владели виртуозно.

— Расскажи про войну, — просила Вера, — нам задали про подвиги наших дедушек написать, а у меня нет дедушки — только вы с тетей Таней, она зенитчица, а ты вовсе партизанка, герой Советского Союза.

— Только один орден Красной звезды, не путай, — это ваш сосед пайки получает, — отнекивалась Роза.

— А что самое главное было на войне? Расскажи!

— Была любовь, — тихо ответила она.

От Розы, точнее, из ночных разговоров она впервые узнала о том, как убивали евреев. — Но за что, тетя Роза? И детей? За что? Почему немцы хотели убить всех евреев?

— Не все. Были те, которые нас спасали.

Вера не очень хорошо понимала, кто такие евреи. В классе были дети с самыми разными фамилиями и внешностью, били вне зависимости от этого, и издевались тоже. Но когда через пару дней она услышала, как главная хулиганка школы, отец которой недавно второй раз сел за грабеж, называет жидовским отродьем всеми презираемого за мелкое

стукачество хлюпика и зануду Веньку Шалтупера, Вера подождала ее на перемене в туалете, прижала к стенке, невзирая на Олькино могучее сложение, и, страшась самой себя, извергла все матерные слова, которые запомнила из Татьяниных и Розиных разговоров.

— Так ты тоже, я не знала, — оправдывалась ошалевшая Олька, — прости, больше не буду.

И правда, отстала от Веньки.

О родителях она вспоминала каждую ночь. Чаще всего, как они втроем идут по подмосковному поселку, вечером, от их улицы Ленина к станции, чтобы отправиться на электричке на Красную площадь. Цветет черемуха. Перед станцией дорога идет в горку, Вера отстает, и отец сажает ее на плечи, и кисти черемухи касаются ее лица, она отмахивается и крепко держит отца за шею, он что-то громко рассказывает, и мама завороженно слушает и смотрит каким-то необыкновенным взглядом… В электричке душно и тесно, потом они идут в метро, фигуры взрослых и детей, обтекаемые толпой, все торопятся, как и они, и вот, наконец, Красная площадь, она снова на плечах у отца, как и все дети, и смотрит, как в небе один за другим вспыхивают и гаснут, мерцая, разноцветные букеты… По дороге назад в поселок она крепко спит на руках у отца. Сколько раз, заново переживая это, она грызла молча тощую подушку и хотела умереть. Однажды, когда тетя Таня ушла на ночное дежурство, решилась. С подоконника ее сняла тетя Роза

Взяла на руки, положила на койку. Откуда у нее такая сила?

— Твои родители все видят, не надо их огорчать, — она гладила Веру по волосам, по мокрым щекам, — ты должна думать о том, чтобы они быть тобой довольны…

Она запела на непонятном языке, и Вера уснула.

Через несколько дней случился День Победы, в сквере на набережной цвела черемуха, и Вера вместе с тетей Таней, тетей Розой, соседями и еще целой толпой, нагрянувших в квартиру знакомых, пошли на Садовое кольцо. Движения по Садовому не было, из всех переулков в море людей на главной магистрали вливались новые ручейки, и двигались по Метростроевской к центру, люди несли цветы, пели и плакали, рядом с улицей Тимура Фрунзе громыхнула пушка салюта, потом еще, с другой стороны, и вот уже все небо в ослепительных лучах и искрах, им нет конца, и море людей тихо колышется, как будто море, и дышит, дышит… Тетя Таня и тетя Роза крепко держат Веру за руки, у нее мурашки по спине, и каждый взрыв искр отзывается в висках и в сердце…

После Дня Победы она заболела, не простудой, врачи нашли ревмокардит и положили в клинику на Пироговке, потом отправили в санаторий, где она провела почти год и узнала много интересного и страшного о жизни в советских интернатах. Дисциплина, воспитанная тетей Таней, а также расширенный, благодаря тете Розе, словарный запас помогли продержаться и добиться уважения в новой среде.

А через полтора года ее забрал в свою семью папин брат, капитан дальнего плавания, получивший квартиру в Москве на Юго-Западе.

В старших классах она чаще приезжала после уроков, сославшись на общественную работу, не к тете Тане, а к Розе, на Арбат.

С тетей Розой она могла поговорить о том, о чем с тетей Таней не решилась бы никогда — как предохраняться, что делать, если парень изменил с подругой, или когда на комсомольском собрании требуют публично осудить невиновного. Тетя Роза слушала ее исповеди часами, качала головой, поила чаем, роняя иногда в заварку пепел, успокаивала.

— Оставайся всегда собой, это самое главное. Не бойся потерять. Самое страшное — потерять себя. Жизнь длинная.

Роза сгорбилась, все вечера печатала на машинке — дипломы и диссертации, а больше слепые ксероксы. Вера прочитала «Мастера и Маргариту», «Чонкина», «Колымские рассказы». Складывала перепечатанное в дорожные сумки. В других сумках хранились продукты — крупа, конфеты россыпью, папиросы. Иногда к ней приходили люди, молча брали заготовленное, уносили. Как-то Вера пыталась предложить помощь, но Роза ее резко оборвала.

На первом курсе педагогического (обе, Таня и Роза одобрили ее выбор), она познакомилась с Виктором. Виктор учился в полиграфическом, мечтал стать графиком, рисовал с друзьями на Арбате, его задерживала милиция, Вера вступилась за него как раз в момент милицейского рейда, и буквально вытащила его из патрульной машины, имитировав семейную сцену. И притащила сразу к Розе. Дома был сын тети Розы, конструктор из секретной лаборатории, они немедленно напились. И встречались потом почти каждую неделю. Потом Вера даже ревновала, что Виктор стремится к Розе слишком часто.

Они прожили почти семь лет.

Когда невестка недавно спросила, почему они развелись, Вера растерялась.

— Но вы ведь любили друг друга? — настаивала она.

Вера промолчала. Хотела было что — то ей рассказать, но передумала.

В канун 9 мая 1989 года Виктор погиб, разбился на машине. Они с друзьями торопились в Германию, на митинг против Берлинской стены. Бушевала перестройка, Виктор пропадал на митингах, рисовал плакаты гражданских акций, Вера пыталась найти детское питание для малыша, выбивалась из сил… На развод подала от обиды и одиночества, муж этого, кажется, даже не заметил…

Могли бы они жить вместе, останься он жив? Она так и не могла ответить сама себе.

Вера не заметила, как наступил полдень, время онлайн семинара с китайцами. Могли ли ей дать других учеников? Индусов, или хотя бы турок, их достаточно в образовательном центре. Или виной ее участие в протестных письмах против обнуления Конституции, которые многие преподаватели так и не решились подписать, и администрация просила не ввязываться?

Через три часа, измочаленная, она присела выпить кофе и передохнуть.

Тетя Роза и тетя Таня, что бы вы сказали сегодня, посмотрев на нее?

Почему она так мало с вами встречалась в последние годы? Да, тетя Таня не поняла перестройки, она осталась коммунисткой, ее моментом счастья была публикация предсмертного письма Бухарина в «Огоньке», она верила в социализм с человеческим лицом. И работа, которую Виктор послал на выставку к Дню Победы, не понравилась, где он их двоих изобразил — они с Розой за столиком в сквере, бутылка и граненые стаканы, в духе Пикассо, «Любительницы абсента». Работу не взяли, посчитали клеветой на образ фронтовиков… Розе, кажется, понравилось…

Не первый раз за время изоляции она возвращалась мысленно к прожитым годам, пытаясь разглядеть, что-то важное, ускользающее. Может быть, изоляция для того и была дана, чтобы остановиться и приглядеться к себе? Об этом они говорили с коллегами, после очередных заседаний в непривычном электронном режиме.

Почему ее жизнь сложилась именно так?

Почему она не вышла замуж снова? Об этом спрашивали ее подруги. Она сама не знала. Не то чтобы ни с кем не хотела встречаться, или не бы-

ло возможности, или сын был против, как раз нет. Но что-то в последний момент не складывалось, и по ее вине. С одним из несостоявшихся мужей она до сих пор созванивалась почти каждую неделю, почти дружила, а с его новой женой они ходили несколько лет на фитнес в один клуб.

— Ты продолжаешь его ждать, — сказала ей однажды гадалка, совсем давно.

Вера не поняла, отмахнулась. Кого еще? Она сама, сама все за себя решила, организовала уютный дом, продала дачу и помогла семье сына с ипотекой, наладила круг знакомых, и собственный покой… Но какая-то смутная мысль не отпускала все дни изоляции, и она застывала в кресле, с остывающей чашкой кофе, как будто вспоминая что-то важное, что никак не хотело вспоминаться.

Ближе к вечеру раздался звонок по городскому телефону, о существовании которого Вера успела уже подзабыть.

— Это Григорий. Сын Розы, помните? — и сказал, что хотел бы зайти, в Москве всего на два дня.

Вера поймала себя на том, что ничуть не удивилась.

И вспомнила, что они не виделись тридцать четыре года. Он приезжал забрать тетю Розу домой из смоленского постпредства, где бурно праздновали День Победы, и где были Вера с Виктором.

Он почти полностью поседел, но выглядел по-прежнему подтянутым, двигался стремительно, белозубая улыбка, совсем не на 73. Импозантный джентльмен. Европеец.

— Завтра День Победы, — и открыл коньяк.

— Я даже рада, что отменили официальные мероприятия, слишком противно, — сказала Вера. — Хорошо, что Роза не видит.

— Может быть, она и видит, — сказал Григорий. — А ты практически не изменилась. Такой же упрямый взгляд, и принципиальность…

— Но как ты сюда смог приехать? Ведь в Израиле карантин самый жесткий?

— Борьба с терроризмом не знает карантина.

Выпили.

— Всегда любил эклеры из кулинарии «Украины», у нас в Тель-Авиве так не научились.

Он снова наполнил рюмки.

— Ты знаешь, я его нашел. Своего отца.

— Кого? — не поняла Вера.

— Его звали Ганс Гиберт, лейтенант вермахта. Ему было 23 года. Мама сказала перед смертью, уже в Иерусалиме.

Молодой немецкий офицер встретил в оккупированном поселке под Смоленском Розу, у которой полицаи забрали брата. Брата отпустили, а в Розу он влюбился, поселил у себя на квартире, он был помощником коменданта поселка и потом несколько месяцев выдавал документы на разрешение покинуть поселок десяткам людей, в основном евреям. Когда по доносу в комендатуру направили проверку, он отправил Розу, уже на сносях, на телеге в соседнюю деревню, откуда она попала к партизанам. Роды были трудные, она едва не умерла. Командир отряда сам принимал Гришу, был фельдшером, и написал, что ребенок его. Вскоре погиб. Новый командир отряда, быстро сделавший карьеру после войны, взял Розу с собой в Москву в качестве личного секретаря. Его жена ее ненавидела, подозревала, что Гриша от него, и в конце концов Роза ушла работать машинисткой-стенографисткой в министерство, до самой пенсии.

— Он был единственный сын у матери, она умерла еще до конца войны. Никого из родных не осталось. Похоронен на немецком кладбище в Смоленске, там полный порядок, власти следят, и родственники приез-

жают. Чище, чем наши братские могилы. Непросто было узнать. Но ребята из немецких служб помогли. И наши израильтяне, конечно. Хотел узнать, как он погиб. Из-за мамы или иначе. Написано — при отступлении. И все.

— Что ты чувствуешь?

— Не знаю. Моей дочери, кажется, все равно. Она в кнессет собирается. Шансы высоки, между прочим. Жена на русском не говорит, она из Испании. Внучка в армии, в разведке. Как я? Нет, онлайн. Ловит хакеров. Снимается в феминистских клипах на ютюбе. Посмотри, он достал телефон, нажал на кнопки.

Юная Роза, только с фиолетовыми волосами и камуфляже, пела на иврите.

— Боже!

— Правда, похожа? Вот еще посмотри. На фото прямо в объектив смотрел Григорий, такой, каким она его впервые увидела в подмосковном поселке. Только стрижка другая. И форма…

— Послушай, так это…

— Перед отправкой на восточный фронт. Хотел быть физиком, учился в университете в Лейпциге. Я видел записи экзаменов. Круглый отличник. Интересовался аэродинамикой, возможностями полетов в космос. Жаль, что у меня нет сына. Может быть, ему было бы интересно. У тебя есть дети?

— Сын и внук. Он химик, как мой отец. И жена тоже. Работают в немецкой фирме. Теперь все на удаленке.

— Ты?

— Преподаю русский как иностранный китайцам. Скоро мы все будем говорить на русском как на иностранном, мне кажется. Может быть, так проще лишать все смысла. И совести тоже. Я подарила дому ветеранов телевизор. Тошно слушать. Особенно про Победу. Можем повторить, и все такое.

— Я много работал с заложниками. Коллеги даже удивлялись, почему мне удается. А мне иногда кажется, мы все заложники.

— Чем дальше от войны, тем больше врут. Мультики показывают про звездные бомбардировщики, студенты думают, что все это и есть кино, придумывают квесты про блокаду Ленинграда, в детсаду репетируют взятие Берлина… И некому уже им сказать… Все вооружаются, как в моем детстве, когда мы на уроках разбирали автомат Калашникова и готовились к войне с Америкой…

— Слушай, как я мог забыть! — он совсем по-молодому вскочил, аккуратно вытащил из портфеля картонную старомодную папку. —Это тебе, держи. Аккуратней только.

В папке оказалась только одна страница, старая пацифистская листовка, в желтоватых пятнах, что-то против дедовщины и милитаризма, несовместимого с перестройкой.

Григорий жестом попросил перевернуть.

Татьяна и Роза, в сквере у гостиницы «Украина» за столиком, початая бутылка и два граненых стакана, и огромный куст цветущей черемухи. Рисунок черным фломастером.

— Виктор просил передать. Мы встретились на митинге, потом пошли в бутербродную, он собирался в ГДР, с художниками. Меня из-за этого митинга выгнали из лаборатории, оказалось, к счастью, иначе бы мы с мамой никогда не уехали. Но тогда я очень переживал. Виктор быстро нарисовал и просил тебе передать до его отъезда. Прости, что не успел.

— Послушай, так он, оказывается, про меня…

— Про Виктора узнал позже, но тут меня начали в органы таскать, и мама заболела, потом мы были в подаче… Но я помнил, и даже увез с со-

бой, верил, что передам. Да, он про тебя все время думал. И думал, что вы снова сойдетесь, когда он вернется. Как хорошо, что ты оказалась дома. Ну, я пойду. Нет, сначала на посошок. Не известно, когда снова увидимся. Виктор знал, что ты его любишь.

Веру душили слезы…

— Не чокаясь.

Она кивнула, пытаясь что-то сказать.

— Мне несколько раз было очень плохо. И тогда я разговаривал с мамой, она приходила ко мне. И спасала. Даже когда это было невозможно. Я не верю в бога, ни в какого, я по воспитанию физик и атеист. Но я знаю, что наши самые любимые видят нас. И пока так, смерти нет. Я так думаю. Ты знаешь, я болен, давно. Врачи не пускали в Москву, особенно сейчас, эпидемия. Но я должен был тебя повидать.

Зазвонил мобильник, неожиданно, громко. Невестка с сыном сообщили, что у них антитела, и у внука тоже, оказалось, переболели еще зимой, а они и не знали, думали, что грипп, и они завтра готовы, наконец, к ней приехать и вместе отметить День Победы.

Григорий засобирался, достал из портфеля респиратор, перчатки.

— Ну, будь.

— Все будет хорошо! Приезжай! Ты непременно поправишься, и мы вместе…

— Да, непременно.

Он быстро обнял ее и ушел.

Вера вернулась к столу, не в силах оторваться от рисунка. Не заметила, как наступил вечер, как пищал переполненный сообщениями телефон.

Поздно вечером по городскому позвонил встревоженный сын, не понимающий, почему она не отвечает на месседжи, и еще больше взволновался, услышав, что Вера получила старое письмо от давно погибшего отца, которого он едва помнил.

— С тобой все в порядке?

— В полном, — спокойно ответила Вера. — Я узнала, что он меня всегда любил.

— Слушай, ты устала от своих китайцев, я попрошу своих немцев тебе новое снотворное достать, у них многие на него перешли в эпидемию.

В эту ночь она впервые с начала эпидемии заснула легко и спокойно. Ей снилось, как они идут с родителями с улицы Ленина к Вокзальной, она на плечах отца, и ветки черемухи касаются ее лица.

ИНВАЛИДЫ

Помню немногих,
Больше всех одного.
Он кривой и безногий
И не пел ничего.

Он катился на полке,
На подшипники вбит.
Я не помню наколки,
Помню, что не убит.

Чей он был, я не знаю,
И не видел, чтоб пил.
Он, стараясь, по краю
Тротуара катил,

Где, как лодку, качает
Неумытый асфальт,
И мальчишки стреляют
Неумелое «Хальт!».

Сам худой и потертый,
Безнадежный пиджак…
Не носил гимнастерку.
Разговаривал так:

«Ты, пацан, чей ты будешь?
Что ты делаешь тут?»,
Как объедок на блюде,
После «Гитлер капут!».

От земли мне по пояс,
И тянуло присесть.
Он военным, не кроясь,
Отдавал снизу честь.

Их потом будто смыло.
Мы остались одни,
Те, кого не убило,
Дети после войны.

Их свели, чтобы лучше
Было жить, веселей.
Мы живем, как над кручей,
И становимся злей.

ФАБРИКАНТ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1947 г. во Львове, окончил Политехнический институт. Выпустил книги «Стихотворения», «Сгоревший сад», «Крылья напрокат». Первое место в номинации интернет-конкурса «Эмигрантская Лира», второе место на Всемирном фестивале Эмигрантская Лира-2018, второе место на фестивале «Пушкин в Британии», 2018. Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

Перебитые люди.
Перебита страна.
Поспевает на блюде
Этот мир, как война…

БЕЗ ВЕСТИ

Как они прощались, я сумею выдумать.
Теплое сложила, штопала носки,
Шла до пункта сбора или только из дому,
Рядом с валунами около реки.

До моста с пригорка там видна дорога,
Лет через пятнадцать я по ней пылил.
Тут у бабы Любы в доме было строго,
И стоял он прочно на краю земли.

Здесь ее законы, грядки от крылечка,
Воду из колодца я таскал ведром.
Погреб, керосинка, солнышка колечко,
Вместе с Вовкой рыжим пыльный велодром.

Деда я не видел, ордена-медали
Я не помню, было нам не до него,
Мы до поздней ночи у реки гоняли
И не понимали в жизни ничего.

Нам сквозь жизнь светило целый день светило,
Радостным букашкам в солнечной струе.
Те в смоле застыли, этим жизнь бескрыла,
А кого в коробку и на острие.

Как они любили и детей рожали?
Без вести пропавший, кто его найдет?
Провожали, ждали, письма отправляли
В министерство, Богу, может, повезет.

Я потом студентом хоронить приехал.
Бабушка лежала в штопаных чулках,
Несколько старушек, а мужчин до смеха…
Я стоял мужчиной у нее в ногах.

Хоронить обычно: плачут те, кто помнит,
Остальные помнят: их придет черед…
Больше не был. Домик о четверке комнат,
Бровар, дом четыре, рядом огород.

ЛЕНИНГРАДЦАМ

Блокада — блок ада, льда, голода, тьмы…
Считали враги: не удержимся мы,
Сдадимся, ведь нас раздавили.
Мы призраки первой блокадной зимы,
Мы узники страшной военной тюрьмы,
И все-таки мы победили.

Блокада — блок ужаса, голода, льда.
Сдавайтесь — кричали, скажите же: да!
Сдавайтесь, пока не добили…
Другие сдавались врагам города,
Но мы не сдадимся врагу никогда,
Мы выжили и победили.

Скелеты, дистрофики, тени теней,
Ожившая память трагических дней
Средь ветоши, смрада и гнили,
Мы не уступили ни пяди земли,
Мы жили, сражались и в землю легли.
И все-таки мы победили…

9 МАЯ

Этот праздник со слезами на глазах…

Мой отец пропахал всю войну
преимущественно в глубину,
в землю по бескозырку вгрызался,
чтобы в артналет уцелеть;
он, наверное, очень старался,
чтоб прошла, не заметив, смерть.
Он морпехом был, а морпехам
умирать на земле не к спеху,
западло, коль завалит глиной,
но однажды осколок минный
его сидор тощий пробил
и чуть до смерти не убил.
Он вернулся, а я уже был.
Я его поначалу боялся,
хотя он не кричал, не дрался,
лишь зубами порой скрежетал;
если бы не этот металл,
я бы раньше его полюбил.

КИРНОС АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ родился 7 августа 1941 г. в городе Козловка Чувашской СССР, куда из Москвы с заводом «Прожектор» была эвакуирована мама. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию. В армии и после демобилизации до 2000 г. работал врачом-хирургом. Поэт, прозаик, автор ряда книг поэзии и прозы. Член Союза писателей Москвы. Живет и работает в Москве.

Не тогда, когда сам стал отцом,
когда понял, как он безмерно
уставал. С посеревшим лицом
он в палате лежал больничной,
было все безнадежно, скверно,
жить ему оставалось два дня.
Он открыл глаза, — Все отлично,
— прошептал, ободряя меня.
Умер он девятого мая,
за окном расцветала сирень…
До сих пор я не понимаю,
что я чувствую в этот день.
На пять лет я уже дольше прожил,
вновь сирень цветет за окном,
но с годами он старше и строже,
а я рядом стою — пацаном.

ДЕТИ ВОЙНЫ

А я из того поколения,
родившегося на рубеже
мира совсем недавнего
и грохочущей месяц уже
до сих пор не забытой
страшной народной войны,
в которой беда была общей,
а все, что касалось вины
сугубо индивидуальной,
той самой, знакомой до дрожи
тем, кто с нее вернулся,
перед теми, кто не пришел,
с этим потом разберутся,
позже, намного позже,
когда война уже кончится,
и будет все хорошо.

В нашем дворе жили,
те, к кому не вернулись
с фронта отцы, я помню
их обжигающий взгляд;
были мы дети дома,
они были дети улиц,
и нас разделяли тени
тех, кто не вернулся назад.

Да, беда была общей,
но все же была неравной.
Уже три четверти века
прошло с начала войны,
но до сих пор ясно вижу
мальчишечью нашу ораву,
и нас, чьи отцы вернулись,
виновных без всякой вины…

ПАМЯТЬ

По ночам почему-то мне снится
Страшный город со словом «Война».
Обреченной, подстреленной птицей
Билась паника в хрупкость окна.

И предчувствием полнились вены,
Рассеченные напополам
Хлестким криком воздушной сирены:
— Это к нам!
— Это к нам!
— Это к нам!

И бессильны холодные руки!
И наивно желание жить!
Рифмовали привычно разлуку
С непривычным глаголом «убить».

И сплетались изломанно нервы
С черноземом кровавой земли,
Чтобы вдруг — миллионный, не первый! —
Прошептал, задыхаясь: «Дошли...»

Это было... Далекие лица
Отмолила у смерти весна,
Только снится, как истина, снится
Страшный город
со словом
«Война»...

* * *

«В атаку!»
Подняться.
Подняться,
Оставив живое.
С земли выдирать, словно дерево — корни,
Себя.
Чтоб других повести за собою,
Хоть все существо от предчувствия стонет —

ТКАЧ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА родилась в Днепропетровске. Поэт, переводчик. Автор десяти сборников стихов. Лауреат литературной премии «Золотое перо Тулы», дипломант Международного конкурса «Цветаевская осень» (2011), лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2020) и ряда других литературных конкурсов. Заведующая Домом-музеем В. В. Вересаева (Тула). Руководитель областного музейно-литературного объединения «Муза» при Доме-музее В. В. Вересаева. Член Союза российских писателей. Живет в Туле.

Что стоит подняться, и все: не вернуться.
Солдат, как побег, не врастает обратно.
И хочется тонкой травинкою гнуться
Под ливнем свинцовым, холодным, закатным…

Но бьется упрямо не сердце,
А воля
К победе, к свободе, к рожденью живого,
И он, поднимаясь, кровавою солью
Себя пропитает, чтоб выдохнуть слово:

«В атаку!»
И будет он скошен, и срезан —
Не колос, а подвиг солдата-героя.
Потом же, когда проржавеет железо
Его автомата,
Он станет
Травою,
Которой хотел быть в предчувствии смерти.

И теплой землей отогреется память.
И в мыслях останутся солнце и ветер,
А эта война лишь забвением станет…

Николай СМИРНОВ

НОЧНАЯ ПАХОТА

Паня из деревни Петряево в войну была бригадиром женской тракторной бригады. Пахали на колесных тракторах и днем, и ночью. Несильный, желтый, казавшийся Пане таким таинственным, свет полз по полю, озарял венец сырой борозды, так же таинственно передаваясь и душе ее, и мыслям. Над всей Россией тьма, ни огня, ни звезды в ночи, а она не спит; и в сами мысли не верилось иногда, их съедали рокот и тряска двигателя. И она, будто вдвигаясь в иное время, в иную страну, видела, как светлела и холодела в росе борозда к рассвету, и в свете фар появлялся колючий, низкий парок тумана.

Раз после полуночи, в самую темень она пахала холм, трактор натужно взбирался на бугрину, и там, лучами фар отрываясь от земли, слепо тыкался в близкое небо, такое же темное, как пашня. Вдали в нем ответно отзывалось сияние… всем мыслям призрачным, ночным, которые днем кажутся странными. И вдруг Паня увидела, как по качающейся реднине луча идет человек, будто завернутый в простыню. Христос, сразу же узнала она; спускается с неба спокойно, медленно и смотрит на нее синими глазами: она их больше почувствовала, чем разглядела. Идет — прошел над миром ночным и пропал.

Она никому не рассказывала о своем видении, боялась, что девчонки засмеют: «Еще бригадир!» Было это в 1943 году… Только матери. Мать лишь переспросила и стала молиться: «Грехов много!» И лицо у матери такое, будто это она видела Христа живого, а не Паня. Невыразимое лицо. Долго еще говорила, что грехов много, не могла успокоиться. Сыновей у нее убили на фронте. В старости мать ослепла. Паня забыла о том ночном видении на пахоте. Больше никогда не видела. Она умерла в Петряеве от рака. После нее в деревне осталась еще одна жительница, последняя, тоже слепая одинокая старуха Тараканова.

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1950 г. в дер. Коровино Ярославской области. В 1970 г. поступил на очное отделение Литературного института им. А. М. Горького. После окончания Литинститута жил с 1975 по 1984 г. в Ярославле, где занимался журналистикой, работал научным сотрудником в музее Н. А. Некрасова в Карабихе. В 1984 г. переехал на родину, в город Мышкин. Там работал в районной газете, подготовил четыре сборника стихотворений, продолжил работу над книгой «Шествием образов», состоящей из мелких рассказов и фрагментов, были написаны повести «Василий Нос и Баба Яга» и «Сын Коли-бога».

* * *

Весна сорок пятого.
Рядом с солдатским мундиром
платье в горошек.
Перрон.
Между войною и миром —
в оба конца перегон.
Снова врывается вечер
в сердце той самой весны,
где мы назначили встречу
в шесть часов после войны.
Воздух сухой и горячий
вспыхнуть огнями готов.
Что ж так отчаянно плачет
кто-то с букетом цветов?
Лишь ордена и медали
той сумасшедшей весны
помнят, как мы воевали,
как не вернулись с войны.
Мчатся составы столетий,
а фронтовые друзья
и не рожденные дети
смотрят из небытия.

* * *

Тает лед и на линии фронта.
Полыньи, запах пороха, дым,
и война для солдата — работа.
Будь же ты невредим!
Не мои тебя руки ласкают
и выносят живым из огня.
Где орудия смерть выдыхают —
там с тобою не я.
Тает снег, да не скоро растает,
а войне скоро ль будет конец?
В талой луже кораблик пускает
наш с тобой сорванец.
Невредим будь!
И пусть тебя встретят,
и еды принесут, и питья,

ХАРЛАМОВА ОЛЬГА АКОПОВНА родилась в Москве. По окончании Московского Финансового института несколько лет работала экономистом, затем окончила курсы и стала экскурсоводом в Московском городском Бюро экскурсий. Поэт, прозаик, журналист. Член Союза российских писателей, Международного союза журналистов. Лауреат литературных премий, поэтических конкурсов и фестивалей. Автор ряда поэтических сборников: «Женский календарь», «Праздник», «Утренний кофе», «Родные просторы». Живет и работает в Москве. Почетный работник культуры города Москвы.

приголубят тебя, и приветят —
это я.
Это — я.

* * *

В прошлое сознаньем улетая,
не смотреть, как вену бьет игла…
Вновь она — девчонка молодая,
сдуру от солдата родила —
и лежит, умаявшись работой.
Крик младенца, возглас: «Мужичок!»
В теле резко вздрагивает что-то
и уходит через мозжечок.
Замелькают белые халаты,
веки, пульс — неблагодарный труд…
Бывшую больную из палаты
вывезут и в морг передадут.
Утренняя, смену заступая,
спросит постовую: «Как дела?»
Та ответит: «Койка есть пустая,
в пятой — Богу душу отдала
женщина, чей сын погиб в Донбассе,
уж теперь отмучилась сполна»,
и смахнув слезу, глаза подкрасив,
подытожит сменщица: «Война».

Павел АЛЕКСЕЕВ

ВОЙНА

Война
ждала рассвета
долго-долго.

УШЕЛ

Пустое ведро
упало,
задето.

АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ родился в 1959 г. в г. Баку. Председатель секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор книг: «В поисках чуда», «Непричастные», «Среди сломанных копий», «Слово», «Большевик и борщевик». Печатается в журналах «Аврора», «Паровозъ», «Лед и пламень», «КЛАУЗУРА», «Квадрига Аполлона», «Невский альманах», «Под небом единым» (Финляндия), «Kirjalija» (Финляндия), «Новый берег» (Дания), «Берег Питера», «Царскосельская лира» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Гремит по асфальту
в отсветах лета.
Ушел
эшелон
на войну.

ЗВУКИ БЛОКАДЫ

Ждали
звонкого
лета,
А получили войну.
Гул самолетов,
разрывы снарядов
Резали тишину.
Прощались славянки.
Гудели заводы.
Грохали сапоги.
Били
сердца
в тревоге.
Слово одно:
победим!
Сжались
руки врага
на горле
Города
на Неве.
Песня
затихла.
Слова
замерзли.
Только
звучал
метроном.
Но ленинградцы
шептали:
Мы победим!
Победим!
Резал нож хлеб
на пайки
Со скрипом,
что не забыть.
Кашель.
Шепот
шагов
на Невском.
Мы
отстоим!
Отстоим!
Снег
укрывал прохожих,
Что
никуда
не дойдут.

Кто-то
поверил
в Бога,
А кто-то
вспомнил футбол.
Крики.
Удары
на поле
и возглас:
Мы победим!
Победим!
Вдруг
зазвучал
Шостакович!
Точно!
Ура!
Победим!
Много
сердец
уж молчало.
Но
тут взревел
металл.
Марьино!
Шлиссельбург!
Дубровка!
Огненный шквал!
Навал!
Мы победим?!
Прорвали…
Стало
всем легче
дышать.
Слезы,
рыданья,
печали,
Крики
и смех невпопад.
Имя
бессмертья
родилось.
Наш
Ленинград.
Ленинград!

Елена ЯНУШЕВСКАЯ

МАРИЯ

Ей обещали щербет:
в двадцать каком-то июня
едет — без папы — в Ташкент
рыжая Маша-Манюня.

Манку у брата крадет
с капелькой масла в тарелке,
тенью по полю идет —
тырить картошку, и мелкий…

те, кто дожили до мая,
но навсегда недоел…
Мы, обнаглев, обнимаем
как-то — слегка — между дел

тех, кто стоял на пределе,
тех, кто Гоа не просил,
тех, кто — без Prada на теле —
по головам не ходил…

Память — открытым подкастом.
Спорим, где — минус, где — плюс…
Тащит Мария щекастый
внукам в июне арбуз.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

И сказал мне, как есть, травматолог —
холодком разлилось по нутру:
отказалась, балда, от укола —
неминуемо, значит, помру…

Я с тех пор понимаю: раз триста
в сорок третьем мой дед умирал
(отучился на артиллериста
и не юркнул ужом за Урал).

Парадокс, но про главное все же.
Будь он жив, не спросила бы я,
вот так точно, до мозга скукожась,
или трусить — манера своя?

ЯНУШЕВКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА родилась в 1980 г. В 2002 г. окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Поэт, эссеист, автор книги философской прозы «Век без поэтов». Лауреат Второго международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман», финалист Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг», победитель Международного литературного конкурса «Центр Европы». С 2005 по 2012 г. — главный редактор литературно-философского альманаха «Филологос» (факультет журналистики МГУ). Живет в Подмосковье.

...Мое тело плелось на работу,
позабыв и планшет, и тетрадь...
Лица Трупов. Орудий блевота.
В триста первый дед шел умирать.

Софья РЭМ

* * *

Это не туча лишает блика лист, похожий на лес,
Это не зверь, что уснул под липой, и хвост его — манифест.
И это не то, что со мной случилось, в чем не был
я виноват,
И не отраженье, что не возвратилось, когда я пришел
назад.
Не то, как сказали нам, добровольцам — винтовки добыть
в бою.
Как я, без ноги, вспоминая кольца, ответил: я постою,
Как я постоял, побежал, и вышел, и всех повел за собой,
Не старый вокзал с одинокой лыжей, с которой никто
другой,
Не этот взрыв, навсегда и разом пустивший птицу ко дну,
Не взгляд жены, что имеет разум не спрашивать про
войну.
Нет, что-то другое. Не тень короче стала, как зимний день.
Не память моя возвратилась к ночи, откуда зияет тень.
Но только уходит солдат к другому — пусть через много
лет,
Даже когда умирает дома, где дочери и рассвет.
Туда, где ржевский котел кипучий, в землю своей земли,
В гнездо подснежников, в прах колючий, куда и братья
легли...
Нет, это не зимы летят, не годы, не люди и имена.
Это стучит в тишине свободы
В сердце земли война.

РЭМ СОФЬЯ родилась в 1992 г. в городе Иваново. Поэт, художник. Окончила Ивановский государственный университет и аспирантуру. Кандидат филологических наук. Работает в университете. Автор трех поэтических книг и ряда публикаций. Член Союза российских писателей. Живет в Иваново.

* * *

Не страна победила страну —
Мы в войне победили Войну.
Победили такою ценой,
что не снилось стране ни одной.
Мир спасенный,
оставь ложь и лесть,
и не лезь ты нам в душу, не лезь!
Нашу боль, нашу память — не трожь.
Не пытай: все одно не поймешь,
почему пред великой бедой
мы едины душой и судьбой,
почему рядом с нами в тот час
Вся Россия — до нас, после нас —
вся незримая светлая рать…
Мы не можем Войне проиграть.

РАССКАЗ МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Гремел с небес Левитан:
— ПОБЕДА! АКТ ПОДПИСАЛИ!!
Был тише церкви майдан:
все плакали
и молчали.
Мы слепли от слез — так жгло,
болело без утоленья…
И вдруг народ тяжело
вздохнул и — встал на колени.

ЯКУНИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА родилась и живет во Владивостоке. Окончила филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Работала преподавателем литературы во Владивостокском морском колледже. Автор семи книг поэзии, эссеистики, критики. Член Союза российских писателей, была председателем Приморского отделения СРП. Член редакционной коллегии литературных журналов: «Дальний Восток» и «Подъем».

КИНОХРОНИКА ВОЙНЫ

1

Кинохроника. Лица солдат.
Не холеные — лица как лица.
Помоложе — в петлице квадрат,
А постарше — пустая петлица.
Возле уха винтовочный штык.
А на ухе — та шапка-ушанка,
Что спасала в осеннюю стынь
До последнего вдоха под танком,
До последнего крика: «Вперед!»
Неживого уже пехотинца.
...Сорок первый истерзанный год.
Кинохроника. Родины лица.

2

Земля гудела под ногами.
Снаряды рвались тут и там.
Но детский голос в этом гаме
Звенел: «Ну, где ты, мамаа! Ма-а-ам?!»
И сердце в жалости сжималось,
И ярость рвалась к небесам,
Как будто в копоти пожаров,
В чаду искал я маму сам...

МАТВЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1971 г. По окончании профильного учебного заведения работал на рыболовецких судах в Каспийском море. В 1997 г. получил бытовую травму позвоночника. Инвалид 1-й группы. Поэзией увлекся в 2001 г. Печатался в самиздатовских сборниках города Астрахани. В 2004 г. стал лауреатом областного конкурса «С Тредиаковским в XXI век». Автор книги стихотворений «Вдоль и поперек» (2015) и книги публицистики «Практика» (2016). Публиковался в журнале «Зеленый луч». Член Союза российских писателей.

ДОБЛЕСТЬ

Примеряя опасность к лицу
И былинным грезя булатом,
Как завидовал я отцу,
Воевавшему в сорок пятом!

Ведь считалось, что наш удел —
Постигать жизни смысл, учиться.
А для воинских, ратных дел
Я чуть-чуть опоздал родиться…

Но как только афганский след
В нашей жизни взорвался грозно.
Вспомнил я, как твердил мне дед:
«Славно жить никогда не поздно!»

И когда я пришел с войны,
Смог отцу я сказать не горбясь:
«Мы такие же, как и вы:
Нас в веках уравняла доблесть!»

МАМЕ

На крутой, беспощадной войне
И привал — долгожданная милость.
Почему же так хочется мне,
Чтобы ты мне сегодня приснилась?

Ты приснись мне с весной на лице,
Долгой жизни безоблачной ранью,
Молодою невестой, в венце,
В час, когда не страшны расставанья!

Я увижу тебя среди снов,
Обниму — и не хватит дыханья:
Ныне, присно, во веки веков
Я — твой смысл и твое оправданье.

Разгорается зарево дня.
Поднимается яростный ветер.
Сколько лет проживешь ты на свете,
Если пуля догонит меня?

КАРПЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ родился в 1961 г. в г. Черкассы УССР. Поэт, прозаик, эссеист, телеведущий, ветеран-афганец. Награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, воинским орденом Святителя Николая Чудотворца, орденом «За заслуги», медалями. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор десяти книг стихов и прозы. Лауреат премии Николая Островского, лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет и работает в Москве.

НАГРАДЫ

Так случилось со мною: был отдан
Я, израненный, в руки врачей —
И искал меня новенький орден
Двести семьдесят дней и ночей.

Как тебя в этой жизни застал я?
Сердце сжалось, как огненный ком,
Между орденской красной эмалью
И засевшим в лопатке свинцом.

Мы идем грозовыми путями,
Ополчась на невзгоды и смерть,
И наградам, летящим за нами,
Так непросто за нами успеть!

Вот опять предо мной то мгновенье,
В тишине раскатившийся взрыв...
Может быть, награжден уже тем я,
Что остался в аду этом жив!

...Ты идешь по Нескучному саду,
Обещанием счастья маня...
Что же ты, дорогая награда,
Догоняешь так долго меня?

* * *

Поговори со мной, трава!
Скажи мне, где берешь ты силы?
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова.

Скажи, подружка, как дела?
Какие ветру снятся дали?
Меня ведь тоже поджигали —
И я, как ты, сгорал дотла.

Откуда силы-то взялись?
Казалось, нет нас — только пепел —
Но мы из огненного пекла,
Как птица Феникс, поднялись!

Скажи мне нежные слова.
Нас ждут и праздники, и будни.
Я снова молод, весел, буен.
Поговори со мной, трава!

Татьяна ГОГОЛЕВИЧ

КРУЖКА МОЛОКА

Старший лейтенант Евгений Смирнов получил задание расчистить аэродром неподалеку от Рославля. Дали ему всего 7 человек. Аэродром же, фактически, требовалось сделать заново, и это означало, что нужно будет «организовывать» местное население. Кроме того, в Рославле был глубокий немецкий тыл.

Самолет доставил старшего лейтенанта и семерых его подчиненных ранним утром в Озера и улетел. (Озерами называлась местность возле Рославля, где среди воды и лесов кое-где виднелись избушки, и так же назывался населенный пункт — поселок ни поселок, хутор ни хутор — эти самые избушки среди озер, одним словом). Евгений, почти уверенный в провале операции, собрал тем не менее местных жителей, и объяснил им, в чем дело. Для создания аэродрома нужно было найти людей человек 300 и 10 лошадей. Откуда взять столько людей в маленькой деревушке! Однако тут же, словно из-под земли, появилось 600 человек, и с ними было 30 лошадей. Люди собрались и ждали, что скажет старший лейтенант. И Евгений дал задание этим людям за один день расчистить аэродром, а кроме того, охранять деревню от поджогов, не подпуская к ней немцев. Люди спросили Евгения: где же им взять оружие? Евгений, сам не имевший понятия о том, где можно взять оружие, коротко приказал: найти. И люди нашли оружие, так же быстро и странно, как появились сами. Через час на аэродроме уже кипела работа, и дружина встала охранять аэродром — 26 человек с автоматами и винтовками. Потом уже пришли партизаны.

Все местные жители появлялись с самогонкой. Партизаны тоже пришли с самогонкой. Нужно сказать, что для непьющего старшего лейтенанта это представляло большое затруднение. Чтобы не обижать людей, приходилось принять ото всех по глотку.

А в 14 часов в хату, где остановился командир, зашли два немца с автоматами и спросили обер-лейтенанта Смирнова. Может быть, сказалась самогонка — склонившийся над картой старший лейтенант в первое мгновенье не понял, кто пришел. Немцы были одного возраста с ним, примерно одного роста, одного звания, а один из них, летчик, обер-лейтенант с наградами, даже был похож на него: пепельно-русые, редкого тона волосы, светлые глаза, еще что-то, неуловимое… Сначала старший лейтенант откликнулся на это, человеческое, а потом момент уже был упущен: автомат далеко, пистолет на ремне назад ушел и не достанешь его. Немцы же стояли на пороге, держа руки на автоматах. Перед русским лейтенантом — карта, карандаши, большая кружка с молоком, что принесли местные. Бессознательно, первым побуждением (как он потом анализировал), Евгений по-немецки предложил немцам молока. Немцы еще несколько секунд стояли у порога молча, затем, не переглядываясь, не

ГОГОЛЕВИЧ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА родилась в 1962 г. в г. Ставрополе-на-Волге (ныне г. Тольятти). Окончила Куйбышевский медицинский институт. Член Союза российских писателей. Автор книг прозы «Мой остров», «Средняя Азия. Взгляд против солнца» и книги стихотворений «Алые яблони» (в серии «Библиотека журнала «Город»). Живет в Тольятти.

выпуская оружия, подошли к столу. Наш офицер достал еще одну кружку, разделил молоко. Немцы сели, взяли по кружке молока и стали пить. Какое-то время молчали, затем летчик с наградами по-русски сказал, что они пришли сдаться в плен.

Потом оружие сложили и пошли в гарнизонный лагерь военнопленных. Собственно, лагеря не было, его открыли этими двумя немцами (но к вечеру их уже было 28 человек, все — добровольцы).

В 18.30 прибыли первые автомашины с нашей пехотой. Жители бросили работать и пошли встречать пехотинцев. К вечеру прибыл первый полк гвардейских минометов.

Позднее моему отцу, старшему лейтенанту Евгению Смирнову, передали слова того немецкого летчика. У них не было четкого плана сдаться в плен, решение пришло за кружкой молока.

Шел 1944 год.

1997–2003

«ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПИШЕШЬ О ВОЙНЕ?»

— Почему ты не пишешь о войне? — спросила я.

Мне тогда было десять лет. Мы целый день пробродили по лесу и теперь возвращались домой. Папа не сразу ответил. Он поправил заплечный мешок, сооруженный из плащ-палатки, остановился, подобрал у сосны толстый кусок слоеной коры, внимательно посмотрел на него. Он вырезал из таких кусочков лодочки и целые корабли. Мне полагалось просить его об этом, *уламывать*, — что составляло непременное условие строительства сосновых лодочек. Долгожданный жест — нагнуться за подходящим куском коры — был началом. В этот раз я его ни о чем не просила. Папа рассмотрел кусок коры, сделал было движение, словно собирался его выкинуть, как ненужную вещь, потом, вздохнув, положил к себе в карман.

— Потому что война не стоит того, — ответил он.

Звенели птицы, тоненько и чисто, как если бы струйка воды капала с большой высоты в фарфоровые чашечки. День стоял пасмурный и теплый. В такие дни стволы сосен кажутся особенно светлыми. Прозрачная тонкая пленочка розовато высовывалась из-под толстой морщинистой коры, как легкие крылья жука — из-под верхних. Светящаяся пленочка напоминала о солнечных зайчиках.

— Но ведь уже столько книг написано о войне, — возразила я, — о подвигах. И у нас дома — столько книг о войне. И вы, когда собираетесь, только о ней и говорите.

Папа, действительно, собирал книги по Великой Отечественной Войне, газетные вырезки, делал бесконечные выписки. Он ночами сидел, что-то выписывая из библиотечных документальных книг. Когда к нему приезжали фронтовые друзья, или просто приходили коллеги по работе, все настоящие разговоры были о ней, о войне. Случайно я узнавала много интересного. Но мне папа никогда не рассказывал про войну. Я думала, что он пишет книгу о войне, и вдруг узнала, что никакой книги не будет.

«Тогда зачем же ты постоянно что-то выписываешь?» — спросила я его. Он ответил: «Потому что я там был».

Когда наши войска вошли в Берлин, папа командовал батальоном. В моем представлении, он был героем.

— Почему ты не напишешь о каком-нибудь подвиге? — спросила я.

— Война — не подвиг, — ответил папа. — Война — тяжелая обязанность.

— Но ведь ты не был трусом. Ты совершал какие-нибудь подвиги.

— Да, я не был трусом, — сказал папа, — но подвиги на войне совершает каждый человек, если он не подлец. Но ни один нормальный человек по своей воле не захочет умирать.

Какое-то время мы шли молча. Пахло горячей смолкой, сухие сосновые иголки кололи босые ноги.

— Скажи-ка мне лучше, — перешел в контрнаступление папа, — почему ты не записываешь сказки, которые я тебе рассказываю? Ты мне обещала. Скоро я перестану тебе их рассказывать, и ты забудешь их.

— Ты сравнил, папа, — войну и сказки. Почему ты сам не записываешь свои сказки?

— Потому что, — сказал папа, — я не могу одновременно сочинять и записывать. И потом, это твои сказки.

— Про войну ты тоже не можешь сочинять и записывать? — спросила я.

— Про войну ничего не надо сочинять, — хмуро сказал папа, — ее уже сочинили.

— Тебе трудно написать про нее?

Папа помолчал.

— Да, мне трудно написать про нее.

— Знаешь, что, — придумала я, — давай, ты мне будешь рассказывать про войну, а я стану писать о ней.

— Нет, — сказал папа, — я не хочу, чтобы ты писала о войне.

— Почему?

— Потому что я не хочу, чтобы ты писала о войне. Я хочу, чтобы ты написала о соснах, какие они высокие, и как в них светло, и о сосновой коре, и о том, какие лодочки я делал тебе. Напиши, что шмели, шевелящиеся в клевере, похожи на неуклюжих полосатых медведей. Что в синих колокольчиках, как в настоящих, больших колоколах, желтые язычки. Напиши о том, что клевер не может расти без шмелей. И о том, как мы ловили рыб на острове, и как у тебя унесло удочку, и какая там росла повилика. Помнишь, она светилась в сумерках белыми цветами, и как ты испугалась бабочки-бражника.

— Я не боюсь бабочек, — сказала я, — просто не понимаю, когда насекомые так скрипят.

— Смотри, лесная герань. Ее всегда здесь было много.

Папа наклонился над полянкой, где рассыпались румяные сиреневые звездочки на хрупких, почти невидимых стебельках.

— Я и сам не люблю бражников, — сказал он. — Но все равно это интереснее войны, честное слово.

— Ты думаешь?

— Мне не нужно много думать о том, что я знаю и так.

— Расскажи мне про войну.

— Смотри, — сказал папа. — Вот дорога, по которой мы идем с тобой. Полвека назад мне было девять лет, и я тоже шел по этой дороге со своим отцом, и с лошадью Карькой. День был точно такой же, как сегодня, и мы

тогда накосили много сена, прямо с цветами — с геранью, с васильками, которые пахнут, как ты говоришь, как шоколад.

А вот здесь Карька вдруг заупрямился, и не пошел дальше. Заржал и остановился. Надо уже было спешить, а он не шел. Мы его уговаривали, гладили — бесполезно. И тогда отец стегнул Карьку кнутом, — а он никогда не бил лошадей. Карька повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.

А дома оказалось, что другая, чужая лошадь ударила моего младшего братика Веню копытом в лоб. И Карька это почувствовал.

— Но ведь это не про войну, папа.

— Понимаешь ли, — папа посмотрел на меня, — это важнее войны.

— А помнишь, — сказала я, — как ты рассказывал дяде Боре, как вы взяли рейхстаг, и нашли обгорелую Магду Геббельс и ее детей.

— Знаешь что, — мрачно сказал папа, — я просто терпеть не могу бабочек-бражников, и повилику не люблю, вредное растение, но давай лучше о них поговорим.

Какое-то время мы шли молча. Как будто бы собирался дождь. Встревоженные вороны поглядывали на небо и хлопали крыльями. Но дождь так и не начался.

Папа не умел долго сердиться.

— Напиши о людях, которые тебя окружают, — смягчившимся голосом произнес он. — Пиши обо всем, что видишь. О берегах, туманах, пароходах. О жизни, которую застанешь. О том, как сосны шумят, и что ветер пахнет горячей смолой. Напиши, как вчера приняла дождь, который шел над Волгой, за голубой дым.

— Почему ты сам не напишешь о берегах, туманах и пароходах, — начала было я.

— Я уже не смогу, — очень спокойно, объясняющим голосом, сказал папа.

— Почему, папа?

— Потому что в моей жизни была война.

12.2004

Александр МАКСИМОВ

НАЧАЛО ВОЙНЫ

22 июня 1941 года мне только через месяц должно было исполниться пять лет. В это время я жил с родителями в центре города Куйбышева на улице, где на противоположной стороне, наискосок, стоял дом-музей В.И. Ленина. Там, на первом этаже, находилась детская библиотека, куда я был родителями записан. Книги из этой библиотеки мы с матерью получали на время, и их мне читали.

Предстоял выходной день, родители собирались ехать со мной отдыхать за Волгу. Утром, в выходной, проснулся пораньше, меня покормили завтраком, и я выбежал на улицу, во двор нашего деревянного дома. Там уже играли ребята. К их играм я живо подключился. Залез на забор и сел верхом на него, обозревая двор.

Вдруг во двор забежал мальчуган и начал кричать: «Война! Война! Война началась!» Так все поняли, что началась война с Германией, потому что все последнее время шла подготовка к войне.

Я спрыгнул с забора и со всех ног побежал домой. Дома уже был включен радиоприемник, подаренный отцу за работу в городе Караганде, откуда мы три года назад переехали, — приемник марки 6Н1. Он принимал зарубежные радиостанции, которые уже сообщали о нападении Германии на Советский Союз.

А Москва до обеда ничего не сообщала. В полдень по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов с обращением к советскому народу о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну…

Много лет спустя, работая после окончания университета в НИИ на Маховой, я проводил радиотехнические измерения с одним лаборантом, который был старше меня лет на десять. В момент начала войны ему было примерно четырнадцать лет, и жил он с родителями — преподавателями МГУ на Моховой, в квартале, что слева от Центрального телеграфа. В день объявления войны он гулял в переулке возле телеграфа и случайно увидел, как по переулку к телеграфу подъехала машина, и из нее вышел нарком Молотов. Тот направился к зданию Центрального телеграфа. После этого прозвучало по радио историческое выступление Молотова с обращением к гражданам Советского Союза.

В первые дни войны Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин подписал ряд документов, в том числе и указ о всеобщей мобилизации. Мобилизации подлежали военнообязан-

---

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ родился в г. Караганда Казахской ССР в 1936 году. В 1938 году с родителями переехал в город Куйбышев (Самара), где находился в момент начала Великой Отечественной войны. В 1955 году окончил среднюю школу №3 в г. Капустин Яр Астраханской области и поступил в Горьковский государственный университет на радиофизический факультет. Работал в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) Академии наук СССР. Первая книга «Виноград для здоровья и долголетия» опубликована в 2015 году, а вторая «Воспоминания о Кап.Яре» в 2019 глду. Дипломант Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг». Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

ные 1905–1918 годов рождения. Отец был 1910 года рождения, и поэтому в скором времени его пригласили на призывной пункт, присвоили звание офицера инженерных войск и отправили в город Сызрань, в формируемую инженерную войсковую часть, для дальнейшей отправки на фронт.

Как и все военнослужащие, отец получил медальон: пластмассовый (эбонитовый) пенальчик черного цвета длиной 50 миллиметров, состоящий из корпуса и навинчивающейся крышечки. В корпус пенала вставлялась записка-вкладыш из пергаментной бумаги, скрученной в трубочку. В записку вписывались данные: фамилия, имя и отчество; год рождения; воинское звание; место рождения; данные о семье: адрес проживания, фамилия, имя и отчество жены; каким районным военкоматом (РВК) призван; группа крови.

Инженерный батальон в Сызрани сформировали, и железнодорожный состав отправился на фронт. Но под Мичуринском немецкие самолеты разбомбили состав. Техника сильно пострадала, а часть военнослужащих погибла. Отец остался жив. Позже, рассматривая сохранившийся медальон отца и вчитываясь в текст вкладыша, я пытался представить страшную картину бомбежки эшелона с военнослужащими, ехавшими на фронт…

В начале войны вышел приказ о сдаче населением в пятидневный срок радиоприемников в местные органы связи, на временное хранение. Перед отъездом в Сызрань отец сдал на почту радиоприемник, ему выдали квитанцию на получение его после окончания войны.

А после отъезда отца в Сызрань в соседних дворах и по всему городу Куйбышеву начали выкапывать «щели» — бомбоубежища. Мы, ребятня, тогда ходили смотреть и лазить в них. Даже обнаружили, что там живет много летучих мышей.

В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев (старинный волжский город Самара) становится запасной столицей отчизны. Туда эвакуируется советское правительство, иностранные посольства, ряд промышленных предприятий оборонного значения и крупные учреждения культуры. Я прожил в этом городе до весны 1943 года, пока отец не перевез нашу семью и меня, шестилетнего мальчишку, в Сызрань. В Сызрани отец в должности главного механика служил на военно-инженерной базе до 1951 года.

Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ

НЕИСПОЛНЕННЫЙ ВАЛЬС

Памяти санинструктора 28 Армии
Антонины Хониновой

Я знала дядю твоего,
Могу признаться смело:
Мы с ним дружили… Ах, всего
Полвека пролетело…
Постой, послушай. Я тебе
О дне прощанья с дядей —
Печальный знак в моей судьбе! —
Все расскажу…Присядем.
Когда войны железный град
Ударил в стекла громко,
И я пошла в военкомат,
Учителка-девчонка.
А там — людей полным-полно
И юных, и постарше.
Девчонки, парни — все равно! —
Сейчас готовы в марше
Идти на бой, куда зовет
И Родина, и Совесть,
И звонко музыка поет
О чьей-то славе повесть.
И духовой оркестр звенит,
Бабахают фанфары,
А у ребят беспечный вид,
Кружатся в танце пары.
Как будто вовсе нет войны
И смерти за плечами,
И этой слезной пелены
Пред нашими очами.
И вот тогда он подошел
Ко мне Оджа — твой дядя —
Смущаясь, разговор завел,
В глаза несмело глядя:
— Давай станцуем, Тонь, с тобой…
— Не надо! Ой, ну что ты!
Ведь мы пришли сюда, чтоб в бой
Отправиться… Заботы
У нас другие быть должны…
— Да нет же, Тонь, послушай:
Я буду там, среди войны,
Подстреленную душу
Вот этим вальсом оживлять;
Полетом, счастьем, светом…

ЭЛЬДЫШЕВ ЭРДНИ АНТОНОВИЧ родился в 1959 г. Народный поэт Калмыкии, член Союза российских писателей, председатель правления Союза писателей Калмыкии, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, почетный гражданин Республики Калмыкия, лауреат литературной премии им. Д. Н. Кугультинова.

Тогда меня ни чем не взять:
Ни пулей, ни наветом!
Вот так твой дядя говорил,
Взволнованно дыша,
Но я сказала: — Погоди!
Свой вальс тебе, Оджа,
Я в День Победы подарю,
А нынче, милый друг,
Я, как и все вокруг, горю
Бедой, тревогой… Вдруг —
Команда: — Р-рота становись!
И в криках, суете он шепчет:
— Помню… Я всю жизнь…
Шагнул…Пропал в толпе.
……
О, сколько я прошла в боях,
Лихая круговерть! —
В крови, коростах и бинтах
Пред мной плясала смерть!
Но вот пришла она, Весна
Победы над врагом.
И снова музыка слышна,
И светел старый дом.
К военкомату в тот же час
На звуки духовых
Сошлись неспешно те из нас,
Бывалых, фронтовых,
Кто уцелел, переступил
Кровавую черту…
А запах головы кружил,
А яблони в цвету!
Гремели вальсы, и душа
Сама просилась в круг.
И плыли пары… Но Оджа,
Но где же ты, мой друг?!
Он не пришел к нам в этот час —
Пропал без вести он…
Не возвратился — вальс не спас! —
К себе в родной хотон.
О, неисполненный наш вальс!
Я все ждала, ждала…
Я проклинала свой отказ
Тогдашний, как могла!
А вдруг бы этот танец мог
Спасти…Помочь… — как знать!
Среди смертей, среди тревог!
Солдату устоять!
Как смела я в последний час
Читать ему мораль…
О, дивный вальс, летучий вальс!
Темна моя печаль!
Я и сегодня жду его,
Прощения молю.
Я знала дядю твоего…
И по сей день люблю!

Перевод Александра Соловьева

Валентина ЛИДЖИЕВА

ПОГИБШЕЙ САНИТАРКЕ

Горит на мирном небосклоне ярко
С твоей пилотки красная звезда…
Прости меня, девчонка-санитарка,
За то, что не спасла тебя тогда.

За то, что не было меня на свете,
Когда ты, ясно глядя в синеву,
Сама людей спасавшая от смерти,
Упала вдруг на горькую траву.

И вся земля, объятая тревогой,
Склонилась над тобой в тот миг, скорбя.
И ты, прожив так мало и так много,
Погибла, наше счастье торопя.

* * *

Там, на войне
Там, на войне, умирали и пели,
Там не щадили себя…
Нежная девочка в грубой шинели,
Можно, я вспомню тебя?

Ты на войне…
Невозможно представить.
Только должна я опять
С силой напрячь свое сердце и память,
Чтобы тебя увидать.

Нежная девочка в грубой шинели,
Вижу тебя я в огне,
Слышу твой голос живой… Неужели
Ты до сих пор на войне?

Ты не вернулась. И я виновата
В чем-то всегда пред тобой…
Вижу во сне: ты в шинели солдата
Смело бросаешься в бой.

ЛИДЖИЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась в 1959 г. в г. Элисте Калмыцкой АССР. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи публиковались в разное время в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Литературная Россия», журнале «Студенческий меридиан», в коллективных сборниках, изданных в Москве и Элисте. Член Союза российских писателей. Автор книг «Обращение к ливню», «Из рода журавлиных», «Тридцать роз». Живет в Элисте.

Можно, тебя назову я сестренкой?
Слышишь, ждут дома тебя…
Там, на войне, пели гордо и звонко,
Юность в окопах губя.

Живы погибшие. Слышишь, запели
Снова все птицы для них…
Нежная девочка в грубой шинели,
Розы на платьях твоих.

Александр СОЛОВЬЕВ

ВЕК-ДИНОЗАВР

Двадцатый век, весь — войны, войны, войны…
Бомбежки, взрывы, выстрелы в ночи…
Фанатики, тираны, палачи —
Правители, которых мы достойны.
Пожарищ дым все также густ и смраден,
И глушит стоны бодрый стук литавр,
Век также первобытно кровожаден,
Как вымерший — от злобы! — динозавр!
О, посреди болотища гнилого,
Сминая брюхом сочные хвощи,
Как он хрипел!.. Как, изведясь почти,
Хотел он смять и в хруст сожрать любого,
Кто перед ним возник бы на пути!
Но ничего не вышло, не случилось…
Напрасно выл свирепый мезозой —
Та обезьяна с умной головой
Еще с высокой ветки не спустилась.
Так хочется и мне наивно верить,
Что завтрашнего гения родить
И в новом веке мамы не успели
И потому сегодня в колыбели
До сей поры не вымершие звери
Его не смогут, злобствуя, убить!..

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Рожденный после сорок пятого,
Я помню… сорок первый год!
Та высота, отцом не взятая,
В сыновней памяти живет!

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1946 г. на Урале. Астрофизик, доктор физико-математических наук Автор поэтических книг «Звезд рассыпанная соль», «Созвездия земного зодиака». Перевел произведения народных поэтов Калмыкии Д. Н. Кугультинова, Э. А. Эльдышева, С. К. Каляева, Е. А. Буджалова, В. Д. Нурова и др. Автор книг: «Звезд рассыпанная соль» (1994); «Созвездия земного зодиака» (2004). Член Союза российских писателей. Живет в Элисте.

Я помню низкий холмик дзота,
Изрытый струями свинца,
И в нем, вторым у пулемета,
Себя… под именем отца!
С его скупой на слезы болью
Я помню черный этот год.
Мост. Переправа. Самолет.
Вода, взбухающая кровью.
Его, отцовскими глазами,
Не как в кино или во сне,
Я видел надпись: «Партизанен»
Штыком по девичьей спине!
Я помню, как аэростаты
Пятнали небо над Москвой,
Как прямо с площади солдаты
Шагнули в свой последний бой.
И как с винтовками на танки
В атаку ринулся штрафбат,
Как хлеба мерзлые буханки
Делил до крошки Ленинград.
И как броней степная глина
Под Сталинградом запеклась,
И как в предместиях Берлина
Я ранен был в четвертый раз…
Все это помню, как солдат,
Уже давно отвоевавший,
На ощупь помнит автомат,
Ему в войну принадлежавший.
Рожденный после сорок пятого,
Я столько помню о войне…
Осколком меченого атома
Она пульсирует во мне!

Владимир НУРОВ

БРОНЗОВЫЕ СОЛДАТЫ

Мы не успели стать отцами
И детской люльки не качали.
Мы в десять были мудрецами,
В семнадцать стали силачами.

Когда свинцовые метели
Заполонили белый свет,
Мы жизни смысл уразумели:
Без Родины
Нам жизни нет.

НУРОВ ВЛАДИМИР ДОРДЖИЕВИЧ родился в 1938 г.. Народный поэт Калмыкии, заслуженный работник культуры РК и РФ, почетный гражданин РК. Автор поэтических книг «Солнечный колодец», «Светлый образ», «Корень жизни», «Вкус родника» и других.

Да, нами сделано немало,
В глаза вам смотрим без стыда,
Ведь наша сила поднимала
На воздух вражьи поезда.

Мы не успели стать седыми,
Но не в претензии к судьбе.
Мы поднялись в огне и дыме,
Навек оставшись молодыми ,
В звенящей бронзе отлитыми,
Чтоб вам напомнить о себе.

Перевод В. Ходулина

ВЕТЕРАН

Давно он в гуще мирных дел,
Солдат, герой войны минувшей,
Но бой, в котором поседел,
Как прежде, обжигает душу.
И смотрят, смотрят из огня
Друзья бессмертными глазами,
То одобряя, то браня,
Как будто живы они сами.
Тревожит, ранит этот взгляд.
Печально ветеран вздыхает.
И раны старые болят,
И в сердце боль не утихает.
Нам вечно помнить суждено
Друзей и подвиги, и муки.
И утешает лишь одно —
Уже отцами стали внуки!
Всегда любви прекрасен плен,
И, согласитесь, разве странно:
Не сгонишь правнуков с колен
Прославленного ветерана!..

Перевод Р. Казаковой

Лия ПЕТРОВА

КОМБАТ

Что в нем бравого, в дяде Васе?
Вон как гнет его радикулит!
Он едва до скамейки добрался
И, на солнышке греясь, сидит.
Не приметен он и не грозен,
Не речист, не широк в груди…
Он всю жизнь, небось, был в обозе —
Где уж быть ему впереди!
А сосед наш — другое дело:
До сих пор в нем и мощь, и стать,
И когда б ребятня захотела,
Он воробушка мог достать.
Но сосед к дяде Васе подсядет,
Стащит кепку, сомнет в комок,
Задымит и, тревожно глядя,
Тихо скажет:
«Держись, браток!
Ноют в непогодь старые раны,
Крутят так, что жизни не рад.
Только ты братву-ветеранов
Подводить не вздумай, комбат!»
Дядя Вася расправит плечи:
«Это все, сосед, ерунда!
Не боись, мы раны подлечим,
Мы еще с тобой хоть куда!»
И посыплется шутка за шуткой,
И пойдет за словцом словцо,
Разнесется по переулку
Смех состарившихся бойцов.
Опускается солнце к закату,
Мирно плещется тишина…
Балагурят сосед с комбатом.
А за их плечами — война.

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

Моя жизнь на сутки расчерчена,
Как город на улочки узенькие…
Хожу по земле не встреченная,
Живу на земле неузнанная.
Занимаюсь я всякой всячиной —
Очень важной и просто ненужной,
Плачу нежностью нерастраченной,

ПЕТРОВА ЛИЯ (Щеглова Лилия Ивановна) родилась в 1941 г. в г. Энгельс Саратовской области. Окончила Саратовский педагогический институт. Поэт, переводчик, драматург. Автор сборников стихов «След на земле», «Предчувствие», «Ожидание» и др. Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия.

Стыну радостью неразбуженной.
Для кого я живу на свете?!
О, мои не ласкавшие руки!
В снах шумят не рожденные дети,
Гомонят не рожденные внуки.
Голосящий перрон мне снится,
Паровоза гудки хрипатые,
Но уже позабыты лица
Тех ребят, что стали солдатами.
Похоронены. Искалечены.
Ветеранами стали грузными…
Мне невестою жить не встреченной,
Мне пройти по земле неузнанной.

Алексей СКАКУНОВ

* * *

Война давно победой отгремела.
Приют нашел солдат полегших прах…
Тяжелые последствия имела
Та радость со слезами на глазах.
Не все домой вернулись с поля брани,
На многих похороночки пришли!
Поэтому так боль нам души ранит,
Забыть безвинно павших не велит.
Она в крови у нас —
Пройдись на праздник взглядом:
Нет той семьи, где б боль не запеклась!
Мы помним черный снег под Сталинградом,
Болот Полесских непролазных грязь.
Мы помним, как с боями отступали,
Форсировали реки вплавь и вброд,
Как на Марухском горном перевале
Вмерзали намертво в снега и синий лед.
Мы помним Ленинградскую блокаду
И трупы на желтеющем снегу,
И юнкерсов бессчетные армады,
И огненную Курскую дугу.
Мы помним вас, погибших в схватке, в лицах!
Бесценны ваши жертвы и святы
По весям зарубежным и столицам
Воздвигнуты вам звезды и кресты!

СКАКУНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ родился в 1941 г. в п. Гигант Сальского района Ростовской области. В 1968 г. окончил Ростовский государственный университет по специальности «история». Стихи и поэмы публиковались на страницах газет и журналов Калмыкии и Ростовской области. Автор поэтических сборников «Серебряные гривы» (2004) и «Заглянуть за горизонт» (2004). Член Союза российских писателей. Живет в г. Элиста.

Как много вас, кто спит на поле брани
И с нашей жизнью неразрывно слит!
И потому нам память душу ранит
И забывать о прошлом не велит.

* * *

Земля стонала под ногами,
Качалось небо влево, вправо,
Когда солдаты сапогами
В атаке мерили державу.
Всего каких-то двести метров
Не тысяча, не три, а двести!
Но супротив стального ветра —
Длиною в вечность, честь по чести.
Их глотки раздирало криком —
Для устрашенья иль от страха.
В порыве яростно великом
Летели головы на плаху:
Упал один, другой споткнулся,
Согнулся, скрючился без стона.
И враг атакой поперхнулся :
Броском отважным батальона.
А на трехграннике горячем
Звезда упавшая горела…
И дома, задыхаясь плачем,
Вдова с детишками скорбела.

Николай ХАТУЕВ

СЫН СТЕПЕЙ ПЮРВА САТКУЕВ

Красивым, мускулистым телом
И взглядом соколиным, смелым,
Изгибом вороных бровей
Он — настоящий сын степей!
Пылая сердцем дерзновенным,
Он по дорогам шел военным,
Перед врагом не отступая,
Страну Советов защищая.
Пюрвя Саткуев слыл в разведке
Стремительным, лихим и метким,
Ведь он не раз в тылу врага,
Брал в плен живого языка.
Его безмерно уважали,
Калмыцким «Дундичем» назвали.

ХАТУЕВ НИКОЛАЙ СЕНЯЕВИЧ. Поэт, член Союза российских писателей, Клуба писателей Кавказа. Автор поэтических книг «Отцовский завет», «Три круга ада» и других. Живет в Элисте.

Он обладал орлиной хваткой,
Знал все фашистские повадки.
Сноровка храброго солдата
На пулемет с одной гранатой
Пюрвю в тот день в бою вела,
Чтоб он пресек безумство зла.
И он пресек ценою жизни,
Сыновний долг отдав Отчизне:
Без дела ордена, медали
В то время людям не давали…
В бездонном небе жаворонок вьется,
Трель к солнцу благородному несется.
А здесь, в степи бескрайней, у гнездовья,
Ковыль рассветный отливает кровью.

110-Я КАЛМЫЦКАЯ ДИВИЗИЯ

В неумолимый летний зной,
Степь от фашистов защищая,
Дивизия вступила в бой,
Сжигая танки негодяев.
Сорок второй жестокий год,
Сурово грохотал над Доном
Железо, люди, кони, скот,
В степи смешались опаленной.
Стрелять по этакой толчее
Легко, ведь целиться не нужно:
Огня калмыки горячее,
Пошли на танки, безоружны.
Как барсам, им неведом страх,
Хоть пули, словно пчелы вились,
С одной винтовкою в руках,
Они за степь родную бились.
Калмыцким львам-богатырям
По нраву страшный гул сраженья,
Дают отпор они врагам,
Не думая про отступленье.
И жизнь, и возраст юный свой,
На острие копья повесив,
Клич Джангра гордый, боевой
Они исторгли в поднебесье.
Их кровь кипящую тогда
Степь изнуренная впитала.
В реке текущая вода,
В тот день от крови бурой стала.
Хранит и ныне Дон-река
Страницы подвигов былинных,
Горчит прибрежная трава,
Суровым привкусом полынным.

Перевод с калмыцкого Василия Чонгонова

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Воспоминания об отце

Ставрополь в серо-голубой дымке ранней послевоенной поры…

Всматриваюсь, вслушиваюсь в него, вдыхаю горячие степные ветры, приносящие горькие, как полынь, и терпкие воспоминания детства. А бывает, нахлынут они теплым дождем, зазвенят как бубенцы, запрыгают солнечными зайчиками в шелковых травах — и день станет прозрачным и легким, как пушинка. И таким спокойным, мирным…

* * *

Мой отец ушел на войну в июне 1941 года и закончил ее в Берлине, расписавшись на Рейхстаге. В 45-м вернулся домой, в родной Ставрополь. Война оставила на нем отметину: в 41-м он был тяжело ранен, осколок снаряда застрял в нескольких сантиметрах от сердца — слишком близко для того, чтобы военные хирурги смогли его извлечь. Так и носил отец этот осколок в своем теле до самой смерти, испытывая постоянную боль в груди. Помню, как часто он вставал по ночам, ходил по комнате тяжелыми шагами, тихо постанывал, боясь разбудить домочадцев. Курил — это, казалось ему, унимало боль. О чем он думал в эти часы?.. Не отпускала его война. Но отец никогда и никому не жаловался, лишь говорил иногда: «Спасибо и на том, что остался живым. Повезло — оказался в мотоциклетном полку. В пехоте погиб бы: досталось ей лиха!»

Заветная тетрадь

Была у отца заветная тетрадь, которую он сохранил с войны. В моменты передышки между боями он записывал в нее слова песен, которые особенно нравились солдатам и часто ими пелись.

Помню, в первые годы после войны отец почти каждый вечер доставал эту тетрадь, садился в облюбованный им уголок комнаты — и тихо затягивал песню. Это было не просто пение: хорошего слуха и голоса у отца никогда не было, но в песне его чувствовалось другое — движение по

ТРЕТЬЯКОВА-СУХАНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА родилась и живет в г. Ставрополе. Поэт, художник-график, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. Член Союза российских писателей с 1997 г. Автор поэтических сборников «Anima» (Новопавловск, 1995), «Радиус» (Ставрополь, 1998), «Холодный дождь» (Москва, 2009), «Небесный спутник перелета» (Ставрополь, 2017). Лауреат премии губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства в области литературы за 2000 год, дипломант IV Всероссийского конкурса «Хрустальная роза» Виктора Розова (Москва, 2005), лауреат Международного литературного конкурса «Любви все возрасты покорны» (Тула, 2014). Награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», юбилейными медалями Министерства культуры РФ (М. Ю. Лермонтова, М. Шолохова).

течению памяти, погружение в личное, пережитое им на войне, которое не изживается временем.

Слушая отцовские песни, я всегда представляла дорогу: длинную-длинную, то засыпанную снегом, то бесснежную, скованную крепким морозом, а то ухабистую, омозолевшую от колес машин, с тощей пыльной травой по обочинам. Трудную долгую дорогу — уводящую прочь от войны.

Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела, —

до сих пор слышится мне откуда-то издалека родной голос отца.

Папа Котик-киса с усами. История смешная и грустная

В нашем доме стоял большой деревянный сундук. Был он своеобразным музеем семьи, в котором хранились вещи не всегда нужные, но дорогие сердцу: письма, пожелтевшие листки переписанных нот, старинные платья и башмаки, веера, дореволюционная кофемолка, пуговицы разного времени и еще много всякой всячины. На дне сундука лежала, завернутая в полотенце, бабушкина икона, которой благословляли ее на брак родители. На внутренней же стороне крышки мелом было написано: «Котик». Надпись эту давно, еще ребенком, сделал отец. Так ласково называла его мать, сокращая имя Константин: Костик — Котик. И это теплое, материнское «Котик» всегда согревало его, напоминало ласку ее рук.

Наверное, именно поэтому в письмах с фронта отец всегда подписывался — «Котик». А когда после короткой побывки дома по пути из госпиталя у него в 42-м году родилась дочь Оля, моя старшая сестра, он стал делать для нее в письмах особые приписки — коротенькие детские стихи, рисунки. И подпись тоже была особая, смешная: «Папа-Котик-киса с усами».

Оля не видела отца до окончания войны. Когда, после чтения очередного письма, она спрашивала у мамы: «Папа мой котик?» — та отвечала ей: «Котик!» Так Оля себе его и представляла… И когда отец наконец вернулся, Оля, увидев его, испугалась и заплакала — обиженно повторяя: «Папа мой — котик! Киса с усами!»

Конечно, потом она приняла отца и полюбила его. А сундук со временем совсем обветшал, его освободили от вещей и вынесли во двор — вместо скамьи. Снега и дожди, просачиваясь сквозь щели, смыли папину надпись на крышке. Потом рассыпался и сам сундук…

Когда я вспоминаю эту историю, рассказанную мамой, мне всегда становится грустно. Дети войны, не видевшие своих отцов долгих четыре года, — а кто-то так и не увидел их никогда.

Можно ли с этим смириться?..

Пушкин на войне

Мы с сестрой часто просили отца: «Расскажи о войне». Он задумывался, лицо его тускнело — видно было, что говорить ему о войне не хотелось. А потом вдруг как-то лукаво улыбался и предлагал: «Давайте-ка лучше почитаем Пушкина!»

Надо сказать, что отец был большим книгочеем, ценителем русской классики — Пушкина, Гоголя, Толстого. Пушкин был ему особенно бли-

зок: он знал наизусть множество его стихов, мог прочесть по памяти целые главы «Евгения Онегина». Нам же, детям, он чаще всего читал сказки — «с выражением», подбирая особую интонацию для каждого из героев. Слушать его было для нас праздником — спустя годы я буду стараться точно так же читать книжки своей дочери…

Заканчивая чтение, отец закрывал маленький, потрепанный томик Пушкина — но долго еще держал его в руках, словно бы не в силах расстаться с этой книгой. Как-то я сказала ему: «Папа, эта книжка совсем старая! Давай купим новую — „Сказки Пушкина“ с картинками!» «Обязательно купим. Но этого Пушкина я не променяю ни на что — я проносил его с собой всю войну! Он помог мне сохранить любовь».

Лишь став взрослой, поняла я всю глубину его слов: как важно — даже в самых тяжелых, критических обстоятельствах — сохранить в себе любовь, не потерять человека в человеке.

О том, как воевал отец, рассказали много позднее, уже после его смерти, наградные документы, выложенные в открытый доступ Министерством обороны. Немного косноязычные и, кажется, будничные строки: «В бою под городом Пятигорск под сильным артминометным огнем противника старший сержант Третьяков К.П. спас своего раненого военкома батальона, после чего вскочил мотоциклом на поле боя и героически уничтожил из автомата наступающую группу немецких солдат»…

Отца давно нет в живых, а его томик Пушкина занимает почетное место на полке в моей библиотеке. Открываю его и думаю — ведь таких историй много: сколько солдат пронесли в своих вещмешках томики Пушкина, Лермонтова… Книги, помогшие пережить им ужас войны — и сохранить любовь, сохранить человечность.

Оборонительный ров

Я родилась в послевоенный год. Помню, как в первом классе по пути к школе я проходила оборонительный ров, оставшийся с войны. Весь поросший жесткой травой, с утра он был глубок и молчалив. Но нас, детей, он непреодолимо манил: несмотря на строгие запреты родителей и учителей, грозивших взрывом уцелевшей гранаты и увечьем, после уроков мы забирались в него — и играли в войну. Здесь разворачивались бои, слышались залпы орудий, стоны бойцов, тяжелое дыхание санитарок, выносящих раненых… Завершалось все, конечно, победой, — нашим громким, почти ошалелым «урраа-а!» Помню, никто не хотел играть в этой игре роль «фрицев»: все ребята были бойцами Красной армии, а враги у нас были только мнимые. Много разных предметов находили мы здесь: гильзы от патронов, обрывки одежды, черенки лопат. Я нашла маленькую пуговицу со звездочкой, принесла домой и положила ее в подаренную отцом шкатулку.

Через некоторое время ров засыпали землей. Еще через какое-то время на этом месте построили дома, посадили тополя и липы. Цветной детский мячик весело катился по новым асфальтовым дорожкам… Жизнь — мирная, с ее высоким голубым небом, с облаками, замершими в безветрии, словно кроны цветущих деревьев в утреннем саду, с этой особой глубокой утренней тишиной, — снова воцарилась на земле.

Дети перестали играть в войну.

А пуговица со звездочкой до сих пор лежит у меня — вместе с драгоценными фронтовыми наградами отца: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»…

Елена СОМОВА

ФАШИСТСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ ЛЮБЕК

Мы все жили в одной большой трехкомнатной квартире: я с мамой и папой, Алеша со своими мамой и папой и дедушка с бабушкой. В войну мы не играли — только в раненых: — я их спасала, а Алеше мазала йодом коленки и пряники на обед ему берегла.

Лариса протянула вперед два кулака и спросила:

— Отгадаешь, в какой руке?

— В левой, — прошептала я.

— Вот и не угадала! Значит, делимся!

В горячих руках Ларисы оказались ароматные кедровые орешки. — А что ты шепчешь? Боишься кого? — Никого не боюсь я у бабани, сегодня все шепчут, и врач, и тетя Рая с тетей Клавой, слышишь? Шептались недолго, я бережно собирала слухом обрывки их фраз, — хотелось же быть во всеведении.

— Ребенку воздухом надо дышать, а они тут шепчутся! — сказала мама, и мы ушли. Но сначала прозвучало от мамы многозначительное: «Вот это да!..» на бабанино шептание прямо в ухо мамы.

Воздух был тряпочный какой-то: влажный и ветреный. Папа сказал, что тетя Надя станет матерью. Как именно становятся матерью, не сказал.

Тетя Надя была старшей дочерью родной сестры моей мамы, тети Таси. Дядя Кузьма, которого так боялась тетя Надя, потому что он сердился на нее, был мужем тети Таси. Они были узниками концлагеря в фашистской Германии. Это мне рассказала тетя Тася Девятого мая, потому что я уже большая и запомню.

Концлагерь — это лагерь пыток для военнопленных. Такой лагерь был в городе Любек в Германии. Я подумала: «Любек — это как любить, а там не любовь, а пытки».

Тетя Тася за год до моего рождения стала записывать в тетрадь воспоминания о концлагере. Дядя Кузьма был против, потому что жалел тетю Тасю: она плакала, когда писала и вслух зачитывала свои строки, очень сильно плакала, и даже я не могла успокоить ее, хотя всегда тетя Тася была рада нашему с бабаней приходу.

«…В концлагере было большинство русских, за колючей проволокой в три ряда, последний ряд был под током. Кругом часовые на вышках, около лагеря — охрана с собаками. В лагере более 1000 женщин и девочек и 60 юношей, — это люди из Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Калининской области, Каменноподольска, Белоруссии и одна женщина из Горького». Так записано в тетради тети Таси.

Этой женщиной из Горького была Таисья Александровна, родная сестра моей бабушки Анны Александровны Черкашиной по мужу, а родительская их фамилия — Шепелевы.

СОМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1966 году в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). Окончила филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, работает администратором и директором театра и цирка «Арт-Улыбка». Стихи пишет с раннего детства. Произведения публиковались в местной прессе и сетевых изданиях. Автор десяти поэтических книг, две из которых — «Птичий посвист навылет» и «Энергетический родник» — вышли в 2015 году. Живет в Нижнем Новгороде.

Тетя Тася рассказывала мне о войне, об издевательстве фашистов над военнопленными. В нашей семье со стороны папы был пропавший без вести отец тети Зои, племянницы моего деда Матвея Евсеевича Сомова, а со стороны мамы был еще один фронтовик, вернувшийся с войны живым — дядя Ваня, муж тети Марии, старшей сестры бабы Ани. Рассказы об ужасах войны и о доблести солдат были немногочисленны, но каждый День Победы разговоры были именно о борьбе против фашизма.

Тетя Тася напоминала, что не просто так рассказывает нам о войне, а чтобы мы знали и понимали, что война — это беда народа. А когда вырастем большими, чтобы не допускали войны, потому что страдания повторяются, проходят второй круг в жизни человечества, если о них забывают, а они с дядей Ваней боролись за мир и счастливую и мирную жизнь потомков, нас.

Дядя Ваня говорить о войне совсем не мог, потому что сильно напивался водкой сразу, как только речь заходила о войне. Он закашливался, и слезы бежали струями по его морщинистым щекам. Я сжимала глаза и говорила: «Ненавижу фашистов!», когда по телевизору ко Дню Победы показывали фильмы о войне, и на экране мелькали фашистские знаки и фрицы со статной выправкой широкими шагами чеканили и резко вылаивали свое «хайль!».

«В воскресенье давали суп с чечевицей. Кроме чечевицы в тарелках плавали окурки, спички и железная стружка… Хоть до смерти хочется есть…», — читает тетя Тася из своей тетради, — «…но до супа в такой тарелке не добраться», так солдаты насильно заставляли есть суп с железной стружкой и мусором и при этом жестоко избивали, не давая проглотить.

«Они бьют, а пленные русские поют назло фашистам песни, и поляки и бельгийцы — тоже пели солидарно с русскими наши песни».

Немцы не знали, что делать, их бесило и одновременно приводило в недоумение такое поведение пленных. Потом фашисты придумали бить резиновым шлангом и поливать из пожарного шланга всех сопротивленцев.

По субботам на неделю давали куличик хлеба с вареными отрубями и деревянными опилками или черствый хлеб с не промолотой рожью и горьким кофе. Суп давали с картофельными очистками и длинными узкими листьями, такими горькими — есть невозможно».

«У каждого военнопленного на куске черной шкурки был написан номер, у меня был — 108», — строки тети Таси, пронизанные острой болью, написаны со слезами, оттого буквы неровные.

«На грудь русским военнопленным пришивали к одежде три буквы: „ОСТ“, полякам на куске желтой материи — „Р“. Если каратели не видели этих знаков, то били до потери сознания и запирали в одиночную камеру, но это не помогало».

Все военнопленные, по словам тети Таси, срывали знаки — все чувствовали себя людьми, а не рабами, и некоторые даже пытались бежать из лагеря. Беглецов сразу расстреливали фашистские надзиратели, а если не удалось убить насмерть с первого раза, то несколько немцев подбегали и добивали раненных ногами или расстреливали в упор из автоматов.

Когда я подросла и пошла в школу, тетя Тася взяла обещание с меня написать о страданиях людей в концлагере, чтобы потомки читали и не допускали войны и фашизма на земле: такой кровью оплачена была великая Победа!

«Концлагерь находился в Германии, в городе Любек…». Сейчас город Любек — это центр Ганзейского союза, поражающий своими масштабами культурный центр Германии. Мало кто вспоминает о том, что земля Ганзейского союза щедро полита кровью русских военнопленных, поляков,

бельгийцев, французов, — узников концентрационного лагеря, находящегося в сердце фашистской Германии. Сердцем фашизма правильно называть именно те места, в которых свирепствовали варвары, выполняя установленную программу уничтожения наций.

Мой друг, несколько лет назад покинувший сей мир, Сергей Мурзинский, писал диссертацию о Гитлере, и, работая в архиве над документами — свидетельствами фашистского варварства, надорвал свое сердце фактами о деятельности врачей Третьего Рейха. Сергея прямо из архива увезли на машине «Скорой помощи». Это было в Санкт-Петербурге, примерно за год до его кончины, — сердце свое молодой ученый-историк Сергей Мурзинский надорвал именно там, работая над рукописями Третьего Рейха, где говорилось о трудах фашистских врачей над генетическим изменением людей мира для подчинения всех народов единой идее фашизма. Люди использовались для чудовищных опытов фашистских генетиков.

Грандиозные в своем величии постройки Любека сооружены на костях наших предков — воинов и жертв антифашистского движения.

«Узники Любека жили в бараках, расположенных в лесу, и на работу их гнали только лесом, чтобы никто из жителей немецкого городка не мог их увидеть. Одежда была в полоску, на ногах — тяжелые деревянные колодки, чтобы не убегали, косынки были тоже в полоску, постригали всех без исключения наголо. У поляков были желтые косынки, их гнали на работу впереди всех, затем — русские и все остальные».

Голодных, измученных людей лесом гнали на каторжные работы под холодными ветрами. Пока вели на работу, немцы покрывались потом, оттого что непрестанно били прикладами и ногами всех, особенно отстающих, но это не действовало, — люди пели «Интернационал» и русские песни. Забывали о холоде и голоде, думали о Родине. Фашисты сами удивлялись, что на русских ничего не действует, — откуда такая сила? А силу давала вера в победу.

Ни на одну минуту военнопленные не забывали о своей Родине. «В каждой барачной комнате насчитывалось по двадцать и более человек, спали на 2-этажных деревянных нарах при холоде, — топить было нечем. Построили баню, но они боялись мыться, прятались, говорили, что там отравляют газами». И действительно в Любеке, как и в Бухенвальде, узников концлагеря душили газами при попытке помыться.

«Во время бомбежки баню в лагере сожгли военнопленные. Был случай…», — пишет тетя Тася, — «…задумали бежать две девушки, одна сумела, и, если бы не собаки, она далеко бы убежала. Ее вернули, избили и бросили в одиночку на цементный пол, лишили пищи. Вторая девушка застряла в колючей проволоке под током» и сразу была убита фашистским надзирателем. «Она вскрикнула, часовой выстрелил, попав ей в грудь». Это видели из-за бугров земли пленники, испуганно прятавшиеся и тоже мечтающие, но не осмеливающиеся бежать. «После этого побега наказали всю палату, с кем жили эти две беглянки. Заставили до заката стоять по стойке смирно на припеке солнца без платка на голове, под окнами лагерь-фюрера. Головы у людей кружилась, они падали, их били и ставили на ноги снова под палящее солнце. Во дворе лагеря стояли три больших железных ванны: в 1-й и 3-й была холодная вода, во 2-й — кипяток. За побег и забастовки, которые в лагере случались часто, «купали» в этих ваннах: надевали длинную рубашку и бросали в холодную, затем в кипяток, и снова в ледяную воду».

Работать гоняли по всему городу — убирать город и чистить туалеты или вскапывать огороды у богатых немцев. Если у кого-то из богачей-фашистов погиб или стал калекой в результате этой войны родственник или знакомый военный, то эти родственники или знакомые немца на-

слаждались местью: избивали с особой жестокостью пленных, попавших к ним на прополку.

«Чтобы не идти к немцам в огороды на «работу», люди расчесывали себе руки и ноги, прокалывали кожу так, что получалось вздутие», — пишет тетя Тася, — «их клали в лазарет, и тем самым пленные спасались от издевательств».

Тетя Тася перед войной хотела уехать на Дальний Восток, тогда среди молодежи ходило поветрие — достигать успехов подальше от родного дома, добиваться всего самостоятельно. Но судьба привела ее в Харьков, здесь и застала война. Таисья Александровна работала в райкоме комсомола, занималась документацией. Когда началась война, всем работникам Харьковского райкома комсомола объявили об эвакуации и заставили быстро собираться. По дороге к вокзалу оперативно исчезло райкомовское начальство, — кто-то видел, как секретарей райкома сажали в отдельные машины и прямо от райкома эти машины испарились в неизвестном направлении. В вагоне поезда, таким образом, оказались только служащие. Поезд ехал очень долго, по рассказам Таисьи Александровны, коллеги начали беспокоиться, почему так долго едут они, куда их везут. Чем дальше отъезжал поезд, тем страшнее становилось за реальность. Люди беспокоились, пытались задавать вопросы, стучали в дверь вагона. Была одна остановка, во время которой люди набрали воды в пустые емкости, но уже тогда, на попутной станции, появилось подозрение на то, что людей везут не спасти, а казнить, поэтому бежали несколько человек, ехавших вместе в этом вагоне.

При посадке обещали в тихое место, где они переждут военные действия, — никто и не ожидал, что война продлится так долго, думали, за неделю уберут захватнические войска и объявят мир. Эшелоны прибыли в Германию. Люди были напуганы, по толпе понеслись слухи, что все они стали узниками.

Из записей тети Таси было ясно, что русские люди в концлагере вели подпольную работу, слушали радио и передавали записки о ходе фронтовых боев. Но каким образом эти записки передавались, теперь уже не узнать. Таисьи Александровны сейчас уже нет в живых. Она долго лежала парализованная, но при памяти. Однажды позвонила мне по телефону и, попрощалась, взяв с меня слово написать о каторжных страданиях людей, узников фашистского концлагеря и о святой борьбе человечества против фашизма.

«В лагере пленным ходить было не в чем, так люди добывали наждачную шкурку, кусками бросали ее в мойку с эмульсией, получались шелковистые ленты, их сшивали и сшили рубашки, майки, фартуки. Тапки сшили из ремней».

Люди старались выжить, как могли: от грязной одежды и обуви воспалялась кожа. В работу пленных также входила разгрузка вагонов. «При разгрузке сбрасывали 5—6 мешков с пшеничными хлопьями, которые делили поровну на всех. Мешки распускали, вязали из них кофты, шарфы, носки.

В лагере была девушка из Запорожья, переводчица, она писала списки комсомолок, стахановок, у кого братья в партизанах, и кто ругает лагерьфюрера. К людям, попавшим в списки, применялись пытки». Но это был единичный случай, остальные все военнопленные стояли друг за друга.

Кроме русских узников в лагере германского города Любек были поляки, французы, голландцы, бельгийцы и в стороне от лагеря расположили русских военнопленных. «Французы, голландцы и бельгийцы ходили по лагерю свободно, им было разрешено. Лагерь находился на окраине города, возле канала, по которому ходили маленькие пароходы. Полякам и русским в город ходить не разрешалось, нас не считали за людей, особенно русских…»

«Все думали, что фашисты взорвут лагерь, когда придут русские войска: был получен приказ об уничтожении всех пленных. Но наступил час победы. Это случилось 2 мая 1945 года, в этот день лагерь был освобожден. Город Любек был освобожден союзниками- англичанами». Эта запись тети Таси достоверна: — она же сама находилась в то время в концлагере.

До войны тетя Тася, как все ее сестры, носила фамилию Шепелева. В семье Шепелевых был еще младший брат, он без вести пропал во время войны. У меня хранится фотография моей бабушки Анны с ее братом Славой, пропавшим без вести. На фотографии они молодые, веселые. Своего сына, рожденного после отбывания в концлагере, тетя Тася назвала Вячеславом в честь погибшего брата. Вячеслав Кузьмич Макарчук стал военным, служил в советское время в горячих точках по пять лет: в Казахстане, в Афганистане. Он быстро вырос по службе. Я хорошо помню выправку дяди Славы и манеру держаться с достоинством.

После освобождения из концлагеря бывших узников вывезли в Польшу «на откармливание» для восстановления сил и здоровья. В Польше тетя Тася работала на хлебопекарне и в городе Познань познакомилась с дядей Кузьмой, вышла замуж, стала Макарчук. Родилась тетя Надя. В Польше детей регистрировали в трехлетнем возрасте — не раньше, — опасались гибели малыша от родителей—бывших узников фашистского Любека.

Уже на родине, в РСФСР, у дяди Кузьмы и тети Таси родились еще двое детей: дочь Лариса и сын Слава. О дяде Славе я рассказала в предыдущем абзаце. Дядя Кузьма тоже был узником концлагеря и в Польше оказался по той же причине, что и тетя Тася: — был едва живой, и его привезли для восстановления сил.

У дяди Кузьмы на Украине во время войны фашисты варварски сожгли прямо заживо запертую в их избе всю его семью: 30-летнюю жену и двух маленьких детей.

Я помню дядю Кузьму забавным старичком, который очень любил детей. Встречал нас конфетами и печеньем, приговаривая: «Козы маленьки…».

После концлагеря дядя Кузьма в Польше работал заведующим столовой аэродромного обслуживания. Срок воинской службы дяди Кузьмы — с 1929 по 1950 годы. Он прошел две войны: финскую и Великую Отечественную 1941–1945, награжден медалями «За взятие Сталинграда и Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

В 1929 году дядя Кузьма был стрелком Крымской дивизии, в 1945 зачислен в 265 истребительную авиадивизию, был на сверхсрочной службе.

В Польше мои родственники тетя Тася, дядя Кузьма и их маленькая дочь Надя жили до 1950 года, затем приехали в Горький.

Надежда Кузьминична родилась в 1947 году, зарегистрирована в 1949 в Познани. Сразу детей не регистрировали из-за сомнений в том, что ребенок выживет. Очень уж трудное было время.

Надеждой тетя Тася и дядя Кузьма назвали свою дочь, потому что верили в мир и надеялись на светлое будущее нашей страны. Тетрадь своих записей о варварстве фашистов в концлагере Таисья Александровна начала 2 мая 1965 года, за год и три месяца до моего рождения.

Если войну забудут, то она сама напомнит о себе. В сердцах людей всей Земли должна вечно жить память о жертвах фашизма во имя мира на земле.

МУСЯ

маме

Из ада везли по хрустящему льду
Дрожащую девочку Мусю…
Я к этому берегу снова приду,
Теряясь, и плача, и труся.
Полуторка тяжко ползла, как могла,
Набита людьми, как сельдями,
И девочка Муся почти умерла,
Укрыта ковром с лебедями.
А там, где мой город сроднился с бедой,
Где были прохожие редки,
Еще не знакомый, такой молодой,
Отец выходил из разведки.
Над Ладогой небо пропахло войной,
Но враг, завывающий тонко,
Не мог ничегошеньки сделать с одной
Почти что погибшей девчонкой…
Встречали, и грели на том берегу,
И голод казался не страшен,
И Муся глотала — сказать не могу,
Какую чудесную кашу.

РОВЕСНИКУ

Мой отец, корректировщик минометного огня,
Спит — кричит, встает — не ропщет,
только смотрит на меня.
А когда глаза закроет, то в атаку прет, как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе.
То ползет и провод тащит, то хрипит на рубеже…
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
На моем дрожащем веке — слезы кровью по ножу.
Ты остался в прошлом веке, я все дальше ухожу.
Отчего ж не рвется между наша общая судьба,
Это я огонь кромешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой, с командиром на спине,
И в Синявинских болотах сердце выстудило — мне.
Голос твой — не громче ветра… Не расслышу, не пойму…
Почему же я все это раньше не сказал ему.

БРУШТЕЙН ЯН БОРИСОВИЧ родился в 1947 г. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра, автор семи поэтических книг и более семидесяти публикаций в толстых журналах, в том числе «Юность», «Знамя», «Дружба Народов» и многих других, в антологиях, альманахах и литературных газетах. Лауреат конкурсов им. Н. Гумилева и Н. Некрасова, Грушинского фестиваля, премий журналов «Зинзивер», «Дети Ра», «Зарубежные записки». Лауреат премии «Поэт года–2013». Лауреат Международного литературного конкурса «Линия фронта» (Первая премия). Живет в г. Иваново.

* * *

Ленинградская моя кровь
И блокадное во мне эхо…
Жаль, что нет нигде маяков,
Чтобы в этот город уехать.
Ты полнее в стакан лей,
Буду пить я на сей раз
За сапожный сухой клей:
Он моих стариков спас.

ПЕРЕКРЕСТОК

Я утром вышел из пальто, вошел в седой парик.
Старик с повадками Тельца стучал в литую медь.
Шел ветер с четырех сторон, вбивал мне в глотку крик,
И шрамы поперек лица мне рисовала смерть…
В окно с наклеенным крестом я видел, что бегу
Там, где у хлебного стоит, окаменев, толпа —
На той проклятой стороне, на страшном берегу,
Куда всегда летит шрапнель, бездушна и слепа.
Смотрите, я улегся в снег, пометив красным путь,
И мамин вой ломал гранит, и гнул тугую сталь…
Я там оттаю по весне, вернусь куда-нибудь,
И позабуду, что хранит во все века февраль.
Я сбросил эту седину, я спрятал в пальтецо
Свои промокшие глаза, не бывшую судьбу.
От страшного рубца отмыл промерзшее лицо,
И в памяти заштриховал: по снегу я бегу…

СУХАРИ

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.
И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось —
Как солнце над ее землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.
Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»,
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапером на войне.
А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.
Она ушла морозною зимой.

Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промерзшею землей.
«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».
Не поднялась рука из дома вынести
Тяжелые ржаные сухари.

ТОЧУ НОЖИ!

Страшноватый, кривоватый, он ходил: «Точу ножи!»
Голос тихий, как из ваты, как из каменной души.
Мы дразнили инвалида, рожи корчили вдали,
И швырял он, злясь для вида, мерзлые комки земли.
Шляпу надевал из фетра, улыбался криво нам,
Молча раздавал конфеты осторожным пацанам.
А под вечер, водки выпив, не сдержав тяжелый вздох,
Он кричал болотной выпью: «Швайне, ахтунг, хенде хох!»
Бормотал, дурной и жалкий, про войну, про спецотдел,
Как боялся, как сражался, как десятку отсидел.
С воем задирал штанину и совал протез в глаза,
И стекала по щетине бесполезная слеза.
…Утро стыло в переулке и не видело ни зги.
За окном, в пространстве гулком, слышались его шаги.
Между нами тьма такая… Через время, через жизнь
Слышу голос полицая: «Подходи, точу ножи!»

* * *

Моя родня лежит во рву
Под городом Лубны.
Бывает, я во сне реву —
Последыш той войны.
Там по ночам горит земля,
Не забывая зла.
Моя еврейская семья
Бурьяном проросла.
Под ними горя три версты,
Над ними свет ничей…
И не приносят им цветы
Потомки палачей.

РАДИСТКА ШУРА

У моей соседки тети Шуры
На мешок похожая фигура,
Три козы и зуба вроде три,
Пять сынов раскиданы по свету,
Но от них вестей давненько нету,
Как ты на дорогу ни смотри.
А на праздник Шура надевает
Две медали, и бредет по краю

Старого безлюдного села.
Солнышко гуляет ярким диском…
На войне она была радисткой,
Но уже не помнит, кем была.
Пусть на Шуре кофта наизнанку,
Но зато она поет «Смуглянку»,
В ноты попадая через раз.
Говорит мне: «Выпьем самогонки!»
Старый голос — непривычно звонкий
И в слезах морщины возле глаз.

ПЛАЦКАРТНОЕ

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за батю-полицая…
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной полумгле.
Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос, как слепая птица —
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.
Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тетка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тетке говорил: «Моя голуба…
Не бойся, я разбойник, а не вор!»
Он растворился в городке таежном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика…»

СЕМЕЙНОЕ

В еврейском скудном городке,
Где проходила налегке
Белогвардейская пехота,
Где отдыхали от похода
Красноармейские полки,
Где вдаль смотрел из-под руки
Махно с подгнившего балкона,
И где сгущалось время оно,
А слово тихое «погром»
С утра сочилось по дворам…
В блокадном сером Ленинграде
Просили Бога — Бога ради
Спасти и как-то прокормить,

А дед не уставал корпеть
Над обезумевшей буржуйкой.
Там варево дышало жутко:
Вздыхал и прел сапожный клей,
Похлебка, лучшая на свете,
И для семьи, и для друзей,
И, понемногу, — для соседей…
В седых Синявинских болотах
Почти пропавшая пехота
Шла на прорыв, как на парад —
Остатки неподсудной роты.
И кто-то вышел, говорят.
Отец со снайперской винтовкой…
Как выжил он, не знаю толком.
Хрипел потом, во сне крича —
Еврей, похожий на грача.
А Ладога жила упрямо.
Мою едва живую маму
Полуторка везла с трудом,
Уже по кузов подо льдом…
А я иду в привычном ритме,
Собака обновляет след.
Кого теперь благодарить мне
За то, что вижу этот свет?

Наталия ЕЛИЗАРОВА

* * *

И. Н. Крупнику

Я звоню ветерану, он не из нашей семьи,
он чужого отряда, полка, но того поколенья,
где все те, что дорогой войны шли — те звались свои,
и неважно уже — в отступление иль в наступленье.
Я звоню человеку, ему скоро будет сто лет.
Он не помнит меня, хотя мы с ним недавно встречались.
Я звоню потому, что моих-то в живых больше нет:
дед убит на войне, прадед умер в санчасти.
Дед второй никогда ничего о войне
не рассказывал, только военные песни
пел, как выпьет, порою вполголоса мне,

ЕЛИЗАРОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА родилась в подмосковной Кашире. Окончила Московскую Академию предпринимательства при Правительстве Москвы и Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи публиковались в журналах: «Нева», «Юность», «Урал», «День и ночь», «Зинзивер», «Бельские просторы», «Homo Legens», «Интерпоэзия» и др. Автор поэтических сборников: «Осколок сна», «Черта» (на сербском, болгарском и русском языках), «Страна бумажных человечков». Творчество отмечено премиями: «Анны Ахматовой», журнала «Юность», «Поэзия в парках». Лауреат конкурса «Линия фронта», дипломант Тургеневского конкурса. Член Союза писателей Москвы.

а как я подросла, стали петь мы о летчиках вместе.
Но и он очень скоро покинул меня,
так война подкосила и смелых, и сильных, и стойких.
Ну, а тех, кто и выжил в пучине огня,
перетерли в муку жернова Перестройки.
Не с кем спеть… Я же помню о том, что «пора
в путь дорогу…», и пусть нас судьбина бросает
так далеко, как сможет, мы все умираем от ран,
но «Катюшу» споем угасающими голосами.

* * *

Памяти моей бабушки — Морозовой В. М.

Отца забрали. Мы бегом в подвал,
к соседке — тете Мане за оврагом.
У мамки после немец ночевал,
все по двору ходил казенным шагом.
Убило Таньку. Бомба… Самолет…
Так быстро — оглянуться не успела.
Она лежит, и кровь по лбу течет…
Была сестра, а стало просто… тело.
Потом-то многих немцы извели,
на кладбище не узнаны могилы,
а у других — так просто пядь земли,
и не узнать, где милые погибли.
Мне часто снится 41-й год,
что я сижу одна в сыром подвале…
И Танька, и немецкий самолет,
и мне 16 скоро будет, Вале.

* * *

Жили без Турций — Египтов: дача и лес за калиткой,
вин итальянских не пили, все больше водку,
или настойку на клюкве — свою, что в бутылке липкой
тихо стояла в серванте, а рядом — стопки.
Свечи оплывшие каждый год зажигали
и убирали в ящик, туда же — скатерть.
Так и лежали они и курантов ждали,
тостов за «новое счастье» (всегда некстати).
В Пасху встречались на кладбище: птичий гомон,
карканье тучных теток, золовок, братьев.
Жил да почил — вот и все этих мест глаголы,
крашены луком яйца совали сватьи.
А про войну зачем? Вспоминали редко:
«Нашу деревню тогда под Москвой бомбили.
Танька по полю бежала со мной, соседка.
Я вот жива, ну а Таньку тогда убили…»
«Ну а отца забрали. Да, на допросы.
Очень боялись мы, думали, расстреляют.
Долго тогда стояла сухая осень,
плыло по небу облако с журавлями».

* * *

Ни одной фотографии, даже на паспорт, нет.
Тосковать было некогда: дети, еще война.
Помогал только старый Иван Веденеич — дед,
а она все ждала, так на то она и жена.
А потом похоронка, мол, умер Ваш муж от ран,
похоронен там-то — приписочка от руки.
В Ленинградской области скинут в одну из ям,
поостави́ли раненых, да и ушли полки.
Оставалось им год еще бедствовать-воевать,
впереди великие цели: Берлин, Рейхстаг,
а сынишке младшему Мишеньке только пять,
он не знает еще про красный советский флаг.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Мы пришли в этот мир накануне жестокой войны,
черной свастики тень стала тенью невиданных бедствий,
и уже от рожденья мы были с тобой не вольны,
а верней, лишены льгот и ласк, что положены детству.
Все в стихах описать невозможно, не тот это жанр,
но семейные фото, — какие в них строгие лица!
В 45-ом казалось — потушен военный пожар,
да разруха и голод — от них ни уйти, ни укрыться.
И уже нас зовут с некой жалостью «Дети войны»,
и уже в нашу сторону теплым как будто подуло.
Нам с тобой повезло, мы хоть вспомнить о прошлом вольны,
а скольких уже нет, их безжалостно время слизнуло.
И работать пришлось на износ, чтоб не сгинуть стране,
и бороться с недугом, и верить: я сильный, я буду!
Никогда не забуду, как шел я по колкой стерне,
по холодной стерне, чтоб найти горстку зерен, как чудо.
И вослед Ветеранам войны тают Дети войны,
и об этот сказать все стесняются громко поэты:
мы гордились всегда нашей Родиной, были верны
ей всегда, и она, наконец-то, заметила это…

КОЖА ДА РЕБРА

Мне никуда уже, видно, не деться,
так и летать мне во снах дорогих;
дети, войною лишенные детства,
будут всегда уязвимей других.

ЕГИАЗАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ФАРАОНОВИЧ родился 1940 г. в Ялте. Поэт, автор многих поэтических книг. Член Союза российских писателей, председатель Ялтинского филиала республиканского творческого союза «Крымская ассоциация писателей». Член Межнационального союза писателей Крыма. Лауреат Государственной премии Республики Крым, Премии им. А. П. Чехова, Международного литературного конкурса «Линия фронта». Редактор поэтического альманаха «Ялос».

Будут отзывчивы, искренни, добры,
будут деревья высаживать в сквер,
(мамины вздохи: «кожа да ребра»,
хлебные карточки, тубдиспансер).
Город снесет блиндажи и руины,
город воспрянет от моря до гор,
в этих работах я детские спины
вижу во снах дорогих до сих пор.
Я в них летаю, как в детстве летал я,
мне не забыть, как, разруху кляня,
мама одежку простую латала
и рыбьим жиром поила меня.
Все позади. Но печать лихолетий
нам не стереть в зыбких снах дорогих:
детства войною лишенные дети
будут всегда уязвимей других.

ДЕТДОМ

Раздетый. То слякоть, то холод,
Подвал. Мы ютимся в углу.
И голод. Космический голод.
Наесться с тех пор не могу.
Что помню?.. Я палец слюнявил,
к муке прикасался — и в рот.
А друг мой, Ананиев Павел,
подался из детства на фронт.
Вернули. И снова бежал он.
Ругался вовсю военком.
Что помню?.. А помню я мало.
Отчетливо помню детдом.
Стоял трехэтажный. Безмолвный.
И строгий, как ночью поля.
Мой друг сиротою был полным,
и, значит, неполным был я.
Я не был детдомовцем. Не был.
И верил сильнее всего,
что если обрушится небо,
то мама поднимет его.
И рушилось.... И поднимала...
И вдруг задохнусь на бегу:
— Ах, мама! Прости меня, мама!
Когда ж я тебе помогу?..

О, ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ...

Если все мы из детства, то детство мое — из войны:
порт, разбитый торпедой, остался в нем, видно, навечно;
в трюмах баржи затопленной были ловить мы вольны
вот такущих креветок сачками из марли аптечной.
На суровую нитку таскали с причалов бычков,
море щедро делилось своими живыми дарами,
а еще мы спасали от местной шпаны морячков,
уводя их от взбучки, салаг, проходными дворами.

В гальке медных патронов и гильз от снарядов полно,
каждый шторм их на пляжи выбрасывал гневно и рьяно,
мы сдавали в утиль их и брали билеты в кино
и играли потом в Робин Гуда, индейцев, Тарзана.
О, трофейные фильмы, их магию мне не забыть,
может, это и было то самое нам дорогое:
безотцовщина, голод, ну что их сейчас ворошить,
мы не знали, подростки, что жизнь может быть и другою.
Поднималась страна из такого (дай силы!) дерьма,
так в работу впрягалась, что некогда и оглядеться,
а у нас во дворе созревали айва и хурма,
значит, были деньки, подсластившие горькое детство.
Это позже поймем, что его, нас лишила война,
что, живыми оставив, о скольких и скольких скосила;
и выносит на пляж мандаринные корки волна,
как патроны и медные гильзы тогда выносила…

Владимир ПЕРЦЕВ

ЧУЖОЙ

Жила вдова в своей лачуге,
а за бревенчатой стеной
мели метели, выли вьюги.
Война стояла за спиной.
С утра ходили дети в школу.
Она ходила на завод.
Дымы стелились, льнули долу,
огни вступали в хоровод.
И дни за днями, дни за днями —
то быт с обедом и бельем,
то посиделки вечерами
с подругами и бобылями,
а чаще с чадами втроем.
Страна тихонько оживала.
Сначала хлеб, потом жилье.
Всех понемногу оделяла,
в забой, и в космос посылала,
и в лагеря… Но жизнь ее
сложилась просто, без коллизий.
Сервант купили и кровать,
потом фарфор и телевизор…

ПЕРЦЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ родился в 1963 г. в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. В 1985 г. окончил Ярославское художественное училище. В настоящее время работает преподавателем в Ярославском педагогическом колледже. Автор пяти книг. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Ярославского регионального отделения. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Юность», «Континент», «Плавучий мост», «День и ночь», «Казань» и др. Лауреат двух областных литературных премий им. И. З. Сурикова. Лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» и конкурса «Линия фронта». Живет в г. Гаврилов-Ям Ярославской области.

И стали жить да поживать.
Когда квартиру получили,
дочь поступила в институт,
а сын в венное учили-
ще. Однако тут
Их поджидали перемены,
судьбы извилина, зигзаг;
вернулся муж, он за измену
два раза проходил ГУЛАГ.
Сутулый, молчаливый, старый.
Сидел в углу и «Беломор»
покуривал, а видел нары,
лесоповал… Он приговор
себе считал неоспоримым:
не умер, значит, изменил…
Сидел, и щурился, и дымом
Закусывал, и молча пил.
Никак не мог найти работу
и маялся, но все молчком.
Дочь приезжала на субботу,
стоит, расстегивает боту
и смотрит исподволь, волчком.
Забыла, не ждала, не знала.
Ан вот он, мрачный и чужой.
Сошел, увы, не с пьедестала —
из ада выходец живой.
Ненужный, лишний, нелюдимый.
Выходит ночью за порог,
Затянется и в струйке дыма
Крадется, тлеет огонек.
Жена давно похоронила
и молча, чувствуя вину,
его присутствие сносила.
Не поносила, не просила.
Она давно отголосила,
еще тогда, еще в войну.
Чего ждала, сама не знала.
Спала одна, жила вдовой…
Душа его не принимала,
он был чужой, совсем чужой.
Хворал, отлеживался, брился.
И все ходил, ходил, ходил…
При сыне раз разговорился,
одобрил выбор, похвалил.
Тень молодеческой осанки
в нем проступила и т.д.
Но вспомнил вдруг, как шел на танки
он с пистолетиком «ТТ» —
и помрачнел, ушел в свой угол.
И мать сказала: «Не жилец».
Весь почернел, весь стал, как уголь.
И шепотом: «Прости, отец».
Он умер через год, в июле.
У всех у нас один конец…
И пожалели, и вздохнули:
«Прости, отец. Прости, отец».

Анастасия АСТАФЬЕВА

ТЕМНАЯ НОЧЬ

Из-за непогоды, разгулявшейся накануне, праздничный митинг получился скомканным. Съежившись под злым напористым ветром, школьники жались друг к другу, как воробьи на ветке, и прикрывали покрасневшими от холода пальцами квелые букетики тюльпанов. Два десятка взрослых терпеливо ожидали окончания мероприятия и вполуха слушали речь главы сельского поселения. И только малочисленная шеренга ветеранов и тружеников тыла стояла под высокой бетонной стелой гордо и торжественно. Непогода горстями швыряла им в лица колкую порошу, силилась сорвать платки и шляпы, теребила седые пряди, распахивала пальто и куртки. Но они стояли твердо, не дрогнув ни единым мускулом, словно снова на рубеже, снова под пулями. Только предательски слезились глаза. От сильного ли ветра, от воспоминаний ли, взявших за горло… Кто разберет?

— В нашем селе осталось двое ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий. Дмитрий Николаевич Семенов и Матвей Васильевич Коровин. Обоим за восемьдесят, но посмотрите, какие это крепкие старики!

Глава тепло взглянул на ветеранов и улыбнулся в густые черные усы. Смущенные всеобщим вниманием, мужчины вытянулись во фрунт. Один высокий, сухой, в смешных круглых очках, пустой правый рукав пальто аккуратно засунут в карман. Второй — ссутуленный, корявый, опирался на палочку, но смотрел на окружающих остро, задиристо.

— Шестьдесят два года прошло, как окончилась война, — продолжал глава. — Наверное, она уже давно не снится вам?.. И давно нет той страны, за которую вы воевали. Все другое кругом. Но День Победы… этот день навсегда останется для вас особенным. И для наших тружениц тыла тоже. Все силы отдавали они для фронта, для победы, еще девчонками надрывались на лесозаготовках и в колхозных полях. Да, это праздник со слезами на глазах. Но это великий праздник. Это ваш День Победы. Мы поздравляем вас! Мы гордимся вами!

Глава поселения умолк. Заиграла музыка. Словно по команде, нарядные девчонки и мальчишки бросились вручать старикам цветы. Взрослые возложили к подножию стелы венок, все сфотографировались, и на этом торжественная часть закончилась. Вереница продрогших людей, осторожно спускаясь с пригорка, потянулась к своим домам, а ветераны и руководство направились к зданию клуба, где для них уже были накрыты столы.

Матвей Васильевич осторожно выдвинул левой рукой стул и неторопливо сел за стол. В зале громко играла музыка, густо пахло закусками и салатами, звенела посуда, суетились женщины, раскладывая по тарелкам горячую картошку.

АСТАФЬЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА родилась в 1975 г. в Вологде. Член Союза российских писателей с 2000 г. Лауреат Международного литературного конкурса «Линия фронта» (Первая премия). Живет в дер. Починок Костромской области.

Ритмично пристукивая по полу палочкой, к столу подошел Семенов и сел на угол напротив Матвея Васильевича, вытянув в проход несгибающуюся ногу. Из-за этой ноги он всегда садился с краю. Последствия тяжелого ранения, полгода по госпиталям, но ведь сохранили, не ампутировали. Своя нога, не деревянная, хоть и прямая, как ствол.

— Ну что, Василич, выпьем фронтовые сто грамм? — спросил Семенов надтреснутым стариковским голосом. — Или снова будешь фасон держать?

Матвей Васильевич судорожно сглотнул и крепко сжал в руке вилку.

— Я с тобой не пил и пить не собираюсь, — спокойно ответил он и ласково взглянул на моложавую соседку. — Я вот с Марией Сергеевной выпью!

— Кхе-кхе-кхе! — то ли засмеялся, то ли закашлялся Семенов. — Эх, Василич, как есть ты упертый, таким и помрешь.

Глава поселения звонко постучал ножом по бутылке и вознесся над столом, чтобы сказать тост. Застолье сперва затихло, прислушалось, затем аккуратно выпило, скромно закусило, а после второй-третьей отогрелось, зашевелилось, заговорило. Пошли в ход и песни, и слезы, и объятия, и воспоминания, и фронтовые байки.

Колченогий Семенов даже танцевал с дамами, отставив свой костыль, хорохорился, а потом, бледный, сидел на лавочке, долго и трудно отдыхиваясь. Но все равно кривил беззубый рот в улыбке, выкрикивал что-то соленое…

Матвей Васильевич никогда не понимал и не терпел его. Семенову всюду надо было сунуться, вставить свое словцо, влезть без масла. Ни годы, ни беды, ни болезни, ни утраты не изменили его. Был ли Семенов недалекого ума или таил за бравадой свои слабости и страхи — никому не ведомо. Матвей Васильевич уже не вдумывался в односельчанина до таких тонкостей. Между ними все было давно решено…

* * *

Нескончаемые холодные октябрьские дожди расквасили не только дороги и окопы, не только насквозь пропитали вездесущей знобящей влагой солдатские шинели, сапоги, нательное белье, но залили необоримой тоской саму душу.

От стрелкового батальона, в котором воевал Матвей Коровин, уцелела едва ли треть. Командир ранен. Боеприпасы стремительно иссякали. Из двенадцати пулеметов в бою оставались два. Походные кухни разбиты, из провизии только отмокшие сухари и вода из луж. Табак делили по щепотке, выкуривая одну самокрутку на пятерых. Голодные, грязные, злые от своей беспомощности, солдаты отлеживались в вязкой жиже размичканных сапогами окопов, ожидая давно обещанного пополнения и отбивая слабые вылазки немцев.

Противнику тоже приходилось несладко. Расколотые атаками Красной Армии на отдельные группировки, попавшие в окружение, немцы теряли не только свое войско, но и напористость, так же страдали от голода и отсутствия подкрепления.

От истощения сил, моральных и физических, никто — ни фашисты, ни красноармейцы — не могли нанести решающий удар. Все ждали морозов, чтобы, наконец, замерзли болота и встали дороги. Но пока что встало время. И ожидание было тягучим, сонным, болезненным.

Среди этого безвременья и прибыла в поредевший батальон небольшая рота, но назвать ее полноценным пополнением язык не поворачивался. Это была толпа изможденных, израненных солдат, уцелевших

в боях за городок, что располагался в сорока километрах от места, куда их теперь перебросили. Пытаясь прорвать окружение, немцы захватывали его, и дважды их оттуда выбивали наши войска. На третий не смогли, понесли огромные потери и были вынуждены отступить.

Вместе с горе-пополнением в распоряжение батальона прибыла тощая кляча, притащившая в телеге два ящика патронов, пол-ящика гранат, один пулемет, к которому не осталось запасных лент, и крохотный запас сухарей, вдобавок к уже имеющимся.

Страдающий от раневой горячки командир схватился за голову, на которую свалился этот «подарок», попсиховал, поорал, да что толку? Вновь прибывшая рота рассосалась по сырым окопам, смешавшись с «местными» солдатами, и, став неотличимой, также погрузилась в томительное, бессмысленное ожидание перемены участи.

Поговаривали, что к концу недели планируется общее контрнаступление, которое объединит разрозненные части, сгонит фашистов в «котел» и поможет освободить городок. Солдаты ворчали, что в атаку придется идти с березовыми дубинками, ну да русскому мужику не привыкать ходить на медведя с рогатиной.

Через пару дней по прибытии пополнения, уже в сумерках, Коровина вызвали к командиру батальона. Когда он вошел в землянку, там уже собрались вокруг грубо сколоченного стола три офицера, а чуть поодаль, присев у железной печки, грел руки рядовой, похоже, из новеньких.

Командир жестом пригласил Коровина поближе к столу и сразу заговорил:

— Ответственное задание вам, рядовой Коровин. Вот здесь, — он ткнул пальцем в развернутую на столе карту, — километрах в семи-восьми, стоит деревня. Вся она окружена болотами и лесом. Есть там немец или нет — мы не знаем. Ваша задача — тихо пробраться в деревню, разведать врага, по возможности вступить в контакт с местными жителями и добыть любой провизии. Картошки, хлеба… чего угодно. Иначе мы скоро начнем хоронить товарищей, погибших от голода, а не от пули.

Солдат, сидевший на корточках у печки, поднялся. Коровин взглянул на него и остолбенел.

— Вот, рядовой Семенов, пойдет с вами. Вы ведь знакомы? Земляки, кажется? — проговорил командир и улыбнулся одними глазами.

— Земляки, — едко усмехнулся Семенов.

И хотя никто не заметил насмешливого тона, Коровина словно плетью по лицу огрели. Он до хруста сжал правую кисть в кулак, но вида не подал. Приказ есть приказ.

Командир положил на стол по десять винтовочных патронов и по гранате-лимонке.

— Это все. Идти сразу. За ночь доберетесь. Если в деревне немцы, постарайтесь выяснить количество человек, наличие пулеметов, пушек. В бой не ввязываться. Языка не брать. Уйти незамеченными. С собой возьмете лошадь, чтобы привезти продукты… Все понятно?

— Так точно, — в один голос ответили бойцы.

— Выполняйте.

Семенов шел впереди и вел лошадь. В промозглой чернильной теми Коровин не видел ни его, ни коричневого кобыльего крупа, ни земли под ногами. То и дело он спотыкался, едва не падая, хватался за что ни попадя. Хорошо, что сильный дождь скрадывал звуки, а размокшие ветви ломались почти без хруста. Но Семенов злобно рычал на него, называл медведем. Сам он шагал, будто не касаясь земли. Упруго, ходко. И лошадь шла совершенно беззвучно.

Коровин плохо ориентировался в пространстве, брел наугад, но вместе с тем постоянно ощущал раздражающее присутствие Семенова, от чего у него внутри, во ввалившемся животе, чуть повыше пупка, свивался жесткий колючий клубок. Клубок становился все больше, плотнее, поджимал диафрагму, не давая полноценно дышать, и теснота эта, возникшая внутри, как будто сдавливала и другие органы, вызывая то тошноту, то тревожное томление под сердцем.

Так они прошли километров пять и оказались на опушке леса.

Словно им в помощь, дождь прекратился, плотная облачность внезапно расступилась. Скупой лунный свет облил открытую заосоченную долину, и узкую речушку, кривуляющую по ней, и отдельно торчащие голые деревья, и густые еловые гребни, взбирающиеся по холмам влево и вправо.

Там, за долиной, во вновь начинающемся густом буреломном лесу притаилась нужная им деревня. Но попасть туда можно было, только преодолев три километра заболоченного топкого пространства. И неизвестно еще, что или кого таят в себе и еловые гребни, и дальний лес.

Коровин вдруг уловил, как насмешливый взгляд Семенова скользнул по его растерянному лицу, и клубок внутри мгновенно вспух до огромных размеров, больно толкнув под сердце и сдавив горло. Коровин с трудом сглотнул злобу.

— Вот что, паря, я думаю, — заговорил Семенов, уже не глядя на него. — Ты с кобылой тут побудь, отдохни, а я налегке метнусь в деревушку, разузнаю. Думаю, на рассвете уже обернусь.

— Тебя за ночь до офицера повысили? Что ты тут распоряжаешься? — огрызнулся Коровин. — В бочажину провалишься, кто тебя за шиворот доставать будет? Вместе идем.

— Вот ведь упертый, — сплюнул сквозь зубы Семенов. — Лошадь только угробим зазря. Она и так едва на ногах стоит. Все! Сиди тут, — он лихо сбежал под угорок и негромко добавил оттуда: — Ну, жди с провиантом…

Коровину показалось, что голос напарника при этом неуверенно дрогнул, но тут же до него долетели до смерти обидные слова:

— Да смотри, чтоб кобылу кто не увел!

Не помня себя, он сдернул с плеча винтовку и нацелил ее в спину уходящего в долину Семенова.

«Пристрелю вражину!!! И не узнает никто! Война все спишет…»

Сердце бухало в груди, рискуя разорваться, руки тряслись. Коровин навел подрагивающую мушку винтовки на голову обидчика, потом опустил чуть ниже, в область сердца, потом еще ниже, еще… Семенов удалялся быстрыми перебежками, ловко перепрыгивая по кочкам топкие места. Скоро его уже невозможно было различить среди пожухлой пожелтевшей осоки. Да и луна вновь ушла, наползли облака, и закрапал дождь.

Измученная лошадь чутко дремала, покачиваясь на слабых ногах. Коровин нащупал в кармане отмякший черный сухарь, разломил его, протянул половину животине. Та без энтузиазма прихватила угощение сухими губами и медленно разжевала. Коровин опустился на землю под толстой елью, привалился к стволу, куснул сухарь и вдруг заплакал некрасиво, сопливо и слюняво, как девчонка. И словно за ниточку потянул — стал колючий клубок разматываться, высвобождая всю сжатую внутри боль…

Семенов приехал к ним в деревню перед самой войной. Работал в колхозе шофером на грузовике, легкий, бойкий, беспечальный человек. Хорошо разбирался он в технике, чинил и трактора, и косилки, и прочие механизмы. Квартировал у вдовой женщины с тремя детьми, и поговаривали, будто не просто так у них…

Семнадцатилетнего Матвея Коровина ни сам Митька Семенов, ни его вдовица не волновали. У него случилась любовь, и ни о ком другом, кроме птичницы Клавы, он думать не мог.

Враз поглупевший от первого сильного чувства, Матвей по делу и без дела забегал на птичник, громко и без всякого повода смеялся, беззаветно таскал ведрами воду, мешки с зерном для куриц, получая тычки от матери и бригадира за свою невыполненную норму. Он числился скотником, и его коровы, в отличие от сытых Клавиных куриц, то недополучали сена, то утопали в навозе.

Клава была почти на два года старше Матвея и принимала его неуклюжие ухаживания за безобидную игру, подтрунивая над парнем вместе с подругами. Но однажды на беседках длинный лохматый Матюха Коровин, выпивши для смелости, прижал Клаву в холодных сенках и, дохнув на нее винным духом, серьезно пробасил:

— Поженимся, а?

— Обалдел? — выпучилась на него Клава. — Женилка не выросла.

— Выросла… — задавленно прохрипел Матвей, заливаясь краской и еще крепче стискивая девушку.

Клава, невольно убедившись в его мужской состоятельности, смутилась, с силой вырвалась из настойчивых объятий и убежала.

Они гуляли всю зиму и весну, и уже целовались, и собирались подать заявление в сельсовет. А на майские в клубе Митька Семенов вдруг попетушиному атаковал Клаву и с того дня не давал ей прохода.

Матвей лез в драку на Семенова, которому хоть и стукнуло двадцать, но выглядел он мельче и был на голову ниже несбывшегося жениха. Уговаривал Матюха и Клаву, плакал, умолял. Но в ответ получал только насмешки. И в середине июня Клава пошла в сельсовет с Митькой Семеновым. Они сыграли свадьбу, а ровно через неделю началась война, и новоиспеченный муж ушел вместе с другими односельчанами на фронт.

Матвея же призвали только через год. И весь этот унизительный год он, не понимая себя, таскался за Клавой, даже когда у той заметно округлился живот, даже когда она родила…

— Вот убьют твоего Митьку, и я все равно на тебе женюсь. И ребенка усыновлю. И воспитаю, как своего!

— Типун тебе на язык! — кричала ему в ответ Клава. — Да уйди же ты, уйди-и! Ой, грехи мои-и!

И горько, навзрыд плакала, потому что от Семенова не было вестей давным-давно.

Но когда Матвея забирали на фронт среди других, годных по возрасту ребят, Клава стояла в отдалении у забора с маленьким на руках. Под вой матерей новобранцы споро попрыгали в кузов грузовика. Машина тронулась с места. Матвей привстал, тревожно заозирался по сторонам и увидел Клаву. Та коротко махнула ему и быстро пошла прочь.

Рассвело. Коровин открыл глаза, поднялся. Долину окутывал густой туман. Прислушался. Плотная тишина давила на уши. Где Семенов? Что с ним? Коровин не знал, что ему делать.

Лошадь лежала на земле и смотрела на него тусклым темным глазом, полным глубокой печали. Он подошел к ней, наклонился, погладил по морде и потянул за уздечку.

— Ну! Ну! Вставай…

Лошадь мотнула головой, дернулась, привстала на передние ноги, но тут же повалилась обратно.

— Давай, милая! Давай!

Коровин тянул лошадиную морду за уздечку вверх, уже понимая, что животина не встанет. Стегнул веткой. Раз, другой.

Лошадь испуганно прядала ушами, пучила с натуги глаза, но, обессиленная, валилась набок, и уже клала морду на сырую землю, и вздыхала тягостно, совсем по-человечьи.

Коровин ясно понял, что с Семеновым что-то случилось. Зря он отпустил его одного. И приказ не выполнен, и не знает ничего ни о судьбе товарища, ни о фашистах. Не с чем возвращаться. Надо идти в деревню.

Он с досадой посмотрел на лошадь и встретил ее смиренно вопрошающий взгляд:

«Пристрелишь?»

Коровин почувствовал, как по спине пробежали острые мурашки. Его передернуло.

«Не могу…» — ответил он одними глазами и, сбежав с пригорка, сделал шаг в туман.

* * *

За столом оставалось человек шесть. Женщины почти все ушли домой. Клубные работницы потихоньку убирали посуду.

Кто-то фальшивенько тянул песню:

— В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

— Эх, Василич… — пьяно выдохнул Семенов, присев рядом и положив руку на плечо Матвея Васильевича. — Зря глава-то сказал, что не снится… Снится, проклятая. И деревня та снится. Ажно заблажу во сне! Как пытали они нас. Как мы драпали… Как тащил ты меня с ногой этой.

Он сильно стукнул кулаком по бесчувственной конечности и потянулся за бутылкой, плеснул себе и товарищу по полрюмки.

— Ну выпей ты! Чего нам теперь делить-то?

— Ты знаешь, что я тебя не простил и не прощу! И пить я с тобой не стану до края земной жизни, — от беспомощности Матвей Васильевич начинал говорить красивостями.

— Ну и дурак! — Семенов выплеснул водку в рот, сунул следом кружочек колбасы. — Чего ж ты тогда не пристрелил меня? А? — спросил он вдруг совершенно трезво и заглянул Матвею в глаза. — Я ведь ждал. Всю жизнь ждал, что рано или поздно отомстишь. А на войне-то чего проще? Кто бы разбираться стал, чья пуля? Утоп в болоте, да и шито-крыто.

Сидящий на другом конце стола глава уверенным голосом подхватил песню, и она зазвучала чище и пронзительнее:

— Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.
Вот и теперь надо мною она кру-жит-ся-а.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится…

— Песня хорошая, жизненная, — вроде бы не в тему ответил на все нападки Семенова Матвей Васильевич и, оставив застолье, потихоньку вышел из зала.

Быстро и ловко управляясь одной левой рукой, он надел и застегнул пальто, поблагодарил за все кинувшуюся ему на помощь женщину. Вышел на улицу, радостно и глубоко вздохнул и неспешно побрел к дому.

Ветер унялся, выглянуло солнце, запахло сырой весенней землей. На перекрестке улиц Матвей Васильевич остановился, взглянул на подвяв-

шие красные тюльпаны, завернутые в прозрачный кулечек, и поменял направление.

Длинная деревенская улица, по которой он шел, упиралась в автобусную остановку. За остановкой начиналось поле, пересеченное проселочной дорогой. По этой самой дороге переселялись деревенские жители, когда приходил срок, на вечный покой. Там, на сельском кладбище, уютном и светлом, уже почти тридцать семь лет ждала его Клава. Он знал, что в той, другой жизни, они точно будут вместе.

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

Олег КОРНИЛЬЦЕВ

РАССКАЗ СОЛДАТА

В 1983 году я несколько дней беседовал с полным кавалером ордена Слава, Анатолием Васильевичем Косовым. (1916 Томская губерния — 2002 Ангарск.) Вот фрагмент его рассказа. Кропотливо сберег особенности речи Анатолия Васильича.

…От горвоенкомата до вокзала мы шли строем, без оркестра. *(1937-й или 38-й год).* Отец, мать, жена шли рядом. Томочку *(дочь А. В.)* несли на руках.

Попал я в запасной артиллерийский полк в город Спасск, Приморского края. Служба мне не показалась тяжелой, только первое время сильно тосковал по Томочке. Был я заряжающим 45-мм пушки, но на учениях никогда с расчетом не участвовал — обязательно меня связным назначат. Я шустрый был — бегу, докладываю командиру полка, командиру части…

В сороковом году демобилизовался. Вручили мне ящик, который три года назад я сам запечатывал. В нем была моя гражданская одежда. Пальтишко там, фуражка, сапожишки… Это сейчас домой солдаты как от родной матери едут, а в то время три года отслужил — сдаешь военную форму и надеваешь то старье, в котором проводили из дому. В таком виде возвращаться из Красной Армии я не хотел. Отъехал до станции Угольная и устроился на шахту 6-бис, в бригаду установщиков центробежных насосов. Думал поработать с полгода, с год, одеться, заработать. И тут летом началась война.

Я давай начальнику шахты рапорты писать, чтобы на фронт отправили. Думал, повезут — в Томск заеду. Написал один рапорт, второй, третий. А бесполезно — бронь!

— У нас на фронт отправления нет. У нас такой же фронт, даем стране черное золото.

Этим я и успокаивался.

И здесь что получилось: авария на шахте. Мы ее устраняли, работали под землей без выходных, нам и обед туда приносили. А когда отгулы-то дали, я решил ехать в свою часть. Приехал в Спасск. Меня с КПП дежурный, лейтенант знакомый, отвел к начальнику штаба. А начальник штаба был капитан, мой земляк, томич.

— О-о! Косов! Откуда?!

— Товарищ капитан, так и так вот, хочу на фронт.

— Фронт-то фронт, еще посмотрим!

Вызывает старшину. Старшина знакомый, моей роты, второй.

— Забирай, накорми! В баню! Обмундируй!

И во вторую роту меня опять зачислили!

Через два дня приезжаю на шахту. Сидит этот начальник, который меня не пускал, а я уже в военной шкуре!

Смотрит.

КОРНИЛЬЦЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ родился в 1934 г. в г. Уфа Башкирской АССР. Работает на станции Юных Техников. Член Союза российских писателей. Лауреат Международного литературного конкурса «Линия фронта». Живет в Ангарске Иркутской области.

— Ты? Вот прогульщик наш!

Я на стол выписку из приказа о зачислении в полк.

— Вот, — говорю. — Так вот! Расчет готовьте!

Пошел в общежитие, чемоданчик у меня там, носовые платочки, белье… Прихожу с чемоданом — полный расчет готов.

Вскорости на фронт стали отправлять маршевые роты. Я пошел, попросил:

— Зачислите меня в маршевую роту.

В маршевой роте пробыли месяца два или три, а в самом начале сорок второго года повезли нас на запад. Я сперва думал, что заеду в Томск, а потом как повезли нас! Командиры незнакомые, не отпросишься — я и рукой махнул. Так ни дочку не увидел, ни мать, ни жену. Даже не могу теперь вспомнить, когда мы проехали станцию Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Привезли в Омск, выгрузили, и черт его знает, как он там назывался: запасной лагерь или запасной полк. Черемушки место называлось. Туда эшелоны прибывали, а оттуда формировались маршевые роты на фронт.

Вот сейчас бы интересно встретить хоть одного солдата, который живой остался, который в этих Черемушках побывал, и спросить:

— Как тебе служба в этих Черемушках?

Вот где мы хватали горького до слез. Зима. Землянки человек на двести. Печек нет, посушиться негде. На нарах плетенки из хвороста — и вся постель. Я за те два месяца, может, раз пять или шесть разувался. Кормили исключительно плохо, хуже только в окружении было. Столовая под навесом, а Иртыш во льду. Придешь — шайку деревянную нальют на отделение, а чашек нет, и ложек нет. Нет ложек! Первые раз глядели-глядели друг на друга, да и как поросята — через край. Вот эти Черемушки! Это же издевательство было.

Потом стали ложки доставать, кто — делать. Вплоть до того: отрежешь от голенища кирзу, сошьешь — вот и ложка.

Из столовой — строиться и на реку, до парашютной вышки, там километра три было. Бегом, по-пластунски, перебежками, конец — штыковой бой. Отдохнешь там маленько и обратно так же. И все ученье.

После обеда берешь двое саней и, на себе, получать картошку. Потом — в лес, на заготовку дров. Затемно вернешься, перемучаешься — и жрать не охота. Повалишься в мокрой шинельке наэти прутья иперeночуешь. Вспоминать не хочется.

Из этих Черемушек было дезертирство. А ихороший будь — все равно мысли те, что убежать иди заболеть. Так подготовка шла на фронт. На фронт человек идет, итак его измуровать! Мне тогда это просто удивительно было. Так солдаты решали, что это какое-то вредительство. Потом всю войну, где как ни приходилось, а со мной, с солдатом, обращение везде как с человеком было.

Месяца через два погрузили нас в эшелон. Пока везли, мы поправились: котелка мало — второй!

Попали на Северо-Западный фронт. Я стал бронебойщиком роты ПТР, 287-го отдельного истребительного-противотанкового дивизиона, 129-й стрелковой дивизии. На западном берегу реки Ловатъ сменили мы какую-то нашу часть и стали держать оборону.

Траншей не было, потому что на один штык возьмешь — вода. Болото. Были такие укрытия из хвороста, вроде плетней, тянулись они, как траншеи. Их еще до нас, те, кого мы сменили, поделали. Эти плетенки пули, как спичечный коробок прошивали, только что за ними не видно, где человек находится. Мишень свою не показываешь, и все.

Вода, снег, болото. Впереди минное поле, за спиной Ловать. На этом минном поле, когда снег растаял, столько погорелых трупов наших сол-

дат вытаяло! Лежали, как головешки. Весь человек не сгорает — ручки, ножки маленькие. Запах погорелого человека, как острым потом.

Перестрелки шли, а чтобы в атаку идти — не было. Не лезли, ни они, ни мы. Месяца через два слева и справа от нас немцы вышли к Ловати. Сначала к нам кой-когда старшина переплавлялся на плотике, привозил сухарей, а потом и вовсе никого не было. Пока патроны были — стреляли. По ночам другой раз, без цели, чтобы звук был — мол, не спим. Где-то подальше бои шли: и разрывы, и пулеметы, и автоматы работали. А у нас и боев не было, и патронов не стало. Мы немцев уже простым глазом видели, болото — видно. Они уже в рост ходили, на нас внимания не обращали. А нас донял голод, по пять-шесть суток ничего не ели. Я раз высмотрел в бинокль, две лошади лежат, уже вздутые, — ночью полез туда, нарезал задней части прямо со шкурой, полную сумку от противогаза набил. Тихонько над костерочком в этих самых хворостяных укрытиях покоптили… Ослабели все, нами уже никто не командовал, постов под конец уже не выставляли. А что толку ставить? Немцы придут — караул кричать или ура? Я одно думал: возьмут нас живьем. И отойти за эти речки приказа не было. Сзади нас была Ловать, а дальше, говорили, была еще Пола. По-разному гадали, что с нами будет — кто как. А и такие были, что анекдоты еще рассказывали.

Ну что… Был я тогда первым номером ПТР. У меня Сережу, второго номера убило. Лежали вместе, он так головой ткнулся. Я: «Сережа, Сережа!" Шальной пулей. Оттащили мы его к берегу. Хоронить — не хоронили, не до того. Он тоже сибиряк, такой беленький. Вместе в Черемушках хлебали кирзовыми ложками… ПТР у меня грязью, песком забилось так, что его молотком каким нужно отбивать… Сейчас все в памяти сливается, потому что никаких действий не было. Как забыли про нас. И уже стала осень.

А вся наша дивизия была на другом берегу, и пушки нашего дивизиона на тот берег давно переправили. И вот в одно время переплыл к нам из дивизии старший сержант и дает команду:

— Форсировать реку, уходить на ту сторону, кто как может.

Там на берегу лежали плотики. Когда еще до нас части переправлялись, остались от них. Я нашел два бревна, сколочены, метра по четыре. А были мы — ветром качало. Все же я этот плотик стволом, карабином, потихоньку сдвинул в воду, ПТР на него положил, карабин за спину, лег на бревна, поплыл.

А день. Немцы метров за триста от нас находились по берегу. Если я не стану работать руками и ногами, я к немцам приплыву. Они стрелять — не стреляли по нас, но сверху по течению пускали плавучие мины. Если она о плот ударит, то меня убьет или с плотика сбросит — утону. Я здесь гребся сколько силы хватало. Кто плыл рядом со мной — ничего не помню, как бредил. И все к берегу продвигаюсь, продвигаюсь, а мины все плывут, плывут, и меня к немцам сносит. И смотрю — мои бревна в берег ткнулись. Переплыл.

Теперь как выпрыгнуть-то? Я бы сам выскочил — ружье уйдет с плотом, и у меня бревна под ногами колеблются. Схватил я ружье подмышку, за дульный тормоз, выскочил все же.

Намочился я не сильно, потому что лежал на бревнах. Отдышался и на горку вышел. А молодой сосняк. И смотаю, метров двести, а может, триста, дымок виднеется. Я ПТР опять за ствол, под руку, приклад по земле тащится, пошел к этому дыму.

Шел я не знаю сколько, может, час. Иду, иду — привалюсь к кусту или сосенке. Мне сейчас шестьдесят семь лет, я за это время, кто его знает, сколько километров пройду, а там — рядом. И еще это тяжелое ружье

за дульный тормоз волоку! (Противотанковое ружье системы Дегтярева весило 17,3 кг. При передвижении на местности несли два человека.) Карабин за спиной, а полы у шинели от глины толстые, тяжелые.

Подхожу. Большая — воронка, в этой воронке сидит человек двенадцать пехотинцев. Тоже форсировали, только с других участков. Костер у них горит, курят ребятишки! Я ПТР наверху оставил, спустился к ним. Картошкой пахнет! Они где-то набрали — как горох, она горит, пахнет. Палочками ковыряются. Закурить попросил. Они дают мне газету — листья от кустов курят. Осень, сухие уже листья были. Я покурил.

Может, с час мы пробыли в этой воронке — младший лейтенант с того бока, где я оставил ружье, подошел.

— Вы чьи будете?

— А каких надо?

— Со 129-ой дивизии есть?

— Есть.

Этот младший лейтенант на полуторке ехал к нам. Дорога по болоту, лежневка, и машину по ней тянул трактор. Не доехал километра три — увяз. Хорошо, хоть с настила не сошел — одна бы выхлопная труба осталась.

Ну, младший лейтенант направил нас туда.

Я думаю: «Три километра! Твою в корень, как же я пойду?»

Все, кто с винтовкой, кто вовсе без ничего, а у меня и карабин, и это ружье.

Вылезли из воронки, пошли. Я ПТР за дульный тормоз тащу. Дотащился потихоньку вместе со всеми. Погрузились на машину, и повезли нас в штаб дивизии. Там встретили командиры, и наш командир дивизиона майор Холькин.

Принял нас старшина. Мы грязные, заросшие, голодные, может, и вши были. Отдохнули часа полтора, и он нас в баню повез. Там вода тепленькая, шайки деревянные — хорошо! Выдали белье, чем-то от насекомых травленное, — потом, как чуть разогреешься, начинает пахнуть. Поместили нас в палатки, давай кормить. Зайдем в столовую, каждому положено маленько — я бы все один съел. Поедим — спать. Только заснем — будят, опять немного покормят. Только уснешь — снова беспокоят, а мы знаем, что там почти ничего не дадут. Все равно, кто не встает, заставляют: иди!

Дней через пять, когда мы вошли немножко в силу, было построение дивизии. А оружие как стояло у меня нечищеное, страшно в руки брать, так я с ним в строй и встал.

Ребята мне говорят:

— Ну, Косов, ты за такое оружие суток десять получишь, лучше бы там бросил.

Построились. Вся дивизия, как полк. От нашего дивизиона человек восемьдесят осталось. Стоим, вояки, редко у кого карабин, а с ПТР я один переправился, и оно у меня все равно не работает. Стою, как дурень с колотушкой.

Обходил нас командир дивизии, каждого, кто переправился, спрашивал. Когда он подошел ко мне, я отчитался, он в блокнот записал и пошел дальше. После осмотра дивизии он вызвал меня перед строем и объявил благодарность за сохранение оружия. И вот медаль «За отвагу» — вот она откуда.

ЛЮБОЧКА

Мне повезло, моя прабабушка смогла прожить несколько лет после моего рождения. Помню ее добрые глаза и мягкие руки. Я часто заходила к ней в комнату и переставляла предметы, стоящие на трюмо. Трюмо — это такое трехстворчатое зеркало, прикрепленное к тумбочке с двумя дверцами и тремя ящиками. Сейчас такое редко увидишь, и само слово практически не употребляется в современной речи.

На одной из створок зеркала висело несколько фотографий, они были прижаты полукруглыми железками. Так как мой рост не позволял к ним дотянутся, то в один из дней, когда бабушка вышла из комнаты, я подтащила к трюмо стул и достала с него все фотографии. На одной из фотографий я узнала свою любимую крестную, сестру моей мамы. Она была запечатлена в каком-то интересном наряде и с длинной косой. Когда бабушка вернулась, я сразу же показала ей эту фотографию и спросила:

— Ба, а когда у тети Светы были такие длинные волосы?

— Что ты Юляша, это не тетя Света, это моя сестричка Любочка.

Мне показалось, что бабушка стала грустной, но мое любопытство было сильней меня:

— Ба, а где твоя Любочка? Почему я ее никогда не видела?

— Любочки больше нет на этой Земле, она живет высоко на небе.

— Ба, как она попала на небо, расскажи мне…

Бабушка начала свой рассказ, а я была настолько поражена им, что, кажется, запомнила его на всю свою жизнь:

«Был жуткий февраль 1942 года. Вокруг гремела война. Сильные морозы, непрекращающийся ветер, снегопады. Мне казалось, что наш маленький домик завалится на один бок.

Нас было четверо: я — Рая, *(*мне — десять лет*)*, моя сестра Любочка шести лет, мой брат Коля двух лет и мама Мария, она ждала еще одного ребеночка.

Мимо села, в котором мы жили, проходила железная дорога, но поезда уже месяц по ней не ходили. Вдруг однажды ночью мы услышали звук приближающегося поезда. Женщины и дети вышли из домов. У всех была надежда, что это наши солдаты приехали помочь в трудную минуту.

Это был товарный состав без опознавательных знаков. Он стоял в темноте, из некоторых дверей вагонов пробивались лучики света. Вот один вагон открылся, из него выпрыгнул человек в телогрейке и закричал:

— Женщины, вы жить хотите?! Если хотите — хватайте детей и прыгайте по вагонам! Завтра от вашего села останутся только головешки!

На удивление, паники не было, все вернулись по домам и где-то через час стояли с узлами и детьми возле состава. Из вагона выпрыгнуло еще несколько человек, они начали помогать мамам садиться в вагон, подкидывали детей и узлы. Когда вагон наполнялся, двери закрывали и открывали следующий. Всех погрузили, и состав тронулся.

ТОКАРЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА родилась в 2003 г. Учится в Висловской средней школе, в 10-м классе. Состоит во Вседонском Литературном Сообществе. Лауреат Международного литературного конкурса «Линия фронта». Живет на хуторе Вислый в Ростовской области.

Я так устала, что сразу заснула. Проснулась я от грохота открывающейся двери. Тот же человек в телогрейке сказал всем выходить, нас пересадили в грузовики и опять повезли. Грузовики были полностью закрыты тентом, и мы не видели, куда нас везут.

Почему-то все молчали, никто из детей не плакал. Сколько мы ехали, я не знаю, часов ни у кого не было, но все уже начали замерзать. Машины остановились и, когда открыли тенты, я увидела, что на улице опять ночь. Нас всех спустили с машины и повели к какому-то длинному зданию, тот же в телогрейке сказал:

— Сегодня спите здесь.

Уже всем было все равно, где спать, настолько все устали. Это был, какой-то длинный амбар, на полу лежало сено, в углах стояли две бочки с водой. Все бросились к воде, так как очень хотелось пить. Сначала была суматоха, но потом все успокоилось. Мы обнялись с Любочкой, и я сказала ей, что мне кажется, что это самый ужасный день в моей жизни. Как же я ошибалась!

Наступило утро. Дверь амбара открылась, и зашло сразу несколько человек. Они приказали быстро вставать и выходить без вещей на улицу. Нас толкали и подгоняли. Когда я вышла из амбара, то пришла в ужас. На улице, вдоль всего амбара, стояли люди одетые в военную форму с собаками, они переговаривались и смеялись, глядя на нас.

Все женщины начали кричать, хватали детей и пытались куда-то бежать, но тут над головами прострекотала автоматная очередь, и наступила тишина.

Из шеренги немцев вышел один офицер и на чуть картавом русском языке сказал нам, что мы попали под защиту немецких войск, и что, когда война закончится, нас всех отпустят. Сейчас они предоставят всем работу, жилье и еду. Но для начала всех детей осмотрит врач, а для этого их отведут в здание больницы.

Я же в это время осматривалась по сторонам. Мы находились на огромной территории, огороженной высоким забором из колючей проволоки, рядом с нашим амбаром-бараком стояло еще несколько десятков таких же. За забором с одной стороны был лес, с другой — огромное белое поле, которому не было видно края. Я еще не знала такого слова, но это был концлагерь.

Наши мамы это уже поняли, их глаза были полны ужаса и боли. Они же сами, по своей воле, приехали сюда с детьми. То, что происходило дальше, рассказывать больно. Детей хватали и ставили в отдельную колонну, женщины кричали, кусали за руки немцев. Те в ответ били их прикладами и ногами в тяжелых сапогах. Наша мама схватила нас в охапку и почему-то начала нам говорить:

— Запомните, ваша фамилия Сябро, вы из станицы Щетово, вашего папу зовут Захар. Раечка, запомни-и-и-и-и-и-и-и! — это уже был крик. Крик беспомощности и обреченности.

Рядом с нами стояла наша соседка, она держала своих троих детей и кричала:

— Не отдам, убивайте, не отда-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-м!

Стоявший рядом с ней немец достал пистолет и выстрелил… Он выстрелил не в соседку, а в ее старшего сына.а потом — в дочь, а потом — в нее… Самому младшему еще не было и года, он упал с рук матери и пополз. Немец взял его за ногу и понес к отдельно стоящим детям, и кинул его им в ноги. Потом наставил пистолет на следующую мать, держащую своих детей, и она разжала руки…

Наша мама подтолкнула нас в сторону детей и сказала:

— Идите! Раечка, ты старшая, присмотри за младшенькими!

Мне хотелось кричать и плакать, но перед глазами так и стояла соседка с пулей между глаз. Я взяла Коленьку на руки, Любочка схватила меня за юбку, и мы пошли в шеренгу к детям.

Нас повели вперед, а за нами слышался вой наших матерей. У них уже не хватало сил кричать, они могли только издавать какие-то звуки. Маленькие дети кричали в полный голос, их нельзя было успокоить, они не понимали происходящего. Они не знали, что такое смерть, не знали, что такое война, они не испытывали страха перед немцами, им нужна была мама.

Мы дошли до белого кирпичного здания, возле него стояли люди, с которыми мы приехали на поезде. Началась сортировка детей. Перед зданием стояла вагонетка, в такой у нас в селе по рельсам возили уголь. Маленьких детей бросали в эту вагонетку, а детей постарше заталкивали в открытую дверь здания.

Когда очередь дошла до меня, мужчина в телогрейке попытался забрать у меня Коленьку, но мои руки словно окоченели, он не мог разжать мои пальцы. Он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Девочка, я сейчас отрежу тебе руку.

Я разжала пальцы… Крик брата навсегда остался в моем сердце, моя сестра Любочка кричала ему вслед, я пыталась закрыть ей рот рукой, боясь потерять и ее. Коленьку кинули в вагонетку и покатили ее дальше. Я посмотрела на него в последний раз…

Нас завели в здание. Все дети уже стояли без одежды, с нас ее тоже сняли. Мы не сопротивлялись, уже не было сил. Нас отвели в длинную комнату, там полили каждого из ведра какой-то вонючей жидкостью. Наши волосы сбрили и сказали одеваться. Затем отвели в барак. Мы не ели два дня, желудки крутило, хотелось пить, уже никто не плакал, так как сил не осталось.

Я отключилась, но это был не сон, а какое-то полусознательное состояние. Когда я очнулась, я долго не могла понять, где я. Так прошло несколько дней или недель, я не могла понять, когда день сменялся ночью, так как в бараке не было окон— там была всегда ночь. Нас редко кормили, но я даже не понимала, что ем. Любочка клала мне в рот кусочки, а я просто жевала. Она держала меня за руку и повторяла:

— Я Любочка Сябро, а ты Рая.

Мое сознание постепенно возвращалось, я начала чаще вставать и сама подходить за едой. Ее раздавал немец в белом фартуке. Он был молчаливым, но взгляд его был таким суровым, что все дети его боялись. Процесс раздачи еды проходил в полной тишине.

Я заметила, что когда мы с Любочкой подходили к столу, то немец начинал улыбаться, и мне даже казалось, что наши куски хлеба были немного больше остальных, а каша в котелке — погуще. Однажды, когда мы подошли к столу, он повернулся к солдату, который его сопровождал, показал на меня и Любочку и что-то сказал на своем языке. Солдат посмотрел на нас, покачал головой и сказал:

— Эй, вы двое, пойдете с ним на кухню!

В моей голове, пронослись разные мысли, пока мы шли за поваром. Самая безобидная — что из нас сварят суп. Пришли на кухню, она была огромная и чистая. Солдат бросил фляги в угол, посмотрел на нас:

— Будете тут помогать, — сказал и ушел.

Повар подошел к Любочке, погладил ее по голове, достал котелок, налил ей горячий суп, дал ложку и вышел в другую комнату. Мы ели одной ложкой, слезы катились по моему лицу, страх куда-то ушел, и я сказала Любочке:

— Веди себя хорошо, чтобы нас отсюда не прогнали.

Я не понимала, почему немецкий повар выбрал именно нас, почему вместо грубости, он отнесся к нам по-человечески. Повар вернулся, посмотрел на Любочку, показал себе на грудь:

— Ганс, — сказал он, а потом показал на нее пальцем.

— Любочка! Ее зовут Любочка, а я Рая! — крикнула я вместо нее.

Немец повторил наши имена и показал пальцем на мешок картошки, который стоял в углу. Картошку я чистить умела.

Мы сидели в углу. Я чистила картошку, а Любочка ее мыла и перекладывала в ведро. Мои руки уже устали, но я не подавала виду, мне хотелось подольше задержаться на этой теплой и светлой кухне. Картошка закончилась. Я положила несколько картофелин в валенки, Любочка сделала то же самое.

Мы подошли к Гансу, робко потрогали его за рукав и показали пустой мешок. Ганс погладил Любочку по голове, наклонился и сунул ей за пазуху какой-то сверток. Пришел солдат и увел нас обратно в барак. Наше место уже было занято. Дети решили, что мы уже не вернемся. Детей часто уводили, и они не возвращались.

Я вытащила картошку из валенок и отдала ее детям, Любочка сделала то же самое. Картошку делили на маленькие кусочки и ели, все были голодными. Детей кормили один раз «водяной» кашей, мы ее так называли, потому что крупинки плавали в ней в очень ограниченном количестве. Любочка достала сверток, развернула его, и мы обомлели… Там лежал кусочек сала, кусочек хлеба и четыре конфеты. Конфеты! Я не видела их с начала войны. Мы откусили от хлеба и сала по два кусочка, остальное отдали маленькой девочке, которая спала рядом с нами. А конфеты? Мы не смогли ими поделиться, мы их съели сами.

Наши дни потянулись бесконечным ожиданием Ганса. Он забирал нас на кухню после раздачи еды, кормил и давал не тяжелую работу. Замечал, что мы прячем картошку в валенках, но замечаний не делал. Каждый день он клал за пазуху Любочке сверток, обязательно с какой-нибудь сладостью. Это могли быть маленькие кусочки сахара, конфетки, однажды там лежали два маленьких яблочка.

Прошла зима, весна, лето, осень и опять наступила зима, а потом времена года сменились еще раз. Одни дети умирали, других — куда-то уводили, приводили новых. Каждый жил в страхе, я не слышала детского смеха, дети просто сидели каждый на своем месте. От недоедания хватало сил только на сон. Каждую ночь перед сном, Любочка шептала:

— Меня зовут Любочка Сябро.

Я спросила у нее, зачем она это делает. Она посмотрела на меня своими глазками и сказала:

— Раечка, а ты помнишь нашу маму? Ты представляешь себе ее лицо? Я боюсь забыть. Я боюсь, что, когда мы встретимся, она не узнает нас, а мы ее не узнаем.

Я схватила ее в охапку, прижала к себе и сказала:

— Что ты, я узнаю маму из тысячи мам. Ты только держи меня всегда крепко за руку, чтобы не потеряться.

В один из дней мы пришли на кухню. Ганс сидел за столом, перед ним лежала фотография, он смотрел на нее, и в глазах у него стояли слезы. Солдат окликнул Ганса, и они вышли на улицу. Я подошла к столу и посмотрела на фотографию, на ней была запечатлена молодая женщина и Ганс, а на его коленях сидела… Любочка. Да, это была копия Любочки! И я поняла, почему Ганс с такой теплотой относился к моей сестре. Ее сходство с дочкой Ганса спасло нам жизнь.

Наступила весна. Сквозь сон я услышала сильный шум. Застрекотали автоматы, залаяли собаки, что-то взрывалось. Мы все подскочили со своих мест, потом кто-то крикнул:

— Ложись!

Я схватила Любочку, мы упали и начали посильнее прижиматься к полу. Вдруг наступила тишина, мне показалось, что она длилась целую вечность. И тут ворота нашего барака раскрылись, зашли солдаты и сказали нам на чистом русском языке:

— Дети, выходите! Мы— солдаты Красной Армии, освободили вас из плена.

Все начали выходить на улицу. Когда я проходила мимо солдата, то увидела, что у него по щекам текли слезы. Да, без слез смотреть на нас было нельзя. Из барака выходили маленькие скелетики, одетые в грязные лохмотья. На улице напротив барака нас выстроили в шеренгу. Я увидела, как к нашему бараку бегут люди. Это были люди-тени, мне казалось, что солнце, которое осталось позади бегущих, просвечивает их насквозь. Не добежав до нас пару метров, они остановились. Они смотрели на нас непонимающим взглядом, протягивали в нашу сторону руки, беспомощно оглядывались. И тут Любочка бросила мою руку, выбежала перед шеренгой детей, повернулась к ним и закричала:

— Это же наши мамы!

Потом повернулась к мамам и крикнула:

— Я Любочка Сябро!

Одна из «теней» побежала к ней навстречу, она упала перед Любочкой на колени, начала ее целовать и прижимать к себе. Мамы начали выкрикивать имена, дети тоже кричали, кто-то находил друг друга. Кто не находил— бежал к другому бараку.

Я подошла к Любочке. Да, рядом с ней на коленях стояла наша мама, но я бы ни за что ее не узнала. Прошло больше трех лет. Из красивой и ухоженной женщины она превратилась в сгорбленную старушку. Да и нас узнать было невозможно. Перед мамами стояла кучка побритых налысо, одинаково одетых детей.

— Мамочка, родная! — это было все, что я смогла произнести.

Она обхватила нас двоих, непонятно откуда взялись силы в ее руках.

Женщины продолжали метаться между бараками. Они жили все эти три года только мыслями о детях. Надежда, что они живы, придавала им силы. Но многие дети не знали своих фамилий, они их забыли. Дети вглядывались в лица матерей, пытаясь узнать в этих измученных женщинах свою единственную. Не всем повезло найти своего ребенка. Не все дети дождались своих матерей.

Потом была долгая дорога домой. К счастью, наш дом остался целым. Война закончилась. Наш отец вернулся с фронта, и тепло начало возвращаться в наши сердца. Нашего братика Колю мы так и не нашли. Детей младше пяти лет в лагере не держали. Куда их увезли— никто не знал. Мама еще долго пыталась его разыскать, но все безуспешно.

Любочка после войны прожила только четыре года. Она заболела менингитом, а в послевоенное время эту болезнь лечить было очень трудно. Это была для меня большая потеря. Еще долго после ее смерти, перед сном мне казалось, что я слышала ее шепот:

— Меня зовут Любочка Сябро.

Моя Любочка, моя сестричка, мой ангел…»

Прабабушка закончила свой рассказ, подошла к трюмо и прикрепила все фотографии на место.

Прабабушка уже покинула наш мир. Но, когда я листаю альбом с ее фотографиями, я вспоминаю все рассказанные истории. Их было много, но рассказ о Любочке остался в моем сердце навсегда.

МЯСНОЙ БОР

В Мясном Бору — не на погосте,
когда ночная мгла густей,
на сотню верст мерцают кости
убитых немцами людей.

Они здесь шли снимать блокаду —
с полмиллиона набралось,
шли без разведки, скопом, стадом,
шли на удачу, на авось.

И вот в бору, где на болотах
осинник чахлый да ивняк,
ход необученной пехоты
на пулеметы принял враг.

Кругом кустарники да пади,
нигде ни спрятаться, ни встать,
а с высоты калибры садят,
и самолеты бреют гладь.

Исчезли все. Легли, истлели,
никто их здесь не хоронил,
над ними певчие не пели,
и даже братских нет могил.

Они здесь шли. И их не стало,
и даже не было вестей,
лишь через годы замерцало
болото фосфором костей.

Сюда потом по буеракам
солдаты вымостили гать,
по ней ходили мы с собакой
их медальоны собирать.

Близ черных ям — не на погосте,
в разгар долиственной весны
я понял, складывая кости,
зачем назвали бор мясным.

СБИТНЕВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ родился в 1955 г. в Москве. Учился в Новгородском государственном педагогическом институте и в ЛГПИ имени Герцена. Член Союза российских писателей, Союза журналистов. Главный редактор литературного альманаха «Костромской собеседник». Лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2020). Живет и работает в Костроме.

Как сходит снег — не на погосте, —
Когда погаснут небеса,
в Мясном Бору мерцают кости…
и этот свет слепит глаза!

ГОД АТАК

Я убит подо Ржевом…
Ал. Твардовский

Взглянул, как угли мне вдавил
Под сгибы скул, под струны жил.
Взглянул — и роту в полный рост
Под жар свинца, под холод звезд.
И только боль, и только ритм
Огней, проклятий и молитв,
И только сердце — раз и раз!
И смысла нет. И есть приказ!
Пусть рубит в рост. Пусть в клочья рвет,
Взахлеб срываясь, пулемет…
Увы, нам выпал этот крест —
Быть вечной болью этих мест.
Пределом русских пустырей.
Тоской сирот и матерей.
Укором Гению страны.
Пятном на карте всей войны.
Смешеньем плоти и свинца,
Стальных ошметок и лица:
Здесь сорок армий полегли —
Три слоя мяса и земли.
Как будто взглядом мне прожег —
Изломы рук, разбросы ног.
…Пока не сдал позиций враг,
Был целый год таких атак.

Евфросиния КАПУСТИНА

КОСТОЧКИ

Мальчик глотает косточки, слопал их полгорсти:
«Яблоньки, сливы, вишенки будут во мне расти».
Щедро запил водицею — будет фруктовый сад,
Коник — сухая палочка — скачет за палисад.

Мальчик в рубашке новенькой чинно заходит в класс,
Учит уроки затемно. Холодно. Свет погас.
Сад прорастает медленно. Только бы не простыл —
Чаще молчащий, Ванечка кажется всем простым.

Спят по тетрадям веточки будущих птичьих гнезд.
Маме тревожно: «Сынушка, это же не всерьез?»
Ваня смущенно супится, прячет в карман эскиз.
Папа все шутит: «Полноте! Было б… Чего закис?»

Мальчик глотает озеро — хочет вместить весь мир.
Время шуршит колесами. Сел, как влитой, мундир.
Плачут в дому родители, ждут за письмом письма.
Пенною брагой вишенья льется в окно весна.

Где-то в степной окраине вырос фруктовый сад.
Дома молчат: мальчишечка тот не пришел назад.
Сад по весне невестится, осенью жжет костры —
Мальчик, глотавший косточки, не был таким простым.

РАДИО БЛОКАДЫ

Памяти О. Бергольц

Метроном, словно пульс на запястьях судьбы:
Там часы темноты, заведенные мраком…
И усопших родня не положит в гробы,
Там, где теплится жизнь догорающим маком.
Где художница-смерть завершает штрихи
На картине — заказе из самого ада,
Там по радио в полдень читают стихи
Так, как будто не душит за горло блокада.

КАПУСТИНА ЕВФРОСИНИЯ ИГОРЕВНА родилась в 1997 г. в г. Ялуторовске Тюменской области. Студентка Санкт-Петербургского института культуры, факультет искусств, кафедра кино и фотоискусства. Фотограф. Поэт, прозаик, переводчик сербской поэзии. Автор поэтического сборника «Проблески света» (Санкт-Петербург, 2016). Публикуется в российских периодических изданиях, а также в разовых книжных изданиях в России и за рубежом. Победитель XVIII Татьянинского творческого конкурса в номинации «Проза и поэзия», лауреат конкурса имени князя Константина Романова «КаэРомания» учрежденного Русским Музеем, победитель международного поэтического конкурса «Новые голоса — 2017», победитель международного фестиваля «Всемирный день поэзии — 2018», лауреат фестиваля «Русский Гофман — 2018» и других. Живет в Санкт-Петербурге.

Впалой грудью едва уже дышит Нева,
Волны лижут голодной водой парапеты.
С постаментов глядят два измученных льва,
Память пишет ушедших немые портреты.
А по радио в полдень читают стихи,
Под седьмую симфонию, ветром отпеты,
Словно шелест листвы робкой черной ольхи,
Невесомостью губ неземные поэты.

* * *

Кате читали Пушкина. Сказки смеялись папиным.
Катя просила заново. Катя просила все.
В эту весну, как водится, Катины щечки в крапинку.
Папу куда-то вызвали. Носит дрова сосед.
Катя читает Пушкина. Строчки смеются папиным.
Буквы трясутся папиным, прыгают в желтый лист.
Папа играет с пушками. Катя скребет царапины.
Катя рисует длинное: «Папа — артиллерист».
Папу рисует с пушками. Думает, что для Пушкина.
Мама молчит стеклянная, смотрит сквозь дочкин лоб.
Катю кладут у бабушки. В доме огни притушены.
Мама качает шарфики, хочет идти в окоп.
Катя читает Пушкина. Сказки молчат и хмурятся.
Кто-то походкой папиной Катю ведет гулять.
Кате качели хочется. Зубится ствольным улица.
Катя летит над пушками. Кате сегодня пять.

Дмитрий ЮРТАЕВ

ГАРМОШКА

На месте, где была написана песня «Землянка» — в деревне Кашино Истринского района — в 1998 году установлен памятник этой песне и ее авторам

Вернувшись с войны в сорок пятом,
Растрогав знакомых до слез,
Простую гармошку, ребята,
Мой дедушка с фронта привез.
Ему в сорок пятом, мальчишке,
Лет было не больше, чем мне,
Медаль или орден не вышло

ЮРТАЕВ ДМИТРИЙ. Поэт, прозаик, переводчик, публицист, художник, актер. Член Международного союза писателей «Новый Современник», Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь». С 2004 г. печатается в сборниках, альманахах и журналах России, Белоруссии, Украины, Израиля, Канады. На протяжении многих лет участник, лауреат, призер и победитель различных международных литературных фестивалей, конкурсов и премий. Живет в Минске.

Тогда заслужить на войне.
Из дома сбежал в партизаны
Сражаться с врагом до конца
За то, что остался без мамы,
За то, что убили отца.
Не дали ему автомата,
Гармошку лишь он получил.
— Сыграй, — попросили солдаты.
— И спой! — командир попросил.
Играл на привалах, в окопах,
И музыкой за душу брал,
И каждый боец ему хлопал,
И даже хвалил генерал!
«Платочек», «Землянка», «Катюша»
Звучали тогда и сейчас,
И знает любой, кто их слушал,
Нет песен дороже для нас.
Глядит с пожелтевшего снимка
Победной весенней порой
Мальчишка с гармошкой в обнимку —
Мой дед — настоящий герой!

ПЯТИСОТЫЙ–ВЕСЕЛЫЙ

На войну с японцами Леньку призвали, можно сказать, к шапочному разбору. Он участвовал всего в одной операции: под Сахаляном*, вблизи реки, вздыбленной илом и песком, как спина дракона.

От разрывов сорока семи миллиметровок производства «Мицубиси» вслед за падающим в бездну сердцем припадал к дракону, ища у него защиты. А припав, замершим в столбняке страха глазом глядел на видневшийся вдали криво обрушенный, как во рту Михалыча, мост.

Михалычу недавно стукнуло сорок семь. В последние месяцы взвод пополнялся сплошь мелюзгой, так что Михалыч законно считался стариком. А Ленька был из мелюзги. Его призвали за полгода до восемнадцати.

На железной дороге, где служил, его только-только повысили до старшего кондуктора. Это после аварии, когда из-за отказа тормозов перевернулся состав с углем.

Машинист, пунктирами морщин на лбу схожий с Михалычем, успел выпрыгнуть. Его на руках подбрасывали — второе рождение отмечали.

Только в военное время никакая авария никому с рук не сходит. Особенно, если жив остался. Кто-то же виноват. Не ты?.. Это ты так думаешь.

Машиниста в два счета арестовали и присудили к восьми годам с отправкой на фронт. Еще много кого понизили в должностях. А работать кому-то надо, вот Леньку и повысили. И тут же — повестка в военкомат.

Глядя на Михалыча, не очень бравого вида, а, скорее, домашнего, рабоче-крестьянского, Ленька вспоминал не только любимца Фортуны и нелюбимца Фемиды машиниста, но и вообще дофронтовую свою житуху, товарищей, которых одного за другим поглотила горячечная лихорадка войны.

Чаще других вспоминал девчонку Тамарку из соседнего двора, с которой только раз сходил в клуб на фильм «Волга-Волга». Она была в точности, как Любовь Орлова — характер такой же заводной, что ли…

Тамаркино лицо почему-то не так хорошо помнил, как платье — белое в мелкий цветочек. А лицо что? Лицо так и так меняется. И платье, наверное, сносилось. А все равно, когда приходила в мечте, на душе и в теле будто теплый чай разливался.

Время от времени, прикрываясь всем корпусом от чужих взглядов, Михалыч кипятком из кружки ополаскивал свой довоенный, покореженный временем и сухарями зубной протез, и тогда на его лице появлялось выражение растерянности — вот, мол, до чего доживают некоторые, неудобно как-то.

— Зато зубы не болят, — в шутку позавидовал Ленька.

— Еще как болят, — Михалыч потер колючий подбородок. — У меня внизу полно зубов. Только я вырывать не хочу, пусть сами выпадут.

— А как заболят, как тогда?

— А как болят, ох, и мучаюсь, но терплю.

— Что хошь выдержу, а зубную боль — нет, не выдержу. Лучше в петлю, — сказал Сашка Сапунов, оторвавшись от своего любимого занятия.

ЛЮБОВЬ АЛЕВСКАЯ (ХАЗАН ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА) родилась 1946 г. Член Союза русскоязычных писателей Израиля, гражданка Украины и Израиля.

Огрызком карандаша он всякую свободную минуту что-то рисовал на бумажных клочках.

Михалыч неторопливо свернул козью ножку из армейской газеты, предварительно позволив Сашке оторвать от края листа белую полоску.

— Знаешь, что главное в жизни?

От козьей ножки потянуло типографской краской, а до махры огонь еще не дошел, и Михалыч, прищурившись, придирчиво рассматривал ее.

Сашка промолчал. Он думал, что главное — дожить до конца войны, устроиться художником в артель, которая рисует плакаты, ну, и всякое тому подобное, что к главному прилагается.

И Ленька промолчал. Задумался. Очень много хотелось, но так — будто в дымке, точно не разглядеть.

— А-а, не знаешь… — мягко укорил Михалыч. — Главное в жизни — терпение. Умей терпеть. Зубы ли болят, жена ли ушла. Иной чуть что — в панику его бросает, в слезы, иной кулаки распустит, за нож схватится, а то всего хуже — в петлю полезет. Ну, не от зубов, конечно… А других бед в жизни разве мало? Нет, человек только тогда человек, если терпит. Вот что главное.

Сашка сложил ладони подзорной трубой, стал один в один, как одноглазый Кутузов, навел трубу на Михалыча — философ, дескать, в окопах выискался. А Ленька зауважал — складно старик мысли излагает.

Обычно Михалыч зачем-то спорил, когда кто-нибудь подначивал:

— Скоро по возрасту домой поедешь. Эх, загуляешь на своей Куреневке киевской! Дым коромыслом пустишь!

— Не-е, мне трубить до пяти десяти, — произносил раздельно. — Я, можно сказать, с первого дня. Там и сям побывал, туды и сюды помотался. Это ж война… А Людка, жена, боюсь, не дотерпит, замуж выскочит. Или уже… выскочила. На письма совсем не отвечает. Она у меня бойкая и очень моложе…

Леньке нравилось, что Михалыч помотался туды-сюды — и жив. Значит, война не обязательно приговор смертный.

На сыром песочном берегу, где далеко за спиной остался надежный Благовещенск, вдруг грохнуло. Совсем рядом. Да так, будто молния в дуб ударила, а ты под ним стоишь, и он всем своим щепьем от ужаса завопил.

Ленька с размаху плюхнулся на песок, застыл, только сердце в горле стучит… И Михалыч рядом упал. Лежит, не шевелится.

Поднялся Ленька, отряхнулся. Смотрит — ребята вокруг тоже встают, с вещами возятся, втихую чертыхаются. А Михалыч отчего-то лежит…

Наклонился Ленька, перевернул Михалыча на спину, смотрит — а у него рот открыт, пустой и черный, как пещера, сам только глазами вращает.

Взял его Ленька под мышки, а тут по Михалычу что-то покатилось и рядом плюхнуло. Ленька пошарил, достал, смотрит — а это что же такое?.. Отшвырнул. Обожгло — рука это!

Михалыч очнулся:

— Дай!

Ленька поднял. Михалыч отобрал руку, к обрубку приставил, шепчет:

— Пушть шештричка прибинтует.

Ясно, человек не в себе.

Кое-как заковыляли. Михалыч белый, как полотно, аж в ночи светится…

Тут сестричка с медбратом подоспели, сами, звать не пришлось. Издали видели, как Ленька раненого на себе, можно сказать, тащил.

Михалыч шепелявит с натугой:

— Ты… жубы мои не видел?

— Нет, Михалыч. Не видел.

— Ладно, — еще тише прошептал Михалыч и закрыл глаза.

— Ему что, не больно? Или терпит? — тихо спросил Ленька медбрата. Тот стягивал на оставшемся от руки обрубке резиновый жгут.

— Это шок, — сказал медбрат, — так бывает.

Он и сестричка подняли носилки. Михалыч привскочил:

— Рука! Где моя рука?

Медбрат с силой уложил его. Да только снова взялся за носилки, а Михалыч опять как вскочит и как заорет:

— Рука! Беж руки не поеду!

Ленька поднял с земли вывалянное в песке и крови то, что осталось от руки, положил рядом с Михалычем. Вдруг он истошно завыл:

— Бо-ольно! А-ай, бо-ольно!

— Тс-с, — зашипел медбрат, — японцы услышат…

И точно — опять рядом грохнуло. Все попадали, только санитары с носилками и орущим Михалычем куда-то побежали.

Остальные отлежались. Опять кто-то не встал. А те, кто встал, давай в атаку, к винзаводу.

Отстреливались оттуда японцы вяло, без азарта и надежды, а вскорости сбежали. Так что наши в ворота легко ворвались. Когда все осмотрели, вернулись во двор. На тревожное небо взошло восточное медное солнце.

Взводный скомандовал по бутылке вина всем раздать. Оказалось, вино — рисовое, на самогонку смахивает, только хуже. Ленька через силу отпил несколько глотков, но подействовало сразу — оторванная рука Михалыча перестала всплывать перед глазами из черной речки и дала забыться…

Домой Ленька добирался товарняком с кудрявым названием «Пятисотый-веселый». Так его дембеля прозвали.

На сколоченных на скорую руку деревянных нарах играли на гармошке, самодельными картами резались в дурака и девятку, пели под Утесова «С одесского кичмана сбежали два уркана, сбежали два уркана та й на волю» и «Жил-был на Подоле Гоп со смыком, славился своим басистым криком», притопывали сапогами, пускались вприсядку и, конечно, выпивали, наполняя предчувствие новой жизни хмельной верой в беззаботное чудо, поджидающее в конце пути. Оттого и не дрались, что чудо удерживало.

Под вечер кто-то спросил:

— Где это мы? Какую станцию проехали?

Кто-то знающий ответил:

— Кундур-Хабаровский проехали.

Другой знаток возразил:

— Ничего не Кундур-Хабаровский, то Архара была.

Помолчав немного, сам же усомнится:

— А, может, Бурея… Нет, кажется, Бурея… Да, точно — Бурея, Архару уж проехали.

Леньке повезло — страна нуждалась в железнодорожниках. Его демобилизовали почти в то же время, что и «старшие возраста личного состава», как говорилось в законе. Упразднили все фронты, а вот Забайкальский и Дальневосточный оставили до лучших времен.

— Не везет мне, — горячился Сашка после приказа. — Кто знает, когда эти лучшие времена настанут? Ленька, может, ты знаешь? Нет? А как думаешь? Не думаешь?.. Зачем тебе думать? За тебя уже все придумали… Предлагали же мне в сороковом идти в путевые обходчики, так я как раз плакат для комбината рисовал, не мог бросить. А то бы сейчас с тобой до дому, до хаты. Эх, мать моя невезуха и тетка неудача…

Ленька чувствовал себя виноватым — лоснился счастьем, а каково другу смотреть? Сам-то в рубашке родился, а Сашка — в линялой гимнастерке, что под мышками трещит, и как честь отдавать, он это место локтем прикрывает.

Под утро на одном из полустанков, где поезд-тихоход шел совсем замирающим ползком, подсели в вагон двое. То были паренек в добротной нестарой телогрейке и мрачный мужчина с гитарой через левое плечо.

Ленька сладко спал, наконец угревшись, и пополнения не заметил. Проснулся от страшного мата. По сложенным вместе шепелявым словам, изредка прорывавшимся сквозь ругань, можно было понять, что из вещмешка мрачного мужчины исчезли все документы, в том числе на питание. Его попутчика на месте не оказалось, и никто не видел, когда и где он сошел.

Хохот поднялся плотной стеной, смешавшись с сизой махорочной дымкой.

Матерщинник опешил:

— Это что —шмешно? Когда ничего нет —шмешно?! Когда жрать нет — шмешно?!

Кто-то, от шепелявости матерщинника еще сильнее давясь смехом, сказал:

— Да мы… ох… думали, вор — это ты… а не тот…а тот… ох…

— Я — вор?.. Да я, жнаешь… Да я тебя…

И полез плечом на обидчика. Тут все бросились разнимать, успокаивать. Насильно усаженный, несчастный продолжал орать и, казалось, только еще больше расходился.

Ленька окончательно проснулся и подскочил на месте:

— Михалыч!

Обокраденный осекся. А Ленька еще громче:

— Михалыч! Ты?!

И рванул к Михалычу.

Вдруг всем стало радостно — это ж надо! Гора с горой не сходится, а человек с человеком… В каждом проснулось предчувствие своих близких встреч. Леньке даже освободили дорожку для прохода.

Расцеловались, словно отец с сыном встретились. Обхлопались по плечам, по спинам, сели в обнимку.

— Как же, — сокрушался Ленька, — как же тебя обчистили?

— Да вот так… Хорошо, хоть гитару не вжял, паражит, — наконец мирно сказал Михалыч.

Интерес к нему у хохотунов быстро угас, все разбрелись по карточным компаниям.

— А куда путь держишь? — спросил Ленька. — Если в Киев, на свою… как ты говорил… Куреневку, то нам по пути. Сестренка моя из Иркутска в Киев переехала –Крещатик заново строить. Я тебя вспоминал. Так и думал, что встретимся. Может, в Киеве.

— А девушка у тебя была… — Михалыч собрал морщины на лбу ребристым веером.

— Тамара. — Ленька удивился, что Михалыч про девушку запомнил. — Устроюсь в Киеве, вызову, женюсь… А твоя жена, небось, ждет не дождется.

— Нет, я в Читу, к брату. Он у меня штарше, эвакуированный.

— Жаль, а то бы за компанию… А что так — к брату? А жена?

— Нету жены… Давно. Четыре с половиной года как. А я, дурак, думал, живая… Думал — молодая, другого найдет. А убили.

— Немцы?

— Поличай. Шошеди пишут, в школу ее вжяли, на уборку. А там уже не школа была, а магажин. Вещи, продукты продавали, которые эвакуированные, когда убегали, в домах поброшали. Или немчи, когда кого поймают, на уличе, вешали. Или в Бабий Яр — на раштрел. А вещи ихние — в магажин. А Людка, дура, голодная была, кружку муки в этом магажине тайком вжяла. А на выходе поличай штал кружку отбирать, а она не отдавала. Так он этой кружкой бил-бил по голове, пока не убил… Шошеди ужнали — поличай тоже в нашем доме жил. Мы — на втором этаже, он — под нами. Ждоровья желал, кланялшя…морда поганая.

Михалыч опять принялся за мат, он один все выражал и облегчал душу. Проматерившись, спросил:

— Курить чего ешть?

Ленька растерянно пошарил по карманам, ища махорку, вдруг забыв, что, не будучи курцом, свою двадцатиграммовую табачную пайку обычно выменивал на лишние пятьдесят водки.

— Ладно… Не ищи, я уж не курю почти… Крутить чыгарку не могу, — Михалыч приподнял пустой рукав.

С соседних нар вдруг прилетела небольшая желтая пачка с нарисованным верблюдом.

— Са-ме… — Ленька запнулся, поняв, что написано не по-русски.

— Кэмел, япона мать, — сказал сосед, — верблюд на английском. Сигареты лэндлизовские.

Ленька и Михалыч переглянулись — откуда у солдата такое добро? А спрашивать не стали — дареному коню в зубы не смотрят.

— Шлабые, — сказал Михалыч, затянувшись, — махра лучше нервы ушпокаивает.

— А я сразу две курю, — сказал владелец верблюдов, вытащил две сигареты, чиркнул спичкой и задымил в две трубы. --- Бери всю пачку, у меня еще есть. На махорку или еду, япона мать, можно выменять. Только не все сразу сигареты меняй, а по одной. Я так делаю.

Ленька спохватился, что Михалыч, должно быть, голоден.

— Сало будешь?

Он его в Благовещенске на две тушенки выменял, так сала захотелось.

— Шало могу, мяшо нет — не по жубам… А жнаете, что в жижни главное?

— Знаю, — сказал Ленька. — Терпение.

— Ешть главнее, — печально сказал Михалыч, — живуч человек. Живет, когда и терпения нет.

Это он о себе, понял Ленька.

Поздним вечером луна швырнула в морозное небо несчитанные свои жемчуга и порциями просовывала их для просмотра в узкое окошко под крышей вагона. Ленька глядел в него и думал, что ничего, что было и кончилось, не вернуть. Прежнего дома, товарищей. И Тамарку, пожалуй, не вернуть. И жену Михалычу не вернуть. И руку. Все — вроде поезда этого, проехал станцию — и нет ее, колея жизни в один конец проложена…

Когда сильно, с громким лязгом качнуло, Ленька удивился — спал, что ли?

— Выхожу я, — Михалыч склонился к Леньке, боясь разбудить спящих.

— Чита уже? — огорчился Ленька.

— Хочу тебе гитару оштавить. Мне ее в гошпитале товарищ дал перед операчией — на хранение. Да на том швете другую выдадут.

— Так я не умею на гитаре.

Но глаз у Леньки загорелся. Всегда завидовал, если кто рядом с гитарой. У самого ж ни учителя, ни инструмента не было. Не сложилось как-то.

— А я умел, — сказал Михалыч, —да теперь-то што… Не хочу к брату тащить. У него тоже горе, не до вешелья.

Состав снова качнуло, после чего он резко замер, будто на дыбы вскинулся.

Михалыч неуклюже спрыгнул на рыпнувшую густой порошей землю.

Ленька подошел к двери, поглядел на фигуру, уходящую в непроглядную темень, зачем-то поднял руку:

— Будь, Михалыч!..

А старик, не оглядываясь, шел, прихрамывая с той стороны, где висел пустой рукав. Ленька подумал, что, может, и в ногу ранение было, только тогда не заметили, не до того было.

Ветер с силой ударил в открытую дверь вагона. Позади что есть мочи заорали:

— Ну, чего там, япона мать? Сквозит! Чего двери настежь?

РИММА — ЛЕЙТЕНАНТУ

> Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф.
>
> *Даниил Гранин. «Мой лейтенант»*

I

Мы были дерзки и юны,
Мы были ловки.
Совсем как белые вьюны
Вдоль Дудергофки,
Едва ли зная про фашизм,
Смеясь друг другу,
Схватились не на смерть, на жизнь —
Рука — об руку.
Куда, куда ты вел меня,
В какие чащи,
К какой березе прислоня,
Так настояще
И так настойчиво глядел,
Наглел — робея?
Мой бант потерянный алел
В какой аллее?
Сороки были — как всегда —
На карауле.
Нас криками: война! беда! —
Как птиц спугнули.
Как — немцы?
Ведь они — друзья.
Война? Нелепость!
Но втайне радовалась я:
Не пала крепость.

II

Платформа двигалась, неслась,
Галдя, как табор.
И ввечеру, едва вживясь
В воскресный тамбур,
Мы ощущали трепет тел,
Родство ладоней,

СОКОЛОВА КАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА родилась в 1992 г. в Санкт-Петербурге. В 2011 г. окончила Институт культурных программ (литературные курсы). Член ЛИТО Г. С. Гампер. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Северная Аврора», «Аврора» и других. Автор трех поэтических сборников, книги переводов узбекского фольклора, сборника песен и романсов «Единственный сад. Зима». Лауреат премии журнала «Звезда» в 2011 г. (за первую публикацию). Обладатель Гран-при международного поэтического конкурса им. К. Р. Член Союза российских писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

Все откровенней ты глядел,
Все беспардонней,
Все ближе двигался ко мне.
Мы были глухи:
Пустые вести о войне,
Пустые слухи
Рефреном полнили вагон,
Речитативом,
Но что до слов со всех сторон
Двоим счастливым?
Не спрятаться, кругом видны…
Поцеловать бы…
Что нам за дело до войны —
Дожить до свадьбы!

III

Дожили. Не разлучены,
Но так надсадно,
Так по-другому влюблены —
Не доблокадно.
Обручены до смерти, знать,
Кольцом блокады.
Мы живы — нам бы ликовать,
А мы не рады.
Мы вместе —
быть еще нежней!
Но в нас усталость,
И я не с ним, и ты не с ней,
Они остались
В их времени.
Из всех потерь
Всего досадней,
Что я блокадная теперь,
И ты — блокадный.
Блокадной выправки с тобой,
Блокадной ковки.
В нас не вьюны навек, а бой
Вдоль Дудергофки.

А ВЫ ЦЕЛОВАЛИСЬ ПОД ЛИВНЕМ

А вы целовались под ливнем колючей шрапнели,
что воздух вокруг рассекает с неистовым воем?
И кажется: если сейчас мы прожить не успеем,
то через мгновенье уже нас не будет с тобою…
Не будет весны с нашим первым бессонным рассветом,
кино на последнем ряду и веселого «горько».
Не будут смеяться с утра наши общие дети,
с щенком лопоухим играя по прозвищу Борька.
А вы целовались у жизни своей на излете,
которая может вот-вот оборваться? И завтра
уже не наступит. И рвется, как птица, из легких
дыхание юности нашей, прошедшей внезапно…
И будут дожди слезы лить над уставшей землею.
И будут под ними гулять, целоваться и плакать,
забыв обо всем, как под ливнем шрапнели те двое
весной, под Берлином, в далеком таком сорок пятом…

ИХ РАССТРЕЛЯТЬ ХОТЕЛИ НА РАССВЕТЕ*

Их расстрелять хотели на рассвете,
Когда туман над полем полз змеей.
Там были бабы, старики и дети,
И мой отец со всей своей семьей.
Деревней целой в ту шеренгу встали,
И каждый третий сделал шаг вперед…
На их дворе, в углу, на сеновале
Два летчика, два раненых… Орет
Немецкий офицер про русиш швайне,
Блестит хрустящий хромовый сапог.
…Никто ему не выдаст этой тайны,
И шепчет мама: «Ты молчи, сынок,
Смотри в глаза фашистскому подонку
И про себя считай до десяти.
Уже плывет по Сейму плоскодонка,
Чтоб к партизанам раненых свезти»…

Но вот подняли ружья полицаи,
И багровел, как свекла, офицер,
Когда меж ними, бледный и усталый,
Встал староста: «Ты прыть свою умерь.

АСАТУРОВА ЕЛЕНА родилась в Москве. В настоящее время живет в Болгарии. Профессиональный юрист. Член Международного Союза Писателей им. св. Кирилла и Мефодия, член Союза русскоязычных писателей Болгарии. Автор книг «Строки на обрывках парусов» (2017) и «Великий мечтатор» (2018). Публикации в сборниках и альманахах в РФ, Болгарии, Германии, Белоруссии, Израиле. Лауреат международных поэтических конкурсов. Лауреат премии имени Марины Цветаевой, лауреат премии «Серебряный голубь России 2018», лауреат международного литературного конкурса им. К. Симонова.

Откуда здеся взяться партизанам?
Все жители у нас наперечет.
Вот посмотри, старуха Марьиванна,
Та целый день для вас хлеба печет.
А дед Петро работает на кузне,
Клавдея с Зинкой в поле от зари
До самого заката. Карапузы —
Те целый день копаются в пыли…»
Он говорил, негромко, но солидно,
Да то и даром — бывший счетовод,
Не подавая перед фрицем вида,
Что сам душой болеет за народ.
Так каждому нашел он оправданье,
И офицер, кривя в усмешке рот,
Сказал с акцентом — это, мол, собранье
Закончено, и список дал работ.
Все тихо разошлись, шепча молитвы,
Крестился дед, смахнув слезу у глаз.
То поле, где жнивье — как поле битвы,
Что выиграл их староста сейчас.
Кто слаб душой, поймет его едва ли
И проклянет, и злобно плюнет вслед…
На опустевшем дальнем сеновале
Оставил летчик с табаком кисет…
Слепило солнце, боком встав к зениту,
И отражалось в глянце сапога…
Не по делам судили, все забыто,
И в лагеря сослали как врага…
А летчик наш бомбил Берлин и Вену,
Спасая мир от нечисти людской…
И снилась та далекая деревня,
И он шептал: «Спасибо, что живой»…

[*] Это реальная история, произошедшая с моим папой и его дедом в деревне Малые Угоны Курской области в 1942 году…

ЗЕМЛЯНИКА

Бой замолкал. Все глуше были звуки
той канонады, что вспугнула птиц.
Деревья разметали ветви — руки,
чужой броней поверженные ниц.
Бой затихал. За дальним косогором
дымился танк, уже не видно чей.
И третий взвод с израненным майором
переходил вброд небольшой ручей.
Разрывами встревоженные птахи
вернулись в лес, ища остатки гнезд…
А он лежал, в распахнутой рубахе,
как будто бы к земле сырой прирос.
Как будто утомился, на мгновенье,
забыв про грохот, вой снарядов, крик.

И на губах, искусанных, свеченье —
Как алый сок поспевших земляник.
Он видел мать с лукошком, полным ягод,
он помнил запах и медвяный вкус,
и как крестил тайком на Пасху дьякон,
и как шептал уверенно: «Вернусь...».
Застыло небо и умолкли птицы,
так, словно смерть их прервала полет...
А кровь бойца, что по траве струится,
здесь снова земляникой прорастет...

Николай ХРИПКОВ

* * *

Старичок идет за хлебом.
Костыльком по мостовой
Выбивает дробь под небом:
«Я живой! Живой! Живой!»
И под кепкой согревает
Солнце мягонький пушок.
В магазин идет-шагает
Одинокий старичок.
Мимо девушки шагают
И другая молодежь.
Ребятишки пробегают.
Солнце светит. День хорош!
Старичок идет за хлебом,
Костыльком своим стучит.
Снова он своим набегом
Магазин обогатит.
Старики, они как дети.
Ходят, дышат — все о'кэй!
Он один, как перст, на свете.
Ни родных и ни друзей.
Был когда-то всем он нужен.
Без него в делах застой.
Был он сыном, братом, мужем.
А теперь он стал никто.
Он себе яичко сварит,
Молока себе нальет.
Мякиш деснами подавит,
Шевеля безгубый рот.
И таким же будет ужин.
Телевизор. И уснет.
Он себе пока что нужен.

ХРИПКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ родился в 1954 г. в городе Новосибирске. В 1977 г. закончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Работает учителем истории в школе. Живет в селе Калиновка Новосибирской области.

И поэтому живет.
У соседей снова драки.
Матерки. Посуды бой.
Страсти, словно при атаке,
Где остался он живой.
Ни о чем он не жалеет.
Смерти в гости не зовет.
В доме он кота имеет.
Разговоры с ним ведет.
Кот — отличный собеседник.
Собеседник еще тот:
Он любые будет бредни
Слушать и не перебьет.
Старичок идет за хлебом.
У него один лишь путь.
А другим, как туарегам,
Непонятна его суть.
Девушки шагают в мини.
Для июля в самый раз.
Мини — это, как бикини.
Мужики не сводят глаз.
Нет друзей. Одних убили.
Кто-то смертью пал своей.
Были дети, да уплыли.
Без друзей и без детей.
Старичок идет за хлебом.
Костыльком стучит своим.
Он сейчас сравнялся с Фебом.
Мы — пигмеи перед ним.

Борис ГРЕБЕЛЬНИКОВ

МОЙ ДЕД — РЭМБО

> Джон Рэмбо — вымышленный персонаж, герой книг и серии боевиков, в которых показан совершенной «боевой машиной», безупречно владеющей; огнестрельным оружием, ножами и голыми руками.
> (*Материал из Википедии*)

Собрался ложиться спать, вдруг зазвонил телефон. «Двоюродная сестра из Казахстана», — отметил я.

— Не спишь? — раздался голос.

— Лена, что-то случилось? Ведь час назад разговаривали, — спросил с тревогой.

— Нашла документы на сайте: «Подвиг народа». Оказывается, в войну нашего деда наградили орденом. А он об этом даже не знал!

— Не может быть?! Дед наш такой спокойный, и вдруг орден! Не ошибка? — удивился я.

— Посмотри в интернете, потом позвонишь, — прощебетала сестра.

— Лен, поздно уже звонить. Завтра.

— Буду ждать звонка сейчас. Мне интересно, что ты скажешь. Ведь дед Семен был тихоней. Никогда бы не подумала, что он на это способен! — скороговоркой выпалила она и отключила телефон.

* * *

Когда исполнилось десять лет, отец привез меня из деревни в город к дедушке и бабушке. Там уже находились мои двоюродные; пятилетняя сестра и два брата, которые были старше меня на два-три года. Деда с бабкой я видел и раньше, а неугомонных братьев, дающих друг другу тычки под бока, и плаксивую сестру встретил впервые. Они так же, как и я, были привезены своими родителями — погостить. И в этой шумной компании мне предстояло находиться почти все лето.

Со своими родственниками я быстро нашел общий язык. Пока бабуля, закрыв нас в доме на замок, находилась на рынке, а дед на работе, мы устраивали такой кавардак, что пыль стояла столбом.

Перед приходом бабушки мы на скорую руку прибирались, чтобы скрыть следы баталий. Два дня она делала вид, что ничего не замечает, и щедро потчевала нас фруктами и конфетами, купленные на деньги, вырученные от продажи гладиолусов. А на третий день, когда мы в «бою» порвали подушку и выпустили перо, которое предательски летало по всему дому, бабушка не выдержала и отругала нас. А деду, пришедшему с работы, она безапелляционно заявила:

— Сеня, займись внуками! Балованные без предела.

— Придется, — нисколько не сердясь на нашу «битву» подушками, произнес он. А затем, улыбнувшись, добавил: — Хлопцы, есть поговор-

ГРЕБЕЛЬНИКОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1956 г. Живет в с. Саханка Новоазовского р-она, Донецкой обл. Пенсионер. В творческом союзе не состоит.

ка: «Три дня гость, а потом — член семьи!» Сегодня трехдневный срок заканчивается, поэтому завтра будете работать. Пойдем, покажу фронт работы!

Мы пололи грядки с гладиолусами, а за это дед Семен давал рубль на всю компанию, который мы тратили в городском парке отдыха на мороженое и карусели.

— Балуешь внуков! — восклицала бабушка, сердясь на щедрость мужа. — Каждый день по рублю, знаешь, как тяжело нам деньги достаются!

— Заработали, — добродушно усмехался дед.

В субботний вечер дед выпросил «сто грамм наркомовских», на что бабка, сердито выговаривая: «Ишь ты, привык-то на фронте к «наркомовским», — выставила на стол чекушку. Поужинав, он прилег на кровать. Некоторое время старик боролся с дремотой, но вспомнив, что обещал жене заниматься внуками, оживился: — Хлопцы, идите сюда, что-то покажу!

Мы прибежали на зов. Дед, расстегнув брюки, оголил часть правой ягодицы, будто приготовился для уколов.

— А-а, пуля! Видели уже, — разочарованно протянул старший брат и со словами: — Пойдем бороться! — хлопнул меня по затылку. Чтобы не получить от меня в ответ затрещину, он выскочил во двор, увлекая за собой младшего брата. За ними, не спеша, потянулась хныкающая сестра.

В деревне с мальчишками я часто играл в войну. Командиром всегда у нас был мой одноклассник Игорь. Он много читал книг о подвигах наших солдат в борьбе с фашизмом. Я тоже, не меньше его, прочел таких книжек. Но дед Игоря, воевавший на фронте, много рассказывал ему такого, чего в литературе не было. К тому же он мог практически показать своему внуку; как вырыть окоп, как бросить гранату, как замаскироваться. Ясно, что с такими знаниями Игорь был бессменным командиром. А мне так хотелось покомандовать мальчишечьим войском, хотя бы один день.

Я понял, что передо мной появилась возможность, благодаря новым знаниям о войне, которые сейчас получу от своего деда, сместить Игоря с должности командира.

Боясь спугнуть удачу, и потому, начав расспросы издалека, я с волнением прошептал:

— Пуля-то настоящая?

— Конечно настоящая, не с дерьма же слепленная, — и дед, пьяно усмехнувшись, добавил: — Ну, давай, щупай!

Он крепко взял мою ладонь и поднес к бугорку на ягодице, приказывая:

— Дави!

— Не больно? — спросил я, ощупывая цилиндрический предмет под кожей.

— Нет. Дави, не бойся!

Бабушка, сидевшая в комнате и вязавшая носок, сердито заворчала: — Вот старый пень! Как выпьет, так и показывает свою задницу внукам! Все уже видели, кроме Бориса. Ну, посмотри, посмотри, внучок.

— Деда, а куда тебя еще ранило?

— Вот, осколком, — произнес старик, ткнув пальцем в рваный шрам на предплечье.

— А еще куда? — не унимался я, в своем воображении рисуя деда сказочным героем-победителем.

— В голову! — злясь на мужа за выпивку, с иронией воскликнула бабушка и добавила: — У него еще… в голове пуля.

— Да ну, так не бывает, — удивленно протянул я.

— Контузия, — прошептал старик, засыпая.

— А что такое контузия? — начал тормошить я деда, стараясь выудить больше информации. Он открыл глаза, но ответил не сразу. Было понятно, что дед подбирает слова, чтобы объяснить мне доступно.

— Снаряд рядом разорвался, я сознание и потерял…. Это контузия, — пояснил он. Вдруг лицо старика сморщилось, и по небритой щеке покатилась слеза.

— Ты что, плачешь? — удивился я, потому что в моей голове не укладывалось: «Дед — герой, и вдруг слезы!».

Бабушка, оторвавшись от вязания и презрительно глянув на мужа, ехидно протянула:

— О-о, надо же, фрау свою вспомнил.

— Она мне жизнь спасла, — сквозь слезы прошептал дед.

— Какую фрау? — спросил я, не поняв смысла разговора.

— Была такая фифа…, — начала рассказывать бабушка, но тут, же осеклась, добавив сердито: — Тебе, внучок, рано знать об этом.

Чтобы отвлечь старика от грустных воспоминаний о неизвестной мне немке, я задал вопрос:

— А ты кем был на войне, солдатом или командиром?

— Командиром взвода… младший лейтенант, — сдавленно ответил он, вытирая ладонью слезу.

— Деда, а медали есть?

— Целая куча… и пистолет немецкий «Вальтер», — улыбнулся дед, прикрыв глаза.

— Ого! — только это смог произнести я, задыхаясь от восторга.

В моей голове быстро замелькали картинки: «Дед приедет к нам в деревню весь в медалях, а на поясе в кобуре — пистолет. Все мальчишки соберутся возле нашего дома, чтобы посмотреть на моего дедушку. Наконец, он, отобедав, выйдет на улицу, держа меня за руку. Потом, достанет пистолет и подаст его мне со словами: «Ну-ка, покажи своим друзьям!».

Из радужных грез в реальность меня вернул храп. Старик спал. Я начал трясти его за плечо, пытаясь разбудить.

— Не трогай его, внучок, пусть спит, — проворковала бабушка и добавила. — Старым стал дедушка, от чекушки пьянеет. Сидел бы на пенсии. Нет, ему работать надо! Говорит, что попросили остаться. Выискался, незаменимый!

— А кем он работает? — поинтересовался я. В моем сознании представлялось, что геройски воевавший дед должен работать только милиционером. Ну, на худой конец, пожарным.

— Бухгалтером, — как-то буднично произнесла бабушка, при этом зевнув.

— Простым бухгалтером? — расстроился я. На что она, явно гордясь мужем, произнесла:

— Почему простым? Главным! Главный бухгалтер треста столовых и ресторанов города!

— А я думал, милиционером, — жалобно выдавил я. Бабушка громко рассмеялась:

— Какой из него милиционер? Милиция бандитов ловит. А дед за свою жизнь мухи не обидел. Ты же видишь, какой он спокойный.

— Ба, покажи пистолет и медали, — попросил я, оправившись от бабушкиного «удара», который она сделала словом: «Бухгалтер».

— А нету этого «добра»!

Вот и второй «удар под дых», от которого я, вылупив глаза, вскричал:

— Как нету?! Дед что, обманул меня?!

— Не обманул он. Все это было… штук пять или шесть медалей, и пистолет немецкий… Черт бы его побрал! Из-за него воры и залезли. Из ухажеров нашей дочки кто-то навел. Шубу мою украли. Хорошая шуба была, енотовая! Дедовы хромовые сапоги и китель с медалями. Кое-что из посуды прихватили. Давно это было, в сорок седьмом, по-моему. Тебя еще не было.

«Мир перевернулся для меня! Эти воры разрушили мои мечты!», — показалось мне, и все переживания отразились на лице. Увидев мои глаза, полные слез, бабушка всплеснула руками:

— Да не переживай ты так из-за дедовых побрякушек. Там ничего стоящего не было, кроме одной — «За отвагу». Остальные так себе: за оборону, да за взятие городов… Медальки такие, наверно, всем давали, кто воевал.

Мне было стыдно разреветься перед бабушкой и я, выскочив на улицу, дал волю слезам…

Позже, сколько я ни обращался к деду с просьбой: «Расскажи про войну», — он всегда отнекивался:

— Потом, как подрастешь, расскажу.

День Победы праздновали у деда с бабкой. Собрались родственники и приятели. В большой компании, выпив, шутили, пели песни. Ну, и конечно, начали вспоминать о войне. Эта тема меня постоянно интересовала, поэтому я, чтобы послушать взрослых, уселся на стул в углу, стараясь быть незаметным.

Дед Семен, приняв, больше, чем «сто грамм наркомовских», сидел молча. И вот кто-то из гостей спросил:

— Семен Евменович, расскажи, как воевал, может, подвиг какой совершил?

— Что рассказывать, какие там подвиги? Золотой Звезды нету, значит не герой, обычный солдат. Война — это тяжелая и грязная работа, которую мы — простые солдаты, выполняли изо дня в день, приближая Победу, — сказал дед и опустил голову, этим дав понять, что рассказа не будет.

И тут мой отец, усмехнувшись, с иронией спросил:

— А чего пулю из задницы не вырежешь?

— Да он этой больницы боится, как черт ладана! — пояснила бабушка, ехидно улыбаясь. Все гости рассмеялись.

— Странно, почему пуля в зад попала? Обычно спереди. Отступал, наверно? — не унимался отец.

— Ничего странного, драпал от немцев, вот и получил! — со злой усмешкой сказала бабушка. Раздался дружный хохот присутствующих за столом.

Плечи деда начали мелко вздрагивать, и я, видевший его со спины, понял, что он беззвучно плакал.

— Сеня, чего ты как дите малое? Иди спать! Наклюкался уже! — приказала бабушка. Все опять расхохотались. Старик встал и, пошатываясь, вышел из комнаты.

Мне стало жалко деда, и я бросился за ним:

— Дедушка, давай я тебе помогу лечь на кровать!

Старик улыбнулся:

— Давай, мы же с тобой солдаты, поэтому должны помогать друг другу.

Прошли годы. Я уже стал взрослым. Отслужив в армии, решил проведать стариков, пока живы. И вот, преодолев три тысячи километров, оказался у них в гостях.

Дед уже не вставал с кровати. Меня не узнал, спутал с другим внуком. Как я не объяснял, он так и не вспомнил. Поэтому, чтобы узнать, как старик воевал, обратился к бабушке:

— Ба, расскажи про деда!

Она грустно улыбнулась и сказала:

— Недолго нам осталось жить… Да и ты далеко живешь, может, в последний раз видимся. А, ты, я вижу, до сих пор интересуешься этим. Своим детям всего не рассказывала. Отец твой в армии был, а тетки твои замуж вышли, да разъехались, когда письмо пришло из Германии. Вот тогда я и узнала, что муж мой в плену был. Он ничего не рассказывал, когда с фронта приехал. Воевал, да и воевал…

— Дед в плену?! Как же он попал? — удивился я.

— Контузило, без сознания был, — пояснила бабушка и тут же с жаром добавила, — и я не знала, а в сорок девятом письмо пришло… от вертихвостки немецкой, тогда и узнала про плен!

— Бабуля, расскажи по порядку! — нетерпеливо воскликнул я.

Старушка вздохнула и произнесла:

— Ну, хорошо. Слушай. Как ты знаешь, дед твой работал всю жизнь главным бухгалтером в тресте. В народном суде заседал. А когда началась война, его избрали председателем комиссии по брони. Принципиальным был, от мобилизации бронь давал только тем, кто, действительно, был нужен в тылу. В городе-то два военных завода было. А в сорок третьем ему пришла повестка. Окончил курсы младших лейтенантов и на фронт. Когда пришла Победа, вернулся с медалями, и опять на прежнее место работы. Прошло четыре года, вдруг, его вызвали в городской отдел НКВД или МГБ, не помню уже, как точно называлась эта служба. Несколько дней туда ходил, а мне ничего не говорил. Когда меня в отдел вызвали, тут все и выяснилось. Оказалось, что дед в конце войны попал в плен. На какой-то железнодорожной станции в Германии, во время погрузочно-разгрузочных работ, он и еще четыре человека бежали. Тех немцы убили, а деду пуля попала в задницу. Его спрятала у себя двадцатилетняя немка — обходчица путей. Хирурга, чтобы пулю вырезал, звать побоялась, поэтому лечила сама. Сучка немецкая! Вот пуля и заросла.

— Ба, ну чего ты так на деда? Может, ничего между ними не было. Ему на тот момент сорок лет стукнуло, — прервал я бабушкин рассказ.

Старушка строго посмотрела на меня:

— Как же не было?! Было! Мне сотрудники отдела письмо переводили. Про любовь немка писала. Гутен таг, либен, да битте… Любит, значит, Семена и просит приехать! Тьфу! — и бабушка, со злостью плюнув в сторону дедовой комнаты, прошептала. — Никогда не прощу!

— Да ладно тебе, — рассмеялся я.

Увидев, что я не поддерживаю ее, бабушка нарочито сердито произнесла:

— Ну, слушай дальше, а то рассказывать не буду… Дед-то твой два месяца в плену был, а потом месяц у немки задницу лечил, пока наши войска не пришли. Разобрались — и в запасную часть на неделю. Потом должны опять на фронт отправить, но какой-то высокий начальник узнал, что твой дед главным бухгалтером работал, и оставил при этой части.

Посмотрев на мое удивленное лицо, бабушка пояснила:

— Хорошие бухгалтеры в армии — на вес золота были. А как ты думал? Во всем нужен учет. И в амуниции, и в продуктах, и в оружии. Его даже просили остаться после войны…

— Баб, не осуждай его. Куда ему было деваться в Германии, да еще раненому? — заступился я за деда.

— Да, я понимаю, что деваться некуда. Но путаться с этой фрау не надо было, — согласилась бабушка.

После бабушкиного рассказа я успокоился и сделал вывод, что дед воевал достойно, как и миллионы наших людей.

А через год деда не стало.

* * *

Зайдя на сайт «Подвиг народа», я нашел документ:

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. ФИО: Гребельников Семен Евменович

2. ЗВАНИЕ: мл. лейтенант

3. Должность, часть: командир стрелкового взвода, 1 стрелковой роты, 1055 стрелкового полка, 297 стрелковой Славянско — Кировоградской дивизии.

Представляется к Правительственной награде: орден «Красная звезда».

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига.

Тов. Гребельников в боях 4 и 5 октября 1944 года, за овладение населенным пунктом Вегедьхаза и железнодорожной станцией Кэсе (Венгрия), проявил себя смелым, мужественным и решительным офицером Красной Армии. Сочетая свои личные качества, с умелым руководством взводом, он четко выполнял боевые задачи командования и имел успех в боях.

В рукопашном бою, лично сам убил трех венгерских солдат и взял двух в плен. Одним из первых ворвался в населенный пункт Вегедьхаза. Достоин Правительственной награды — ордена «Красная звезда».

Командир 1055 стрелкового полка: майор Следь.

7 октября 1944 г.

Наградить орденом «Красная звезда».

Командир 297 стрелковой Славянско — Кировоградской дивизии: полковник Ковтун.

12 октября 1944 г.

Отметка о награждении.

Награжден приказом по 297 стрелковой Славянско — Кировоградской дивизии № 0291н от 13 октября 1944 г.

Сотрудник отделения кадров 297 стрелковой Славянско — Кировоградской дивизии: капитан Долгих.

13 октября 1944 г.

— Вот это, да! — громко сорвалось с моих губ.

— Дед, ты чего? — поинтересовался десятилетний внук, проходивший мимо меня.

— Прочти!

— Ого! — воскликнул внук, оторвавшись от монитора, и удивленно спросил:

— Твой дед восточными единоборствами занимался?

— Рукопашным боем! — неожиданно для себя, выпалил я и покосился на парнишку.

— Настоящий Рэмбо, я тоже буду таким, когда черный пояс получу, — уважительно произнес внук.

Ошеломленный информацией, я еще некоторое время сидел, размышляя: «Наверно, дед не получил орден, потому что в это время был в плену, а затем запасной полк. Вот и не нашла его награда».

Дрожащим пальцем набрал номер телефона сестры. Она тут же спросила:

— Читал? Что скажешь?

— Лена, я поражен! Внук в восторге! Сказал, что дед настоящий Рэмбо! И спросил: какими единоборствами он занимался? Я сказал, что рукопашным боем.

— Зачем соврал? — раздался смех сестры.

— Понимаешь, внук занимается карате, а на тренировки ходит с неохотой. Гляжу, воодушевился. Сообразил, что может пригодиться. Он уже понимает, что на нашей земле идет уничтожение русского мира. Тем более под обстрелом из «Градов» побывал. Мне бы хотелось, чтобы он был таким, как наш дед, — пояснил я.

— Борис, сходи на могилку к своему отцу и расскажи про нашего деда. Твой батя больше всех потешался над стариком, — произнесла тихо сестра.

— Хорошо. Лен, я горжусь нашим дедом, он настоящий Рэмбо!

Я тоже…— всхлипнула она. И я услышал короткие гудки.

СЕВ

1.

Зарони меня здесь. Отряхни ненароком с ладони,
Чтобы я проросла, чтобы я перевесила сон.
Каждый новый росток ждет, когда его в пашню уронят.
В ненасытную грязь, в плодородный сырой чернозем.
Я смогу пересилить гнетущую влажную почву,
Я прорежусь весной, зябко ежась от злого дождя.
Будет пахнуть жнивьем, будет небо мигать днем и ночью.
Ну а я никогда, как ни бейся, не вспомню тебя.

2.

Зазвенит канонада. Над городом выгорит вечер.
Каждый третий солдат этим вечером станет травой.
Смерть в бою говорит на одном из забытых наречий,
Этот древний язык — шепот жизни в утробе земной.
Каждый третий солдат приобщится к подземному пенью
И научится быть Не-солдатом, а чем-то другим.
Ты послушай, звенит голосами зеленых растений,
Нам известный с рождения, самый торжественный гимн.

3.

Сын целует отца, сын выходит в лоскутное поле.
Над полоской лесов начинает белеть окоем.
Что-то в тверди земной неуверенно хнычет от боли,
Хрипло каркает грач… Отец сына толкает: «пойдем».
Начинается сев, шевелится под плугом планета.
Прорастает любовь в человеке — не вытравишь впредь,
Прорастает война, скользкой гадиной тянется к свету.
Собирай урожай, старый пахарь, рожденье и смерть.
Круговерть голосов. Золотистая радость пшеницы.
Им пока невдомек, для чего режет воздух коса…
Исчезают огни. Исчезают названия и лица.
Но звенят. Но поют. В черном чреве земли голоса.

КИНАШ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА родилась в Белгороде в 1995 г. Окончила историко-филологический факультет Белгородского государственного университета. Автор поэтических сборников: «Отрывки из сонника», «Окраина спящей земли», «Наотмашь». Творчество отмечено премиями: Первое место в VI Международном литературном конкурсе памяти К. М. Симонова, лауреат III степени Международного конкурса «Верлибр», Гран-при фестиваля «Оскольская Лира», лауреат Международного конкурса «45 калибр», второе место в фестивале «Нежегольская тропа». Шорт-лист Кубка мира по русской поэзии. Участница форумов в Липках, в «Тавриде». Живет в Москве, преподает русский язык в Кембриджской интернациональной школе.

«Господи, не пусти меня в мясорубку,
Иже на небеси, дорогой отец…».
Глупая девочка, с вами не шутят шутки,
Это дорога тянет в один конец.
Будешь лечить и мастерить припарки,
Будешь снимать ладонью последний жар…
Красные всадники.
Белые санитарки.
Промысел Божий или Его кошмар.
«Отче, послушай, дай мне немного света.
Я не умею, смертная, тьму пугать…».
Добрая девочка, что ты отдашь за это?
Что это будет — зло или благодать?
Свет не дается запросто, без процентов,
Свет выжигает жизнь, изнутри болит…
Лучше скажи мертвому пациенту,
Что он еще сможет чуть-чуть пожить.
«Пастырь всеобщий, не разразись грозою.
Знаю, ты занят, но в этот раз ответь.
Ты разреши мне горькой своей слезою,
Выгнать на день кривую старуху-смерть…».
Смелая девочка, зря ты дразнишь чудовищ,
Им тебя съесть — раз плюнуть, в один укус.
Вечная дрема — лучшее из сокровищ,
Тем, кто забыл хлеба земного вкус.
Ты не ропщи на безголосых духов,
Ты не пугай воронов за окном.
Пусть посидит в черном углу старуха.
Ей и тебя в путь провожать потом.
«Боженька милый, ты не грусти, не надо.
Все устаканится, мы еще будем жить,
Мы обязательно средство найдем от яда,
Снова засеем черное поле ржи…
Только не засыпай в небесах горячих,
Только не забывай зажигать маяк…»
Мертвая девочка, Бог никогда не плачет.
Хочет порою, только не знает, как.
Ты не волнуйся, не оборвется пенье,
Не прекратят звенеть голоса детей.
Девочки-девочки,
Искорки милосердия,
Как объяснить вам, что вы Его сильней?

ОТЦОВСКИЕ БОТИНКИ

Мы в детстве все любили щегольнуть
И каждый месяц рост свой отмечали.
Мы, как гармонь, растягивали грудь,
Казалось нам, могучими плечами.
Гордился я, что вот отца догнал.
Его ботинки мне малы и узки.
Гордился я… я просто забывал:
Он отморозил пальцы ног под Курском.
Уже давно я вышел в мужики.
Лежат в альбоме детства фотоснимки…
Но малые отцовские ботинки
Всегда. Всю жизнь. Мне будут велики.

ОТЕЦ

Не встретил ты и в этот раз,
Когда я вновь домой вернулся.
Не ты рукой, а веткой вяз
К моей ладони прикоснулся.
Окликни, па!… Из-под стекла
Взглянул лишь на меня с портрета.
Как будто бы слеза стекла,
А может, просто отблеск света.
Не верил в похоронку я
И поезда встречал с цветами
— Приедет! — говорил друзьям,
— Приедет, — говорил и маме…
Все ждал я окрика — «сынок!»
Я громче всех бы крикнул — «папа!»
За встречу все отдать бы мог…
Чужие мимо шли солдаты.
И таял снег, и падал снег,
И вновь сады цвели весною.
Кто выжил, те вернулись все…
А мы не встретились с тобою.
Грозили в драках мне друзья,
Отцами сильными своими.
И лишь молчал угрюмо я,
Хоть слезы мучили, давили,
Не плакал. Только в горле ком.

ПЕТРУШЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ живет в г. Рубежное Луганской области. Владеет украинским и русским языком. Переводит также с белорусского. В 1978 г. окончил Луганский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». Работал в школе, лицее, колледже преподавателем русского языка и литературы. Поэт, член МСПУ, МСПС, Конгресса литераторов Украины, лауреат литературной премии им. Михаила Матусовского. Автор девяти сборников: рассказы, сказки, стихи, белые стихи, юмористические произведения.

Ведь дома я один мужчина.
За мать в ответе я притом,
За каждую ее морщинку.
В твой день рожденья, точно в срок,
Приеду (сам давно папаша).
Но скажет мать: «Присядь, сынок,
Ты помнишь, вот скамейка наша…»
Где ты лежишь, где пал в бою?
Отец, узнать мне это надо…
У вечного огня стою,
У неизвестного солдата.

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Сожженный город тишину встречал.
Она вернулась в фронтовой шинели.
Перед собою палкою стуча,
Калитку приоткрыл мой дед Евгений.
В родном саду к цветам он подошел,
Лицом прижался к веточке сирени:
— Как хорошо. Ей богу, хорошо…
Вот если бы еще глаза смотрели.

* * *

В русской баньке
С морозца — в баньку с веничком березовым.
В парной — мужи, здесь слабым места нет.
Кричат: «Поддай!» Мелькают спины розово.
— Побить? — мне предлагает крепкий дед.
Под хлесткий веник подставляю спину.
Врежь молодежи, — слышу, — ветеран.
Он выпрямился, ковш воды подкинул.
Кулак — как молот; под лопаткой — шрам.
Удар такой — и мертвого разбудит.
Ядрено бьет, от сердца, как с напевом.
Да, если б не они, не эти люди —
Замерз бы мир зимою в сорок первом.

СКРИПАЧ

посвящается Иври Гитлису

Он выходит на сцену. Его девяносто шесть
то ли тяжкий крест, то ли свыше данная честь.
Грациозный смычок, третья его рука,
недвижим пока.
Этот древний старик, этот сморщенный временем гриб,
как живется ему средь цветущих кленов и лип?
Как живется тогда, когда смерти все нет и нет?
Эй, старик, расскажи, не молчи!
В ответ
к небесам взлетает, как птица, его рука,
прирученные, к смычку ластятся облака.
А внизу, как на блюдце, дремлет двадцатый век —
ты ведь помнишь его, человек?
Как кровавой пеной у рта вскипала война,
за одной волной накатывала другая волна
горя, отчаяния, слез —
казалось, зальют этот мир к чертям!
Обреченно глядят вперед глаза скрипача:
У войны так много орудий, у него всего несколько нот.
Разъедая глаза, льется полынный пот.
Но второго шанса не будет. Когда приходит беда,
выбор довольно скуден: да или да.
Скрипач собирается с силами, использует каждый шанс,
за плечами бессмертные Бах, Паганини, Брамс.
Ноты сгинут под пулями, но заново прорастут.
Даже войне не вымарать красоту.
А смычок сражался со струнами, как солдат,
и неважно, что поле боя — лишь звукоряд.
Виртуозной каденцией взлетел напоследок вверх
победительный фейерверк.
Вот и все.
Молчаливый, бессильно повис смычок.
Время сквозь ноты не останавливаясь течет.
Этот скрипач, ему теперь девяносто шесть,
и каждый прожитый год он почитает за честь.
Недаром аплодисментами грохнул зал.
Что смычок пригорюнился? Знаю-знаю, устал.
Скрипач улыбнулся:
война против старости тоже требует сил.
Что сказать, он опять победил.

НОВОХАТНЯЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА родилась и живет в Кишиневе. Окончила Академию музыки имени Гавриила Музическу. Поэт, прозаик, член Ассоциации русских писателей Республики Молдовы. Автор двух поэтических сборников и сборника малой прозы «Побыть в тишине», изданного по итогам конкурса Министерства культуры Республики Молдова (Кишинев, 2015). Публиковалась в изданиях «Зарубежные записки», «Юность», «Русское поле» и других.

Светлана ПОТАПОВА

ТВОЯ РОДОСЛОВНАЯ

От Москвы деревенька близко.
Остановка с рисунком автобуса.
За оградкой — звезда обелиска
В карауле шести гладиолусов.
И, с заботой недавно подкрашены,
Четко видятся из окна
Пассажирам автобуса вставшие
В три шеренги бойцов имена.
Пантелеев Иван Миронович,
Пантелеев Степан Миронович,
Пантелеев Матвей Миронович,
Пантелеев Сергей Миронович,
Пантелеев Мирон Евсеевич,
Пантелеев Евсей Михеевич
И еще семь героев одной земли
Навсегда в бессмертье ушли.
Нам фамилия — знамя имени,
Русским отчество — как отечество.
Прочитай же здесь, человечество,
Родословную всей страны моей!
Перекрестной картечью дат
С сорок первого по сорок пятый
Сражены, далеко лежат
От порогов родных солдаты.
След иных и поля утратили,
И бездонные сводки потерь,
Но у Родины, как у матери,
Не бывает безымянных детей.
Разыскав и подняв с земли
Имена бойцов, к дому отчему
Их сквозь дым войны принесли
Два крыла — фамилия с отчеством…
…И, потомков рукою подкрашены,
Верным строем на все времена
Нас с тобой защищают вставшие
У дороги солдат имена.
Пантелеев Иван Миронович,
Пантелеев Степан Миронович,
Пантелеев Матвей Миронович,
Пантелеев Сергей Миронович,

ПОТАПОВА (ПРИЛЕЖАЕВА) СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. Журналист, собкор «Учительской газеты» по Северо-Западному региону. Член Российского межрегионального Союза писателей с 2014 г. Печаталась в журналах «Нева», «Молоко», «Белая скала», «Санкт-Петербургская искорка», «Новгород литературный», «Литературной газете», альманахах «Полдень», «Вече», «Под сенью оливы». Финалист фестиваля «Молодые писатели вокруг «ДетГИЗа» (2016). Лауреат международного конкурса имени Александра Куприна (2018). Повесть «Агентство «Анджелина» заняла Первое место на международном конкурсе имени Александра Куприна (2019). Живет в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

Пантелеев Мирон Евсеевич,
Пантелеев Евсей Михеевич —
Миллионы героев одной семьи
Навсегда в бессмертье ушли…
…В алых пятнах штыки гладиолусов,
Целит в небо стрела обелиска.
Молча люди глядят из автобуса.
От Москвы деревенька близко.

Марианна СОЛОМКО

* * *

Отъедается век за Блокаду,
За огромные смерти младенцев,
За живое, оглохшее в камень
Ленинграда геройское сердце.
Был на карте не город, а голод,
Лед на Ладоге хрупкий и тонкий,
Но повергли врага серп и молот,
Матерям разослав похоронки.
И склонившись над кукольным хлебом,
Над размером его поминальным,
Той зимой свято верили в лето
И в победное красное знамя.
Был на карте не город, а голод,
Лед на Ладоге хрупкий и тонкий…
Больно жалит истории овод —
Ешьте досыта, мира потомки!

ВЕТЕРАН

У него нет зубов, нет старухи —
Недогрызенный жизнью сухарь —
Он еще разудалистый ухарь,
В нем — исконно звенящая старь.
На висках — лебединые пряди,
А в глазах ленинградские льды,
Но не дрейфит он — радости ради
Молодее всех нас, молодых.

СОЛОМКО МАРИАННА ВАЛЕРИЕВНА родилась в 1984 г. в Ленинграде. В 2009 г. окончила фортепианный факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Первая поэтическая публикация — в 12 лет в «Новой литературной газете». Автор поэтических книг «Гуси летели на Север…» (2013), «Что бы ни случилось…» (2014) и детской книги «За грибами со стихами» (2017). Дипломант всероссийской литературной премии им. А. К. Толстого, лауреат литературной премии «Молодой Петербург» (2014). Переводит с сербского и переведена на сербский. Член Союза писателей России с 2013 г. Живет в Санкт-Петербурге.

Ни в бою, ни в миру он не дрогнет,
Лишь привычно поправит ремень,
В нем — Победы бессмертное огниво,
Он — воистину русский кремень!

* * *

Золотая иволга,
Серебряный дрозд,
Прилетайте, милые,
На белый погост,
Где гробов скворечники,
Могил неуют,
Где птенцы-подснежники
В сугробах поют,
Где с щеки березовой —
Слеза снегиря,
Где синичьи возгласы:
— Не зря! Не зря!

Константин КОВАЛЬ

МУРАВЕЙ

Светлой памяти моего деда, красноармейца-сапера Коваля П. Я. (1895–17.07.1944)

Был каждый метр разделен на часы
И каждая минута на сознанье:
К какому краю сдвинутся весы,
Как долго можно сдерживать дыханье?
Запал вращался против часовой.
Скрипела на зубах земля сухая.
А муравей крутился под рукой,
Как будто ничего не понимая.
Он строил дом, пыхтел, тащил «бревно»,
Бурчал в усы, бранил меня на местном,
А я мечтал расправиться с войной
И сдать на склад проклятое железо.
Мы оба напрягались — кто как мог.

КОВАЛЬ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1965 г. Окончил Донецкий государственный университет. Работал в старейшей украинской газете «Вечерний Киев». Печатался в журнале «Пізнайко», в коллективных сборниках «Свет рождества», «Стезя», «Рыцари слова» и литературно-художественных журналах «Пять стихий» (Донбасс), «Метаморфозы» (Беларусь), «Северо-Муйские огни» (Бурятия). Дипломант международного конкурса «Семья — всему голова», Международного фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье). Лауреат литературной премии им. Михаила Матусовского. Член Межрегионального союза писателей. Живет в г. Торецк (Дзержинск) Донецкой области.

И думали о мире и покое.
А где-то высоко трудился Бог
И целый мир крутился под рукою…

ШМЕЛИНЫЙ МЕД

Под выцветшим от частой стирки небом,
В разбитых бездорожьем сапогах,
С медалью «За отвагу» шла Победа
— Без праздничных оркестров, просто так.
Полы шинели путались в осоте,
Горячую пыльцу снимая с трав —
Как будто дикий шмель корпел над сотом
И хмель веселый в чашу собирал.
Задумалась Победа о нектаре:
Начало лета — тишь да благодать…
Позволила казенную разбавить,
И все, что не сложилось, наверстать.
По случаю и степь была скатеркой
С нехитрым угощеньем на столе:
Курган — картохой с выпеченной коркой,
Дорога — парой серых сухарей.
По случаю нашлись и соль, и сахар,
И что-то жестяное из НЗ,
И принят был коктейль единым махом
За все, что совершилось на земле.
И думала Победа не о сотах,
И облако слегка бросало тень,
А солнце поднималось на востоке,
И обещало миру мирный день.
Цветочный ветер налегал на струны,
Горячий пот бежал по рукавам,
И сладок был шмелиный мед в июне —
Но горечью полынной отдавал.

МЕДНЫЙ КОЛОКОЛ ВОКЗАЛЬНЫЙ

Медный колокол вокзальный
Помнил каждый эшелон.
Знал, кого пускать по главной,
С кем в буфет сходить резон.
Помогал иногородним,
Мог влюбленным удружить:
«Хватит вам молчать и спорить —
Поезд ждет, а жизнь спешит!»
Мог минуту не заметить, —
Или сутки наверстать,
Подсказать, где взять билеты,
И с какой платформы встать.
Помнил он и «Марш Славянки»,
И платок, слетевший с плеч,
И товарок перебранку,
И заносчивую речь.

Знал, как падают знамена
И меняют имена
Полустанкам и перронам
На обедне у попа.
Об обедне — это слишком.
Но, ни слова не совру —
Как хотелось мне, мальчишке,
Этот колокол толкнуть.
И от гордости взорваться,
И соседям рассказать,
Как по каждому приказу
Разбегались поезда.
Как и литерный залетный,
И товарный проходной,
Каждый мой звонок исполнив,
Вдоль платформы шел домой.
И мечталось мне, по-детски,
Дать большим составам свет,
Чтоб вернулся, наконец-то,
На Берлин ушедший дед.
С серой скаткой и медалью
— Честью фронтовых дорог...
Но на площади вокзальный
Был дежурный очень строг.
Он звонил и в дождь, и в ветер,
И не требовал наград.
Почему же в новом веке:
«За ненадобностью снят?»
Кто сказал, что «время — деньги»
И вложил слова в кредит?
Для того ль, чтоб отзвук медный
Был немедленно забыт?
«Позвонили — и довольно!» —
Дал команду чин большой
Для того ли, что бы с фронта
Дед мой вовсе не пришел...

ПОХОРОНКИ

«Ваш отец, Степанов Дмитрий Сергеевич, 1907 г. р., рядовой 771 сп. 137 сд, погиб 3.02.43 г. и захоронен в братской могиле д. Маркино Колпнянского района (перезахоронен из д. Павловка в 1948 г.)»...

Так ответил на мой запрос в поиске места гибели моего отца орловский военком полковник Е. Гришин.

1. О ЧЕМ НЕ НАПИСАЛИ В ПОХОРОНКЕ

О бомбежной воронке
Прописать в похоронке
Писарь штаба не мог,
Как на поле Шахтерском
В направленье Орловском
Полк советский полег.
В бой стремился, неистов,
По изгнанью фашистов
Там отец погибох*...
Сатанинское племя
Сеет вновь свое семя...
Буде милостив, Бог...

* Погибох — погиб. Краткий церковнославянский словарь.

2. КОГДА СТРАНА — СЕМЬЯ...

Доброй памяти моей мамы
Марины Калистратовны — труженицы тыла.

Похоронный лист
Для служивых лиц
Не был справкой —
Хоть кому случись,
Беспощадно чист
Перед правдой...
Миллионов стон
Матерей и жен —

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ родился в 1941 г. в селе Вольная Солянка Кинель-Черкасского района Самарской области. Окончил Куйбышевское педучилище и Казанский государственный университет. Работал журналистом, директором районного Дома пионеров, редактором районных газет, собственным корреспондентом областной газеты «Южный Урал». Руководил детскими и юношескими литературными студиями в г. Тольятти и в Самарской области. В Оренбурге живет с 2010 г. Автор десяти книг стихов и прозы. Член Союза российских писателей и Товарищества детских и юношеских писателей России, лауреат второй премии Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого (2005), региональной литературной премии им. П.И. Рычкова (2017), заслуженный работник культуры РФ.

Верх кручины,
А страна-семья —
Это мать моя,
Мать Марина…

3. САМОЛЕТИКИ

Я как летчик отважный
Самолетик бумажный
Запускал в огород —
Удовольствия ради
«Улетали» тетради,
Все истратил, и вот…
Пожелтевший листочек
В десять горестных строчек
Отправлялся в полет…
На отца похоронка…
Что же спросишь с ребенка?!.
Сорок огненный год.

КОСТИ

* * *

«Периодические наступательные операции местного значения»

Сидя в окопе и пожевывая табак, Алексеев Иван достал фотографию дочери. Сослуживцы уже несколько раз видели ее, но каждый раз умилялись детскому личику с широкими просящими глазами и вспоминали за что они воюют.

— Ха, это лишь начало! — приговаривал Иван. — Сейчас, если ей что-то надо, то глаза превращаются в аквариумы!

Хохот оборвал резкий свист. Все попадали на землю. Артобстрел. Время, когда огонь, металл, звук и даже сама земля старается тебя убить. Но Иван не унывал. Собственноручно вырезанные кости сегодня показали две шестерки, так что Удача была на его стороне. Когда перестали утюжить, он первым кинулся к пулемету.

* * *

Мы спим. Все спокойно. Уже рассветает. Четыре утра…
Воронцов Александр Евгеньевич, «Мальчик-убийца»

«Вань, а у меня «клава» черная, а я розовый хочу. Можно ее перекрасить? Лаком? Она не сломается?» — так пересказывал свой день Иван Павлович друзьям. — И представьте себе, действительно стала красить. Я позвал Леонида Михалыча, и он сделал выговор с занесением.

— А она потом тебе такую же подлянку не устроит? — спросил Сабуров доставая из холодильника закуски.

— Да брось! Они и так каждую неделю пытаются. А тут хотя бы месяц тихо поработаю. Ну что, сыграем? — потянувшись к серванту спросил Ваня.

— Опять в карты? Да они настолько стертые, что королей с девятками можно по обложке узнать! — возмутился Максим поправляя очки и стакан.

— Тогда в кости! — не унывал Ваня, вынимая из серванта черно-белую фотографию молодого вихрастого парня, чтобы не мешалась.

— А это кто такой? — спросил Максим.

— А, это… Прадед мой. Погиб где-то в Польше во время войны. Говорят, азартный был человек. Весь в меня. Ну так что?

— Давай уже. Водка греется. Заодно и его помянем и за победу выпьем! — проворчал Сабуров расставив закуски.

* * *

Иван несколькими очередями заставил залечь фрицев, а потом наши подтянулись, и фашисты отступили. Кости в левом кармашке приятно

МАРКИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (псевдоним — Александр Рубкин) родился в 1991 г. в г. Мантурово Костромской области. Окончил Челябинский колледж связи. Студент Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2020). Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

холодили грудь Алексеева, и он первым кинулся за отступающим врагом. Пули. Снаряды. Осколки. Все это не должно было коснутся Ивана. Но одна случайная пуля вдруг коснулась его щеки, и парень дернулся вправо.

* * *

— Вот потому и нельзя подключать к этой вашей системе нашу компанию, — ответил Сабуров. — Нужно вообще организовывать службу государственного распределения под контролем органов.

— А органы у нас не воруют, что ли? — криво усмехнулся Ваня. — Нет, парни, тут нужен ОГАС!

— Опять хлеб и молоко по паспорту получать? — спросил Максим. — То есть, ребенка в магазин уже не пошлешь?

— Ладно! Закончили с политикой-шмотиликой. Начинаю игру! — сказал Ваня, играя кубиками. — Все записали цифры, так что делайте ставки.

— Ставлю косарь!

— Сотка!

— Пятихатка!

— Ставки сделаны! Ставок больше нет!

Кости были кинуты.

И не упали.

* * *

Иван залег. Подождал своих. Стал двигаться перебежками. Изредка, но прицельно стрелять. На плечах убегающих в окопы ворваться не получилось. Они сами оставили позиции, когда «Иваны» подошли слишком близко.

— Хранят тебя твои костяшки! — бросил командир после боя — готовь грудь под орден. Заслужил!

— Хранят — Иван хлопнул по кармашку, но костей там не оказалось. — Ха! Выпали.

* * *

— «Вань, а у меня клава черная, а я розовый хочу. Можно ее перекрасить? Лаком? Она не сломается?» — так пересказывал свой день Иван Павлович жене, доедая порезанные яблоки с киви и пшеничный пирог — И представь себе, действительно стала красить. Я позвал Леонида Михалыча, и он сделал выговор, с занесением.

— Вот дура-то! Ванюша, а может завтра не поедешь на эту пьянку? Они тебя не споят, так играть на деньги заставят!

— Ой, да ладно тебе! Я же не игрок какой-нибудь.

— Что свет мотаете? — грозно спросила зашедшая на кухню бабушка — Себя не бережете, так хоть меня поберегите.

Глаза пожилой женщины, как в молодости, стали походить на аквариумы. Ваня с женой заволновались.

— Да что вы, что вы! Не беспокойтесь! Сейчас уйдем!

Быстро все убрав, они вышли из кухни, а бабушка, выключив свет, пошла следом. Продолжая ворчать, она остановилась и стала протирать сервант. Достав свою детскую фотографию, бабушка долго смотрела на нее и шевелила губами. Потом бережно вставила ее в сервант, рядом с потрепанной фотографией, чтобы дочь с широкими просящими глазами и молодой вихрастый отец с шестью орденами присматривали за потомками.

ВЕСНУШКИ

Мой взводный, вечно хмурый, словно черт,
Вдруг ухмыльнулся и сказал устало:
«Сегодня ночью делаем проход
На минном поле, чтоб оно пропало!
Пойдем: я, ты и тот рябой боец,
Что к нам из окруженья вышел с боем.
Гутарят — он по этой части спец,
Ну, а покуда — отдыхать обоим.»
Ночь задалась — ни месяца, ни звезд,
На радость всем троим, как по заказу,
И этот, что прорвался, — вот прохвост! —
На первую из мин наткнулся сразу.
Он разобрался с нею в черной мгле,
Как ювелир, вооруженный лупой,
И поползли мы дальше, по Земле,
Не веря в то, что смерть бывает глупой.
Работа, как работа… тут, браток,
Знай не зевай, но делай все без спешки,
Иначе, стоит дернуться чуток,
Достанется всем сразу «на орешки».
Уж сколько я «перепахал» полей,
Напичканных довольно разной дрянью,
Но этот, что стал третьим, дуралей,
Похоже — к нам прибился по призванью.
Ночь на исходе… вроде все «зер гут»,
И взводный сделал знак: «Идем обратно!».
Ну что же, поживем еще… и тут
Тот, незнакомый, прохрипел: «Ребята…
Еще одна… придется попотеть…
Здесь механизм… мне не понятный что-то…
Вы возвращайтесь… скоро буду, ведь
Фартовый я… шуруй домой, пехота».
И мы «ушли», утюжа мокрый снег
Озябшими от сырости телами.
Там, позади, обычный человек,
Скорей всего, уже простился с нами.
Он просто ждал, когда мы уползем
Подальше от проклятой этой мины,
А мы с тоскою думали о нем —
О прикрывавшим грудью наши спины.
Как ни смотри, все просто на войне:
Любой из нас готов к смертельной сече.

КАРПОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ родился в 1966 г. в пос. Кестеньга Лоухского района Карельской АССР. Член Союза российских писателей. Первая серьезная публикация карельского поэта Леонида Карпова состоялась в 2013 г. в январском номере «Севера». С тех пор он выпустил две книги стихов. Первую «Давай поговорим» — в том же году, а вторая «Все просто и все очень сложно…» вышла в Петрозаводске в 2016 г. Лауреат Республики Карелия за многолетний, добросовестный труд и личный вклад в культурную и общественную жизнь Лоухского района.

Раздался взрыв, и в мрачной вышине
Вдруг загорелись звезды, словно свечи.
И через час, замерзший и сырой,
Цедя холодный спирт из мятой кружки,
Подумал я о том, что звездный рой —
Ни что иное, как его веснушки.

Иван ДЕНИСЕНКО

* * *

Посвящаю памяти моего деда
Павла Гордеевича Денисенко,
ветерана Великой Отечественной войны

Я шел в метель, приподнимал холодный воздух,
как попону.
Сегодня деда поминал. Я ничего о нем не помню.
Почти совсем. Ходил с трудом,
сидел подолгу в старом кресле
(я под столом играл), потом —
сплошные «кажется» и «если».
Не зрю деталей средь глубин
той первой памяти нежадной,
но помню: он меня любил, и это главное, пожалуй.
Оставил ногу на войне, имел медаль и «Запорожец»
(я помню: едем, а вовне весь мир сонлив и запорошен).
Еще обрывки: ясли, плач и каша манная все та же,
и под водой темнеет пляж, и целый мир пятиэтажен.
И дед с дыханьем голубым: дымит, небритый и поджарый.
Я помню: он меня любил. И это главное, пожалуй.
Я в детстве не считал минут и оттого был неприметлив…
Сегодня деда помянул и выпил, чуточку помедлив.
Не для того, чтоб раскисать и никнуть,
как печальный пони —
так, захотелось рассказать… Я ничего о нем не помню.
Почти совсем. Но дело в том, что за финалом нет финала,
каким бы искаженным ртом нас эта жизнь ни поминала.
Там, за порогом — ураган, круговорот на грани чуда,
и если тянет по ногам, я точно знаю, что оттуда.
И дело в том (о чем и речь), что, предоставленные далям,
друг другу тянемся навстречь —
не по штрихам, не по деталям.
Нет, кроме сердца, ничего, что превозможет сумрак шалый.
Был дед, и я любил его. И это главное, пожалуй.

ДЕНИСЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ родился в 1979 г. в Омске. Окончил филологический факультет Омского государственного университета. Член Союза российских писателей. Лауреат ряда профессиональных и творческих конкурсов — региональных, всероссийских и международных. Автор пяти поэтических сборников и повести «Город в кратере», изданной на грант Министерства культуры РФ. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Наталье Даниловой —
младшему сержанту Варваре Синичкиной

Плавает серый свет, хмурый, как хлопья пепла,
зимний недолгий день входит, скрипя, в ворота.
И замолкает вдруг та, что ребенку пела.
И от окна глядит — молча, вполоборота.
…Бледен, как слабый чай, полдень, бредущий через
город, где ни души в путаной сетке улиц.
Ветер идет за ним, выгнувшись, подбоченясь.
Смотрят дома вослед ветру, слегка сутулясь.
Город, объятый сном, город, укрытый небом,
выиграна война, брошена оборона.
Окна твои темны, только светло в окне том,
где, замолчав, глядит женщина вполоборота.
Женщина видит мир, замерший у истока,
узкий дверной проем, контуры зябких лестниц,
видит, что на дворы робко легла истома,
и, веселясь, сквозняк к каждой парадной лезет.
Делает круг шофер — и в подворотне тает,
след, что оставлен им, вытянут, словно петля.
В небе холодный дым. Росчерки птичьих стаек.
Плавает серый свет — хмурые хлопья пепла.
Тихо ползет авто, холод в его салоне,
стелется тишина робкой поземкой следом.
Хочет шофер уснуть в жаркой, как день, соломе,
где-нибудь, может быть, как-нибудь, этим летом.
Трудно ползет авто, старый мотор надрывен,
мимо немых домов и не коптящих фабрик,
стынущих вдоль реки строем гигантских рыбин,
некогда из воды грузно упавших на брег.
Город, бредя сквозь век, перемогает зимы,
он их стирает в пыль, уж такова порода.
Тени короче снов. Чувства невыразимы.
Женщина от окна смотрит вполоборота.
Чей-то давнишний сон, обжитая заимка,
уровень бытия, вырванный из контекста.
Я подсмотрел тебя — думаю, что взаимно:
просто мне тесно здесь, да и тебе там тесно,
мир, что прописан до крохотных фотографий,
трещинок на стене, слоников на комоде.
Трудно ползет авто. Тихо бормочет гравий.
Вроде все хорошо. Может быть, и не вроде.
Ветер смешал цвета скудной своей палитры.
Шелестом тихих струн каждый проем заполнен.
Город закрыл глаза не потому, что титры,
просто он крепко спит, пусть даже только полдень.
Мерно стучат часы, не разбирая суток,
не различая лет — время не знает брода.
Спит на столе письмо. Спит на стене рисунок.
Женщина от окна смотрит вполоборота.

ВЕТЕРАН

Не за горами — день Победы.
Сосед мой выйдет на крыльцо.
Подрисовали тенью беды
В былом красивое лицо.

Костюм с плеча наперевес.
Смахнет рукой с наград пылинку
И шаркнет стоптанным ботинком,
Что надевает на протез.

На лавку сядет и вздохнет.
Согреть попросит душу песней,
Что про огонь в печурке тесной
И про любимый «Огонек».

Так на скамье он праздник справит,
Да не случилось бы дождя, —
Не каждый с праздником поздравит,
С авоськой мимо проходя.

А кое-кто и улыбнется,
Словцом насмешливым — в глаза…
Слезой обиды поперхнется,
В ответ ни слова не сказав,

Седой старик. Ему известно,
Как чудом выжить удалось
И как потом в жилище тесном
От ран ночами не спалось.

Прожив невесело, несыто,
Он одиночеством прибит…
Ничто, мы слышим, не забыто.
Никто, кричим мы, не забыт.

БАКЛАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА родилась в 1953 г. в пос. Кивиоя в Карелии. Окончила Смоленский педагогический институт. Стихи печатались в литературно-художественных журналах и альманахах: «Годы» (Смоленск), «Под часами» (Смоленск), «Русская провинция» (Тверь), в коллективных сборниках: «Доброе слово» (М., «Лира», 1997), «Душа птица вольная» (1998), «Смоленская лира 20 века» (Смоленск, «Смядынь», 2002), «Годовые кольца» (Смоленск, «Смядынь», 2004) и др. Поэт, автор многих стихотворных сборников. Лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского, различных творческих фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет и работает в г. Рославль Смоленской области.

ДОЖДЬ ИЗ ДЕТСТВА

В год 75-летия победы
в Великой Отечественной войне
моей маме, Киселевой Н. В,
подполковнику мед службы посвящается

Шел дождь из детства, Я его узнала.
Который год за мною по пятам
Он брел как странник, тихий и усталый,
По сумрачным и старым городам.
Душа на травке грелась у забора,
Я забиралась в мамину постель;
Казалось, остановится не скоро
счастливая сезонов карусель.
И отдалялся дождь и приближался.
Спешил за мной, покуда не догнал.
Мой дом родной в потемки погружался
И ждал меня. Дощечкой каждой ждал.

* * *

Моей матери, Нине Васильевне Киселевой

На выцветшем снимке родное лицо
С живым проницательным взглядом,
Я вижу тебя, молодую, с отцом:
Склонившись, сидите вы рядом.
Ты как-то сказала, что будто бы я
«В слезах всю войну просидела»,
Был лес опален и под пеплом земля,
И рано душа поседела.
Скорбящей строкой отзывается звук,
из нынешних дней заклинаю:
Избавь обожженные души от мук,
Что боле могу? Я не знаю.
Скажу за Ахматовой Анной вослед:
Отымется все, что имею,
Но пусть над Россией будет лишь свет,
Война пусть зла не посеет!

КИСЕЛЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА родилась в 1951 г. в Ленинграде. Закончила историко-филологический факультет Томского государственного университета в 1973 г. В течение многих лет работала учителем русского языка и литературы. В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию по зарубежной литературе. Преподавала литературу в вузах Томска и Санкт-Петербурга. Работала журналистом в газете «Народная трибуна», «Томский вестник». Печаталась в петербургских и томских журналах. Первая поэтическая книга «Словом белым вернусь» вышла в Томске в 1991 г. Автор 20 поэтических и прозаических сборников, в том числе детских книг. Член Союза российских писателей. Ведет клуб «Лирика» в ТГУ. Живет в Томске.

Спокойно и просто в предутренний миг
Скажу — не в сумбуре отчаянья:
Проступит сквозь лица грядущего лик,
«Большое — оно в расстоянии».
А ты неизменно пребудешь во мне,
Как свет, как любовь и как знание,
Как мудрость в мучительном жизни огне,
«Большое, оно — в расстоянии».

ПИСЬМО

Лишь в конце октября Алексей Сафонов получил письмо, отправленное ему в начале августа. Конверт в долгих мытарствах фронтовой почты изрядно помялся. Алексей взглянул на обратный адрес, фамилию отправителя, в недоумении пожал плечами, потом распечатал конверт, достал письмо и начал читать.

«Здравствуй, Алексей.

С приветом к тебе Женя.

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извени меня, пожалуйста. Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила, проводили тебя на фронт или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой. А я у нее спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка, и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого.

Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома, да и некуда сейчас ходить — война.

Может ты задашь вопрос насчет Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь.

Но вот вроде все пока.

Досвидание.

С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тети Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть.

Еще раз досвидание.

Жду ответа, если напишешь».

Алексей еще раз посмотрел на обратный адрес и фамилию отправителя.

— Куликова, — прочитал он вслух. — Куликова… Кто это? — пытался вспомнить Алексей. — Куликова… Куликова… Куликова…— но так и не вспомнил.

Вечером, когда взвод улегся на ночлег, Алексей тихонько пробрался к железной бочке, которая заменяла в землянке печь, и при свете догоравших поленьев начал перечитывать письмо.

«Здравствуй Алексей.

С приветом к тебе Женя.

(«Женя… Женя… Нет, не знаю никакой Жени»)

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извени меня, пожалуйста.

(«Кто-нибудь из нашего «двора… Посматривала тайком…»)

Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила проводили тебя на фронт или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой. А я у ней спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка…

ЕЛМАНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ родился в 1949 г. в Оренбургской области. Преподает в Костромском государственном университете. Член Союза российских писателей. Живет в Костроме.

(«Смело спросила!»)

…и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого…

(«Откуда она знает мать Юрки?»)

Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома…»

(«А куда у нас и ходить-то было, кроме как в клуб на танцы»)

Алексей вспомнил сизую от дыма курилку в клубе, толкотню в буфете, танцевальный зал с толстыми колоннами, высокую полукруглую эстраду, на которой важно восседали музыканты духового оркестра. Представилось ему, что стоит где-то в уголке зала эта Женя. Тихая. Скромная. Никто не обращает на нее внимания. Иногда она танцует со своей подругой, а потом снова одиноко стоит в уголке. И с такой отчаянностью вспыхивает иногда в ее глазах надежда! Алексею стало жаль ее. «Надо обязательно ответить!» — подумал он и продолжил читать письмо дальше.

«Может ты задашь вопрос насчет Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь…»

(«Толька?.. Толька… Ах, Толька! Толька-художник!»)

Тольку прозвали художником за картины, которые он научился писать масляными красками самоучкой. Сначала он дарил эти картины просто так, потом стал продавать. Брали их у него охотно. Как же, почти настоящие! Сюжеты картин были простенькие: лебеди, олени, сирень. Пробовал Толька писать и портреты, но заказчики, увидев свое изображение, почему-то наотрез отказывались от работ, а некоторые еще и ругались. Продав очередного «оленя» или «лебедя», Толька-художник устраивал гулянку. До полуночи из его квартиры неслись звуки патефона, громкие возгласы и женский смех.

(«Какие же отношения могли быть между этой Женей и Толькой? Если она моя одногодка, то он вдвое старше… Ах, вот кто эта Женя Куликова!..»)

Алексей вспомнил, как однажды, перед самым началом войны, зашел к своему другу Юрке. У Юрки были гости.

— Толька жениться надумал. Смотрины. Вон эту… — Юрка показал глазами на розовощекую девушку.

— Как яблочко! — наклонившись к Алексею, добавила Юркина мать. — Не для этого прохвоста Тольки!

Алексея удивило тогда, с каким отчуждением, даже враждебностью посматривала иногда Женя на своего жениха. Атмосфера была напряженная, разговор никак не клеился и не мог перейти на самое главное, ради чего устраивалось это, как будто случайное, застолье: «ударить по рукам», договориться о свадьбе.

Юрка сунул Алексею гитару:

— Спой что-нибудь, а то сидим, как на поминках.

Алексей хотел отказаться, но, почему-то разозлившись на Тольку («Жених облезлый!»), стал петь, ухаживать за Женей, танцевать с ней под пластинки. Толька ревниво стрелял глазами и отворачивался. Когда Алексей собрался уходить, Женя на прощание протянула руку. Ладонь у нее была горячая, пожатие сильным.

«Может ты задашь вопрос насчет Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь», — перечитал еще раз Алексей.

(«Видно, расстроились смотрины. Остался Толька при своих интересах!»)

«Но вот вроде все пока, — дочитывал письмо Алексей. — Досвидание. С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тети Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть.

Еще раз досвидание.

Жду ответа, если напишешь».

«Обязательно отвечу! — подумал Алексей. — Обязательно!»

Он положил письмо в карман гимнастерки, застегнул его, чтобы как-то случайно письмо не выпало, не потерялось.

Долго еще Алексей сидел у железной бочки. Мысли кружились вокруг полученного письма, а потом вдруг, словно сама собой, начала сочиняться биография Женьки Куликовой.

«Живет с матерью… Отца нет и не помнит его… На лицо Женька хоть и не очень привлекательна, но фигурка у нее стройная… Послушная, работящая… Толька недаром на нее глаз положил… Сначала она дала ему от ворот поворот… Мать начала уговаривать: «Останешься бобылихой! Не из чего выбирать, а ты еще выбражаешь!» Женька сначала злилась: «Хочу, чтобы по любви!» А потом испугалась, что, действительно, останется бобылихой… Тольку, конечно, разрисовали перед ней: «Толковый. Интересно жить будешь. Ничего, что старше тебя — любить будет крепче! Хорошо зарабатывает: картинку намулевал, вот тебе и живая копейка! Поживешь. Дети пойдут. А там и слюбится!…» Ночью, перед смотринами, Женька, наверное, не спала. «Как же так, — думала, — ведь есть же на свете любовь! Как-то находят люди друг друга по любви!»

Алексей почти воочию представил, как собиралась Женя на эти смотрины. Долго сидела перед зеркалом, потом еще дольше выбирала, что надеть из своего бедного гардероба. «Ну что, готова?» — заглядывая в комнатку, спросила мать. «Готова», — покорно ответила Женя и пошла к Юркиной матери.

«И вдруг такая встреча со мной!.. Влюбилась!.. Тольке отказ! Представляю, чего ей стоило написать мне такое письмо! Это же признание в любви! Надо обязательно ответить! Обязательно!»

Поленья в бочке догорели. Свое тепло и свет отдавали последние угли. Один из них светился особенно ярко, и Алексею казалось, будто где-то далеко-далеко в темноте светится настольная лампа. Свет от нее падает на руки и лицо пишущей письмо Жени Куликовой…

Утром взвод, в котором воевал Алексей Сафонов, принял бой. Танковую атаку немцев отбить не удалось. Бросив позицию, начали отступать за речку. В какой-то миг Алексей почувствовал, что его словно обожгло между лопатками. Ноги ослабли, он упал. Ему показалось, что земля перевернулась и он, оторвавшись от нее, полетел в пропасть неба.

…В полдень на месте утреннего боя стояла такая тишина, словно здесь никогда не рвались снаряды, не повизгивали пули, не лилась кровь людей.

Убитого Алексея обшарил немецкий солдат, полистал и выбросил солдатскую книжку, фотографию матери Алексея, конверт и письмо от Женьки Куликовой.

Письмо и конверт некоторое время лежали неподалеку от убитого Алексея. Дунул ветер. Конверт покатился, застрял в кустах высохшей полыни, а письмо, поднятое в воздух, долго кружилось, пока не упало на поле. Хмурые тучи двигались по небу и письмо, казалось, вот-вот готово было заговорить с ними, поделиться своей думой.

«Здравствуй Алексей.

С приветом к тебе Женя.

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извени меня, пожалуйста…»

На мгновение из-за туч показалось солнце.

«Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила проводили тебя на фронт

или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой…»

Вспыхнули яркой, золотистой охрой оставшиеся кое-где на ветках кустарника редкие листья. Блеснули сквозь желто-коричневую высохшую траву пробивающиеся из земли стебельки молодой прозелени.

«А я у ней спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка, и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого…»

Солнце опять зашло за тучи и стало еще мрачнее и суровее, чем было раньше.

«Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома, да и некуда сейчас ходить — война.

Может ты задашь вопрос насчет Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь…»

Холодный, сырой ветер, словно чугунное колесо, прокатился по полю. Все ниже и ниже начали опускаться тучи.

«Но вот вроде все пока.

Досвидание.

С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тети Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть…»

Несколько тяжелых капель ударили по письму, рядом с ним, слегка припорошив его отскочившими от земли пылью и сором.

«Еще раз досвидание…»

Пошел дождь, все усиливаясь и усиливаясь. К вечеру все слова на листке были размыты. И только в самом низу, на подвернутой полоске, можно было еще прочитать одно предложение:

«Жду ответа, если напишешь».

ПЕЛИКЕН
(Чукотский божок)

На пустынной косе, возле кромки прилива
отыскали тебя,
подмастерье работал с тобой терпеливо,
кость металлом скребя.

Как шеренга, болванок растет из полена,
чтоб матрешками стать,
клык моржа превращался в отряд пеликенов,
сувенирную рать.

Их за несколько дней раскупили пилоты,
увозя навсегда
далеко-далеко, где огни и красоты,
где стоят города.

А потом — сколько раз ты смотрел узкоглазо
на кресты и пути,
сколько раз обрывалась цепочка рассказа —
не забудь и прости!

Белой ночи крупинка, смеющийся карлик,
костяной лепесток…
Расплывается кровью сквозь белую марлю
снежно-алый восток…

Из руки умирающей Майры
ты падал на недрогнувший мост,
и скрещались лучи, и росла канонада
выше туч, выше звезд.

Ледяными фонтанами море рыдало,
пеплом плакала хмарь,
и, как милость последнюю, смерть призывала
обреченная тварь.

И метель пеленала дворца колоннаду,
начинался обстрел,
и твоими глазами далекий Анадырь
на блокаду смотрел.

БРАГИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ родился в Москве в 1956 г. Выпускник Геологического факультета МГУ (1978), доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Геологического института РАН. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических книг: «Камни, песчинки, потоки», 2005, «Лаура делла Скала. Роман в сонетах», 2006, «Четыре стихии», 2008, «Пятый угол», 2010. Печатался в журналах «Российский колокол» (Москва), «Лит-э-Лит» (Москва), «Чайка» (Балтимор, США), «Природа и свет» (Москва), в газетах «Интеллигент», «Графоман» «Про нас», а также в многочисленных сборниках, выходивших по итогам литературных конкурсов.

И хребты обнажали скалистые ребра,
обретая весну,
и тебя понесла краснозвездная «аэрокобра»
на закат, на войну...

И уже не исчислить ни звезд, ни историй,
ни фанфар, ни сирен...
Только белый туман, только серое море,
только ты, пеликен.

Арьергардный бой

Впереди ползет обоз,
беженцы и госпиталь —
там вода дороже слез,
помоги им, Господи!

Впереди, во весь свой рост,
скалы-исполины,
позади — горящий мост,
факел над пучиной.

Горы плетью по горбам
хлещет смерть крылатая —
это вам не кегельбан,
не постель измятая,

это ребра ржавых скал,
мертвые стремнины,
это огненный оскал
выпрыгнувшей мины...

Это жажда, всем одна —
как дожить до вечера,
это кровь, черным-черна,
из пробитой печени,

это вздох издалека,
из иного мира,
это капля молока,
это ладан с миром.

Это памяти река,
сжатая теснинами,
это руки старика,
взрытые морщинами,

это гребни черных гор
в тихой звездной темени,
и прощальный разговор
с уходящим временем.

* * *

Тот день был ясен и улыбчив,
как звон серебряного блюда,
и птицы щебетали шибче,
чем все штабные «ундервуды»,
а люди пели и рыдали
на площадях и у калиток,
и солнце огненной медалью
сияло в синеве зенита.
Тот давний день был всем и сразу
и напоен, и переполнен —
таким из маминых рассказов
его я накрепко запомнил.

Ирина КОРОТЕЕВА

РОДИНА

Как же к тебе из чужбины перелететь
Через широкие реки, большие горы?
Мы ль не зерно твое, вызревшее на треть,
В землю холодную выброшенное скоро?
Встали гранитом, а больше — густой травой,
Острыми перьями крепко держась за грозы.
Нам ли достанет положенный нам покой,
Если с тобою навеки теперь мы розны?
Все бы неплохо — в достатке большой воды,
Повеселее ветра и тепло погуще,
Славят пичуги рассветы на все лады —
Павшим за правду — по праву Господни кущи.
Только ведь где-то медовый желтеет спас,
По январю рождество кружевной каймою…
Не забывай о далеких забытых нас,
Если мы даже и стали чужой травою.

ЖУРАВЛИНОЕ

Под животами кучевых,
Над ощетинившейся хвоей
Сереброкрылые волхвы
Несли покой на поле боя.

КОРОТЕЕВА ИРИНА ОЛЕГОВНА родилась в городе Ростове-на-Дону в 1969 г. В 1993 г. окончила Донской Государственный технический университет по специальности «Робототехнические системы и комплексы». Член Союза писателей России, прозаик, поэт. Неоднократный победитель и лауреат международных литературных конкурсов, проводимых медиа-порталом «Самарские судьбы». В 2014 г. она стала лауреатом международной поэтической премии конкурса им. Ольги Бешенковской. Живет и работает в Ростове-на-Дону.

Нещадно стеганы огнем,
Деревья серые дымили,
И день стекал за окоем,
Расплавлен в адовом горниле.
Горел израненный закат,
И тучи лопались от жара,
И ослепительный разряд
Стократно небо умножало.
Молитвами небесных струй
Восстанет ночь, сильней и чище.
И тьма потянется к утру
На крик далекий, горький, птичий…

* * *

Все кончилось. Закончилась война.
Ты выжил. Победил, что очень важно.
Давил и тех, кто пыжился отважно,
И тех, кто низко голову склонял.
И в честь тебя пурпурны небеса.
Деревья обреченно горбят плечи.
Впечаталось в кору уже навечно
Все то, что ты сегодня им сказал.
Теперь пусты убежища врагов,
Примкнувших и сочувствующих тоже.
Был этот день не зря тобою прожит:
Ни умных больше нет, ни дураков.
И жалкий мир, как брошенный щенок
Скулит дверями вымерших подъездов,
И нет на проводах вороньих съездов:
Ты победил! Ты сделал все, что смог.
То, что боролось — обратилось в прах,
Просыпалось на землю белым мелом.
А ты стоишь и плачешь, как дурак,
Невидимый, как белое на белом…

ИНВАЛИД ВИКТОР

три раза горел в танке, лежал в госпитале.
Выжил.
Вернулся-оклемался-отстроился
и взял за себя красивую Веру,
из городских.
Инвалид Виктор
на восьмом десятке
чинит все сам,
любит гостей,
терпит Веркину стряпню и курит дешевые.
Раз в месяц, с пенсии,
бывает нетрезв.
У нас так и говорят:
«Виктор Инвалид», —
прицепилось навроде фамилии.
Еще говорят: «Кремень мужик», —
за всю жизнь
ни разу не напился в сопли,
ни разу никому не жаловался;
если только на женину стирку-готовку —
и то не всерьез.
А так, чтоб на страну
или на ногу отнятую —
не, такого не было.
Своих деток не случилось,
зато для соседских
всегда в кармане карамельки держит:
мятые, разноцветные,
в крошке вонючей «Примы» —
ребяткам нравится.
И если что про войну,
так, верно,
только им и рассказывает;
и то все больше веселое.
Инвалид Виктор
в феврале 2000-го
парится, как молодой,
прыгает из бани в снег раздетым.
Барахтается и кричит в сумерках.
«Ишь, здоровье!» — усмехается через забор Люся.

БОРОК ЕЛЕНА РОДИЛАСЬ в Брестской области, живет в Москве. Окончила Московский государственный медико-стоматологический университет, студентка Литературного института им. А. М. Горького. Стихи печатались в журналах «Москва», «Дети Ра», «Студенческий меридиан», «Осиянное слово», в нескольких альманахах. В 2013 г. в соавторстве с Дарьей Лебедевой вышла первая книга стихов «Нетленки и ерундашки». Участвовала в семинарах молодых писателей от Союза писателей Москвы, дипломант международного форума «Осиянное слово», конкурса имени Петрова. Член Союза писателей Москвы.

А он
все барахтается и кричит,
и кричит.
Битый час
в темноте
силится тащить уже мертвую Веру в дом:
видать, с бани сердце схватило.
И первый раз плачет,
и клянет разъезжающиеся костыли.

* * *

Далеко-далеко за Волгой —
где дома разрушаются до основания, будто и не было;
где время обрастает мхом,
люди старятся, как грибы, в три дня;
там партизанское эхо
все так же тревожит болотные пузыри,
там сельский клуб захватила хвойная сельва;
и
так ветви сплетены густо,
так ноги ступают мягко,
и все — запахи, запахи, и муравейник, —
дождись меня там.
Или же там
мы будем одновременно?
Я — старая, скрюченная,
костяная нога, на носу поганки,
ты — молодой и здоровый, как я запомнила,
и неизвестно откуда — дедово письмо брату,
с фронта,
идет с 42-го года,
в живых читать уже некому.

* * *

Мой Телемак, Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
И. Бродский

В четыреста пятой серии сериала
Телемак находит отца.
Отец его жалок.
Мучается зубами,
копит в квартире мусор,
ругает власть.
Разве таким он отплывал с Итаки?
Разве таким улыбался на старых фото?
Шла война, — говорит сыну, — шла война,
эк меня помотало.
Говорит и не смотрит, теребит край
платежки за коммуналку.
Лезет в сервант, одна к одной

выкладывает медали.
Вот Кандагар, вот оборона Порт-Артура,
вот взятие Порт-Артура.
Ранен под Троей. Брал Берлин. Потом —
контузия, инвалидность.
Пенсия — столько, надбавка — столько-то,
на еду хватает.
Мой Телемак, — говорит, — шла война,
кто победил — не помню.
Кто победил — не важно. Шла война, рубили лес,
и летели щепки.
Пели сирены, и нас несло, и даже
чью-то щепу прибило
к дому родному, когда мою — на грязный
безлюдный остров.
О Телемак, телезвезда, кумир школьниц,
любимец домохозяек,
единоличный владелец двух квартир
и сети мини-отелей…
С первого дубля сердце сжало, прямо
купил бы хлеба,
свою рубашку бы отдал,
денег не пожалел — да только, кажись, отцу
ничего не нужно.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

«ДУНЬКИНА РАДОСТЬ»

— Дай-ка, грамм двести мне розовых, тех, без оберток,
«Дунькиной радости» свешай мне, Кать, для внучат…
Это сказала в сельпо старушонка в потертом
Старом платочке, клюкой о прилавок стуча.

Мы засмеялись с подружкой смешному названью:
«Дунькина радость» — придумают же чудаки!!!
Тут и старушка на нас обратила вниманье,
И посмотрела сурово на нас сквозь очки.

— Эх вы, пичуги! Смеетесь, не зная заботы…
Этих подушечек липких вы вряд ли оцените вкус.
Вам и заморских сластей-то не больно охота,
Вас с малолетства балуют: бананы, черешня, арбуз…

ЧАЙКОВСКАЯ ОКСАНА БОРИСОВНА родилась в селе Кожевниково Томской области. Журналист, окончила ТГУ. С 1989 г. работала в газетах Томска, в журнале «Персона». Член Союза журналистов с 1992 г. Автор иллюстраций к книгам местных авторов. Стихи и прозу публиковала в газетах, журналах, литературно-художественных альманахах. В 2007 г. вышла первая поэтическая книжка «Перо птицы Феникс», в 2019-м — вторая, «Зимняя девочка», оформленная собственными иллюстрациями. Член Союза российских писателей. Живет в Томске.

В нашу-то пору и хлеба не вдоволь видали,
Всем не до лакомства было в лихие лета.
Я вот мечтала, чтоб булку мне целую дали,
Враз бы я съела ее, и была бы сыта.

Был детский дом рядом с нашей деревней большою,
И отовсюду в него привозили сирот,
Малых детишек, с войной опаленной душою,
Вдоволь познавших всю горечь военных невзгод.

Были там дети, которые горя хлебнули,
Мать потеряли и дом, и почти всех родных.
Смерти в лицо очень рано они заглянули.
Мы их жалели — мы были счастливее их!

Пусть им давали почти настоящую кашу,
Пусть было больше у них и картошки, и хлеба, и дров…
Ну, а у нас были мамы усталые наши,
Наши дома, наш родной, не потерянный кров.

…Нас, «деревенских», однажды на елку позвали
В елкой украшенный, светлый детдомовский зал.
Как нас порадовал праздник, как мы ликовали!
У малышей от чудес разгорались глаза.

Был карнавал и концерт, нам дарили подарки:
Пряник, лепешку и липкий комочек конфет.
Был небогат тот подарок, завернут в неяркий
Серый кулек из печальных военных газет.

Вот вы смеетесь — какая-то «Дунькина радость»,
Даром не надо вам этих конфеток простых.
Нам же тогда они стали желанной наградой,
Привкус войны и сейчас мне все чудится в них…

ПОЧТАЛЬОНКА
(РАССКАЗ ПОЖИЛОЙ СОСЕДКИ)

Когда была девчонкой
Лет где-то десяти,
Работать почтальонкой
Хотела я пойти.
«Отличная работа!
Она как раз для тех,
Кто любит пообщаться
И знать все раньше всех.
Ходи от дома к дому,
Свой выучив маршрут,
Где все тебе знакомы
И с нетерпеньем ждут…
Ты радостные вести
Приносишь людям в дом,
И всяк тебе известен,

И всяк с тобой знаком…»
Вот так я рассуждала
Легко и беззаботно,
Гордясь, что отыскала
Прекрасную работу…
Счастливая, что знаю
К чему теперь стремиться,
Я с нашей почтальонкой
Решила поделиться…
— «И я была девчонкой, —
Ответила она, —
Меня же в почтальонки
Произвела война.
Эх, карточку рабочую
Недаром нам давали.
Хотя, что это значит,
Сейчас поймут едва ли…
Вот ты сейчас сказала:
«Прекрасная работа!»
Дай боже не познать тебе
Ее большого пота!
Мозолей, туфель сбитых
Да в кровь истертых ног…
И главного мученья
Изведать не дай Бог!..
Да, радостные вести
Разносит почтальон,
Но горькие известья
Приносит тоже он!
И каждый раз ты медлишь,
Не зная, как сказать,
Что сын любимый чей-то
Навек закрыл глаза…
Прекрасная работа —
И летом, и зимой
Охота, неохота —
Пускайся в путь с сумой!..
…Отличная работа,
Находка для девчонки
Когда б не похоронки,
Когда б не похоронки!»

Яков СМАГАРИНСКИЙ

МОРЗЯНОЧКА

«Ах ты, моя морзяночка!» — говорил мой будущий папа моей будущей маме, брал ее лицо двумя руками и целовал, целовал горячо и быстро, приговаривая:

«… точка, тире, тире, точка…» У нее на лице было несколько любимых им «точек»: ямочки на щечках, кончик носика и губки. Остальные места считались «тире». Чтобы сказать фразу, с которой я начал свое повествование, он должен был чмокнуть ее пятьдесят раз, а с учетом запятой и восклицательного знака — все шестьдесят два! Педант он был еще тот!

Встретились они, восемнадцатилетние, на курсах телеграфистов-морзистов при Хабаровском военкомате. Точечные поцелуи настигли их только в конце, после экзаменов. А до этого были записки азбукой Морзе между изучением теории, соревнованиями на скорость передачи кодовой дроби и приема на слух ритмичных «напевов».

Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в резерв ГУСКА — Главного Управления Связи Красной Армии. Маме не повезло: она недостаточно хорошо владела грамматикой русского языка.

Горе было бездонным. «Ах ты, моя морзяночка! — успокаивал ее папа. — Не плачь, я беру над тобой шефство! У меня русский язык и литература всегда были на высоте!»

Повестка молодому мужу пришла летом сорокового. Начинающая солдатка регулярно получала по шесть почтовых открыток в неделю. Хотелось семь… «Ишь ты, ненасытная, — укоряла ее свекровь, — на седьмой день и боги отдыхают!»

Все пространство открыток, кроме адреса, заполняли точки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в письменном виде. Они начинались с: «Ах ты, моя морзяночка!» и кончались удивительным четверостишием. Каждый раз — новым! От стихов кружилась голова и счастливая улыбка не сходила с лица все время, пока она «выстукивала» свои ответные нетерпеливые поцелуи…

То было время безмятежного «до». С июня сорок первого началось тревожное «после».

Письма стали приходить редко. И уже не на открытках, а в треугольниках, но по-прежнему в точках и тире и со стихотворением в конце, после которого, как подпись, стояло краткое: «Я вернусь!»

Она работала сортировщицей на Главпочтамте. Весь день на ногах перед необъятной стеной из клеток, постоянно раскрытых, как рты птенцов, требующих: «Писем! Писем! Писем!» Она помнила каждую улицу, каждый дом всех почтовых отделений города!

После смены работницы Главпочтамта отправлялись в районные узлы связи, где не хватало своих почтальонов. Мама разносила почту по домам, чувствуя себя то ангелом, оставляющим на крыльце заветный треугольник, то черной птицей, приносящей скорбную весть в тяжелом казенном конверте.

СМАГАРИНСКИЙ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1939 г. Работает в Австралийской фирме ManglesiPty. Ltd. Состоит в Российском союзе профессиональных литераторов. Живет в Австралии.

А по ночам, обессиленная, перечитывала старые письма… Какие красивые строчки о любви! Где ее родной, ее любимый красноармеец находит такие слова! И казалось ей неправильным, что только она одна радуется таким стихам.

Однажды она решилась отправить его письма в хабаровскую газету «Тихоокеанская Звезда». Там, наверняка, найдутся люди, знающие код Морзе, разберутся и напечатают стихи в газете. И не ошиблась: нашелся в редакции военный моряк Алексей Кривошеин. Он ответил ей коротким письмом:

«Дорогая Фаина, Ваш муж прислал Вам замечательные стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его именем, так как они уже давно опубликованы за именами Тютчева, Фета, Баратынского, Есенина… Но не огорчайтесь: письма бесценны: они, возможно, единственный в мире сборник русской лирической поэзии на языке Морзе…»

Она и не огорчилась, поняла: стихи эти — давнишнее обещанное шефство, уроки русского языка и литературы. «Ненаглядный мой, — шептала она, — спасибо тебе! Я верю, что ты вернешься. Ты обещал. Ты всегда выполняешь обещанное!»

И он не обманул. Он вернулся утром в августе сорок пятого, когда она выходила на работу… Они бежали друг другу навстречу вдоль покосившегося палисадника, по высокому бурьяну: она, задыхаясь от счастья, а он, сильно припадая на правую ногу.

«Ах ты, моя морзяночка!» — Он одной рукой прижал ее лицо к своему и целовал, целовал горячо и быстро, приговаривая: «…точка, тире, тире, точка…»

Так для нашей семьи была поставлена последняя точка в войне. Так началась моя жизнь!..

ЛЕЙТЕНАНТ КРУГЛОВ

Натекло в окоп воды, на ногах — пуд глины.
От пяти взводов осталось меньше половины.

Магазин и две гранаты дали для атаки.
— Немец что-то замолчал…
— Жрут, поди, собаки…

Впереди часовенка без стены, нагая.
Метров триста до нее — мама дорогая!..

— Ничего, братва, пробьемся! — Ясно, лейтенант…
(Месяц, как деремся вместе, а храбрец, талант!)

Дождь опять пошел некстати — сильный-то какой!
— Ну, ребята, поднялись! Не робеть! За мной!

Дождь полил как из ведра — ничего не видно…
А часовню мы отбили — то-то не обидно.

Слава господи, живой, руки лишь дрожат…
Шесть бойцов и лейтенант по холму лежат…

— Окопаться с интервалом метров через пять… —
и добавил старшина: — А ребят — собрать…

Схоронили в глинозем прямо за оградой.
Под одной для всех звездой положили рядом.

Наслюнявив карандаш, крупно написали:
«Семь гвардейцев здесь геройски за деревню пали:

рядовые Нечитайло, Черышев, Седов,
Губаридзе, Ковш, Галямов, лейтенант Круглов.

Сорок третий год. Ноябрь, 3-го числа».
Только надпись от дождя сразу потекла.

— Нам теперь держаться надо: наши здесь лежат.
Фриц повыдохся совсем и к реке прижат.

…Натекло в окоп воды, на ногах — пуд глины.
Без стены стоит часовня в центре Украины.

ЕРОФЕЕВ ИГОРЬ. Родился в 1958 г. Пишет с 1997 г. стихи и прозу; написаны два стихотворных цикла: «Неба тонкие узоры» и «Жить на ветру». Печатался в местных изданиях: альманахе «Берега Анграпы» и журнале «Мой город Черняховск», в коллективных поэтических сборниках. Один из рассказов опубликован в «Антологии калининградского рассказа» (2006). Член Союза журналистов России и Союза писателей России. Живет в г. Черняховске Калининградской области.

Мы ушли — они остались в мире вечных снов:
шестеро бойцов пехоты, лейтенант Круглов.

ИНСТЕРБУРГ

Батальон сражался за город, в котором не было птиц, —
Вместо птиц в нем летали пули и души упавших ниц.
А души теряли лица и цеплялись за провода,
Разлетелись от грохота боя Божьи ангелы кто куда…

А город чернел от боли, и лопались окна глаз.
Батальон усилием воли выполнял боевой приказ.
И горели мосты и крыши, и горел весь объятный мир.
От осколка в груди кончался молодой еще командир,

Матерился, скрипя зубами, проклиная чертову мать:
— За какой-то немецкий город так не хочется помирать…
— Ничего, капитан, прорвешься.
— Да какое — с такой дырой…
— Не с такими еще ребята возвращались порою в строй.

— Ладно, все, лейтенант, я понял.
А теперь, я прошу, иди —
Да накрой-ка меня шинелью:
Дай я лучше помру один…

Враг цеплялся за каждый выступ,
мы сражались за всю страну,
И мы приступом шли на приступ:
нам не нужен был враг в плену.

И чадили чужие танки,
из костела смотрел Иисус,
Как людей убивали люди,
как от крови вошли во вкус…

И страдал контуженный город
от нелепой своей судьбы,
Догорали в снегу, как свечи,
вековые его дубы.

Из ладоней горящих улиц
пальцы вырваны фонарей,
И прицельно «фаусты» били
из разбитых насквозь дверей.

Батальон истекал за город
с искореженною душой.
Он для жизни совсем малый,
а для смерти — такой большой.

Пал под ним капитан Климишин
и погиб лейтенант Большов, —
И стало в России больше
на пять тысяч солдатских вдов…

И без них уже брали Прагу,
штурмовали без них Берлин,
И рейхстаг озаглавлен флагом
за Москву, Ленинград и Клин.

А военная жизнь — без правил,
командир ее — Демиург...
...Души русских солдат остались
в небе города Инстербург.

Зарина БИКМУЛЛИНА

ПРИЧАСТНАЯ

В какие бы мы гении ни вышли
я, стоящая на фотофинише века,
я, стоящая на вершине Маслоу,
я, стоящая между Спикой и Вегой,
не стоящая указанных выше слов,
я, не знавшая голода и бомбежек,
я, не вставшая в Бресте живым щитом,
я, не ставшая мылом, торшером из кожи,
не славшая писем в сгоревший отцовский дом,
я, не сорвавшая «эдельвейс» со склонов Кавказа,
я, не сломавшая четкий вражеский строй,
я, не страдавшая от тифа и жара ни разу,
в холодной больнице будучи медсестрой,
я, не ходившая провожать эшелоны,
я, не укрывшая ленинградский ботсад,
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но
за нами еще Москва, ни шагу назад,
я, не вставшая по сигналу сержанта,
я, не упавшая по сигналу сирен,
я, не шагавшая по чужим блиндажам до
тех дней, когда выдыхала весну сирень,
я, не залечившая шрамы на старой пашне,
я, не отпустившая — хоть и больней вдвойне,
я, не ощутившая, что поистине страшно,
не имею права писать стихи о войне.
Но я, одна из последних, даривших гвоздики,
благодаривших стандартно — за небо, за быт,

БИКМУЛЛИНА ЗАРИНА. Родилась в Казани в 1999 г. Студентка МГУ им. Ломоносова. Автор четырех поэтических и прозаических сборников: «Детям до... и взрослым после» (2015), «Онтогенез» (2016), «Интертекст» (2017), «Сказки 18-» (2018). Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Идель», «Нижний Новгород», «Талант». Лауреат Горьковской литературной премии, международной литературной премии им. Бианки, премии «Золотое перо Руси», обладатель Гран-При и трехкратный лауреат Независимой детской литературной премии «Глаголица». Лауреат 1 степени Международного конкурса «Русский Гофман», победитель V литературного конкурса «Горю поэзии огнем», победитель Республиканского литературного молодежного конкурса «Душой рожденная строка» (2019).

слушавших голос — старый, уставший и тихий,
не имею —
слышите! —
права о ней забыть.

* * *

Памяти Муси Пинкензона

Вставай! — натянулась кварта. В пустом квартале
скрипичный крик занавески с окна сорвал.
Какие-то люди с глазами из серой стали
не стали ломать незнакомый им интервал.
Вставай! — растянулось время. Мотив не сразу
из памяти в голос, из минуса в жар пророс.
Пока горячо железо, кипящий разум
воспрянул и встал во весь свой недетский рост.
Никто! — сорвалась тишина. Окатила жаром
и вышивкой алой оптом десятки спин.
Причина — неправильный выбор репертуара.
Корректнее было закончить «аллес эст хин».
Добьемся! — смеялась кварта в больном стаккато,
и билась скрипка, свернувшая шейку, об
дощатый помост. Залив железным закатом
подгрифок и деки, латунь пощадила лоб.
Вставай! — умоляла кварта, сломав два тона
и став несмелой секундой за ноль секунд.
Нельзя позволить себе ни вскрика, ни стона,
когда пинают ботинком с презрительным «унд?».
А скрипка — не дергалась, гордая, и не просила.
Но плакала, переводила в расплав канифоль.
Ведь если ему не умолкнуть хватило силы,
то нужно допеть — тринадцатая, си-бемоль.
И если бы я умела, как скрипка — плакать,
то не удержалась бы в рамках сухих лексем.
Как та, что звенела в ноябрь, сквозняк и слякоть,
как та, что в затакте вздохнула и стала всем.
Как та, которая стала — и стон, и крик, ко-
торая умирала, струною обняв, обвив.
И если бы я умела любить, как скрипка,
то это была бы история о любви.

* * *

это должен быть текст про какую-то тетяварю,
про нее нам известно чуть больше, чем ничего:
говорили, что вишни в сахаре летом варит,
вроде есть человек — и вроде бы нет его.
и когда в опрокинутый дом заходили (без битте),
и когда еды приготовить велели (шнелль),
город вроде стоял — бесцветный, пустой, избитый,
и стояло в глазах: немного слез и шинель.
это тесто. в составе зерно с сожженного поля —

пашню кто-то недавно гусеницами прогрыз —
похоронки, дрожь (или дрожжи?), немного соли.
тетяваря знала: крысиная смерть для крыс.
это тесто. в составе — все по рецепторам, нервам.
вроде есть самой не хотелось, но этикет,
в совокупности с чувством такта и джи-сорок-первым,
не позволил радушной хозяйке ответить «нет».
этот текст, с предсказуемым и достоверным финалом,
романтический пафос/мораль в себе не несет,
только вишни — а вишни молчат и седеют устало.
вроде был человек — и нет человека.
все.

ПРИТОРНО

Нюра Рядова, как «война эта проклятущая» грянула, осталась с двумя мальчишками — Юркой да Шуркой. Одному, старшему Юрке, сровнялось пять годков, другому, меньшóму Шурке, — три: мал мала меньше. Сам Рядов, «ненаглядный Василь Матвеич», завязал в узелок свой нехитрый скарб: носки теплые, Нюриной рукой вязанные, кальсоны, табачок — и на фронт, не дожидаясь повестки. Нюра повыла-повыла («На кого ж ты нас покидаешь?»), да делать нечего: жить надобно, вот хоть фрицу назло! Лето-осень еще как-то перебивались. А зима ударила «не в бровь, а в глаз»: холод — лютый! Что и говорить, Сибирь… матушка! Только злая уж очень, матушка-то. Вот Нюра утром мальчишек своих посадит в ванну металлическую (санок не было), шалью пуховой укутает, чтоб не пристыли, и громыхает: в детсад везет — потом бегом на работу: счетоводом работала. А от Василь Матвеича ни строчки. Нюра в постель холодную ляжет — и в слезы: сгинул ни за что ни про что ее голубок. «Ты жди, — строжилась тетка Настасья Рязанова, или, как прозывали ее, Рязаниха, соседка Рядовых, — нечего тут сырость разводить. Они, письма-то, задóрживаются. Время-т нонче какое, нешто не знаешь?» Нюра закусила губу и ждала.

Жили Рядовы на блокпосте, рядом с железной дорогой. Барак плохонький, на три семьи, да еще грязища страшная: уголь таскали и прямо в барак, на пол клали — вечно на зубах скрипело и физиономии у Юрки да Шурки что у трубочистов. «Зато тепленько», — похохатывала тетка Рязаниха (углем этим топили махонькую печь — тем и спасались). Както в воскресенье Нюра пошла на рынок выменять старую пальтишку на хлебушек. Ничего не выменяла, вернулась рано, а Юрка, вот паразит, уголь продает какому-то мужику чужому: тот уж денежку протянул. Ну, мать, конечно, по губам сынишку отходила: и в кого растет, мол, отец на фронте, а он… Заплакала. А Юрка — от горшка два вершка: я за мужика, мол, в доме остался; все равно, мол, уголь воруем. Смолчала Нюра, глаза опустила… Но Юрка запомнил материно «угощеньице»: больше уголь не продавал.

А весной, аккурат под Пасху, пришла весточка от родимого от Васи, да не простая весточка — посылка. «Так и так, — писал Василь Матвеич, — воюю я хорошо, бьем фрицев будь здоров — только перья летят. Так что, думаю, к лету домой возвернусь. Ты, Нюра, береги себя и сынов береги». А в посылочке — Матерь Божья! — хлеба буханочка, помятая, правда, банка тушенки и сахар, настоящий кусковой сахар! Нюра супу из тушенки наварила, хлебцá нарезала — наелись от пуза! «А сахар на варенье пойдет, — говорит, — летом ягод насбираем — варенья понаварим!» Сахарок в песок столкла — это чтоб побольше было — и думает, куда спрятать-то: мальчишки-оглоеды где хошь сыщут (им только пыль сладкая с материных рук и досталась). Думала-думала, взяла да к самому потолку, на лампочку, и подвесила холщовый кулек. «Мам, так к лету

ЧУРУС ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА родилась в 1972 г. в Новосибирске. Ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля. Член Союза российских писателей. Живет в Москве, в Зеленограде.

война-то уж, поди, закончится, — ныли Юрка да Шурка, — ну дай сахарку, а?» — а сами скакали около кулька (шибко высоко!), однако мать была непреклонна: на Пасху испеку, мол, куличик сладенький — попразднуем (она, Нюра, раньше-то про веру и думать не думала, а как Вася на войну ушел, молиться стала и свечки Богу ставить).

А мальчишкам Пасха, не Пасха — все едино, только бы наесться досыта. Мордочки свои задерут к потолку (а носики-то заострились, шейки — тоненькие колоски — торчат из ворота рубах) и, как завороженные, глядят на заветный куль. «Ну мам, — клянчат, — ну дай хоть лизнуть!» «Да не терзайте вы материно сердце, ироды, — рявкает тетка Настасья Рязанова (похоронку она получила на днях: «Ваш сын (а он один у нее одинешенек) погиб смертью храбрых…»), — обождите чуток!» Куда кинешься — ждут, облизываются.

В пятницу Нюра кое-как уторкала мальчишек и собралась замес ставить: мучицы наскребла, яичко ей Настасья дала (у бабки Митревны, что курей держала, выменяла на бражку), сушеные яблочки еще с довойны остались. И только за сахарком полезла (кадку придвинула большущую) — Рязаниха и кричит: «Нюр, а ну, подь сюды!» Что такое? Оказалось, Ваня, сын Ти́слиных, что в соседском бараке живут, на побывку прибыл. Так этот Ваня мужа «твово, Василь Матвеича, вот как я тебя, видал». Нюра всполошилась, шалочку на плечи накинула и за дверь. А Юрка с Шуркой, вот антихристы, с койки прыг — и к заветному кульку: кругами ходят — достать не могут. Они и кадку придвигали, и на кадку эту залазили — нет, не достать куль, шибко высоко! Шурка в слезы, а Юрка — ох и башковитый пацан растет — кочергу хвать и давай куль потрошить. Шурка глазенки продрал. «Слышь, мало́й, — пыхтит Юрка, а сам кочергой орудует, — щас дырку сделаем, так ты не робей — рот поширше разевай, поня́л?» Как не понять? Голод, он чего хошь уразуметь заставит. Проткнул дырочку Юрка в холсте — сахарок и посыпался, словно манна небесная, а мальчишки рты свои раззявили и ловят сладкое чудо. А сахар все пуще, все пуще сыплется, а ротики махонькие. Вот бы такой роток, как у дядь Митрофана: жил такой когда-то, еще до войны, по соседству: мог за раз цельную курицу заглотить! Скакали-скакали мальчишки — сил больше нет, задыхаются, а сахарок будто неиссякаем: и сыплется, и сыплется… Они уж и вкус различать перестали — какое-то марево перед глазами, а все одно ловят ртами сахарок, шеи затекли… Последние крохи с полу слизывали: не пропадать же добру. А пол-то какой — угольный. Вот сахарок вперемешку с углем и хрустел на губах Юркиных, Шуркиных…

Мать вернулась в дом за полночь: раскраснелась, улыбается, слова Ванины про «Васю своево» вспоминает: мол, шлет поклон жене Анне Петровне и сынам Юрию и Александру, мол, помнит и в сердце носит их нежный («Так и сказал, — божился Ваня: — „нежный“»!) образ. Шалочку скинула Нюра, на лавку присела. А тут что такое: мальчишки на полу скорчились и извергают из себя какую-то черную слизь. Царица Небесная! Кинулась Нюра к сынам — поняла, почем фунт лиха, только глянула на пустой мешок, что болтался на шнурке, словно висельник. «Да милые вы мои, — кричит, — да виновата я пред вами, да пожалела сахара этого, будь он проклят!»

Отходила мальчишек Нюра, почитай с того света выудила. А Василь Матвеич с войны не вернулся, нет. Убил его немец под Тверью где-то, в общей могилке схоронили…

Года два минуло с тех пор, как война кончилась. Раз сидели все блокпостовские, кто жив остался (а и остались-то одни бабы, да ребятишки, да дедушка Алеша на деревянной ноге), за общим столом,

самогонки налили, капустки поставили квашеной, огурчики соленые, картошек наварили, подпили и всплакнули. «Никого-то у меня в целом свете не осталося, — убивалась тетка Рязаниха, — вырастила единственного дитятю — да фрицу поганому на растерзание!» «Чтоб ему в аду гореть, супостату! — подхватил дедушка Алеша. — Нашенские-т, блокпостовские, кто на войну ушел, все в землице сырой уж погнили. И хоца позабыть лихо это, да не позабудешь». «Позабудешь тут, — еле слышно промолвила Нюра Рядова. — Несладко нам пришлось, ой несладко…» И тут Юрка, что старый дед, вдруг скособочился, будто его гвоздями прибили к лавке, а перед глазами сплошное марево, вот как тогда, когда на полу корчился и одной чернотой исходил, — и во рту привкус сахара вперемешку с углем… Нет, сладко, сладко! Шибко сладко! Приторно-а-а…

* * *

Где-нибудь летом, в самой его поре,
на земляничной окраине, что у речки,
мальчики едут на светлом послушном коне,
тонкие-тонкие, будто церковные свечки.

Где-нибудь летом, в самой его поре,
на земляничной окраине, что у речки,
девочки выйдут с ведерками на заре,
нежные девочки, тихие, будто овечки.

Где-нибудь летом, в самой его поре,
заплачет Господь над ними дождиком юным.
И обозначится день этот в календаре
двадцать вторым июнем, тем самым июнем…
(…)
Где-нибудь летом, только другой порой,
на земляничной лугу, похожим на блюдце,
будет сидеть и молчать дедушка мой,
один из всех, кому суждено вернуться…

* * *

Вот такая была у нее война:
только долгое марево жарких степей,
и от пыли и зноя в глазах пелена,
и совсем никого, ни подруг, ни друзей.
Только торбочка с вишней, посушенной впрок,
поезда, поезда, все как будто во сне.
Передачка для брата, который не смог
и полгода пробыть на проклятой войне.
Брат был другом таким, что вовеки и нет.
Будет бабушка помнить его до конца.
Украина. Война. Ей четырнадцать лет.
И сушеная вишня в пыли у крыльца.

* * *

В этих полях забыты
Их имена и следы,
Там, где в воронках взрытых
Заросли лебеды.

ФРОЛОВА ЕЛЕНА. Публиковалась в журналах «Москва», «Эмигрантская лира», «День и ночь», «Графит», «Веси», «Южное сияние» и др. В 2019 г. вышел сборник лирики «Непоправимое лето». Победитель Международного конкурса «Эмигрантская лира». Живет и работает в Москве.

Там, где холодной ночью
Падали в снег лицом,
Ягодой самой сочной
Все порастет потом.

Баночки и корзинки
Ею наполнят в срок,
Бросивши у тропинки
Скромненький синий платок.

Там, где стекало в речку,
Красно, не ягод сок,
Ржавый истертый Стечкин
Выброшен на песок.

Дырочки в лодке, в донце
С трещинками смолы…
Дети бегут сквозь солнце
Через поля войны.

* * *

Нет грусти на земле, нет.
Есть свет, один только свет.
И еще немножечко тишины на полях,
Не выкошенных с войны.
Бьет ключ из земли, бьет.
Пьет конь из него, пьет.
А с подветренной со стороны
мужики несут топоры.
Тын ставят они, тын,
будет дом за ним, клен, сын,
и хлеба, повсюду хлеба.
Потому, что это и есть судьба.
А коль так, то грусти совсем нет.
Потому, что родина — это свет.
И еще немножечко тишины
до молитв, до божией глубины.

Александр КЛИМЕНОК

ШТРАФНИКИ

Не по ним, не по нам помирать.
Им держаться, нам быть несогласными.
Но царила с утра благодать,
Но ропталось и злилось по-разному.

Набивалась под ногти земля,
Оставалась с ногтями на бруствере,
Поднимались с раскатистым: «Б..!»,
И другими привычными чувствами.

Метров сто одолеть, целых сто…
В кучу масти, крапленые случаем!
Пропахали судьбу животом
Экс-призер, самострельщик и ссученный.

Рвали фрицев на раз, озверев,
Искажали ландшафт и наружности,
Громко звали чужих матерей,
Выходя из назначенной сущности.

Помешались, смешались в поту,
В лебеде, в черноте, в неприятелях,
Вечность грудью вдохнув на лету,
В рукопашных встречали объятиях.

А когда одолели приказ,
Обложил командиров изысканно
Раньше лирик, чуть позже «зэка»,
Чьей-то кровью обильно забрызганный.

Позже пили взахлеб тишину,
Поминали убитых и всяческих,
Все искали втроем старшину —
Экс-призера из города Ачинска.

КЛИМЕНОК АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ родился в 1968 г. в Калининграде. В 1985 г. поступил на филфак КГУ. В 1988 г. после окончания срочной службы в армии вернулся в университет и окончил его в 1992 г. Член Союз журналистов России. Поэт, прозаик, критик. Победитель международного конкурса «Золотое перо Руси» (2007). Живет в Калининграде.

Взгляд

По дороге полевой
Через луг и сад
Шел солдат к себе домой.
Догорал закат.

Долго не был на родной
Дальней стороне,
Не видался он с женой.
Разве что во сне.

Нежный ангел — два крыла!
Так вот повезло.
Как она его ждала
Всем смертям назло!

Собирался на войну
Скоро, впопыхах.
Что поделать?
На страну
Навалился враг.

Помнил он прощальный взгляд
Синих ее глаз.
С ним прошел кромешный ад,
Выживал не раз.

Этот взгляд ему помог
Не полечь в боях.
С этим взглядом, видит Бог,
Он не ведал страх.

Солнце село. Подошел
К своему селу.
За селом темнелся дол,
Где он брал ветлу.

Вот и первые огни.
Домик на горе.
Тихо встретились они
Взглядом во дворе…

Похудела до чего,
Лишь глаза горят.
Но сквозь слезы на него
Лился тот же взгляд.

ГРИНЦОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1961 г. в г. Гае Оренбургской области. После окончания средней школы в 1978 г. устроился на работу на Гайский ГОК. В 1979 г. был призван в армию. После службы в армии с 1982 года по настоящее время работает водителем БЕЛАЗа на Гайском ГОКе. Стихи печатались на страницах газет «Горняцкая округа» и «Гайская новь», а также вошли в сборники стихов «Помним!», «Весенний перезвон» и в сборник поэзии и прозы «Мысли вслух». Состоит в ассоциации «Поэты Урала».

София ЖУКОВА

ПАРТИЗАНКА

Колокольчики звонкие ныне забытых школ,
Горько зрелые лица и дружеская ладонь,
Я пойду за тобой, твое имя теперь — глагол,
Ты — стрела серебристая, легкая, как огонь.

Мы учились, читали, смеялись, любили свет,
Сомневались: а как нам прожить этот долгий век?
Но за нас все решили: ни века, ни света — нет,
Ни открытых дорог нет, ни мирно журчащих рек.

Танцевать бы тебе в хороводе лесных дриад,
Колокольчиков стебли сплетать в потайную вязь…
Нынче нам украшением — кольца ручных гранат.
Ты — как белый котенок, крадущийся через грязь.

В этой страшной ночи, разверзающейся грозой,
Не смотри, как взрывается сердце твоих берез,
Это страшно, когда в восемнадцать, с такой косой,
Не до смеха, не до поцелуев и не до слез.

Закопаться б тебе в луговые цветы от зла,
Рисовать бы с тебя в корабельных тонах этюд,
«Чур не я!» — закричать бы, как девочкою могла,
Детку малую нянчить бы, а не свою культю.

В синем платьице летнем ты будешь стоять и петь
На крыльце в моей памяти, в мире, где нет стрельбы,
Ни убитых собак, ни зарубленных вишен — нет,
Не летят журавлями оттуда гробы, гробы…

Ни мольбы стариковской: «Возьмите меня, меня!»,
Ни тяжелых сапог, марширующих по плацу,
Помнишь шарик стеклянный — а в нем, в серебре, ладья?
В этом мире он цел, ты плывешь на ладье к венцу.

Нет воронок в земле, тонут в пене морской сады,
И один — всех красивей, а в нем — побеленный дом,
Не оружие в нежных руках, а цветы, цветы,
И поют о цветах, и поют о любви кругом!

… Потемневшие лица и дружеская ладонь,
Мы идем за тобой, в очевидно неравный бой,
Мы идем за тобой, твое имя теперь — огонь,
Я с тобой не прощаюсь: я буду теперь тобой.

ЖУКОВА СОФИЯ АНДРЕЕВНА. Живет в Екатеринбурге.

Помнишь шарик стеклянный — а в нем, в серебре, мечты?
Мириадом осколков горит в плоти неба он,
А ладони земли, что дороже тебе, чем ты,
Спеленают тебя и отправят в последний сон.

Тишина, только новые травы поют вокруг
О стране, что ты видела в невыносимом сне,
Колокольчики ранние кружатся на ветру,
Колокольчики звонкие светятся в вышине.

Валерий АНИШКИН

КАРАТЕЛИ

(Глава из романа «Моя Шамбала»)

Немцы пришли в Галеевку в августе сорок первого. Проехали на мотоциклах по вымершей деревне, согнали всех к правлению колхоза и назначили старосту, которого привезли с собой. К удивлению сельчан, это был Васька Ермаков, исчезнувший куда-то из деревни, как только началась мобилизация. «Мало тебя раскулачили, — подумала Василина, — надо было на Соловки, гниду. А ведь думали, забыл, в колхоз приняли, завфермой поставили. А он затаился, значит, и носил камень за пазухой. Правда, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит».

Немецкий офицер через переводчика, городского мужчину в галстуке, с кислым выражением лица и высоким, почти бабьим, голосом, произнес речь с крыльца, в которой бодрым голосом возвестил, что немецкая нация наконец-то освободила русский народ от ига советской власти и от колхоза, где нет простора частной инициативе и где ленивый и глупый одинаково получает с умным и работящим. Отныне каждый будет работать в полную силу на себя и «Великую Германию».

Он остановился, наверное, ждал если не аплодисментов, то одобрения, но все подавлено молчали. А молодка Поля, пастуха Степана дочка, вдруг прыснула в кулак, изо всех сил удерживая смех.

Никто из деревенских, кроме Тимофея, да еще двух мужиков, воевавших в Германскую, не слышал никогда немецкой речи, и сейчас эта речь, лающая, чужая и непонятная, произвела гнетущее впечатление и даже недоумение: зачем этот в сером мундире с блестящими погонами, затейливо сплетенными, как пояски из лыка, с непонятным языком, который должен переталмачивать незнакомый городской, тоже не похожий на своего, человек; зачем здесь эти в сплющенных сверху касках, похожие на бульдогов, по трое сидящих в мотоциклетных колясках, с плоскими автоматами на шеях.

И сразу своя деревня стала неуютной, потому что они, родившиеся и выросшие на этом клочке земли, который назывался Галеевка, уже не были хозяевами.

Дарья, стоявшая рядом с Полей, зло толкнула ее локтем в бок и та, ойкнув, разом смолкла.

АНИШКИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился в 1938 г. в г. Дубровка Брянской области. Филолог, историк. Член Союза российских писателей. Автор книг «Великие мыслители. История и основные направления философии» (Ростов-на-Дону, 2007), «Русь и ее самодержцы» (Ростов-на-Дону, 2009), «Быт и нравы царской России» (Ростов-на-Дону, 2010), роман «Потерявшиеся в России» (Орел, 2013), «На распутье» (Орел, 2013), «Моя Шамбала» (Орел, 2012, 2015), «Богатство и бедность царской России» (Орел, 2013), повести в сборнике «Приокские рассказы» (Тула, 1985), «Баламуты» (Орел, 2013). «Мы хотели демократии. От Горбачева до Путина». (Политический дневник), 2016 «Веселый Насреддин», (Орел, 2017) и др. Живет в г. Орел.

— А кто путет нарушайт великий Херманский поряток, путем пороть, — сузив глаза и вглядываясь в баб и мужиков, раздраженно сказал по-русски офицер и звучно, наотмашь полосонул себя стеком по лакированному сапогу. Слова он подбирал тщательно и выговаривал их добросовестно, но они звучали на немецкий лад. Зато слово «пороть» он произнес чисто, привычно. И от этого «пороть» и от звука стека по сапогу холодок пробежал по спине.

Внучки Катька и Валька испуганно жались к матери, и Василина, обхватив их обеими руками, подминала под себя, точно курица-наседка, стараясь оградить от опасности, которой еще не было, но которая ощущалась и носилась в воздухе, как приближающаяся гроза.

Удрученные жители расходились по домам. Вскоре с улицы донеслось кудахтанье, возбужденная отрывистая речь, взалив забрехали собаки, дробью пробарабанила автоматная очередь, заскулил чей-то пес, послышался смех. Перепуганные куры, сбитые о места, ошалело носились по деревне, теряя перья.

Набрав по домам яиц и наловив кур, немцы потрещали мотоциклами и уехали из деревни.

Так для Галеевки началась война.

Новое слово «полицай» вошло в деревню, когда Санька Шулепа, Ванька Сычев и Митька-цыган прошли по деревне в серой полувоенной форме, офицерских кепочках, добротных сапогах, с повязками на рукавах и винтовками за плечами. Вот она, новая власть. Митька-вор, перед самой войной посадили за кражу зерна. Сенька Шулепа и Ванька Сычев — пьяницы и лодыри, всю жизнь света белого за самогоном не видели. Эти мать родную за стакан водки продадут…

Но если вся работа Сеньки Шулепы и Ваньки Сычева кончалась там, где начинался самогон, то Васька Ермаков, дорвавшись до власти, стал лютовать. По его указке немцы выводили из хлевов скот, выгребали из погребов последнюю картошку, находили и забирали те крохи продуктов, которые были припрятаны для детей и на черный день. Бабы голосили и сыпали на голову Васьки страшные проклятья…

На этот раз Ермаков нагрянул к ним со всей местной властью и привел с собой двух немцев.

Пока Сенька Шулепа и Ванька Сычев шарили по закуткам и сараям, Васька с немцем и Цыганом вошли в хату. Василина шуганула внучек Вальку и Катьку за печку, и они, боясь шелохнуться, молча смотрели оттуда вниз. Тоньке мать тоже приказала не высовываться, и та тихо сидела на кровати за занавеской, чутко прислушиваясь к тому, что происходило в избе и переживала за мать.

— Мужик дома? — с порога спросил Васька.

— Нету, — сказала Василина. — В город уехал.

— Васька, привстав на цыпочки, заглянул на лежанку печки, ничего не сказал и, пройдя к занавеске, рывком раздвинул ее.

— А, это ты краля? А ну, иди сюда, — приказал Васька. — Сказывай, где батька?

— В город уехал, — без робости ответила Тонька.

— Брешишь, подлюга! В лес пошел, к партизанам.

— Partizanen? Wo ist *partizanen?* — насторожился немец, берясь за автомат.

— А вот партизанка, — злобно сказал Ермаков и подтолкнул Антонину к немцу.

— Heraus! — без разговоров скомандовал немец.

— Schnell! — повел стволом автомата в сторону двери.

Теперь автомат был плотно зажат в его руках, готовый выстрелить в любую минуту и поэтому страшный до леденящего душу столбняка.

— Да какая она партизанка, господи? — заголосила Василина, хватая дочку за руку, пытаясь затолкнуть ее назад за занавески.

— Вася! Что ж это делается? Побойся Бога… — повернулась она в отчаянии к Ермакову, но немец больно ткнул ее стволом автомата под ребра и она, охнув, отпустила Тоньку, но тут же повалилась немцу в ноги.

— Господин офицер, — стала просить Василина солдата, хватая его за ноги. — Тонька никс «партизанка», она девочка, «киндер» еще. Пожалейте, господин офицер.

Немец попытался высвободить ноги, но не смог и коротким тычком, насколько позволял размах, ткнул Василину сапогом в лицо. Василина вскрикнула и схватилась за лицо. Пальцы окрасились кровью. Валька, а следом за ней Катька скатились с печки и с ревом бросились к матери. В суматохе Митька-цыган успел втолкнуть Тоньку в закуток и задернул занавески.

— «Сиди тихо и не рыпайся!» — приказал он и стал что-то доказывать Ваське. Тот нехотя пошел к немцу, который сверлил белесыми глазами Василину, хищно раздувая ноздри при виде кровоточащего лица. Василина стояла, вжавшись в печку, и прижимала детишек к животу, до боли стискивая их головы тяжелыми руками, и ужас был в ее глазах. Кровь тоненькой струйкой скатывалась из носа на подбородок, сочилась из разбитой губы. Дети тоже были перемазаны кровью и, насмерть перепуганные, тоже молчали.

— Неси самогон. Живо! — скомандовал ей Митька и тихо добавил: — Да не жмись. Вишь, как обернулось все?

При слове «самогон» немец закрутил головой, как ретивый конь, и глаза его по-кошачьи блеснули.

— Будем самогон «тринкен», — подтвердил Васька,

— Гут, — удовлетворенно сказал немец, расслабляясь и отпуская автомат.

Жесткое хищное выражение исчезло с его лица и приобрело мирный человеческий вид.

Василина ожила и, птицей вылетев в сени, вернулась с двухлитровой бутылью, заткнутой деревянной пробкой, обернутой чистой тряпицей.

Они ушли, прихватив с собой молоденького поросенка, оставив Василину приходить в себя. И та отходила медленно и все никак не могла унять дрожи в коленках.

Антонина ставила матери холодные примочки на разбитое лицо и тихонько всхлипывала. Валька с Катькой как ни в чем не бывало затевали свору из-за стреляной гильзы.

Ночью Тимофей ушел в лес вместе с коровой. Митька успел шепнуть Василине, чтобы Тимоха дома не показывался.

Партизаны действовали активно. Они контролировали дороги, отбивали *и* возвращали населению скот, захватывали обозы с продовольствием, появлялись внезапно там, где их не ждали, и наводили ужас на немцев, которые стали в конце концов панически бояться самого слова «партизан» и даже произносили его с опаской.

Служба разведки была поставлена так, что ни один из обозов, вышедших из Галеевки, не доходил до Сечи, где располагался Гебитскоммиссариат.

Ваську Ермакова убили среди бела дня. Сначала его предупредили и на какое-то время он притих, но когда первый испуг прошел, принялся лютовать с прежней силой, хотя стал осторожнее — один по улице не ходил, а на ночь у дома ставил охрану. К тому же, добился размещения в Галеевке отделения солдат.

Его зарезали, как кабана — ножом под лопатку. Он лежал лицом вверх, видно перевернули, чтобы убедиться в его смерти. Наверно, с Васькой

пришлось повозиться, и в хате шла борьба, так как стол был перевернут, на полу валялись подушки, у окна лежало заваленное ведро с фикусом.

В открытых глазах Васьки застыл ужас. На груди лежала записка, написанная химическим карандашом: «Так будет со всеми предателями».

И тогда пришли каратели. Партизаны успели уйти, оставив засаду для прикрытия и заминировав подходы к лесу. Предупредил Митька-цыган, Он же предупредил и тех в деревне, кому в первую очередь грозила опасность.

Нарвавшись на засаду и напоровшись на минное поле, немцы потеряли чуть ли не треть солдат и оставили возле леса две покореженные танкетки. Полегла и засада, но отряд, обремененный бабами и детишками, скотом и хозяйством далеко оторвался от преследования и будто растворился в бескрайних просторах Брянских лесов.

Разъяренные каратели стали чинить расправу в деревне. Они согнали жителей к дому старосты. Люди молча жались друг к другу и со страхом смотрели на карателей.

Полупьяные солдаты в черных мундирах со свастикой и молниями в петлицах пугали своими пустыми стеклянными глазами, но еще страшнее были собаки. Они бросались на людей, натягивая короткие поводки до струнного звона, повисая в воздухе передними лапами, заходились в хриплом глухом лае, задыхаясь от ошейников, перетягивающих горло, свирепея от того, что им не дают рвать, грызть человеческое мясо.

Притащили избитого Митьку-цыгана со связанными руками и стало понятно, для кого готовилась веревка с петлей, которую немецкий солдат и русский полицай Сенька Шулепа старательно прилаживали к толстому суку старого раскидистого клена. Глаза Митьки закрывал лиловосиний пузырь, на разбитых губах запеклась кровь.

Молодой мордастый немец нашел кусок фанеры с выщербленными краями, углем вывел по-русски «партизан» и по-немецки «partizanen» и с помощью куска проволоки повесил на шею съежившегося Митьки.

Митька растерянно смотрел на сельчан, и в глазах его было отчаяние и мольба. Что-то его мучило, и он хотел и не знал, как освободить свою совесть.

Когда его подвели к виселице, он заплакал. Его поставили на скамейку, взятую в доме старосты, и когда стали надевать петлю, он, словно поняв, наконец, и поверив окончательно, что сейчас умрет, и не скоро будут сказаны слова, его оправдывающие, заторопился:

— Братцы, за вас я это… не полицай я. Это я по началу так… партизаны скажут…

У него из-под ног выбили скамейку, и она отлетела в сторону, вещь иуды-хозяина, сослужившего за него, мертвого, еще одну мерзкую службу. Но успел еще крикнуть Митька:

— Бейте их, сук поганых. Мстите за нас, убитых.

И уже не было страха в его звонком, отчаянном голосе. Бабы заголосили. Десятка два солдат по команде сняли с машин канистры с бензином и бросились врассыпную по деревне, поджигая заранее намеченные «партизанские» дома. Вскоре деревня полыхала смоляным факелом, высоко выбрасывая искры.

Никого больше не тронули каратели, увозя убитых и раненых, оставив без крова стариков, женщин и детей.

Следом, как гиены за крупным хищником, потрусили, собрав свой ставший обширным скарб, полицаи Сенька Шулепа и Ванька Сычев, справедливо опасаясь возмездия.

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Шлет донесение накануне —
Если не в мае, тогда в июне! —

Дезинформация, снова-здорово!
До рокового двадцать второго

Не достучаться к ним, не пробиться…
Слушать никто не желал «провидца«!

Двадцать второго вдруг стало ясно, —
Не доверяли ему напрасно…

Ну и теперь за промашку эту
Могут кого-то призвать к ответу!

Даром, что он отработал честно, —
Нужно ему поскорей исчезнуть,

Чтобы не вспомнили даже имя…
Лучше руками убрать чужими!

Прочь конспирации все основы! —
Консул советский в роли связного…

А самураи куда как зорко
Бдят, с кем общается этот Зорге… —

Что-то не ладно… — поймут немедля,
Туже и туже сжимают петлю…

Но напоследок, эфир пронзая,
В Центр шифрограммою от Рамзая —

Весть, что японцы в войну не вступят…
Воду толочь неуместно в ступе, —

Если источник разведал точно,
Двадцать дивизий дальневосточных

(Пусть на востоке фронт оголится!)
Мчатся на запад спасать столицу…

БОЙКО ГЕОРГИЙ. Выпускник МГИМО, экономист-международник. Стихи начал писать с 1999 г. Печатался в различных альманахах, но более известен как декламатор своих стихов. Дважды был финалистом конкурса «Поэт года», финалист «Золотого микрофона». В 2013 г. на открытом турнире МГО СПР за звание «короля поэтов» вошел в число призеров и удостоен титула «Рыцарь Поэзии». Член СПР и РСП.

Но у Победы другие «отцы».
Сделано дело, и в воду концы…

Будет в июне двадцать второе,
Вспомним героя,
Вспомним героя!

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Первая блокадная зима
Так холодно и голодно настолько!
Все мысли о тепле и о съестном…
Но город жив! Он слышит голос Ольги,
Ритм жизни задающий метроном.

Она стихами стольких воскресила,
Безжалостный войны смиряя нрав!
И ленинградцы находили силы
Бороться, героизмом смерть поправ.

Поверит ли когда-нибудь потомок
(Да я и сам не осознал пока!),
Что за стихов ее бумажный томик
Хлеб отдавал блокадник из пайка?!

Марина ЛАМБЕРТЦ-СИМОНОВА

МАМЕ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мама, как странно,
Что стройный твой стан,
В ватник дырявый закутан…
Мама, ошибся, видать, Левитан,
Все он, возможно, напутал!
А репродуктор?.. Конечно, наврал! —
Что-то тут точно не чисто!
Мама, а как же теперь школьный бал?
Как же мечта стать юристом?
Мама, сирены завыли опять…
В бомбоубежище нужно!
Мама, тебя же совсем не узнать,
Ждет тебя новая служба!
Вот ты спешишь,

ЛАМБЕРТЦ-СИМОНОВА МАРИНА родилась и выросла в Ленинграде, Санкт-Петербурге. Журналист, поэт, перевлдчик, автор поэтических и прозаических книг для взрослых и детей. В настоящее время живет в Германии и является членом Международной гильдии писателей, Международного творческого объединения детских авторов, Евразийской творческой гильдии.

Ну а смерть — по пятам,
В мрачный израненный город:
Трупы людей собирать по домам —
Тех, задушил кого…голод…
Вместо того, чтобы в школу бежать,
Мама, ты роешь траншеи,
Можешь в любую минуту ты стать —
Стать для снаряда…мишенью!
Мама, не платья нарядные шить
Было дано тебе свыше,
А зажигалки шальные тушить
Молча на Питерских крышах.
Мама, дано тебе было узнать
Это — исчадие ада!
И научится читать и писать
Подлое слово: «Блокада»!
Мама всегда весела и нежна,
Мамам с детьми бы резвиться…
Мама — и жуткое слово… «Война» —
Как же могли совместиться?
Мама-одна из прекраснейших Дев —
Жертва чудовищной драмы…
Мама — и этот… опилочный хлеб —
125 горьких граммов…
Папу они твоего не спасли,
Как и других Ленинградцев,
С воем снега их тела замели
С жизнью заставив расстаться…
Мама…Почти что бесплотный… скелет —
Кости обтянуты кожей…
Мама-девчонка 16-ти лет,
Разве на маму похожа?
Мамочка, колешь ты лед на Неве,
Пьешь ты из проруби жадно…
Черный платок на твоей голове-
Моды… огрызок блокадной…
Мама, скажи же, что все это ложь:
Бомбы, фашисткие танки!
Мама, по снегу ты…маму везешь —
Мертвую маму на санках…
Мамочка, вот ты в…землянке сырой…
Как же все дико и странно!
Мама…ты стала военной…сестрой —
Вот и бинтуешь ты раны…
Стоны ты слышишь во сне до сих пор —
Боли в ушных перепонках…
Ранен в живот то солдат, то майор —
Ты им… Сестричка, Сестренка…
Мама, какую уж ночь ты не спишь:
Сотни повязок меняешь…
Вот на посту ты с винтовкой стоишь—
Госпиталь свой охраняешь…
Мамочка, треск разорвавшихся мин!
Всюду и горе, и беды…
Но вот ваш госпиталь

Въехал в Берлин —
Здесь ты и встретишь Победу!
Мамочка, слышишь победный салют?
Ждут тебя, мама, награды
За твое мужество, доблесть и труд!
Что же ты, мама, не рада?
Ты не одну заслужила звезду
В дьявольской той кругверти…
А вот теперь ты в…тифозном бреду,
Снова меж жизнью и смертью…
Руки уже опустили врачи…
Ты— в Ленинградской больнице…
Мамочка, мама, прошу не молчи,
Знаю, не сдашь ты позиций!
Знаю, ты сильная, ну же крепись!
Мама, за мир ты в ответе!
Ведь впереди у тебя целая жизнь,
Счастье семейное, дети!
Внуки и правнуки — все впереди —
Радости время настало!
Только бы сердце в бесстрашной груди
Биться в твоей не устало!
Вновь в честь тебя фейерверки и пир,
Оды слагают поэты,
Ведь на таких, как ты, держится мир,
Светлое Завтра планеты!

Надежда ПАНОВА

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Моему прадедушке,
Родионову Григорию Сергеевичу,
1924 года рождения,
участнику Великой Отечественной войны

Синеглазый прадедушка, с чубом волнистым,
у походного госпиталя на плащ-палатке
в ознобе дрожащий от кровопотери,
с телом, осколками изрешеченным,
если ты ощутил на щеке теплый ветер, —
это жена Маруся, тобою еще не встреченная.
В белой операционной, под светом слепящим, —
Хрупкая женщина-врач, с уставшим взглядом.
На десятом осколке, в ноге застрявшем,
твой сын, тот, что будет первенцем,
Ей шепнул: «Оставь! Ногу резать не надо!»

ПАНОВА НАДЕЖДА. Живет в Республике Беларусь, г. Межгорье. В творческих союзах не состоит.

Под огромными звездами Персии мчат эшелоны
с оружием,
Что Америка нам поставляет за русское золото.
Мой солдат синеглазый,
хоть фронт далеко,
ты опять занедужил:
Малярия. Беда. Снова госпиталь.
За окном лепестки осыпает черешня,
То ли явь, то ли бред: кто-то рядом с тобою садится.
Не пугайся: ведь это она, твоя внучка Маруся,
Та, которая лет через сорок родится.
…Неужели ты жив? Только трое на сотню из сверстников
Возвратятся живыми с войны.
Это просто везенье!
Голоса раздаются…Зовут…Ну, конечно же, это они,
Из немыслимой дали времен
твои правнуки: Аня с Андреем.
Что ж потом? Будет жизнь.
А потом, этак лет через семьдесят,
Будет кладбище сельское, звон орденов и медалей…
Дорогой наш, любимый прадедушка,
Как же долго тебя мы все вместе спасали…

Юрий КРАВЦОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА

Сорок пятый ликующий год!
У калиток застыли на месте
Жены, матери, сестры, невесты:
В чьи ворота солдат завернет?..
В чьи ворота? Глядят и глядят.
На дорогу глядят, не мигая.
А военный, неспешно шагая,
Мимо женщин идет, мимо хат.
Будто он одолел всю войну
Для того, чтобы так вот победно
По дороге родимой, заветной
С наслажденьем войти в тишину.
…Далеко тот ликующий год.
Но и ныне тепло неизменно
Вся деревня глядит на военных:
В чьи ворота солдат завернет?..

КРАВЦОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ родился в 1956 г. в с. Чернацком Середино-Будского района Сумской области. Окончил Брянский педагогический институт. Автор восьми поэтических сборников: «Первая смена» (1989), «Зов света» (1991), «Медуница» (1999), «Стихотворения» (1999), «Алешкино солнце» (2001), «Я шагаю к тебе, любимая» (2003), «Живи, пока живется» (2007), «У калиновых огней» (2013). Лауреат премии им. А. К. Толстого «Серебряная лира» (2012), премии им. Н. И. Рыленкова. Член Союза писателей России. Живет в Брянской области.

ГИЛЬЗА

В овраге небольшом, со школой рядом,
Где сосны коренастые росли,
Нашли мальчишки гильзу от снаряда
И в коридор ватагой принесли.
Горящие глазенки с интересом
Смотрели на нее со всех сторон,
Но тут, скрипя натруженным протезом,
Нарушил тишину завхоз Антон.
Он, молча, гильзу взял у мальчугана,
Задумавшись, протезом постучал.
И, словно бы под чутким сердцем рана,
Зеленоватый корпус застонал.
Ушел завхоз неровною походкой
В уютный свой рабочий уголок
И на глазах мальчишек их находку
Он взял и переделал на звонок.
И гильза та, что смертью угрожала,
Начищена до блеска, весела,
Собой улыбку солнца отражала
И на уроки школьников звала!

АНЮТА

А. А. Исаевой

На плите ее имя в длиннющем ряду.
Пуля — жизнь унесла в сорок первом году.
Рядом с именем этим небесной окраски
Смотрят в мир, не мигая, анютины глазки.
Я не знаю, какою девчонка была,
Только чудится, чудится мне почему-то:
Свой приветный, задумчивый взгляд отдала
Лепесткам над плитой незнакомка Анюта.
Отойду от огня, меркнет ласковый свет.
Грустно-грустно Анюта мне смотрит вослед…

Баяр ЖИГМЫТОВ

МАЛЬЧИК ИЗ ОСВЕНЦИМА

Я спрятал дудку в щели нар
И сгорбился в ожидании Боли.

«Я ничего плохого не играл,
Это мелодия моего Детства!»

Ай, почему я не Король!

Я сижу на кровавой земле,
Рядом Смерть перебирает веревки.

Я упрямый — играю весело
На пронумерованной Дудке.

Ай, почему я не Король!

Я дрожу в полосатых лохмотьях,
Черными пальцами закрываю

И открываю клапаны,
Дую в жестяную трубку.

Ай, почему я не Король!

ЖИГМЫТОВ БАЯР ТУМУРОВИЧ родился в 1953 г. в Смоленске. В 1975 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик. В студенческие годы был членом литературного общества «Алые паруса». Поэт, член Союза российских писателей, лауреат российской литературной премии им. Н. С. Лескова и других премий. Заслуженный работник культуры Республики Бурятия. Живет в Улан-Удэ.

ПОНЫРИ

Виктору Петровичу Батищеву, ветерану войны,
участнику боевых действий на Курской дуге,
отцу моему, посвящается

У времени военных лет
свои приметы:
в шинель, пилотку, сапоги
оно одето.
Палатка, фляга, вещь-мешок —
штрихи к портрету:
кроваво-красный — с черным — цвет
у трафарета.

* * *

Закат над Понырями ал
салютом первым.
Душа солдатика летит…
и рвутся нервы.
От леса — ровные пеньки…
узкоколейка…
«Помянем, брат, всех, кто погиб —
давай, налей-ка!»

* * *

Приветливый, распахнут май:
сирень, тюльпаны…
Играй, тальяночка, играй!
А ветер, пьяный, —
от сумасшедшей тишины
вконец оглохший —
знамена мировой войны,
шальной, полощет.

ЖУРБЕНКО ЗОЯ ВИКТОРОВНА родилась в Краснодаре. Филолог, преподаватель английского языка, переводчик. С 1991 г. по настоящее время директор туристического агентства. Автор сборника стихотворений «Я сердце солнцу распахну» (Краснодар, 2002 г.). Стихи публиковались в СМИ г. Краснодара и Ставрополя, в интернет-изданиях, в коллективных сборниках. Член Российского союза писателей. Живет в г. Краснодар.

* * *

А возле Вечного огня
притихли зимы
метелью одиноких лет.
«Я жду, любимый!»
седая голова… вдова
печаль немая —
полвека с лишним на Посту
в объятьях мая.

* * *

И в треугольнике письма —
в руке усталой —
горит с военных давних пор
закат тот алый:
прижат к губам, слезой омыт —
эпохи слепок…
… А дуб у Вечного огня —
могуч и крепок.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ САПОЖКИ

Кириллов носил в себе войну и смерть. На правах бывшего пациента обитал он при местном госпитале, и от одежки его шел тяжелый госпитальный дух закипевшей на бинтах плоти и крови человеческой.

И когда муж приводит Кириллова в дом, Саша невольно обмирает вся от внезапно вернувшегося лазаретного чувства.

— Принимай гостя, жена, — обычно наигранно актерствует Антон Ильич, — лейтенант Витя собственной персоной…

А Кириллов вместо приветствия хмельным баском командует:

— Вперед! Победа будет за нами!

И руку со сжатым кулаком вверх нацеливает, грозит кому-то, наблюдающему за продолжением его единоличной войны.

Обычно в дом они входят порознь: сначала вдвигается боком Антон Ильич — двери узковаты для его богатырства, а за ним гость стену отирает плечом, с трудом удерживая легкое тело на заменяющей протез деревяшке.

На яростном лице лейтенанта Вити болезненно кривятся разбитые губы, а глаза с хмельной бессмысленностью оглядывают знакомую прихожую. Некуда больше гостя пристроить, в комнате и хозяевам тесно, а в прихожей место есть, там, за ширмой, в личном своем закутке Витя и гостюет…

Скуден послевоенный быт, все в простоте живут, выжили, и, слава Богу. Только по-разному и в той скудости устраивается каждый. Вот Антона Ильича взять, так он от всякого командирства отказался, как ни уговаривали. Утомился отвечать за жизнь-смерть человеческую, добывает теперь хлеб насущный, обслуживая механику бесчувственную на заводе. Пусть и устает телом, а душа отдыхает в строгой правильности моторного гудения и метрономной точности механической жизни.

Для забот командирских оставил Антон Ильич себе лейтенанта Витю, в дом привадил подопечного своего. Нянькается он с Витей-лейтенантом, как с родным, будто раз и навсегда спасителем Кириллова себя назначил.

Саша эту историю с самого начала знает, присутствовала, когда после отступления фронта, уже ночью, привели в штаб отбившегося от чужой части сибиряка-сержанта, и тот, часто одергивая гимнастерку, все повторял, что, мол, свое дело сделал, перевязал и замаскировал раненого, обнадежив, что возвратится с подмогой.

— А подмогу, товарищ полковник, ждет он скорейшую, — убеждал медлительным голосом сержант, — лошадок бы парочку, так его в люльке меж седлами доставим, как миленького, Кириллова вашего…

— Я, сержант, и сам не прочь для такого дела, — полковник нервно ходил, изучая сибиряка беспокойным взглядом. Быстрый в движениях, высокий, узкотелый, он говорил враздумку, будто на ходу уже и решение принимал, — и лошадки найдутся…только, ты впереди пойдешь, а я тебя под прицелом держать буду… и если что, первая пуля твоей будет…

ОЛЕНИНА ЛАРИСА (Позднякова Ляля Леонидовна). Родилась в г. Полтава, Украина. Состоит в Союзе российских писателей. Живет в Воронеже.

Она, Саша, состояла тогда при полковнике телефонисткой. И фамилия Кириллова впервые для нее тогда возникла, хоть, может, и встречались они прежде, да не запомнился лейтенант ничем. Тогда для Саши особенности человеческие обесцвечивала одинаковость гимнастерок да кителей с погонами. Полковничьи погоны Антона Ильича в этом ряду предполагали особенную доблесть, и принятое решение самолично спасать раненного соответствовало тому.

Однако оставить часть без командира было делом подсудным, мог послать полковник и кого другого в опасный рейд. Но загеройствовал Антон Ильич, со своим ординарцем напару двинул за раненным лейтенантом. Может, перед бойцами отцом-командиром себя выказывая, или, может, перед ней, Шурочкой, так именуя, приласкивал он словом молоденькую телефонисточку, конфузя девушку перед бойцами. Она, Саша, только на фронт попала, и та шуточность полковника, по ее юным годкам немолодого, мешала обживаться в полку, неясностью тревожила.

В неясности пребывала Саша и той ночью, когда командир, обертывая портянками копыта своего вороного и непривычно величая девушку Александрой, учил, как в его отсутствие отвечать по телефону на случай звонка из дивизии.

В торопливости сборов, в той непривычности именования и померещилась Саше лиричность прощальная, так что и она стала именовать полковника неуставно — Антоном Ильичом. Потому и потянулась, как для объятий, когда, погарцевав и удостоверившись в тихости цоканья обернутых портянками копыт вороного, командир осадил коня перед ней и протянул руку для прощанья. Тогда и она потянулась к нему в чувствительной лиричности разлуки. И тут же оказалась верхом на коне, в тугом обруче объятья командирского.

Пробыла она в тех объятьях недолго, а уже готова за Антоном Ильичом и на край света. Или хоть сейчас в рейд спасательный.

В чувствительности прощальной даже слезы навернулись у девушки, что и заметил Антон Ильич, как быстро ни отвернулась Саша, как ни бодро пожелала удачи и возвращенья скорейшего.

То пожеланье, видно, услышано было планидой военной, вся авантюра гладко прошла, и раненый спасен был, и про самовольство командирское не прознали штабные из дивизии.

Только вот спасенного лейтенанта совсем плохим доставили. Погойдало его изрядно в люльке брезентовой, натянутой меж седлами лошадок. Стойко претерпел он мучительство, тот тряский путь с кляпом во рту, крик боли заглушающим, а когда стали ссаживать страдальца на землю, так он и сомлел.

Таким Саша и увидала тогда Кириллова. Горестно сломленные брови на меловом лице отметила жалостливо…

С той ночи и ее любовность фронтовая началась, обратившись на рискового полковника, из Антона Ильича ставшего для нее просто Антошей.

Удивительная замысловатость судьбы виделась Саше в том, что и после победных салютов Кириллов не исчез с их горизонта. В родной город возвратившись, встретил Антон Ильич лейтенанта, по излечении прижившегося в местном госпитале. Не спешил Кириллов к себе на родину, обвыкался со своим безножьем среди чужих, сапожничая в госпитальном подвальчике, где и обитал.

И въевшийся в одежку Витину лазаретный дух насильственно возвращал Сашу в старательно изгоняемую из памяти войну.

Только куда денешься, когда нянькается с гостем Антон Ильич в надежде, что, может, выправится как-то судьба лейтенанта, жаль же человека…

Однако молодые силы недовоевавшего Кириллова регулярно бунтовали от столь бесславного использования их, и тогда Витя впадал в хмельное буйство.

Утихомирить его мог только бывший командир, транспортируя к себе в дом, чтоб отдышался Витя в домашней жизни. Может, и Кириллов утихомиривался из благодарности человеческой, в память той рисковой для командира ночи. Да еще сочувствуя заботам Антона Ильича, обеспечивающего жизнь семейную в злыднях послевоенных. Как-никак жена да сын-младенец в тылу его трудов жили, требовали пить-есть.

Попадая в непритязательность семейной жизни, наблюдал Витя-лейтенант жену командирскую хлопотуньей, в неказистости одежки домашней. Однако на новой этажерке, еще сохранившей свежесть ивового запаха, на видном месте лежали привезенные Антоном Ильичом журналы с трофейными немецкими дамами, красиво позирующими в заграничных комнатах. Из тех журналов и копировала Саша безделки домашнего уюта, да платья себе изобретала, вдохновляясь модными плечиками да затейливыми рукавчиками мило улыбчивых иностранных дам.

Ей-то и неважно, как смотрится бытование нынешнее, вся она в надеждах. И то надежды не на везенье военное, как прежде, посреди свиста пуль да стонов раненных. Уповает она теперь на счастливость мирного благополучия.

Оттого и часто вглядывается Саша в личико младенческое сыночка своего, пытается угадать будущие превращения ангельского облика. И грезятся мамочке картинки грядущей его счастливости, будто отгораживает она мечтаньями этими сыночку родненького от жалостливой Витиной судьбы.

А Кириллов, как проспится в доме командирском, так и лежит в своем закутке, глаза в потолок уставив, и думает о чем-то сосредоточенно, будто задачку какую решает…

Саша принимается тогда занимать гостя, от утомительного думанья отвлекая, сыночка поручает Вите. Сама хлопочет по дому, наблюдая странное няньканье лейтенанта с Бойцом, как прозывает тот сыночка ее, крохотулечку.

Не навоевался, видно, Кириллов, и перед младенцем войну продолжает, воображение напрягая. Усадит мальчонку на кровать и давай разыгрывать бои перед ним — изображает собой то танк, то истребитель. А то и пушкой представляется, рычит басом, грохот орудийной канонады изображает.

— Вот, товарищ Боец, на тебя танки полезли, что делать будешь…гляди и учись — вынимаешь противотанковую, и прямой наводкой в башню…

И показывает, как надо гранату швырять… Да с яростью показывает, будто со всего размаха впрямь выкидывает что-то из кулака сжатого.

— А как вся артиллерия противника против тебя, что будешь делать, товарищ Боец?.. а вот что — дуй в окоп…

И падает Кириллов всамделишно на пол, и ползет по-пластунски со сноровкой не позабытой.

А мальчишечка на то представление смотрит с интересом, лопочет что-то, будто все понимает.

Саша поглядит-поглядит, и когда уж совсем войдет в боевой раж Кириллов, то и скажет со смешком, чтоб не обидеть:

— Перешел бы ты, Кириллов, на мирные игры, война закончилась, мы победили… чего тебе-то неймется…

А лейтенант в горячке фантазии не сразу и поймет слова Сашины, а как поймет, весь будто и погаснет, заскучает, и уйдет в свой закуток тосковать…

Так и звал Кириллов мальчишечку Бойцом, уже и Антон Ильич сына так прозывать стал, нервируя Сашу.

— Какой он тебе боец?.. это твой Кириллов недовоевал, видно… вот в войну теперь и играет, — упрекнет Саша мужа.

А тот примирительно только и скажет:

— Боец — это всеобщее звание мужское, все мы бойцы…

Вообще-то в обиходе лейтенант Витя — покладистый гость. Под настроение, бывает, и починку сапожную устроит, всю обувь в порядок приведет. А особенно старательно начищает офицерские сапоги Антона Ильича из заграничного хрома сработанные.

Однажды после такой работы, показывая мальчишечке глянцевитую офицерскую обувку, пообещал:

— Гляди, Боец… что, нравятся?.. не горюй, будет и тебе праздник… вот обскачешь батю, так я тебе генеральские хромачи сварганю…

Саша тогда в раздражении оборвала лейтенанта:

— Типун тебе на язык, Кириллов… не пророчь дурное, не будет мой сыночек воевать… хватит, отец навоевался…

А Кириллов поглядел на нее искристым злым взглядом, и частушечно так выкрикнул:

— Грянул гром — земля трясется,
для бойца война найдется…

Случилось однажды, что, невзначай в прихожую зайдя, наскочила Саша на картину, как лейтенант начищенные сапоги командирские примерял. Держится Витя за стену и оглядывает сверху вниз свою обутость глянцевую, весь такой подтянутый — лейтенантство свое, видно, вспомнил. А как заметил Сашино присутствие, аж вздрогнул, смешавшись. И быстренько обувку с культи скинувши, как интимность какую, ногу калечную за тот сапог блескучий и спрятал. Однако, опомнившись, разбитно так частушку и выдал:

Хорошо тому живется,
у кого одна нога,
тому пенсия дается
и не нужно сапога.

Саша миг один на ту глумливую лихость глядела, а и того мгновенья хватило, чтоб перенестись в ту ночь фронтовую, когда вылазкой в опасность вражескую был спасен Кириллов. И выплыла живая картина костра неяркого в темноте осенней ночи… Вспомнилось живо, как в том полусумраке ходил вокруг костерка, заложив руки за спину, Антон Ильич, наблюдая медицинские действия полкового фельдшера. А помогавший медбрату ординарец полковника, пожилой белорус, умело поворачивая Кириллова, время от времени повторял:

— Повезло тебе, сынок… ой, как повезло…

Хоть какое тут везение, когда обе ноги прострелены. И Саша, опасливо вглядываясь в молодое лицо беспамятного Кириллова, удивлялась, как неуместно при костровом освещении выделялись на нем сдвинутые горестно брови.

Аж зашлось ее сердце от той выскочившей из памяти картинки, и, отгораживаясь от горестности ее, развернулась Саша, да в комнату кинулась…

А там мальчишечка ее как раз хворал, только уснул и дышал с хрипотцой опасной. На распаренном температурой личике ресницы чернели полукружьями да губы алели. И отчего-то подумалось ей мгновенно, что когда-то и лейтенант Витя в хворости младенческой такой же ангельский вид имел.

И заплакала вдруг она, так умягчила душу та мысль всеобщего материнства, аж кинула в забытую женскую слезливость из мужественности военного выживания. И склонилась Саша над сыночком, и тихонько так плачет, чтоб Витя не услышал.

А он и услышал, и возник на пороге: босой, уже на деревяшке своей безобразной. Стоит и слушает ее всхлипыванья жалкие. И вдруг опускается лейтенант рядом с Сашей на колени, и, бормочет, что, мол, нечего плакать, за доктором надо бежать, а он пока с Бойцом побудет. И, ой, как смотрит на Сашу глазами своими прозрачными…

Ее в тот миг так и потянуло к нему… От давно не применяемых слез размягчилась душа, всех готова жалеть за несчастливость жизни — куда ни глянь, всякого человека пожалеть есть за что.

Только тут запах лазаретный от Витиной одежки так ударил в ноздри ей, опасностью близкой так испугал, что опомнилась Саша, отшатнулась, к ребеночку прижалась, чтоб защитить его от того духа горестного…

Хворость скоро отпустила сыночка, и забылась Саша в радостном хлопотаньи материнства. А все ж то коленопреклонение кирилловское запомнилось. Видно, в чувствах недосказанность случилась тогда, и требовалось досказать ее какими-то действиями.

А жизни легче было свое действие направить на Кириллова, поскольку открытость беды Витиной позволяла проникнуть в его судьбу через рану душевную, из какой горестность выливалась в жизнь окружающую.

Саша же и сама действие в жизнь вносила молодым своим материнством, все силы тратила, чтобы на чистый лист младенческой жизни сыночка не допустить и штришка из недавней погибельности военной.

Тех сил Сашиных хватило и на беспокойство за Витину судьбу, когда вдруг исчез лейтенант надолго. Хоть, с другой стороны, и радоваться надо, что не требуется спасать лейтенанта, а Саше все ж тревожно, отчего так разом закончились его похмельные гостеванья. И стала она беспокоить мужа этим своим интересом.

Тут надо сказать, что Антон Ильич человеком был пожившим, значительно опередившим Сашу в знании жизни. Оттого беспокойство ее за лейтенанта расценил без труда, не связав с интриганством измены. Но все же задумался он опечаленно о себе, о возможном одиночестве Саши с ним, в противовес возможному сообществу жены и Кириллова для молодого счастья. С тем настроением, однако, не устранился он от заинтересованности в жизни лейтенанта.

А Кириллову уже и не требовалось пребывание в доме Антона Ильича, поскольку, как переродился лейтенант. Никаких хмельных неприятностей не накликал больше на себя, не посещал его прежний хмельной кураж. И разговор теперь с ним как-то не получался у полковника, будто недоговоренность какая мешала. Придет Антон Ильич в подвальчик, там чад стоит сапожный, и в том чаду Витя молча стучит молотком, гвоздики вбивает старательно. Только мельком бросит взгляд быстренький на Полковника, а что в том взгляде, поди-пойми.

Однажды как-то без всякой обрадованности сказал Кириллов, что дошла и до него очередь на протез, и даже обещали в скорейшем времени изготовить новую ногу лейтенанту. Сказал это Витя между прочим, как о несущественном, будто что поважней появилось в жизни лейтенанта, отчего даже инвалидство отодвинулось на второй план.

Что уж Антон Ильич по поводу новизны Витиного поведения подумал, то его догадки, в душу лейтенанта с выяснениями не лез. Раз так случилось, рассудил, значит вышло время их с Сашей обоюдности, и дальше понесет их течение жизни каждого в свою сторону…

Бывает такое в обычае привыкания к жизни. Может, иссяк Витя в хмельном бунте против несправедливости, искалечившей его в самой ранней молодости, оставившей без праздничного куража любовного. Может, притих он в раздумье печальном, когда краем коснулась его мысль предательская там, на коленях, рядом с женой командирской, пальчики тонкие к лицу прижавшей, плачущей над ребеночком хворым. Испугался лейтенант греха неблагодарности, спрятал смиренно ту картинку в глубине памяти, забросал озабоченностью насущными требованиями жизни.

Вся ж история дружбы полковника и лейтенанта держалась на Кириллове, жестоко пострадавшем в случайности военной, которая спасителя его, Антона Ильича, не зацепила так явно. Ну, были у командира ранения, однако они не мешали его любовности с женой. И пальчики тонкие Сашины в семейной привычности любовной меры не имели, поскольку владел Антон Ильич ими без оценивания.

И коль не требовалось больше спасать Кириллова, то возможно уже и Антону Ильичу удалиться в мирную жизнь, развернуться спиной к прошлому… То есть отгородиться всецело от той ночи фронтовой, от стонов болезненных кирилловских… Не вспоминать про те часы в сторожком лесу, населенном немцами, где, закричи раненный, обнаружились бы они все мишенями легкими для смерти.

Пора и отставному полковнику забыться в мирной ежедневности, принять наступивший мир безоговорочно, чтоб просветлел взгляд его сумрачный, чтоб улыбнулись сжатые, как для командирского приказа, губы.

Вроде все к тому и шло, к завершению истории, начатой жизнью в ту фронтовую ночь… И могло показаться, что разошлись окончательно пути полковника и лейтенанта Кириллова, поскольку всю зиму пустовал закуток Витин в доме Антона Ильича.

Однако всякая жизненная история эпилог имеет, когда явный, а когда и такой, что не сразу поймешь, что финального деяния дело достигло. Оттого люди и не успевают значительнее обозначить тот последний эпизод, за которым только воспоминания и остаются…

И тот день ни для Антона Ильича, ни для Саши никакой значительностью не обнадеживал. Разве что выходной был, да весна прояснилась после хмурости дождевой. Да повеселевшая вместе с погодой Саша в весеннем уже платье хлопотала по дому, пока Антон Ильич с дитем нянчился на досуге. Тут и постучали в дверь, и, сына с рук не спустивши, пошел хозяин встретить гостя.

По простоте тогдашней жизни нежданность посещения неудобства не представляла, поскольку видимость бытовая не отдалялась от ее сути. А потому больше сил отдавалось чувствам, подсказывавшим, что, если человек нежданно пришел к человеку, то не иначе, как по делу, не терпящему отлагательства.

И что дело не терпело отлагательства, то поняли сразу все, и Антон Ильич, и Саша, и даже подросший мальчишечка, угнездившийся на руках у отца, радостно залопотавший и даже захлопавший в ладоши при виде гостя.

А Саша аж охнула от впечатлительности, в таком виде преображенном предстал лейтенант Кириллов. Будто лакированные, сияли офицерские сапоги на его ногах, и не догадаться было про искусственность протезную, оформленную пузырями галифе… И застегнутый по уставу ворот кителя окаймляла полоска белого подворотничка… И даже полоса орденских планок украшала грудь его ниже гвардейского значка со знаменем красным…

И этот уставный лейтенант Витя, по-мальчишечьи сдернув фуражку, скинул солдатский вещмешок, и, наклонившись, вынул из него что-то…

Может, и ничего особенного не было в извлеченном из вещмешка. Однако для живущих в это время в этом городке стоявшие на широкой ладони Кириллова детские сапожки были явлением какой-то нездешней жизни. Оттого и ахнула вторично хозяйка, всплеснула руками, как благодарный зритель на удачном спектакле.

Только не художественный спектакль то был, а жизнь на первом мирном дыхании… Жизнь, восхищавшая всякой добычей невоюющего мира. И добыча та в виде зеленоватой кожи детских сапожек, повторявших форму офицерских, но с красными, как генеральские лампасы, полосками по бокам, подтверждала наступившую неопасность будущего.

И то будущее дитем лопочущим сидело на руках отца, почмокивая от какого-то своего удовольствия. И вдруг, потянувшись к гостю, мальчишечка залопотал вполне узнаваемо первое свое слово:

— Дай, — и повторил, — дай, дай, — указывая худенькой ручкой на обувку

— Угадал, Боец, твои это, генеральские, — улыбчиво обнадежил Витя.

И глянул он в глаза командирской жене. И прочитал в них то, от чего засмеялся тихонько, ласково так, и, протягивая ей сапожки, сказал:

— Уезжаю я… пришел проститься… присядем, что-ли, на дорожку…

С того дня затерялся след Кириллова среди городов и весей, хоть и обещал лейтенант дать весточку из новой своей жизни, да что-то, видно, не сложилось…

А сапожки добротно были сработаны лейтенантом. К тому же хранила их Саша старательно, так что не потускнела зеленоватость кожи, и были они, как новенькие, когда, при переезде на новую квартиру, нашлись среди всякой ненужности на антресолях.

Тогда и показала Саша сапожки сыну, уже в подростковую вытянутость оформившемуся. И он, может, что-то вспоминая, погладил мягкую кожу обувки, провел пальцами по веселым полоскам красных лампасов.

— А зачем ты их хранишь? — спросил, возвращая сапожки матери.

— Как зачем, — загремел возмущенно Антон Ильич, бывший тут же рядом, — это же напутствие тебе, Боец, в генеральство… видишь, какие лампасы сработал Кириллов.

И, взяв в руки сапожки, быстро взглянул на Сашу, так что она, перехватив тот его взгляд, отвернулась к прерванному делу, не включившись в разговор.

И молчание ее сыну непонятно было, и отцовский тон возмущения озадачил нежданной значительностью в суете переезда. Но, с догадливостью ребенка, он на себя оборотил недоговоренность родительскую:

— Никакой я не боец, и генералом не буду, — сказал сердито. Однако полюбопытствовал:

— А кто этот Кириллов?

И тем вопросом эпилог истории лейтенанта Кириллова был продлен на целое поколение.

Но история спасения лейтенанта была рассказана Антоном Ильичом скупо, фактически без обозначения чувств, и Саша в рассказе том не участвовала.

Этой недоговоренностью оставили они сыну вместе с самим фактом рискового спасения лейтенанта, также и неясность чувств, разделивших прежних соратников безоговорочно. Так что повзрослевший Боец, примеривая на себя отцовскую жизнь, часто вспоминал тот единственный разговор о лейтенанте Кириллове, пытаясь понять именно чувства участников истории. И неясно было ему, отчего навсегда исчез из жизни родителей лейтенант Кириллов, так что вещественно от него только и остались детские сапожки с красными полосками на голенищах.

* * *

Григорий жизнь невесело прожил.
Война. Послевоенная разруха.
«Прожил, а ничего не накопил», —
Ворчала иногда жена-старуха.
Он понимал, что время — умирать,
Но все дела, дела не позволяли.
И сыновей хотел уже позвать,
Да где там — забрались в глухие дали.
Но стало все-таки невмоготу,
За горло взяли старые болячки,
И жизнь упрямо подвела черту,
Последний день Григорию назначив.
Вот так — когда Григорий тихо спал
И слышал, как негромко сердце бьется,
Какой-то странный голос прошептал,
Что все… что день последний остается.
Дед встал. Печально скрипнула кровать.
Взглянул в окно — земли сухие груды.
Подумал вдруг: «Кто ж для меня копать
Такую твердь суглинистую будет?
Как ни крути, а некому. Ну, что ж, —
Прокашлялся. Погрел у печки спину. —
Возможно, завтра разразится дождь,
Промочит грунт, тогда и опочину».
Порой казалось, нету больше сил,
Ни капельки уже их не осталось,
А он, крестясь, у Господа просил,
Чтоб тучи поскорее собирались.
«Куда моей старухе яму рыть —
Ей жизнь давным-давно пора итожить.
А если б дождь прошел, то, может быть,
Управился б сосед — он чуть моложе».
И дед терпел, хоть было все трудней.
В груди давило. Губы сжал до боли.
Как будто был не в мазанке своей,
А там, под Оршею, на поле боя.
Хотелось показаться, уходя,
Таким, как был, — и крепким, и удалым…
Он умер через день, после дождя,
Когда земля сырой и мягкой стала.

КРИВОНОС СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ родился в поселке Сосновом Сватовского р-на Луганской области. Окончил Луганский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко. Член Национального и Межрегионального союзов писателей Украины, Международного сообщества писательских союзов. Автор 13 поэтических сборников (для взрослых и детей). Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина (Союз писателей России), литературной премии имени Николая Ушакова (Союз писателей Украины). Живет в г. Сватово Луганской области.

* * *

А мой отец лишь для добра и жил,
Ни славы не имея, ни достатка,
Ни той напористо-когтистой хватки,
Что есть у современных воротил.
А вот сейчас — не выйти за порог:
Как будто все невзгоды возвратились,
И боли долгих фронтовых дорог
В натруженных ногах соединились.
«Жить для добра, наверное, старо, —
Согревшись у печи, отец вздыхает, —
Необходимо ли сейчас добро,
Когда его, как будто мяч, пинают?
Дожить бы до еще одной весны,
Но почему-то по ночам нередко
Смоленский лес, расталкивая сны,
Стучит в окно простреленною веткой».

БАЛЛАДА О БЕССМЕРТИИ

Взвод умирал в расстрелянных снегах,
Как раненый боец, земля дышала,
И тяжело гудели в проводах
Разрывы раскаленного металла.
Скрывала мгла растерянный рассвет,
И лишь вверху, разрезав дым и копоть,
Осколок неба раною краснел
Над перебитой жилою окопа.
И солнце, посеченное свинцом,
Качалось, силясь в насыпь упереться,
Но согревало бережно бойцов
Родной земли недрогнувшее сердце.
И, встав в огне отчаянно и смело,
Взвод сквозь метавшийся над полем дым
Шагнул навстречу оробевшей смерти.
И снег ожил, растаяв перед ним.

Софья ГРИГОРЬЕВА

КЛЕМЯТИНО

Тихий вечер, пропахший мятою,
сквозь года осколок прожег.
Я стою в деревне Клемятино —
в незнакомой, но не чужой:
в похоронку слова впечатаны —
типографский, не тот, свинец,
что в бою под Большим Клемятино
смертью храбрых… Отец, отец…
Значит, здесь, за простыми хатами,
в редких (слишком редких!) кустах,
на изрытой земле Клемятина
отмаячил тебе рейхстаг?
Ты был с детства в моем понятии
легендарный комбат, герой.
Я постигла лишь здесь, в Клемятине,
ты — обычный, смешной, живой, —
рвал цветы жене — моей матери…
Как вы мало прожили с ней!
И вот здесь, тогда, у Клемятина,
под тобой… долго… таял… снег…
…Мне вчеканит на сердце вмятину
обелиска звездный венец…
Подрастут — приедут в Клемятино
ребятишки мои, отец.

ГРИГОРЬЕВА (КРАЕВА) СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА. Поэт, член Союза журналистов, автор нескольких поэтических сборников. Родилась в 1941 г. в дер. Голчино Кугушергского сельского совета Яранского района Кировской области. Ее отец Михаил Акимович Краев (1908–1942), командир батальона 1003 стрелкового полка погиб в боях в декабре 1942 под деревней Клемятино Смоленской области на Ржевско-Сычевском выступе.

ШЕСТОЙ РОТНЫЙ

Зарывшись в землю, отдыхал
Усталый полк пехотный.
Остатки роты принимал
Шестой за месяц ротный.
Недолог сон передовой…
Вал артналета плотный.
С рассветом поднял роту в бой
Шестой за месяц ротный.
Уж близок высоты овал,
Но прочерк пулеметный
Уткнулся в грудь… И он упал,
Шестой за месяц ротный.
Упал и землю он обнял,
К траве прижавшись сочной;
И скромным обелиском встал
Шестой за месяц ротный.
А роту в бой увел другой,
Чей номер был нечетный.
Им вслед фанерною звездой
Смотрел убитый ротный.
Сквозь кровь и дым в желанный мир
Привел к рейхстагу роту
Вконец уставший командир,
Бог весть какой по счету.
…Давно закончена война.
Истлели похоронки.
Но, павших в битвах имена
Торжественны и звонки.
Вам, победившим в той борьбе,
За тяжкий труд ваш ратный
Земной поклон всем! И тебе,
Шестой за месяц ротный.

ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ родился в 1943 г. в Казахстане, во время эвакуации родителей. В 1944 г. семья возвратилась в Беларусь, город Хойники. С 1965 по 1970 г. учился в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-строитель». Первая книга вышла в свет в 2003 г. В 2005 г. вышла книга сказок «Сказки старого леса». В 2007 г. вышли детские книжки «В зоопарке» (стихи для детей) и «Хитрый крокодил» (стихи для детей). В 2007 г. вышли «Новогодние волшебные сказки» и исторический роман «Язык огненного дракона» (о приключениях викингов на территории Беларуси). Живет в г. Узда Минской области.

Владимир ТОКМАКОВ

СОСЕД. ВОСПОМИНАНИЕ

Для нас он похож
на старую рыбу —
в чешуе орденов и медалей.
На рыбу,
уцелевшую
в безжалостном океане войны
и выброшенную на берег
этого провинциального городка.
«Я никому не нужен,
как старая батарейка», —
говорит он кому-то
по неработающему телефону.
Неуживчивый, молчаливый, суровый,
он не ходил в школы с выступлениями,
а День Победы отмечал на кухне
с последним живым однополчанином.
После контузии он плохо видел,
и шоколад ему казался
запекшимся сгустком крови.
Он плохо ходит
и почти не слышит.
Но каждую ночь,
во сне,
продолжает бросаться под танк
со связкой гранат.

ПОКОЛЕНИЯ

Мой прадед
вернулся в 1918 году
с Первой мировой
живой,
проносив с собой в вещмешке икону
Богоматери со Спасителем.
Мой дед
вернулся в 1945 году
с Великой Отечественной
живой,
проносив у сердца партбилет.
Мой отец

ТОКМАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ родился в 1968 г. в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского государственного университета. Автор поэтических книг: «Аромат девушки за каменной стеной» (1995), «Двойное дно» (1997), «Гадание на веревке повешенного» (1997), «Боязнь темноты» (1999), «Без лишних слов» (2003), «Вольный стрелок» (2008), «Личное дело» (2012). Член Союза российских писателей, Международного писательского ПЕН-центра. Автор и ведущий программ на телеканале «Катунь 24». Член Творческого совета журнала «После 12». Член Союза российских писателей. Живет в Барнауле.

вернулся в 1963 году
с войны «физиков» и «лириков»
живой,
проносив в сердце
образы Че Гевары, Хемингуэя,
Ремарка и Твардовского.
Мой брат
вернулся в 1984 году
с Афганской войны
живой,
проносив в кармане
фото любимой девушки.

БАБА-ЯГА

Там, за деревней, под Лысой горой,
бабка живет с костяною ногой.
Домик ее на курьих ногах,
много на крыше щебечущих птах.
Ходит согнувшись — сколько ей лет! —
кожей обтянутый желтый скелет.
Дразнят мальчишки Бабой-Ягой:
«Ох, отлуплю вас поганой метлой!»
Как-то холодную ночь в сентябре
я переждал у нее в конуре.
Ветхая крыша течет давно, —
крутится старое веретено.
Стены увешаны фото солдат:
«Это все с фронта… Вот муж мой. Вот брат».
Вышло — сестрою на фронте была:
много людей от смерти спасла.
Из-под огня на своей спине
вынесла: «Письма писали мне…»
Старость и раны забрали друзей.
Нет у нее ни родных, ни детей.
Ночи без сна длинны, холодны.
Ночи последних героев войны.

Антон ТЮКИН

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

Памяти деда Николая Прокопьевича

Всех без вести,
Всех без вести пропавших...
Из советской песни

1.

В ватниках и в гимнастерках,
Мечены гарью и сажей,
С вонью махорки, растертой
В обезображенных кряжах
Грубых солдатских ладоней,
С пороховым беспределом —
Встанут «рабочие кони» —
Мертвы, как пни, — перед «смелыми»
В ленточках, в шариках... Дети,
Враз испугавшись, подымут
Вой. — «Из какого столетия?
Мертвые вас не покинут...»

2.

— «Что там? Девятое? — зубы
Костью мертвецкою скалим, —
Не ожидали, что грубы?
Просто так долго лежали,
Что захотелось размяться —
Все-таки Праздник! Зеленой
Улицей к дому подкрасться б,
К хате, к избе...» На балконе
Что там: девушка? — «Здрасьте!
Вы, как мадам из Парижа...
Есть документы? Напасть вот:
Бросили в черную пасть мы
Все медальоны. Не выжили...
Так что, простите, гражданка.
Глупая, в общем, примета...
Помню, как перли под танки
В полдень горячего лета
Сорок второго... Мы? Пепел
Серый, смешной — безымянный!

ТЮКИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ родился 17 апреля 1972 г. Инженер. Пишет прозу, стихи. В 2016 г. включен в лонг-лист международного Волошинского конкурса среди поэтов. Лауреат в номинациях «Гражданская поэзия» и «За стихи, тронувшие сердце», конкурса «Скребовские чтения» (2016), дипломант международного конкурса «Лохматый друг». Член Российского союза писателей. Живет в г. Вологда.

В общем, нас нету на свете —
Ни одного на планете.
Нам ли: про «старые раны»?»

3.

Да, мы поднялись сегодня,
Тощие плечи расправив,
В марево: «Матерь Господня,
Так ничего ж не исправить!»
Слезы текут по морщинам.
Изображенья поплыли.
— «Все хорошо, молодчины…»
Дети, собаки, мужчины,
Ленты на великах, пыли
Вихри, парады, эскорты… —
Смутно туманятся дали.
— «Ну, посидели, и к черту!
Главное: цветы увидали…»

Илья ОГАНДЖАНОВ

ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО

Я сижу под большим обеденным столом, сжимая подаренный дедом новенький пластмассовый револьвер. Рукоятка согрелась и словно приросла к ладони. Зажмурив левый глаз, целюсь в дырявый войлочный тапок деда. Из дырки торчит искореженный заскорузлый ноготь скрюченного большого пальца. Дед обморозил ноги на войне, и ногти у него очень страшные, до отвращения. Палец пошевеливается — и я в испуге жму на курок. Курок щелкает, точно комнатный выключатель, и я с яростью шлепаю губами: «пых-пых-пых...» И успокаиваюсь, только когда палец замирает, точно мертвый.

По праздникам стол выставлялся на середину комнаты, и бабушка покрывала его просторной накрахмаленной белой скатертью. Плотные жесткие края ее низко свешивались, и я сидел там, как в домике.

Мне бы и сейчас хотелось так же спрятаться куда-нибудь от всего и ото всех. Но как это будет выглядеть, и что подумают люди?..

Гости давно разошлись, остались дед и его боевой товарищ — бывший штурман их бомбардировщика.

Этот штурман приехал ночным поездом из Ленинграда. Высокий, худощавый, «с манерами»: вручив бабушке букет красных гвоздик, шампанское «Новый Свет» и коробку конфет «Ассорти», церемонно наклонился и поцеловал ей руку. Он прихрамывал, говорил громко, с густой хрипотцой, и чуть ли не после каждой фразы к месту и не к месту вставлял: «Это несерьезно», — и широко улыбался, обнажая прокуренные лошадиные зубы.

— Такая у него присказка. Что поделаешь, человек южный, с Крыма. Южане они все малахольные. Девчатам присказка его больно нравилась. В эскадрильи его так и звали: «старший лейтенант Этонесерьезно».

— А он что с тех пор так и не женился?! — хлопоча на кухне, будто бы между делом любопытствовала бабушка. — Жалко, видный был парень. Дура Любка, что не дождалась. И чего он в ней нашел? Ни рожи, ни кожи. Один гонор. Тоже мне, богема! Вот такие стервы вами, мужиками, и крутят.

Утром, после парада Победы по телевизору, мы с дедом собирались в Парк культуры и отдыха имени Горького. Я поднялся спозаранку. Надо было торопиться, а то пропустим самое интересное. В прошлом году мне там купили флажок и петушка на палочке.

— Какие планы, штурман? Поедешь с нами?

— Нет уж, уволь, командир. Это несерьезно. Я же не клоун — цацками трясти.

Дед нахмурился, но ничего не ответил. Застегнул на все пуговицы выглаженную бабушкой с вечера белую рубашку, кряхтя, надел свой сильно

ОГАНДЖАНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1971 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, Московский государственный лингвистический университет, Международный славянский университет. Автор книги стихов «Вполголоса». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни» и др. Работает на телевидении. Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

полинявший парадный пиджак, сплошь увешанный орденами и медалями, и, позвякивая, как набитая копилка, твердым косолапым шагом вышел из комнаты.

День был солнечный, теплый. Кругом полно народа, и все нарядные, приветливые, в особенности девочки — в бантах, с цветами и воздушными шариками. Будто вдруг, в одночасье, наступило нежданное лето. Но за пыльным окном электрички праздничного было мало. Бесконечно унылые голые леса, раскисшие поля, бетонные заборы фабрик и промзон.

Всю дорогу я следил, кто как смотрит на дедов наградной иконостас. В электричке разглядывали с уважением — у деда на груди поблескивало несколько редких орденов: Александра Невского, Суворова. Были и Ленина, Красного Знамени и разные другие, и еще — начищенные медали: за взятие всяких наших и иностранных городов. Люди многозначительно кивали, почтительно хмыкали, поздравляли, желали здоровья, один даже предлагал отметить это дело: «Давай, отец, за победу, по соточке боевых, я угощаю». А в метро, ближе к центру, мы как-то затерялись, в тесной толпе, среди таких же орденоносных ветеранов.

На площади у входа в парк кипело гулянье. Из репродукторов неслись военные песни, вальсы, марши. Ветераны при параде прохаживались поодиночке или с внуками. Застенчивая комсомолка вручила деду гвоздику. Дед, потупясь, поблагодарил и неловко чмокнул ее в кокетливо подставленную пунцовую щеку.

Среди штатских выделялись выправкой офицерские мундиры. Мелькали застиранные гимнастерки с красными и желтыми нашивками за ранения, орденами Славы и медалями За отвагу, как будто из фильма про войну.

Старичок в тельняшке, черном бушлате и заломленной на затылок бескозырке, приникнув небритой седой щекой к аккордеону, затягивал «Варяга». Он сидел на раскладном рыбацком стульчике, отбивая такт правой ногой. Пустая штанина левой была аккуратно подвернута.

Над головами, на длинных палках, проплывали фанерные таблички с выведенными красной краской номерами частей и названиями фронтов — это однополчане искали своих. Повстречавшиеся боевые товарищи крепко обнимались, хлопали друг друга по спинам и утирали ладонями глаза. Дед тоже чего-то выглядывал. Но вскоре потянул меня ко входу.

Вход в парк Горького напоминал одновременно колоннаду Парфенона и римскую триумфальную арку из «Всемирной истории». Том*а* приобретались бабушкой по талончикам за макулатуру — «может, внукам пригодится». У входа белели лотки на колесиках: газировка, мороженое, сладкая вата. Дед, обычно по-крестьянски прижимистый, на этот раз купил мне и шипучей розовой, и эскимо; купил бы и ваты, если б мне хватило рук все удержать. И мы пошли к летней сцене на концерт песни и пляски, а потом — к полевой кухне.

К вечеру меня разморило, и я начал задремывать в своем домике под столом. В ушах что-то гудело, ныло, звенело, будто у меня начался жар, и сквозь этот шум до меня едва доносились рассохшиеся старческие голоса и обрывки разговора.

— Ты в Германии после войны был?

— Зачем это?

— А я был. И видел, как там люди живут. Ты мне скажи на милость: кто войну-то выиграл? Это несерьезно. Они себе жируют, а Митюха наш, ты же знаешь, сколько он юнкерсов да мессеров пожег, Митюха в бараке так и помер. Последние годы к пивной таскался — подвиги свои расписывал и у пацанов на чекушку клянчил.

— Вот ты к чему. Верно говоришь. Видать, мало мы их утюжили…

Что-то звякнуло, булькнуло. Дед крякнул и стукнул стопкой по столу.

— Мало-не мало — кто сосчитает?

— Тут и считать нечего! У нас бухгалтерия простая: как аукнется, так и откликнется.

— И немку ту, с фермы, тоже не считать?!

— Ты к чему это клонишь?.. Самый совестливый?! Так отсиделся бы в сортире.

— Да я просто, к слову. Она тогда, не поверишь, Любку мне напомнила. Глаза такие же мутные, жуткие.

— Напомнила она ему… Нечего больше об этом! Сама напросилась…

Бабушка заглянула из кухни — что-то подать или унести. Включила телевизор. Показывали программу «Время», отрывки парада. Чеканя шаг, по Красной площади проходили бравые десантники, пограничники, морские пехотинцы, проезжали танки, бронетранспортеры, катюши, и дикторша поставленным голосом говорила о беспримерном подвиге советского солдата.

— Мне один молодой связист рассказывал. Они через горную речку переправлялись. По бревнышку над пропастью. А у него патологическая боязнь высоты. Ничего, два пальца в рот — и перебрался. Гимнастерку потом насилу отжал, так взмок. Тоже подвиг. А то, что мы с тобой в тот раз, когда под зенитки попали, все как решето, на базу вернулись и без единой царапины, так какой тут подвиг, это несерьезно, просто судьба.

— Я тогда аж к креслу прирос. Мне механик зубы ножом расцепил — и спирту, чтоб из кабины вытащить, — оживленно заговорил дед.

— Прямо случай для стенгазеты. Меня тут в школу недавно приглашали, на встречу с пионерами. Так, для патриотизму. Сам понимаешь. Я и согласился. Отцепил от пиджака планочки свои орденские. Награды понавесил. Детки сидят за партами, ручки сложили, ждут, когда старый дядька байки про войну станет травить. А мне и сказать им нечего. Летать летал, по картам, по приборам. Цели по квадратам бомбили, какие прикажут. Иной раз и промахивали, сам знаешь. И что? Может, про то как ты на одном движке, с простреленным легким, до полосы нас дотянул? Или как тогда на брюхо сели в снегу и два дня по лесам плутали, к своим пробирались, так что промерзли до костей? Или что мы за четыре года в воздухе проболтались, наверно, больше, чем на земле? Это несерьезно. Я толком и немцев-то не видел.

Не помню, как я заснул, как меня вытащили из-под стола и перенесли в кровать. И еще многого не помню, что случилось с тех пор. Да если б и помнил, вряд ли стал бы рассказывать. Разве то, что дед мой покоится в Штатах, на каком-то забытом Богом кладбище, похожем на захудалое ранчо, а девяностолетняя, выжившая из ума бабка оканчивает дни в американском доме престарелых, ни слова не понимая по-английски: «Пусть лучше сами русский учат, союзнички». Они уехали вскоре после развала СССР, вслед за дочерью, моей теткой, пожить как люди на старости лет.

Наутро штурмана уже не было. Я не запомнил ни его фамилии, ни имени-отчества, ни звания… лишь грустную рассеянную улыбку: «Это несерьезно».

КЛАВА-БЫЛИНКА

Посвящается детям —
героям Великой Отечественной войны

В селе над рекою, в счастливом покое,
Росла — подрастала девочка Клава.
И были у Клавы, что звали «былинкой»,
Кукла Матрешка и книжка в картинках.
Но вот в сорок первом земля задрожала
И в тучах свинцовых небо пропало…
По избам остались одни лишь старухи,
Дети малые, да хлеба краюхи.
Фашист на допросе твердил неустанно:
— Где партизаны? Где партизаны?
Молчали все трое: Клава-былинка,
Кукла-матрешка и книжка в картинках.
Затихли побои… Злодей просчитался!
Но вдруг в тишине той выстрел раздался!
Упали под вишню Клава-былинка,
Кукла матрешка и книжка в картинках
В селе над рекою, в счастливом покое,
Растут — подрастают другие герои.
Пусть в прошлом остались военные были,
Девочку Клаву они не забыли.

ДОМ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ

Был в Сталинграде дом обычный,
Но час войны, когда настал,
Стал бастионом дом кирпичный
И «Домом Павлова» он стал.
Почти два месяца сражался
Сержанта храбрый гарнизон,
И ни один солдат не сдался,
И не был смертью побежден!
Стреляли метко друг за другом
Грузин, татарин, белорус,
Под минометный вой и вьюгу
Прочней стал дружбы их союз,
В дыму атак, в минуту грусти
О клятве помнили они:
«Умрем, но мы врага не пустим!
За Волгой нет для нас земли!»

КРЫЛОВА-ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Ветеран Великой Отечественной войны. Член Союза российских писателей с 1998 г. Первая детская книжка Елены Ивановны «Кто лучше — Бобка или Трезор?» вышла в 1972 г. тиражом в 300 тыс. экземпляров. Всего ею издано более 20 сборников стихов для детей. В мае 2020 г. Елена Ивановна отметила 90-летие. Живет в г. Пятигорск.

Когда кончались все гранаты,
Бойцы срывали кирпичи,
И, подавляя боль утраты,
Дрались и утром, и в ночи,
Почти два месяца сражался
С фашисткой сворой гарнизон,
И ни один солдат не сдался,
И враг был смят и окружен!
Погибли многие в бою,
Но до последнего патрона
Спасали Родину свою
Гвардейцы гарнизона!

Анна ЛЕУН

СВЕЧА ЛИХОЛЕТЬЯ

Девятое мая! Парадные речи!..
А мама зажгла поминальные свечи.
«Непросто, — сказала, — давалась Победа,
Садитесь, ребятки, помянем мы деда.

Помянем всех тех, кто пожертвовал жизнью,
Кто голову честно сложил за Отчизну,
Кто выстрадал сердцем и боль, и тревоги,
И кровью омыл фронтовые дороги».

Концами платочка глаза промокнула,
Черемухи ветку к свечам повернула…
На скатерть осыпались снегом соцветья,
Заплакала воском свеча лихолетья.
Она разгоралась и память мостила,
А в зеркале времени — правда и сила.

ЛЕУН АННА ВАСИЛЬЕВНА родилась на станции Ксеньевская Забайкальского края. Автор нескольких поэтических сборников: «Пути надежд», «На островах моей мечты», «К теплому рассвету», «Остановите войны, люди!». Имеет публикации в местных, региональных и российских газетах, литературных альманахах и журналах. Член Союза российских писателей. Живет и работает в Белогорске Амурской области.

* * *

Наша опора —
наши бойцы
Наши мужчины,
наши отцы,
Деды и прадеды
в войнах, в дыму…
Высится памятник в каждом дому.
Память исчеркана.
Нужно ль писать?
Строчки истертые
в небо бросать…
Сильные, смелые,
в ниточку рот —
Память по полочкам
всех разберет.
Видим мы — высится
слава мужчин,
Тех, кто за нас
постоял, как один.
Тех, кто сегодня нас —
жен, матерей —
Встретит, проводит
до самых дверей.
Тихо прошепчет:
«Не бойся, я здесь!»
Всем вам спасибо за то,
что ВЫ ЕСТЬ!

ПОБЕДА!

Девятое мая — большая победа!
Победа ли это, вдруг шепчет нам зло.
Не помнишь ты, разве, контузию деда,
Не знаешь ты, сколько людей полегло?

Я помню, я знаю, и сердцем я тоже
В те дни возвращаюсь опять и опять,
И кажется мне, что мы так и не сможем
Все это осмыслить, прожить и понять.

Что делать с победой? Она нам досталась
Почти непомерной, высокой ценой.
Но в памяти нашей навеки осталось,
Как дедушка с фронта вернулся домой.

СУХОСТАВЕЦ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА. Поэтесса, автор книг для детей «Строптивая царевна», «Снежная история», «Мишка-Миша в лесу». Член Союза российских писателей. Живет и работает в Москве.

А кто не вернулся? Те пали, как листья…
Лишь время нам память о них принесет.
Что значила эта победа для павших?
Великое чудо, всей жизни зачет!

И мысль, словно выдох: «Мы пали недаром,
Не зная исхода войны наперед,
Мы шли Сталинградом, Москвой, Краснодаром
Мы верили в этот счастливый исход!»

Да разве для выживших правда другая?
Для тех, кто прошли и опалу, и бой…
Для них есть победа — девятое мая —
И нет, и не будет победы другой!

Мы годы считаем, мы души считаем,
Мы помним родных и друзей имена.
Мы подвиги их за столом вспоминаем,
Потомки тех судеб, чье имя «война».

Давайте же помнить и жить, не считая!
Для всех поколений, на все времена
Одна есть победа — девятое мая!
Один победитель — родная страна!

* * *

41 год
Ты глядишь тревожно,
Пристально и нежно.
Вздрогнул, как от вскрика,
Тронувшись, вагон.
Утро, тают звезды.
Таешь неизбежно
Ты в вишневом платье,
Люди и перрон.
43 год
Зашумит дубрава
Летом золотистым.
След их окаянный
Снегом занесет.
Снова встанет солнце,
Небо станет чистым,
Далеко уходит
Сорок первый год…
45 год
«Может быть, не в этом,
А в другом вагоне
Едет мой сыночек» —
Тихо шепчет мать —
«Может быть, не в этом…»
Людно на перроне —
Люди вышли воинов,
Выживших встречать.

МАЛЬЧИШКИ ИЗ ПОСЕЛКА СОКОЛ*

Над «Соколом» майским победный рассвет
раскалывает тишину...
Мальчишки, седые уже много лет,
опять вспоминают войну.

В поселке с названием «Сокол»
Никиты и Юры был дом.
С друзьями после уроков
сдавали металлолом,

сажали в садах деревья,
дарили девчонкам цветы...
Но черно-коричневой тенью
накрыли землю кресты.

Никита слыл парнем упрямым,
хотел музыкантом он стать,
в футбол выступал за «Динамо»,
водить научился ЗИС-5.

А Юра мечтал о полетах,
о летчиках книжки читал.
Он сам мастерил самолеты,
их в небо потом запускал.

В суровое, горькое время
их молодость расцвела.
Но драться мальчишки умели
и сила у них была.

Старлей штурмовик Юрий Зыков
набрал, как мечтал, высоту.
Но в небе геройски погиб он,
свою защищая мечту.

Сержант Шимановский Никита
в степях Украины лежит.
Сегодня ничто не забыто.
Сегодня никто не забыт.

.....

ТАМБОВЦЕВА-ШИРОКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА родилась в Москве в пос. «Сокол». Поэт, переводчик, публицист, журналист, филолог, специалист по стилистике современного русского языка. Автор многочисленных научных и публицистических статей. Стихи переведены на словацкий и французский языки. За переводческую и редакторскую работу награждена Медалью Союза словацких писателей. Член Союза писателей Москвы. Живет и работает в Москве.

Мои земляки, соколяне,
в сердечном цветенье весны
давайте все вместе помянем
всех мальчиков той войны!

Над «Соколом» майским победный рассвет
раскалывает тишину.
Мальчишек — защитников «Сокола» — нет.
Но мы вспоминаем войну.

В «Бессмертном полку» они снова в строю.
Их правнуки рядом идут.
И память о прадедах в мирном краю
к сердцам пробивает маршрут…

---

* Московский поселок «Сокол» — (основан в 1923 г.), пригород, оказавшийся через десятилетия почти в центре Москвы. В настоящее время — памятник градостроительства первых лет советской власти. Я родилась в этом поселке в семье доктора Александра Павловича Тамбовцева, участника Великой Отечественной войны — моего деда. Мой отец Валерий Александрович и дядя Дмитрий Александрович также были участниками Великой Отечественной войны — обороняли Москву.

Никита Антонович Шимановский (1924–1944) — друг детства моего отца Валерия Тамбовцева, сын художника Антона Борисовича Шимановского, чьи картины семья Тамбовцевых передала в музей поселка «Сокол». Никита увлекался игрой на фортепиано и резьбой по дереву, проявлял способности в спорте — в 1940 г. его по конкурсу приняли в молодежную футбольную команду «Динамо». В 1941 г., окончив 9-й класс школы № 149, он ушел добровольцем на фронт. После краткосрочных курсов попал на передовую в звании сержанта. Погиб Никита в 1944 г. в боях за освобождение Украины.

Юрий Николаевич Зыков (1926–1944) — учился в 149-й школе, одновременно занимаясь в Краснопресненском аэроклубе. Война застигла Юрия на Украине, в авиашколе, после окончания которой он был направлен на Сталинградский фронт. Был назначен командиром звена, потом командиром авиационной эскадрильи 59-го гвардейского штурмового авиационного полка. Воевал на самолете-штурмовике ИЛ-2 на Курской дуге. Совершил 196 боевых вылетов. 21 февраля 1944 г. в неравной схватке с девятью вражескими истребителями был смертельно ранен, но дотянул до аэродрома. За свои боевые подвиги Юрий Зыков был награжден двумя орденами Красного знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Сталинграда». Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно. В 1947 г. на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник летчику Юрию Николаевичу Зыкову.

* * *

Расскажи мне, дедушка, как ты воевал,
как громил фашистов и как в плен попал?
Как ходил в разведку, ранен в ногу был,
про своих товарищей, про фашистский тыл.
Ты же в Сталинграде был политруком,
поднимал в атаку, шел в Берлин пешком.
Расскажи, ты много видел на войне…
Но молчит могилка — звездочка над ней.
Если б знал ты, дедушка, как сейчас живем…
Главное: целехонек старенький твой дом.
Главное: весною расцветает сад,
что садил ты с бабушкой много лет назад.
Главное, что внуки у тебя дружны,
нет воров, злодеев среди всей родни.
Дедушка, эх, дедушка! — нет тебя родней!
Но молчит могилка — звездочка над ней.

* * *

При виде подлости я вижу Сталинград
глазами деда —и встаю в атаку.
Мне, как и деду, нет пути назад,
я должен выйти к вражескому танку
и обмануть врага, опередить на миг,
гранату бросить твердою рукою…
Войны давно ведь нет, но тот фашистский лик
мне, молодому, не дает покоя.
Весь помню путь, что прошагал мой дед
и, как мой дед, я в День Победы плачу.
Да будет так! Пройдут пусть сотни лет.
Я — сын России! — мне нельзя иначе.

ВОРОНОЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1962 году в п. Преображение Лазовского района Приморского края. Стал первым дальневосточным финалистом национальной детской литературной премии «Заветная мечта». Лауреат литературного конкурса «Национальное возрождение Руси». Лауреат Всемирной Энциклопедии Путешествий за статью «Сокровищница». Серебряная медаль Дальневосточной книжной ярмарки за книгу «Повесть о тигре». Член Союза российских писателей. Председатель Приморского регионального отделения СРП. Живет в Приморье в Лазовском районе в с. Лазо.

ЛЕНЬКА С КОРАБЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ

— Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога! — раздалось из репродуктора. Завыли сирены, гудки, паровозы.

Ленька с Павликом обходили четырехугольник своего двора. Во всех квартирах было темно. Но на третьем этаже из углового окна пробивался яркий луч света. Одним духом мальчишки взлетели на третий этаж и забарабанили кулаками в дверь. Раздались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, и из нее выглянула старушка.

— Свет, уберите свет! — закричали ребята.

— Какой свет?.. — недоуменно спросила старушка, но они уже не слушали. Отстранив старушку, быстро влетели в квартиру, подбежали к окну и плотно задернули маскировочную штору.

— Все, бабушка, теперь — порядок! — удовлетворенно сказал Павлик. — Смотрите же, закрывайте окна получше!

— Да я, милые, что?.. Я же вроде закрывала… — растерялась старушка.

— В следующий раз закрывайте окна плотнее! — строго сказал Ленька. — А не то будете отвечать по законам военного времени!

Выйдя во двор, ребята еще раз осмотрелись. Света нигде не было видно.

— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! — звучал из репродуктора тревожный голос.

— Айда наверх! — Ленька с Павликом бегом припустили по лестнице, которая вела на чердак. Быстро вылезли на крышу, где уже находились несколько дружинниц.

— Куда вас несет? Ну-ка, живо вниз! — напустилась на мальчишек строгая женщина с красной повязкой на рукаве. — Марш в убежище!

— Теть Тань! Мы только вот тут с краешку постоим, посмотрим, — заискивающе сказал Ленька.

— Нашел театр! Здесь опасно! — сказала женщина. Но тут заработали зенитки, прожекторы зашарили по небу, и женщина поспешно отошла.

Картина сверху открывалась красивая и жуткая. Над ночным городом метались лучи прожекторов. Бухали зенитки. Черная южная ночь освещалась вспышками взрывов. Где-то в районе Морского завода горело. Прожектора, скрестившись, ослепили и вели маленький самолетик. Еще яростней затараторили зенитки. Самолетик вспыхнул и стремительно понесся к земле.

— Ура! — закричали на крыше. Люди обнимались и смеялись от радости за наших зенитчиков, сбивших немецкий самолет.

Как и все севастопольские мальчишки, Павлик и Ленька прекрасно плавали. Несколько лет назад они познакомились в секции по прыжкам в воду на Водной станции. Познакомились и стали закадычными друзьями. Ленька жил на крутом склоне Воронцовой горы, в домике, к которому вели вырубленные в скале ступени. А Павлик — в центре города, на первом этаже красивого трехэтажного дома с колоннами. Учи-

---

ГОРДИЕНКО ТАМАРА МИТРОФАНОВНА родилась в 1949 г. Журналист. Член Союза писателей России, член Европейского Конгресса литераторов. Живет в г. Севастополь, на Проспекте Победы.

лись они в разных школах, но все свободное время проводили вместе. Когда началась война, Ленька почти каждую ночь был у Павлика. Ребята обходили двор, проверяя светомаскировку. Когда не было налетов, сидели на крыше, обхватив руками колени, говорили обо всем на свете: о знаменитых путешественниках, о летчиках, но чаще всего — о войне и о Тимуре.

Полтора года назад появилась книга писателя Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». История о волевом, целеустремленном мальчике Тимуре и его друзьях захватила всех школьников советской страны. Книгу зачитывали до дыр, одноименный фильм смотрели десятки раз. Тимур и его товарищи перестали быть книжными героями и стали реальными ребятами, на которых стремились походить все мальчишки. Организовывали отряды, выбирали вожака-лидера и делали то же, что и Тимур с его командой: помогали семьям красноармейцев.

Немудрено, что с началом войны тимуровское движение вспыхнуло с новой силой. Тимуровцы помогали тем, у кого отцы, мужья, сыновья были на фронте: покупали лекарства пожилым людям, носили им воду, продукты из магазина, убирали после бомбежек дворы от обломков и мусора. Ленька и Павлик были активными тимуровцами. С утра до ночи носились они по городу, опекая стариков и детей.

Но при этом Ленька был недоволен и часто говорил Павлику:

— Ерундой занимаемся!

— Мы же фронту помогаем! — обижался Павлик.

— Цацки это для лялек, а не помощь фронту, — яростно рубил воздух рукой Ленька. — В магазин да аптеку сбегать — это и малолетки могут. Нам бы стоящее дело!..

— Но Тимур же считал, что помощь слабым — это и есть стоящее дело…

— Когда Тимур свою команду создавал, был мир, а сейчас — война. И дела у нас другие должны быть. Важные! — стоял на своем Ленька.

— Но разве мы мало делаем?.. Бутылки пустые для горючей смеси собираем, щели для укрытий в скалках роем…

— А как ты думаешь, Тимур сейчас бутылки собирает? — с ехидцей перебил Ленька. — Он наверняка воюет. На фронт надо идти, Пашка!

— Да кто ж нас возьмет, Лень? Тимуру-то пятнадцать уже, а нам…

— Ничего, прибавим три года.

— Да, тебе просто говорить — ты вон какой длинный!.. А я маленький, кто мне поверит, что мне пятнадцать?.. Да в пятнадцать-то, Лень, тоже ж не берут — берут в восемнадцать.

— На фронт надо! — гнул свое Ленька.

Однажды вечером Ленька не смог придти к другу. На следующее утро, весело насвистывая, он отправился в центр. Но что это?.. На месте дома с колоннами высилась гора камней, досок и строительного мусора. Стояли санитарные машины, около них суетились люди в белых халатах.

— Мальчик, туда нельзя! — загородил Леньке дорогу милиционер.

— У меня там друг живет! Пустите! — закричал Ленька.

— Никто там уже не живет, мальчик! Иди домой…

— Прямое попадание! — сказал мужик в толпе. — Всех всмятку!

— Господи! — перекрестилась какая-то бабушка.

Три дня после гибели друга Ленька пролежал, повернувшись лицом к стене. Молча сотрясался от рыданий, стараясь, чтобы не услышала мать. У него больше не было друга, с которым можно было поделиться секретом, доверить самое сокровенное, тайное, что не расскажешь никому другому. Через три дня он встал с сухими глазами и с твердым решением: на фронт!

Его день был теперь расписан по часам. С утра Ленька ходил в школу помогать учительнице Варваре Афанасьевне. Математик Иван Петрович ушел на фронт, и на ней держалось целых пять классов. Вот Ленька и учил первоклашек выводить палочки: «толстая — волосяная», «толстая — волосяная». Потом несколько часов он долбил киркой скалу за домом, углубляя пещерку, в которой они с матерью прятались при налетах и обстрелах. После этого бежал в пошивочную бригаду, где женщины ремонтировали солдатское обмундирование. На дворе стояла сырая поздняя осень, надвигались холода, и женщины шили для фронта шапки-ушанки, рукавицы, вязали теплые носки и варежки. Он таскал тяжелые тюки с сукном, перематывал пряжу, приносил женщинам воду. И все время прислушивался к разговорам, когда же на фронт пойдет автомобильный обоз с теплой одеждой, книгами, подарками.

Дождался. Пошел к начальнику бригады просить, чтобы его взяли в обоз. Начальник посмотрел на Леньку с сомнением: совсем пацан еще, ему б за партой сидеть… Но, с другой стороны, на фронте сейчас тихо. А мальчишка крепкий, высокий, вон какие тяжести таскает в бригаде!.. Что ж, таскает тут, и в поездке пригодится: рук-то лишних нет, а кому-то ж надо разгружать-загружать машины. Фронтовиков об этом и просить совестно: они воюют.

День был морозный, небо обложено темно-серыми, тяжелыми тучами, поэтому выехали днем, не опасаясь налета, тремя машинами. Ленька ехал в кузове первой. Дорога была разбита, шоферы объезжали воронки от бомб, и качало, как в лодке. В ложбине остановились. Дальше ехать было опасно, дорога простреливалась. Старшая машины пошла вперед и скоро возвратилась с краснофлотцами. Начали таскать мешки с обмундированием и ящики с подарками в расположение батальона морской пехоты. Работали быстро, стремясь разгрузиться побыстрее. Ленька старался вовсю: закидывал мешок себе на спину и быстро тащил мимо часовых в землянку, сбрасывал наземь и снова бежал за следующим грузом. Когда разгрузка закончилась, матросы загрузив в машины обмундирование для починки, стали благодарить севастопольцев за помощь и подарки.

Ленька понял: пора.

Он юркнул в землянку, пролез к самой стене и присел за мешками.

Сидел долго. Слышал, как звала его старшая:

— Ленька!.. Леньку не видели?..

— Да где ему быть: натрудился пацан, спит где-нибудь в кузове. Поехали, — ответили ей.

Машины загудели. Все стихло. Ленька еще долго сидел, боясь, как бы за ним не вернулись. Замерз. Зарылся в мешки с одеждой и незаметно уснул.

Разбудил его свет, бьющий в лицо. Светили фонариком.

— А ну, вылезай! — приказал ему кто-то невидимый.

Ленька вылез, щурясь и заслоняясь руками от света.

— Кто такой? Откуда взялся?

— Ленька… Леонид Воробьев… Из Севастополя…

— А ну-ка, пошли к командиру. Посмотрим, какой ты Леонид Воробьев!

Выбравшись из землянки, некоторое время шли в полной темноте. Потом конвоир подтолкнул его в спину, и мальчишка влетел в блиндаж, где после ночной темноты ему показалось светло, как днем.

— Это что еще за явление? — недоуменно спросил военный во флотской форме.

— Товарищ командир, разрешите доложить! — вытянулся по стойке «смирно» Ленькин конвоир.

— Докладывай, Осипенко!

— Так что диверсанта обнаружил, товарищ командир! Мы с ребятами пошли в землянку мешки забирать. Почти половину разнесли по ротам, когда слышу: сопит кто-то. Посветил фонариком — а он лежит, разоспался!.. Это тот малец, что с шефами нашими приезжал.

— Кто такой? — строго спросил командир Леньку.

— Леонид Воробьев! — вытянувшись и держа руки по швам, по-военному четко отчеканил Ленька. — Из Севастополя!

— Ну, откуда ты взялся, я понял. Все видели, как ты мешки таскал. А вот что здесь делаешь? Ваши же уехали. Только не ври, что случайно заснул. На фронт удрал?

— Удрал! — признался Ленька. — Я, товарищ командир, давно хотел на фронт, только меня в военкомате не взяли.

— Правильно сделали, что не взяли, — кивнул командир. — Рано еще. Лет тебе сколько?

— Пятнадцать! — самым честным голосом сказал Ленька.

— Врешь, — уверенно сказал командир. — Годика три прибавил, небось?

— Вот честное пионерское!..— начал Ленька и осекся.

Все засмеялись.

— Ну, все ясно, пионер, — сказал командир. — И что прикажешь с тобой делать? Обратно отправить?

— Товарищ командир, не отправляйте меня в Севастополь! — срывающимся голосом попросил Ленька. — Я воевать хочу!.. У меня друга убило бомбой!.. Я их ненавижу!.. Я поклялся!.. Я полезный, я много чего могу: кашу варить, обувь чинить… Я все буду делать, что прикажете! А в тыл отправите, все равно на фронт сбегу, — тихо добавил Ленька.

— И сбежит ведь, — вздохнул командир. — А мать тебе не жалко?

— Да она в подземных штольнях круглые сутки. Работает там, там же и ночует…

— Ладно, пока из Севастополя снова обоз не придет, побудешь у нас. Алексей!..

— Я, товарищ капитан! — отозвался молодцеватый краснофлотец. До этой минуты он молча сидел в углу, и Ленька заметил его только сейчас.

— Значит так: подбери обмундирование пацану, — приказал командир, — сапоги его размера.

— И бескозырку, — несмело попросил Ленька.

— Да, и бескозырку. Будет у меня вторым ординарцем, обучишь его. За пацана отвечаешь лично!

— Есть, товарищ капитан, — козырнул Алексей.

Ленька быстро освоился в роли ординарца. Заправлял койку, наводил порядок в блиндаже, с полевой кухни, которую моряки называли камбузом, приносил еду для капитана Линкова. А еще ординарец Алексей Чапин учил его обращаться с оружием. Начали с винтовки-трехлинейки. Правда, почти сразу же выяснилось, что трехлинейка для Леньки и велика, и тяжела. Попробовал пострелять — отдача была такая, что несколько дней болело плечо. Видя это, Алексей, с разрешения капитана Линкова, научил Леньку чистить и смазывать автомат ППШ.

— Учись, — сказал ординарец. — В тылу или на фронте, а пригодится. Мы ж тоже не всегда в атаку ходили, с потопленных кораблей на берег пошли воевать. Немцы, знаешь, как нас боятся? «Черной смертью» прозвали. Мы как двинем в атаку, как гаркнем: «Полундра, фрицы! Матросы идут!..», так они от нас драпают, аж пятки сверкают!..

Из присланных подарков капитан Линков отобрал себе книгу. Нахмурившись, молча пробежал глазами записку, вложенную в нее, потом прочитал ее вслух.

— «Дорогой боец! У меня на войне убили папу. Отомсти за него! Катя».

Теперь каждый день капитан Линков листал книгу, Ленька обратил внимание, что он часто перечитывает одни и те же страницы. Заметив Ленькин интерес, капитан Линков сказал:

— Обязательно почитай. Интересная книжка. Про то, как двадцать лет назад беспризорники жили.

— А вы беспризорников встречали?

— Доводилось, — односложно ответил капитан Линков.

Степан Афанасьевич привязался к Леньке. Расспросил его о семье, о довоенной жизни, поинтересовался, в какую школу ходил. А узнав, что первую Ленькину учительницу зовут Варвара Афанасьевна, долго чему-то улыбался, и улыбка у товарища капитана была светлая. Леньке пришло в голову, что у Варвары Афанасьевны и Степана Афанасьевича одинаковая фамилия: Линковы. Может, родственники, подумал Ленька, но спросить постеснялся, а потом забыл.

Его занимало и тревожило другое. Через две недели должен был придти очередной автомобильный обоз из Севастополя. Оставит ли капитан Линков его, Леньку, у себя? Или отправит в тыл?..

Утром семнадцатого декабря началась мощная канонада. Черной тучей налетели немецкие самолеты. Леньке казалось, что он оглох от воя бомб и мощных разрывов снарядов. Капитан глядел на Леньку с досадой: эх, не успел отправить в тыл! От взрывов земля ухала и вздыхала, как живая. Блиндаж трясло.

Капитан Линков четко отдавал приказы по телефону, отсылал на дальние участки связных, принимал доклады. Потом, покричав в трубку, выругался и отправил связистов чинить связь, а сам ушел с ординарцем.

Спустя некоторое время, они ввалились в блиндаж, грязные, в земле и саже. Капитан подсел к столику и что-то быстро написал на листке бумаги.

Подозвал к себе Леньку.

— Ну, Леонид Воробьев, севастополец, слушай внимательно! Пойдешь в город! К любому часовому подойдешь, скажешь, откуда пришел, и что тебе нужно в штаб обороны. Тебя отведут.

— А если мне не поверят?

— Покажешь эту записку — поверят. А на словах передашь, что немцы нас обошли, окружают, боеприпасы на исходе. Связи с городом нет. Посылаю тебя, Ленька, потому что взрослый не пройдет, а ты сможешь. Флотское сними, надень гражданскую одежду. Если наткнешься на немцев, — ври, что местный.

— Я скажу, что козу потерял, — сказал Ленька.

— Хорошо. Оружие не даю. А на самый крайний случай, вот тебе граната-лимонка. На самый крайний! — подчеркнул капитан Линков

Ленька быстро натянул штаны, влез в грязный, дырявый ватник, надел старую шапку. Записку засунул в башмак под стельку, лимонку положил во внутренний карман ватника слева. Одежда болталась на нем, и от этого Ленька казался тщедушным мальчишкой.

— Все понял, Ленька?

— Все, товарищ капитан!

— Ну, иди, сынок! Будем живы — свидимся!

Казалось, что вокруг не осталось ничего живого. Высота, на которой стоял блиндаж, была вздыблена снарядами. Все горело и дымилось, не чувствовался даже декабрьский мороз. Снизу из лощины, стреляя из автоматов, на их высоту шла цепь немцев. Наши не стреляли, выжидая.

В метре от Леньки лежал присыпанный землей убитый краснофлотец.

Ленька опустил уши в шапке и, пригибаясь, побежал в сторону города.

На немцев он напоролся через полчаса, когда уже отошел далеко от наших позиций и двигался по кромке обрыва, поросшего густым кустарником.

— Хальт! — прозвучал резкий окрик. Ленька застыл на месте, съежился, став сразу меньше ростом.

Немцев было трое.

— Ком цу мир! — один из немцев повел автоматом к себе.

Ленька понял и медленно стал подходить к немцам.

— Дяденьки, я козу ищу. Дунька у меня заблукала, коза… — плачущим голосом заныл Ленька.

Страха не было, только что-то противно сжалось под ложечкой. А вот слезы текли настоящие. Ленька, подвывая, размазывал их грязными руками по лицу.

— Не пришла домой, проклятущая, ищу ее, ищу… Мамка меня прибьет, если не найду… — плакал он, прижимая руки к груди.

Немцы переговорили о чем-то между собой, и тот, первый, сделал движение автоматом: вэк!

Леньку не пришлось уговаривать дважды. Он повернулся и, стараясь не бежать, пошел прочь, чувствуя спиной наставленный на него автомат.

Как вдруг:

— Цурюк! — раздалось сзади.

Ленька медленно-медленно вытянул гранату из ватника и повернулся к немцам… Немец повелительно манил рукой Леньку к себе. Рывком Ленька выдернул чеку, неловко, не размахиваясь, кинул ее в сторону немцев и в ту же секунду сиганул с обрыва. Вслед ему раздалась автоматная очередь, заглушенная взрывом.

До колотья в легких Ленька ломился через кусты, как можно дальше от того места. Он опасался погони, Если немцы уцелели, им ничего не стоило его догнать. И Ленька бежал, бежал, бежал, пока не свалился без сил на землю.

Только тут он увидел, что левый рукав ватника весь пропитан кровью.

Оторвав от подола рубашки длинную полосу, он, как смог, перетянул руку. Отдышавшись, встал и пошел. Саднило лицо, ободранное ветками кустов. Наваливалась дурнота, хотелось спать. Ленька падал, вставал и шел дальше.

Впереди было еще три с половиной года войны.

Леньку Воробьева ожидал госпиталь, эвакуация на Большую Землю, работа на заводе наравне со взрослыми. В сорок пятом, по спецнабору, он поступил в Высшее Военно-морское училище. И только через несколько лет вернулся служить в родной город.

Но свое будущее знать никому не дано.

И сейчас, временами теряя сознание от потери крови, Ленька упорно брел в город за помощью…

Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН

ДЕД АРСЕН...ИЙ

Ноги еле шли. Голова гудела. Глаза закрывались. Как все-таки утомляет большой город, да еще чужой… Нет, он всегда любил по грибы да по ягоды ходить. И расстояния там немаленькие. Но то лес, трава да земля живая под ногами. А тут? Бетон, асфальт, железо! И шум, непрекращающийся гул большого города. Хорошо хоть, ему скоро уезжать. Дела в столице уже закончены, и через денек-другой — домой. В городок, где лес и горы начинаются в конце улицы и во всем городке всего парочка пятиэтажек. Да и они лишние.

Хорошо хоть, на пути попалась скамеечка, и главное, такая удобная, считай, полулежа можно устроиться.

Со вздохом облегчения Артур буквально упал на нее. По телу разлилась нега расслабления.

Он закрыл глаза. Шум большого города вперемешку с шелестом листвы усыплял. Удобное ложе скамейки способствовало этому. Он бы и действительно заснул, но чей-то голос заставил его открыть глаза.

— Ты чего это здесь, пишешь, что опаздываешь, а сам дрыхнешь на скамейке? — услышал он голос.

— Ничего, — растерянно ответил Артур, разглядывая незнакомого мужика.

— Димон, где ж ты так умаялся, что на скамейке засыпаешь? — продолжал незнакомец.

— Димон? — переспросил Артур.

— И что за прикид на тебе, гардероб когда сменил? — усмехнулся мужик, — да ты бухал всю ночь, может статься, на этой самой скамейке.

— Я не Димон, — смог, наконец, ответить Артур, — вы ошиблись.

— Я вам не Димон, ну да, конечно, — хохотнул незнакомец и потормошил Артура за плечо, — подымайся, алкоголик.

— Вы ошиблись, — пытаясь приподняться со скамейки, повторил он.

— Дааа, знатно, видать, ты гульнул вчера, и главное, не позвал никого, куркуль, — нахмурился незнакомец.

Артур никак не мог понять, чего этот человек пристал к нему. Ему даже показалось, что это сон, и он протер ладонью глаза. Но тот не исчезал.

— Сань, с кем ты тут? — из-за спины незнакомца показалось очень знакомое Артуру лицо.

— Не понял, — лицо незнакомца вдруг вытянулось от удивления.

— Ну, блин, — подошедший удивился не меньше.

Из-за спины мужика, оказавшегося Саней, на Артура смотрел… Артур. Да, этот человек был его полной копией. Глаза, уши, нос. Все! Артур смотрел на вновь подошедшего, словно на себя самого в зеркало. Все трое замолкли, не в силах произнести ни слова. Первым тишину прервал Саня.

— Неслабо гульнул ваш папаша, — усмехнулся он.

— Во блин, — выдохнул Артур

— Димон, ты это, не молчи, звук подай, — ехидно продолжил Санек.

ЗИРИХГЕРАН АХМЕДХАН. Родился в 1976 г. в г. Махачкала. Финалист Волошинского конкурса. Член Союза российских писателей. Живет в Республике Дагестан, в с. Кубачи.

— Да не похож он на меня, ни в коем разе, — прорвало наконец мужчину, так похожего на Артура.

— Ну, так прям и ни в коем, — усмехнулся Санек, — видать, я глазами плох стал, пойду очки заказывать.

— Да мой отец не бывал тут, — пробормотал Артур, — всю жизнь безвыездно дома, это просто сходство.

— Ну, значится, не отец гульнул, ну чо, бывает и так, — осклабился Санек, — дело житейское.

— Ты что сказал? — воскликнул Артур и, приподнявшись, схватил Санька за ворот куртки.

— Тих, тих, пацаны, — между Артуром и Саньком быстро влез Дима, — ну неудачная шутка, все, успокоились.

— Бывает, — Артур, отпустив Санька, улыбнулся.

— Ты эт, не серчай, братан, — улыбнулся в ответ Санек, — такое ж раз в жизни бывает, копия.

— Удивительно, а ведь действительно копия, — внимательно разглядывая Артура, произнес Димон.

— А ну-ка, станьте рядом, сфоткаю вас, — Санек вытащил из кармана телефон, — вы ж как близнецы.

— Как в зеркало глядишь, — согласился Артур, становясь рядом с Димой.

— Удивительное рядом, — Дима внимательно рассматривал Артура.

— Да вас в роддоме разлучили, — Санек не мог без своих предположений.

— Бывает же такое, копия, давай знакомиться, раз тут такое, меня Дима, вот, — не прекращая рассматривать Артура, сказал Дима.

— Ну, пацаны, смотрите сюда, фоткаю же, — потребовал Санек.

— Артур, — представился Артур и протянул руку.

— Дима, — сжал тот в рукопожатии ладонь Артура.

— Артур львиное сердце, — Санек был в ударе, — близнецы, это дело надо обмыть.

— Тебе лишь бы принять, — усмехнулся Дима, — львиным сердцем был Ричард, вообще-то.

— Так выходной же, — напирал Санек, не обращая внимания на подколки, — тем более, что и за знакомство, уже два повода в наличии.

— Дело в том, что я не местный, у меня дела, и потом, мне ехать надо, — попытался было увильнуть Артур.

— Тем более! — воскликнул Санек, — надо ловить момент.

Не прошло и получаса, как они сидели за столом с потными бокалами пива. Всю дорогу Санек то и дело фотографировал Диму и Артура, сразу же рассылая им фотографии в мессенджере. И успокоился только при виде пузатых, с пенной шапкой сверху бокалов.

— Ну не может же быть так, чтобы не было у вас общей крови, — отхлебнув пивка, с серьезным видом произнес Санек.

— Я всю жизнь на Кавказе живу, — ответил Артур, — какая общая кровь.

— А я хоть сейчас в Москве, но все предки вятские да костромские, далековато получается, — согласился Дима.

— А может, твой предок в кавказскую войну в плен попал да там и остался, — раскручивал свою версию Санек, — я читал о таких случаях.

— Да, бывало такое, я тоже читал, — согласился Артур, — ну это, Дима, тебе надо в родословной покопаться.

— Пусть будет так, — улыбнулся Дима, — кто ж его знает, что там было-то, двести лет назад.

Опустошая бокал за бокалом и обсуждая все новые и новые версии столь феноменального сходства, они сидели почти до ночи. Был вечер пятницы. Впереди был выходной. Торопиться всем троим было некуда.

* * *

Яркие лучи солнца слепили. Артур прикрыл глаза рукой и попытался приподняться. Голова гудела, все вокруг кружилось и покачивалось. Сделав усилие над собой, Артур приподнялся. Он был в незнакомой комнате. Рядом, похрапывая, кто-то спал.

— Эй, — промычал Артур, толкнув спящего.

Но тот продолжал похрапывать.

— Эй, ты кто? — повторил Артур и потормошил спящего за плечо.

Спящий повернул голову, посмотрел по сторонам ничего не понимающими глазами и, закрыв глаза, захрапел вновь. Спящий был копией Артура. И тут он вспомнил. Вспомнил вчерашнюю встречу и вечер в кафе.

— Дима, где мы? — Артур попытался разбудить Диму. Но не тут-то было. Видать, поддал он вчера крепко. Впрочем, и Артур не помнил, как все закончилось и как он попал сюда.

В горле пересохло. Артур, покачиваясь, пошел искать кухню. В квартире никого не было. В полупустом холодильнике Артур обнаружил непочатую бутылку пива. Это было то, что нужно. Половину бутылки Артур выпил залпом, вторую же половину решил оставить Диме. Все так же покачиваясь, он направился обратно в комнату. По пути Артур обо что-то споткнулся и чуть не упал, зацепив рукой висящую на стене рамку с фотографиями. К счастью, он поймал ее на лету.

— Уффф, — выдохнул Артур, рассматривая затейливую рамку с вырезанными от руки узорами. Рамка была старая, большая, с множеством фотографий. Похожая была и у него дома. Усевшись на полу поудобнее, Артур принялся разглядывать фотографии. Фотографии были старые, черно-белые. Артур уже собрался было повесить рамку на место, как его внимание привлекло фото в правом нижнем углу. На нем были изображены трое молодых мужчин. Один в светлом костюме, другой в темном, и третий в клетчатой рубашке. Что-то в этой фотографии показалось Артуру знакомым.

— Вот это да, — прошептал он, с фоторамкой в одной руке и бутылкой пива в другой отправился будить Диму.

— Пиво, пивкооо, — Дима очнулся после немалых усилий, и только после того, как, едва приоткрыв глаза, увидел бутылку пива в руках у Артура.

— Маловато, конечно, — улыбнулся Артур, — но у тебя в холодильнике больше нет.

— Это не беда, сгоняем, не проблема, — бормотал Дима.

— Дима, это кто? — Артур положил перед ним фоторамку.

— Предки мои, — ответил Дима.

— Это понятно, — кивнул Артур и ткнул пальцем на мужика в белом костюме, — а это кто?

— Дед, — выдохнул Дима, и закрыл глаза.

Артур не стал его будить. Он не мог поверить своим ушам. Только что Дима назвал его деда своим дедом. А может, это просто похожие фотографии? Артур достал из кармана телефон и набрал жене. И попросил ее сфотографировать именно эту фотографию, висящую у них дома. В почти такой же, самодельной, резной фоторамке. Сделанной, как говорила ему бабушка, самим дедушкой. Правда, Артур его никогда не видел. Дед пропал без вести. На фронте.

Вскоре жена прислала фотографию. Сомнений не было. Это была одна и та же фотография. И изображены на ней были три родных брата. Тот, что в черном костюме, тоже был на фронте. Вернулся без ступней на обеих ногах. Младший же, тот, что в рубашке, на фронте не был. Не успел.

И вот, спустя столько десятилетий, он, Артур, его внук, находит фотографию деда и его братьев в квартире человека, как две капли воды по-

хожего на него. И этот человек, Дима, говорит, что это и его дед. Дед Артура, пропавший без вести.

— Славно мы вчера подняли градус, — услышал Артур за спиной голос Димы.

— Дима, а твоего деда как звали? — не оборачиваясь, спросил Артур.

— Арсений, — ответил Дима, — ты чего это дедом-то заинтересовался?

— А он с фронта вернулся? — у Артура было много вопросов.

— Да, он недавно умер, до девяноста дожил, — полусонным голосом ответил Дима, — он вот тут еще, на нескольких фото, послевоенных.

— А моего деда звали Арсен, — усмехнулся Артур.

— Давай так, близнюха, — Дима, опершись рукой на плечо Артура, встал, — дай в себя прийти, а уж потом расследования устраивай, Агатакристи!

Вдвоем, ловя на себе удивленные взгляды соседей, они отправились вниз, в магазинчик. Взяли себе пива и перекус и поднялись обратно.

— Теперь спрашивай, — улыбнулся Дима, усевшись за столом в уютной кухоньке, — голову полечил маленько, вроде соображает.

— У твоего деда братья были? — вопросы у Артура были уже заготовлены.

— Не, он говорил, погибли все, — Дима показал пальцем на фотографию.

— А откуда он, не говорил? — Артур давно протрезвел.

— Говорил, что из казаков, — попивая пивко, отвечал Дима.

— Поэтому и темненький? — предположил Артур.

— После войны, как дедушка говорил, он приехал в Ярославль, начинать все с нуля, так как все у него погибли, осталась только одна эта фотография, — голос Димы стал серьезным.

— Смотри, — Артур протянул Диме телефон с фотографией почти такой же фоторамки, где, среди нескольких других, в верхнем углу было точно такое же фото.

— Офигеть, и рамка почти такая же, — произнес Дима и выронил, к счастью, уже пустую бутылку пива из рук.

Бутылка, упав на кафельный пол кухни, с грохотом разлетелась на множество осколков.

* * *

С этого дня жизнь Артура и Димы изменилась. Осознание того, что их дед, который для Артура был пропавшим без вести, а для Димы любимым человеком, фронтовиком, чьи боевые награды и сейчас хранились дома, лишило обоих покоя. Сдав ДНК-анализ и убедившись в своем кровном родстве, Артур и Дима отправились на родину Артура. Ведь младший брат деда, тот, что на фото был самым молодым, в рубашке, был жив. И никто кроме него не мог им рассказать о деде больше. Все это время весельчак и балагур Санька оставался в неведении. На все его вопросы, которые он задавал Диме по телефону, тот практически не отвечал. Слишком много у него самого было вопросов и не было ответов. Но Санек был настойчив, и наконец-то смог поймать их обоих, дабы удовлетворить свое любопытство.

* * *

— Ну пацаны, вы ващеее, — раскрасневшееся лицо Санька расплылось в улыбке, — особенно ты, Димон.

— Так сложилось, Сань, — виновато улыбнулся Дима.

— Отмазки не катят, — безапелляционно заявил Санек, — рассказывайте.

— В общем, ты был прав, — вздохнул Артур, — есть у нас общая кровь.

— А еще спорили, — Санек был доволен, — в драку лезли.

— Я и сам долго поверить не мог, — отхлебнув пива, произнес Дима, — у нас общий дед.

— Помню, помню деда твоего, неулыбчивый был мужик, — Санек нахмурил лицо, вскинул брови и согнулся, изображая деда.

— Было что скрывать ему, — нахмурился Артур, — дезертировал он.

— Ну, тут ты не прав, — запротестовал Дима, — он же до сорок шестого года служил, а то, что он от вас ушел, это как-то по-другому называется.

— Ну-ка, ну-ка, — насторожился Санек.

— Мутная история, — пробурчал Артур.

Они сидели опять за тем же столиком, что и месяц назад. Как и в прошлый раз, притащил их всех сюда Санек. Весьма раздосадованный тем, что с того самого дня, когда он, совершенно случайно, встретил Артура, не видел их обоих. Все было как тогда, такие же пузатые бокалы, тот же самый столик.

— Наш дед с фронта не вернулся к своей семье, — положив руку на плечо Артура, сказал Дима.

— Ну, эт бывало, — согласился Санек, — что там солдаты, маршалы с фронта с новыми женами приезжали, или не приезжали, оставались с новыми бабами.

— Тут другое, — так же мрачно произнес Артур и потянулся за бокалом.

— Наш с фронта никого не привозил и ни у кого не оставался, — продолжил Дима, — он с бабушкой познакомился после войны уже, бабушка приехала на учебу в Ярик, там и познакомились они.

— А как его в Ярик-то занесло, ежели он с Кавказа, оказывается? — удивился Санек.

— Спрашивать поздно, — усмехнулся Артур.

— Мы спросили, — Дима внимательно посмотрел на Артура, — младшего брата деда.

— В общем, тут дело житейское, — продолжил Артур, — дед мою бабку не любил, потому и сделал ноги.

— А развестись? — наивно спросил Санек.

— У нас и сейчас развод дело тяжкое, а уж тогда, — усмехнулся Артур, — брат деда говорил, что жениться на ней он не хотел, но заставили, мол, из хорошей семьи, и все такое.

— Загнали за Можай мужика, эх, — Санька в сердцах ударил ладонью по столу.

— И дед, по словам его брата, говорил, что если уедет по какому-либо поводу, то уже не вернется, — голос Димы был полон грусти.

— А ты его, брата этого, где видал? — спросил Санек.

Все трое замолчали. Санек ждал ответа, а Артур и Дима посматривали друг на друга, словно решая, кому рассказывать дальше.

— Да ездили мы туда, — продолжил Дима.

— Так вот где ты пропадал, и главное, не говоришь ничего, в молчанку играешь, — обиженно произнес Санек.

— Представь, уехал он один, а вернулись двое из ларца, одинаковы с лица, — Дима сделал вид, что не заметил обиды в голосе Санька.

— Я представил, — расхохотался Санек, — уехал один джигит, вернулось два.

— Клонирование не миф, а реальность, — повеселел Артур, — Диму за меня принимали и удивлялись, что голос другой, акцент.

— Уехать не успел, а уже говоришь, как москвич, прицепился один сосед там, — смеясь, рассказывал Дима, — и тут подходит Артур, так сосед чуть коньки не отбросил.

— Мама на отца наехала сходу, — смеялся Артур, — мол, это что такое, нагулял, кобель.

— Эх, жаль, меня там не было, — хохотал в голос Санек, — бедный твой отец, тут и поседеть можно.

— Мы разъяснили ей, что это не он, что это до него, — смеялся Дима.

— Хорошо хоть папа у меня домосед, никуда не выезжал из города считай всю жизнь, а то бы не поверила, — вспоминал Артур.

— Да-да, с бабами опасно в этом вопросе, — согласился Санек, вытирая выступившие от смеха слезы.

Какое-то время Артур молчал, словно пытаясь отделить все эти веселые воспоминания от поездки. Он пытался сконцентрироваться на том, что его волновало больше всего на данный момент.

— В общем, как началась война, он сразу отправился в военкомат, — Артур стал серьезнее.

— И взял с собой только одно фото, где три брата, ни жены, ни сына фото не взял, — продолжил Дима.

— Покажите, — попросил Санек.

— Увидев это фото, я и понял все, — добавил Артур, вытаскивая фотографию, — единственное одинаковое фото у нас.

— Твой-то в белом костюме, узнал я его, — Санек внимательно разглядывал фото, что протянул ему Дима, — у какой-то конторы стоят.

— Нар-ком-со-бес, — по слогам прочитал Дима, внимательно вглядываясь в фотографию.

— Старший брат деда там работал, — пояснил Артур, — и до войны, и после.

— Наркотики совершенно бесплатно, — Санек расшифровал название в своем стиле.

— Наркомат социального обеспечения, — усмехнулся Дима.

— И через полгода пропал он без вести, — Артур был серьезен.

— Но до конца войны-то еще ого-го, — воскликнул Санек.

— В этом-то все и дело, — нахмурился Дима.

— Мы дали запрос в архивы, — продолжал Артур, — в одной части с дедом служил Арсений.

— Арсен и Арсений служили вместе, в одной части, — продолжил Дима.

— Да ну, — нахмурился Санек.

— Арсен стал Арсением, — Артур нервно поглаживал лоб.

— Я думаю, что Арсений погиб, а Арсен просто взял его документы, — дополнил Дима.

— Заменил, — Санек хлопнул ладонью по столу, — начал новую жизнь.

— Арсений был сирота, детдомовский, не женатый, — рассказывал Дима.

— Поэтому он его и выбрал, поэтому мог и *спецом*, его, того, — глухо произнес Артур.

— Не мог он, не мог, — не согласился Дима, — я его всю жизнь знал, не верю я.

— Дык это ж сорок первый год, сами знаете, что творилось, могло и убить его, не обвиняй деда своего так сразу, — поддержал Диму Санек.

— Слишком удобно все получается, — не согласился Артур, — он хотел начать новую жизнь, а тут рядом сирота, имена похожи, внешне тоже, наверное, и тут хоп, подарок, убивают его, да так, что никто не видит подмены.

— Дааа, уж, — засомневался Санек, — трудно сказать, что да как.

— Не верю, не верю, — из глаз Димы катились слезы.

Ошеломленный Санек смотрел на плачущего друга. С его лица сползла вечная полуулыбка. Он явно не ожидал такого оборота дела. Он, похоже, понял, почему все это время ни Дима, ни Артур не хотели ничего рассказывать.

— Жену-то ладно, но он и сына-то не вспомнил ни разу за все годы, — с каким-то ожесточением продолжил Артур, — холодное сердце у него было, поэтому я верю.

— Артур, не суди строго деда своего, все мы слабы, — Санек пытался найти подходящие слова, — он хотел уйти от прежней жизни.

— Ты же видел его ордена и медали, — Дима смотрел на Артура, — он после этого всю войну прошел, четыре ранения.

— Если так посмотреть, то да, не получается из него ни дезертира, ни труса, — рассудил Санек.

— Наверное, даже хорошо, что его уже нет, — вздохнул Артур, — я бы замучил его вопросами.

— Судьба — она такая штука, знает, что да как делать, столкнула вас только после его ухода, — кивнул Санек.

— А старший брат деда всю жизнь вспоминал его, искал, место гибели хотел найти, — покачал головой Артур.

— Он тоже воевал, — пояснил Дима, — ступни ему оторвало, показали мне его ботинки, деревянные, и только для обрубка отверстие.

— Он говорил, что ему повезло, — улыбнулся Артур, — только ступни оторвало, кто не знал — и не замечал этого, ходил как все, весельчак был.

— Да, повезло, — согласился Санек, — живой остался, почти целый, считай.

— И главное, брат деда никогда не рассказывал, что дед говорил ему, что не вернется, если уедет, — продолжал Артур, — боялся, что все поймут, что да как.

— Он мне сказал, — Дима внимательно смотрел на Артура, — что почему-то верил, что Арсен не погиб.

— Я слышал, — кивнул Артур, — он всегда говорил, что пропал без вести еще не значит, что погиб.

— Понимаю я тебя, — обратился Санек к Артуру, — обидно тебе, что бросил вас дед.

— Я не из-за этого, — ответил Артур, — не отпускает меня мысль, что дед мог товарища своего жизни лишить, сироту, ради своей свободы.

— Мы никогда этого не узнаем, — нахмурился Дима, — про войну он мало говорил.

— И главное, постарался подальше уехать, — не мог остановиться Артур, — в Москве кто-нибудь мог и заметить, мало ли что, хитрый какой.

— Да, он в Москву категорически ехать не хотел, — подтвердил Дима, — не люблю этот город, говорил, и только в старости его смогли уговорить.

— Заныкался, — согласился Санек, — вообще, тогда ему в Сибирь надо было.

— Начал новую жизнь, — Артур скривил губы.

— Забудь, — Санек приобнял Артура.

— Прости его, — Дима тоже обнял Артура.

— Давайте беленькой, за упокой его души, — предложил Санек, — да простятся ему грехи его, и не нам судить, что да как.

— Давай, — согласился Дима.

— Бог, наверное, простит, — кивнул Артур, — наливай!

— Да уж, история, — вздохнул Санек.

Они молча шли по ночному городу. Слов не было. Как не было и хмеля в голове, несмотря на количество выпитого. Шли, пока совершенно случайно не набрели на ту самую скамейку, с которой и началось их знакомство. Засмеявшись, все трое уютно устроились полулежа. Впереди была теплая летняя ночь, и торопиться, им было некуда.

НАВСТРЕЧУ ЛЕТЯЩЕЙ БОМБЕ

Сказ о брате

Ещё одна удивительная история. Удивительная для нашего времени – рядовая для войны.

Юноше, о котором речь, в начале войны шёл 17-й год. Железнодорожником он стал 16 июня 1941 года, когда был аттестован на старшего кондуктора (оценки — все «отлично») и на следующий день приступил к работе. А через пять дней страна ударила в набат…

Враг стремительно приближался к его Унече, это железнодорожный узел между Гомелем и Брянском. И на 15 августа объявили эвакуацию работников узла.

Перед отправкой он побывал в родном селе. Отец сказал ему: «Миша, может, не поедешь? Оставайся. Ты ещё слишком молод. Я тебя обучу кузнечному делу».

«Нет, папа, не могу. Меня ждут».

Отца на фронт заберут позже. А пока на деревенский двор в этот жаркий августовский день провожать Мишу вышла вся семья — и родители, и пятеро младших братьев и сестёр, мал мала меньше. Старшей, Настеньке, было 12 лет, младшему, Шурке — шёл пятый месяц. Он сидел на руках у матери.

Миша обнялся с отцом. Подошёл к матери: «Прощай, мама». И Елена Моисеевна вздрогнула и заплакала: впервые приёмный сын назвал мачеху мамой. Ведь Мишина родная мать умерла, когда ему было всего 8 месяцев. Миша подошёл к каждому из братьев и сестёр, погладил по головам, поцеловал. Последним был грудной несмышлёныш Шурка.

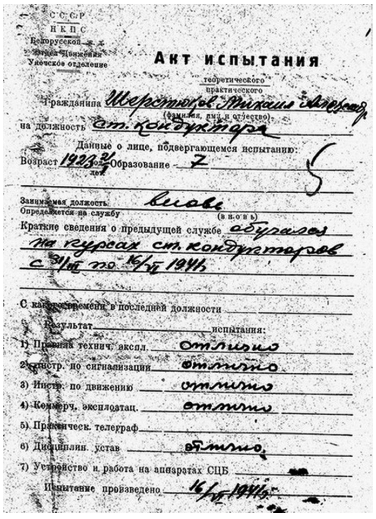
Повернулся, словно по команде «Кру-у-гом!», и пошёл. Но, сделав пару шагов, остановился. Подошёл к отцу. «На, папа, тебе мою шинель (железнодорожную)!» — «Как? Ведь шинель тебе самому нужна!» — «Тебе нужней. Сошьёшь себе пиджак».

И пошагал к местному поезду.

Миша ушёл в вечность.

Была оккупация, целых два года с хвостиком — о нём ничего не было известно. Изгнали фашистов — по-прежнему вестей никаких. Кроме одной. Пришёл на короткую побывку раненый фронтовик сосед Степан, рассказал: «Я вашего Мишу видел. Под Москвой, на обороне столицы. На

ШЕРСТЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1941 г. в с. Пятовск, край Стародубье, Брянщина. Окончил горный техникум в Донбассе, МВТУ им. Н. Э. Баумана. Трудовая деятельность: в шахтах, оборонных НИИ, издательствах. Автор нескольких книг стихов, малой прозы, словаря «Говор Стародубья», краеведческой книги «Зеленая ветвь Москвы», многих публикаций в периодике. Член Союза писателей России (2000), Союза журналистов России. Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (2015). Живет в Москве.



СССР
НКПС
Белорусская ж. д.
Отдел движения
Унечское отделение

Акт испытания

теоретического
практического

Гражданина Шерстюков Михаил Александр
(фамилия, имя и отчество)

на должность ст. кондуктора

Данные о лице, подвергающемся испытанию:

Возраст 1923-24 Образование 7

Занимаемая должность
Определяется на службу
(вновь)

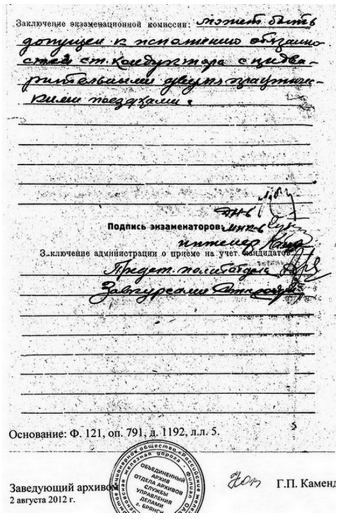
Краткие сведения о предыдущей службе обучался на курсах ст. кондукторов с 31/VII по 16/VII 1941 г.

С какого времени в последней должности

Результат испытания:

1) Правила технич. экспл. отлично
2) Инстр. по сигнализации отлично
3) Инстр. по движению отлично
4) Коммерч. эксплоатац. отлично
5) Практическ. телеграф
6) Дисциплин. устав отлично
7) Устройство и работа на аппаратах СЦБ

Испытание произведено 16/VII 1941 г.



Заключение экзаменационной комиссии: может быть допущен к исполнению обязанностей ст. кондуктора с предварительными двумя практическими поездками.

Подпись экзаменаторов: инженер

Заключение администрации о приеме на учет кандидатов

Предст. полиграфа

Завкурсами

Основание: Ф. 121, оп. 791, д. 1192, л.л. 5.

Заведующий архивом Г.П. Каменд
2 августа 2012 г.

одном из поездов с пушками». Потом этот Степан отправился на фронт и вскоре погиб.

О смерти Миши семья узнала уже после Победы. Официальных извещений не было. Сестра Настя ездила поездом учиться в Унечу. Както к ней подошла проводница: «Вы сели здесь… Вы случайно не сестра Миши Шерстюка? Очень похожи». Настя вздрогнула: «Сестра. А что?» — «Ваш Миша погиб. Я была с ним на одном поезде. Мы везли танки к Сталинграду. Налетели немецкие самолёты. Бомба попала прямо в Мишу. От него нашли только голову и одну руку… С ним погиб и наш мастер, от осколков, был близко… Похоронили там же, на разъезде 33-й километр, на кладбище… Я взяла от Миши на память себе ремень…».

Сестра записала адрес полевой почты. Сделали запрос. Получили ответ начальника службы: «В гибели вашего сына не сомневайтесь…». И подробности. Всё, что рассказала девушка, подтвердилось. Письмо читали всей деревне. Когда ставили мемориал погибшим в войне односельчанам, имя Миши вписать не забыли. Но письмо, увы, не сохранилось.

Итак, стало ясно: Миша погиб в 1942 году, в Сталинградской битве. Много лет этот факт воспринимался пусть и трагически, но как рядовой. Ведь в каждой семье были свои погибшие. И в той, послевоенной жизни, в многодетной семье сельского кузнеца хватало другого — крайней бедности, на грани голода и нищеты, и порождённых ею забот.

Прошло свыше 70 лет после битвы на Волге. Вы помните того молокососа, самого младшего из Мишиных братьев, которого он, уходя, погладил по золотым волосам, будто благословил или передал что-то? Звучит красиво, но эта метафора имеет право на жизнь. Ведь именно он, этот Шурка, сейчас Александр Александрович, нашёл могилу Миши.

Могила находится в безлюдной степи на кладбище, на заволжской стороне Волгограда, в двухстах километрах от центра битвы и в десяти километрах от железнодорожного узла Верхний Баскунчак. Кладбище огорожено бетонными шпалами с колючей проволокой. Ни деревца, ни кустика. Все могилы каменные, это могилы казахских пастухов, и только две могилы помечены деревянными столбиками — подобием обелисков. Это лежат старший кондуктор Михаил Шерстюк с Унечи и его коллега поездной вагонный мастер, неизвестно откуда.

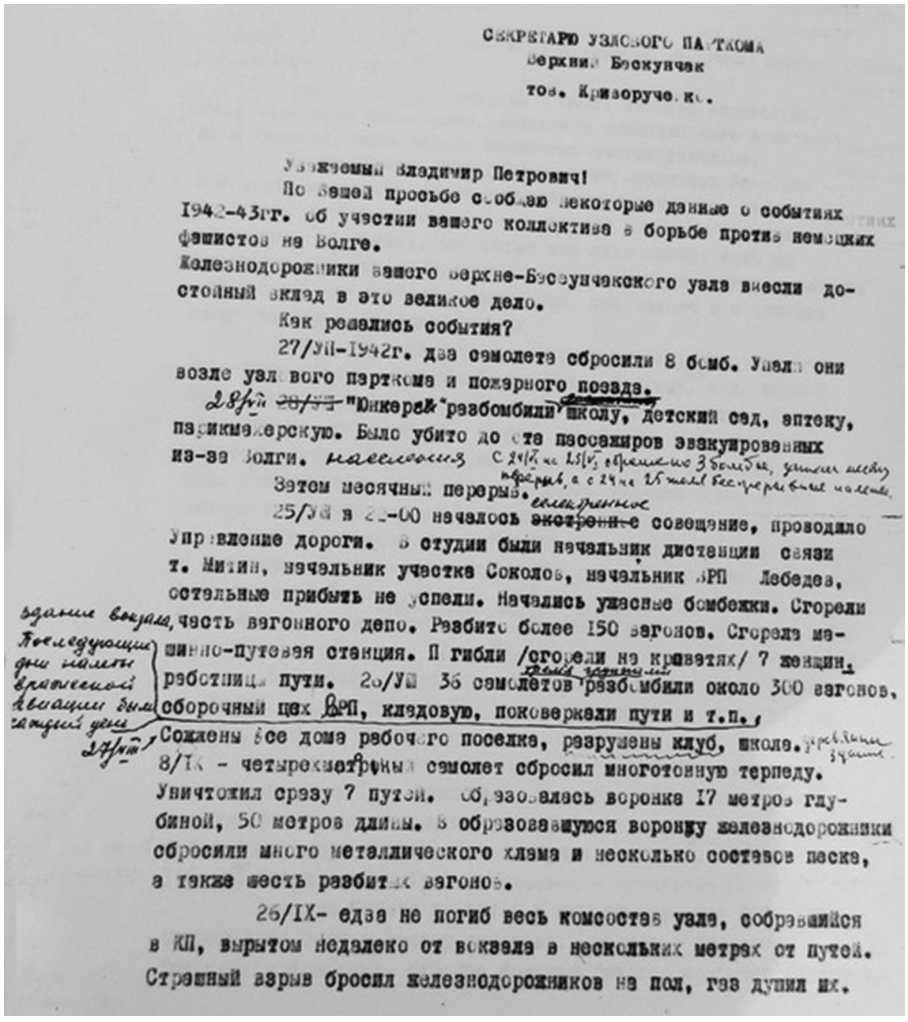
Как всё произошло — теперь уже рассказать некому. Поздние попытки найти ту девушку-проводницу окончились неудачей. Надо полагать, после налёта немецких самолётов поездная бригада спешно похоронила убитых товарищей на ближайшем кладбище в степи, благо, оно нахо-

дилось недалеко, назад в Баскунчак эшелон не повернёшь, и надо было быстрее двигаться к фронту. Возможно, ещё требовалось отремонтировать путь. Конечно, ни о каких гробах и речи не могло быть в полевых условиях, а столбики, которые наподобие обелисков, изготовили из брусьев, затесав кверху. Эти брусья из сибирской лиственницы (танки делали в Челябинске) подкладывали под гусеницы танков, чтобы они при толчках не смещались по платформе. На столбиках даже остались куски катанки — стальной проволоки, которой крепили брусья к платформе. Прибили и таблички. Сегодня их нет, есть только чёрные сантиметровые пеньки старых гвоздей. Имена погибших написали мелом — его куски были найдены в грунте у основания столбиков. Мелом, чем же ещё, это ведь почти, можно сказать, рабочий инструмент железнодорожников во все времена — писали и пишут атрибуты на вагонах, рисуют кресты на рельсах, там, где надо выравнивать полотно железной дороги.

За могилами никто не ухаживал. Ведь у погибших не было родни в Баскунчаке, их сюда забросила война. А сам Верхний Баскунчак был разбит до последнего дома. Изначально посёлок работал только на железную дорогу. Люди жили в вырытых в степи землянках, но продолжали выполнять задачу поставок фронту боевой техники, боеприпасов, горючего, живой силы. Через этот узел к Сталинграду шли эшелон за эшелоном с востока и с юга страны — с Урала, из Сибири, из Средней Азии, из Астрахани. По данным историков, ни на одной железнодорожной ветке за всю войну не было такого напряжённого грузопотока, как здесь. Только войск было перевезено к началу нашего наступления 1 миллион 100 тысяч солдат. Однажды узел бомбили сразу 36 немецких самолётов. А 8 сентября 1942 года немцы сбросили на депо Баскунчака многотонную торпеду, разрушившую сразу 7 путей, образовалась воронка глубиной 17 м и длиной 50 м, и, чтобы ликвидировать её, пришлось столкнуть в провал 6 разбитых вагонов, а также несколько составов песка и разного железного хлама. Это был титанический и героический труд.

Порой, когда были разбомблены пути, танки разгружали здесь же, и дальше они шли своим ходом (при наличии водителей, конечно) две сотни километров до Сталинграда, до переправы, по ровной, как стол, степи, пересекая нынешний испытательный ракетный полигон Капустин Яр. Но и вне железной дороги немецкие самолёты стремились их достать. Вблизи кладбища я увидел изуродованный участок, насчитал 16 крупных воронок от авиабомб, из земли торчат обломки металла. Там же у традиционных казахских могил есть захоронение, обозначенное врытой вместо обелиска уголковой железякой, точнее, она с наклёпом на верхушке, по-видимому вбита кувалдой.

Кстати, все, кто обслуживал железную дорогу в радиусе 500 км от линии боёв, приказами наркома переводились в ВЭО — военно-эксплуатационного отделения. Это означало целый ряд изменений в службе, как-то: замену паспортов на военные билеты, получение оружия, пере-



СЕКРЕТАРЮ УЗЛОВОГО ПАРТКОМА
Верхний Баскунчак
тов. Криворученко.

Уважаемый Владимир Петрович!

По Вашей просьбе сообщаю некоторые данные о событиях 1942-43гг. об участии вашего коллектива в борьбе против немецких фашистов на Волге.

Железнодорожники вашего Верхне-Басаунчакского узла внесли достойный вклад в это великое дело.

Как решались события?

27/УП-1942г. два самолета сбросили 8 бомб. Упали они возле узлового парткома и пожарного поезда.

28/VII ~~28/УП~~ "Юнкерс" разбомбили школу, детский сад, аптеку, парикмахерскую. Было убито до ста пассажиров эвакуированных из-за Волги. населения С 24/VI на 25/VI сбросили 3 бомбы, [illegible] перерыв, а с 24 на 25 июля беспрерывные налеты.

Затем месячный перерыв.

25/УШ в 22-00 началось ~~экстренное~~ селектренное совещание, проводило Управление дороги. В студии были начальник дистанции связи т. Митин, начальник участка Соколов, начальник ВРП Лебедев, остальные прибыть не успели. Начались ужасные бомбежки. Сгорели часть вагонного депо. Разбито более 150 вагонов. Сгорела машинно-путевая станция. Погибли /сгорели на кроватях/ 7 женщин, работницы пути. 26/УШ 36 самолетов разбомбили около 300 вагонов, сборочный цех ВРП, кладовую, поковеркали пути и т.п.

здание вокзала, Последующие дни налеты вражеской авиации были каждый день 27/VIII

Сожжены все дома рабочего поселка, разрушены клуб, школа. деревянные здания

8/IX - четырехмоторный самолет сбросил многотонную терпеду. Уничтожил сразу 7 путей. Образовалась воронка 17 метров глубиной, 50 метров длины. В образовавшуюся воронку железнодорожники сбросили много металлического хлама и несколько составов песка, а также шесть разбитых вагонов.

26/IX- едва не погиб весь комсостав узла, собравшийся в КП, вырытом недалеко от вокзала в нескольких метрах от путей. Страшный взрыв бросил железнодорожников на пол, газ душил их.

Страница из воспоминаний редактора узловой газеты ВЭО-131 Заева М. Г.

вод на котловое питание и т. д. Оружие необходимо было для отражения нападений заброшенных в наш тыл диверсантов.

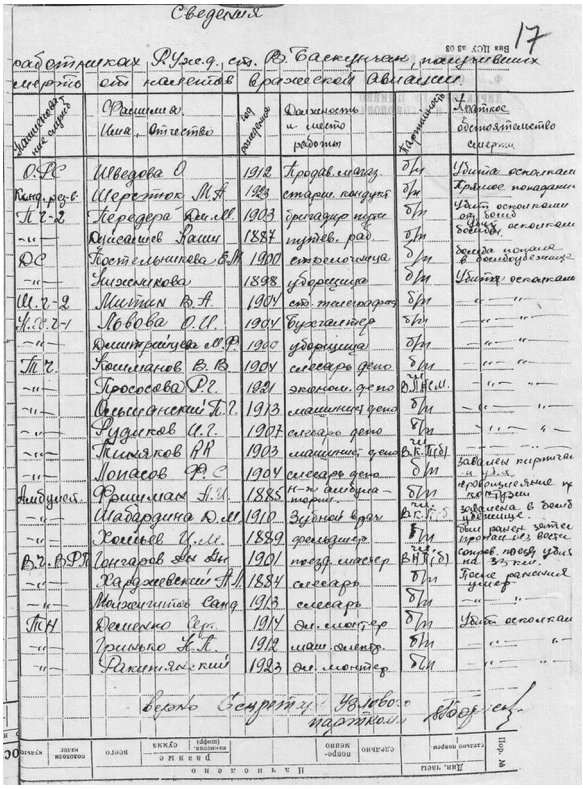
Железнодорожников в битве за Сталинград погибло 1393 человека, считая только учтённых, с ухоженными могилами, братскими и отдельными, и не считая наших двоих, похороненных в степи. А еще на поселковом баскунчакском кладбище есть могила — обелиск со звездой и надписью: «Погибшему неизвестному железнодорожнику» — своеобразное эхо могиле «Неизвестного солдата» в Александровском саду у Кремля.

Сталинград не имел радиуса железной дороги за Волгой, как и моста через реку, связь с левым берегом была паромная. Ветку длиной 160 км от Ахтубы до Паромной проложили в конце 1941-го в рекордно короткие сроки — за два месяца с небольшим. Рельсы привезли из Сибири — сняли с недостроенной Байкало-Амурской магистрали — того БАМа, строительство которого удалось продолжить только через десятилетия. А чтобы не мешать потоку эшелонов, для пропуска обратно двигавшегося порожняка понастроили разъездов. Один из них — разъезд 33 км. После битвы, когда нагрузка на ветку резко упала, эти многочисленные развязки оказались не нужны, их разобрали. Потом проложили и вторую колею. Карта изменилась.

Кстати, это обстоятельство — что разъезд был и вдруг исчез — существенно повлияло на поиск могилы. Когда брат погибшего начал поиск

в 1977 году, он, следуя семейной легенде, но не имея на руках подтверждающих документов, писал много запросов, ища разъезд 33 км, и получал одинаковый ответ: такого разъезда под Волгоградом не существует. «Не произошла ли ошибка, а вдруг цифру запомнили неправильно?» — думал он, и поиск тогда, 37 лет назад, захлебнулся. И только недавно, возобновив поиск, уже используя Интернет (частный сайт «Унеча: Взгляд из Южно-Сахалинска» своего земляка Обыночного Александра) и получив много добровольных помощников (здесь чудеса находчивости проявил инженер-связист, петербуржец, тоже мой земляк, потомственный казак Игорь Панченко), он своего добился. Была найдена карта 1943 года, где этот разъезд обозначен.

Был найден и документ, подтверждающий гибель брата и его товарища. Это — «Сведения о работниках РУЖД, ст. В. Баскунчак, получивших смерть от налётов вражеской авиации». Сведения подавались в обком ВКП(б), потом из партийного архива перешли в нынешний Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Кстати, партийная подотчётность не означает, что погибшие были членами партии, скорее наоборот — почти все обозначены в соответствующей графе — «б/п». И хорошо, что существовала такая отчётность, потому как в ведомственных архивах ничего найти не удалось. Список составлен не в алфавитном порядке, поэтому мой брат оказался вверху, во второй строке.



Сведения

17

Нашли этот документ не архивщики (они неизменно отвечали: «Сведений нет») — нашёл учёный-историк из г. Волжский, Максим Опалев, работавший над диссертацией о работе железнодорожного транспорта во время Сталинградской битвы. Когда всё сопоставили, оказалось, что семейная легенда подтвердилась во всех деталях. Была найдена единственная фотография Миши, всей его жизни, — служебная, 3 × 4, с печатью. Более того, были определены дата гибели — 30.10.1942 и даже имя погибшего поездного мастера — Гончаров Антон Антонович, 1901 г. р. В списке он занимает 6-ю строчку снизу. Откуда он, где живут его внуки?

...15 августа 1941 г., деревенский двор.
Отдана железнодорожная шинель отцу.
Плачет приёмная мать, ставшая родной.
Замерли дети.
Молчит ничего не понимающий сосунок Шурка.
Миша уходит навстречу летящей в него бомбе.

P. S. Очерк был предложен руководству РЖД ТВ, по нему был снят документально-художественный фильм «Один из миллионов», он есть в Интернете: http://youtu.be/CJsmdnkfkWk

Фильм несколько раз был показан по телевидению РТК «Брянская губерния».

P. P. S. Уже после всего рассказанного и показанного удалось найти фотографию Миши 6-месячного — на руках у его матери. (Рядом — её сестра, вскоре обе умерли от дизентерии, осень 1925 г.) Отец Миши в это время служил «кадровую».

2017 *Верхний Баскунчак — Москва — Бряновы Кустичи*

ВОЕВАЛИ СЕМЁНЫ…

1. Человек из крематория

Повествование Семёна Митрофановича Рассказчикова
о пережитом в немецком плену

Мне в руки попала толстая тетрадь, 87 страниц которой плотно исписаны фиолетовыми чернилами. Записи сделаны около 50 лет назад, когда автор их был ещё сравнительно молод. Чудом выйдя живым из ада фашистских лагерей, он решил оставить описание пережитого потомкам.

«Тракторный фюрер» воюет с фашистским фюрером.
Таран.
Плен.
Побег.
Ещё побег

«Traktorführer» — так записана профессия Семёна в учётной карточке узника немецкого лагеря.

Да, он был до войны «тракторным фюрером» — сибирским сельским трактористом. Родился в 1918 году. В 12 лет стал круглым сиротой. В 1939 году пошел на кадровую службу в Красную Армию. Под городом Ярцево получил приказ привезти из Починка (родина автора «Василия Тёркина») автоцистерну бензина. Его машина уже миновала бомбардируемый и горящий Смоленск и вдруг выскочила на идущие в лоб немецкие танки. Чтобы не попасть в плен, пошел на таран. Но остался жив, очнулся в плену. Вскоре с товарищем сделали подкоп под проволочное заграждение и бежали. В одной из деревенек остановились у стариков, с голоду наелись досыта, заболели дизентерией, несколько недель ютились в баньке. Затем переоделись в крестьянскую одежду и двинулись на восток. Шли лесом вдоль шоссе от Смоленска на Рославль. Товарищ едва волочил раненую ногу, отставал и подорвался на мине. Пока Семён его хоронил, наскочили проезжавшие по шоссе немцы, услышавшие взрыв. Погрузили русского в машину и долго везли. Ночью остановились в деревне, устроили пьянку. Удалось снова бежать. Добрался до городка Кричев.

Сделаем небольшое отступление. Мне, читавшему эту тетрадь, подумалось: а ведь как ни жестока была судьба русского солдата Семёна, все ж что-то и берегло его от еще худшего. Я бывал в описываемых местах. Немцы провезли Семёна через Рославль тогда, когда там уже действовал их лагерь для русских военнопленных. И это был настоящий лагерь смерти. Все наши солдаты, около 130 000 человек, погибли в нем от голода. Их совершенно не кормили. Они выгрызли с корнями сырую траву, ели дождевых червей, но этим лишь сделали мучительней свою смерть.

А вот что пишет автор:

«В Кричеве военнопленные в лагере умирали с голода и холода. Из сотен людей оставались в живых единицы, мертвых не хоронили, а складывали в штабеля на цементном заводе...».

Впрочем, в Кричеве Семён не был пленным. Он нанялся в работники, за еду и кров, к одному жителю, служившему у немцев в пожарниках. Познакомился также с радиомонтерами, стал с ними ставить радиоточки в домах. В одном из домов жили немцы и был склад продовольствия. Родилась мысль — поджечь его. Когда проводил заземление для радио, проложил фитиль — ватную бечевку, а на конце ее, у стены — коробок спичек. Стену облил бензином. Поджег бечевку с дальнего конца и оставил ее тлеть. Немцы включили радио, обрадовались голосу любимого фюрера, устроили попойку, Семёну дали поллитра спирта, он ушел. Ночью дом сгорел дотла. Немцы выскочили в одном исподнем. Но его не заподозрили — были весьма нетрезвы и ведь сами раскочегарили печку.

Но в марте 1942 года Семёна захомутали на работу в Германию. В Данциге на рынке рабов его в числе 36 русских парней выбрал «баур» по имени Ганс и повез за сотню километров в свое имение. Работали в поле. Огромная норма, еда — баланда, ненависть к рабовладельцу, стычки. Однажды Семён не выдержал, вспылил, дерзко рубанул хозяина мотыгой в висок и сбежал. С ним еще трое. Шли на восток, ночами. Подошли к Висле. Наткнулись на двоих полицаев. Убили их ножами, но потеряли и одного своего товарища. Нашли лодку, переправились через реку, пошли дальше. Убили еще одного полицая и на его мотоцикле (здесь пригодилось Семёново умение водить технику) ехали, пока не закончился бензин. Шли и шли дальше. Но, ночуя возле одного из хуторков в кустиках посреди поля, сонные были схвачены. Привезли их в местную тюрьму. Ввели в камеру, стены которой были забрызганы кровью, всыпали по 50 розог и — на допрос. Их версии, что отстали от транспорта, шедшего из Минской области, немцы не поверили.

«Нас подвесили за руки в вывернутом положении за спину... От боли я искусал себе язык и губы... Висели, пока не потеряли сознание... Очнувшись, я увидел, что лежу на полу весь мокрый... Товарищи лежали рядом, они были без сознания и глухо стонали».

Затем их голыми кинули в бетонную камеру-мешок. Стояли они в ней обнявшись, держа друг друга. Сколько времени прошло, узнали лишь потом (двое с половиной суток).

Это было в Риппинской тюрьме.

А затем их повезли в Грауденцское гестапо. Еще 9 дней избиений (*«кожа висела клочьями»*), вши и клопы в камерах, кружка баланды в обед. И вот их везут дальше.

Карный концентрационный лагерь Штуттгоф.
Повозки с трупами.
Ослаб — на виселицу!
Господа бросают палки.
Испытание корытом

Вообще-то, у автора записей этот лагерь называется Штутов. Наш не шибко грамотный герой немецкие слова пишет, как запомнил их на слух. Возможно, мы иногда не совсем точно передаем применяемые им немецкие названия и термины, да простит нас читатель. Не это главное. Последуем за героем дальше в его трагической судьбе.

Итак, сентябрь 1942 года, карный лагерь Штуттгоф. Карный — то есть для особо провинившихся. Сюда кидали узников всего на 3 месяца, но этого срока было достаточно, чтобы остаться здесь навсегда почти любому.

Первое, что увидел Семён, выходя из «воронка» — это как на повозке везут человеческие трупы. Их везли к отдельному домику, стоящему в стороне от зоны. Это был крематорий.

Затем десятки трупов он видел каждый день.

Семён получил полосатую одежду с личным номером 15945 R. «R» означало «русский». Знал бы этот русский, что в его личный номер, в его код, в его судьбу маленького человека вписалась Большая Судьба — и год 1945, и месяц 5, и день 9…

Началась обычная лагерная жизнь: работы — транспортные и строительные; построения; «аппель антретен» — поверки; баланда, проглатываемая на ходу; избиение палками за малейшее промедление или слабость; никакой обуви, в том числе в морозы; вши, блохи, клопы; трупы, трупы, трупы — утром в ушраме (уборной) и в штубе (барачный блок), днём — везде.

> *«Некоторые падали без сознания где-нибудь на рабочей площадке, или в канаве, или в стройматериалах. Если при построении в конце рабочего дня не досчитывались человека, заставляли стоять всех до тех пор, пока не найдут потерянного. А этого бедолагу, еле движимого, приводили и казнили через повешение, как за побег».*

«Много было охотников за человеческой смертью со стороны охраны СС, которые бросали палки в запретную зону и, выбирая из заключенных жертву, посылали за ней, а сами расстреливали из автоматов».

> *«Ночью поднимали человек 10–12, запирали в ушрам, напускали в большие бетонные корыта глубиной с полметра холодную воду и заставляли нырять в нее головой, пока не задохнешься. Кто вперед вытаскивал голову из воды, тех оставляли, а остальных снова загоняли в штубу. Наутро можно было видеть тех оставшихся мертвыми, раздетыми догола».*

Через месяц пребывания в карном лагере Семён, имевший рост 180, стал весить 42 кг.

Ползком с того света

> *«У меня начала опухать правая нога. Это было для меня очень странно: из статуи-скелета я стал поправляться одной частицей своего тела — правой ногой. Я уже не мог передвигаться. Меня взяли под руки товарищи, которые были посильней, и повели на рабочую площадку. Я знал, что уже отживаю последние минуты. Еле-еле взял лопату в руки и стал подкапывать пень. Но вскоре не выдержал и сел. Подошел капа (бригадир-надсмотрщик) и стал бить меня палкой. Я потерял сознание…».*

> *«Когда сознание вернулось, я увидел себя раздетым догола, лежащим среди трупов. И было тепло, будто я лежал на русской печке. Я подполз к открытому окну и увидел зону лагеря. Тут-то я понял, что нахожусь в крематории.*

Я вывалился из окна на землю, полежал, затем пополз в зону лагеря. Полз, пока была ночь, и затем стало светать. А я все понемножечку полз и полз, временами проваливаясь куда-то, в бессознание...».

«Меня заметил часовой. Два эсэсовца принесли носилки и доставили меня в лагерь. Много собралось СС-охраны, в том числе и лагерьфюрер, все смотрели на меня с большим удивлением — на скелет на носилках, обтянутый кожей, — и ржали, как жеребцы... Показывали пальцем и говорили: «Ман аус крематорий! Ман аус крематорий! (Человек из крематория!)». Затем лагерьфюрер что-то скомандовал, и меня понесли в ревир — лагерную больницу».

По-видимому, даже эсэсовцы были поражены стойкостью ползущего с того света узника.

В ревире Семён пролежал около месяца. Ему подлечили ногу и привезли вместе с другими заключенными к железной дороге. Погрузили в товарные вагоны, закрыли наглухо дверь, состав тронулся. Через щели можно было прочитать названия станций: Данциг, Берлин... В Берлине, впервые за 3 суток, двери отворились и дали горячую пищу — женщина, с красным крестом на белой шапочке, разлила суп в бумажные стаканчики. Затем везли ещё 3 суток.

«Наконец поезд остановился. В вагон вошел немецкий солдат, показал рукой на выход. Но людей, которые могли бы выйти сами, было мало...».

Из 300 узников, отправленных из карного лагеря Штуттгоф, в концентрационный лагерь Дахау живыми прибыли 96.

Дахау.
Такая вот в жизни полоса — и на одежде, и на голове.
Эксперименты с палочкой Коха

Дахау поразил Семёна прежде всего размерами: и лагерь огромный, и стена, которой он обнесен, 8–10 м высотой. А еще — полным «интернационалом всей Европы»: здесь были сербы, хорваты, чехи, испанцы,

голландцы, немцы, французы, австрийцы, бельгийцы, поляки, шведы, финны…

Прибыли 20 ноября 1942 года, шёл снег.

«После бани одежду нам не вернули, а посадили на тележки на резиновом ходу и голышом повезли. Снег падал на наши скелеты-тела, таял и стекал холодными струйками, а люди в полосатой одежде везли нас вглубь лагеря».

«Нас разместили в 21-м блоке, в 3-й штубе. Я получил личный номер заключённого — 40440. На груди под номером был красный треугольник с буквой R. А еще у всех русских, в отличие от других наций, были выстрижены волосы полосой со лба до затылка…».

«Наш блок был экспериментальный. Из него брали людей на ревир, заражали их малярией и другими болезнями и потом наблюдали…».

«Несмотря на голод, люди меняли последний кусок хлеба на табак, чтобы хоть немного успокоить свои нервы, а курили гродненскую крепкую махорку, от которой и без того слабый человек становился пьяным…».

«От всего этого, да притом и оттого, что нас выгоняли на улицу, обливая холодной водой, я серьезно заболел… В марте 1943 года меня с высокой температурой поместили в 13-й туберкулёзный блок…».

И хотя из этого блока со зловещим номером почти никто не выходил живым, здесь Семёну, второй раз после крематория, крупно повезло.

Чешский врач Плачек: тёплое чувство к холодной Сибири

Трудно сказать, за что полюбил Семёна этот врач. Может, за то, что его пациент оказался чуть ли не с другой планеты — из далекой Сибири. Или за то, что тот был из страны Сталинграда — весть о котором, печальная для фашистов и воодушевлявшая весь «интернационал», уже дошла до узников. А может, за то, что, когда этот врач, после первого укола, не дал Семёну баланды, тот *«обругал его всякими сквернымі словами».* Врач спокойно выслушал дерзкого русского, затем пошел и принес больному кусочек домашнего хлеба, намазанного сливочным маслом, а сверху лежали тоненькие пластинки вареного яйца.

Когда анализы показали, что у Семёна туберкулез легких, врач Плачек не только не бросил его, как безнадежного, а стал еще внимательнее к нему.

«Еще больше приносил мне съестного, делал мне вливания. Я никогда не забуду этого человека, он спас мне жизнь, делясь со мной всем, что ему присылали из дому…».

Окрепнув, Семён стал помогать Плачеку, чем мог, и так продержался целых 9 месяцев. В декабре 1943 года он, после эсэсовской проверки, был возвращён в 21-й блок. *«При расставании Плачек дал мне котомочку с продуктами и пригласил регулярно приходить к нему за помощью в питании, что я и делал потом».*

В марте 1944 года Семёна направили в филиал Дахау — лагерь Оттобрун, находившийся недалеко от Мюнхена по дороге к альпийским горам.

Оттобрун.
Золото немецких руин.
«Русские бандиты» съели любимую собачку фрау

Лагерь в Оттобруне был небольшой — около 350 заключенных, из них треть — русские. Заключенные разгружали упакованное оборудование, рыли карьеры в 12–14 м глубиной — по слухам, здесь должны были построить экспериментальный завод.

Между тем, конец нацистского эксперимента над миром уже приближался. Пошел 1944 год, самолёты союзников начали бомбить логово врага. Заключенных стали посылать на раскопки руин.

> *«Однажды при раскопке одного разрушенного дома я нашел золотой браслет. Он вскоре пригодился. Из лагеря на работу мы ходили мимо столовой, в которой питались гражданские немцы. Иногда нас посылали сюда в качестве грузчиков. И вот мы сумели договориться с владелицей этой столовой. Отдали ей золотой браслет, а она давала нам продукты. А чтобы конвоир не мешал, лучшая часть шла ему».*

К марту 1945 года бомбежки и вой сирен стали очень частыми, а немцы — злыми. Урезали вдвое лагерный паек. Заключенные быстро слабели. Однажды поймали и съели собаку хозяйки столовой. Она доложила лагерьфюреру.

> *«Лагерьфюрер закричал на нас: ах, вы, русские бандиты, съели собаку? Наш бригадир Леонид Тизенгаузен, инженер из Одессы, ответил: да!»*

Им дали по 50 розог и посадили в стоячий карцер, который узники называли «собачьим ящиком».

> *«Открыли каждому дверцы, поставили и закрыли. Спина прижималась к стене, а грудь — к двери. Ни повернуться, ни присесть было невозможно. Так мы стояли 6 суток, двери ни разу не открылись. Избитое тело ныло от боли. Холод, голод. Первые сутки мы еще перекликались, а затем только изредка доносились слабые голоса… Когда лязгнули запоры и открылись двери, мы из ящиков вывалились на пол… На носилках нас перенесли в кантину (лагерную столовую), дали жиденькой баланды. Две недели мы не ходили на работу. Мой товарищ из Киева Дмитрий Слиян и другие отдавали нам свои пайки хлеба, помогали, чем могли…».*

Последний побег.
Русские лагеря в Мюнхене.
Нежная любовь фашистов к животным.
Деловая любовь американцев к русским.
Вагоны поют

До капитуляции Германии оставался месяц, а эсэсовец, у которого зэки-грузчики попросили сигарету, им ответил: «Нет для русских собак сигарет. Все равно вы скоро пойдете на удобрение нашей земли».

Заключенные не ожидали ничего хорошего от врага. В последней агонии они могли уничтожить всех узников. Выход был один — бежать.

Один из их конвоиров как-то рассказал, что его родные места заняли американцы.

> *«Мы посоветовали ему бежать домой, пока не поздно, переодевшись в гражданскую одежду. Но он ответил, что нужно подождать еще с неделю».*

Эта неделя оказалась роковой для несговорчивого немца. Напряжение нарастало с каждым днем, фронт был рядом. 16 апреля 1945 года, находясь в поле, заключенные предлагают конвоиру бежать вместе с ними. Однако тот направил на них автомат. Тогда, сделав вид, что покорились, они пошли в лагерь. Но по пути сумели обхитрить врага.

> *«Я, подброшенный руками товарищей, свалился прямо на немца. Сбитый моим телом, конвоир упал. Его выстрелы просвистели мимо. Мы вырвали из его рук автомат и ударом приклада прикончили его…».*

Уходить сразу же, днем, в полосатой одежде, среди полей было опасно. Засели в воронку от бомбы, обложили друг друга землей. Искавшие их немцы прошли близко, но их не обнаружили.

Зная, что в 7 километрах лес, ночью двинулись к нему. Дошли, день просидели в зарослях, а следующей ночью двинулись дальше. Вышли на поместье бауэра. Убили из автомата двух огромных сторожевых собак. Припугнули хозяина и остальных, взяли кое-что из одежды, продукты и снова в путь. Через несколько ночей вышли к большой реке — как потом оказалось, Дунаю. Добрались до парковой зоны Мюнхена. Прятались под деревом, сваленным бомбежкой.

Товарищи ушли разведать, что и как. Семён их не дождался, решил тоже идти. В парке находиться было опасно, тем более, что его, прячущегося, уже кто-то проходивший заметил (и дал деру). Чтобы попасть в город, надо было пройти охраняемый мост. Увидев идущую к мосту женщину с чемоданом и сумкой, Семён пошел с ней рядом, предложил помощь. Она испугалась, но согласилась. Прошли часового. За мостом женщина поблагодарила и дала деньги — марку.

Семён сел в первый попавшийся трамвай, и здесь ему повезло — он услышал среди пассажиров русскую речь. Это оказались соотечественники из гражданского, то есть неохраняемого, лагеря. Таких лагерей в Мюнхене было много. Их обитателей, в основном молодежь, принудительно вывезли в Германию и заставили работать на предприятиях. Некоторые здесь поженились и даже имели детей.

Семён несколько дней скрывался в бараках русского лагеря № 9.

Американцы сбрасывали с самолетов листовки — сообщали, когда будут бомбить, призывали уходить в укрытия. 29 апреля в Мюнхен вошли их танки. Наладилось питание: американцы давали продукты.

Но поведение союзников порой было странным. Когда заключенные лагерей стали мстить своим мучителям, убивать их, то американцы брали фашистских лакеев под защиту. И фашисты почувствовали себя свободней. Были случаи, когда по ночам они делали налеты на гражданские лагеря, вырезая по нескольку десятков человек. Американцы охрану не дали, а расклеили призыв: «Русские, объединяйтесь и сами себя охраняйте». Пришлось нашим ночью ставить своих часовых.

Однажды Семён встретил в городе знакомого по Оттобруну узника. Тот рассказал, что после их побега остальных заключенных заставили сутки стоять у ворот лагеря без пищи и воды. А еще через несколько дней их погнали пешком в Тироль, к горам. Ослабших в пути пристреливали, а ему удалось бежать.

В Мюнхене Семёна поразил зоопарк. Здесь были звери со всего света — тоже «интернационал», и они тоже были узниками. Но, в отличие от узников-людей, к ним отношение фашистов было не зверское.

В конце июня 1945 года людей из гражданского лагеря, в котором находился Семён, отправили сначала в советскую оккупационную зону, а еще через несколько недель — на Родину. Радость была так велика, что в товарняке, которым они ехали, не прекращались песни и танцы под музыку колес. Проехали немецкие города Линксе (здесь была устроена баня), Мельке, затем — Вена, Будапешт, Яссы, Унгены. В Унгенах простояли 3 недели. И, наконец, привезли в Одессу.

Фильтрационная комиссия в Одессе признала Семёна негодным к дальнейшей службе. Он поехал на родину, в Сибирь, залечивать туберкулез испытанным народным средством — барсучьим салом.

Полвека спустя, или Ещё одна Судьба человека

Барсучье сало помогло, Семён подлечился. Но навсегда остался дистрофиком.

В 1953 году Семён переехал в подмосковное Крюково, которое в войну было последним огненным рубежом, где был опрокинут враг и откуда затем прах Неизвестного солдата лег у Кремлёвской стены. Позже на этом месте был построен красивый город Зеленоград, ставший районом столицы. Семён Митрофанович участвовал в строительстве нового города, до пенсии работал на автодормехбазе. До 60-летия Победы не дожил года с небольшим.

Тетрадку воспоминаний написал в начале 50-х. Тогда ему казалось невероятным, что жизнь его будет длиться еще долго, и надо было успеть оставить о себе память.

Встречался ли, переписывался ли с теми, с кем свела война? Нет. И не до того было, и адресов точных не знал. Да и большинство ведь — и с кем бежал от «баура» и попал в карный Штуттгоф, и с кем сидел в Дахау — погибли уже тогда.

Пенсию получал по инвалидности II группы — но по общей, не военной. И это было обидно — здоровье ведь потеряно тогда, на войне.

Узнав из газет, что Германия выплатила компенсацию России за узников концлагерей, Семён Митрофанович написал письмо с просьбой подтвердить его пребывание в концлагерях и что над ним проводились медицинские эксперименты. Получил в ответ копию учетной арестантской карточки с обоими своими номерами — 15945 и 40440. Правда, Семён Митрофанович тогда записался под чужой фамилией — ведь как бежавшему из плена ему пришлось, еще начиная с Кричева, скрывать свои данные. Но это противоречие удалось обойти — к счастью, в Москве нашелся узник Дахау, подтвердивший подлинность, так сказать, своего сокаторжанина. И Семён Митрофанович получил свою личную долю компенсации.

Дело, конечно, не только в доле денежной, не в германской компенсации. Есть еще доля — судьба. Дело — в признании. В признании того простого факта, что рядовой русский солдат Семён Рассказчиков, попав в мясорубку мировой бойни, сделал все, что от него зависело, для своего Отечества и перенес столько, что и собирательному герою шолохов-

ской «Судьбы человека» не довелось пережить. И не его вина, что в наших отечественных архивах — и в Одессе, где Семён Митрофанович проходил фильтрацию, и в Красноярске, где он жил сразу после войны, — почему-то в отличие от немецких, не сохранилось о нем данных.

Данные-то сохранились. Вот эта тетрадка — тоже документ, из неровных строчек которого прорывается удивление, теперь уже и наше:

— Ман аус крематорий!..

2. Писал потому, что ждал смерти

Бывают такие люди — очень смахивающие на литературных героев. Семён Исаевич Гликин, прошедший войну от Сталинграда до Берлина рядовым солдатом, напоминает одновременно и чеха Швейка, и англичанина Питкина, и русского Чонкина. Тип простака, вроде бы все делающего как все, но то и дело попадающего впросак.

Вот в мае 1945-го Гликин участвует вштурме Берлина, он линейный связист на передовой, служит успешно. Командование объявило: наград за Берлин не жалеть. И награждены были сотни тысяч солдат. Медаль «За взятие Берлина» получили даже те, кто до немецкой столицы десятки километров не дошел. Дали ее и Гликину, но ведь он-то тянул провод под разрывами снарядов по столичным «штрассе» и написал на рейхстаге: «Немцы гады — я в Берлине» (сохранилась открытка, отправленная им из фашистского логова домой в Москву). Ему вытанцовывался орден, но все сорвалось. Расскажем словами из фронтового дневника Гликина (запись сделана 3 мая 1945 г.):

> *«1 мая наши славяне наткнулись на винные склады. Я весь день держался правильно. Но под вечер напился. Напился как следует. И даже не все помню, что делал. Кричал и валялся. Таким нарвался на полковника. Это явилось поводом, чтобы перевести меня в дивизион, а одну девчонку (любовницу полковника) — на моё место. Это все не важно».*

О переводе солдат не жалеет — жалеет о потерянной награде, которую ему теперь, конечно, к предыдущим уже не добавить:

«Больнее всего на душе оттого, что упустил так тяжко заработанную награду за Берлин. Ну, выпил, все пьют. И даже большие проступки делают, и то ничего».

Беседуем с ним аккурат перед Новым, 1995 годом. Задаю ему дежурный вопрос: «Запомнилась ли встреча какого-либо Нового года в войну?» — «А как же! 1942-й Новый год, например». Стоял Гликин тогда на посту в военном училище, где он был курсантом, — и вдруг винтовка выстрелила от толчка прикладом о пол (польские винтовки были без предохранителей). Последовала немедленная «награда» — 5 нарядов вне очереди.

Опять же вопрос: почему был рядовым, если до того учился в военном училище? Да исключили его. То из увольнения опоздал (пошел на лыжах и заблудился), то дневники личные у него нашли (а вести их не разрешалось).

Дневники Гликина

Скажите, читатель, вы много знаете солдатских дневников? Написанных на передовой? Я такое встретил впервые.

Уже само то, что им, этим истрепанным и ветхим полуразвалившимся блокнотам, перевалило за полсотни лет, и прошли они столько дорог стольких стран, и впитали в бумагу столько пылинок и дыма — это ли не чудо?

Один из блокнотов попал к Гликину от убитого немца. В нем есть типографские пометки, календарь 1941 г. Читаем: «Mai 1. Mittwoch. Nat. Feiertag des deutschen Volkes (1 мая, среда. Национальный праздник немецкого народа); Mai 2. Donnerstag. Christi Himmelfahrt (2 мая, четверг. Вознесение Христа)». Вот так-то! И Первомай у них не хуже нашего, и у Христа они за пазухой.

Символично, что как раз поверх этой даты в дневнике Гликиным написана стихотворная строка: «Прогнать врага от нас уж навсегда».

Пометок, сделанных рукой убитого немца, немного. Против некоторых дат стоят аккуратные буковки, например, «September 16. Lotta» (16 сентября. Лотта). По-видимому, это дни рождения его подруг и друзей.

А поверх всего этого — размашистый почерк Гликина.

О чем же пишет солдат?

«Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-то прочтет?..»

Прежде всего, солдат описывает, конечно, свои будни. Где он уже находится и чем интересным отмечено это место:

«25.08.44. Кишинев остался позади, проходили его вчера (вчера же и освобождали). Малость попил там вина. Русскую речь среди гражданского населения слышишь всё реже и реже». «Перешли на другое НП (опять провод мотать!). Дежурил сутки в полку. Вчера устранил порыв под сильным артиллерийским обстрелом».

Начинается этот, «немецкий» дневник 22.05.1944 г., уже пройден большой путь, но и до победы еще год. Читаем на первой странице:

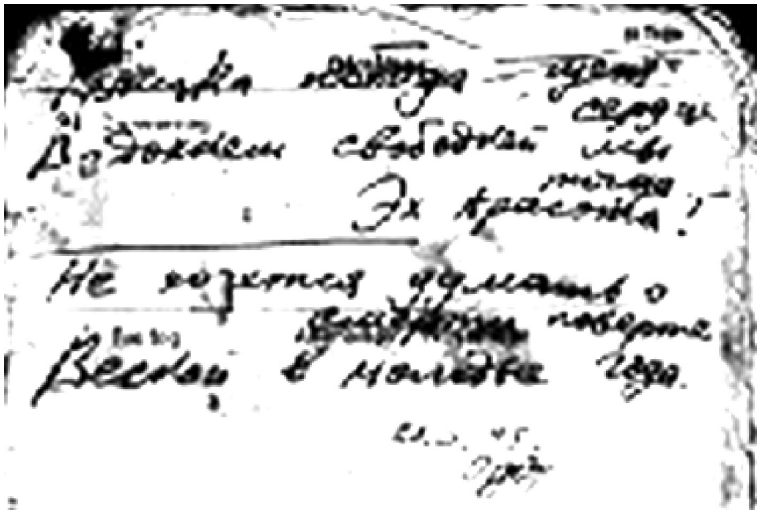
«Сейчас ты находишься в Бессарабии, в какой-то излучине Днестра. Идут бои «местного значения». Эту общую фразу приходится переживать немного глубже, нежели привычную уху газетную сводку».

«Ты» — это такая форма у него диалога с самим собой. Описаний военных будней, их атрибутов в дневнике мало. Больше — рассуждения о тех или иных ситуациях с попыткой дать им оценку, понять свое место, определить стиль поведения.

> *«Когда близко рвутся снаряды, кажется, что к тебе это никакого отношения не имеет. Но когда где-нибудь поблизости свистит снаряд, то ты больше пригибаешься, прижимаешься к окопу. Ты смотри, не проявляй излишнего героизма, лихачества, рисовки».*

Последнее слово — одно из очень характерных в мироощущении героя. В диалоге с самим собой он то и дело употребляет такие фразы: *«Ведь ты не рисуешься, верно?». «Ведь ты не для красного словца говоришь, верно?».*

> *«На нерадивых мне и самому тошно смотреть. Правда, я еще малость неряшливый и не очень поворотливый. В трусости меня еще никто никогда не попрекал (ты пишешь это, наверно, из-за того, что тебя кое-кто подхваливал, и говоришь, что трусости у тебя нет. Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-либо прочтет эту писанину и похвалит тебя?). Хороший солдат должен быть хитроватым, уметь жить с начальством и обязательно добросовестно и умело (а можно иногда и умно) выполнять свои обязанности».*



Автор дневника хоть и ведет «эту писанину» вроде бы сугубо для себя, но однажды в нем, обиженном тем, что товарищи не одолжили ему обмоток, прорывается: «Обмотки! Только подумать! А вы и не знаете, наверно, что такое обмотки?». «Вы» — это уже не «ты», не обращение к самому себе. И в этом, пожалуй, впервые обнажается главная тайна дневника, его смысл: оставить, на случай внезапной гибели, свой след на земле, свой «нерукотворный памятник».

И надо сказать, что наша догадка подтвердилась прямым признанием солдата в самом конце дневника: *«Писал потому, что ждал смерти…»*. Здесь же следует очень мудрое, на мой взгляд, продолжение: *«…а когда ждешь ее, то возможны героические поступки»*. То есть, надо полагать, — и отчаянные, вплоть до безрассудства, тоже. Чему свидетельство —

сам факт ведения дневника, за который Гликину однажды уже не поздоровилось, но это не остановило его.

«Не это главное!..»

Солдат уже прошел немалый путь, а наград все нет. Но не думать о них он не может:

> *«Эх, если б все учитывалось точней и справедливей, то, возможно, и у меня на груди была бы какая-нибудь медалишка, ибо я чувствую, что многие, кто их имеет, меньше меня пережили… Многие в разговорах об этом безразлично махают рукой, мол, на кой черт они мне сдались, остаться б целым самому. Так-то оно так, но на фронте ты давно, а эти побрякушки имеются у многих поблядушек и холуев, хотя большинство носит их заслуженно».*

Через несколько листков, после описания боя с отступлением, когда он последним оставил передовую, чтобы спасти, смотать 200 м кабеля *(«пожалел бросить, и хорошо, что хорошо кончилось»)* и затем краткого описания похорон солдата Потапова из 6-й батареи (*«со всеми почестями, т. е. закопали, говорили и дали салют — но ботинки с ног у него уже были сняты»,* — отмечает наблюдательный глаз), — опять та же, не до конца высказанная обида:

> *«Раз даже у офицеров не все ладно насчет наград, то можете представить себе, что ниже творится. Посмотришь, посмотришь и плюнешь. Обойдусь и без ихних наград. Не это главное!».*

Фраза *«Не это главное!»* заключает рассуждения солдата так часто, что создается впечатление, будто все, о чем он пишет, — не главное. Но должно же все-таки быть что-то, о чем так снисходительно нельзя говорить?! Да, оно есть:

> *«Я, как и все, боюсь смерти, но просто не показываю виду. Когда иду по линии (а часто за углем или картошкой, туда вперед, где еще больше стреляют), — я иду просто, без расчетов и рассуждений, не так прячусь, не так бегу, как другие (может, из-за рисовки?). Ибо не знаешь, где это тебя может прихлопнуть. Идешь, потому что надо идти, а убить всюду может, и где именно, тебе не известно. И потом, в эти моменты у тебя какое-то безразличное состояние или презрение к смерти. Нет, вот хорошо: «безразличное состояние», а «презрение к смерти» — это уж слишком». (27.03.1945 г.)*

«Человек сложный сам по себе»

Очень интересна запись, сделанная Гликиным в Бессарабии 23.08.1944 г.:

> *«Вечером наши расстреляли одного пойманного (полицая? — А. Ш.). К чему это пишешь? Потому что он занимает какое-то место в мыслях. Такие сволочи много насолили нам, их и не стоит жалеть. Но чуть-чуть подумаешь, что он все-таки немного человек, сложный сам по себе, полный всяких забот, и вот раз-два — нет у него никаких забот, убит без суда и следствия, оставлен валяться без документов, забот и дум».*

Ощущение сложности человека, его бытия проявляется у солдата тогда, когда он пытается понять поведение различных людей. Сначала он вроде бы осуждает их, но затем прорываются и иные нотки.

Вот из Германии им разрешили отправлять домой посылки:

> *«Выбирались давно, собирали, паковали, зашивали, перешивали. Положишь одну вещь, потом заменишь другой. Каждому хочется помочь своим домашним, так как знаешь, что там живется трудновато, тем более, что очень большая доля немецкого богатства состоит из российского награбленного добра». (Казалось бы, что может отправить солдат, не имеющий на фронте ничего, кроме снарядов да котелка? Но ответ на этот вопрос нами уже получен.)*

> *«В этом отношении ты не был таким жадным, как другие. Или тебе это только кажется? Пожалуй, нет. А много я наблюдал жадных. Офицеры тоже, даже больше, жадничают. У них ведь больше возможностей и условий. А знаешь, что ведь легче всего критиковать, чем самому быть правильным во всяких условиях». (4.02.1945 г.)*

Эти же нотки есть и в теме отношений подчинённого и начальника на войне, рядового и офицера. Говоря о посылках, автор отмечает, что солдатам разрешено отправлять не до 10 кг, как офицерам, а вдвое меньше. И ещё:

«Я не раз писал о том, что основную тяжесть войны переносят на своих плечах рядовые солдаты. А первый почет и первые привилегии — офицерам, ибо они командуют, хотя намного меньше работают физически, больше спят и лучше живут».

Но заключение все в том же духе:

«Ну, так это нужно на пользу дела, на пользу победы. Значит, надо, и приходится переносить и терпеть еще и это дело». (5.03.1945 г.)

Такому же смиренному осмыслению подчинен и следующий эпизод:

«Больно смотреть на некоторых привилегированных офицеров. Ну взять, например, «политиков», хотя бы майора по политчасти. Пускай он делает какую-либо работу. И сам перед собой оправдывает себя. Он ведь должен быть чистым и кристальным, как слеза. Зачем он возит за собой не только денщика (положен ли он ему?), но и даже блядь, мягче, боевую подругу. И ее отрывает от несложных ее обязанностей, дежурств и т. п. Все это отражается на нас, рядовых солдатах, ибо больше положенного штата в полк людей не дают. Солдат — это такое существо, который все может перенести, только на небо не влезть. Больно это переносить не только мне, но большинству простых солдат. По-моему, у всех такая большая сознательность долга, что принимают это как необходимое, которое приходится пережить сверхурочно. Ну, перенесем с честью, что поделаешь». (24.11.1944 г.)

«Ты ещё жив»

Иногда в датах между записями, словно зияющие воронки, появляются большие перерывы (и затем становится ясно, чем это было вызвано — подготовкой к наступлению, наступлением, перемещением на новые позиции). А иногда в характере записей видна пунктирная торопливость, напряжение боев.

Вот записи, сделанные на Вислинском плацдарме, приводим без купюр:

«6.01.1945. Заваривается что-то грандиозное, жуткое дело.

9.01.1945. Каждую минуту может убить. Ты сейчас под обстрелом или пулями, часто на виду у немцев, должен бегать по линии и исправлять ее.

14.01.1945. Вот она началась, самая заваруха. Что-то будет.

24.01.1945. Ты еще жив».

Но вот бои закончились, освобождена Западная Польша, с 1939 года колонизированная немцами.

«Немцы, на которых работали поляки, убежали. Кое-кто остался. Один такой, типичный ариец, жирный, здорово волновался, падал на колени. Некоторые жители приходили ему бить морду. Мы не дали: приедут власти, они займутся».

«Поляки встречают нас радушно, хлебом-солью, даже называют освободителями. В одно местечко мы въехали первыми. Поляк встречал всевозможной выпивкой. Бедные эти поляки!».

«Питаться стали хорошо, примерно как немцы у нас в 1941–42 гг. Едим свинину, курятину, жиры, мед. Я себя во всем удерживаю».

«А в Кутно было такое дело: ночь там переночевали (между прочим, я там заигрывал с одной полячкой, Зосей, но дальше дело не пошло), утром ребята где-то достали литр спирту — выпили его всем отделением, мне поднесли тоже. Меня здорово развезло, но обошлось».

«Эх ты, о чём заговорил. Или ты не на войне?..»

Эта фраза у Гликина заканчивает заметку об ужасах войны: как приходится тащить связь не только по открытой местности, по еще неразминированным местам, но и по окопам, по солдатам пехоты — спящим, убитым. Иногда убитый казался спящим, связист пытался его будить, и ужас охватывал его, когда в руках обнаруживался холодный оскал смерти. А еще ужасней были стоны умирающих от ран.

Но она же, эта фраза, может быть отнесена и к такой, весьма внезапной для сурового духа тех дней записи, как только что процитированные нами слова о Зосе, а еще — к сделанной в праздничный день 23 февраля 1945 г.:

«Мечтаем о девушках. Как они сейчас нам не хватают! Хотя бы ласкающий женский голос, предназначенный тебе. Нету этого… А как часто можно услышать: «Когда все это, наконец, кончится?». Война то есть. А сколько девушек там томится без нас!».

Итак, девушки... Кроме этих двух скупых вздохов, мы об этом в дневнике ничего не находим. Но в другом блокноте Гликина, отведенном специально под стихи, встречаем более развернутый лирический прилив.

Вот стихотворение «Девушка в шинели», написанное Гликиным в апреле 1944 г.:

Взгляд мой невольно смутила
Солдатка, с улыбкой в глазах.
В ней женственность всюду сквозила —
В шинели, ремнях, сапогах.

Женственность, сквозящая в ремнях, видать, не часто попадалась на глаза молодому солдату, но иногда она могла попасться ему на слух:

Мой грубый слух, что различает
Полёты пуль, снарядов, мин,
Не безразлично отмечает
Твой нежный голос, как жасмин.
(Стих. «Телефонистке», авг. 1944 г., Дубоссары)

Эти изысканные строки мастерством своим выделяются из остальных — в основном непоэтичных, риторических, неумелых. Отнесем это к чудесам, которые способно творить глубокое ощущение переживаемого момента.

«Не той ты дорогой пошла...»

Гликин как поэт представляет собой стихийное явление, существующее вне поэтической культуры. Да, он пишет самые разные стихотворные тексты — то это посвящение повару; то эпиграммы; то стихи о пути полка; то тиражируемые для друзей послания типа «Моя дорогая, ты мне не хватаешь», — но все это не только без владения стихотворной техникой, но и без образного мышления.

Но все же иногда что-то в этих текстах трогает и поражает. Вот запись, сделанная на листке, помеченном в трофейном блокноте Juni 1941, 22 Samstag (22 июня 1941 г., суббота): *«Не той ты дорогой пошла».*

Причем это вовсе не критический упрек Германии, начавшей в этот день сгубившую ее войну, — нет, это строка из все того же стихотворения *«Моя дорогая...»*, упрек любимой от солдата, которому она изменила. Такой вот мистический перекресток, совпадение судеб одного человека и империи.

Он посылает стихи в газету «Красная звезда», но получает негативный отзыв. Несмотря на успех у товарищей в сочинении любовных посланий, все же 1.07.1944 г. в дневнике появляется запись: *«Много и складно написалось стихов, но насчет этого поддержка в батарее никудышняя».*

Но некоторые его стихотворные опыты пользуются успехом. Это в основном переложения популярных песен. «Раскинулся фронт наш

широко», отпочковавшийся от «Раскинулось море широко», мы приводить не будем — он длинноват, но вот два парафраза на другие шлягеры тех лет.

На посту

(*на мотив «Землянки»*)

Вот завернут в шинели солдат,
Как и я, на посту ты стоишь,
А в землянках товарищи спят,
Лишь один ты сейчас здесь не спишь.

Ты проходишь туда и сюда,
Не согреешь озябшей ноги.
Роковые четыре часа,
Станут так велики, велики.

Как бы ни был хорош ты собой,
Упомянешь и Бога, и Мать,
И с винтовкой своей, как с женой,
Станешь бегать, плясать, танцевать.

Но четыре часа пустяки,
Приходилось и больше стоять.
Ну, когда ж, наконец, эти дни
Ты пройдёнными будешь считать?

Мой «Огонек»

На позицию Родина
Снова шлет паренька.
По дороге на станции
Он подвыпил винца.

И пока беспрепятственно
Выпить мог паренек,
Заиграл так отрадостно
На душе огонек.

На минуту забылся он
Про войну и солдат.
Близко вспомнил он милую
И родных и ребят.

На «губе» отсидит теперь
Свой положенный срок
За веселую выпивку,
За хмельной огонек.

Но приятно и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего,
Дорогого винца.

Впереди еще много нам
И боев, и дорог.
Где ж ты, радость далекая?
Где ж ты, мой огонек?

Чтоб врага ненавистного
Крепче бить мы могли,
Можно выпить при случае
Той «целебной воды».

Если случай представится,
Выпьем вместе, дружок,
За великую Родину,
За родной огонек.

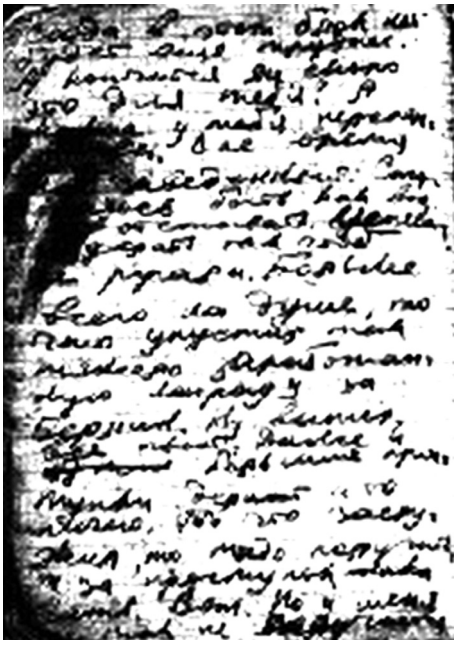
Конечно, охотно веришь Гликину, что эти его песни распевались солдатами, и что сам он был поражён, когда однажды на случайном полустанке услышал одну из них в исполнении совершенно незнакомых ему бойцов. Человеческой теплотой и юморком западают в душу они.

Национальный вопрос

Можно было бы стыдливо не касаться его, но теперь, после горькой предсмертной исповеди Юрия Нагибина «Тьма в конце тоннеля», было бы грехом и трусостью обойти столь щекотливую тему.

У Семёна Исаевича Гликина, потомка местечковых евреев, записей на национальную тему кот наплакал. Но всЕ же кое-что находим. Они связаны с его лечениями. Солдату то ранило ногу, то он проваливался в ледяную воду Одера, то на него накатывались приступы малярии.

«Была возможность остаться при санчасти учиться на санинструктора. Я наотрез отказался. И знаете, из каких соображений? Стали бы обязательно говорить: мол, видите, жид жида куда устраивает? Евреям бы кривое ружьё, и вообще их нет на фронте». (17.06.1944 г.)



А вот запись, сделанная после лечения в другой санчасти:

> *«Врач хотел отправить в тыл. Но почему-то спросил моего согласия. Я отказался. Еще зло брало на дармоеда-доктора (между прочим, еврей), которому просто лень было у себя полечить. И вместо тыла ты опять поехал на фронт». (23.08.1944 г.)*

Ну, вот и все, что удалось найти. Можно здесь обойтись традиционным заключением «Умному — достаточно», а можно добавить и то, что из всей совокупности дневниковых записей следует лишь тот вывод, что если и недолюбливают однополчане Гликина, то не за то, что он еврей, а за его зуд видеть в людях недостатки. Правда, поразмыслив, он им их прощает, а сам если обижается на людей, то как-то совсем по-детски: *«Обмоток пожалели! А Гликин проявлял находчивость. И бимбру* (польский самогон. — А. Ш.) *доставал, да. А вы все говорите!»* (24.01.1945 г.)

«Не хватает жизни»

В ратном труде рядового Гликина, помимо огорчений, в основном психологического характера (например, командиром взвода прислали капитана, моложе по возрасту, не шибко образованного, Гликин готов его побить по всем статьям, но тот не идет на равные отношения, *«генералится»*), есть и отрадные моменты:

> *«А вчера я отвел душу, капнул на сердце. Достал водки за мыло, был пьяным. Хорошо. 6 часов стоял ночью на посту. Сегодня приступ малярии. И как раз выезжаем на передовую». (22.11.1944 г.)*

Чтоб у читателя не создалось представления, что Гликин только и знает, что достает вино, водку, спирт, бимбру и чувствует себя *«хорошо»*, скажем, что в дневнике его немало записей более героического характера: сколько им устранено прорывов линии связи, зачастую под огнем противника, о переправах, о перетасканных тоннах дерна и т. д. Ему дают медаль «За боевые заслуги», а за храбрые действия на плацдарме у Одера — орден Красной Звезды (а мать ему пишет, что награждена медалью «За оборону Москвы»).

Но как бы *«хорошо»* ни чувствовал себя подвыпивший связист, какие бы хорошие вести его ни бодрили, однако: *«Главного не хватает — чувства удовлетворенности, свободы, жизни своих близких людей. Не хватает жизни».* (29.01.1945 г.)

Эта фраза остаётся нерасшифрованной. И нам только остаётся догадываться, что же конкретно имел в виду её автор.

«Что написалось, то написалось»

О Победе уже есть песня: «Этот праздник со слезами на глазах».

У солдата Гликина про «слезы» ничего мы не находим, но концентрация всех прежних обид и разочарований насыщает последние записи его дневника:

> *«9.05.1945 г. Сегодня праздник Победы. Хорошо. Победа. Неужели кончилась война? Там какой стол готовят, но только не для тебя. Для офицеров. Всегда найдутся люди, которые будут праздновать. А ты будто и не воевал».*

«24.05.1945 г. Как я работал, как воевал — никто в плохую сторону не скажет. А те, кто в большей безопасности, те, выходит, «больше воевали» (судя по наградам). И выпивали больше меня. Подумаешь, преступление — выпил на 1 Мая (уже не воевали). Не можешь выпивать… А то, что за меня офицеры думают, это ерунда. Они в первую очередь думают о себе. И, я бы сказал, мелочно думают о себе».

На последнем развороте записной книжки читаем последнюю запись:

«Что написалось, то написалось. Закрой и до поры до времени не заглядывай сюда».

И не заглядывал в свои дневники солдат Гликин многие-многие годы. Объясняет: то некогда было (напряженные послевоенные годы, завершение учебы в институте, работа, семья, в общем — обычная суета сует), то сил уже нет расшифровывать расплывшиеся (чернила и химический карандаш) и полустершиеся (простой карандаш) свои фронтовые записи.

«Всегда найдутся люди, которые будут праздновать». Мы — те люди, которые будут праздновать великую Победу, хотя и без рядового солдата Великой Отечественной войны Семёна Исаевича Гликина. И спасибо ему за то, что он сохранил для нас свои дневники — устранил свой последний «порыв» — в линии связи между героической эпохой его юности и нашими днями.

2020 Москва, Зеленоград

Неужели они выжили?

Лошадь умирала. Ее ноздри судорожно втягивали воздух, ребра под кожей перекатывались волнами. Грива животного, слипшаяся от грязи, падала на морду, скрывала глазные яблоки, кружившие в агонии. Копыта изредка молотили воздух, перемешивая талую воду с болотной жижей. Полозья саней медленно оседали в грязь, и было непонятно, как лошадь тащила их все это время. Начавшееся в суровые морозы наступление затянулось, потом провалилось, обернулось катастрофой и окружением. Ростепель гуляла посреди Волховских болот. Снабжение с «Большой землей» прекратилось, голод и бескормица опустили саван над обреченной армией. Самые бодрые и неутомимые впали в отчаяние, но продолжали упорно идти к восходу солнца.

В санях лежали трое. Четвертым был ездовой, внешне невредимый, но голова его была прострелена мыслью: как теперь везти эту троицу. Он знал двоих, они были из его роты. Сверстник его — Колычев, сын героя революции, погибшего на фронтах Гражданской войны. Он никогда не видел своего отца, мать родила его после похорон. Он неплохой малый, добрый и отзывчивый, но городской и к тяготам не приспособлен. Трудно парню давался туалет на морозе. Теперь ходить ему не скоро придется, осколок раздробил левую ступню.

Второй — пожилой, почти старик, после нынешней заварухи вовсе выглядевший скверно, лесоруб из Вятского края — Трегубов. Вроде он воевал еще на той, первой войне с немцами. Вчера через него прошли три пули, но держится старик молодцом, не скулит, лишь печально смотрит из-под резко выросших надбровий да, покашляв, сплевывает розовую пену, зачастую попадая себе на шинель.

Третий был из другого батальона, но о нем ходили легенды на весь полк. Говорили, что у него хранится на шнурке с десяток именных жетонов. Как когда-то индейцы снимали скальпы, этот снимал с убитых врагов армейские жетоны. Знающие люди твердили, что это лишь жетоны тех, кого он убил в рукопашной, да и то далеко не все — не каждый раз отыщешь под формой в пылу боя этот медальон. Еще одна легенда разъясняла, почему у него нет шести передних зубов. Выходя из «Вяземского котла», он выносил раненого друга, а когда получил по пуле в обе руки, то волочил товарища зубами. Дотащил живым или нет, рассказчики умалчивали, но зубы расшатались, выпали. На вид ему было немногим за тридцать. Лежа на спине, он задрал заросший белокурой щетиной подбородок к небу. Под его забинтованной грудью угадывались бугры твердых мышц. Долгих была фамилия солдата.

Самого ездового звали Борзухин.

В небе противно загудело. Худая горбатая «рама» медленно продиралась сквозь душные облака. Из брюха ее вылетел ворох бумажек. Шелестящее облако опустилось на болото. Колычев ухватил несколько листовок, Трегубов скосил на него взгляд и тихо сказал:

КАЛАШНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1985 г. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

— Лучше б табачку скинули, а то бумажек этих уже чертова прорва.

Борзухин нагнулся и поднял из мутной воды намоченный с краю листок. На нем немецкий повар в фартуке, приставив ладонь ко рту зазывал: «Русские солдаты! Обед готов и давно ждет вас!».

— Грамотно в плен приглашают, — прокомментировал ездовой.

Немного выждав, он добавил:

— Я вот решил в разведку сходить, может, встречу кого…

Трегубов с Долгих молчали, только в глазах Колычева с надеждой мелькнуло одобрение: жажда жизни, заслонявшая здравый смысл.

Борзухин специально не пошел на восток, не хотел, чтобы они видели, будто он уходит в сторону дома. Где-то слева вдали грохнул одиночный взрыв, там, быть может, кто-то пробивает стенку окружения или просто угодил в засаду.

В небе над головой ездового что-то зачихало, забулькало. Тихоходный биплан прошелестел над еловыми макушками, бесшумно скрылся меж ними. Борзухин бросился туда. Сквозь густые ветви летели голоса, кажется русские. «Кукурузник» застрял меж могучих деревьев, повиснув крыльями на ветвях. Солдаты с проклятиями карабкались по сучьям, некоторые влезли на фюзеляж и выбрасывали из самолета мешки с едой. На земле у деревьев растянулся пилот: длинная подкрашенная челка, тонкие линии лица.

— Гнатюк! — крикнул один, проворно потрошивший мешок финкой. — Погляди, жива она там?

— Чего глядеть-то, — отозвался дистрофик, распихивая по карманам сухари, — и так понятно.

— Тогда револьвер у нее выйми, и планшетку.

— Братки, поделитесь, — подскочил Борзухин.

— Чем делиться-то? Чем? — завопил на него дистрофик. — Сами с голодухи помираем!

— Да вот же у вас…

— Чеши отсюда, парень, — влез между ними солдат, потрошивший до этого мешок, и пихнул Борзухина в спину, успев вложить в его ладонь сухарь и кубик рафинада.

Ездовой набросился на еду. Солдаты, вычистив самолет, скрылись за деревьями. Борзухина скрутил еще больший голод. Обхватив себя рукой поперек живота, ездовой брел по лесу. Под ногами встречались трупы, вытянутые в струну и согнутые дугой, застывшие в корчах, свернутые в позу эмбриона. Борзухин огляделся, бывший санбат. В набитых трупами отсыревших палатках ветер бил брезентовой полой, перекатывалась по железному поддону пустая склянка. Под деревьями земли не видно от нагроможденных носилок, в них — мертвые. Борзухин шарил по холодным карманам и одеревеневшим вещевым мешкам. В солдатском сидоре обозначился цилиндрический контур. Нервно развязав узел, ездовой выхватил жестянку мясных консервов. Из глотки вырвался обрадованно-жалостливый вскрик. Банка в середине была насквозь пробита пулей. Вцепившись в отверстие зубами, ездовой рвал банку и чувствовал, как они с треском крошатся. Изранив губы и пальцы об острые края жестянки, Борзухин торопливо доставал застывшие куски тушенки, поедал их вместе с собственной кровью. Со стенок банки он тщательно собрал весь жир и заметил, что туманная пелена растворилась, резь в животе поутихла.

— Оставь трошки, браток, — услышал Борзухин за спиной.

На него с носилок глядели мутные глаза. Труп только что обобранный им слабо шевелил почерневшими пальцами, водил зрачками. Отбросив пустую банку, Борзухин с воплем бросился напролом через ельник.

После долгого бега или от голода он тяжко дышал, в ушах долго стучалась кровь, плавно вырастал какой-то гул. Он решил, что галлюцинация из зрительной перешла в слуховую, помотал головой. Гул сменился свистом, походящим на проделки ветра в печной трубе. Идя на эти звуки, Борзухин вышел к разрытой могиле. Несколько человек стояло над трупом. У него были командирские петлицы, а на дне могилы дробилась стылая вода. На коленях сидел узкоглазый боец, его глотка извергала непонятные звуки. Закрыв глаза, он раскачивался в такт погребальной песне.

— Чего это? — спросил Борзухин.

— Ротного отпеваем, — ответили ему.

— Зачем? — не понимал Борзухин.

— Никто молитвы не знает, Айхал решил по-своему проводить.

— Зачем отпевать? — не унимался ездовой.

Ему ничего не ответили. Сибирский житель достал из-за пазухи деревянного божка величиной с указательный палец, держа его перед губами, стал что-то нашептывать. Затем сделал знак товарищам и те опустили тело на дно водянистой ямы. Округлив губы, Айхал снова завел воющий ветер в печной трубе.

К вечеру Борзухин вернулся на болото. Пока он бродил, сани еще глубже провалились в жижу. Над лошадью склонилось несколько спин в солдатских шинелях. Не ободрав с животного шкуры, они резали тушу ножами и рубили пехотными лопатками. Кто-то тащил сухие ветки и мох, поджигал трут и правил костерок. Борзухин молча смотрел, затем произнес:

— Дохлятина ведь…

–— Жрать охота!

Насаживая куски конины на граненые кончики штыков, спины в солдатских шинелях толпились у огня, и, не дождавшись, пока мясо прожарится, рвали зубами едва подрумянившиеся мышцы. Понимая безнадежность своего вопроса, Борзухин все же сказал:

— Может, раненых мне поможете донести?

— Куда?

— Ну, до линии фронта.

—– А где она линия эта? Ты знаешь?

— Ходим з намы, хлопец, — сказал один солдат с длинными усами. — Глядышь, оно ладнише буде. Ранетых все равно в пазуху не поскладаешь.

Ездовой не смотрел на сани, ему было стыдно за сказанное усачом, за свои мысли. Он с радостью бы примкнул к спинам в солдатских шинелях.

— Борзухин! — позвал Долгих от саней.

Ездовой подошел к раненым, блуждая взглядом у себя под ногами.

— Иди с ними. На нас не смотри. Я не жилец, да и остальные.

— Ступай, — вставил Трегубов. — Вот возьми только, если дойдешь вдруг, адресок здесь, напиши старухе моей.

Борзухин взял бережно завернутую в тряпицу красноармейскую книжку и несколько солдатских треугольников. Трегубов достал из пазухи значок «Отличный артиллерист».

— Вот, и его, если сможешь, передай. Детям в память. С той войны-то у меня «Егорий» с медалькой дома остались, а на этой вот только успел значок заработать.

Колычев ничего не говорил. Он с головой укрылся шинелью, тихо плакал под ней. Борзухин хотел сказать что-нибудь бодрое для них или оправдательное для себя, но так и не сказал.

Над болотом опускались сумерки. На ходу распихивая сырую конину по карманам, цепочка спин в солдатских шинелях утекала в лес. Борзухин пристроился у цепочки в хвосте.

Глубокой ночью Борзухин с новой компанией вышли к околице неизвестной деревни. Тишина вокруг нее и темень в окнах изб говорили о запустении, но пустота эта могла быть обманчивой. После тихих совещаний решили пойти в крайнюю избу и заночевать. Постояв немного у порога, Борзухин первым дернул дверь, она оказалась не заперта. В избе повис мрак, однако пахло человеческим теплом и несвежими портянками. Кто-то из солдат наступил на пустое жестяное ведро, оно отчаянно зазвенело. Из соседней комнаты раздалось сонное бормотание:

— Was zur Hölle? Seien Sie weg! Hier, ohne dass Sie wenig der Raum (Какого черта?! Проваливайте! Здесь и без вас мало места (нем)).

На секунду в доме повисла мертвая тишина, кто-то из спутников Борзухина негромко произнес:

— Alles, alles, so dass ... (Все-все, уходим (нем)).

И тут же принялся выталкивать растерянных спутников. На улице уже бродил тревожный шепот: «В избе немцы! В деревне немцы!..».

— Русанов, ты откуда немецкий знаешь? — спросил кто-то.

— Воронежская гимназия, спасибо «царю-батюшке» за образование...

— Деревню надо обойти, к черту ее, в лесу спокойнее, — слышались голоса в отряде.

Борзухин хотел последовать за компанией, рванувшей через огород опять к лесу, но в сарае раздался какой-то шум. То фырчала лошадь. Ездовой покрылся горячей испариной. Дрожащими руками он открыл в сарае створку ворот. Во тьме едва угадывались очертания предметов. Нащупав руками шею животного, Борзухин гладил ее, приговаривая:

— Не бойся, я свой. Ты, небось, сам-то русский? Из советского колхоза забранный, али из семьи крестьянской. Не бойся, Мальчик, не бойся.

Чиркнув спичкой, ездовой заметил висящую на столбе сбрую. В спешке взнуздав двух коней, Борзухин торопливо вывел их на улицу, затем влез на неоседланную спину одного из них, и пустил его шагом к лесу. Когда ветви первых деревьев скрыли его от деревни, ездовой облегченно выдохнул.

Колющие холодом апрельские звезды освещали ему путь. Мелькали белизной в темноте стволы молодых осинок и тополей. Здесь прошел не один десяток оголодавших людей. Кора с деревьев была содрана на высоту человеческого роста и деревья стыдливо прятали свои оголенные тельца за еловым лапником.

В темноте сани с ранеными отыскать было непросто. Борзухин выкрикивал фамилии бойцов, и голос его одиноко звенел над болотом. Не сразу донесся отчаянный отклик Колычева. Саней под ранеными не оказалось, их съела трясина. Долгих с Колычевым, опершись на локти, держали голову Трегубова над жижей, чтобы тот не захлебнулся. Борзухин продел уздечку одного из коней в свой солдатский ремень, надеясь, что тот, в крайнем случае, вытащит хотя бы его и стал вытаскивать раненых по одному. Ноги по колено уходили в трясину, но сапоги упирались в твердость утонувших саней. Когда все трое лежали на траве, ездовой сходил в лес и принес оттуда четыре подходящих оглобли. Из залепленных грязью шинелей и оглобель он смастерил две волокуши, на которые уложил Долгих и Трегубова. Колычеву помог забраться на спину коня, взял уздечки в обе руки и зашагал.

Весь следующий день и всю ночь он вел свой караван без остановок, прикорнув немного только на рассвете. Трегубова дорогой растрясло, он постоянно сползал с неудобной волокуши, и оставалось непонятным, как в нем вообще держится капля жизни.

Темнота стала редеть, Борзухин снова двинулся на восход солнца. За спиной его послышалась далекая стрельба. Все четверо разом решили —

им не перейти фронта. Безмолвно ждали. Вот еще шаг, еще десяток метров, еще узкая просека… Они не знали, что этой ночью пересекли еще не четкий, размытый рубеж.

— Кто идет? Стреляю! — услышал Борзухин и не поверил ушам.

— Свои, браток! — выкрикнул он. — Не стреляй!

— С окружения? — показался из крохотного окопчика часовой.

— Да. У меня тут раненые...

— Шлепай дальше, там тебя встретят.

Из передовой траншеи вылезали заспанные люди:

— Гляди, окруженцы!

— Натерпелись бедолаги.

— Санитарку сюда, живо!

С коня ссадили Колычева, взяли на руки Долгих и Трегубова. Борзухина хлопали по плечам, совали в губы чинарик, жали руку, хвалили. Из землянки прибежал лейтенант лет двадцати.

— К замполиту сначала! — строго напомнил он.

— Да куда к замполиту? — возразили ему. — Ноги протянут.

— Этих в санбат, а целого в политотдел, — твердо стоял лейтенант.

— Да у меня и документы целы, и оружие вот, сохранил, — показывал Борзухин залепленный тиной карабин.

— Отлично, считай, пропуск себе выписал. Там тоже не звери сидят, не бойся, — успокаивал его лейтенант.

Борзухин догнал носилки с ранеными. Достав из кармана узелок с документами и значком, он вложил его в шершавую ладонь Трегубова:

— Теперь сам жене напишешь.

Тот лишь прикрыл глаза, соглашаясь с ездовым.

— Борзухин! — позвал Долгих. — Молодцом парень, держись… свидимся. Не в госпитале, надеюсь, а тут — в окопе. Я им не все долги еще раздал.

— Встретимся! — обещал Колычев, крепко сжимая ладонь Борзухина. — После войны… и сами себе не поверим.

Александр ЛЮСЫЙ

Я ДВЕ ВОЙНЫ ТЕБЯ ЖДАЛА…

Как Илья Сельвинский претворял в стихи опыт своих войн, до Великой Отечественной включительно

> Сельвинский — брошенная зона геологической разведки, мильон квадратных километров надежд, оставленных давно.
>
> *Борис Слуцкий*

Сразу же уточним взятое в эпиграф четверостишье ученика Ильи Сельвинского: его творчество — «зона» не только «геологической», а и собственно разведки в прямом, оперативном смысле…

Конечно, все перипетии жизненного и творческого пути советского поэта Ильи Львовича Сельвинского (1899–1968) в рамках одной статьи даже и кратко изложить невозможно ввиду особой дискуссионности ряда моментов его судьбы.

Он родился в Симферополе в еврейской семье зажиточного, но с тенденцией к разорению, подрядчика-меховщика, участника русско-турецкой войны. Первую русскую революцию остался в стороне, в ходе следующей революции, оказавшись сначала в отряде анархистов, а потом и Красной гвардии. Это не помешало в 1919 году окончить гимназию с золотой медалью. Сменил множество профессий (был грузчиком, натурщиком, репортером, цирковым борцом «Лурихом вторым»), попутно прочитал «Капитал» Карла Маркса, после чего несколько лет подписывал свои произведения «Илья-Карл Сельвинский».

Поступил на медицинский факультет Таврического университета в Симферополе, в 1921 г. переехал в Москву, где учился на отделении права факультета общественных наук 1 Московского университета, которое окончил в 1923 г. С 1922 г. Сельвинский работал в Центросоюзе, затем в Сельсоюзе, а в 1928–32 гг. — в Союзпушнине, благодаря чему объездил почти всю страну: среднерусскую полосу, Урал, Крайний Север и Дальний Восток, Киргизию, Камчатку. Как корреспондент газеты «Правда» в 1933–34 гг. участвовал в экспедиции по Северному морскому пути на пароходе «Челюскин». В годы Второй мировой войны был батальонным комиссаром, подполковником, воевал на различных фронтах, участвовал в кавалерийских атаках, несколько раз был ранен. Его песня «Боевая крымская» стала гимном Крымского фронта.

Позволю напомнить ранее обоснованную мной в ряде монографий и статей общую схему ментального построения локального текста

ЛЮСЫЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ родился в 1953 г. в Крыму, в Бахчисарае. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза российских писателей и Международной конфедерации журналистов. Автор книг: «Пушкин. Таврида. Киммерия», «Языки русской культуры», «Крымский текст в русской литературе», «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность», «Поэтика предвосхищения: Россия сквозь призму литературы, литература сквозь призму культурологии», «Новейший Аввакум: текстуальная революция в России в свете Первой мировой Крымской семантической войны». Живет в Москве.

культуры. Для этого была приспособлена общая историософская схема «вызова-и-ответа» Арнольда Тойнби, сквозь которую просвечивается высказывание Александра Герцена, что на вызов Петра I Россия ответила явлением Пушкина. В рамках Крымского текста вызовом стал имперский миф Тавриды XVIII–XIX веков, в котором в XX веке М. Волошин изобличил колониальную, выражаясь современной терминологией, составляющую, основанную на внешнем, «туристическом» взгляде, который был свойственен русской классической литературе как таковой, противопоставив ему «внутренний», по замыслу автохтонный миф Киммерии, пронизанный «исторической тоской» и текущей болью самой этой земли.

Сам этот миф также пронизан внешними культурными экстраполяциями. В частности, Дом поэта в Коктебеле в значительной мере стал смысловым переносом из Петербурга в Крым ивановской «башни». Но для Анны Ахматовой киммерийские игры «обормотов» тоже оказались чужды своими неуместными «вызовами», почему она полемически идентифицировала себя в своем крымском измерении как «последняя херсонидка» с повышенной степенью автохтонности.

И. Сельвинский по-своему вписал себя в указанную выше систему противопоставлений Крымского текста как такового в его функциональности и открытости предстоящим идентификациям. «Я слышу эхо древности седой, / Когда брожу, не подавая вида, / Что мне видна под пеной нереида (...) / Как я люблю тебя, моя Таврида! / Но крымец я. Элладе не в обиду / Я чую зов эпохи молодой». Крым противопоставляется Тавриде по-крымски. В духе мифов Тавриды и Киммерии Сельвинский создал личный миф своего крымчакского происхождения.

Да, роль чемпиона поэтической крымскости по автохтонному праву рождения принадлежит, конечно, ему, избравшему себе, после разглядывания себя в байронически-ницшеански-цирковом зеркале, карлмаркситстского переписывания социального паспорта, примеривания в руке анархистской шашки и победоносного большевистского «товарища маузера», роль не просто крымца, а крымчака. «Но сказать о Крыме, что это многонациональный край значит ничего о нем не сказать. — В Крыму ясна сама относительность понятия «нация». Уже скифы, двести лет владевших Киммерией, под конец вобрали в себя все племена, кочевавшие в южной Таврии. Особенно же любопытна судьба голубоглазых ост-готов... куда они делись? Ведь они никуда не уходили. Однако их нет. По кто же такие «крымчаки» — племя, взявшее иудейскую религию у хазар, а язык у татар? Почему они нередко голубоглазы и светловолосы?» О том, что такая локальньно-концентрированная и этническая идентификация была прежде всего ролью — см. интереснейшие биографические разыскания М. Б. Кизилова и Н. М. Кизиловой в коллективной монографии «За горизонт зовущий»: Художественный мир И. Сельвинского (К 120-летию со дня рождения поэта): коллект. Монография / отв. ред. д-р филол. наук. А. П. Люсый; ред.-сост. Д-р филол. наук. А. В. Петров и Л. И. Дайнеко. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020.

В то же время поэту океанических масштабов оказалось тесновато в мифологических построениях и реальных евпаторийских курзалах окружающего, текущего, таврического Крыма.

И в кино-кафе с вентилятором,
Где ночь продается на метры
Я бросаю в лакейский атриум:
«Алло! Порцию ветра,
Что в звонницах и запонках,

В моей голове и Ай-Петри,
Но лакей с дрессировкой Запада
Извиняется: «Нету ветра».

Я состою при Времени», — заявляет Евгений Ней, главный герой автобиографической повести «Записки поэта», о приоритетах своих новых художественных «прописок».

Да, это были не только заглавья. Не только
Цветные афиши, вещающие о тексте:
В каждом из них очертанья громадной жизни,
Точно в канале — здания силуэт.
Но мне совсем не нужна была эта громада:
Ведь это же снова думать о том, что я нищ…
Опять прозябанье… Женитьба… 15 000…

Нет, ни за что! Ничего не хочу от жизни!
Только б зарыться в эту огромную дюну,
теплую, ласковую такую,
И слышать шорох струящегося песка,
И выдумывать, будто я карлик, маленький карлик,
Несущий службу у этих часов песочных,
У дюны этой, пересыпающей Время [18: 2, с. 166].

Любопытная коллизия между глобальным Карлом и пытающимся спрятаться, визуально замаскированным и лингвистически зашифрованным карликом, приобретающим в таком контексте обобщенный, инвариантный смысл как образ существа, непосредственно причастного к движению и сохранению Времени на фоне пространственных смещений.

В конкретных произведениях данный образ используется в двух вариантах значений — позитивном и негативном. В позитивном значении, кроме «Записок поэта», он возникает, например, в «Караимских эскизах». Поэт характеризует караимов метафорой «народец-карлик». И в этом определении Сельвинский объединил признание малочисленности данного народа Крыма с идеей сохранения караимов в этническом своеобразии следов тысячелетней истории, культуры.

Модель своих противоречивых взаимоотношений не просто с исторической родиной, но с тогдашним состоянием Крымского текста с его яркими «маринами густыми» и профанными «крымскими видами» поэт воссоздал в стихотворном романе «Пушторг».

О юность моя! Я заглох, зачах,
Я рвусь, я тянусь к тебе неукротимо,
Но ты затонула в татарских ночах,
В маринах густых золотистого Крыма
В рондо таврического соловья,
Где я различал родные слова.
Там продавали «крымские виды»
В парках, курзалах, у пляжных скамей.
Но для меня виденья Тавриды
Античною родиной были моей.
Откуда пришли мои предки? С гор?
С моря? С поля? Но до сих пор
Несу я в крови, от эпох молодея,
Скифа, эллина, иудея.

Таковы выраженные в последней строке три источника и три составные части личного поэтического мифа Сельвинского с его карл-марксизмом. Между прочим, формула традиционного марксизма о классовом разделении как предыстории человечества приобрела оригинальное таврическое в географическом смысле (северо-крымское, имеется в виду место как историософской, так и идейной идентификации автора) преломление.

Ворон, сидящий на цвели древка,
Гнилою кровью закисшее море...
Здесь закончилось введение в века —
Отсюда начинается история.

Впрочем, опыт участия в гражданской войне включил в себя и отчасти цирковой трюк редуцирования воображаемой этнической триады в реальную дихотомию. Этнопоэтика в бою такова:

Будто кто-то хлыстом сутульим
Махом о воздух жужжит:
Низко летают пули,
И ругаются — жжжид!
Ладно, ладно, ругайтесь,
Черносотенное хулиганье;
Не сегодня — завтра, как зайца,
Врага в рагу мы угнем.

Опыт участия в гражданской войне включил в себя и отчасти цирковой трюк. «Пуля заерзала по земле вброд» («Улялаевщина»), «Но раз из Москвы, в перепрыге пуль», прибыл комиссар» («Казнь Стецюры»), «И, как малиновую карамель, Со смаком глотнул бы кислую пулю» («Читатель стиха»).

Среди «комиссарской карусели» в таврических степях отпущенного на махновскую вольницу текста возникают ностальгические видения по былому, не разбитому, сообществу и устойчивому быту.

Да, может быть, рыжий котенок
Таращит в глазищах вопрос:
Где же делся этот Суконный,
Который дул ему в нос?
Вот и лампу зажгли стариканы:
Самоварчик ведет свою нить.
У папульки в его стакане
Бубенцами тройка звенит;
А старушка моя, математик,
Загибает на пальцы закат.
Не так ли гадала маты
За Ондрия за козака?

Тоскуют и зовут к себе сами вещи — «чернильница и перо». Ранний Сельвинский — это игра на повышение степени аккустичности истории за счет фрагментации быта и бытия. Из акустики рождается современная семиотика истории. Вот образец сельвинского интертекста интеркрыма в звуковом выражении.

Паук-протопоп, крича про потоп,
Да туз-буржуй на пушке,

Помещик Врангель с дяблями,
Ножки-фри, икотица…
Эй, яблочко,
Куды ж ты котисся?!

А пена капустой айда гуляет!
Это не люди, не стар и млад:
Это прет единица с нулями,
Это ожила сама земля…
И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический взвой —
Все воспевает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

Это был-труба, барабан!
Их последний — да. Раба!
И реши — жих-жах!
тельный бой — нив и шахт!

С Интер — пулеметы — нацио
Дзум пыйхь — оналом
Воспрянет — трубы — род — барабаны:
Людской! Гром. Бой.

Как комментируют настоящем издании эти строки современные крымские филологи, этнопоэтика И. Сельвинского оказалась перспективней и долговечней синхронной ему этнополитики. В крымском масштабе она воскресила реальное ощущение Крыма (и всех народов Крыма) как наследников разноязычных, разнокультурных, разноконфессиональных традиций и зачинателей новых форм. В евразийском и мировом масштабе она продемонстрировала особые возможности «культур перекрестка», «культур пограничья», где «периферия» способна стать центром, а далекое прошлое — моделью, прогнозом и предостережением для будущего.

В 1929 году вышла «Крымская коллекция» с текстологическими портретами крымских городов. Симферополь, «чиновничьему, старушечьему, архивному» Симферополю. «Хороший город» допустил «оплошность / И в нем случайно родился — Я!», — восклицает Сельвинский. А в скобках добавляет: «А после этого слуцая / Произошла революция…».

Элементы ампира (позднего классицизма) использовались в архитектуре дореволюционного Симферополя, и симферопольский домик Сельвинских был украшен шестью женскими головками в античном стиле. В центре Таврической (области) губернии с 1784 года, а затем и Крымской АССР с 18 октября 1921 года — в Симферополе располагались административные учреждения и все делопроизводство. В 1887 году здесь образована Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК), а в 1919 году — Крымцентрархив, — эти учреждения были на виду, находились в центре города и придавали ему чиновничий и архивный колорит. Съездить в Москву называется «пир»; в рукописном варианте: «горчицу купить называлось «пир»… В 20-е годы для большинства населения «горчицу купить» (значит, в доме есть продукты, которые едят с горчицей) означало «пир» [4]. Так сказать, автохтонная, местным, крымчанским, языком выраженная бытовая примета крымского голода 1920-х, на фоне знаменитых мандельштамовских строк: «Холодная весна, голодный Старый Крым».

Исторически точно передан в «Крымской коллекции» и облик Севастополя:

> ...в Севастополе даже загар
> Сер, как серы его броненосцы,

тяжесть потерь русской армии в Крымской войне;

> И в мирной прохладе меж кедром и пихтой
> Вдруг будоражит могильный стон:
> «Здесь был 7-й бастион»,
> «Здесь была батарея таких-то» («Севастополь»).

Выстраивание своей литературной преемственности Сельвинским в романе «Пушторг» интересно теперь рассматривать именно сквозь призму Крымского текста:

> Крым... Как весело в буханьях пушки
> Кровь свою пролил я там впервой!
> Но там же впервые явился Пушкин
> И за руку ввел меня в круг роковой.
> Сначала я тихо корпел над рифмой,
> На ямбе качался, как на волне...
> И вдруг почуял я вой надрывный...
> Жизнь разверзлась пещью в огне!

Личная судьба на пути через испытания и потери также имеет свои стержневые и профанные (пограничные) места, сопряженные с реальными пространствами, свои зоны промышленных вибраций и природных содроганий и боевых порывов.

Сельвинскому был присущ пафос Колумба — открывателя и завоевателя, который никак не мог быть реализован на месте рождения. Время между крымским бытием и воображаемым возвращением в крымскую юность отмечено поиском новой, «своей» в смысле первооткрытия, а не изначальной данности, земли, обученной, как Галатея Пигмалионом, мыслить и говорить на должном языке, каковой стала Арктика.

Невольно воспоминаются по этому поводу две редакции поэмы поэтического Колумба Крыма Семена Боброва «Таврида / Херсонида». Вряд ли Сельвинский читал Боброва (книг Боброва нет даже в библиотеке такого всестороннего знатока Крыма, как М. Волошин). Однако в «Челюскиниане» воспроизводится сам перечислительный архетип поэтического первооткрывателя наконец-то достигнутой земли (при том что обрамляющие оба зрительных ряда, достаточно явно выраженные идеологии обоих «колумбов» были совершенно разными). Льды, конечно, по-своему хороши, создавая образ «полярного Рима» и «кубизма саклей», зрительный аналог грандиозных симфоний, но вот как, крупным планом, разворачивается описательное «исчисление» именно земли в духе бобровского «Рассвета полночи», которое в самом Крыму для Сельвинского оказалось возможным в пространстве природы «полночи», а не «полдня».

> Какая повсюду чудесная грязь!
> И чавканье, а не треск!
> Сразу приятно исчезла из глаз
> Блеска алмазная резь.
> Земля... Как мягки ее черты...
> Соленый холод размяк.
> Алой кровинкой в жиру черноты

Цветет моховидный мак.
Смачные черви уютно текут
Розовым тельцем своим:
Какие-то птицы гнезда ткут...
Роскошно живется двоим!
……..
Где-то затих ледовитый вой,
Тишь... Ни сна, ни былья...
Я крикнул имя — и эхо впервой
Произнесло: «...илья!».
……..
У ней коса и вздернутый мыс,
У этой земли неземной.
Я к ней пришел, как первая мысль,
И она задумалась мной...
И я учу ее говорить,
И слышу девичий гул:
«Стол!» — кричу я из-под горы...
«Стол!» — кричу я... «Стул!»
Она от криков уже извелась,
Мы лозунги ревем:
«Да здравствует Советская власть!» —
Хрипим мы с ней вдвоем [15, с. 140–141].

Вероятно, здесь дано описание высадки на остров Уединения в Северном Ледовитом океане после ледового плена вместе с «челюскинцами» в 1933 году.

Поэзия Сельвинского именно через свойственную ему «я-форму» знаменует небывалое расширение культурного пространства во все стороны света посредством текстов культуры и Крымского текста в частности. В дальнейшем творчестве, с новым военным крымским опытом, Сельвинский редуцировал пространственные координаты личного пространства поэтического существования до двух основных знаковых природных явлений, одним их которых оставался крымский, а не арктический полюс:

Но остались у меня два друга:
Тихий океан и Чатыр-даг.

Почему-то вспоминается по этому поводу знаменитая фраза Александра III — «Миротворца»: «У России есть только два союзника: ее армия и флот»...

В «Записках поэта» одна из лирических ипостасей Сельвинского поэт Ней утверждает: «Революция возникла для того, Чтобы Блок написал „Двенадцать“». Пули на время отжужжали и поэт вслед за своими нотами «музыки революции» пытается слушать «гудение прокатного литья» мирного врастания классов, этничностей и других, имеющих свой текстологический потенциал, сущностей в социализм в том его векторе, который мог бы пойти от тогдашнего Николая Бухарина к еще неведомому Дэн Сяо-пину (суть такого сопоставления будет раскрыта ниже).

Пришло время новых исторических вызовов, Великая Отечественная война. Поэт постигает новую войну, новый тип войны, и взрослеет вместе с войной. В газете «Красная звезда» 15 июля 1942 г. Публикуется его стихотворение «России».

Хохочет, обезумев, конь!
Фугасы хлынули косые...
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия.

Опять судьба из боя в бой
Дымком затянется, как тайна —
Но в час большого испытанья
Мне крикнуть хочется: «Я твой!».

Во второй редакции стихотворения начало меняется в соответствии со всем реальным многообразием военного опыта, в котором «коню» остается все меньше и меньше места, при сохранившейся личной увлеченности кавалерийскими атаками, нередко самовольными. После участия в одной из них он сначала получил взыскание, а потом был награжден орденом Красного Знамени.

Взлетел расщепленный вагон!
Пожары… Беженцы босые…
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия.

Теперь Восточный Крым у Сельвинского — это не воображаемая волошинская Киммерия, а повод в очередной раз озвучить актуальную историю. На противоположном берегу Керченского пролива геополитический черный ворон слышался в 1942 году в стихотворении И. Сельвинского «К бойцам Крымского фронта»: «Вот так мы и жили, не радуясь / дням, / С горем глухонемым. / И каждая галка каркала нам: / «Крым! Крым! Крым!». Но — «вот в кургане царя Митридата/С биноклем засел замполит».

В годы этой войны Илья Сельвинский был одним из самых любимых авторов советских солдат и офицеров. Общий тираж трех его сборников стихов 1942–1943 годов превышал 10 тысяч экземпляров, а такие произведения как «Я это видел», «Каменоломни Аджимушкая» издавались миллионными тиражами в виде листовок и плакатов. «Боевая Крымская» стала песней Крымского фронта.

В кандалах Германии.
Под горниста рев
Слышатся рыдания
Крымских городов…
Что же нам, товарищи,
Думать да гадать?
Нашей ли да ярости
Гада не прижать?
Бей, родная, близкая,
Как своя семья,
Боевая Крымская
Армия моя!
Вон уже за кровлями
Блеск и синева.
Ну-ка, братцы кровные,
Битвы сыновья!
Кто из вас уродину
Выбить не готов?
Воротить на родину
Море и орлов?
Бей, родная, близкая,
Как своя семья,
Боевая Крымская
Армия моя!

Боевая Крымская,
По врагу — огонь!
В бой кавалерийская
Лава-ветрогон!
Самолеты — соколы,
В бреющий полет!
Штыковая стойкая
Линия — вперед!
Бей, родная, близкая,
Как своя семья,
Боевая Крымская
Армия моя!

Военная служба И. Сельвинского, по данным сотрудника Музея Сельвинского в Симферополе Людмилы Дайнеко, началась в августе 1941 года в Крыму в период оборонительных боев за полуостров. В составе редакции фронтовой газеты «Боевой натиск» он воевал на Крымском фронте. Затем участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, по освобождению Кубани, Тамани, в Керченском десанте… Фронтовая биография поэта на Северном Кавказе была наполнена множеством разнообразных событий, встреч, знакомств, выходом сборников «Баллады и песни», «Военная лирика», публикацией большого количества стихов и очерков в армейской и гражданской печати. Именно в этот период подполковник Сельвинский был награжден орденами Красного Знамени (22.02.1943) и Отечественной войны I степени (16.10.1943).

Поэт прошел через катастрофу Крымского фронта, одну из крупнейших за всю войну. Самолет, на котором улетал Сельвинский, попал в аварию и упал в районе Туапсе. Разбирая обломки крылатой машины, санитары обнаружили бездыханное тело поэта и, посчитав его погибшим, отнесли к груде трупов. Спасли его — часы, которые привлекли внимание медсестры. Снимая их с руки, она почувствовала слабое биение пульса…

Судьба «Боевой Крымской» удивительна. После всплеска популярности наступило несправедливое забвение. Крым был сдан, тяжелые оборонительные бои идут где-то на Кавказе. Но уже в Тбилиси после госпиталя, пересекая скверик, И. Л. Сельвинский увидел нищего инвалида, который просил милостыню и пел «Боевую Крымскую».

Вспоминая этот случай, И. Л. Сельвинский писал жене: «Я бросился к нему, как к родному! Ты представляешь, что я должен был чувствовать!».

20 мая 1942 года войска расформированного Крымского фронта были включены в состав образованного Северо-Кавказского фронта. Редакция, в которой служил И. Сельвинский, стала подчиняться Политотделу этого фронта, а газета получила новое название — «Вперед к победе». Редакция располагалась в Краснодаре.

Когда в кавказском кавполку я вижу казака
На белоногом скакуне гнедого косяка,
В черкеске с красною душой и в каске набекрень,
Который хату до сих пор еще зовет «курень», —
Меня не надо просвещать, его окликну я:
«Здорово, конный человек, таманская земля!»

16 июня И. Сельвинский был ранен в ногу и контужен. Затем военкор был откомандирован в Москву, где 13 июля выступил с отчетом на Военной комиссии Союза писателей. В Москве ему была сделана операция

в связи с полученным на фронте ранением, после которой он уехал в отпуск к семье в город Чистополь.

На фронт И. Сельвинский вернулся в начале декабря 1942 года, когда первый, оборонительный, этап битвы за Кавказ уже завершался (он проходил с 25 июля по 31 декабря 1942 года). Редакция газеты «Вперед к победе» находилась в прифронтовом Сочи.

Черноглазая казачка
Подковала мне коня,
Серебро с меня спросила,
Труд не дорого ценя.
— Как зовут тебя, молодка?
А молодка говорит:
— Имя ты мое почуешь
Из-под топота копыт.
Я по улице поехал,
По дороге поскакал,
По тропинке между бурых,
Между бурых между скал:
Маша? Зина? Даша? Нина?
Все как будто не она…
«Ка-тя! Ка-тя!» — высекают
Мне подковы скакуна
С той поры, хоть шагом еду,
Хоть галопом поскачу,
«Катя! Катя! Катерина!» —
Неотвязно я шепчу.
Что за бестолочь такая?
У меня ж другая есть.
Но уж Катю, будто песню,
Из души, брат, не известь:
Черноокая казачка
Подковала мне коня,
Заодно уж мимоходом
Приковала и меня.

Сюжетная основа этой песни — фрагмент фронтовой жизни лирического героя периода Великой Отечественной войны. Но подобная ситуация могла случиться и в эпоху Гражданской войны, и в более отдаленные, былинные времена. Признак, по которому «совершенно» объединены настоящее и прошлое — ситуация войны, которая прямо не названа, но подразумевается: мужчина на коне — вневременной символ воина, женщина, вынужденная выполнять тяжелую мужскую работу (труд кузнеца) — знак отсутствия в селении мужчин: они на войне. Произведению в целом и его художественному времени придано фольклорное качество. Аналогичным качеством обладают «Песня казачки», «Казачья колыбельная», «Русская пехота» и некоторые другие стихотворения. В них могут акцентироваться отдельные детали, выдающие военное настоящее (время Отечественной войны), но принципиально они не влияют на общее — фольклорное — свойство времени в этих произведениях[1].

[1] Гаврилюк В. Л. О художественном времени в поэзии И. Сельвинского // За горизонт зовущий. Художественный мир И. Сельвинского (К 120-летию со дня рождения поэта) Симферополь: Антиква, 2020. С. 96.

Второй этап битвы за Кавказ (контрнаступление советских войск) продолжался с 1 января по 9 октября 1943 года. Войска Южной и Северной групп Закавказского фронтов перешли в наступление. 24 января Северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт (второго формирования), в составе которого в дальнейшем воевал И. Сельвинский.

Людмила Дайнеко выделяет два эпизода из этого времени: о его пребывании у партизан и об освобождении Новороссийска.

В декабре 1942 — январе 1943 года военкор побывал в партизанских отрядах, действовавших на Северном Кавказе. В сентябре 1942 года они были объединены в семь соединений. В одном из них — Краснодарском — военкор встретил старого знакомого И. И. Поздняка, командира этого соединения.

В дневнике И. Сельвинского описана эта встреча и дана зарисовка партизанского быта на вершине горы Щетка: «Радость моя была неописуема. Поздняк был в восторге. Немедленно переодел он меня вовсе сухое, спали мы с ним на общем каменном ложе под одним одеялом. И говорили, говорили, говорили. Фронтовикам есть о чем поболтать. Кормил он меня исключительно мясом дикой козы, кабана и оленя. Эти деликатесы в его меню вынужденные: снизу подвоза нет, и он питается тем, что забивает в горах состоящий при нем охотник.

Пещерка его вся в коврах. Пол местами с деревянным настилом. Есть даже выступ, где корешками на зрителя стоят книги. Окон, конечно, нет. Но зато имеется дверь, в которую вставлено автомобильное стекло толщиной в руку. Так что жизнь роскошная».

В хранящемся в Музее Сельвинского в Симферополе письме к Ш. Сидаеву в Чистополь от 25 января 1943 года Илья Львович писал, что «немцы смертельно боятся наших партизан». Далее он рассказывал: «В нашем районе партизаны поработали очень неплохо. На каждого партизана по статистике приходится один убитый фриц. …Недавно в горах мне довелось допрашивать одного пленного немца. Оказывается, они очень напуганы нашей техникой. «Катюшу» они называют «Сталинский орган», штурмовой самолет — «Иван Грозный», а зиму — «Белый Большевик» (ее они тоже причисляют к вооружению Красной Армии)». В письме к дочери Татьяне от 26 января военкор отмечал: «Я недавно был в горах за Кабардинским перевалом. …Устал я от этих гор невыносимо! Горная война очень тяжелая штука. Допрашивал там немецкого солдата Фридриха Гальмута — он говорит то же самое». В общей сложности военкор провел у партизан 10 дней, а впечатления изложил в двух очерках — «Пленный Фридрих Гальмут» и «Кубань в дыму». Наиболее интересен второй очерк. В нем И. Сельвинский рассказал о том, как отряд из девятнадцати человек освободил пленных красноармейцев и ликвидировал конвой из «пятидесяти фрицев». Очерк завершается словами: «Кубань в дыму! Этот дым отравляет дыхание оккупантов. Они уже начали задыхаться. Еще один, другой мощный натиск Красной Армии с фронта, еще одна, другая вылазка партизан в тылу — и никакие доты и блиндажи не удержат немецких солдат на Кубани».

Черновик указанного очерка содержит интересные подробности партизанской тактики. Военкор был удивлен обилием прибитых к стволам деревьев табличек: «Откуда эти таблички? Какие вообще таблички возможны в горном заповеднике, где у вашего огня, как сладкий сон, вдруг возникает олень… — и также вдруг исчезает. Привычным глазом ищете вы на табличках знакомые фразы: «Просят траву не топтать», «Разводить костры воспрещается». Но нет! Строгие готические буквы объявляют всем и каждому на ненавистном немецком языке: «В этом лесу —

партизаны!», «Внимание: партизаны!», «Осторожно: здесь партизаны!». И. Сельвинский предлагает сопровождавшему его командиру уничтожить таблички, т. к., по его мнению, они обнаруживают места расположения партизан. Однако командир не соглашается: «Вот это как раз неверно! — И лихо подмигнув, добавляет: — Там, где это нам не нужно, их нет. — Я засмеялся своей недогадливости».

Новороссийско-Таманская военная операция началась в ночь с 9 на 10 сентября 1943 года высадкой морского десанта в Новороссийском порту. Красная армия прорвала центральный участок «Голубой линии» противника и 16 сентября полностью освободила Новороссийск.

И. Сельвинский был на передовой с конца августа, с периода подготовки новороссийского десанта. Ночь с 9 на 10 сентября 1943 года описана в дневнике так: *«Во время штурма Новороссийска передовая проходила через цементный завод. Ночью я с группой разведчиков очутился на заводе, чтобы посетить штаб ген. Аршинцева. Все, кого ни спроси, указывали на горящее здание: там штаб. Я удивился, но подошел к объятому пожаром дому. Часовой показал мне путь: по лестнице вверх. Поднялся. Действительно: в комнате — штаб: Аршинцев у карты с телефонной трубкой подле уха. Рядом нач. штаба… Вестовой каждые полчаса докладывает о состоянии пожара. Расчет правильный: немцы не будут бомбить здание, которое уже горит. Спустя некоторое время Аршинцев потребовал, чтобы вестовой докладывал о пожаре каждые четверть часа. Вскоре мы переселились в другое крыло, где пожар был слабее.*

На рассвете Аршинцев, три офицера, партизан и я вошли в безлюдный город. Партизан указывал дорогу и предупреждал о снайперских гнездах. Аршинцев и офицеры были в солдатских шинелях, я — в кожаном пальто с меховым воротником, которое купил еще в Париже и в кубанке, подаренной ген[ералом] Книгой. [*Подошли*] *к яхт-клубу, где засел штаб н[ашего] морского десанта. Аршинцев попросил нас подождать на улице, а сам вошел в клуб, за ним один из офицеров. Партизан ушел. Я с двумя офицерами остался у стены против клуба. Настроение было чудесное: утро, черноморский ветерок… Мы шутили, смеялись. Наконец я взглянул на часы и сказал, что мне надо бежать в редакцию, сдавать материалы о Новороссийске»*. Впоследствии при встрече с генералом Аршинцевым военкор узнал, что в то утро у яхт-клуба он и товарищи были на волосок от смерти — в доме напротив находился немецкий снайпер, которого, к счастью, вовремя обезвредили.

Из письма военкора жене от 20 сентября 1943 года можно узнать, как выглядели улицы освобожденного города: *«Утром побежал с товарищами по Новороссийску и осматривал только что отвоеванный город. Он весь пропах трупами, селитрой, аммиаком, толем. Города, конечно, нет. Есть только скелет его. Но главное — трупы. Особенно страшны те, которые раздавлены танками: они сохраняют очертания человеческой фигуры, но имеют только длину и ширину — толщины, т. е. третьего измерения, нет. Человека нет, но тень его на земле осталась совершенно самостоятельно. В качестве подробности можно добавить, что обута это кроваво-серая тень в настоящие сапоги или ботинки с обмотками».*

В результате непрерывного наступления частей Северо-Кавказского фронта, кораблей, морской пехоты и авиации Черноморского флота и Азовской флотилии к 9 октября 1943 года Таманский полуостров был освобожден. Битва за Кавказ завершилась. В 1944 году была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой были награждены около 870 тысяч военных и гражданских лиц, в том числе военный корреспондент Сельвинский.

Когда лидер конструктивистов И. Сельвинский делал заводскую газету в стихах, он написал неопубликованную «Балладу о смерти Ленина».

Пока в газетах звенели бомбы
Дискуссионной дуэли —
Ильич шел ко дну в постели,
Закупориваясь в тромбы.

Но особенно проявилась сопровождавшая этого поэта всю жизнь, наряду с исключительным жизнелюбием, особая мортальная эстетика войны как обратная сторона машинерии в стихотворении «Баллада о трупе», опубликованное в Краснодаре агитационном сборнике Сельвинского «Баллады, плакаты и песни» в 1942 году.

Ритмы марша под битвой…
Визжание, взрыв и гул!
И ты уж не вспомнишь о бритве
В трауре губ и скул.
……
Пустырь. Унылая кочка.
Грачи. А грачам — сто лет.
Казалось бы — смерть и точка?
Казалось бы, все? Но нет!
Его распирают воды,
Ища, как и всюду причал…
Шли газы трубой пищевода —
И труп тяжело рычал.
Заря занималась и гасла…
Быльем прорастал пустырь…
А в трупе пузырилось масло,
Вздувался желчный пузырь.
У трупа вспучилось брюхо…
И вдруг, отлипаясь от ран,
На ляшке треснули брюки
И вывалился карман!
И лирикою согретый,
Едва лишь мертвец икнет —
С часами и мелкой монетой
Соскальзывает блокнот…

Хозяйничай, химия, в теле!
Где ж ты, человечья душа?
Но три лепестка облетели
И вынеслись не спеша…

Далее идет речь о содержании трех блокнотных листков, двух лирических и одного патетического: «Он только взывал „…ни пяди!“ // Он только скликал: „Комсомол!“».

Таков был путь поэта к эпическому памятнику пронзительного трагического видения «Я это видел».

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.

Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
Меж нами
вот этак —
ров.
Из этого рва поднимается горе.
Горе без берегов.
Нет! Об этом нельзя словами…
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
Заржавленной, как руда.

Стихотворение было впервые опубликовано 23 января 1942 г. и перепечатано в центральной армейской газете «Красная звезда» (27 февраля 1942) и в сдвоенном, первом номере московского журнала «Октябрь» за 1942 г.[1] В короткий срок «Я это видел!» стало доступно массовому читателю как на фронте, так и в тылу. Оно воспроизводилось на листовках, исполнялось актерами и чтецами на концертах и по радио и стало поистине знаменитым стихотворением переломного 1942 г. Легендарный актер Василий Качалов читал стихотворение Сельвинского по радио. Поэт и критик Лев Озеров дал восторженную оценку военных стихотворений Сельвинского в газете «Московский большевик» 11 декабря 1942 г., первым обозначив двойную миссию Сельвинского: поэт-солдат и свидетель геноцида на оккупированных территориях.

Однако особое выделение в этом стихотворении темы холокоста было воспринято определенными кругами советского руководства как неуместное «жужжание», что привело Сельвинского к увольнению с должности «военного писателя» на Крымском фронте. Впрочем, предметом конкретного разбирательства на самом высоком уровне стало другое стихотворение Сельвинского «Россия». В ноябре 1943 начальник Управления агитации и пропаганды ЦК (УПА) Г. Ф. Александров подготовил проект постановления Секретариата «Об ошибках в творчестве Сельвинского». В нем отмечалось, что «в стихотворениях «России», «Кого баюкала Россия» и «Эпизод» содержатся грубые политические ошибки <…> Сельвинский клевещет на русский народ <…> дает клеветнически-извращенное изображение войны <…> ЦК ВКП(б) предупреждает т. Сельвинского, что повторение подобных ошибок поставит его вне советской литературы»[2].

Достаточно хорошо известна реплика Сталина по отношению к Сельвинскому на заседании, посвященному выяснению, кого подразумевает поэт под «уродом» в этом стихотворении: «Сама как русская природа, душа народа моего — она пригреет и урода, как птицу выходит его…». Сельвинский выразительно описал это в дневнике.

«Заседание Оргбюро вел Маленков. «Кто этот урод?» металлическим голосом спросил он. Я начал было объяснять ему смысл этого четверостишия, но он меня перебил: «Вы тут нам бабки не заколачивайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого именно вы имели в виду? Имя?» «Я имел в виду юродивых». «Неправда! Умел воровать, умей и ответ держать!» Вдруг я понял, что здесь имеют в виду Сталина: лицо его изрыто оспой, мол, русский народ пригрел урода…»

---

[1] См. подробности истории публикации стихов Сельвинского: «Илья Львович Сельвинский» / В кн. Русские советский писатели. Поэты (Советский период). Библиографический указатель. Т. 23. СПб., 2000. С. 5–50.

[2] «Литературный фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг. Сборник документов. Сост. Д. Л. Бабиченко. М. 1994. С. 81.

Далее в дневнике говорится: «Неизвестно, как и откуда в комнате появился Сталин. Неся, как обычно, одну руку в полусогнутом состоянии, точно она висела на перевязи, он подошел к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним разговаривать. Насколько я мог судить, речь шла не обо мне. Затем Сталин отошел от Маленкова, собираясь, видимо, возвратиться к себе, и тут взглянул на меня: «С этим человеком нужно обращаться бережно — его очень любили Троцкий и Бухарин…»

Я понял, что тону. Сталин уже удалялся. «Товарищ Сталин! — заторопился я ему вдогонку. — В период борьбы с троцкизмом я еще был беспартийным и ничего в политике не понимал». Сталин остановился и воззрился на меня напряженным взглядом. Затем подошел к Маленкову, дотронулся ребром ладони до его руки и сказал: «Поговорите с ним хорошенько: надо… спасти человека».

Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу, и все провожали его глазами. Маленков снова обратился ко мне:

«Ну, вы видите, как расценивает вас товарищ Сталин! Он считает вас совершенно недостаточно выдержанным ленинцем». «Да, но товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фраза вызвала такой гомерический хохот, что теперь уже невозможно было всерьез говорить о моем «преступлении».

Возвратился домой совершенно разбитым: на Оргбюро я шел молодым человеком, а вышел оттуда — дряхлым стариком. Боже мой! И эти люди руководят нашей культурой».

Итак, Сталин простил Сельвинскому «урода», как, возможно, простил бы и Мандельштаму «кремлевского горца», но через «широкую грудь осетина» (с намеком на супружескую неверность матери) переступить не мог. Сельвинского спасло, если так можно выразиться, крымское реальное этническое карл-марксистское училище коммуникации.

Однако специальное постановление Секретариата от 10 февраля 1944 г., «О стихотворении И. Сельвинского «Кого баюкала Россия»», формулировки которого во многом повторяли проект Александрова, имело место быть: «<…> грубые политические ошибки. Сельвинский клевещет в этом стихотворении на русский народ»[1]. Как отмечает Максим Шраер, это была, по-видимому, единственная за годы войны партийная резолюция, обрушившаяся на творчество одного поэта. Последствия практически беспрецедентны: подполковник Сельвинский был в наказательном порядке демобилизован из армии. «Он оказался — что для военного времени почти парадоксально — в московском изгнании»[2].

После тыловой ссылки Сельвинскому было разрешено в качестве своеобразного боевого ссыльного довоевывать на «тихом фронте» в Курляндии. Однако и здесь неожиданно состоялась своеобразная встреча с Крымом — в виде «Крымского щита», как назывался наградной знак, на груди одного из немецких пленных, участвовавших в боях в Крыму.

Я разглядел чеканку очертаний
расстрелянного Крыма. Боже мой!
На нем оттиснут пунктом: Симферополь…
(Я там родился.) Севастополь! (Здесь
я обучался воинскому долгу.)
Евпаторийский берег — берег муз,
где занялась любовь моя и песня.
И знак был сорван «с шерстью».

[1] Там же. С. 510.

[2] Шраер М. Д. Илья Сельвинский, свидетель Шоа // Новый мир. № 4. 2013. С. 146–166.

Обратным полюсом к «Я это видел» стало «Я не хочу этого видеть»…

«Он еще смутен, этот читатель, // Он еще назревает, как бой», — писал Сельвинский в стихотворении «Читатель стиха» (1932). Как и для каждого настоящего русского поэта, пуля для него была больше, чем пулей, но никто не смог так ощутить ее — вкус…

Сколько раз, отброшен на мель,
Рычишь:
«Надоело! К черту! Согнули!»
И, как малиновую карамель,
Со смаком глотнул бы кислую пулю…

В целом, произведения И. Сельвинского о войне принадлежат к исповедальной поэзии, с органичным сочетанием искренности и *военного реализма*. С особой поэтической мужественностью он воспроизвел в контексте «большой истории» свою «окопную правду», запечатлел реальный образ войны, нестираемый в сознании ее участников.

И в наше время такой *окоп поэзии* и *атака поэзии* — учебник мужества, преодоления страха, давящего камнем душу в экстремальных ситуациях.

А камень?
Что ж, мы поступаем с ним,
Как с небольшой телесною болезнью…
Хроническим катаром фронтовым.

Эта поэзия, состоящая «…Из пепла, из поэм, из сновидений…», воспринимается также как стратегический и тактический учебник опознания меняющихся пространств и культур, с их актуальной оценкой.

«ЛИНИЯ ФРОНТА»,

посвященный 75-летию Великой Победы

Премии

Проза

1. Анастасия АСТАФЬЕВА (с. Починок, Костромская обл.) «Темная ночь» — первая премия (диплом и денежная премия)
2. Олег КОРНИЛЬЦЕВ (г. Ангарск. Иркутская обл.) «Рассказ солдата» — вторая премия (диплом и ценный подарок)
3. Юлия ТОКАРЕВА (10 класс, Ростовская обл.) «Любочка…» — третья премия (диплом и книги и альманахи Союза российских писателей)

Поэзия

1. Ян БРУШТЕЙН (Иваново) — первая премия (диплом лауреата и денежная премия)
2. Наталия ЕЛИЗАРОВА (Москва) — вторая премия (диплом лауреата и ценный подарок)
3. Вячеслав ЕГИАЗАРОВ (Ялта, Крым), Владимир ПЕРЦЕВ (Ярославль) — третья премия (диплом лауреата, книги и альманахи Союза российских писателей)

Дипломы

Проза

Валерий АНИШКИН (1938, Союз российских писателей, г. Орел) «Каратели»

Тамара ГОРДИЕНКО (1949, СП России, г. Севастополь) «Ленька с корабельной стороны»

Борис ГРЕБЕЛЬНИКОВ (1956, Донецк) «Мой дед — Рэмбо»;

Виктор ЕЛМАНОВ (1949, Союз российских писателей, г. Кострома,) «Письмо»

Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН (1976, Союза российских писателей, Республика Дагестан, с. Кубачи) «Дед Арсен…ий»

Михаил КАЛАШНИКОВ (1985, г. Воронеж, СП России) «Неужели они выжили?»

Василий КИЛЯКОВ (1960, СП России, Подмосковье) «Голубых кровей»

Александр КЛИМЕНОК (1968, Союз журналистов России, г. Калининград) «И мы во имя жизни выживаем»

Ольга КОРШУНОВА (1954, СП России. Пензенская обл.) «Лето 1941 года»

Виктор МАРКИН (1991, студент Литературного института, Союз российских писателей, г. Челябинск) «Кости»

Василий МИРОНОВ (1958, Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь», Республика Беларусь, г. Бобруйск) «Блокадные слезы»

Илья ОГАНДЖАНОВ (1971, Союз российских писателей, Москва) «Это несерьезно»

Алина САЛИМОВА (магистрант филфака Башкирского государственного университета, Республика Башкортостан, г. Уфа) «Поезд идет на фронт»

Яков СМАГАРИНСКИЙ (1939, Российский союз профессиональных литераторов, Сидней, Австралия) «Морзяночка»

Любовь ХАЗАН (1946, Союз русскоязычных писателей Израиля, Украина — Израиль) «Пятисотый-веселый»

Инна ЧАСЕВИЧ, 1969, Саровский драматический театр, выпускница Литинститута, г. Саров, Нижегородская обл.) «Письмо деду...»

Татьяна ЧУРУС (1972, Союз российских писателей, Москва, Зеленоград) «Приторно»

Поэзия

Елена АСАТУРОВА (Бургас, Болгария)

Зарина БИКМУЛЛИНА (Казань, Республика Татарстан)

Олег ВОРОНОЙ (с. Лазо, Приморский край)

Иван ДЕНИСЕНКО (Санкт-Петербург)

Евфросиния КАПУСТИНА (Санкт-Петербург)

Марина ЛАМБЕРТЦ-СОКОЛОВА (Эйсинген, ФРГ)

Юрий ПАНЧЕНКО (Киров)

Владимир ПЕТРУШЕНКО (Рубежное, Луганская обл., Украина)

Светлана ПОТАПОВА (Великий Новгород)

Евгений ПРУДЧЕНКО (Алмааты, Казахстан)

Дмитрий ЮРТАЕВ (Минск, Беларусь)

· | 2020

линия фронта

**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Уважаемые коллеги, ждём ваших материалов
(поэтических подборок, рассказов, пьес, эссе, критических статей
о вышедших книгах современников) по адресу: ledplamen@yandex.ru

Приобрести альманах можно в Союзе российских писателей
(Москва, 121069, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1, офис 32,
Союз российских писателей); возможна рассылка наложенным
платежом.

Для справок в Москве: тел. (495) 691-03-45;
эл. адрес: vsrp@mail.ru.

Редактор
В. Н. Мисюк

Корректор
Е. Г. Печерская

Верстка
Л. В. Васильевой

Союз российских писателей

Москва, ул. Поварская, д. 52, оф. 32

Подписано в печать 29.12.2020

Формат 70×108 $^{1}/_{16}$

Печ. л. 30.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Cambria.

Тираж 1000 экз.

Заказ № 3057.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны,
д. 38, лит. А